



КОЛОМЕНСКИЙ АЛМАНАХ

Орган
творческого
объединения
писателей
Коломны

Литературный ежегодник

ИЗДАЕТСЯ В КОЛОМЕНСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ИНСТИТУТЕ

ВЫХОДИТ С 1997 ГОДА

2008

ВЫПУСК
ДВЕНАДЦАТЫЙ

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРВАЯ
КОЛОНКА

Василий Андреевич ЖУКОВСКИЙ
Я МУЗУ ЮНУЮ, БЫВАЛО... 5

СОВРЕМЕННАЯ
ПРОЗА

МАРИНА ТИМОНИНА
ПРАВО РУССКИХ НА ПЕЙЗАЖ 7

ПОЭЗИЯ

ВАЛЕРИЙ КОРОЛЁВ
ДОБРЫЕ ЛЮДИ. Повесть 27

РОМАН СЛАВАЦКИЙ
УШЕДШИХ ДНЕЙ СЕДАЯ ПОЗОЛОТА 101

ГЕННАДИЙ СТУПИН
ЯСНАЯ МОЯ СУДЬБА 111

НИНА СОЛОВЬЁВА
СКАЖИ МНЕ ГОЛОСОМ ЕГО 119

ТАТЬЯНА БАШКИРОВА
ВОРОЖИТ ЗИМА 125

МИХАИЛ МЕЩЕРЯКОВ
Я — ТОТ, И УЖЕ НЕ ВАШ... 133

ЛИДИЯ ПЫШКИНА
ИДУ ПО ЯНВАРЮ 139

ВАЛЕРИЙ КАПРАЛОВ
ВЫСОКОЕ ЗРЕНЬЕ 143

НАШЕ НАСЛЕДИЕ

РУССКОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ

ДУХОВНАЯ НИВА

К 225-летию со дня
рождения митрополита
Московского
и Коломенского Филарета
(Дроздова)

МИР ЛАЖЕЧНИКОВА

К 200-летию литературной
деятельности
И.И. Лажечникова

ПИСАТЕЛЬСКИЕ СУДЬБЫ

Надежда ЩЕТИНИНА ОТ СЛОВА ДО СЛОВА.....	145
Константин ЛЕМЕНТ НИЧТО НЕ СТАНЕТ ОТКРОВЕНЬЕМ	151
Анна ЛЕКСИНА ЭКСКУРСИЯ В ЛЕТУ	155
Нина БУКРИНСКАЯ ЗАБЫТЫЙ ПИСАТЕЛЬ	159
Александр ДРОЗДОВ НОЧЬ ПОЗАДИ. Повесть	165
Андрей КОСТИН СЕРЖ И ДЖЕЙН. Поэма	197
Геннадий БЫЧКОВ СЛУЖЕНИЕ ЦЕРКВИ И ОТЕЧЕСТВУ	217
Филарет (ДРОЗДОВ) МЫСЛИ И ИЗРЕЧЕНИЯ	247
Александр СОРОЧАН МЫСЛИ ЛАЖЕЧНИКОВА	259
Александр СУСЛОВ ОДНАЖДЫ, 200 ЛЕТ НАЗАД	267
Евгений ГАРШИН И.И. ЛАЖЕЧНИКОВ КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАНИСТ	273
Константин ЗАЛЕСНОВ КОГДА РОДИЛСЯ И.И. ЛАЖЕЧНИКОВ	279
Александр САХАРОВ НЕИЗЪЯСНИМЫЙ ДАР	287

ЛИТЕРАТУРНЫЕ
ЗАМЕТКИ

Олег ШИЛОВ
ПИЛЬНЯК И ГОРЬКИЙ. К истории
одного литературного «доноса» 307

Лидия СЫЧЁВА
ПОСЛЕ КРУШЕНИЯ 317

Татьяна КОНДРАТОВА
ПОДЗЕМНАЯ РЕКА 329

Ирина КАНУННИКОВА
«БЫТЬ ЧЕСТНЫМ С СОБОЙ
И С РОССИЕЙ». Новый коломенский
сборник «Б.А. Пильняк. Исследования
и материалы» 343

Ирина РАКША
«ТЫ ОДИН МНЕ ПОДДЕРЖКА
И ОПОРА» 347

НАШИ ХУДОЖНИКИ

Анастасия СОКОЛЬСКАЯ
КРЫЛАТЫЙ ХУДОЖНИК 365

Лана БОРИСОВА
ОТРАЖЕНИЯ 375

ЧТО БЫЛО,
ТО БЫЛО

Наталья КОЧЕТКОВА
ПО ДРУГУЮ СТОРОНУ АФИШ 389

Виктор МЕЛЬНИКОВ
МЫСЛИ ИЗ ЛИХОЛЕТЬЯ 405

РОДИМАЯ
СТОРОНА

Роман СЛАВАЦКИЙ
КОЛОМЕНСКАЯ БИТВА 427

Василий ЯН
БАТЫЙ. Отрывок из романа 433

Валерий КОВАЛЁВ
ЗА ОТЛИЧИЯ НЕСЛУЖЕБНЫЕ 445

КОЛОМЕНСКИЕ
БЕСЕДЫ

КУПАЛІНКА

Проза

Поэзия

Публицистика

ВАЛЕРИЙ ЯРХО

КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ ВЛАСТЬ 455

Михаил АБАКУМОВ

«ХУДОЖНИК ДОЛЖЕН ОТРАЖАТЬ КРАСОТУ»

Беседовала Галина Горчакова 485

Татьяна БАШКИРОВА

«ДВА КРЫЛА ЗА МОЕЙ СПИНОЮ

ОБЖИГАЕТ ОГОНЬ ПЛИТЫ»

Беседовал Виктор Мельников 499

Генрих ДАЛИДОВИЧ

ГУБАСТЫЙ. Рассказ 513

КОСТРЫ КУПАЛЬЯ

Поэты Беларуси

Рыгор СЕМАШКЕВИЧ

ПРОЩАНИЕ С САДОМ 523

Людка СИЛЬНОВА

ВОТ И ВСЁ, ЧТО Я СДЕЛАТЬ СМОГЛА... 524

СЛУШАЮ НАРОДНУЮ ПЕСНЮ 524

ВЕЧНА... 524

Нил ГИЛЕВИЧ

ОКТАВЫ 525

Василь МАКАРЕВИЧ

МАМИН ДВОР 527

Владимир МАРХЕЛЬ

ТВОИ НЕДОМОЛВКИ,

МОИ ПОДОЗРЕНИЯ... 527

НА МЕЖЕ СНА И ЯВИ... 527

Казимир КАМЕЙША

ПОЧТИ УЖЕ ГОТОВЫ КОНИ... 528

БАРАБАНИТ КТО-ТО В ОКНА... 528

Анатолий КУЗОВКИН

СВЯТОЕ ВОИНСКОЕ БРАТСТВО 529



ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ ЖУКОВСКИЙ
(1783–1852)

* * *

Я Музу юную, бывало,
Встречал в подлунной стороне,
И Вдохновение летало
С небес, незваное, ко мне;
На всё земное наводило
Животворящий луч оно —
И для меня в то время было
Жизнь и Поэзия — одно.

Но дарователь песнопений
Меня давно не посещал;
Бывалых нет в душе видений,
И голос арфы замолчал.
Его желанного возврата
Дождаться ль мне когда опять?
Или навек моя утрата
И вечно арфе не звучать?

Но всё, что от времён прекрасных,
Когда он мне доступен был,
Всё, что от милых тёмных, ясных
Минувших дней я сохранил —
Цветы души уединенной
И жизни лучшие цветы, —
Кладу на твой алтарь священный,
О Гений чистой красоты!

Не знаю, светлых вдохновений
Когда воротится чреда, —
Но ты знаком мне, чистый Гений!
И светит мне твоя звезда!
Пока ещё её сиянье
Душа умеет различать:
Не умерло очарованье!
Былое сбудется опять.

ПЕРВАЯ КОЛОНКА



ПРАВО РУССКИХ НА ПЕЙЗАЖ

Природа — это стихийное, глобальное, неуправляемое, неизмеримое целое. Пейзаж — его застывшая часть; неподвижная точка в вечно движущемся мире; то, что хочется оставить неизменным.

Природа прекрасна движением, пейзаж — неподвижностью.

Русские природа и пейзаж отдалены друг от друга как нигде. В самих бескрайних пространствах России столь же безбрежно и бескрайне растекаются, растворяются, а иногда и размываются бесследно душа и судьба русского человека... Но об этом сказали уже Гоголь и Розанов, Трубецкой и Блок...

Именно русский пейзаж, в незримой борьбе с русской же природой или вопреки ей, всегда собирал, уплотнял русскую душу и судьбу.

Природа наша центробежна, а пейзаж центростремителен...

В светлом небе пусто, пусто.
Как ядрёная капуста,
Катится луна.
И бессмыслица искусства
Вся, насквозь, видна...

(Г.Иванов)

Русский пейзаж в живописи и прозе (до появления тех, о ком речь позже) был или социален, или идеологичен. Толстовский «дуб» обязательно «символ» и «метафора». Или прелестная цветущая сирень, поддерживающая остатки барского дома в назидание потомству (Жуковский, Семирадский или Соломко).

Тоска Левитана, эпический романтизм Шишкина, пронзительная реалистичность Васильева... Если в этом пейзаже появлялся человек, он немедленно портил всю органику.

В 30–50-е годы XX века наш пейзаж чаще всего был второстепенным, придаточным членом предложения: колхозное поле с трактористами на привале (Рылов) или опоры ЛЭП на фоне ёлок (Нисский).

Какой же пейзаж мы сочтём и назовём русским?

Горка, холм, пригорок — не в низинах, не в оврагах, а на возвышенном, вознесённом месте ставили церковь. Церковь держала русский пейзаж. Стягивала природу в духовное изображение. Русские дали и шири стягивались в одном времени и месте.

Синеватое облако
(Холодок у виска)
Синеватое облако
И ещё облака...

И старинная яблоня
(Может быть, подождать?)
Простодушная яблоня
Зацветает опять.

Всё какое-то русское —
(Улыбнись и нажми!)
Это облако узкое,
Словно лодка с детьми,

И особенно синяя
(С первым боем часов...)
Безнадёжная линия
Бесконечных лесов.
(Г.Иванов)

Русские цветы

Скромная, неяркая, нерезкая природа наша оживала под золотом крестов, под синевой куполов.

Белые стены храмов — белее снега; лазурные купола — синее неба; ну а кресты сияли ярче всех солнц на свете.

Русские цветы по цвету вторили цветам души: лазоревые васильки, белые ландыши, ромашки, резеда, черёмуха, небесные незабудки...

Клюевская строка «незабудки — в крови малютки» кажется загадочной, пока не вспомнишь этот цветок в рассветных и закатных подсветах...

В русской природе цветы не раздражают яркостью и чрезмерностью. Красных лепестков не найдёшь, только зрелые ягоды брусники, земляники, клюквы и костяники выдерживают тяжесть красного цвета. Самые яркие лесные и полевые цветы — бледно-розовые гвоздики и совсем мелкие липкие гвоздички, розовый шиповник, фиолетовые и лиловые колокольчики... Русский человек не изменял своим пристрастиям и разбивая сады-парки и палисадники-огороды: лиловые и сиреневые сирени, белые жасмин и яблони, голубые ирисы... Красные тюльпаны цвели где-то далеко, в степях Туркмении, а красные маки — в предгорьях Кавказа...

Русскую палитру изменил двадцатый век — георгины и гладиолусы в наших садах не то ли, что спутники в небе?

Скромные русские цветы расцветали воистину невиданным и райским цветом внутри церквей: длинные тонкие стебли удерживают непосильно крупные венчики с огромными лепестками; виноградные листья и гроздья — тоже излюбленный орнамент церковных стен. А уж если художник выкладывал цветы и растения или образа святых мелкой переливчатой мозаикой — расцветал сад небесный.

Наши церкви сами стали цветами, что цвели весной, зимой, осенью и летом, каждый раз по-новому оживляя и одушевляя землю.

Цветы на подоконнике

Аристократы и крестьяне, дворяне и мещане отстаивали своё право на пейзаж, сливающееся в какое-то общерусское право. Иногда оно трактовалось весьма узко, например, бывало шириной в подоконник («Цветы на подоконнике, цветы, цветы, играют на гармонике, ведь знаешь ты...») или в пространство между рамами (красные гроздья рябины на зелёном мху напоминали долгой зимой о лете).

(К слову, у нас отняли даже это самое узкое право — на пейзаж между рамами: современные конструкции не предусматривают ни промежутков между стёклами, ни подоконников, как бы возвращая голландские вкусы Петра.)

Кто знает, что любили другие, а мы любили, как Николай Клюев:

Кривобоки церкви и лавчонки
Позабыв о купле, Божьих даянх...
Петухи горланят вперегонки
О фазаньем солнце на геранях.

Если кому-то не по вкусу кулацкое счастье, вот счастье дворянское, по Михаилу Кузмину:

Кончить вдруг лирически
Обрывками русского быта
И русской природы:
Яблочные сады, шубка, луга,
Пчельник, серые широкие глаза,
Оттепель, санки, отцовский дом,
Берёзовые рощи да покосы кругом.
Так будет хорошо.

Впрочем, у крупных землевладельцев и якобы «космополитов» чувство родного пейзажа было таким же пронзительным:

В листве берёзовой, осиновой,
в конце аллеи у мостка,
вдруг падал свет от платья синего,
от василькового венка.

(В.Набоков)

Невидимая высота

Дворянские и барские усадебные дома строились в один, ну, в два этажа, флигели не выше; и всё — под сенью и кущами деревьев, всё соразмерно вековым липам и берёзам, цветущим сиреням... Дворянская Россия — это дом с мезонином, то есть в полтора этажа. Городская мещанская Россия — одноэтажный дом. Городская дворянская — это дом двухэтажный. Да и дворцы князей и графов в Петербурге и Царских Сёлах укладывались в те же два этажа. Что, денег или размаху не доставало?

Была ли случайность в соразмерности природного и архитектурного пейзажа?

Русский пейзаж был замыслен как отражение иконы, отражение небесного совершенства. Простая и прозрачная чистота нашего пейзажа — это и есть отражение иконы.

В тот год уснул навеки Павел, —
Он сердце в краски переплавил,
И написал икону нам:
Тысячестолпный дивный храм,
И на престоле из смарагда,
Как гроздь в точиле винограда,
Усекновенная глава.
Вдали же никлые берёзы,
И журавлиные обозы,
Ромашки и плакун-трава.

(Н.Клюев)

И когда в 20-30-е годы уничтожали храмы — уничтожали русский пейзаж как отражение иконы. Переворачивали пейзаж, чтобы вернуть мир и жизнь.

Высоко-высоко на горке стояла церковь и колокольня; куда ниже — царский дворец, ещё ниже — боярские палаты, а дома серых нас приносили к земле низко.

А потом пришли лукавые и обольщающие. Прельстили простодушный народ: обольстили видимой высотой.

Перевернули русский мир и пейзаж. «И старый мир — он умер на скаку! И над покойником синеет незабудка» (В.Хлебников).

А те храмы, что не разрушили, — те принизили. Высокие понастроили дома, понатискали в них квартир. Перетащили народ из низких изб, чтобы с высоких высот свысока глядел народ на своё теперь подножие: у ног его теперь были царские чертоги и церковные купола.

Нового русского мужика утешал Клюев:

Снежинка — слёзка Серафима —
Упала на панельный слизень
В семиэтажьи, на карнизе...

Самые главные из лукавых отсиживались в двухэтажных особняках, правительственных дачках, удачно вписанных в романтический коммунистический романо-германский пейзаж. Этот пейзаж уже не раздражал видом церквей...

Сегодня властные и богатые спрятались по старинным отреставрированным особнякам в центрах городов и в виллах-коттеджах пригородов.

И столь же беззащитно, пусть с другой мотивацией, поганят испепелённый русский пейзаж.

В городах — бессистемной постройкой бесстильных зданий: адская смесь германо-ирландско-голландского с хорошим привкусом совдепа. Несчастные переулки, спадающие с московской Сретенки к Трубной, незаметно превращаются (фрагментами) в отмытое интернациональное гетто. Ненадолго разоблачённые «Моспроекты» плодят всё новых уродцев, воспроизводящих стили всех языков и времён, кроме русского.

Когда засиял огромный купол и воссиял крест нововозведённого Храма Христа Спасителя — самые супротивные успокоились, согласившись, что храм встал вовремя и на месте. Храм снова стал главенствующей точкой в пейзаже Москвы. Но — не тут-то было. Почти напротив Храма Христа Спасителя, всего-то через Москву-реку, быстренько выстроили памятник Петру I. Высотой чтобы не уступал храму.

И пока ведутся споры об «эстетичности» памятника, забыли о простом: идеологи не дремлют. Место и высоту определили не случайно: чтобы взор и сознание непроизвольно, не задерживаясь на куполах и крестах, перелетали на корабль и ботфорты сумасшедшего голландца. Роковому царю, ненавистнику Москвы, ставится столбище высотой в Храм Христа!

Из прихоти уничтожено одно из знаменитых мест — Стрелка на Москве-реке.

Памятник Петру разбил устоявшийся в народном сознании пейзаж. Ну а если в стольном граде можно кособочить как угодно — за его пределами ещё привольнее.

Над широкой рекой,
Пояском-мостком перетянутой,
Городок стоит небольшой,
Летописцем не раз помянутый.

Знаю, — в этом городке —
Человечья жизнь настоящая,
Словно лодочка на реке,
К цели ведомой уходящая.

(Н.Гумилёв)

Кажется, так было ещё вчера...

...Совсем недавно ещё, перебираясь из города в город на машине или в поезде, глядя по сторонам дорог, дожидаясь, когда кончатся унылые, однообразные дома окраин и пригородов, мы даже сквозь закрытые окна вдыхали свежий и бессмертный воздух русского пейзажа.

Леса, перелески, горки, речки, мосты, а иногда, уже как долгожданное, — городки, посёлки и деревушки. Скучная, а может быть, сознательно скромная мелькала застройка. Бревенчатые, в один, изредка в два этажа, мелькали дома и дачи. Яблони и рябины, акация и берёзы, лиственницы и липы, калина и ель вдоль дороги... Шли де-

сятелетия — и как бы ничего не менялось. Строились новые дома, но они не уничтожали того, что вокруг. Хозяева, желая отличиться, украшали свои дома витиеватыми наличниками или витражами веранд. А подмосковные сады украшали «заморскими» деревьями — туями и каштанами, цветами (георгины и гладиолусы немислимых сортов) и... овощами.

Сейчас, отражая бескрайнюю дурь и удаль новых хозяев, вляпаны в пейзаж глупые дома. Бело-серый силикатный или розовый кирпич в три-четыре этажа без формы и стиля... Просматривая киношки про ту жизнь, не запомнили, дурни, что братья-миллионеры и сёстры-кинозвёзды америк и европ предпочитают одно-двухэтажные дома. Дома, к которым столь органично приникают вязы и глицинии...

И вот на окраине старинной дубовой рощи между Хотьковом и Семхозом на пути в Лавру кто-то позволил построить дома. И — пропала жизнь. Горы подлой грязи и смрадных нечистот там, где цвели фиалки, медуницы, иван-да-марья; высохли дубы, исчезли бабочки-крапивницы, что прилетали сюда осенью...

Есть запах цветов медуницы
Среди незабудок...

(В.Хлебников)

...И остался русский человек беззащитен. Утратив многое, утратил и своё право на пейзаж. Может быть, последнее из национальных достояний, которое хоть как-то принадлежало лично ему.

Райский сад

Явление Иконы — прилёт журавля, —
Едва прозвенит жаворонком земля...

Н.Клюев

Пейзаж в иконе редок, но если встретится — не забудется. Отрочество святого преподобного Сергия Радонежского (непроходимые леса на месте нынешних Радонежа, Абрамцева, Хотькова, Семхоза, Сергиева Посада); старчество святого преподобного Серафима Саровского (идёт, согбенный, по лесу в своих валеночках); или святой на берегу речки — ёлочка, берёзка; да может ли быть Русь более русской и сердечной?

В иконе пейзаж оставался проникновенной деталью, дополнением. А вот великий художник Михаил Нестеров сумел дать сам русский пейзаж в его святости и нетлении, приблизил к иконе.

Нестеров один сумел так точно ухватить наш прозрачный, сквозящий, тихий перелесок, тонкость полевых трав и цветов, незаметную и всё же явную холмистость ландшафта, хрупкость воздуха. Как воздух, прозрачны часовни и церквушки; как часовни, прозрачны и нетленны травы и деревья.

Нестеров отважился повести русских святых в русский лес, что явлен нам как райский сад — в хрупкости, нетлении, тонком благо-

ухании, мирном свечении, — и дал святым в том саду-лесу особое отдохновение.

Нестеров запечатлел образ национального пейзажа.

Наш пейзаж в идеале оказался нашей тоской по небу и раю на земле. Не социальная утопия в виде коммунистического или капиталистического «райского благоденствия», а сам рай, отражённый на земле. Для каждого народа этот рай свой: свой и на земле и на небе.

Русский пейзаж — чрезвычайно хрупок. В мечте своей и идеале он не материален. Можно ли врать в него, не сломав этой хрупкости и не нарушив мечты?

И в Божий рай пришедшие с земли
устали, в тихом доме прилегли...
(В.Набоков)

Скульптор В.Клыков поставил в поле, а точнее, на холмах Радонежа, недалеко от церкви и деревни, где был рождён преподобный Сергий, памятник святому. Льстивые угодники зазвенели о гармонии, о величии духа... И никто не отважился сказать: памятник этот — каменный идол, а место ему — в бескрайних степях, куда, может быть, спустя века ступит нога православных. А к преподобному Сергию Радонежскому и нашему пейзажу какое имеет отношение серый грубый гранит, сама фактура которого опровергает духовность?

* * *

Этих мёртвых долин
Я боюсь белоснежной мечты.
И.Анненский

Поезд плачется. В дали родные
Телеграфная тянется сеть.
Пролетают поля росяные.
Пролетаю в поля: умереть.
(А.Белый)

...Есть поезда — «Москва-Пекин» и «Москва-Улан-Батор». Пребывание в вагоне в течение пяти суток — это ведь путешествие, не правда ли? Впечатлений — не меньше, чем от «живого» хождения по земле.

Выйдет поезд из Москвы — пригороды, посёлки, а потом редкие деревушки, леса и горки. Мелькают церкви, иногда далёкие, только силуэт и чёрный купол видны, и креста не различишь. Кладбища проезжаем — их часто у дороги ставят. Чем дальше от Москвы, тем пронзительнее их вид: железные кресты и «пирамидки» со звездой.

И дома, чем дальше от Москвы, тем беднее и как бы однообразнее. Чёрные, промокшие под снегами-дождями избы, огородные грядки с капустой, рябины, яблони, а осенью — остатки флоксов, астр и георгинов, подсолнухи и золотые шары.

За Уралом церковей почти не увидишь, а уныние и грусть пейзажа возрастут. И ландшафт уныл — ровный, без горок, и небо скучное, и болота вдоль дороги с полуповаленными столбами, где провода иногда в воде притоплены, а электричество ползёт — куда, в какие деревни, к кому?

Если поля — огромные, без меры.

Но даже огромное поле подсолнухов на подступах к Омску не смягчит огромной бесприютности пейзажа. Ни купол, ни крест не отвлекут взора. Зато — это виднее ночью — стоят над Омском высокие трубы, полыхает над ними пламя. Мы-то, конечно, знаем, что это адское пламя, а нам объясняют: индустриализация...

По русским трактам и лядинам
Шумит седой чертополох,
И не измерена кручина
Сибирских каторжных дорог.

(Н.Клюев)

Горящие языки нефтяного-газового пламени в Сибири на том уровне, где глаз привычно ищет неба...

Адские языки кровавого пламени — и вдоль подножия бывшей Поклонной горы в Москве. Но не Церетели, а другие «зодчие» ваяли пространства Сибири с их коптящими и горящими трубами.

Огромные пространства, необъятные выси и шири — а чувство одно: быстрее бы всё это миновать... быстрее бы Иркутск, Байкал, их горки и горы...

Прозрачные берёзы, и пионы просто сердце разбивают, скатываясь со склонов... Поезд проползает тоннель за тоннелем, огибает один склон за другим, мелькнёт байкальская вода, а глянешь вниз — речки текут; дома к склонам лепятся, всползают на горки; и — бесмертная станция Слюдянка: старинный каменный вокзал, ухоженный газончик с цветами, тётки торгуют омулем, картошкой с укропом в газетных кульках, пятнистых от постного масла; кедровые шишки или орехи врассыпную. И если лето — то серо-голубая вода и зелёно-голубое дыхание Байкала. А если зима, то всё затмевает лёд: он — бирюзово-изумрудный у берега, ибо такова вода, состав её души. А дыхание Байкала зимой — бело-бирюзовое. Снег на деревьях не «шапками», а «шеломами». Снег проникновеннее всего на восходе и закате: тусклое золото в тающей синеве света. «Синева ночная, — там, над нами, синева ночная давит снами!» (А.Белый).

...А потом пойдёт забайкальский пейзаж. Сопки смягчатся, лес поредет, а потом как бы и вовсе исчезнет — пейзаж перестанет быть русским и на время перетечёт в монгольский, не дожидаясь границ: это «широта» сказывается... А потом, изменив направление пути, поезд снова вернётся в русский пейзаж. Мощное присутствие Селенги, туман над водой, жёлтые (лиственные) и тёмно-зелёные (хвойные) леса.

Поезд, проходя по неумолимому, железному маршруту, совершая забайкальские «плавные зигзаги», даёт эту необыкновенную, какую-то космически-физиологическую возможность на коже и душе — истинно на шкуре! — испытать, что понятие «пейзаж», запечатлённое французским словом, — вовсе не «понятие», а часть русского тела.

Блаженствуя в русском пейзаже Байкала и Слюдянки (архитектура играет здесь выдающуюся роль уместности), вплываешь в пейзаж монгольский (голые в этих местах сопки), который для того и «захватывает» поезд, чтобы пронзительнее, нервнее дать это ощущение, напомнить, что мы — это мы. «Мы» и «наше» не хуже и не лучше, чем другие и другое, но это — наше и мы.

А дальше — дальше будет снова Монголия и разговор не про нас...

* * *

Русь нетленна,
И погостские кресты —
Только вехи
На дороге красоты.

Н.Клюев

«Красота» — слово, которое многих раздражает. Тех многих, кто изринут из лона отечественной культуры, в которой давным-давно якобы определено, что же такое — «красота».

Но действительно ли и всё ли определено раз и навеки?

...Временами, в минуты печали, заглядывая в очи нашей уставшей природе или измученному пейзажу — обмелевшие реки, иссякшие ручьи, загнившие пруды, истощённые озёра; изреженные, иссушенные, изрубленные леса, рощи, дубравы, ельники... — мы повторяем, стоя на холме где-нибудь в окрестностях Сергиева Посада:

Эти бедные селенья,
Эта скудная природа —
Край родной долготерпенья,
Край ты русского народа!

И завершаем:

Удручённый ношей крестной,
Всю тебя, земля родная,
В рабском виде Царь Небесный
Исходил, благословляя.

До сих пор ещё эти тютчевские строки поражают точностью и завораживают нас.

Печаль полей... затягивает и подчиняет нас... лишает нас воли... оставляет лишь одну картину и образ:

Христос! Простор полей печален!
Изнемогаю на кресте.
И чёлн мой будет ли причален
К распятой высоте?

(А.Блок)

Ещё граф Алексей Константинович Толстой остроумно замечал, что Царь Небесный не благословлял нас пребывать в скудости и нищете и звал не к этому...

Есть ли в нашей природе и пейзаже иная, не печальная красота?
Даже если её недоставало в «натуральном виде», даже если взор художников оставался смиренным — вдруг появлялись иные образы, исполненные иных стихий.

Строгановские иконы —
Самоцветный, мужицкий рай;
Не зовите нас в Вашингтоны,
В смертоносный, железный край.
(Н.Клюев)

И в Москве, в одной из самых «обычных» церквей — как храм Петра и Павла возле слияния Москвы-реки и Яузы, — появлялся вдруг на стенах самоцветный рай — выложенные из мозаики немислимых оттенков образа святых среди невиданных растений...

И отойдя от берегов чёрной, мутной, неживой реки Яузы, этой воистину печали воды, чуть взобравшись на горку, постояв в рукотворном мозаичном саду, затерянном в центре смертоносной столицы, — уже не жадется одной печали, жадется — ибо верится, что это тоже и не менее русское, — чего-то другого.

Журавлиная, русская тяга
С Соловков — на узорный Багдад...
(Н.Клюев)

Цветная Россия — тоже наша Россия. Не менее русская, чем Россия лазоревых васильков и белых снегов. Кустодиев — свои лоскутные базары в маленьких городках, розаны, расцветшие на наволочках и юбках дородных купчих, Малявин — огненные платки и сарафаны, Иван Билибин — лесные цветки и расписные челны — извлекали не из художественных фантазий, а из самой обыденной жизни.

Нам недоставало солнца, тепла или красок — изворотливый русский человек исхитрялся не только извлечь их откуда угодно, но и собрать в немислимый по разнообразию букет.

В садах настурции и розаны,
В прудах зацветших караси.
— Усадьбы старые разбросаны
По всей таинственной Руси.
.....
Порою крестный ход и пение,
Звонят во все колокола,
Бегут, то значит по течению
В село икона приплыла.

Русь бредит Богом, красным пламенем,
Где видно ангелов сквозь дым...
Они ж покорно верят знаменьям,
Любя своё, живя своим.

...Это не олонецкий мужик Клюев, это петербургско-царскосельский Гумилёв...

И это, быть может, то, что более всего утрачено в сегодняшней России и в её сегодняшнем национальном пейзаже: яркость, перенасыщенность жизнью и огнём.

* * *

Ой, яблонька,
Ой, грушенька,
Ой, сахарный миндаль...

И. Анненский

Искажённый, лишённый национального цвета и огня пейзаж... «Пейзаж» — это ведь не только рябина у плетня и черёмуха весной, хотя и это пейзаж. Пейзаж — это и рынок, и то, что на его прилавках, — от овощей до кустарных игрушек; и городская улица, по которой идут люди в тех или иных одеждах...

Пропали старухи, продававшие матрёшек в Сергиевом Посаде, лоскутные одеяла в Александрове, расписные яйца и душегрейки всего ещё... вчера. Кто-то настойчиво приказывает нам забыть

О том, что есть Москва и Крым,
Египтоокая Россия,
И что любовь всегда Мария
У ног Христа, как цвет долин.

(Н. Клюев)

* * *

Точит деревья и тихо течёт
В синих рябинах вода.

В. Хлебников

Революция сокрушила природу и пейзаж. Но и природа, и пейзаж предчувствовали революцию, а поэты и художники передали нам эти предчувствия, отношения и столкновения.

Уже во времена Тютчева в русско-имперской жизни было далеко не всё благополучно. Политические и военные удары сотрясали Империю, но это были как бы внешние удары, не проникавшие внутрь тела. Внутри всё шло «по-старому, бывалому» (*А. Блок*):

Яркий снег сиял в долине, —
Снег растаял и ушёл;
Вешний злак блестит в долине, —
Злак увянет и уйдёт.

(Ф. Тютчев)

Но противостояние природы и пейзажа — как незыблемых основ русского бытия — не могло быть вечным: они содрогнулись под натиском грядущих войн и революций. Чистый лирик Анненский уловил это пока ещё тихое движение:

В стёкла дождик бьёт порывом,
Ветер пробует крючок.

Несколькими годами позже всё выглядело надрывнее и нервнее:

Как эта улица пыльна, раскалена!
Что за печальная, о Господи, сосна!

Сейчас мы бы добавили, что на этой пыльной улице ни деревца не
сыщешь...

* * *

То вещая пряха — Россия
Прядёт бубенцы и мятели...
Н.Клюев

Перед революцией семнадцатого года в природе и пейзаже проис-
ходит настоящая борьба между двумя противоположностями, крайно-
стями. Что-то очень тёмное, болотное, тревожное манит с одной сто-
роны. Позднее Клюев заметит:

Россия плачет распутицей,
Листопадом, серым дождём
Над кутьёю и Троеручицей
С кисою, с пудовым замком.

Русский пейзаж всё ещё как-то сопротивлялся русской судьбе:

Как этот вечер грузен, не крылат!
С надтреснутою дыней схож закат,

И хочется подтолкнуть слегка
Катящиеся вяло облака.
.....
Огромные, кудрявые дубы...
А те, кому доверены судьбы

Вселенского движения и в ком
Всех ритмов бывших и небывших дом,

Слагают окрылённые стихи,
Расковывая косный сон стихий.
(Н.Гумилёв)

Попытка сопротивления была долгой. И люди культуры, и пейзаж
культуры всё ещё оставались победителями:

В небе гас золотистый пожар.
Я смеялся фонарным огням.
(А.Белый)

В грядущее — в блоковское «о, если б знали, дети, вы холод и мрак грядущих дней» — верить не хотелось:

Нынче праздник, пахнет мята, всё в цвету,
И трава ещё не смята: всё в цвету!
(М.Кузмин)

Воздух и свет всё ещё гуляли по России:

Светозарные волны, искрясь,
зажигают кресты колоколен.
(А.Белый)

...Мы проходили в XX веке сквозь революции, войны, а потом попадали в космические эпохи и снова войны... Но когда мы жили внутри этой самой «космической эпохи»: спутники, корабли, космонавты, стыковки, межпланетные странствия — в нашем пейзаже мы не ощутили присутствия «космоса»: в конце концов нам наплевать на обещания, что «и на Марсе будут яблони цвести», — эти частушечьи слова никто не принимал всерьёз.

В старом русском пейзаже «космичность» не просто «присутствовала» — русский пейзаж был космичен:

От воздушного пьянства
Онемела земля.
Золотые пространства,
Золотые поля.
(А.Белый)

* * *

Лечу на крыльях самума —
Коршуна, чьё яйцо Россия...
Н.Клюев

Планетарный полёт России, смоделированный непутёвыми головешками и учёными головами, не мог длиться вечно.

Видно, недаром блаженной Аринушке
Снились маки с плакучим цикорием...
(Н.Клюев)

Русский человек восстал на Бога и Царя. Но и сам становился жертвой. И не только своих собратьев или властей — но и природы, и пейзажа.

...Позднее, в тридцатые годы, вместе с индустриализацией и механизацией всей страны, советский человек начал безжалостное наступление на природу с использованием изошрённых научно-технических идей и версий. Но до этого, или в предчувствии, или в предвозвестии этого русские природа и пейзаж сопротивлялись новому человеку.

И тогда, когда в новых песнях, маршах и сердцах цвели март, май, красные гвоздики, алые знамёна и пионерские треугольники, наша

русская природа оставалась... на стороне классовых врагов, кулаков, сопротивлявшихся новой жизни:

Где вьюгой на саван спрядая кудель,
В болота глядится недужная ель —
В былое былая Россия.

(Н.Клюев)

Угнетённость русского пейзажа во времена строительства утопии сильнее всех чувствовали Есенин и Клюев.

Ненастна воронья губерния,
Ущербные листья — гроши.
Тогда предстают непомерней
Глухие просёлки души.

(Н.Клюев)

Русские поэты были смелы и мужественны в своём ощущении жизни.

И в клетушке издохла рябка
(Это солнце сразил колтун).
Не откроет куриная лапка
Адамантовых врат коммун.

Солнце, сражённое солнечным ударом, самим собой... Далее этого самоубийственного потока новой жизни идти было некуда.

Свершилась смертельная кража —
Развенчана Мать-Красота!

(Н.Клюев)

Русский пейзаж отступал перед Великой Стройкой, на которой воздвигались невиданные со времён древнего Египта или вовсе утерянных цивилизаций гробницы (мавзолеи), плотины (теперь они назывались ГЭС), каналы...

Я знаю, я буду убит
Весною, на талом снеге...
.....
Так буду лежать, лежать
Пригвождённым к тебе, о мать.

Такие люди, как автор этих восемнадцатого года строк Михаил Кузмин, революции не были нужны. Нужны были — силой и мощью в экскаватор и бульдозер, способные сокрушить ненавистную природу. Те, что держали пейзаж — крестьяне и дворяне, — получали по заслугам и через попрание пейзажа...

Наш вещий поэт предрекал:

Я — ворон, кружусь над великой гробницей,
Где челюсть осла с Менделеевым рядом.

(Н.Клюев)

И этой гробницей уже была наша Россия.

Мелиораторам великих болот и управителям страдалиц-рек было сказано: отомстим за раны Девы-суши и Матери вод.

* * *

Вся природа улыбнулась,
Как высокая тюрьма.

Шла неравная — как во все времена — война умных и дураков. Одни утверждали: «Я знаю, город будет, я знаю, саду цвезть», — и в новой кузне, Новокузнецке, сажались сады, что достояли до наших времён вместе с бараками, в которых всё ещё живут шахтёры, потомки первых шахтёров.

Жестокий и умный Заболоцкий замаскированно измывался над утопистами:

Это множество воды
Очень дух смущает мой.
Лучше б выросли сады
Там, где слышен моря вой.

Одни лепили идиллические плакаты и «реалистические пейзажи» (вспомни колхозные яблони в цвету Яблонской), другие дружно месили всесоюзный цемент и бетон, превращая — в своей мечте — всю страну в ровный сад с прямыми асфальтовыми дорожками.

Въедливые враги народа, настоящие и будущие, зорко глядели в дно колодца по имени Россия:

Ты Рассея, Рассея матка,
Чаровая, заклятая кадка!
Что там, кровь или жемчуга,
Или лысого чёрта рога?
(*Н.Клюев*)

И в «кадке» бились не только белые с красными, коммунисты с врагами народа, партактив с кулацким отродьем. Все встали против всех и в дневном, и в ночном мире:

Злаков войну рисуем мы,
Битву овса с воробьями —
День, когда птица упала,
Сражённая листьев ударом.
(*Н.Заболоцкий*)

* * *

Деревья плачут в страхе и тревоге...
Н.Заболоцкий

Жук ел траву, жука клевала птица,
Хорёк пил мозг из птичьей головы,

И страхом перекошенные лица
Ночных существ смотрели из травы.
Природы вековечная давилня
Соединяла смерть и бытиё
В один клубок, но мысль была бессильна
Соединить два таинства её.

(Н.Заболоцкий)

Гениальный Заболоцкий чертал письма, которые способны читать лишь мы, завершающие русский двадцатый век и подползающие к новому веку. Как природные максималисты, мы не можем «просто встать на колени» (А.Вертинский), а уж или только с несогбенной главой, или ползком на брюхе.

Что-то должно произойти в русском сознании. Вот европейцам — им не перенести мысли о том, что какие-то машины, выхлопные газы, трубы с выбросами, реки с отходами, ямы с отбросами. А нам — всё «лысого чёрта рога»! До сих пор! Копти, жарь, сопи, слюнявь!

Ты Рассея, Рассея тёща,
Насолила ты круто во щи,
Насолила кровушкой кашу —
Насытить утробу нашу!

(Н.Клюев)

...Когда русский человек окончательно очнётся — не может же спать вечным сном, и не так много времени до Второго Пришествия, — он будет пытаться связать и склеить то, что рвал и разбивал много лет.

...В Оптиной пустыни с каким трудом восстанавливается жизнь. Долго ещё ждать восстановления всех храмов. А цветник задушевнейший — есть! А капуста на грядках — растёт, голубушка! А где капуста на грядках — там герань на окнах и флоксы в саду!

«Мир призраков колеблет атмосферу» (Н.Заболоцкий)... Но есть и благодатные призраки — души наших поэтов. Последних владельцев нашего пейзажа. Нашей мечты о нём.

Меня хоронят, хоронят...
Построчная тля, жуки
Навозные проворонят
Ледоход словесной реки.

(Н.Клюев)

Нас, как всегда, поспешили отпеть и похоронить. Больше, чем с Россией, не возьмётся ни с одной страной мира: мы оказались как-то сразу и всем — поперёк. Мы сквозь пальцы пропускаем кубометры газов и нефтедоллары, алмазные копи и золотые россыпи — всё нам не впрок. (Но за это, может, и простится?)

Русь, ты вся поцелуй на морозе!
В.Хлебников

В наших блужданиях и скитаниях за теньями и сущностями самих себя русским нет равных. Нас всё удивляет, как прежде:

Как странно: снег кругом лежит,
А ведь живём мы в центре города.

Это Кузмин зимой удивлялся, что в Москве снег! И нынче, декаблями-февральями, наш обыватель удивляется метеопрогнозам: будет снег... Что-то новое... Ну и дворники, люди уж совсем безграмотные, в январе в Москве каждый год поражаются заново: снег кругом лежит... и ведь живём мы в центре города...

За окном — снег. И московские дворники, и правители, и обыватели, а среди них я, недовольствующая жизнью в центре города (москвичам не угодить: снег, оттепель, дождик).

Я выйду на улицу, на волю.
Только звёзды, Только синий воздух,
Синий, вечный, ледяной.

(Г.Иванов)

Пройдусь с горки к Москве-реке. На другом берегу — Храм Христа Спасителя мерцает. Ближе к этому — петровский корабль, но ночью он как-то даже... смотрится...

Сейчас разминуться должны мы
На белом, но мёртвом снегу.

(И.Анненский)

Разминуться-то с чем? Да со своими воспоминаниями... Снег — да не тот... Нет хрусткости, нет сверкания, нет бегущих сине-зелёно-бело-красных искорок на снегу...

Бегут года. Летят планеты,
Гонимые пустой волной, —
Пространства, времена... Во сне ты
Повис над бездной ледяной.

(А.Белый)

Что с нами будет? Куда денется наша Москва, наша Россия, наша жизнь, мы сами? Все горькие и строгие мысли приходят по ночам, а самые длинные ночи — зимами.

Кто нас поведёт — а мы всё ищем, ищем, слепые слепцы, поводырей и вожатых — «К ногам снегов, к венкам из маков»? (*В.Хлебников*).

Кто вообще — мы сами? Никак не могущие найти себя не то что в мировом пространстве или «европейском содружестве», а внутри родного пейзажа?

Мы только мутный цвет миндальный,
мы только первопутный снег.

(В.Набоков)

Наша кровь течёт гуще, и страдания наши гуще, и грехи наши гуще...
Снег и песок, горы и равнины, моря и болота — дай Бог каждому испробовать такой пейзаж жизни!

Ветер тише, дождик глуше,
И на всё один ответ:
Корабли увидят сушу,
Мёртвые увидят свет.

(Г.Иванов)

Марина ТИМОНИНА



ПЛАНЕТА РАКШИ

Как много может вместить человеческое сердце! Как много может вместить память... Торжественная послевоенная Москва и целинный Алтай, бесконечные просторы Родины — всё это вошло в сердце Ирины Ракши. Напряжённый журналистский и писательский труд, встречи и творческая дружба со Светловым и Шукшиным, Дангуловым и Казаковым, Нагибиным и Стаднюком... И, конечно же, её судьба и счастье, её муж — великий русский художник Юрий Ракша.

Всё это отразилось в её хрустально-прозрачной прозе! Слово и яркое общественное дело Ракши отмечены престижными литературными премиями и государственными наградами, последняя из которых — Орден Дружбы. Но самый большой дар — от Бога. Это талант, который Ирина Ракша не сокрыла втуне, а щедро подарила людям.

Плывёт по космическим высям планета с таинственным именем ИРИНАРА. Русские учёные назвали её в честь Ирины Ракши. Какой красивый символ, так подходящий к доброму сердцу и великой душе!

Ирина Евгеньевна! Поздравляя Вас с юбилеем, коломенцы надеются, что ещё не раз страницы этого альманаха украсятся Вашими прекрасными строками.

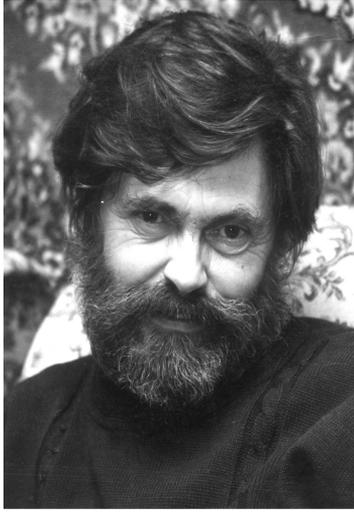
Редколлегия

СОВРЕМЕННАЯ
ПРОЗА





Фото Виктора Смылова



Валерий Васильевич Королёв (1945—1995) родился в Москве. Окончил восемь классов общеобразовательной школы, затем музыкальное училище, Московский институт культуры. После службы в армии работал преподавателем музыкальной школы, методистом Дома народного творчества, инструктором райкома КПСС.

В 1979 году переехал в подмосковную Коломну.

Первый рассказ был опубликован в 1981 году. Рассказы печатались в журналах «Юность», «Крестьянка», «Сельская молодёжь», «Москва», «Волга», «Студенческий меридиан», «Московский журнал», в еженедельнике «Литературная Россия», «Ветеран».

При жизни вышли в свет две книги прозы: «Жизнь как жизнь» (1984), «На трёх буграх» (1990). В 2000 году вышла в свет третья книга прозы «Древлянская революция».

ПОВЕСТЬ

ДОБРЫЕ ЛЮДИ

Избяная тишина особенная. Она как бы творит самоё себя в пространстве, очерченном четырьмя бревенчатыми стенами. Бог весть, когда на Руси наш пращур срубил первую избу, Бог весть, когда потомок срубит последнюю, и, следовательно, самотворение избяной тишины для русского человека безначально и бесконечно. Ни начала, ни конца нет этому как бы шёпоту, напоминающему, что живёт русский не просто в строении, сложенном из деревьев, что она, изба, живая и, значит, имеет право живущего в ней уму-разуму поучить, ибо она — не только хранительница человеческих тел, но и созидательница и оберегательница неповторимой русской души. В избе та душа обрела своё начало, в ней окрепла и возросла. Многие-многие задаются вопросом: как же в этакой невзрачности созрело великое?

А ответ-то прост: русская изба — строение для коллективного житья, когда всем живущим в ней всего поровну: удобства и неудобства, холода и тепла, голода и сытости, горя и веселья. Человек, выросший в русской избе, навсегда проникается заботой о ближнем. Без этого у него и дело не спорится. А заставь его только о себе думать, глядишь, он загоскует и потеряет смысл жизни. Великое изобретение изба, одна на всех с одной огромной печью! Изба живая. Живая даже тогда, когда в ней давным-давно не слышно людских голосов, когда она, старая-престарая, словно древняя старуха, существует одной лишь памятью о былом; в голове ещё струятся мысли, бодря уставшее от трудов тело, и она ждёт, надеется, что всё же вернуться те, кого она выпестовала, и кажется ей: случись так — и она тут же омолодеет, потому как снова станет нужна.

Затаившись на лавке, кинув руки на колени, я слушаю, как, истрадавшись по живому человеку, наставительно зудит изба. В звенящей тишине то скрипнет половица, то дрогнет матица, то, звякнув цепочкой, вроде бы качнётся синего стекла лампада перед опушённым паутиной киотом. А то изба вздохнёт, хрустнув сразу всеми четырьмя стенами.

Я перевожу эти звуки на людской язык:

«Меня ещё прадед твой, Егор Васильевич, срубил. С тех пор-то кто только тут не жил. Человек со сто вашего роду-племени тута-тко родилось и возросло. Детишек каждый год — туча. С улицы набегут — половицы стонут. Картошку им варить — чугуны в печке не помещались. Всех вынянчила, вырастила — и не нужна никому. Даже на дрова продать поленились. Стою вот гнию. Матицы провисли. Десятый год жду-пожду, кто бы подрубил венцы. Да хоть бы и не подрубать, хоть бы на скору руку переднюю стенку подпереть брёвнами... Да где вам, теперешним, бесплевать на старую, словно не во мне выросли. Ты вот опосля войны в люльке как оглашенный ревмя ревел. Бывало, на час затихнешь, мать твоя, Елена-то, прикорнёт — я уж и не дышу, ни досточкой, ни плашкой не скрипну — або ты, сердешный, от собственного рёва отдохнул... И со всеми вами тако маялась. А нынче и не нужна стала... Крыша — что решето. Стёкла-то в окнах — колотые. Дверь в сени — об одной петле, а вам всё толичко до себя. Ты вот эвона книжки сочинишь. Да какой в том толк, ежели ты меня отринул? Отринувши меня, свой корень подсёк. Что толкового напишешь, коли живёшь без корня?.. Эх... Я вот всё думаю: то ли люди, то ли нелюди вы? Будто на землю с месяца упали. А всё почему, почему? Потому что Бога забыли!..»

Стряхиваю оцепенение и, дабы ублажить izbу, начинаю двигаться от стола к печке, от печки к двери, от двери к висящему возле шестка посудному шкафчику. Изображаю деятельность. Словно приехал сюда исключительно ради этой избы — нашего родового улья. Жиденьким, ломким голичком сметаю к порогу неизвестно откуда взявшийся сор. Ржавым ножом раскалываю на лучины трёхгодовалое полешко. Заглядываю в красно-медный самовар, коричневый от бездельного стояния. Из шкафчика добываю белый, расписанный синими цветами заварной чайник и оборачиваюсь к киоту. Взобравшись на лавку, чистым платком обираю паутину со Спаса и Богородицы, стираю пыль со строгих ликов, беру лампаду и тру, тру стекло, пока оно не начинает светиться чистым лазоревым светом. Потом, усевшись на лавке, разглядываю скрюченный, окаменевший фитилёк, соображая: из чего бы изладить новый?

Ничего не придумавши, беру ведро и отправляюсь за водой.

Выйдя на крыльцо, я попадаю в другую тишину. В отличие от избыной, она — огромная, потому что простирается от леса до леса вдоль реки, упирается в заречный хмурый ельник и вздымается до сизых, наполненных дождём облаков. Посреди этой совершенно беззвучной густой тишины четыре двора, оставшиеся от нашей деревни, игрушечно малы. Такое неожиданное обстоятельство вдруг преображает пейзаж. Лужина перед речкой, дом тёти Кати Стуловой, сама река, заречный ельник, водянистые облака кажутся нарисованными: протяни руку — упрёшься в холст. Но холст этот, в отличие от всех холстов, такой огромный, что ощутить его размеры можно только воображением. Я пытаюсь его вообразить, но тут утробно ревет корова, привязанная на лужине. Рёв перелетает речку, катится по вершинам ёлок за горизонт, и безжиз-

ненная картина оживает: ворон над головой курлычет, звеня подойником, тётя Катя вышагивает на крыльцо. Из-за нашей избы вылетает ветер, треллет на спине рубашку и кидается на заречные ёлки. Они, сопротивляясь напору, гудят, скребют вершинами облака, те нехотя начинают двигаться, и я вдруг обретаю способность видеть, что было, слышать давно отзвучавшее.

Я потрясён. Я готов поклониться речке, и лесу, и нашей избе, и другим трём избам, оставшимся от деревни, и тёте Кате, в четыре приёма спустившейся с крыльца, и ещё двум старожилам, не покинувшим деревню, и всем-всем нашим деревенским, не дожившим до нынешнего крутого времени, всем-всем, кто меня родил, кормил, воспитывал, защищал.

— Добрые люди... — вдруг слышу возглас прабабки и по давней привычке готов шмыгнуть за угол. — Добрые люди работают, а он эвона всё за речку пялятся!..

Оборачиваюсь на голос, взглядом ищу прабабку — но её нет. Только прямая белоствольная берёза распушила космы-ветви над тем местом, где лет двадцать назад я в последний раз видел махонькую старушку в длинной, до земли, юбке, в тёмно-коричневом платке, левой рукой прикрывавшую глаза от солнца, правой крестившую меня, уходящего на железнодорожную станцию.

Прабабка



Паспорт ей писали со слов — в двадцатых годах церковь горела, и в пламени погибли метрические книги. Ко времени выдачи паспорта было ей то ли девяносто, то ли сто лет. Во всяком случае, она помнила крепостное право и частенько не без гордости заявляла, что хотя право и существовало, ни она, ни односельчане о помещиках слухом не слыхали. Потому как «кабанетные», то есть кабинетные, были и трудились аж на самого царя. Слово «царь» произносила с оглядкой и тут же добавляла: «Сплотатора, — а оставшись со мной с глазу на глаз, требовала: — Ты, желанный, не слушай, что я на людях про батюшку-царя плету. Лжа это во спасенье. Царь не сплотатор, царь — царь. А сплотатор у нас свой был — Дрон-мироед. В церковь ходил, на клиросе пел, а хужей турка. Вся деревня у него в долгах, как в шелках. Царь-то что, царь закон блюл... — Помолчав, отвечала собственным мыслям звонким, с еле заметной трещинкой голоском: — Не приведи, Господи, вдругорядь мироедству обзакониться!»

Записывать бы её речи, а я по младости пропускал их мимо ушей и теперь вспоминаю с трудом. Однако, думаю, прабабка умно говорила, ибо взрослые с почтением слушали её и никогда не перебивали.

Звали прабабку Василиса Денисовна, ну а нас, правнуков, внуков и детей её, малых, средних и старых, кликали на улице Василисиными, дабы не путать с другими однофамильцами. Фамилий в деревне было три: наша, Стуловы да Чирковы. Вместе с прабабкой жили две дочери, наши бабки (последние из семнадцати прабабкиных детей) да тётя Паня, жена прабабкиного сына, убитого под Прохоровкой. Все остальные взрос-

лые, уцелевшие в войну, обретались по разным городам, близким и далёким, наезжая два раза в год: по весенней грязи привезут нас, своих детей, по осенней заберут. Нас, прабабкиных правнуков и правнучек, была тьма тьмущая. Пережившие войну мои нестарые тётки и дядьки, по выражению прабабки, «как с цепи сорвались»: неженатые и вдовы переженились, женатым Победа придала новых сил, и к пятидесятому году нас возле печки за столом шмыгало носами одиннадцать человек, не считая четверых довоенных тёти-Паниных.

Сидим мы, тарашимся на большой живот тёти Насти и внимаем монотонному зудению прабабки, которая, налегая ухватом на каток, ворокает в печке ведёрные чугуны с нашим общим питанием.

— Шей — чугуны, картошки — чугуны, молока — ведро каждый день. Жрать да рожать здоровы. А харчи-то ноне кусаются. Колхоз-то не плотит, ему хучь самому плоти. Завтрева всех — в работу. Панькины — на Любятинское поле лён брать, а вас в лес по хмель поведу. Слышно, за хмель пшеном плотют. Ты, Настёнка, без нас домовничай. Да мотри тяжёлого не поднимай. По воду не ходи. Полы Панька помое. Печь поутру я вытоплю.

— Да я без дела с тоски завяну, — перечит тётя Настя.

— Мы тебе Андрюшку с Лёлькой оставим — сказки им сказывай. А то на лужину ступайте ромашки рвать.

Всё это произносится строгим тоном, но прабабку никто не боится. Её все любят. Особенно малышня, или хайма на местном наречии. Как я понимаю теперь, прабабкино недовольство родными в речах — способ, избавляющий от излишнего душевного напряжения, накопленного за многие десятилетия забот о благополучии рода, здоровье, сытости, жизни всех нас, малых и взрослых, близких и далёких, порождённых ею, давшей начало нашим бедам, тревогам и радостям. Прабабка добрая. Никогда ничему не учившись, она — природный педагог. Нерадивого, излишне вольного, хулиганистого непременно «постращает» голиком, но примерного, работающего отличит и пожалеет.

— На-кося, — протянет, бывало, ржаную ватрушку, начинённую мятой картошкой. — Пожуй. Умаялся, таскавши воду-то. Я уж и то хотела остановить, а ты носишь и носишь...

На вечерней зорьке, когда в полусонной неге все в избе затихали, вздыхала на своей лавке:

— Эхма... Вы спите, а я стану сказывать. Жили в деревне на разных концах два мужика: добрый и злой. А третий жил посередке. В гости к тому и к другому ходил, хлеб-соль водил, с тем и с тем здоровкался...

В моей сознательной жизни первой объявилась прабабка. Ничего не было, совершенно ничего, и вдруг — она. Стоит на крыльце в неизменных длинной, до пят, юбке, синей в горошек кофтенке, тёмно-коричневом платке, одна рука козырьком у бровей, другой призывно машет:

— Эй, хайма, в избу, в избу!

В трусишках и распашонке я сижу под черёмухой. В синем небе солнце. Огромная лиловая туча напозаёт на него, на мою стриженную наголо голову падают капельки. С черёмухи градом сыплется ребятня. Кто-то подхватывает меня на руки, бегом несёт к прабабке, в избу, и вот я уже на тёплой печке. Рядом вся хайма: и Лидка, и Юрка, и Катька, и Женька, и Толька с Мишкой, и Володька с Борькой, и Машка, и Надька, и Верка. А за окном уже сверкает молния, гремит гром, и слышно: стучит по дранке дождь. Прабабка, оборотясь к киоту, крестится, шепчет что-то, а нам, в тёплом пространстве между печью и потолком, совершенно

не страшно. Мы с интересом наблюдаем, как прабабка снимает с подоконников горшки с цветами и лёгкой рысцой выносит под дождь, чтобы росли лучше, чтобы земля в горшках не зацвела.

Дождь быстро кончается. В окно заглядывает солнце.

— А ну с печки! — звучит прабабкин голос. — Тащите цветы в избу!

Хайма горохом катится с печи. Меня вздымают сильные руки, опускают на пол. Начинается беготня. Цветы возвращаются на подоконники. И снова слышится повелительный прабабкин голос:

— Ну-ка дождевую воду носить! Мыть вас буду.

Мытьё происходит в малюсенькой рубленой баньке. Войдёшь — предбанничек со скамьёй. Направо — дверка. За ней собственно баня — печка-каменка, в которую вмазано корыто для кипятка, кадушка с холодной водой и двухступенчатый полок. Места — трём взрослым не разойтись. Мы же в баньке помещались все. Прабабка занимает пост возле кипятка, дабы мы ненароком не обварились, и время от времени радостно восклицает:

— Послал Господь водицы мягонькой — теперь чисты будете!

Мылись так: сначала старшие мыли младших, потом старшие девчонки в предбаннике обряжали малышню, а в это время мылись старшие мальчишки. Одевшись, тащили на закорках малолетних в избу на печку сушиться, и уж затем мылись старшие девчонки. Прабабка мытьём только руководила, покрикивая:

— Три шибче, три... К печке не пускай его, к саже... Ещё слей — мыло в голове... А этого — будя, чистый, неси!

Ей беспрекословно подчинялись. Власть в семье у неё была беспредельная и касалась не только нас, малышни, но и всех взрослых. Кому пол мыть, кому корове Дочке сено косить, кому огород поливать — решала она. Вечеру, севши на крылечко, выслушивала женщин и тех мужчин, которые, случалось, коротали отпуска в деревне, а после, как Чапаев в кинофильме, приговаривала вершить по её, а не иначе. Но, случалось, распространяла власть и на деревенских. Даже на колхозное начальство. Помнится, как возле магазина крапивой хлестала по лицу пьяного председателя колхоза Петьку Чиркова, безрукого, вернувшегося с войны младшим лейтенантом, за что, собственно, и был выбран председателем. В чём вина Петькина была, я за малостью лет не понял, но помню, что стоял он перед прабабкой почти что смиренно и, вылупив оловянные хмельные глаза, бубнил:

— Да ладно, баушка... Не буду я... Да больно же...

Характер мой формировался в общении со многими людьми, но, думаю, сознательное отношение к жизни в меня заложено именно прабабкой в том нежном возрасте, когда, не отличая плохое от хорошего, дети ещё не управляют собой, когда рождение в сердце горя, радости, гнева почти не контролируется умом и причина почти любого поступка — эгоизм.

— Ты почто котёночка обидел? — спрашивает прабабка, заглядывая мне в глаза.

Я перед нею стою надутый. Мне непонятен её строгий тон, и поэтому отвечаю резким вопросом:

— А чего он полпирога мой съел?

— Он котёнок, у него ума нет, — внушает прабабка. — Плохо лежало — он и ухватил. А ты человек, у тебя ум есть. Нечего где ни попадая пироги раскидывать.

И ещё особенно великое было заложено в меня прабабкой. Она совершенно открыто молилась Богу. Как я теперь думаю, молитва для неё

была необходима, как сон и пища, и ждать определённого укромного часа она не могла. Да и трудно было выкроить этот час в постоянной повседневной суете по хозяйству, во всепоглощающих заботах о нас. По утрам, когда только ещё серел рассвет, она перед киотом наскоро читала «Отче наш», «Богородицу» и «Символ веры». То же самое совершала вечером. Длительно же молилась по нескольку раз в день в промежутках между трудами. Запалит дрова в печке, посуёт ухватом к огню чугуны и, пока закипает вода, молится. Примечательно: я не помню, чтобы во время молитв с уст её слетало «я», но всегда — «мы». И мы, хайма, не оставались безучастными, когда слышали, что прабабка молится за всех нас. Мы позади неё становились на колени и, слушая надтреснутый голосок, тоже крестились. Как сейчас помню: мне казалось, что за мной вот так же стоит много-много людей: тётки, дядьки, и все наши деревенские, и многие-многие люди в иных деревнях и городах. Уже тогда, в раннем детстве, мы слышали от прабабки, что страна наша большая-пребольшая и что селений и народу в ней несть числа.

— О священная главо, преподобне и богоносне отче наш Сергие! — взывала прабабка, и я живо представлял себе седенького доброго старичка, внимательно слушающего молитву, и тоже просил всё необходимое в жизни, «всякий дар, всем и коемуждо благопотребен». — Веры непорочны соблюдение, — перечисляла прабабка, — градов наших утверждение, мира умирение, от глада и пагубы избавление, от нашествия иноплемennых сохранение, скорбящим утешение, недугующим исцеление, падшим восставление, заблуждающим на путь истины и спасения возвращение, подвизающимся укрепление, благоделающим в делах благих преуспеяние и благословение, младенцам воспитание, юным наставление, неведущим вразумление, сиротам и вдовицам заступление, отходящим от сего временного жития к вечному благу уготовление и напутствие, отшедшим блаженное упокоение, и вся ны споспешествующими твоими молитвами сподоби в день Страшного суда шуия части избавитися, десныя же страны общники быти...

Как истинно православная, прабабка никому не навязывала своих убеждений. Даже нам, малышам. Вставши с колен, обернётся и только спросит:

— Ну что, помолились?

Но если у кого-нибудь из нас возникали вопросы, отвечала пространно и обстоятельно. Тут уж любое дело откладывалось, она усаживалась на лавку, помещала любопытствующего между колен и, жёсткой ладонью оглаживая стриженую головёнку, внушала:

— Я-то о вас как сужу? По делам. Так и Бог, со небушка глядя на нас, об нас судит. Кто как старается делом. Как Ему да добрым людям угодишь, так Им во сердце и принимается. А молиться-то что. Тут ты хоть лоб разбей, да если по-Божески не живёшь — Богу неугоден. А по-Божески-то как жить? А так: перво-наперво возлюби ближнего своего, как самого себя. Себя-то любишь небось да жалеешь? Вот и меня тако же люби и жалей, и Юрку, и Андрюшку, и Женьку с Лидкой. И трудись для них. Для них, для них, а для себя — что останется, тогда ты — добрый человек. Вона Катюха Стулова дрова кладёт, а вы и не поможете. Любите только, когда она вам гостинец суёт. Выходит, себя любите, а Катюху не любите. Хоть помри она на дровах — наплевать вам. Добрые вы опосля того или недобрые?

Скажет так прабабка и давай мыть картошку, а мы, пять-шесть сопливых, топчемся возле лавки, озадаченно поглядывая то на киот, то в

окно. Видно в него: тётя Катя Стулова укладывает в поленницу дрова. Дров много. Огромная, выше человеческого роста, куча. Таскать длинные, почти в мой рост, тяжёлые поленья не хочется. Снесёшь десяток — и уже болят руки, а потом — занозы, старший двоюродный брат Юрка будет их вынимать, а прабабка смажет ранки йодом... Я самый маленький из хаймы, имею право и закапризничать, но с киота, из-за лампы, испытующе на меня глядит Спас, словно ждёт: кого я сильнее пожалею — себя или соседку? Себя мне жалче. Но тут я вспоминаю, что у меня есть мать, отец, тётки, дядьки, двоюродные сёстры и братья, прабабка, у тётки Кати же никого нет, она одна-одинёшенька на всём белом свете, помочь ей некому, а у неё ноги болят, потому что в войну она «как мужик лес валила и на себе пахала». Жалость к себе колеблется, дрожит — и улетучивается из сердца. Мне уже неймётся перебежать улицу и таскать дрова, долго-долго, пусть хоть руки отвалятся, лишь бы тётке Кате стало хорошо, чтобы она не чувствовала одиночества.

— Пойдём, что ли? — то ли спрашивает, то ли велит Юрка, и мы отправляемся к тётке Кате.

На пороге я оглядываюсь на иконы. Спасов лик посветлел.

Мужа своего, моего прадеда Николая, прабабка схоронила в тридцатом году, и сведения о нём у меня скудные. Знаю только, что он крестьянствовал, как все, в войну турецкую «на Шипке сидел» и вернулся оттуда «с ногой рубленной». Ещё знаю, что имел прадед талант: играл и на гармонии, и на балалайке, и на гуслях, которые и мастерил сам.

— А пел, уж пел — заслушаешься. За евоны песни я его и полюбила. Я ведь за него по любви вышла.

Принцип любви был наиглавнейшим в прабабкиной жизни. Начиная с собственного замужества и кончая людской смертью — всё подчинялось ему. Приведёт она нас, хайму, на деревенское кладбище и возле прадедовой могилы объясняет:

— Мне это местечко ещё в девках полюбилось. Пришла раз к матери и углядела. Ну, думаю, придёт срок — сама тут лягу, а детушки по праздничкам станут навеваться. Весёленькое, угожистое местечко.

Местечко действительно было весёленькое. Высокие берёзы словно сами по себе излучали свет, и на кладбище не ощущалось присущей многим кладбищам хмурости и затаённости. Среди берёзовых стволов кресты стояли молодцевато. В какой бы ты точке кладбища ни находился, отовсюду проглядывалось поле, а с того места, где, окружённый могилами своих детей, покоился прадед, видна была и наша деревня, и другое дальнее поле Широкие Концы, золотое от зрелой ржи, отороченное дымчатым еловым лесом. Высоко под творожистыми облаками заливались жаворонки, и от деревни наносило сладким печным дымом.

— Главное-то, чтобы любилось, — наставляет прабабка. — Когда любится, всё хорошо: и хлебушек чёрный, и работа тяжёлая, и конец под крестиком. Не от счастья любовь, а от любви счастье. Это вы, сопливые, затвердите. Без любви жизнь — маета, работа — каторга, родимая сторона — хуже мачехи, а добрых людей днём с огнём не сыщешь.

Тогда, стоя возле прадедовой могилы, мы внимали прабабкиным словам, запоминали их, но не понимали. Понятие пришло, когда на наших щеках легли первые морщины, а глаза обрели прищур.

Для прабабки проповедь любви к тому же являлась иносказательной проповедью нестяжательства.

— Не по хотенью живите, а по любви: по любви женитесь, по любви работу выбирайте, по любви к народу тянитесь. И тогда взамен что ни получите — всё ладно. А почему? А потому: корысти в любви нет.

Умолкнув на минуту, она встряхивалась, как со сна, и вопрошала:

— Как Господь учил молиться Ему? — и читала нам, смотрящим ей в рот, «Отче наш». Дойдя до нужного места, суровела лицом, приподнимая крючковатый палец, велела: — Слушайте-ка, — и твёрдо произносила в данном случае наиглавнейшие слова: — Хлеб наш насущный даждь нам днесь, — и вновь умолкала, всматриваясь в наши доверчивые глазёнки. Помолчав, заканчивала: — Насущный — стало быть, на существование. Чтобы, стало быть, без препятствий жить, народ беречь, работу делать, детей растить. А больше хлеба похотите — препятствие объядится, эта самая корысть вас сосать учнёт. Хлеба больше — похочется им торговать да продавать против первой цены вдесятеро. На другое-то уж, на Божескую жизнь, силы не хватит. Любовь и кончится. А коли по всей земле люди добрые закорыстятся, любовь кинут, по хотенью жить учнут, что будет? А?.. Молчите?.. Ну, думайте...

И мы думали. Конечно, впоследствии, в лукавое наше время, не все из нас уверовали в Господа, но всё же послевоенное поколение продолжателей нашего рода в общем крепким оказалось. Лукавства не перенёс лишь Юрка. Не устоял перед государственной политикой, то осветлявшей людские сердца, то очернявшей их отчаянием. Спился Юрка. Пьяным замёрз в подворотне, не дойдя до подъезда с десятков шагов. Зато честь рода возвысил Андрюшка. Не прельстившись полковничьим званием, генеральской должностью и квартирой, забрал семью и из некоего суверенного государства, восхотевшего от него нерушимой присяги, пустился на Русь, на должность ротного, на частную квартиру. «Нерушимо то, что ни разу не нарушалось», — сказал.

* * *

Да, прост и прям Андрюшка...

Спускаясь с крыльца, я мысленно развожу руками: а каким ему быть, если сызмальства вокруг него всё было просто? Великая доброта людская была прямолинейна, как была прямолинейна и сама жизнь людей, среди которых росли мы, хайма. Неправда, что в трагические годы истории выживают только приспособленцы. Выживают и прямолинейные, и их выживает больше. В дальнейшем именно они несут в себе ту суть, которая величается духом нации, и передают её детям и внукам. Не было бы их — не было бы и Андрюшки, не было бы нашего народа, простого и прямолинейного.

Ветер, раскачав ёлки, падает в реку. Вода чернеет, и речка, весёлая, шаловливая, как не познавшая женской доли девушка-подросток, кажется глубокой и полноводной, трава по берегам — сочной, а коричневая корова на раздольной изумрудной лужине и бредущая к ней тётя Катя ощущаются заброшенными и одинокими.

В сознании мелькает видение прошлого: эта же залитая солнцем лужина, но по ней движется коровье стадо, а навстречу ему — гомонящая, сверкающая подоюниками толпа баб. Ружейным выстрелом раскатывается удар кнута — движение стада ускоряется, толпа тоже прибавляет шагу, коровы и женщины сближаются, смешиваются посредине лужины, жи-

вая масса из людей и животных замирает, и всё стихает — слышен только серебряный звон ударивших в подойники молочных струй, а через минуту доносится сладкий запах молока...

На мгновение, как в детстве, становится радостно. Чтобы подольше сохранить это чувство, я закрываю глаза, а открыв снова, вижу одинокую корову и бредущую к ней тёмную женскую фигуру. Радость тут же улетучивается. Только память о былом чуть пощипывает сердце. Мне хочется заплакать, но я окорачиваю себя: нельзя нюниться, слезливая, стенающая память может и руки отшибить, породить отвращение к созиданию. Память — тонкая категория. С нею можно и горы свернуть, а можно и в безысходности погибнуть.

И, подавив слабость, я приступаю к доступному сейчас активному труду: подхватываю ведро, шагаю к колодцу, кручу скрипучий ворот и без слезливости думаю: я лично — счастливый человек. Во-первых, потому, что во мне живо детство, а во-вторых, детство моё не было омрачено общением с половинчатыми людьми. Случалось, конечно, встречаться с людьми несчастными, но они не были сломлены своим несчастьем, воспринимали жизнь совестливо. Относясь к себе прямолинейно, без всяких скидок на бытиё, они и ко мне относились так же. Жестоковато, но честно. Как я теперь понимаю, неся в сердцах своих честь, воспринятую от дедов и прадедов, они, порой и бессознательно, желали, чтобы и я нёс её. Они, добрые люди моего детства, заботились о будущем.

Возможно, я отыскал бы ещё несколько причин личного счастья, но, совершенно очарованный второй, ни о чём другом не могу думать. Перед мысленным взором неспешной чередой движутся добрые люди моего детства, и я их с любовью разглядываю. Машинально вытягиваю из колодца полную бадью, переливаю в ведро воду, хватаю ведро за дужку, а ноги уж сами несут и несут меня вдоль по деревне, по заросшей высокой травой улице, мимо затянутой ряской большой лужи — бывшего пруда, мимо затаившихся в крапиве гнилых срубов, бывших когда-то избами, мимо невидимых в траве дыр — бывших колодцев, туда, туда, к директорскому саду, вернее, к трём-четырёх дремучим яблоням, оставшимся от него. Да, когда-то в нашей деревне была школа, имелся директор школы, который вырастил чудо-сад. Я желаю вновь ощутить горечь познания великого, так бескорыстно, откровенно и прямолинейно давным-давно подаренного мне.

Боёк



Нередко причина прозвища забыта накрепко не только односельчанами, но и самим носителем клички. Например, меня в детстве в деревне на улице кликали Жук. Ни я сам, ни сверстники, ни взрослые не могли объяснить, почему меня, белобрысого мальчонку, прозвали так. И глазки я не тарасил, и речь моя без изъянов, и росточком, повадками вроде бы удался, а вот поди же. И со многими так. Деревенского кузнеца Ваську

Чиркова кликали Казаком, а многочисленное потомство его — казаками да казачками, хотя сам Васька на удивление был тихим, благонравным

человеком, ни залихватских усов, ни серьги в ухе не носил, роста среднего, а войну провоевал в сапёрах. Были на деревне и Настасья-Царица, и Иван-Петух, и Семён-Долгие Полы, Наталья-Осока и даже Наталья-Тля — люди, ни по характеру, ни по внешнему виду прозвищам не соответствующие, работающие, душевные, чадолюбивые, люди как люди, друг дружке родня, ибо в нашей деревне обитали всего три фамилии: Чирковы, да Королёвы, да Стуловы. Да ещё директор школы Громов, пришлый фронтовик-офицер, лишившийся на войне глаза, а посему носивший уважительно-патриотическое прозвище — Ларионыч. Из всех деревенских только двое носили вполне объяснимые прозвища. Первая — баба Паня-Брянка, прабабкина невестка, мать Юрки, вывезенная прабабкиным сыном из брянских краёв, да Чиркова Марфенька-Троеручница. Про ту сказывали: одной рукой дарит, двумя — под себя гребёт.

Семёна Петровича Королёва на улице звали Бойком. В послевоенные времена было ему лет тридцать. Маленький, шупленький — шуплость эту даже я ощущал, — контуженный под Веной, он тем не менее бойкости ни в движениях, ни в поступках не выказывал и в речах был рассудителен до такой степени, что рассуждения вечно приводили его к сомнениям, а сомнения заводили в тупик. Бывало, ввечеру сядет на бревно между мужиков и рассуждает:

— И-и-косовье Катюхе Стуловой изладил — и-и-рупь. стакан ягодок к поезду и-и-снёс — ещё рупь. Тот и другой и-и-пропил. Выходит, проворить смыслу нету.

— Да ты кинь выпивать-то — смысл появится, — усмехается кто-нибудь из мужиков.

— Как кинуть?! — пугается Боёк. — Я кину, ты кинешь, и-и-он кинет, а и-и-где государству деньги брать, чтобы разруху и-и-ликвидировать? То-то и оно, куда ни кинь — всё и-и-клин.

Говорил он немного протяжно, распевая «и» перед словами — результат контузии. Мужики его речей не любили. Более всех горячился Петька Чирков, с которого к вечеру скатывала начальственность, и он на бревнах между всех всем становился и сват, и брат, и крёстный, что являлось одной из причин, по которой местный мужик редко выбирался председателем колхоза.

— Да как же ты, — трясёт возмущённо пустым рукавом Петька, — такой-рассякой, на фронте-то воевал?! Вот взводному был подарочек! Ему — ляг, а он встал, ему — налево, он — направо, ему — вперёд, а он — ду-у-умаёт.

— Ты и-и-слово мое не переиначивай, — отмахивается Боёк. — Мне военный порядок известен. Я отделенного да взводного и-и-крепко слушал. Две «Отваги» за то имею. А теперича и-и-рази война? Теперича и-и-мир, а ты теперича будто над взводом началуешь. Ты, и-и-бедова голова, почто по Широкиим Концам овёс высеял? И-и-сроду тамо-тко не сеяли. Ты бы его ещё по Марьиной горушке раскидал.

— Прикажут, — хорохорится Петька, — и по Марьиной раскидаем. Государству необходим фураж.

— И-и-государству с Концов не фураж — один убыток. И-и-дурак ты.

— Ах, ты так, так?! — ярится Петька.

— И-и-так, — вытягивает из себя Боёк и подытоживает: — И-и-нету председателя среди нас, а и ты не председатель. И-и-бядя!

Случалось, дело доходило чуть ли не до рукопашной. Кричали на всю деревню, но ни одного матерного слова не произносилось. Хочется ска-

зять, что послевоенная наша деревня, несмотря на все тяготы и неурядицы, матом не ругалась. Матерная брань в моё сознание вошла в городе. Помню в Москве на Таганке высоченного, в сером плаще, ломового извозчика, понукающего лошадей непонятными, но звонкими словами, — первое моё знакомство с сим творчеством. Боёк же, по сравнению с нашими мужиками, и вовсе был добропорядочным. Сколько я ни копался в памяти, но так и не вспомнил ни одного грубого слова, произнесённого им, даже эрзаца, заменявшего ругательство. Самое резкое, слетавшее с его языка, — «шут». Спорит, спорит ровнёхоньким голосом, перемежая тягучим «и» слова, почувствует полнейшее непонимание и махнёт рукой:

— А и-и-шут с вами, — и неспешно зашагает к дому, покачивая из стороны в сторону головой, как бы дивясь людской глупости. Незлобивым мужиком был Боёк. Но особенно он был добр к нам, хайме. Сидим мы, бывало, словно грачи, на Натальиной черёмухе, кормимся чёрной, вяжущей рот ягодой, а он подойдёт к стволу, голову в синей кепочке-восьмиклинке вскинет.

— И-и-кушаете? — спросит и, не дожидаясь ответа, велит: — Слезайте.

Слезем мы, а он из-за пазухи крыночку добудет, из кармана вылинявших солдатских галифе ложку вытянет, прикажет:

— В очередь и-и-стройтесь, — и примется нас мёдом оделять. Каждому по две ложки.

Потом заглянет в крыночку, оценит остаток.

— Вдругорядь стройтесь, — велит и ещё по ложке выделит.

Другие взрослые тоже не злые были, но Боёк всех превосходил добротой, потому что доброта его была практическая. Другие по голове погладят, верхом на лошади провезут, на лесосеку прихватят костры жечь, а этот вроде бы всё вершит, как другие, но в каждое дело добавит своё: то свежеиспечённого чёрного хлеба даст, то кружку парного молока заставит выпить. То полведра картошки в костре испечёт. Хайма любила его без оглядки. Нельзя сказать, что мы, послевоенные дети, пухли с голоду, но верно и другое: при виде еды в желудках наших начинался сущий бунт. Мы поедали всё съедобное в любых количествах, без уговоров и приговоров, так что любовь наша к Бойку имела двойную причину и была крепче другой, к какому-либо иному деревенскому мужику, хотя Боёк не в пример остальным бывшим фронтовикам никогда не прельщал нас рассказами про войну и на все уговоры отвечал твердо и однозначно:

— И-и-что про неё говорить? Война и война. Не приведи Бог. Сказки бы слушали, а то и-и-про войну им!..

Сущими праздниками для нас, хаймы, бывали дни, когда Настюха, жена Бойка, уходя на работу в поле, оставляла мужа домовничать. Бывало, ещё солнце не поднялось над прадедовыми рябинами, а Боёк уже стоит супротив своей избы, и длинная тень от него тянется поперёк улицы. На левой руке у него сидит Манька, на правой — Верка, двойняшки — единственная его прибыль от недолгой послевоенной семейной жизни. У правой ноги торчит верша, у левой, подстреленное солнечным лучом, горит оцинкованное ведро.

— Вас дожидается, — уточнит прабабка, взглянув в окно. — Ладно, ступайте. Хлебца с собой возьмите.

И вот уже налегке Боёк шагает вдоль по деревне. За ним все наши: Андрюшка, Юрка, Галька, Женька, Катюшка, Лидка, Мишка, Володька, Борька, Толька, Верка, Надька, я, и Женька директорский, и Петь-

ка с Колькой Чирковы-Полюхины, и Шурка с Витькой Чирковы-Марунины, и Сашка Чирков-Любанькин, и человек пять Королёвых-Натальиных, да ещё Серёжка Королёв-Антонидин — этот совсем большой, тащит на руках бойковских двойняшек. Лишь стуловской хаймы среди нас нет. Все пятеро ещё неженатых Стуловых вместе с мужем тёти Кати, дядей Поликарпом, погибли на войне.

Путь наш лежит через всю деревню, через глубокий Костинский овраг, вдоль Широких Концов на берег реки, на место, именуемое Летней речкой. Существуют и другие места: Зимняя речка, Капустники, Тростники, Блиново, Черногрязь, Подгорка — но все они нам не подходят. Мы собрались не просто купаться, но и подкормиться, а это без особых усилий можно сделать только на Летней речке.

А солнце уже взобралось на прадедовы рябины. Стриженую макушку припекает, но трава ещё серебрится росой, а земля на стопинке влажная и холодит босые ноги. От деревни до Широких Концов стопинка — поповская. У Широких Концов она разделяется на две — кутинскую и карпинскую. Кутинская бежит влево, к Кутину, карпинская прямит по берегу в Карпино. Здесь Боёк назначает привал. Хайма разбредается по взлобкам заливного луга, выщипывает из травы землянику и ест. Боёк, усадив дочерей на кинутую в траву телогрейку, курит. Нет-нет кто-нибудь из старшей хаймы подбежит к ним и то Маньке, то Верке запихнёт в рот горсть ягод. Так с полчаса продолжается. Затем команда:

— И-и-пошли! — И колонна, возглавляемая Бойком, вышагивает по карпинской стопинке.

А солнце высоко поднялось, крепко греет. С травы исчезает серебристый налёт, и она начинает густо пахнуть. Кажется, благоухает каждая травиночка, каждый цветок. Запах чуть горьковатый, и только фиалки, растущие табунками, подслащают его. Но вот в аромат разнотравья вливается пряность ближайшего елового леса — у меня свербит в носу, у Маньки из зелёных глазок текут слёзки, Верка чихает. Боёк велит:

— И-и-стойте, голова кружится.

Сойдя со стопинки, он усаживается в траву, трёт лоб, глядит вверх. Словно по команде, все тоже задирают головы: над овсами в небе, раскинув крылья, ширяет коршун, и кажется мне, он внюхивается в запахи, исходящие от земли.

— Летает, и-и-фашист, — порицает коршуна Боёк.

Мы, хайма, молча взираем на птицу. Хотя война до нашей деревеньки не дошла вёрст тридцать, никто из нас её не знает, сравнение коршуна с фашистом нам понятно. Даже мне, родившемуся через девять дней после войны. При слове «война» мне видится что-то иссиня-чёрное, выше избы нашей, выше прадедовой берёзы, грозное, неумолимое, по сравнению с чем я — букашка. Точь-в-точь как грозная туча в целое небо, когда от ужаса перед её неумолимостью хочется заплакать, убежать в избу, забиться в запечье, пахнущее старой овчиной. В сознании взрослых и нас, малышей, война была не чем-то просто ужасным, отгрохотавшим и уползшим за горизонт, но испытанием, которое никогда не повторится. Все верили, что этой войной навсегда выкуплен мир, и даже обычное парение коршуна у нас порождало злобу: всё живое в нашем сознании резко делилось на мирно живущее и посягающее на чужую жизнь.

— А и пуцай и-и-летает, — отворачивается от коршуна Боёк и спрашивает: — Есть хотите?

— Хотим! — хором отвечаем мы.

— Хоцю-ю! — лыбит тугие щёчки Верка.

— Ну дак и-и-встали! — командует сам себе Боёк.

Стопинка с бугра устремляется вниз. Скорым шагом мы минуем орешник, овражек, поросший ольхой, и выходим на луговину, усаженную коровьими блинами. За луговиной широкая лента жёлтого песка. За песком на перекате журчит речка. Издали глянуть — вода в ней синяя, а с песка кажется розовой от устилающих дно красноватых камней.

Я опускаюсь на колени и пригоршнями жадно пью воду, пью, пью; мне чудится, она припахивает малиной.

— И-и-скидай портки! — распоряжается Боёк.

И начинается весёлая работа: Боёк, Серёжка и Юрка, все в чёрных длиннющих сатиновых трусах, лезут в речку, перегораживают быстрину плотинкой из мелких камней, в середине, в проходе укладывают вершу, навалив на неё несколько крупных валунов. Хайма в ивняке ломает суши-няк. Мы, я и Верка с Манькой, хозяйствуем: из ведра добываем тряпицу с солью, четыре сырых яйца, масло льняное в четвертинке, глубокий таган о четырёх ножках и ложки. Из узелков, разбросанных по песку, — хлеб. Всё складываем на Бойковы галифе и усаживаемся в приятном ожидании. Есть хочется. Рождённые в сороковых годах, наверное, и по сию пору помнят то чувство голода, когда и перед едой, и за едой, и после еды одинаково хотелось есть, когда тело стремительно росло и количество пищи не могло заменить её качества.

— Рыбки там? — спрашивает Манька, тыча пальчиком в сторону реки.

— Там, — кивает Верка. — Папанька наловит — кушать станем. Я — с хлебом.

— И я — с хлебом, — кивает Манька.

— Хлеба помене кусай, рыбки — поболе, — наставляет Верка. — Папанька много наловит.

Между тем троица рыбаков вылезает на берег. Серёжка речным песком чистит таган, Юрка складывает костерок. Боёк устанавливает таган на камни над хворостом, и все усаживаются вокруг. Купаться нельзя — рыба перепугается.

— И-и-покурю — вынем, — кивает на вершу Боёк.

Цигарку он сворачивает длиннущую, долго оглаживая, охорашивая, проверяет, не сыплется ли махорка, крепко ли заклеилась бумага. Приподняв плечи, закуривает. Курение происходит с причмокиванием и вздохами. Ничего более длительного я в своей жизни не переживал. И пять минут курит Боёк, и десять. Уже кажется, что и рыба из верши разбежалась. В животе урчит. От вида хлеба, разложенного на Бойковых штанах, у хаймы текут слюнки. Верка, подобравшись к хлебушку, отщипывает от краюхи, а Боёк всё курит.

— Тащить, что ли? — спрашивает Серёжка.

— И-и-погоди, — хмурится Боёк.

Но вот огромная цигарка докурена. Боёк берёт ведро и вместе с Серёжкой идёт к речке. Мы видим, как он из воды вынимает вершу, трясёт её и, словно новёхонькие гривенники, в ведро сыплется рыба мелочь. А Юрка уже чиркает спичкой, и из-под тагана тянет горько-кислым дымком.

Вернувшись к костру, Боёк в таган наливает масла. Серёжка с ведром в руках ждёт, покуда масло закипит, а когда оно начинает пузыриться, сыплет из ведра в таган рыбок чуть побольше моего пальца — пескариков, как мы их называем. Боёк щедро солит кушанье и, пока ещё рыбки сырые, перемешивает их. Хворост под таганом ярко пылает. Рыба шипит.

Минут через пять Боёк вбивает в неё два яйца, и скоро первая порция готова. Таган снимается с огня, ставится на песок. Все усаживаются вокруг с хлебом, ложками и ждут, когда еда чуть остынет.

— И-и-ешьте, — командует наконец Боёк.

Сам он не ест. Кормит Маньку с Веркой и, только когда обнажается масляное дно тагана, выскрёбывает поджарки, облизывает ложку, свёртывает сигарку и лениво, будто один всё съел, закуривает.

— И-и-денег бы поболее, — сообщает, испутив из ноздрей сизый дым, — я бы вас, и-и-хайму, каждый день колбасой и-и-кормил.

Будучи добрым в простом, обыденном понимании доброты, Боёк обладал и другой её разновидностью. Мне в нежном возрасте посчастливилось познать её. Я до сих пор помню: дело было в воскресенье, прабабка ушла в Родионово к родне, и по сему случаю нам, хайме, вышло послабление. С утра бездельничали, и, думаю, именно безделье завело меня в директорский сад. Помню яблоню-папировку, огромную, разлапистую, и яблоки, вызревшие до такой степени, что поднеси к глазу — и сквозь них видно солнце.

Я до оскомины яблок наелся, полную пазуху набил. Сквозь дыру в тычняке вылез из сада. Вышагиваю по стопинке, мечтаю: домашних оделю яблоками и прабабке дам. Правда, у неё зубов нет, но она яблоки в чай крошить станет.

Вывернул из-за угла, а на дороге — Боёк, пальцем манит: иди сюда. Ну, думаю, сейчас яблочка попросит, надо дать.

— В сад и-и-лазил? — спрашивает.

— Лазил.

— Набрал и-и-яблок-то?

— Набрал.

— И-и-дак подойди ближе.

Подошёл я. А он меня за шиворот — хватъ, голову мою между сапог пристроил, на ремне его военном бляха клацнула, и вот уже по тому месту, откуда у меня ноги растут, удар, ещё удар, ещё, ещё... кричу я, ручонками Бойка за колени цапаю, пытаюсь выдернуть голову и между тем слышу:

— И-и-не бери... не бери... и-и-чужого... не смей... и-и-не смей...

Домой я прибыл без яблок, заплаканный, и ну жалиться на Бойка. А прабабка молча вывела меня на улицу.

Не помню, как шли мы по деревне к Бойкову дому. Помню только: возле елового бревна с топором в руке стоит Боёк, и прабабка, сухоньким кулачком тыча меня в спину, зудит в ухо:

— Кланяйся, кланяйся, сердешный, скажи, громко скажи, скажи: Семён Петров, спаси Христос тебя за науку.

* * *

Вот он, директорский сад, вернее, то, что от него осталось: три разлапистые яблони, аккуратно через год на другой рождающие мелкие яблочки, гнилой угловой столб ограды, яма, заросшая крапивой, — бывший пруд и сухая, чёрная, словно обугленная, слива.

Ставлю ведро на землю. Вода в нём плещется, отражая мёртвые сучья.

Жду, покуда вода успокоится, а когда действительность и отражение становятся одинаковым, шагаю к месту, где стоял директорский дом. По

дороге сворачиваю к яблоням и, протянувши руку к красному, с оранжевым бочком, яблоку, останавливаю себя — как мне считать теперь: чужое оно или нет, а мой поступок — воровство или не воровство?

Задача кажется трудной, а минуты через две и вовсе неразрешимой. Усевшись в траву, я долго соображаю: кому яблоки принадлежат теперь? Не пережив закрытия школы, директор Громов лет пятнадцать назад умер. Его жена, учительница, скончалась раньше. Сын Женька по-прежнему живёт в южном городе, фотографирует отдыхающих на пляже. За цветную фотокарточку пятнадцать лет назад он брал пять рублей. Сейчас берёт, наверное, больше, и живётся ему неплохо. «Видал я эту деревню в натуре», — выразился он пятнадцать лет назад и уехал, как говорится, «с концами» — дом отцовский без присмотра сгнил и развалился.

«Ты меня в этой жизни продолжишь», — неожиданно вспомнил я обращение отца к сыну из какого-то ли стихотворения, то ли поэмы, и прикидываю: Женька — продолжение директора Громова? С одной стороны, продолжение, с другой... Я вспоминаю свою прошедшую жизнь, вспоминаю известное мне из жизни моих предков, всех наших деревенских, отживших на этой земле, и получается, что в прошлые времена дети вырастали либо вровень родителям, либо, превосходя их, занимали более значительные места в жизни. На мой взгляд, не было спада в движении по социальной лестнице, а сама социальная почва была нерушима, являясь крепкой опорой для прыжков вверх или твёрдым, здоровым местом для не желающих порывать с ней. Ныне эта твердая, нерушимая, здоровая основа превратилась как бы в трясины, прикрытая для отвода глаз весёленькой зелёной травкой, и наши дети, внуки, ступив в сторону от родного очага, проваливаются. Уже не редкость, когда у хлебороба сын не хлебороб, у рабочего — не рабочий, но и не учитель, не художник, не музыкант, не инженер, не офицер, не чиновник, а — собиратель пустых бутылок, вышибала в ресторане, скупщик и продавец краденого у государства, изготовитель липовых вин и вообще представитель разных других экзотических профессий, которые человеку, воспитанному на твёрдой социальной почве, и в страшном сне не привидятся. На мой взгляд, получается, что большинство родившихся на этой теперь уже зыбкой почве проваливаются вниз, малая часть кое-как удерживается, и почти уже никто не способен продвинуться вверх. Нарушилась связь верхних социальных слоёв с почвой, они стали беспочвенны, нетрадиционны, и теперь воспроизводят сами себя, всё больше и больше становясь очищенными от почвы. Народ своей кровью перестал возрождать эти слои, перестал одухотворять своим духом.

«Что же воздвиглось на русской земле? — спрашиваю я себя. — И чей на вершине храм?»

Яблоко я оставляю на ветке. Возвращаюсь под мёртвую сливу, встаю на колени перед ведром и пью, пью воду. Вместе с колодезной глубинной влагой в меня вливается покой. Встаю, оглядываюсь на две бревенчатые стены с тремя пустыми окнами — остаток от директорского дома, — и мне чудится привыкший командовать голос Ларионьча: «Порядок в танковых войсках!»

Как в детстве, от этого голоса во мне вздымается бодрость, я начинаю гордиться собой, как будто лично утвердил тот крепкий порядок, неведомый мне, но по радости, звучащей в голосе директора, воспринимаемый мной именно как радость, которую никто, ничто и никогда не омрачит, ибо ей есть несокрушимая защита: прабабка, дядья, тётки,

мать, отец, все наши деревенские и, наконец, сам директор школы Громов, у которого такие сильные руки и могучий голос.

Оглядываюсь на яблоню, и звук громовского голоса во мне затихает, а вместе с ним улечучивается и радость. Висит себе яблочко, посверкивая оранжевым бочком, а как взять его, по какому праву — неясно. И не взять вроде бы грешно: вот-вот сорвётся с ветки и сгниёт без всякой пользы.

— Какой уж тут порядок! — отвечаю директору, подхватываю ведро и выхожу из сада.

Мне кажется: ещё минуту, и я, не выдержав искушения, сорву яблоко, надкушу и... Возможно, мне снова станет весело. Но эта весёлость будет другая, не созвучная тону покойного директора, и я уже не буду я...

С глаз долой — из сердца вон: выбежал я из сада да и забыл про яблоко. Взору иное открылось — иному раскрылась и душа. Ветер сизой тучкой солнце умыл, тучку за горизонт вытолкал, взвился — небо просушил и упал в луговую траву, вскипела трава и успокоилась. Тихо стало. Два цвета в мире осталось — лазурь небесная над головой и зелень травяная под ногами, а я между ними словно бы плыву с ведром. Солнышко спину греет. Покойно мне. Возле своей избы на берёзовом бревне под развесистым лопухом сидит Боёк в синей телогрейке, подбородок в кулак защемил. Вот, думаю, подойду, а он: «и-и-медку скушай» — и крыночку из-за пазухи вынет...

А он:

— И-и-по воду ходил?

Киваю:

— По воду.

— Ну садись, и-и-покурим, — вымолвил обычным тоном, словно мы вчера виделись. Своего табаку не достаёт, моего дожидается.

Протягиваю «Казбек».

— Почём? — интересуется.

— По тридцать.

— И-и-бить их некому! — возмущается теми, кто торгует. Разминая папиросу, добавляет: — И тебя и-и-высечь не грех.

— Меня-то за что? — удивляюсь.

— А и-и-не покупай у спекулянтов, не покупай.

— Курить-то хочется, — отвечаю.

— Вестимо. А мне не хочется? А я вот и-и-самосад курю. Две грядки посеял — и-и-на год хватит. — Словно опомнившись, возвращает мне папироску. — На, — и достаёт пластмассовую мыльницу, сложенную гармошкой газетку. — Закуривай, — разрешает. — И-и-неворованное.

Сунув папироску в пачку, скручиваю сигарку.

— На людях неудобно крутить, — оправдываюсь.

— Неудобно, когда на людях и-и-сквозь ширинку подштанники видеть.

Прикурив, представляю, как бы я скручивал сигарки в редакциях или в ресторане ЦДЛ. Вспоминаю, что в редакциях и в ресторане все курят купленное у спекулянтов и совестью не мучаются.

— Хорошо тебе рассуждать, — оправдываю себя и всех. — Взял да посеял. А мне где прикажешь табак сажать?

— А хоть и-и-на балконе. А не получится — бросай курить. Время настало, и-и-как в войну: спекулянтам потрафляешь — супротивничаешь и-и-народу.

— Ишь ты какой стал! — пытаюсь улыбнуться.

— Я и-и-всегда такой. Ты почто приехал?

Как могу, объясняю, что кипучее городское житьё-бытьё гнетёт мысли, застит истину, что, по-моему, скоро расторгнется Время и мы окажемся вне Истории. Сюда приехал, дабы душа с разумом повязалась. Говорю, а сам разглядываю Бойка: как же он постарел! Сидит на бревнышке старичок-сморчок, лысина гладкая, а личико что прошлолетошная картофелина: скукоженное, серо-коричневое, между глубоких морщин серебряные кустики щетины. Под телогрейкой ниже холки горбик выпирает. Но руки крепкие, ухватистые, — в пальцах сигарка не дрожит: когда на бумажку табак сыпал — крошки не уронил.

— И-и-вестимо, — отвечает, — со стороны всё ясней глянется. Избу-то обходишь — заходи. Чай, и-и-бутылку привёз?

— Привёз, — киваю.

— Во, — оживляется, — ты мне и-и-стаканчик, я тебе — умное слово.

— Ладно, — говорю, а сам, нагнувшись, в лысину Бойка — чмок.

Оглянулся на него уже от своей избы. Сидит Боёк на брёвнышке, гладит лысину. А уж от своей калитки тётя Катя Стулова призывно машет.

Ставлю ведро подле крыльца и перехожу улицу.

— Зайди, — низким голосом гудит тётя Катя, — тёпленького молочка с хлебцем поешь. А боле сладенького у меня ничего нет.

Тётя Катя



Памятен мне этот возглас. Бывало, движется тётя Катя вдоль по деревне от магазина, несёт, прижав к высокой груди, кулёк конфет-подушечек, а навстречу мы, хайма, племя многочисленное и несытое. Тому конфетинку даст, другому, третьему, всех оделит — уж пуст кулёк, а тут жеребёнком пылит по стопинке ещё какой-нибудь отпрыск чирковского рода.

— И мне, и мне! — вопит требовательно на всю улицу.

— А боле сладенького-то у меня ничего нет, — свиноватит лицо тётя Катя. — Может, селёдки масляной хошь?.. Пойдём, дам.

Или спозаранок она отправится по малину. Солнце только к рябине поднимется, а мы, хайма, уже ждём её. Потому что тётя Катя — признанная «лесовичка»: малиновые места шибко знает и меньше ведра не принесёт. Всем хватит малинки. Есть её мы будем в блюде мятую, с молоком, и непременно деревянными ложками, ибо «дерево не киснет и не отбивает природный вкус». Выхлебаем молочно-малиновую тюрю, оближем ложки и услышим знакомое виноватое:

— А сладенького-то у меня боле ничего нет. Может, грибков, рыжиков солёных, с лучком закусите?

После молочно-малиновой тюри шли в дело и грибы. Бывало, вернувшись домой, ещё и варёной картошки с постным маслом накушаемся, и ничего — животы не болели.

Всю силу недолюбившего сердца и весь материальный достаток тётя Катя истрачивала на чужих детей. Судьба с ней поступила жестоко. После

войны ей перевалило уже за сорок лет, но к тому времени у этой ещё могучей и душой и телом женщины родных не осталось, не в кого было вкладывать свою жизнь — все Стуловы, пятеро сыновей и муж, погибли. Она же была вывезена мужем из тверских краёв, где вроде бы жила сестра, тоже обездоленная войной, вдовая и одинокая.

В молодости тётя Катя была, как говорится, женщина-гранадёр. Под два метра ростом, широкая, но в то же время складная, лёгкая в движениях и походке. А и красивая же была она! Даже я, пятилеток, чувствовал силу её вызревшей красоты, которую не портила повседневная женская одежда того времени: военного образца ветхая телогрейка, вылинявшая бумазейная юбка, рыжие кирзовые сапоги и серый, в чёрную крапинку, полушалок. Стоило ей только появиться перед людьми, как правильная её телесная красота словно бы понуждала народ творить правильное: мужики тут же отрешались от бабьей сварливости, а бабы стеснялись злословить друг о дружке, в чём порой бывали великие мастерицы. Мы, дети, в таких случаях, конечно, оставались детьми, хотя внутренне затаивались, подспудно понимая: пред наши взоры выступило что-то неоспоримо настоящее и требует к себе почтения.

Благодаря своей поистине мужской силе тётя Катя в колхозе работала вровень с мужиками, а в связи с особой телесной и душевной правильностью выполняла работу, доверяемую особенным мужикам, сердечным, старательным, чистоплотным, расценивающим сию работу не просто как обычный труд, но как мирское служение. Тётя Катя блюла как зеницу ока десяток лошадей, была хранителем этого маленького табунка, единственным и бессменным колхозным конюхом, причём в годы послевоенного разорения обязанности её выходили далеко за рамки простого ведения конюшни. Она являлась и коновалом, и заготовителем кормов, и пастухом, а при необходимости и ремонтёром. И, как теперь я понимаю, эта разноликая работа у неё спорилась: послевоенные колхозные лошадки — смесь всех мыслимых лошадиных кровей — были сыто пузатенькими и игривыми, несмотря на каждодневный поистине лошадиный труд. Мы, хайма, тётя Кате посильно помогали: жерди на ясли рубить, сено ворошить и возить, стойла чистить. По сю пору, учуяв запах конского навоза, я вновь и вновь переживаю тот детский бескорыстный и благословенный трудовой восторг, когда работалось не ради выгоды, но чтобы «лошадкам потрафить».

— Она, лошадка-то, на чистом-то свободней стоит, — поучала тётя Катя. — Дышится ей легче, слаще отдыхается. А отдохнёт получше — чуток лишнего ей на воз смело клади, она всё сvezёт. Лошадка-то заботу чувствует и по заботе благодарит.

Более же всего любили мы ездить в ночное. Бывало, зайдёт тётя Катя в нашу избу, присядет на табуретку, спросит прабабку:

— Нешто мне хайму твою на ночь с собой взять?

— А и возьми, — тут же согласится прабабка, но тут же соблюдёт и собственный интерес: — Пушай там веников нарежут — избу нечем мести.

И начинаются сборы. Юрка снимает с гвоздя овчинный тулупчик и две телогрейки, девчонки из комода достают вязаные кофтёнки, Андрюшка усаживается точить нож, коим предполагается срезать берёзовые ветки, а прабабка лезет в подпол, набирает картошки, сквозь воронку в бутылки наливает молоко и затыкает их свёрнутыми из газеты пробками, — это еда на ужин и на завтрак.

— Вернётесь — я вам хлеба дам, — сулит. — А к вечеру блинов напеку, станете их макать в маслице. — И наставляет: — Валерке на ночь платочек повяжите — как бы не остыла головёнка-то.

В дорогу мы трогаемся на закате от колхозной конюшни. Впереди Юрка гонит табунок, сзади — окружённая хаймой телега. Я и ещё двое малышней сидим в телеге на расстеленном тулупчике. Я держу вожжи — правлю смирной буланой кобылкой Волной. Та шагает смирно, на задних ляжках под блестящей кожей то проступают, то пропадают кровеносные сосуды. Что-то тренькает в тележном передке, и кажется, будто позванивает колокольчик. На западе с мерклого неба уже стекла на поле сиреневая хмарь, и поле затаилось. Сиреневая, разогретая за день солнцем рожь стеной стоит. Воздух пахнет дорожной пылью, лошаадьми, сбруей, тёплым колосом и ещё чем-то, чему нет названия, но что — главный запах, ибо именно он воссоединяет всё, рождая восторженную нежность к полю, к дороге, к моим попутчикам, к лошаадям, к постеленной на телеге мягкой овчине, к деревне, рдеющей в свете заката дранью крыш, подпирающей небо печными дымами.

Путь наш лежит за поле, за лес, на луговину, именуемую Ремезовским кордоном, к светлому озеру, в котором водятся караси. Дорога недалняя, но в детстве казавшаяся далёкой: время и расстояния в детстве растянуты удивительно.

Когда, обогнув поле, дорога втягивается в лес, под сердце подкатывается сладкий ужас и терзает маленькое тельце. Мы, трое сидящих в телеге, сдвигаемся друг к дружке и тарашим глазки на протянутые к дороге еловые лапы. Кажется нам, что мы совершенно не защищены: дорога узкая, табунок где-то впереди топочет, тётя Катя со взрослой хаймой плетутся сзади и, бывает, за поворотом скрываются, мы совершенно одни, и чудится: из-за сумрачных ёлок кто-то на нас смотрит, и вот-вот вместо еловой лапы вытянется корявая рука, схватит за шиворот и утащит к Лешему, к Бабе-яге, в неведомую нам, но живо представляемую, отгороженную от живого леса буреломами Сон-страну, к Мальчику-болванчику, который за баловство и ослушание попал туда и стоит там сонным пеньком веки вечные. А грешков у каждого из троих достаточно: к примеру, Надька на прошлой неделе с судинки из-под полотенца пышку стянула, а за воровство прабабка кошку выдрала. Я, когда горло болело, тайком холодную воду пил. А Мишка даже пробовал закурить папироску, найденную возле магазина. Милый Боженька, пожалей нас! Раньше бы упомянуть грешное да не ездить бы. Сидеть бы теперь на печке да сверчка слушать — хорошо...

А дорога вьётся и вьётся, а еловые лапы всё ближе и ближе. Одна цепляется за другую и со свистом рассекает воздух над головой, — от макушки по шее, к пояснице, сыплются мурашки. Тётя Катя, словно почуяв наш страх, нагоняет телегу, взрослая хайма бежит за ней.

А тут и лес кончается. Ёлки расступаются, и вместо лесного сумрака взору предстаёт широкий-преширокий луг, справа на дальнем конце его отсвечивает алой зарёй озеро.

Мы прибываем к трём кряжистым берёзам — единственному, что осталось от хутора-выселка с тех пор, как крестьянство позвали на отруб. Всё кануло во времени: и хутор, и многочисленные Ремезовы. Лишь еле горбатится луговина на том месте, где стоял пятистенный дом. Да вот, на сколько хватит людской памяти, имя месту осталось.

А ещё люди говорят, что старший Ремезов между берёз зарыл чугунок с тысячью царских золотых червонцев. Говорят, но не ищут, ибо

Ремезов наложил зарок: постороннему клад поддастся лишь через сто лет, если ни внуки, ни правнуки его не объявятся. Будто бы двое пытали клад, но не выпытали: до войны Марфенька-Троеручница, после войны Петька Чирков, и оба в назидание всем были наказаны: Марфенька стала косить левым глазом, а Петьку между берёз нашли таким пьяным, что выхаживали с неделю, и уму непостижимо, как он жив остался.

— А что, тётя Катя, — спрашивает почти взрослый Юрка, — правда, Марфенька тут копала?

— Не успела. Сказывала: заступ только устала. Тут её сзади и обняло. Само холодное, а жаром дышит. Вырвалась она, побежала вкруг озера, мимо Любятина, без роздыху почитай шесть вёрст.

— А Петька?

— Тот толком ничего не помнит. Пришёл под берёзы, сел покурить. Очнулся в избе, дома.

По спокойному, почти ленивому тону трудно угадать, верит в сказанное тётя Катя или не верит. Я сижу в телеге, размышляю, стоит мне бояться или нет, и решаю: не стоит, потому что тётя Катя очень любит и бережёт лошадок и нас, хайму, и, следовательно, ни за что бы не отправилась на этот кордон, если бы тут было упрятано золото. И она, словно бы угадав мои мысли, восклицает:

— Мало ли что люди говорят! Да на кой нам это золото!

Между тем Юрка распрягает Волну, берёт с телеги вершу и гонит табунок к пруду поить. Я, Мишка и Надька, кряхтя, сползаем с телеги. При нашем росте это дело трудное: мы ложимся животами на овчину, спускаем ноги, нащупываем ими ступицу колеса и, только утвердившись на ней, осмеливаемся прыгнуть на землю. При запряжённой лошади самим слезать с телеги запрещается.

А Андрюшка уж добыл из корзины наточенный ножик и возвещает с распевкой, по-взрослому:

— Утром заспимся. Пока не стемнело, пойду веники резать.

— Ступай, — откликается тётя Катя. — Лидку с Толькой возьми. Сам режь, они таскать будут. — И снимает с телеги тулупчик, корзину с картошкой, другую — с прочей провизией.

— Ты, ты и ты, — тычет в нас пальцем, — дрова таскать. А вы несите солому. Будете на соломе спать. Тепло на ней, как на печке.

Путь до скирды не близкий. Надобно луг перейти, обогнуть ольховую рощицу и только там, на краю ржаного поля, стоит скирда. Мы, семь-восемь ребяташек, движемся кучкой. Роса ещё не пала на травы. Тихо на лугу. Лишь бешено кружит над нашими головами не угомонившийся слепень да за спиной в лесу часто-часто вскрикивает кукушка, словно спешит напеться до темноты. Ночь накатывается. Небо над лугом стало уже тёмно-синим, а трава по опушкам переняла у леса тёмно-серый цвет, и кажется, что лес на луг надвинулся и луг сделался узким.

Скирда, отгороженная от заката ольховой рощей, почти чёрная. Проплогодняя солома слежалась, выдёргивать её из бока скирды трудно, к тому же хайма боится мышей. Я их не боюсь: по мне, нет зверьков более добрых и сообразительных. В избе за печкой я знакомую мышшь подкармливаю, подолгу наблюдаю, как та, обгрызая корку, примеривает её к щели между половицами, чтобы утащить в подпол. Я первый подступаю к скирде и с силой дёргаю скользящие в ладони стебли. Взбодрённая моей смелостью, сопя, приступает к работе вся команда.

Когда мы, нагруженные соломой, возвращаемся к берёзам, уже темно. Горит костёр. Андрюшка с помощниками перебирает берёзовые ветки, Юрка стреножит лошадей, слышно, как он уговаривает кобылку:

— Ну, Волна, ну, ножку, ножку.

Тётя Катя, сбросив на плечи платок, гребёнкой чешет волосы.

— Долго вы, — говорит, — я уж собиралась искать. — И восклицает: — Гляньте, Валерка-то мал-мал, а беремья вон какое принёс! Ну садитесь, садитесь. Костёр нагорит — картошку печь станем.

Я счастлив, что меня похвалили. Гордо подхожу к огню, сбрасываю вязанку соломы в траву, усаживаюсь на неё. Остальная хайма тоже рассаживается вокруг огня и глядит, как тётя Катя заплетает косу, укладывает её в пучок, закалывает шпильками.

Без платка тётя Катя ещё красивой. Как на иконах: лоб высокий, лицо чуть вытянуто вниз, губы сердечком. Но более всего меня поражают цвета спелой ржи волосы, большие зелёные глаза и над ними густые смоляные брови. Однажды я по детской наивной смелости пальчик посянул, потёр её бровь и озадаченный уставился на пальчик.

— Что, — хохотнула тётя Катя, — думал, угольком черню? Нет, свои, свои, природные.

Из темноты выходит Юрка и продолжает прерванный нашим приходом разговор:

— Выходит, немцев тут не было?

— Не было, не было, — кивает тётя Катя, повязывая платок. — Не дошли. Верно, самолёты летали, из орудиев слышно пуляли, а так нет. Но видеть я их видала.

— Расскажи, — канючит Толька, — расскажи.

— Да что рассказывать? Люди как люди.

— В железных касках с рожками? — спрашивает кто-то.

— Не. В штанах. Кажись, в зелёных. А поверху кто в майке, кто в рубашке бязевой.

— В сапогах?

— Вроде бы так.

— С автоматами?

— Не заметила, не до того было. Мы с баушкой вашей недалече, за Кутино, по малину ходили. Идём по дороге-то, слышим — тарыхтит. Мы — в ольшаник. Глядь — мотоциклов с колясками штук с пять, а на них — немцы. Остановились. Гогочут, как гуси, руками машут. Дале ехать или вертаться? Ну, мы с баушкой-то натерпелись страху.

— Видели они вас?

— Они — нет, да пушка у них на коляске. Дулище-то — во. В нас с баушкой выставилось. Ну-ка, думаем, в нас ненароком грохнет?

— Это не пушка, — возражает Юрка, — а пулемёт.

— Ну да! — в свою очередь возражает тётя Катя. — Будто я пулемётов не знаю. Пулемёт, он, чай, тоненький, а у этого дулище-то... — Она в стороны разводит руками, и я представляю нечто огромное, страшное, наподобие бревна, сделанное из железа.

— А дальше? — не терпится Тольке.

— А дальше — они восвосяси поехали, а мы по малину пошли.

— И всё? — сопротивляется краткости рассказа Толька.

— Всё.

У Лидки рассказ порождает естественную ассоциацию.

— А ну как волк выскочит? — громким шёпотом спрашивает она и нервно поводит плечиками.

— Да что ты! — отмахивается тётя Катя. — Эвона лето-то какое. Волк нынче сыт.

— А что волк ест?

— Всё подряд.

— И зайчиков? — плаксиво вопрошает Лидка.

Тётя Катя задумывается и решительно отвечает:

— У зайца ноги долги, его разве догонишь. Волк ест больше лягушек. Лягушка — прыг, а волк-то её — хватя.

Я облегчённо вздыхаю: мне лично лягушек меньше жалко.

У Борьки свои ассоциации.

— Есть хочется, — сообщает он и обиженно пыхтит.

— А и правда, — соглашается тётя Катя. — Заговорились мы, ой, заговорились. Юрка, картошку в костер сыпь.

И начинается самая приятная работа. Юрка палкой раздвигает пламя, сыплет картошку, заваливает её раскалёнными углями. Андрюшка — обладатель острого ножика — на овчине режет хлеб, Галька с телеги берёт лук, Лидка приносит соль в бумажном кулёчке, а Борька уж наготове сидит: в одной руке кружку держит, в другой — бутылку молока. Бурная деятельность длится три-четыре минуты и стихает.

— Теперича, — наставляет тётя Катя, — подождём чуток. Юрка, смотри, как бы картошка не выгорела.

В ожидании все смолкают. Слышно только, как трещат дрова, выстреливая в небо пучки искр, и мне кажется, что самые крупные искры долетают до звёзд.

Сзади слышится перестук копыт. Волна, мелко переступая спутанными передними ногами, подходит к костру, дышит в мою макушку. Голове жарко, волосы становятся мокрыми. Я отираю голову, а Волна, ласкаясь, слегка прикусывает ладонь...

— Не лошадь, а чисто собака, — ворчливо говорит тётя Катя. — Это она хлеб унюхала. Не уйдёт, пока не дадим. — И солит горбушку и протягивает мне, а я протягиваю кобыле. Та мягкими, словно бархатными губами принимает хлеб.

— Поспела картошка-то! — возглашает тётя Катя.

Юрка полкой принимается выпихивать картофелины из костра. Они, покрытые пеплом, дымясь, лежат горкой, стыннут, а мне кажется, что в мире больше уже ничем не пахнет, как только картошкой.

— Есть хочется! — заводит Борька.

И начинается пир. Мне достаётся штук пять больших картофелин. Одну за другой, не чистя, я их разламываю, присыпаю солью и поедаю вместе с пеплом, приставшими угольками, прикусывая сладким прабабкиным луком.

— Наелся! — возглашает Борька и получает кусок чёрного хлеба и полкружки молока.

Я тоже получаю молочную порцию, выпиваю, а уж потом жую хлеб, как десерт, как в последующие сытые годы пирожное, не спеша, даже лениво довершая еду.

— А боле сладенького-то у меня ничего нету, — говорит тётя Катя и командует: — Стелитесь спать.

Нам, трём-четырёх самым маленьким, постель стелется под телегой. Когда хайма укладывается, тётя Катя обходит всех, каждого крестит,

целует в лоб и садится возле огня спиной к телеге. Я лежу на боку под овчинным тулупчиком и сквозь колёсные спицы наблюдаю, как она в холщовый мешок укладывает оставшийся хлеб, в корзинку — лук, травой вытирает кружки, время от времени подбрасывая в костёр сучок-другой. На фоне пляшущего пламени фигура её кажется богатырской, и я ни волков, ни медведей не боюсь, потому что рядом сидит тётя Катя. Она нас, хайму, волкам не отдаст. У неё под рукой батожок чуть меньше оглобли. В случае чего она волка батожком-то ка-ак стукнет...

— Эх, своих не осталось! — шумно вздыхает тётя Катя и добавляет уже тише: — Ну дак эти тоже, чай, не чужие.

Я знаю, она любит разговаривать сама с собой, и, не вдумываясь в смысл сказанного, засыпаю.

* * *

В избе тёти Кати ничего не убавилось и не прибавилось. Всё как десять, двадцать, сорок лет назад. Только, старясь, вещи поплёкли, хотя, если внимательно взглядеться, в вещах можно угадать былое величие. А вещей этих всего три: прямоугольное настенное зеркало в чёрной резной деревянной раме, высокий сундук, обитый жёсткими цветами, да двухведерный самовар. Из трёх лишь самовар по-прежнему выглядит молодцевато — сияет пузатыми, начищенными золой боками, над краном, словно орден, чернеет клеймо. Зеркало же, будто блондинистый мужик в старости, стало совершенно белёсым, в нём туман, как в осеннем окне. А сундук, выкрашенный в голубое, словно бы осел на бок, и, глядя на него, кажется, что изба тоже вроде бы покосилась и электрическая лампочка под потолком косо висит. В остальном ничего не изменилось. По-прежнему с фотографических карточек, развешанных по стенам, глядят её дети, тверские родичи, деревенские наши. Среди них — я, вырезанный из журнальной страницы.

— Пей, пей, желанный, — подбадривает меня тётя Катя.

Я пью молоко, жую свойский ржаной хлеб и думаю, что нет ничего вкуснее на свете свежего молока и вчерашнего хлеба. Во времени молоко и хлеб ведут себя по-разному: молоко, теряя пряный запах коровьего тела, становится пресным, а хлеб — наоборот. По-настоящему хлеб рождается лишь через сутки после выпечки, полежав на столешнице под холстиной, остынув, но не затвердев.

— Сама мелешь? — спрашиваю тётю Катю, имея в виду ржаную муку.

— Вестимо, — кивает та. — Ручной меленкой.

— А рожь где берёшь?

— Опосля комбайна огрехи окашиваю. Наносу снопов-то да на дворе смолочу. Мне Боёк цеп изладил.

— Тяжело, — сочувствую.

— Знамо, не легко. Да в магазине всего не купишь — буханочка-то ноне кусается. Да ты жуй, жуй, не разговаривай — сладенького-то боле у меня ничего нет.

И я жую, жую. Почти пятидесятилетний мужик, без зазрения совести жую хлеб, добытый в поте лица чуть ли не столетней старухой, а она смотрит, как во рту у меня исчезает её насущный продукт, и радуется, что еда мне во здравие, что не зря через силу косила, снопы вязала да на себе с кутинского поля за два километра носила, да молотила, веяла,

да, кряхтя, сидя на полу, часами крутила ручную меленку, — и сама сыта, и желанному вот потрафила. Эвона он на городских-то хлебах с лица спал. В городе, чай, не в деревне — с одного воздуха обезобразишься. Да и заботы небось: жена, дети, работа. Конечно, супруга у него достойная женщина. Всё так, но разве теперешние жёны, хоть и распрекрасные, умеют толком кормить мужиков? Нет. Теперешней жене муж есть лишь муж. А ей, тётё Кате, он, Валерка, почти свой, только что под сердцем не носила. А своё, почитай что кровное, и кормится по-иному — и от разума, и от души. Еда, хоть и обыденная, да от нежного сердца преподнесённая, — в три силы. Так-то. Мужик, он государству мужик, а жене, по-правильному-то, считай, дитё малое.

— Просивел, — кивает тётя Катя на мою седеющую бороду, и я задумываюсь над ответом.

Сказать, что за два года передумал столько, что в иное время и за двадцать не передумаешь, что в нашей нынешней буче порой мне видится край времён, что я за краем быть не готов, ибо не ведаю, в чём обрету опору по ту сторону, что опасаясь, как бы во мне не проросло затаённое семя тли и не начало надо мной властвовать? Страшно мне этакое доводить до старухи, и я на вопрос просто развожу руками:

— Жизнь.

— Сердешный, — выпевает тётя Катя, — я, старая, ещё не слепая. Сивеешь — то годы своё берут, а личико-то что опрокинулось?

— Много думаю, — отвечаю.

— Думаешь-то о чём?

— Как тебе объяснить? — снова развожу руками. — Небось знаешь, что в стране творится.

— Радио слушаю. Только не удивительно мне — всегда тако было.

— Неужто? — отставляю кружку.

— Было, было, — настаивает тётя Катя. — Правда со кривдой всегда сражались. Только в моей жизни правды было больше, а кривда проще была — вот личико-то у меня и не опрокидывалось. А ноне кривды больше, да и хитрая она теперь.

— Хитрая? — удивляюсь.

— Знамо. Раньше-то она впрямую злая была, а ноне — добрая.

— Как так?

— А так. Они в радио ведь что долдонят? Бедность — плохо, богатство — хорошо. Богатейте, мол. По закону только. А про Писание-то — молчок. Раньше, конечно, про Писание тоже помалкивали. Только, мой желанный, раньше-то и в богатство не запикивали, чуть что — не на себя работаешь, на народ. А против народа разве попрёшь? И выходит: раньше Бога не помнили, да про совесть не забывали.

— А теперь? — спрашиваю.

— А теперь, желанный, манят жить во благо... как её... этой... личности. И получится: все заживут врозь и Писание вовсе оставят. Потому что Писание людей единит.

— Теперь-то как раз всем вышла свобода вероисповедания, — возражаю.

— Это, — хмурится тётя Катя, — они притворяются. Сами-то в радио талдычат, а нашим батюшкам слова не дают. И другое: когда каждый верит по своему умыслу — сатане свобода. Так-то, мой желанный. А ты думаешь. Тут думать нечего, тут — бей. Кто делом, кто словом, а кто, как я, старая, — топчись, охорашивай землю по силе. Огородик вон подня-

ла, коровушку вожу. Плохо мне — а я живу, ещё хуже — опять живу и жить буду. Столько, сколько Бог положил...

— Бей, говоришь? — чешу затылок. — А как же насчёт «возлюби ближнего своего»?

— Так то ближнего, — дивится моей непонятливости тётя Катя и кивает на чёрненький радиоприёмник: — Разве в заповеди про них, бесов, писано?

— Считаешь — бесы? — опускаю взгляд в столешницу.

— Они, истинно они. И говорят не по-нашему, тараторят, будто на двор приспичило.

Видно: тётя Катя устала от непривычного разговора. С лавки она пересаживается на сундук. Сидит, как галка в июльскую жару: округлив глаза, приоткрыв рот, руки, что крылья, безвольно в стороны бросив. А я про себя дивлюсь небывалым её рассуждениям.

Оставив пустую кружку, спрашиваю, дабы разрядить паузу:

— Ты вроде неверующая была?

— Как неверующая?! — обижается тётя Катя. — Иконы всегда висели.

— Иконы почти у всех висели, — возражаю.

— Потому и висели, что верующие. Ты и другое смекни: крещёный всегда верующий, даже если икон нет. А некрещёных у нас тут отродясь не было.

— А жили по-разному, гршили, — не унимаюсь я.

— Гршили, — соглашается тётя Катя. — Только грех не был правдой. Власть-то вроде и безбожная была, да бесу-то шибко не дозволялось баловать.

— В книжках пишут иное, — не успокаиваюсь.

— Не знаю, что пишут. Знаю, что видела сама. Да и ты это самое знаешь.

— Знаю, — соглашаюсь.

— Знаешь, а настырничает.

— Да неужто, — дёргаю головой, — теперь правда — в грехе?

— А то нет? Кривда, кривда теперь правдой стала. Да ты вот хоть в зеркало поглядишь. Ведь всё правильно в зеркале-то вроде, а на самом деле шиворот-навыворот: право левым стало, а левое в правое возвелось. Вот и маешься ты, личико опрокинулось. А как же иначе? С ней, с кривдой-то, жить — себя наизнанку вывернуть. Ан не выходит. И не выйдет. Потому как и мать, и отец, и мы тут все тебя этому не учили.

Ладонями тру щёки, словно умываюсь, и вместо зеркала подхожу к окну. Видно мне, как от берёз и черёмух по зелёной лужине к тётя-Катиной корове ползут синие тени. Лишь только они коснутся воды, лужину, речку, заречный лес покроет сиреневая хмарь, лазеревое небо станет тёмно-фиолетовым и день кончится. Корова, зная об этом, пятится от тени, оборачиваясь к дому, мычит, зовёт хозяйку.

— Пора загонять Зорьку, — поднимается с сундука тётя Катя.

— И мне пора на покой, — отвечаю. — Устал с дороги.

— А и пойдёшь, пойдёшь, желанный, усни.

— Может, мне Зорьку загнать? — спрашиваю.

— Не послушается она, с характером корова. А ты завтра-то спи себе, а я картошки с лучком нажарю, молочка в печке натомлю. На крылечке сяду — тебя ждать.

Выйдя на улицу, вижу: на нашей избе, между коньком и печной трубой, запало золотое солнце. Изба от неожиданной тяжести осела, но тер-

пит, держит вроде бы и в предвечерней тишине словно бы побряхтывает, поскрипывает старыми венцами, а из-за речки к солнцу летят стрижи, вскрикивая, кружатся над ним, стараются его выпихнуть из ловушки, но ничего не получается — в пору мне на крышу лезть, солнышко вызволять.

Но лень тащиться к крытому двору, отворять скрипучую воротину, в полутьме искать лестницу. Да ещё, чего доброго, лестница по старости тяжести моей не выдержит и я попаду в больницу.

— А что, — оборачиваюсь я к тётке Кате, — больница в Ильинском действует?

— Хватился! — отвечает та. — Другой год, как закрыли. В убыток, сказывают, больница-то.

— Лечить, значит, некого?

— Некого. Пусты деревни.

— А вас?

— А нас чуть что — сразу на кладбище. И то: польза государству. Ты прикинь: так оно мне пенсию платит, а помру — пенсию кому помоложе положат.

Вглядываюсь в её лицо — шутит ли? Но лицо бесстрастно, и говорит она словно по писаному, сообщает вроде бы давно решённое, глаза не дрогнут. Не нравится мне это. Раздражаясь, строго отвечаю:

— Кликать смерть — грех.

— А я разве кличу? Буду жить, сколько Бог даст, со старанием и смирением. Я — про власти земные. Нынче человек и деньги — в одну строку. Да ты слышь-ко, слышь-ко, я всем толкую: случится, помру — к вашей прабабке меня кладите, она мне заместо матери.

— Ладно, — обещаю.

Повернувшись к своей избе, вижу: солнышко из западни само вызволилось, прыгнуло на сиреневый куст и словно бы на дрожжах пухнет, покрываясь малиновым колером. Я жду, когда, созрев, оно начинает сползать с куста, и успокаиваюсь: много чего в нашей жизни изменилось, но солнышко, слава богу, ведёт себя неизменно, а это порука тому, что и исконный смысл жизни не изменился. Оказывается, это легко понять. Стоит только на шаг отступить от обыденной суеты и вникнуть в творимое на земле и по-над землёй без нашей обольщённой гордыней воли. Всё сразу ясно становится. Эх, мне года бы три назад в деревню приехать — куда как меньше было бы седины в бороде.

В избе уже курятся сумерки. Когда, постелив на лавку старенький матрац, я укладываюсь под образами, в запечье вскрикивает сверчок и начинает чиликать без остановки. Чувствуется, одиночество доконало его, он спешит напеться впрок, пока в избе обосновался слушатель, и я слушаю его, певца интимного, не блещущего бельканто, но тем не менее философа, чьё пение мудро, ибо учит отделять добро от зла, познавать веру, любовь, надежду, настраивает на смирение и постоянство.

Рассуждаю о величии сверчка, покуда не затекает шея. Переворачиваюсь на другой бок, пытаюсь набраться воли, встать и как следует постелить постель, но шарить по ларям в тёмной клети лень. Решаю устройство постели перенести на завтра. Приспособленную вместо подушки парашютную сумку устанавливаю так, чтобы лежащие в ней консервные банки не врезались в затылок. Парашютная сумка — единственная вещь, оставшаяся от войны. В 1943 году отцу присвоили звание Героя Советского Союза. Получать награду он приехал в Москву и в этой сумке привёз

фронтowych гостинцев своей невесте — моей матери. Сумка осталась в Москве, а после войны в ней возили продукты в деревню, всё, чем тогда уже была богата столица и чего не хватало в селе. С тех пор прошло полвека, и теперь уже я от станции волок набитую всякой всячиной сумку, дабы здесь, в деревне, мне было чем питаться, словно недавно закончилась новая кровопролитная война.

Лежу, прижавшись щекой к шершавой ткани, и вспоминаю, как обычно на вечерней зорьке отворялась дверь и в избу входил невысокий, крепко сбитый мужчина, ставил на пол эту самую сумку и возглашал:

— Прибыл!

— Папка! — кидался к нему я. — Папка баранок привёз!

Все чада и домочадцы спешили вслед мне. Кто фуражку с отца сдёргивал, кто растёгивал пуговицы на синем кителе, кто просто рядом топтался и взглядом приглубливал гостя. Я тянулся к нему:

— На ручки возьми! — И он брал меня на руки, прижимал к орденским планкам, тёрся колючей щекой о мою щёку. Пахло от отца «Шипром» и папиросным дымом.

Запах у послевоенного «Шипра» и папирос был особый. Переписывая эти строчки, я решил проверить: купил флакончик «Шипра», смочил им носовой платок, выкурил папироску, плотно прикрыл дверь в комнату и на час вышел на улицу. Вернувшись, принимаюся к запахам одеколona и дыма. Пахнуть пахнет, но не так. Словно забытый на подоконнике подвявший огурец, когда его разрежешь — и сок из него ещё исходит, и на срезе он пахнет вроде бы сам собой, а свежести, крепости в запахе уже нет. Вот и верь слову. «Шипр», «Казбек»! Федот, да не тот. Выходит, слово, привычное, устоявшееся, со временем несёт в себе уже изменённый смысл, хотя имеет прежнее значение. К примеру, взять хотя бы слово «отец». В моём сознании, утвердившись от молодых ногтей, это слово необычайно ёмко. Оно и строгость, и мудрость, и доброта, и нежность, и любовь, и воля. Оно учит, ласкает и обороняет, а потому — твёрдо и нерушимо. Услышу ли где, скажу ли сам: «Отец» — и в сознании возникает столп, который неба касается. Прижмись к нему — и ты через него волей Царя Небесного защищён от всех земных невзгод.

Но жизнь идёт. Линяют некогда устойчивые запахи, и плошают слова, теряя извечную суть, заложенную в них пращурами. Я говорю: вода, дождь, роса — но не ощущаю их непорочной животворности. Восхищаюсь: сосулька, — но тут же окорачиваю себя и коли отломлю её от края крыши, то лишь затем, чтобы на ладони подержать, в рот же, как встарь, не суну, не зайдусь в восторге от её пьянящего весеннего вкуса. Потому что сосулька пока ещё — признак весны, но, увы, уже не признак чистоты. Шепчу: «Отец» — и вглядываюсь в тех, кого теперь определяют этим словом, вижу их бегающие глаза, и кажется мне, жизнь их предков и сама их жизнь им не впрок, словно бы у них вообще нет прошлого, а произведены они кем-то в одночасье искусственно, обряжены в шутовские штаны да куртки и выпущены на улицу. Шагают — осанка есть, поступи нет. Смеются — ехидство вместо весёлости. Требуют у слабого — возгордившиеся наглецы. Просят у сильного — холопы. Глядячи на них, сердце болит за их сыновей: какими же они станут отцами? Важный вопрос. Ибо с тех пор, как отец умер, и я стал меняться: куртку оранжевую пузырьём на себя напялил, синие штаны с белыми лампасами. Сегодня от станции шагал по земле предков — и непонятно, кто я: амери-

канец ли, немец, североамериканский ли индеец — на всех сразу похож. Но, главное, стал замечать: в мыслях и действиях моих появились пестрота, несуразица, под стать моему новому обмундированию. Мельтешит всякое, не соразмерное ни с чем, в голове, и я сам мельтешу среди подобной мне публики и чувствую: и хамство во мне уже проклюнулось, и наглость, и холопская улыбочка появилась, и ногами нет-нет да под Чарли Чаплина побегу.

Случается, на день-два забываю реченное провидцем, что все страны граничат друг с другом и только Россия — с Богом. А отец мой это постоянно помнил, хотя, как ни странно, не знал.

Отец



Отец в Бога не верил. По крайней мере, я от него никогда не слышал ни о Господе Иисусе Христе, ни о Священном Писании, ни о чём-либо ином, связанном с христианством.

Он был коммунистом, воспринимающим коммунистическую идею как созидание государства во имя народа, а коммунистами считал только тех, кто трудолюбив и бескорыстен. Все остальные для него являлись попутчиками. Когда я вырос до степени понимания духа товарищества, он объяснил мне свои взгляды на коммуниста чётко и определённо, для наглядности опираясь на собственный военный опыт:

— Настоящий коммунист — это как настоящий ведомый в воздушном бою: всегда у тебя в хвосте и никогда не подкачает, если, конечно, его не подобьют. А ненастоящий — сам по себе, так, попутчик, в любое время в сторону вильнёт.

— А ведущий? — спрашивал я.

— Что ведущий? — в свою очередь спрашивал отец резким, недовольным тоном, присущим ему, когда вопрос был расплывчатым и неопределённым.

— Ведущий попутчиком мог быть? — уточнял я.

— Ну, такого уже в учебном бою видно. Такой даже с фотопулемётом не идёт на осознанный риск.

— А неосознанный?

— А неосознанный риск — дурость. Дураков в истребителях не держали. Воздушный бой только в кино кутерьма. На самом деле это огромная умственная работа, когда за несколько секунд нужно просчитать будущее. Ни один шахматист с этим не справится. И за себя надо думать, и за ведомого, и за свой самолёт, и за противника, учитывая его выучку и технические данные его машины. Надо учитывать даже, на сколько секунд при перегрузке сознание потеряешь. Способен мгновенно всё это просчитать — жив и выиграл, не способен — ау. — Он разводил руками, и в жесте этом не было удивления, а «ау» звучало без сожаления, просто отражало факт, реальный и неоспоримый. Потом встряхивал головой и твёрдым взглядом серых глаз заглядывал мне в душу. — Но главное, бой — деяние бескорыстное. Когда ты для себя — ничего, а другим отдаёшь всё, тогда — Победа, общая, с большой буквы.

Отец мой, Василий Иванович, в боях, победах и поражениях знал толк. Окончив в 1938 году Качинское авиационное училище, он попал служить в Карелию, где и отвоевал полностью две последующих войны. Был рядовым лётчиком-истребителем, командиром звена, командиром эскадрильи, инспектором по технике пилотирования воздушной армии. Заслужил звание Героя Советского Союза. Трижды был сбит. По болезни оставил ВВС. Вылечившись, летал в гражданском воздушном флоте. Перед смертью, в 1988 году, сказал:

— Длинная жизнь была, а прошла как день. Хорошо!

— Да чего же хорошего? — вмешалась в разговор дочь дальней родственницы. — Для других всё, а для себя — ничего.

— Правильно, — согласился отец. — Потому что на Руси живём.

— Не на Руси, а в Советском Союзе, — поправила родственница.

— Суть от официального названия не меняется, — пояснил отец. — Так ли, иначе назови, но живём на Руси, и то, что другим народам плохо, нам, русским, хорошо. Ты этого пока не понимаешь, но, думаю, десятка лет не пройдёт — поймёшь. К этому дело идёт.

— Мне понимать нечего, — хорохорилась родственница. — Мне и теперь ясно: не хочу для других жить, для себя хочу.

— Обычное для русских заблуждение, — усмехнулся отец. — Но, думаю, ты прозреешь, жизнь заставит.

И заставила. Недавно та дочь нашей дальней родственницы, теперь почтенная мать семейства, призналась:

— А прав был дядя Вася-то, ой, прав. Он мне тогда ещё на кухне вот что сказал: я, говорит, одно время штрафниками командовал. Так вот, у нас за всю войну из штрафных к немцам никто не перелетел. Думай.

— Думала? — спросил я.

— Думала.

— И что?

— Да говорю же: прав дядя Вася-то, прав.

Сей последний разговор с дочерью родственницы произошёл в конце 1992 года.

Отец был философом из тех самородков, кои, собственным разумением дойдя до какого-либо, по их мнению, извечного закона бытия, уже до конца жизни непоколебимо стоят на своей позиции, не поддаваясь никаким модернистским веяниям, сознавая свою правоту не столько умом, сколько, как говорится, нутром.

— Сознание определяет бытие, — поведал он мне, девятнадцатилетнему, когда я уходил служить в армию. — Что армия остерегает врага — всем ясно, но не ясно главного: она нас хранит от самих себя. Ослабнет она — и в народе начнётся такая катавасия, что подумать тошно. Осознай это и служи честно.

А лет на шесть раньше в моей школе, куда его пригласили на утренник в честь 23 Февраля, заявил пионерской дружине:

— Любите друг друга. Только взаимная любовь убережёт вас от дурных поступков во всей жизни.

Ни истоки, ни строй мыслей отца мне незнакомы, ибо он делился исключительно выводами, но думаю, что умственная работа его была колоссальна: из общедоступной литературы, из общения со знакомыми и друзьями, окружавшими его, казалось, и теорию, и практику жизни вывести можно было только среднюю, общепринятую. К тому же и государством он в чём-то был обделён, и людьми, а вот поди же — и думал,

и поступал не так, как думает и поступает обиженный людьми и властями человек. До сих пор помнится шепоток его уже послевоенного приятеля:

— Да мне бы его геройскую звезду, да я бы!..

И ответ приятельской супруги:

— Да что говорить. Пустой человек. Герой с дырой.

Наверное, он и сам слышал нечто подобное о себе, но во всю жизнь был одинаково твёрд и в мыслях, и в поступках. Когда ему, уже под старость, выделили трёхкомнатную квартиру, мать, женщина непритязательная, вдруг взбунтовалась:

— Проси четыре! — И натолкнулась на прямой взгляд его серых глаз:

— В гроб четыре не положишь, а Валерке, — кивок в мою сторону, — и трёх хватит.

Да, взгляда отцовских глаз словами не объяснишь. Взгляд этот надо познать самому или со стороны наблюдать его действие. Видавший виды пьяный, буйнивший Петька Чирков от взгляда этого, как от удара, откидывал голову, чуть приседал, здоровую руку свою вытягивал по шву и лепетал белеющими губами:

— Ну, я... дык... Василь Иванов... это... пошёл спать.

И родились отец с Петькой в один год, и голопузили, и учились, и женихались вместе, и по две войны одинаково отломали, а вот поди же!

Но, случалось, отцов взгляд бывал и другим. Однажды отец приехал в деревню без парашютной сумки.

— Пустой? — удивилась прабабка.

— На станции у Блазневых сумку оставил, — успокоил он прабабку. — Тяжела больно. Колбасы переложил. Отдохну — послезавтра с молоком съезжу.

— Не попортится колбаса-то?

— Копчёная.

Весь следующий день вся наша хайма мечтала, как станет колбасу есть. А утром мы с отцом на молочной подводке отправились на станцию. Я сидел на соломе в задке возле фляг, а отец с возчиком, шурином Петьки Чиркова, шли рядом с телегой, беседовали. Путь лежал не близкий: через поле, лес, речку, через четыре деревни и снова через лес и поле — в общей сложности пятнадцать километров, — и я вдоволь наслушался про пехоту и авиацию, постиг преимущества противотанкового ружья перед сорокапяткой, понял, что «харикейн» и «хитихавк» хуже «мессершмитта», «Ла-5» ему вровень и что, когда подобьют на малой высоте, с парашютом валандаться некогда; если же свалился в штопор — выровняй педали, ручку управления в нейтральное положение поставь и спокойно жди, пока самолёт не наберёт скорость, что это, мол, только в кино показывают, как лётчики из пулемётов строчат, так стрелять — в минуту без боекомплекта останешься. Весь фокус — в хвост противнику на пятьдесят метров подойти, короткую очередь — тр-р-р — и в сторону.

В пристанционном селе чирковский шурин с подводой отправился на молокопункт, а мы с отцом — к Блазневым. Всё шло замечательно и по плану, покуда, после вежливого разговора, отец со старшим Блазневым не отправились в клеть и не обнаружили, что парашютная сумка расшнурована, а вожделенная колбаса исчезла. Тут же под горячую руку Блазневым был выдран кот, потом пёс Шарик, потом обещано всю холодную половину дома спалить, дабы извести мышиное войско, но

поостыв, поразмыслив, глава семьи выстроил сожителей вдоль печки и спросил прямо:

— Сей момент признавайтесь: кто колбасу сожрал?

За всех пятерых блазневских отпрысков ответил старший, десятилетний Гришка. Кивнув на младших братьев, родившихся уже после войны, поведал:

— Мы. — И ниже плеч опустил голову.

— Вы?! — задохнулся от ярости Блазнев. — За один день десять кило — вам невмочь.

— А мы не одни. Чоблокова хайма, да Силины, да Забродины тоже ели. Мы по-честному. Они нам, бывает, тоже дают.

— По-честному?! — вызверился на сыновей Блазнев. — Да ведь чужое!

— Не совладали с брюхом, — вполне по-взрослому сокрушаясь, вздохнул сын.

Сначала Блазнев расстегнул солдатский ремень, но сник, опустил теребящие ремённую кожу руки и, обернувшись к отцу, уныло пообещал:

— Я их, Василь Иванов, конечно, выдеру. Да с тобой поквитаться мне нечем. Старший поистоптался — в зиму валяные сапоги. Средним на двоих тоже хоть пару. Да страховку, да печка эвона дымит, да баба грозится к весне родить, да к морозу дров кубов пять надо выставить. С тобой расплачусь — не вывернуться мне. Сам посуди... — И Блазнев сызнава принялся перечислять прорехи в хозяйстве.

Понявши малым умишком, что колбасы мне не есть, и зная отцовский нор, я испугался. Задрал голову, принялся толкать отца в живот, повторяя и повторяя:

— Пойдём, пойдём, папка! Папка, пойдём!..

Тут мы с отцом встретились взглядами и... мой страх пропал: серые строгие глаза были весёлыми, а лицо хитроватым, как мордаха у нашего кота, когда тот замыслил опрокинуть миску с творогом. Потом не часто я встречал такой его взгляд, но каждый раз он предшествовал решениям неожиданным и необычным.

— Чистый мешок есть? — спросил отец, обернувшись к Блазневу.

— Есть.

— Пассажирский долго стоит?

— Пока паровоз не перепрягут.

— Давай мешок.

В скором времени за столом отец с Блазневым пили водку, закусывая копчёной колбасой. Нам, хайме, выставили по бутылке кроушена, дали по шоколадке. А когда мы с пустыми флягами и с полной парашютной сумкой на телеге добрались до пристанинского моста, отец, глянув на солнце, отвернул левый рукав — золотых, с золотым браслетом часов на запястье не оказалось. Переняв мой встревоженный взгляд, сказал:

— Мать приедет — скажешь: купались, мол; отец, мол, в часах нырнул — они и свалились. Понял?

— Понял, — кивнул я. — А где часы?

— Повару отдал в вагоне-ресторане.

— За колбасу? — догадался я.

— Да.

Об исключительной цене золота я уже слышал, а потому сказал поучающе:

— Надо было отдать деньги.

— Денег у повара куры не клюют... Ну что, соврёшь матери?

— Совру, — пообещал я.

К тому моменту жизни за враньё мне уже не раз перепадало, но на этот раз я всё же крепко решил: обязательно совру, потому что в данном случае враньё вроде бы и не враньё, так как собственной выгоды я не видел, а отец, на мой взгляд, и подавно ничего не выгадывал. Но что-то свербило под сердцем, и я, дабы успокоить совесть, поинтересовался:

— А мама тебя ругать бы стала?

— Не стала бы, — ответил отец. — Только это дело тайное, а женщины, сам знаешь, как следует не умеют тайны хранить. Сам подумай: мать по секрету какой-нибудь женщине обязательно расскажет, а та — другой, другая — третьей, и что получится?

— Все узнают, — догадался я.

— Вот. Потом узнают на станции, и дяде Блазневу будет стыдно за свою хайму и за то, что долг не отдал.

— А долг отдавать надо?

— Обязательно. Когда требуют.

— А ты?

— А я не требую.

— Почему?

— Потому что всё случилось нечаянно, дядя Блазнев этого не хотел. А ещё потому, что у дяди Блазнева мало денег, а хаймы много. Отдай он нам деньги — хайму не на что станет одевать и кормить.

— А у нас разве денег больше? — удивился я.

— Больше, и ты у нас с мамой один.

— А с блазневской хаймой что будет? — продолжал допытываться я.

— Ну, это дело дяди Блазнева, — пожал плечами отец. — Думаю, он их выпорет.

— А ты бы меня выпорол? — поёжился я, представив, что съел чужую колбасу.

— Обязательно, — кивнул отец, и взгляд его серых глаз стал твёрдым.

Тут нужно сказать: отец ни разу меня пальцем не тронул. Однако всю жизнь я себя веду так, как будто возможно, что за какое-нибудь прегрешение меня настигнет возмездие со стороны родителя. С годами этот страх не ослабел, преобразившись лишь из страха перед ремнём в страх перед осуждающим взглядом, перед кривой, пренебрежительной усмешкой, перед возгласом: «Эх ты, голова и два уха!» Даже теперь, когда отца нет, я словно бы чувствую его присутствие во мне и не позволяю себе многого, что считается вполне приличным в нынешнем обиходе.

В чём же суть сего феноменального состояния моей души? На мой взгляд, ответ прост: отец мой всей глубиной сердечной осознал, что он отец и что я, сын его, когда-нибудь вольно или невольно буду судить его, а потому жил сам и понуждал меня жить так, дабы судить было не за что. Думаю, сознание это перешло ему от отца, моего деда, тому — от его отца, и так дальше и дальше туда, в глубь веков, к тому моменту, когда мужчина сделался главой семьи и осознал ответственность перед потомками. Чувство ответственности перед потомством и память о прошлом — вот без чего не состоялось бы истории народа, а будущие времена, утратив естественное развитие, только формально остались бы на циферблатах и календарях. Жизнь человеческая потеряла бы живую, выс-

шую суть, ради которой она и существует. Кажется мне, именно обо всём этом думал отец, когда на вопрос матери, почему он отказался работать в одной известной и вроде бы добропорядочной авиационной организации, ответил, оглаживая мне голову:

— У них там всё есть, только товарищества нет.

Сколько ни копаюсь в памяти, не вижу отца, занятого физическим трудом. В Москве, в редкие свободные дни между полётами, он если не спал, то читал, сидя на диване у окна. И читал непременно книгу, читающим газету я его не помню. В деревне же, во время отпуска, и книга в сторону отставлялась. В деревне он в основном думал. Сидит под черёмухой, глядит в заречную изумрудную даль, уставленную бурными стогами, а сам вроде бы ничего не видит. Выйдет на крыльцо прабабка, ладонь козырьком ко лбу приставит, взглядом отыщет его и велит:

— Василий, за Дочкой убраться надо!

Встрепаётся отец. Надев резиновые сапоги, отправится в крытый двор, навоз из коровьего стойла вычистит, свежей соломой натрусит, сапоги скинет, руки вымоет — и снова под черёмуху, и глядит, глядит в заречную даль, словно именно там смысл жизни. Потом мимо избы, мимо тёти-Катиного двора спустится к речке, отвяжет лодку, переедет на противоположный берег, сядет под стог и уже глядит на деревню. Бывало, мы с ним вроде бы по грибы пойдём, а сами то муравейник разглядываем, то как на сосне смола блестит, то за ёжиком наблюдаем, то, сидючи в овраге, слушаем, как ручеёк журчит. Уж только к вечеру выйдем на заветное место, в полчаса наберём полные крашенки подберёзовиков и, вымахнув на опушку, усядемся на взлобке между двух белых берёз перед ржаным полем, рассечённым дорогой. Вволю наглядевшись на ползущий между стен ржи воз дров, отец ни с того ни с сего спросит:

— Ты «Мёртвые души» уже читал?

— В школе проходили, — отвечаю.

— И как?

— Обычно. Ну, кто из русских не любит быстрой езды, чудо-тройка, куда ты, Русь, катишься...

— А вывод?

— Гоголь — обличитель быта и нравов дворян-крепостников.

— Лихо! А про Чичикова что внушили?

— Да так как-то... — разведу руками и, подумав, добавлю: — Ничего особенного. Проныра, хитрый человек.

— Выходит, — вздохнёт отец, — за сто лет мы так ничего и не поняли. А может, не хотим понять? Или кто-то не хочет, чтобы поняли?

Задав эти вопросы, он закуривает папироску и, в две затяжки высмолив её до половины, отвечает:

— Не дворян Гоголь обличал. Просто в девятнадцатом веке небывалое на Руси сбылось. В людях появился тип с чертами, не присущими русскому человеку, способный извлекать деньги, прибыль из ничего. Николай Васильевич это заметил и русских предупредил: дескать, между нами появилась зараза растления, нечто невероятное, способное лишить человека природных ума и образа.

— Выходит, и Хлестаков из той же оперы? — спрашиваю я.

— Из той же, — живо соглашается отец. — Только Чичиков — обольститель-практик, а Хлестаков — теоретик, говорун. Он ничего не даёт, а только обещает, и люди, веря ему, дают сами.

— Может, и так, — соглашаюсь я и с юношеской твердолобой убежденностью заявляю: — Но это когда было! Теперь время другое. Разве я не разберусь, кто врёт, а кто нет? Да и люди нынче все грамотные.

— Грамотный ещё не значит умный, — отвечает отец. — Книжки бывают разные: одни просвещают, другие оглушают. Со временем поймёшь.

— А ты когда понял?

— Недавно. Но не всё.

Я гляжу на отца и не верю, что он, имеющий обо всём определённое мнение, сразу не мог разобраться в каких-то книжках. В них разбираться просто. Интересная книжка — по прочтении сохрани, неинтересная — хоть выброси...

Блаженна юность! Но блаженна и зрелость, ибо осознаёт, что многого не понимает. Я вот до сих пор так и не понимаю, как надо сочинять книжки. Отец же, по-моему, знал. За месяц до своей смерти он в большой общей тетради успел написать несколько страниц плотной, ясной прозы, но подвиг сей — какой по счёту? — так и не довершил. Текст начинался словами: «Земля и небо влекут одинаково. Когда взлетишь под солнце — хочется приземлиться, а приземлишься — хочется взлететь...»

* * *

Просыпаюсь будто от толчка. Открываю глаза и вижу перед собой всё население деревни: тётю Катю, Бойка и Сашку Чиркова-Любанькиного.

Боёк приказывает:

— Вставай! И-и-бяда!

Тётя Катя вхохчет:

— Скорейча, скорейча, скорейча!

Сашка молчит, но его суровый вид подтверждает: действительно произошло несчастье. В руках у него топор. Лапищами он тискает топорнице, костяшки пальцев то белеют, то принимают нормальный цвет, и я, окончательно пробудившись, вскакиваю и суетливо натягиваю кроссовки.

— Что? Где? — спрашиваю.

Боёк, не отвечая на вопросы, распоряжается:

— Ты с Сашкой и-и-ступай за досками, а мы с Катюхой и-и-верёвки добудем.

Из избы мы дружно вываливаемся в сени, толпимся на крыльце, ждём, куда тётя Катя одолеет мостушки. Я нервно закуриваю. Ширяю взглядом вправо-влево — ничего не горит, оглядываю земляков — все здоровы. Что же за беда стряслась?

Начинаю представлять мыслимое и немислимое, но толком ничего не складывается, в природе тишь да гладь. Ночь, видно, была звёздная, и утро народилось ясное. Улыбчивое солнышко подрумянило и заречный лес, и лужину, и передок тёти-Катиной избы, и тычник, и тёти-Катину берёзу, и наши рябины, и даже голубое небо над головой словно сбрызнуто жидким золотом. Только речка синим-синяя, а по синему белыми поплавками — чайки. Улицей по зелёной траве-мураве гордо вышагивает Бойков рыжий петух. Дойдя до изгороди, всплеснув крыльями, прокричал положенное «ку-ка-ре-ку» и принялся разгребать мусор. Благодать!

— Что случилось-то? — опять спрашиваю.

— Да корова... — пожимает плечами Сашка и обухом чешет себе переносье.

— И-и-в погреб упала, — перебивает его Боёк, а тётя Катя тычет корявым пальцем в Сашку:

— В евойный.

— Глядеть надо было за животиной, — хмурится Сашка.

— Да за ней нешто углядишь? Она гуляет себе и гуляет. А ты, нечислая сила, почто всю усадьбу перекопал? Ямина на ямине. Да разве люди так делают? Люди едино затеянное доделывают, а потом уж другое, а там — третье. А сразу да всё — это не по-людски.

— Это у вас с дядей Семёном всё не по-людски, — отмахивается топором Сашка и, поворотясь ко мне, жалуется: — На час из деревни убраться нельзя. Только-только отъедешь — и набедокурят. На прошлой неделе вдвоём на дворе воротину задумали менять. С петель сняли, а воротина возьми и завались на дядю Семёна. Вершка не достала — убила бы.

— И-и-не убило бы, — притоптывая сапогом, хорохорится Боёк. — С воротиной — и-и-случайность.

— Случайность?! — повышает голос Сашка. — А по весне кто лист шифера с крыши на тётю Катю уронил? Ведь старые люди, руки-то плохо держат. Вас что, силком гонят? Сидели бы да чай пили, да меня ждали.

— Тебя дождёшься, — пытается оправдаться тётя Катя.

— А я что, и-и-шиферину приладить не могу! — опять хорохорится Боёк.

— Не можешь, — отвечает как отрубает Сашка.

— Да я и-и-что, уже и не мужик?!

— Мужик, мужик. И тётя Катя — баба. Да старые вы уже. Ну где вы, мужик с бабой, были, когда у вас корова в погреб падала?

— Мы? — вроде бы не понимая, о ком идёт речь, спрашивает тётя Катя.

— Вы, вы.

— И-и-дрова пилили.

— Дрова?! — тарашит глаза Сашка. — Сказано вам: выберу время — «Дружбой» перепилю.

— А мы уж и не работники?! — сердится тётя Катя.

— Работники, — соглашается Сашка. — Да не в лошадином труде. А ну как сердце у кого-нибудь схватило бы?

— И-и-не схватило бы, — упрямится Боёк.

— Не схвати-и-ло бы, — передразнивает Сашка. — Приехал бы, а тут — покойничек.

— Потом доругаетесь, пошли, — говорю я, сообразив, зачем понадобились доски.

— Во-во, — радуется тётя Катя, — идите, идите. А то она, коровушка, в погребе-то — ревмя ревёт. Я уж ей, милушке, сенца свежего кинула — замолчала. Стоит, жуёт, сердешная.

И мы с Сашкой отправляемся на поиски досок. Дорогой он жалуется:

— Носом вот тыкают: усадьбу перекопал, дескать, три дела сразу делаю. А куда деваться? Время такое — одно дело ладом не правится. Кирпич достал — цемента нет, цемент достал — кирпич кончился. Шифер завёз — шиферных гвоздей нет. Нашёл гвозди — не подходи к ним, словно из золота они, цена бешеная. А там, глядь, деньги кончились. Канитель!

— А ты ссуду возьми в банке, — советую.

— Э нет, — крутит головой Сашка. — Ссуда — кабала. У них ведь всё как рассчитано? А просто: чтобы частник в долге увяз. Год, два, три

частник бедует, в долге вязнет, а тут на тебе — благодетель, спаситель, соломинку протягивает: продай нажитое — долг погасишь и про чёрный день останешься. И продашь. А иначе — петля. И останешься сам кум королю в своей избе и в батраки подрядишься к благодетелю. Во как! У них всё рассчитано. Но я им не потатчик. Я — русский мужик от корня и желаю быть независимым на своей земле.

Сашка говорит страстно. Утверждая умозаключения, помахивает топором, будто примеряется рубить лесину. Говоря о тех, у кого всё рассчитано, топором же, словно маршальским жезлом, тычет в сторону, где за лесами лежит Москва. Сам он в два метра против моих метра семидесяти кажется огромным. Топор в лапище — невесомым, игрушечным, слова же, слетающие с его губ, — нешуточные. Они вроде бы материальны, словно пули летят и способны убить. Хотя мы с Сашкой не виделись несколько лет, взглянуть со стороны — мы неразлучники: ни я его о его жизни не спрашиваю, ни он меня, а, как и положено близким соседям, всё досконально знающим друг о друге, откровенно толкуем о текущем моменте. Разнит нас только внешний вид. Один с бледным от городских интеллигентских трудов лицом, в нелепой заморской одежде, другой — в подходящих именно деревенскому бытию солдатских хэбэшных галифе, в клетчатой рубашке, в вылинявших до рыжины кирзовых сапогах, с лицом, пропечённым солнцем. И ещё в нас разница, обусловленная фамилиями. Чирковы извечно бурливы, резки в суждениях. Королёвы спокойны и рассудительны. Чирковы, чуть что, — как порох вспыхивают, Королёвых перед тем надо до белого каления довести.

— Эх, зlobствую я, — винится Сашка, перебросив топор из правой в левую руку.

— Зlobствуешь? — спрашиваю и киваю в сторону Москвы: — На тех?

— Ага.

— А на этих? — киваю в сторону райцентра.

— На этих зlobиться грешно. Этих жалеть надо. Они, словно обезьянки махонькие, подражают большим гориллам.

— Ты думаешь? — сомневаюсь я.

— Подражают, подражают, — усмехается Сашка и, перебросив топор в правую руку, сообщает: — У нас тут в любом деле подражатели есть: и по коммерческой, и по политической, и, имей в виду, даже по литературной части.

— Неужто?! — удивляюсь по-настоящему.

— Точно. Да вот...

Остановившись, Сашка трёт обухом между бровей и произносит распевно-радостным тоном поэта, создавшего к сорока годам три чемодана стихов и поэм, но непризнанного, почитаемого только узким кругом друзей:

О Русь, моя благая Русь!
Ты так талантами богата,
Но ты ни в чём не виновата,
И я ни в чём не виноват.

О Русь, моя благая Русь!
Ты нам так мягко сено стелешь,
И нас же мелешь, мелешь, мелешь.
Сбегу с тебя — и не вернусь!

— Откуда это? — спрашиваю озадаченный.

— Из районной газетки. Вернее, из одной из них. У нас теперь, видишь ли, два органа. Один пишет про общечеловеческие ценности, другой — про вот такое. Обе обезьянничают на столичный манер, но на мартышкином уровне. Ну да с нас, с лапотников, что взять, нам до века — мартышкин удел, а у вас там, в столице, с чьей музыки пляшут?

Дабы ловчей ответить, я сортирую мысли, а Сашка, долбя кирзачами землю, уходит на десять метров вперёд, и я понимаю: ему не нужно ответа.

Сашка Чирков-Любанькин — личность исключительная. В любом сельском районе России обязательно имеется хотя бы одна такая личность. Зайдёшь в книжный магазин какого-нибудь махонького городка с древним гордым названием и нет-нет да и столкнёшься с ней. Торчит пугалом среди чистой публики возле прилавка человечище в брезентовом плаще с капюшоном, в резиновых сапогах и грубыми от физического труда ручищами книжки перебирает. Но не детективы, не фантастику, а те, на которые большинство покупателей и не глядят: философские да исторические сочинения, художественную классику. Истоиво, со смаком перебирает, целые страницы вычитывает и откладывает, откладывает. Час топчется, стопу наберёт, из бумажника добудет деньги, оплатит и, вынеся покупку на улицу, упрячет её в коляску «Ижа», на котором приехал из дальней деревни.

Запасшись духовным, озаботится материальным — двинется вкрут городской площади, заходя в продуктовые и промтоварные магазины. Но и там выбирает неспешно и только натуральное, действительно необходимое, ибо питает отвращение к суррогатам и презрение к ненастоящему. Когда, набравшись храбрости, такого человека остановишь и, подстраиваясь под местный диалект, спросишь: на кой, дескать, он тратит деньги на историков и философов, неужто сам читает? — в ответ услышишь вежливую, чистейшую русскую речь, спокойную, просторную и образную, которая, пожалуй, сохранилась только у стареньких провинциальных протоиереев, вышедших из низов и весь свой век прослуживших в низах народных:

— Разумеется, сам. Прочитанное же, по мере способностей, в упрощённом виде устно детям передаю. Это их защитит от всяческих перетолкований и извращений оригиналов.

— Да зачем вам и вашим детям, к примеру, Данилевский? Он что, пахать учит?

— Пахать, естественно, не учит. Но, ознакомившись с ним, пашешь по-другому, верней — с иным, нежели раньше, чувством. Да вот вы, я вижу, купили творения святых отцов. Это, наверно, не значит, что вы собрались в монахи?

— Не значит, — смущённо согласишься и, извинившись за беспокойство, ретируешься из магазина.

Сашка именно такой крестьянин-интеллигент. Правда, с двумя отклонениями от истинного образа. Первое — он не всегда изъясняется изящно, в связи с вышеупомянутыми особенностями фамильного характера, а второе — у Сашки нет семьи.

Сашке под пятьдесят. Он единственный из всей деревенской хаймы живёт в деревне и собирается умереть здесь. Лет пять назад даже место своего будущего упокоения, рядом с отцом и матерью, огородил. На мой вопрос: отчего такая спешка? — ответил, значительно поигрывая топором:

- Дабы помнилось, что отступать некуда.
- Разве тебя кто гонит отсюда? — удивился я.
- Всякое может случиться в наше дивное время.

Наше время просто нашим Сашка никогда не называет, но обязательно пристёгивает к нему — дивное, изумительное, серьёзное, исключительное, небывалое, выговаривая пристяжное слово без усмешки и без какой-либо другой интонации, подающей повод считать, что им наше время не уважается. С тех пор как, забрав дочь, от него ушла жена, Сашка ко всем словам без исключения относится с осторожностью, даже в запальчивости избегая двусмысленностей. Он женился поздно на учительнице из райцентра, и та, перемучившись три года в деревне, заявила: «Ты мне что обещал? Натуральную жизнь на лоне природы? А дал что? До города — двадцать километров, до школы, клуба, магазина — семь. Да ещё и корову дои, и курей корми, печку топи, в огороде корячься. Боёк да Катя полоумная — всё общество. Да с вами тут с ума сойдёшь! Нарядиться не для кого. А Светка? Её через год-другой музыке учить, а где?! Нет, нам со Светкой нужны другие условия».

Собрала вещички и в райцентр убралась.

Много лет прошло с тех пор. Сашкина дочь так и не выучилась музыке, ибо выиграло в ней чирковское, Сашкино — тяга к земле. После десятого класса она поступила на факультет пчеловодства, и Сашка теперь для будущей дипломированной специалистки строит ферму, а вернее всё, что необходимо для нормального житья-бытья: двухэтажный кирпичный дом, гараж, баню, хозяйственные постройки. Завёл два десятка ульев, и деньги, вырученные за мёд, вкладывает в строительство.

64

Любопытным поясняет:

— Светка после учёбы вернётся, а тут всё готово. Вместе и станем работать: я — по хозяйству, она — по производственной части. Мужа ей толкового найду — внуки пойдут. Жизнь в деревне снова засветится.

В поисках досок мы доходим до почти завалившейся избы Петьки Чиркова. С трудом открываем прижатую притолокой дверь, сенцами пробираемся в жилое, из пола выдираем две вполне крепкие доски.

— Надо же, какой материал ставили! — восхищается Сашка, вытаскивая из досок ржавые гвозди. — Почти пятьдесят лет пролежали — и хоть бы что им. — Отложив топор, разводит руками: — В газетах пишут: дескать, мы, совки, сиволапые и некультурные отродясь были. А по мне, культура, в первую очередь, — это отношение к труду. Некультурный человек так выдержать доски не сумел бы. Тут ум нужен, а к уму — совесть.

Взявшись за топор, откладывает его и крутит головой:

— Ум без совести-то, знаешь?.. Я иной раз телевизор включу — западную жизнь их распрекрасную показывают. Гляжу, гляжу — всё улажено, приглажено до блеска, умно устроено, а совести в устройении нет. Талдычат о свободе личности, а свободного человека в этом блеске не сыщешь. Все вроде и врозь, но как на конвейере живут, и ежели кто захочет поинному — у него не выйдет.

— Сам же говоришь: культура — это совестливое отношение к труду, — поддразниваю Сашку. — Культура производства у них есть, следовательно, и ум есть, и совесть. Иначе как объяснить западное изобилие?

— Вот, вот, — соглашается Сашка, — изобилие. По-моему, именно в нём корень зла. Помнишь, что толковала твоя прабабка про хлеб насущный?

— Помню, — отвечаю.

— Помнишь, а в суть до сих пор не вник. У них там, на Западе, этого хлеба в разных видах больше или меньше, чем необходимо для существования?

— Гораздо больше.

— Следовательно, — подхватывает Сашка, — Господне веление нарушено или нет?

— Выходит, нарушено.

— Вот, нарушено. И, думаю, нарушается и будет нарушаться в будущем. А что из этого выходит? А выходит: изобилие для них — самоцель, и, следовательно, стремление к нему есть зло. Это ведь, как в физкультуре: когда она перерастает в большой спорт, результат застит последствия, и спортсмен вместо здоровья обретает болезни. Согласен?

— Согласен, — киваю.

— Вот видишь. А Запад, по-моему, от изобилия уже болеет. Да это по музыке и кинофильмам видно. Они у них другие, чем у нас, другой заряд несут. Знаешь, как в математике: две единицы, одна с плюсом, а другая с минусом — внешне одно, а суть разная.

— У них с плюсом? — вроде бы не понимаю я.

— Нет, с минусом, — отвечает Сашка, а я разыгрываю лёгкое возмущение.

— Ну ты загнул! — и подытоживаю: — Это — от зависти.

— Да не завидую я! — повышает голос Сашка. — Мне их просто жалко.

— Ты лучше корову пожалей, — советую, и Сашка проволокой принимается связывать доски.

Тёмными сеньями выносим доски на улицу. Шагаем вдоль по деревне — Сашка впереди, я за ним. Доски от моего плеча к Сашкиному мостом тянутся. Стараясь идти в ногу, смотрю на широкую спину, обтянутую ковбойкой, на тёмно-каштановый нестриженный затылок, потраченный лёгкой сединой, и в который уж раз дивлюсь Сашкиной способности начинать разговор с пустого, хотя бы с досок, а заканчивать мировой проблемой. Чувствуя неловкость за оборванную беседу, спрашиваю:

— Ты вроде в Бога веришь?

— Верю, — отвечает не оборачиваясь.

— Давно?

— Третий год.

— Что так вдруг?

Придерживая левой рукой доски, правой с зажатым в ней топором Сашка, словно указкой, очерчивает полукруг:

— А вот, было, со всего этого запил. Да так, что думал — кончусь. Делать нечего: раз поутру вылез из избы, в траву, в росу на колени бух — и ну на восход молиться. В избу заполз, чайку крутого попил — похмелье-то как рукой сняло. С тех пор вкальваю вот: днём в колхозе, вечером на себя, казалось бы — как не выпить? Но не тянет.

— Интересно, — говорю.

— Интересно, — соглашается Сашка.

— Надломишься в работе.

— Не надломлюсь. Бог посылает испытания по силам.

— И много вас в колхозе верующих?

— Не много, а есть.

— И крепко верят?

— По-разному. Есть истинно верующие, есть ищущие веру, а случаются... — Сашка торчком вскидывает топор на уровень виска и крутит

им, подыскивая слова: — ...которые молитвой отстаивают право в будущем на добродетель.

— Не понял, — признаюсь я.

— Ну, сознательно торгуют совестью. Считают, что пока иначе не прожить.

Я перестаю спрашивать, и Сашка умолкает.

Солнце уже висит над полем. К нему жмутся отсыревшие за ночь синеватые облака, оно сушит их, и от жара их края розовеют, и они становятся, что свежий творог, щедро облитый желтоватой жирной сметаной. Низко висят над землёй. Кажется: заберись на стоящую посередине поля скирду — и запросто до них ложкой дотянешься.

— Ты почему нынче не в колхозе? — спрашиваю.

— Отпросился. Хотел сарайчик толем покрыть.

Хочу спросить, почему он не выделится из колхоза и не займётся фермерством, но на доску возле моего глаза садится шмель, и по спине бегут мурашки. Я с детства боюсь шмелей гуще пчёл, потому что они большие, лохматые и на лету как в трубу трубят. Шагаю под досками за Сашкой, замороженно косясь на насекомое.

Сашка перекладывает доски с левого на правое плечо, шмель улетает, и я вновь принимаюсь разглядывать облака, но теперь одно кажется мне белым подовым караваем, другое — сахарной головой, а третье точь-в-точь тамбовским окороком — белый жир по краям и нежно-розовое мясо внутри.

— Есть хочется, — жалуясь Сашкиной спине.

— Корову вызволим — закусим, — обещает Сашка. — Ты — гость желанный, тебя как следует встретить надо.

— А сарай крыть? — спрашиваю.

— Погодит сарай.

Подходя к Сашкиному дому, слышим:

— До-очушка, у-умница, ты жуй, жуй, а мы — сходенку тебе, а ты по сходенке-то и вылезешь. Сейчас Валерка с Сашкой доски принесут, всё обладят. А ты, сердешная, пока жуй, жуй...

Тётя Катя на коленях возле ямы уговаривает корову. Боёк на чурбачке из ольховой слеги топором выделывает порожки-поперечины — чтобы корова по доскам не скользила.

— Больше, больше готовь — почаще набьём, — наставляет его Сашка.

— Учи-и-и учёного, — огрызается Боёк.

Сбросив доски, подхожу к яме. Она не глубокая — корове по рога, длиной метров пять, шириной — четыре. Корова жуёт сено. Изредка вскидывая голову, втягивает в ноздри струящийся сверху живой травяной воздух и тяжело с дрожью вздыхает.

— Как она туда попала?

— И-и-за лопушком потянулась, — отвечает Боёк и показывает мне лопушок и две борозды от коровьих ног на выбранной из ямы красноватой глине.

— Видать, на боку съехала, милушка, — объясняет тётя Катя, а Сашка, чувствуя за собой вину, оправдывается:

— Глубже хотел копать, а потом думаю: погожу. И вот... Счастье её, что меня лень одолела.

— Это нам счастье, — начинает зудеть тётя Катя. — Убилась бы — нам всем без молока в зиму.

— Зато с мясом, — усмехается Сашка, а Боёк, видно шибко испуганный случившимся, вскидывается на него:

— А ну и-и-замолчь! Суперечить моду и-и-взял.

— Да ладно, — отмахивается Сашка.

— Не ладно! Я ведь и-и-хворостиной могу.

Боёк топает ногой, задирает подбородок, дабы значительней выглядеть, — и делается ещё меньше. Способствуют этому резиновые сапоги, огромные, совершенно не по размеру и росту. Тянется Боёк вверх, а ножки его тоненькие, в таких же, как у Сашки, крылатых галифе, дрожат, и вместе с ними дрожат широчайшие голенища.

— Я тут и-и-кто тебе? — допытывается Боёк. — И-и-кто, и-и-кто?

— Ну ты... дядя Семён, — нерешительно, с расстановкой отвечает Сашка.

— Не дядя! Я — Семён Петров и-и-Королёв, и-и-старший на поселье!

При последнем слове Боёк притоптывает ногой, но сапог от земли не отрывается, как чугунный стоит, только пуше дрожит голенище.

— А... точно, — соглашается Сашка, поняв, к чему клонит Боёк.

— И ты должен меня и-и-слушать!

— Я слушаю, — смиренно опускает руки Сашка.

— И-и-то-то, — сразу же успокаивается Боёк, а тётя Катя говорит мне:

— Вот так чуть ли не каждый Божий день сражаются.

На что Боёк заявляет:

— Молодёжь надо и-и-учить. А то от рук отбились. В державе-то что деется — и-и-срамота. Я уж и радио не включаю. Не радио, нас надоть слушать, стариков. Мы и-и-худому не научим.

— Это конечно, — миролюбиво соглашается Сашка и приказывает Бойку: — Ну-ка, сходи в терраску. Там в консервной банке гвозди — принеси.

Через полчаса мы с Сашкой спускаем в яму составленную из досок сходню. Сашка спрыгивает вниз, укладывает нижний конец на кирпичи, на рога корове навязывает верёвку, конец её подает Бойку, поворачивает корову мордой к сходне.

— Прыгай, — командует мне.

Я прыгаю в яму.

— Ты сзади её пихай, — распоряжается Сашка, — я сбоку её к стене буду прижимать, чтобы не оступилась, а вы тяните. Ну, взялись!

— А красавица, доченька, а иди ко мне! — запеваёт тётя Катя.

Боёк натягивает верёвку. Сашка оглаживает корове бок, трёт холку, ласково гудит в ухо:

— Пошла, пошла.

Зайдя в тыл животному, я руками упираюсь в ляжки. Корова, будто испуганная собака, поджимает хвост и надсадно вздыхает.

— Наляжем! — восклицает Сашка.

Я упираюсь сильнее. Корова делает шаг.

— Пошла, пошла, — гудит Сашка.

— Зоренька, ненаглядная! — поёт тётя Катя.

— И-и-раз! — затягивает Боек.

Чувствую: тело коровы начинает дрожать. Сначала дрожь мелкая, потом крупнее, и вот её уже, как говорится, начинает колотить. Она медленно, редко шагает, хрипло, сплошно ревёт, из-под прижатого хвоста на руки и в рукава мне моча льётся. Сходня становится склизкой, и я боюсь оступиться; мне кажется — лишившись опоры, корова оседет, кувырнётся вниз и придавит меня к задней стенке ямы.

Но вот, мокрый от коровьей мочи и собственного пота, я по пояс возвысился над землёй.

— Ну — разом, напоследок! — командует Сашка.

Изо всех сил подпираю корову. Мы вместе с ней шагаем раз, другой. Чувствуя, что она передними ногами ступила на землю, я собираюсь навалиться на неё плечом, но тут прижатый хвост вдруг поднимается, раздаётся всем знакомый звук, и мне в лицо с треском летит заряд пахучей жижи. Слеплённый, на четвереньках я вслед за коровой по сходне выбираюсь из ямы и слышу Сашкин голос:

— Жив?

Слышу хихиканье Бойка:

— Здорово она тебя и-и-сразила...

И ахи тёти Кати:

— Костюмчик, костюмчик-то — мать честная!

— Хорош! — возвещает Сашка. — Не три, не три глаза-то. Стой спокойно. Сейчас воды принесу.

Когда я промываю глаза, тётя Катя велит Сашке:

— Веди его на речку. Костюмчик прополощите — я постираю.

И мы с Сашкой шагаем к реке.

На берегу Сашка спрашивает:

— А помнишь, Петька Чирков нас тут мыл?

Конечно, я помню. Я всё помню.

Петька Чирков



Петька принадлежал к породе людей, именуемых на Руси удальцами, удаль которых — всегда подвижничество и является не плодом серьёзных рассуждений, а результатом мгновенного озарения. Для реализации их дара не требуется никаких затрат. Его не надобно ни выращивать в особенной холе, ни оберегать от ударов судьбы, потому что проявляется он как раз в экстренных ситуациях. В обычное время дар этот спит, но стоит только условиям сложиться благоприятно и — треск, гром, быстрота, натиск — полнейшая, безусловная победа.

Петька Чирков по строю души и склонности сердца был солдат из того разряда военных людей, коих любовно-шутливо величают Ваньками-взводными, которым по причине величайшей лихости во всю службу больше взвода под начало не дают, ибо при погонах любого достоинства они по сути своей остаются младшими лейтенантами. В положениях аховых, за убылью старшего офицерства, случается им командовать и батальонами, и полками, но стоит ситуации уравниваться — они снова на прежней должности. Это извечно, пожизненные воинские трудяги, богатыри, обладатели великого дара личной храбрости и геройства. Про них, способных ради Отечества на полнейшее самоотречение, народ выразился точно: или грудь в крестах, или голова в кустах.

Будучи председателем колхоза, бывший командир взвода Петька Чирков уже после войны погиб, как младший лейтенант, поднявшийся первым в атаку. Загорелась только что выстроенная школа. Прибежавшим на пожар мужикам Петька заявил:

— Здание не отстоим, а парты, пожалуй, спасём. Слушай мою команду: ты, ты, ты и ты — возле окон стоять, парты принимать. Остальные — за мной в школу!

Сени, разделявшие школу пополам, уже горели, когда новенькие, прямо с фабрики, парты были вызволены. Спасательная команда сигала в окна на улицу. Петька, забыв о своей увечности, вспрыгнув на подоконник, левой, целой рукой лапнул наличник, культю к другому протянул и, не найдя опоры, опрокинулся навзничь под рухнувший пылающий потолок.

После пожара из пепла извлекли обгоревшие останки да две оплавленные серебряные бляшки — два бывших ордена Славы, носимые Петькой постоянно. Так, оплавленные, их и несли на подушечке перед гробом. От имени родственников и всех деревенских на кладбище краткую речь произнес Боёк.

— Бывало, — сказал, — мы с ним, с покойником то есть, и-и-лаялись. Но это не в счёт. Главное, и-и-великой воли человек был наш сродственник Чирков Пётр Иванов. Ведь как дело-то было? А так и-и-было. Как гаркнет: «Вперёд, в школу!» Взгляд — и-и-штык. Вату из ног у меня напрочь выпустило. И-и-не война, чай, мог бы и отбрехаться, а кинулся и-и-приказ сполнять. Низкий поклон тебе, герой ты наш. Пусть земля тебе будет и-и-пухом.

Не в пример Бойку Петька никогда не отказывался рассказывать про войну. Тут уж, как говорится, хлебом его не корми, а дай высказаться, не перебивай пустыми вопросами, ибо он, как бывший командир-офицер, всё нужное сам доведет до слушателя, а о пустом, ненужном слушателю знать не надо, тем более хайме, будущим защитникам родины. Доходчиво объяснит на примере:

— Вот лошадь, скажем. Она, ясно дело, полезнейшее животное. И возит, и пашет, а затоскуешь — сзади подойдёт, в затылок дышит, понимает тебя, ум у неё замечательный. Одначе от неё — навоз. Вещь пахучая, неприятная. Но мы навоз словно бы не замечаем. А почему? А потому. Полезные её качества для нас важнее. Так и с войной. Смердящего в ней достаточно, но иного, чтобы родину отстоять, в арсенале нет. Налез враг — воюй, дыши смрадом. Победишь — отдышишься. А хочешь чисто жизнь прожить — в мирное время армию крепи: служить призывают — от души служи, то есть как следует учись стрелять, бегать, ползать, окапываться тоже. Короче, на пятёрку всему, чего командир велит. Хорошо выучен будешь — армия будет сильная. Армия сильная — хрен кто к нам сунется.

Умственно рассуждал Петька. Бывало, катит по деревне на своей председательской тележке, запряжённой буланым коньком, а мы, хайма, будто грачата-слётъши, с черёмухи осыпемся и наперерез ему. Настигнем на выгоне — и:

— Дядя Петя! Расскажи про войну, про пушку! А автомат далеко стреляет?..

— Про войну? — спросит, натягивая вожжи. — Некогда. — И давай перечислять: — Передаточный ремень на сортировке оборвался, потом — к лесничему насчёт дров, потом — слышно, на станции сепаратор испортился, решать надо, как завтра быть с молоком, а вы — «про войну». — И рассердится: — Какая тут война!

— А мы с тобой прокатимся! — заявит Сашка.

— До Костинки! — подхватит кто-нибудь.

— А ты нам расскажешь.

— От Костинки назад сами добежим.

— До Костинки? — задумается Петька.

— До Костинки, до Костинки! — загалдим разом, и Петька смилостивится:

— Ну разве что до Костинки... Но потом — назад. — И в подтверждение непримиримого решения добавит: — Дальше не повезу, Буланчик замается.

Тут же мы, ребяташек пять-шесть, заберёмся в тележку.

— Но! — возгласит Петька, и Буланчик трогается.

Рассказ про войну начинается не сразу. Сначала, словно разыскивая тучу, Петька оглядывает небосвод, потом дорогу, после, чуть изогнувшись, взирает на реку и наконец заявит:

— Пить хочется. — Со дна тележки, из-под сена, добудет алюминиевую фляжку, зажав в коленях, отвинтит пробку, отхлебнёт глоток-другой, закурит и, испустив изо рта струю дыма, припахивающую водкой, поинтересуется: — про что рассказывать-то?

— А про пушку, — откликается кто-нибудь.

— Про автомат.

— Про то, как тебе руку оторвало, — просит Сашка.

— Не оторвало, а отстрелило, — поправит Петька.

— Ну отстрелило.

— Не «ну». Оторвало или отстрелило — разница.

Рассказ о том, как он лишился руки, у Петьки любимый. Он его всегда начинает возгласом: «Сам виноват!» — потом на минуту задумывается, глубоко затягивается дымом, в три-четыре затяжки высмаливает папироску до мундштука и, в сердцах кинув под колёса окурков, сожалеюще вздыхает:

— Вишь, как вышло-то...

Нам, хайме, бесконечно его жалко. Мы этот давний военный случай помним наизусть, наперёд знаем все слова, но от этого интерес не уменьшается. Затаив дыхание, вместе с Петькой соперееживаем былое. Рука Петькина, отстреленная в Германии аккуратно перед самым концом войны, словно бы нам кровная, принадлежит нам всем. Мы совершенно уверены: Петька, воюя, рисковал жизнью за нас, и фашисты именно за нас отстрелили ему руку.

Уже будучи взрослым, я пытался понять эту свою удивительную причастность к отгремевшей до моего рождения войне, это родственное отношение ко всем участникам боёв, живым и погибшим: ведь в детстве никто не заставлял меня их особо любить и почитать, а они не козыряли своим героизмом, стесняясь страдальческой её стороны. Но сколько ни силился, так и не понял. И другое интересно: в детстве я был совершенно уверен, что победи Гитлер — и меня не было бы на свете. Впрочем, я так думаю и сейчас.

Буланчик, конёк хитроумный, почуяв Петькино отрешение от всего сущего, бредёт лениво и тоже слушает хозяина. Но ему, в отличие от нас, важен не смысл Петькиных слов, а их тон. Навострив уши, он силится уловить ту паузу, когда, очнувшись от воспоминаний, Петька обнаружит его лошадиную нерадивость. Тут коньку, не мешкая, нужно выказывать рвение, чётче печатать копытами суслинок, браво помахивать хвостом, раз-другой вскинуть морду — потребовать вожжи. А Петька рассказывает:

— Ссыпались мы, значит, в ихнюю переднюю траншею. Траншейка мелкая, тесная, а по нам из всех видов стрелкового оружия метут. Сидим в ряд на корточках, на коленках, головы к груди прижали. Рядом со

мной Вася Жильцов, тамбовский, дня три только во взводе, два месяца как призван. Ему бой, вернее, атака — первая. И странное дело: иной желторотый со страха старается в землю вжаться, а Вася наоборот. Больно уж ему всё интересно. Пыль над траншейкой, пули впритирку летят, а он норовит высунуться, поглядеть. Раз я его за рукав дёрнул, другой, а ему все неймётся, со страху-то разум потерял пацан, да-а...

После этого тягучего «да» рассказ быстро подвигается к финалу.

— На третий либо на четвёртый раз и я вместе с Васькой-то разум потерял, — пожимает плечами Петька, дивясь своей прошлой дурачости. — Привстал Васька на коленочках, а я думаю: ну щас я тебя по кумполу, и сам привстал да руку вздел, чтобы кулаком ему по каске, чтобы, значит, таким манером ему мозги вправить... — Изображая былое дурачество, Петька вздыхает культю и заканчивает: — Думаю, две пули сразу в руку чокнули, потому как — вот.

— Может, осколком? — спрашивает кто-нибудь из хаймы.

— Нет, — отрицательно крутит головой Петька, — в тот раз ни из пушек, ни из миномётов по нам не стреляли. — Подводя черту под повествованием, вытягивает из сена фляжку. Перед первым глотком доверительно сообщает: — А Ваську-то всё-таки убило. — Перед вторым глотком изрекает назидательно: — Своеволен был. Командиров не слушался. А на войне командирское слово — закон. Так-то вот. Подчиняться надо, подчиняться. Подчинение — главная солдатская выучка. Научитесь подчиняться — всему научитесь: и ползать, и стрелять, и гранату кидать, и окапываться. И терпеть, когда уже вовсе немогуту.

Про терпение Петька говорит задумчиво, будто это сказано им впервой и он дивится неожиданной глубине мысли, но тут же вскидывает голову и заявляет:

— Эвон-та Костинка. Марш домой.

Мы сыплемся на землю и, сбившись в кучку, глядим вслед тележке, везомой буланым коньком, на Петьку, восседающего в передке свесивши ноги. Реальность мирной, залитой солнечным светом земли к нам возвращается медленно. Несмотря на то что наши головёнки махонькие и мысли в них ещё коротенькие, нам надо несколько минут, дабы, услышав звенящего жаворонка, осознать раздольную густую тишину, напитанную запахом зрелых колосьев, ощутить наше безбедное бытие, смутиться своим покойным, почти невероятным счастьем. Разница между услышанным от Петьки и нашей действительностью так велика, противоречие войны и мира настолько громадно, что мы до костинского оврага бредём молча, молча спускаемся в овраг, молча усаживаемся на плоские камни возле ручья и слушаем, как тот воркует.

Первая, по своей великой непоседливости, стряхивает оцепенение Лидка. Встаёт на колени перед ручьём и, черпая пригоршнями воду, пьёт, пьёт, обливая серенькое ситцевое платишко. Оборотившись к нам курносый веснушчатый лицом, восхищается:

— Хорошо как! — Отвернувшись, заглядывает в ручей и сообщает: — А вот пескарь!

Сашка тут же скидывает рубашку. Я подворачиваю штаны, и под молчаливое, азартное сопение остальной хаймы мы лезем в воду. О войне забыто. В нас бурлит мир.

Однако наши забавы не всегда бывали мирными. Подчас в результате Петькиных рассказов случались бои, когда деревенская хайма делилась на немцев и наших, причем захватчиками, немцами, никто не хотел

числиться и эта повинность отбывалась в очередь. А однажды была учтена настоящая стрельба по вражескому объекту со стопроцентным попаданием. Тут сыграло Петькино наставление по стрельбе из противотанкового ружья: мол, главное — изучить местность, по которой танки наступать будут, выбрать позицию и, не обнаруживая себя, тихо сидеть, ждать, покуда бронеек объект не развернётся к тебе бортом. Тут уж, не суетясь, под гусеницу целясь...

На этом месте рассказа Петька в струнку вытягивался, прищуривал левый глаз, прикусывал нижнюю губу, приподнимал здоровую руку со скрюченным пальцем на уровень носа и показывал, как палец давит на спусковой крючок.

— Бац! — резко припечатывал палец к ладони, и мы на самом деле слышали выстрел и видели, как из щелей вражеского танка сочится чёрный дымок.

Воля к победе над захватчиком была в нас вложена, и не хватало лишь подходящего случая, чтобы она в том или ином виде проявилась. Тем более что Петька, как бывший славный отец-командир, рассказы свои оканчивал одинаково:

— Просто вроде сладилось, а сколько допрежь пота пришлось пролить — страсть. Родину защищать не хитро, хитро со смыслом её защищать. А этому учиться надо. Ученье для солдата — свет, то есть победа, неученье — тьма, поражение.

Естественно, что теоретические Петькины наставления воплотились в практическое действие.

Однажды возле избы рублю я хворост и слышу:

— Валерка, Жук, Жук!

Оглядываюсь — из-за тычняка Сашка рукой манит. Лицо розовое, возбуждённое, в волосы солома набилась — значит, где-то был, что-то интересное видел и желает вовлечь меня в увлекательное предприятие.

— Что? — вскидываю голову.

«Бросай топор! — сигнализирует. — Айда за мной!»

Воткнул я топорик в чурбак — и через тычняк, и побежали мы огородами, по картошке, в тыл Сашкиной избе, к дровяному сарайчику, притулённому к крытому двору. По приставной лестнице влезли на крышу, оттуда на чердак, с чердака по другой лестнице — вниз, в сени, из сеней проникли в полутёмную клеть с узким, в бревно, оконцем. Сашка отодвинул от стены кадушку, набитую пустыми мешками, приподнял половицу:

— Гляди!

На старой трухлявой соломе лежала охотничья двустволка.

— Чья? — свистящим шёпотом спросил я, чувствуя, как с затылка на спину сыпанули мурашки.

— А я знаю? — шёпотом ответил Сашка. — Наверно, папанькина. Давно лежит. Дула ржавые. Один курок щёлкает, другой заело.

— Дула керосином отмоем, — решаю я.

— А курка и одного хватит, — кивает Сашка.

И началась игра с настоящим оружием. Тут же, в клети, была провозглашена полная секретность, а на следующий день мы с Сашкой пустились в разведку. За деревней, под старым мирским амбаром, устроили тайное хранилище. Туда стали сносить всё пригодное, по нашему разумению, для чистки ружья. В конце концов с величайшей оглядкой в тайник была доставлена двустволка. Стволы мыли подсмотренным у взрослых способом: опустили их мушкой вниз в алюминиевую миску, вставили в

ствол обмотанный паклей ореховый прут и, наливая помаленьку керосин, орудовали вверх-вниз прутом, как поршнем.

Когда ружьё было вычищено и насухо обтёрто, Сашка высказал резонную мысль: если из ружья не стрелять, оно окончательно испортится, на что я заметил:

— Стрельнуть можно. Патроны где взять?

— В сенях в шкафчике у Бойка три штуки.

— Это пустые гильзы.

— В шкафчике в коробке и порох.

— Отсыпем?

— Нам и надо-то спичечный коробок.

— А хватит?

— На два раза, да ещё останется.

— А капсули?

— Там же, в баночке из-под чая.

— Воровство получится.

— Воровство — это когда только себе. А мы для всех. Мы стрелять будем учиться. Случись что — а мы уже умеем.

Уже в десятилетнем возрасте Сашка говорил убедительно. Через пять минут я был уверен, что стрельба наша во благо Родине, ибо мы с Сашкой будущие защитники её и, следовательно, должны уметь её защищать. А в защите первое — правильное владение оружием: точно целиться, не моргая спускать крючок, не бояться выстрела. Второе же — не стесняться врага. Не он, враг, прав, а ты, защитник Отечества. Следовательно, мы не должны бояться, что нам за стрельбу нагорит, — защитник Родины идёт в бой без страха, и значит, мы должны учиться подавлять страх.

— А пули из чего сделаем? — засомневался я в последний раз.

— Шарика из подшипника подойдут. Сталь крепче свинца.

Все моральные и технические вопросы были решены. Через два дня мы изготовили боеприпасы, а на третий вышли на боевую позицию.

Утро ясное выдалось. Из реки на берег, словно тесто из квашни, выползал туман и таял на траве. Над туманом с криками носились ласточки. От их крика раззолоченная молоденьким солнышком тишина была ещё осязаема. Казалось неестественным стрельбой нарушить эдакую благодать. Хотелось заняться какой-нибудь мирной работой, но Сашка, настроенный решительно, распорядился:

— Двустоволка как будто противотанковое ружье. Я — первый номер, ты — второй.

— Тогда мне нести его, — попробовал я отстоять своё право.

— Ты как будто устал. Неси боеприпасы. Движемся скрытно. Будем позицию выбирать.

Возможно, манёвры окончились бы благополучно, но путь наш лежал мимо скотного двора, а там к столбу поскотины было прислонено новое оцинкованное корыто.

Невозможно описать чувство, охватившее нас при виде блестящего на фоне зелёной травы железа. Все сомнения тут же были забыты, опасения отброшены. Ярко-серебряное пятно завораживало, и, не стовариваясь, мы действовали автоматически.

Шагах в пятидесяти от корыта краснел ягодами куст бузины.

— Подходящая позиция, — определил Сашка.

Мне тоже хотелось сказать веское слово, и я скомандовал:

— По-пластунски!

На позиции, под кустом, вспыхнул спор.

— Я — первый номер, — заявил Сашка, — стреляю первый.

— Ты нёс ружьё. Я первый буду стрелять.

— На войне всегда стреляет командир расчёта, второй номер помогает. Так и дядя Петя говорил.

— Теперь не война, — нашёлся я. — Мы учимся. Учиться надо одинаково.

В конце концов решили тянуть жребий. Я зажал травинку в ладони.

— В какой? — вытянул сжатые кулаки.

Сашка указал.

— Пустой, — разжал я пальцы и уже командирским тоном приказал: — Патрон!

До сих пор мы с Сашкой никогда не стреляли из ружья, но видели, как стреляют, и я всё делал по памяти: переломил двустволку, сунул патрон в правый, исправный ствол, приведя ружьё в боевое положение, взвёл курок и стал целиться.

Помню, как тяжело было ружьё для моих слабых десятилетних рук. Оно почти не подчинялось мне, ходило вправо-влево. Корыто, достаточно большое, вдруг сделалось совсем маленьким, и мне никак не удавалось задержать на нём мушку. Правый глаз стал слезиться. Возможно, я так и не выстрелил бы, но Сашка грозно выкрикнул: «Стреляй!» — и я нажал спусковой крючок.

Выстрела я почти не услышал. Помню только, как меня больно ударило в плечо и как, подпрыгнув, корыто завалилось набок. Помню, как Сашка заорал:

— Прямое попадание! Ура! Вперёд!

Подбежав к корыту, мы были поражены результатом выстрела: стальной маленький шарик, вылетев из ствола, видно, потерял устойчивость — на корыте зияла серповидная вогнутая рана в полдну. Тут только и выяснилось, что порча корыта для нас неожиданность. По великой детской наивности последствий стрельбы мы не предвидели.

— Бежим? — спросил я.

— Бежим, — согласился Сашка, но от скотного двора донеслось:

— Стой! — и мы из победителей превратились в преследуемых побеждённых: впереди бежал Сашка, за ним я, за нами, неловко прижав культу к груди, грохотал сапожищами Петька Чирков.

Ничего ужаснее того грохота я не помню. Я бежал не оглядываясь и сапог не видел, но они в моём воображении с каждым ударом росли, росли, и мне уже казалось, что не человек гонится за мной, а громадные, выше моего роста, сапожищи без чьей-либо воли сами по себе бегут за мной и, если достигнут, непременно раздавят.

Таким порядком мы с Сашкой обожали скотный двор, кинулись было к деревне, но путь преградила навозная куча, и мы, помогая себе руками, взобрались по чавкающей жиже на вершину, встали там плечо к плечу, будто герои Шипки. Разъярённый Петька тоже было полез за нами, но остановился, вытянулся по стойке смирно и не терпящим возражений басом потребовал:

— А ну слезай!

— Не слезем, — заупрямился Сашка.

— Ещё как слезете! — прорычал Петька. — Я покажу вам! Вы у меня узнаете! По колхозному добру — из ружья?! Да я вас... да я... протокол... да я... к участковому...

Он возмущался и возмущался, надвигаясь на навоз, и было ясно, что, разъярённый потерей корыта, он обязательно полезет на кучу. И тут меня озарила спасительная мысль.

— Ты сам!.. — выкрикнул я.

— Что «сам»? — грозно спросил Петька.

— Сам говорил: учиться надо... Родину защищать... Ученье — свет, а неученье — тьма!

Почти сорок лет прошло с того случая, но я не перестаю удивляться светлой мудрости, которой обладал Петька Чирков, почти что неграмотный человек, мудрости, которая и по сию пору окормляет многих и многих русских людей, несмотря на семьдесят лет нашей атеистической истории. Велика и священна эта тайна, и я всякий раз, подступая к ней, трепещу душой.

Вздрагивая от обличительных выкриков, как от выстрелов, Петька на глазах из злого, горластого мужика преобразался в доброго дядьку: непримиримо вскинутую голову выровнял, культю здоровой рукой прижал к груди, задумался, а когда нам уже нечего было кричать, не спеша оглядел нас и сказал спокойно:

— Слезайте. Не буду наказывать. Право слово.

К тому времени мы с Сашкой уже по колено росли в навоз. Спустившись с кучи, предстали в весьма неприличном виде, и Петька распоряжился:

— За мной на речку мыться — марш!

Из толпы собравшихся возле кучи доярок послышалось:

— Хоть ремнём для порядка чуток постегай.

Но Петька оскалился:

— Цыть!

И мы отправились к реке. Там Петька повелел нам раздеться, зачерпывая воду огромной, будто лопата, ладонью, вымыл нас, прополоскал штаны и рубашки. Потом, усевшись на камень, закурил и произнёс наставление:

— Солдат — он когда солдат? Когда берёт оружие по присяге да по приказу. А когда самовольно — разбойник. Это надо на всю жизнь затвердить. Это свято. Забудете — народ проклянёт вас.

* * *

Помню, я всё помню. Память о прошлом понуждает пристально озираться настоящее, вымерять его аршином прошлой выделки, который ковался нашими предками не по заморским эталонам, а по собственным природным меркам, дающим силы жить, несмотря на выкрутасы текущей истории, по Богом данной логике бытия, не разрушая её и не извращая. Помню, например, наши деревенские бабы и мужики были настоящими златоустами, немногословными, но велеречивыми в том смысле, когда каждое слово не в бровь, а в глаз. Уже будучи взрослым, я понял: их речь, краткая, но весомая, была под стать русским летописям, в сравнении с которой теперешние речевые перлы, даже печатные, — пустая, безлика тарабарщина.

Шагаю я за Сашкой от реки в трусах, босой и, вспоминая речи Петьки Чиркова, думаю, что нынче порою, внимая вроде бы русскому говору, хочется позвать переводчика, дабы тот перетолмачил на истинно

русский язык тот абсурд, на коем теперь изъясняются многие великообразованные современники.

— А всё-таки замечательно выразался Петька! — восклицаю в спину Сашке.

— Не то слово, — возражает Сашка, обернувшись. — Петька выразался грандиозно. Да что Петька! По сравнению с теми, которые по радио выступают, и Боёк Цицерон. Я тут за одним, чуть ли не академиком, словеса переписал, подсчитал и ахнул.

— Меньше, чем у Элочки-людоедки?

— По сравнению с Элочкой — больше, но если сравнивать со словариком учебника по русскому языку для восьмого класса, то меньше. Талдычил, талдычил, а изо рта не слова, а жмых, досуха выжатый, выплёвывает. И всё вроде он за народ болеет. Врёт, поди. Нельзя нутром за народ болеть, не зная живого русского языка. Я лично так рассуждаю. А честно сказать, слушаю таких, а по спине, веришь, мурашки бегут. Слова они человеческие изрекают, но не от сердца. Будто роботы для говорения заготовленных текстов слова до меня доводят. — Сашка ускоряет шаг, но потом снова оборачивается: — А ты об этом как мыслишь?

Я думаю, что наши предки, когда им некое казалось, истово крестились, дабы мора не стала явью. Эту мысль я сообщаю Сашке.

— Правильно, — кивает тот и, повернувшись к востоку, крестится на белые облака. — Не приведи Господи! — шепчет с жаром.

И я, подстёгнутый возгласом, крещусь тоже.

— Ладно, — одобряет мое действие Сашка.

Мы снова устремляемся по тропинке. Ветер задувает в лицо. Я чувствую, что, несмотря на тщательное умывание, щёки припахивают навозом. Стоек навозный запах. Крепче французских духов.

— В моё переоденешь — закусим, — обещает Сашка.

— Я привёз, — намекаю на бутылку.

— Это хорошо. Боёк с тётей Катей чуток выпьют — песню споют. Праздник получится. Давно у нас на деревне праздников не было.

У Сашки в избе напротив печки стеллаж, уставленный книжками. Пока Сашка копается в гардеробе, беру одну, другую, третью, читаю названия, листаю, улавливая суть, стараюсь понять образ мыслей собирателя библиотеки. Для затравки как бы самому себе говорю:

— А многие считают, что в России нет начитанных мужиков.

— Врут твои многие, — отвечает Сашка. — Им, этим многим, выгодно так считать. Конечно, мужик разный встречается, но начитанные есть. Но всё же, думаю, начитанность не главное. Главное, это когда мужик чувствует себя хозяином своей земли. Не собственного надела, а земли в общем. А таких действительно много. Это те, которых твоя прабабка Василиса добрыми людьми называла. Это не стяжатели. Они для себя стараются постольку-поскольку, а в основном — для всех. Я тут один на один с собой много думаю. У теперешних мужиков ни на что не похожее чувство собственности, когда всё — мирское и каждому хватает. Конечно, есть грех: в какой-то мере община угнетает личность, но в то же время нерушимо противостоит мироедству, порабощению совестливого труда. Наш колхозный мужик подспудно понимает: земля не его, а Божья, и стяжать её — грех, а следовательно, грех и земные плоды прибирать к одним рукам. Думаю, чувство это с генами из глубины веков передалось, а при колхозах только усилилось.

— А говорят, — возражаю, — в колхозах напропалую пьют.

— Опять врут, — трясёт головой Сашка. — Пьют, но не напропалую. Напропалую бы пили — не смогли бы своим зерном полмира кормить. У пьющего нет силы работать.

— Но как-никак, а пьют, — возражаю снова.

— А это издержка не колхозов, а государственной колхозной политики. На мой взгляд, колхоз, то есть коллективное хозяйство, есть тот же сельский мир, только в концентрированном, очищенном виде. Колхозом можно горы ворочать и жить припеваючи, но не получается. А почему? А потому. Колхозный мир порабощён, работает по указке, а следовательно, и колхозник, живая трудовая клетка колхозного организма, порабощён. У нас ведь как было? Председатель не имел воли на уровне района, а колхозник — на уровне общины, колхоза. Да тут и святой запёт. Но ты возьми и колхозы от хомута освободи, дай мужику свободу на самого себя и на государство трудиться. Да тут такое начнётся... Да тут самый что ни есть пропащий забулдыга пить бросит. Да в таком слушае мир, общество никому пьянствовать не позволит.

Так разошёлся Сашка, что бросил штаны искать.

— Это теория, — возражаю. — А на практике?

— А на практике, — отвечает Сашка, — который год всеколхозно враскоряку: то ли сеять, то ли не сеять, то ли жать, то ли не жать, то ли оставаться в колхозе, то ли подаваться в фермеры. Непонятно даже, живём ли вообще или не живём.

— Ты же вроде в фермеры и собираешься?

— Это я на всякий случай, — усмехается Сашка.

Наконец он отыскивает штаны с рубахой, и я обряжаюсь. Всё на мне длинно, мешковато. Приходится подсучивать рукава, подвёртывать штанины.

— На, — в заключение протягивает мне Сашка новые блестящие га-лоши.

Я барином разваливаюсь на лавке. Сашка начинает сновать из комнаты в кухню, из кухни в чулан, потом в сени, потом в погреб, потом в огород, приносит и ставит на стол плоды своих личных сельскохозяйственных трудов: свежие огурцы, зелёный лук, квашеную капусту, редьку, резанную лепестками, кусок варёной свинины, шмат сала. Мы перебра-сываемся короткими фразами.

— Своё? — киваю я на плоды трудов.

— Наше.

— Как наше?

— Бойка, тёти Кати и моё.

— Коммуной живёте?

— На взгляд — врозь, а по сути — коммуной. Иначе не выжить.

— Им?

— И им, и мне.

— Кто же и за что у вас отвечает?

— Тётя Катя за корову да ещё на нас с Бойком стирает.

— А Боёк?

— Картошку обтяпывает, свиней кормит, кроликов.

— А ты?

— Моё дело — огород, дрова, комбикорм тоже. Плотницкое, слесар-ное что — тоже я. В магазин мотаться приходится. Ну ещё пчелы, конечно.

— На корову-то кто косит?

— Это мы с Бойком.

— Тяжело приходится.

— С ихней помощью — ничего.

— А им?

— Всяко бывает. Но мне главное, чтобы они за делом двигались. Сядут — тогда я пропал.

— Ты бы женился, — советую я.

— У нас в округе невест нет. Городская сюда не поедет. И третье прикинь: какая такая баба на мужа да на двух немощных стариков ишачить согласится? Кончились светлые времена. Если я, трезвый, здоровый, честный и работающий мужик, государству не нужен, значит, и бабы во мне не нуждаются. Это закон. Бабы, они что барометр — сразу чувствуют государственную политику. Первое — они перестали рожать, второе — они теперь не работающих, а зарабатывающих ищут. Страшная вещь случилась: бабы почувствовали, что они — товар, и желают выгодно себя продать. Теперь во главе угла не созидание жизни, а торговля ею. — Сашка хватается за самовар, останавливается, прижав его к груди, и с горечью доводит до меня: — Бессовестное время настало.

Он прикусывает нижнюю губу, и лицо его становится как у ребёнка, глядящего сквозь витринное стекло на желанную, но недоступную игрушку, кажется, на его глаза навернулись слёзы, — и я думаю, что в главной, горней своей мечте русский человек непоколебим. Тысячу лет он стремится строить по совести собственную жизнь и жизнь государства и, пожалуй, рано или поздно эту светозарную мечту осуществит, ибо способен страдать об утраченном нематериальном, которое и на хлеб не намажешь, и под стопочку с горчицей не употребишь, которое у многих народов давным-давно заменено законом. Ещё, вспомнив народную мудрость, я представляю закон дышлом. Навалившись на него, легко поворачиваю тележный передок. Потом за дышло принимаю совесть, наваливаюсь — и, несмотря на все усилия, передок не поворачивается. Обо всём этом собираюсь сказать Сашке, но дверь распахивается и входит Боёк.

— А вот и-и-я, — тенорит и заявляет мне: — А мы с Катюхой сумку твою распатронули. — И кивает через плечо. — Катюха-то и-и-сзади плывёт.

Он выпрастывает из карманов две банки консервов, бутылку водки. Мы с ним усаживаемся на лавку.

Дверь снова скрипит. Через порог переваливается тётя Катя.

— Упрела, покуда дошла, — сообщает. — А всё он, — тычет пальцем в Бойка. — Скачет, будто молоденький. Бежала, бежала, да разве за ним ускачешь?

— Ну, все в сборе, — оглядывает односельчан Сашка. — Тётя Катя, садись. Наливай, дядя Семён.

Боёк сколупывает с бутылки жестяную пробку, наливает стопки, поднимает свою, говорит:

— Мне, как старшему на поселье, по обычаю, и-и-первое слово в застолье. — И задумывается, разглядывая на свет зеленоватые грани старинного стаканчика. Вволю наглядевшись, продолжает медленнее, задушевнее: — Нынче радость у нас несусветная. Перво-наперво — и-и-Валерка объявился, а второе — и-и-корову вызволили. То и другое — и-и-знаменательно, потому как выходит, и-и-люди об нас помнят и Бог бережёт. Это в радость мне. Всяк из вас и-и-спросит: а почто Семён Петров радуется? Доведу всё как есть, на сердце не утаю. Я всю жизнь детей,

хайму стало быть, и-и-привечал, своих и чужих. И думал вот: все меня, и-и-старого дурака, на старости лет бросили. Ан выходит — не все. Вот Валерка приехал. Душа у него, видно, вскинулась, и-и-заявился. Низкий тебе, Валерка, поклон. Не зря, выходит, привечал — любовь любовью аукнулась. А про Бога... и-и-тоже скажу: корова опосля падения жива-здоровая — и-и-примета верная. Бог-то, выходит, нас помнит, бережёт, даёт понять, что нас не отринул, и-и-хлеба насущного не лишил, рассчитывает на нас, и-и-на Расею, потому как сказано: и-и-где родился — там и пригодился. Так выпьем за Расею, и-и-за державу стало быть.

— Державный человек дядя Семён, — с доброй ехидцей перебивает Бойка Сашка.

— Державный, — пристукивает кулаком по столу Боёк. — Потому как и-и-русский. Русский искони в воле Божией жил, потому и державный. Я и-и-державу нашу поддерживал и поддерживаю. Русская душа и-и-воле Божией не удивляется, она дьявольщине и-и-ужасается.

— А бывало, державу-то критиковал, — не унимается Сашка. Видно: ответы Бойка он загодя знает и дразнит его только затем, чтобы мне стал понятен образ Бойковых мыслей.

— Порядки и-и-в державе — да, державу — нет, — горячится Боёк. — Вырос ты, обалдуй, кол тебе на голове теши. Я и-и-что толкую? Я толкую: избу чистить, обряжать — от Бога, крушить её в изумлении — и-и-от дьявола.

— Да угомонитесь! — встревает в перебранку тётя Катя. — Пейте да ешьте.

Дождавшись, покуда Боёк выпьет, спрашиваю его:

— А ты, дядя Семён, раньше вроде бы в Бога не верил?

— Не верил, — кивает Боёк. — Я ведь и-и-раньше-то как рассуждал? Плохой человек плохое творит, хороший — и-и-хорошее. А позпрошлым летом батюшка, священник, нас навестил. И-и-час с ним отбеседовал — поверил.

— Наезжает к нам, — имея в виду священника, поясняет Сашка.

— Молоденький, — добавляет тётя Катя. — Дом святить, покойника отпевать. Куда едет — к нам заезжает. Молочка попьёт, отдохнёт и поговорит. А как ясно обо всём рассуждает! Курица огурцы поклевала, я её за то поленом зашибла. А он: ты виновата. Дескать, каждая бессловесная тварь своё деет: корова траву жуёт, курица клюёт что на глаза попадётся, а ты, мол, тварь разумная: тебе бы взять да дырки в тычняке загородить — и курица цела была бы, и на тебе грехом меньше.

— Резонно, — соглашаюсь и оборачиваюсь к Бойку: — Да как же ты за час уверовал?

— И-и-просто, — откладывает вилку тот. — Сижу гляжу телевизор, а он, священник, заходит и сразу: «И-и-бесов, дедушка, тешишь?» «Каких таких?» — спрашиваю. «А вот их», — тычет в экран. «Какие же они бесы, — удивляюсь. — Они и-и-люди». «Люди-то люди, да дьявольщиной обольщают». «Они, — возражаю, — и-и-коммерции учат». А он: «Ты, дедушка, видно, трудовой человек. Так вот скажи: затратив рубль, сто рублей и-и-честно можно заработать?» «Нет», — отвечаю. «Тогда, — спрашивает, — зачем же глядишь такое? А ну-ка и-и-выключи телевизор». А я, поверишь, хочу и-и-выключить, но не могу. Будто меня кто держит — интересно мне, как из денег деньги выходят. А главное, и-и-зависть сердце мнёт: умные люди эвона и-и-богатеют, а мы всё ши лаптем хлебаем. А он, батюшка-то, вроде как меня и-и-насквозь видит. «Вот, —

говорит, — ты честный трудящийся человек, в мыслях уже готов к бесчестному. Слуги и-и-дьявола тебя обольстили. Выключи и-и-телевизор».

— Выключил? — спрашиваю.

— И-и-выключил, — отвечает Боёк. — И-и-поднатужился и выключил. И сразу мне внутри себя видно стало. Раньше вроде бы было и-и-темно, а тут вроде бы осветилось. Получается, лет восемь меня и-и-бесы путали, во как!

— Будто они тебя раньше не путали, — замечает Сашка.

— Раньше чуток и-и-по-другому было. Раньше, известное дело, меня от Бога отрешали, но, правду сказать, и бесов ко мне не подпущали. Раньше грешить и-и-не позволялось.

— Во какой у него взгляд на прошлое! — восклицает Сашка.

— Какой-никакой, зато и-и-свой.

— Он тебе, — обращается ко мне Сашка, — и про бессмертие души объяснит.

— И-и-объясню, — соглашается Боёк. — Эвона лампочка электрическая. И-и-щёлк выключателем — она горит: ток к ней по проводу побежал. Опять щёлк — она потухла: ток не поступает. Так и душа наша и-и-духом Божиим как электричеством светится. Мы не сами по себе, мы и-и-через Божий дух себя осознаём, свою жизнь, горюем, радуемся, и-и-надеемся.

— Собака тоже горюет, радуется, надеется, — возражает Сашка.

— И-и-вестимо, — кивает Боёк. — Только она грустит да радуется по-собачьи.

— Это как? — спрашиваю, не улавливая разницы.

— А так, — приходит на помощь Бойку Сашка. — Для собаки нет ни прошлого, ни настоящего. Она не знает, что родилась и что умрёт. Живёт настоящим. Плохо и хорошо у неё только в настоящий момент. Она не осознает себя в течении истории, как, впрочем, и любое животное. Ещё она не различает абсолютных добра и зла: наворованное имущество и благоприобретённое одинаково сторожит, для неё хозяин одинаков, не смотря на то, честный он человек или нет.

— Вот они и ладят нас в собак превратить, — кивает на телевизор тётя Катя.

И Сашка с Бойком ей не возражают. Видно, между собой они во всём согласны, этот спор затеян только ради меня, дабы я знал, как местное исконное население думает о жизни, и не лез с поучениями. Они просто подчеркнули своё единство: дескать, противных ихним убеждениям разговоров не допустят. У них пропала прежняя доверчивость к пришлым людям. И в этой непримиримости — спасение. Видно, настало время определять бытиё мира основными цветами, а их в радуге семь, как и семь непреложных молений, завещанных Господом в Своей молитве. Тётя Катя, Боёк и Сашка в этом краю, где, по преданию, растут три знаменитые пошехонские сосны, точно постигли сию спасительную необходимость, и весело мне от этого.

Но я всё же, поддаваясь врожденной своей дотошности, откладываю вилку и, обращаясь к Сашке, спрашиваю:

— В таком случае объясни: ты страдаешь по колхозу и в то же время собираешься частником быть. Одно с другим не вяжется. Их, — киваю на телевизор, — не одобряешь, а действуешь по их рецептам. Как тебя понимать? Ты кто? — В тоне моём слышна язвительность.

Сашка резко вскидывает голову и отвечает твёрдо:

— Я русский человек, и русская земля — моя. Я готов на ней трудиться в колхозе или в частном хозяйстве. Но только на мой народ, на моё государство. А тому, что проповедуют они, — кивок в сторону телевизора, — я издохну, но не позволю осуществиться. Они хотят землёй торговать, а следовательно, и мной, следовательно, не считают меня за хозяина. А хозяин — я, по праву рождения, по праву вложенного в эту землю моими предками и мной труда. И если получится, что придётся вернуться к частной собственности на землю, то собственниками будем мы, местные мужики. Мы будем владеть этой землёй, хозяйствовать, пусть не колхозно, но соборно, по собственной воле и общим планам. Вот к чему я готовлюсь. Ни в мыслях моих, ни в действиях противоречий нет. Просто я, как местный, коренной человек, стою не за право личности, а за право народа. Я не хочу, чтобы мужиков разделили и изуродовали на европейский манер. Мы, русские, народ соборный, нам небезразлично, как жить, как трудиться, как зарабатывать деньги. Закон законом, главное — я хочу жить по совести. А совесть главенствует только в соборности. Без соборности человек человеку — волк, а земля наша — джунгли. Вместо подножия престола Господня Русь превратится в храм маммоны.

Сашка ещё что-то говорит, но я ему уже не внимаю. Меня поразило, что подобное я слышал лет сорок с лишним назад. Тогда это говорилось по другому поводу, но смысл слов был тот же. Кроме того, в них звучал не протест здорового, крепкого мужика, а женская боль и растерянность. Нечто похожее говорила моя мать.

Мать



С тех пор, как я себя помню, моя любовь к матери была ненасытна и страдательна. Мне хотелось, чтобы мать всегда была со мной, но жизнь постоянно нас разлучала. Я и по сей день извожу себя мыслью, что до конца не выказал ей достаточной сыновней признательности, за обыденной суетой откладывая и откладывая свершение сего акта на потом. Мне казалось, что мать будет жить вечно и что наступит такое время, когда мы с матерью всегда будем вместе. И тогда уж без суеты я сторицей верну всё накопленное во мне за долгие годы: и нежность, и заботу, и другое, чему названия нет, что я лично называю сыновней бессознательной восторженностью, когда восторгаешься не красотой женщины, не богатством её, не умом, не профессией, не положением в обществе, а тем, что ты — кровь от крови и плоть от плоти её, просто потому, что она — твоя мать. Даже в машине «скорой помощи» по пути в больницу я думал, что когда мать поправится, мы обязательно заживём по-другому: я оставлю мелкие дела и освободившееся время полностью посвящу ей. Приеду в родительский дом, сяду и не спеша час, и два, и три поговорю с матерью, потом вымою полы. А как-нибудь летом мы объедем все кладбища, где похоронены наши родственники. Осенью же пойдём на «Царскую невесту», зимой — на «Бориса Годунова», а между операми хоть раз в месяц станем посещать театр... Планы обширные были...

Так и катились годы: работала мать — я ждал её, когда стал работать я — меня ждала она. «Сижу жду, когда позвонишь», «В окно глядела на троллейбусную остановку», «Что же не поешь, ведь я жду».

Моё деревенское ожидание матери делилось на пассивное и активное. В первом случае, зная, что она не приедет, я геройски подавлял тоску, щемящую сердце особенно на вечерних зорях, когда ласточки усаживались на провода и, словно молясь, торопливо выкладывали свои птичьи просьбы золотисто-красному солнцу. Второе же, активное ожидание, всегда начиналось с получения письма. Прабабка крючковатыми пальцами раздирала конверт и отправлялась на кухню, прихватив с собой Юрку, умевшего читать по писаному. Выслушав послание, возвращалась в избу, приголубливая того из хаймы, которого письмо касалось, и сообщала: — Мать (либо отец) на той неделёчке зайвится. С понедельника жди.

С понедельника привычное течение жизни, внешне спокойное, внутри разлаживается. С раннего утра я по ходикам, отстукивающим секунды на стене возле двери в кухню, высчитываю: если поезд приходит на станцию в двенадцать часов, то мать в деревню доберётся не раньше двух.

— Не раньше, не раньше, — подтверждает прабабка, заметив мои раздумья перед часами. — Ты прикинь-кось: из поезда вылезет, вещички к Блазневым перенесёт — час. Потом с шофёром сторговаться, да погрузиться, да доехать — ещё час. Да какой час, клади больше: дорога-то возле кутинского мосточка да возле Золева — ямина на колдобине. Ты, желанный, ждать кинь. Поди-кось по крапивку поросёночку — времечко-то скорее потянется.

Я беру старые рукавицы, серп, вдеваю руки в лямки кузова и отправляюсь на зады. Прибрёдаю к сенному сараю, скидываю кузов и принимаю жать крапиву. Вчера бы я это делал возле западной либо восточной стороны, где крапива ниже, гуще и сочнее, сегодня же мне всё равно. Руки мои двигаются машинально, а глаза, видя, не видят, в кузов сыплются и вершки, и корешки. Время от времени я посматриваю на солнце: в обычные дни оглянуться не успеешь — оно уж мою макушку жарит, сегодня же еле ползёт по небу. Кузов полнёхонек, а оно по-прежнему греет щёку.

Возвратившись домой, получаю новый урок, потом другой, потом третий. В полдень прабабка меня посылает в магазин за спичками, затем повелевает самовар чистить и, только когда ходики показывают час и тридцать минут, милостиво бурчит:

— Ладно, теперича беги к большаку. Хлебца да лучку возьми — пожуёшь там.

Я безмерно рад, что она не принуждает меня обедать. Аппетита нет. Только пить хочется, и я в тёмных сенях зачерпываю из ведра кружкой воды, торопливо пью, затем на кухне от ржаной буханки отхватываю краюху, из обливного таза вытягиваю толстенное грезно лука, всё это запихиваю за пазуху под рубашку и буквально вылетаю на двор. Напуганные куры с кудахтаньем разбегаются в стороны, петух взлетает на тычнюк и, возмущённый порухой дворового благонравия, во всю глотку порицает меня. Но я уже ничего не слышу. Я уже обогнул пруд, миновал колодец, выбежал за деревню и мчусь по просёлку, взбивая босыми пятками сухую летучую пыль. От деревни до большака пробегаю чуть ли не в пять минут и усаживаюсь на взлобке возле дороги. Я совершенно не запыхался, только сердце моё стучит часто-часто и в такт ударам вздрагивает торчащее из-за расстёгнутого воротника зелёное перо лука. Я вы-

пастываю краюху и грезно, складываю в траву и замираю от вдруг навалившейся тишины, густой и такой раздольной, что в её необъятной громаде, вздыбившейся до неба, размахнувшейся от горизонта до горизонта, ощущаю себя маленьким, незначительным, словно песчинкой на дне моря. Один я, совершенно один. Ни прабабки со мной, ни тёток, ни двоюродных братьев и сестёр. И матери нет. А мать сегодня, скорее всего, не приедет. В письме написано, ждите на неделе, сегодня же только понедельник, по воскресеньям мать привыкла стирать, утром в понедельник у неё всегда болят руки, следовательно, сегодня ей захочется отдохнуть. Получается, она приедет завтра, именно завтра...

Предстоящее новое ожидание кажется мне невыносимым: время от полудня до полудня, всего лишь сутки, растягиваясь в сознании, превращаются в нечто невероятно длинное, похожее на год, но вместе с тем и не похожее, потому как слово «год» — высокое, светлое, радостное, а то, что предстоит пережить мне, — тягучее, серое и унылое.

От жалости к себе на глаза навёртываются слёзы. Я тру глаза кулаками и вижу муравья, бойко ползущего по горбушке. Мысль о том, что муравей гораздо меньше меня, а значит, гораздо несчастней, неожиданно успокаивает. Я осторожно стряхиваю его с хлеба и начинаю есть.

Звук автомобильного мотора возникает не сразу. Сначала раздольная и высокая тишина вдруг слегка вздрагивает, начинает ещё расти и расширяться. Это я ощущаю не ушами, а телом, так, если бы я с головой окунулся в воду, — тихо вокруг по-прежнему, но на грудь, спину, ноги давление увеличилось.

Перестав жевать, приноравливаюсь к новому ощущению и уже ушами слышу: поплотневшую тишину словно маленькой, тонюсенькой иголкой прокалывает слабенькое комариное пение, будто в избе ночью: ты — на печке, а комаришка мельтешится где-то в противоположном углу.

Комаришка зудит за кутинской горкой, у кутинского мосточка, постепенно поднимаясь всё выше и выше, и, взвившись над горкой, издаёт трубный, стонущий звук. Видно: над горкой вздымается пыль и на макушку её взбирается полуторка, везущая, по обычаю того времени, тонны две, а то и три, останавливается, переводя дух, и устремляется по большаку в мою сторону, как колокольчиком, позванивая какой-то железкой.

«Едет?» — спрашиваю я себя, замирая сердцем. Мне страшно, что машина проедет мимо. Хочется вскочить, замахать руками, закричать, но в то же время я опасюсь, что машина остановится, дядя шофёр выйдет и спросит: «Что случилось?» — а что я отвечу? Я совершенно уверен: матери в машине нет.

Между тем полуторка замедляет бег и останавливается напротив взлоб-ка. Облака пыли, наткнувшись на задний борт, вздыбливаются и обволакивают кузов, воздух пахнет бензиновой гарью. Дверка кабины распаивается, и первое, что я в состоянии воспринять, — синее в белых горошинах платье. Такого в округе больше ни у кого нет. Она! Одной рукой протягивает деньги шофёру, другой мне машет: иди сюда!

Как шофёр выгружает из кузова сумки, как полуторка уезжает — не помню. Помню только себя у матери на руках. Помню сладковатый запах духов «Красная Москва». Помню свои обильные, лёгкие слёзы да сквозь них вижу прабабку, которая, подобрав подол длинной юбки, окружённая хаймой, спешит к большаку подсобить нести вещи.

Те несколько отпусков, которые мать провела в деревне, стали для меня поистине благословенными. Никогда больше я уже не находился с матерью постоянно с утра до вечера, с вечера до утра, и жизнь моя постоянно не вдохновлялась её прямыми и непосредственными заботами. В иные времена всякое случалось. Бывало, она меня и уму-разуму учила, случалось, и приголубливала, и ухаживала, когда я болел, и стирала на меня, и шила, и еду готовила, и ночи просиживала у моей постели, опасаясь, что я просплю поезд. Но всё это были как бы не связанные между собой эпизоды, разделённые иными её и моими обязанностями. Только в те немногие деревенские месяцы происходило истинное моё сочетание с матерью, хотя в то время она для меня ничего особенного и не делала, а просто находилась рядом. В любое время можно было дотронуться до её руки, уткнуться в подол, забраться на колени и чувствовать себя совершенно защищённым от рогов мирского бычка. Великое и неизъяснимое счастье!..

Я просыпаюсь чуть свет. С полатей перебираюсь на печку и, перелезая через Лидку, Катюшку, Андрюшку, Польку, добираюсь до лесенки. Спустившись на пол, направляюсь к двери.

— Поспал бы ещё, — предлагает прабабка, выглядывая из кухни, но я отрицательно кручу головой: как можно спать, когда мать приехала, когда она тут, в нескольких метрах от меня, и, чтобы добраться до неё, надо всего лишь перейти сени. Прабабке этого никогда не понять, у неё ведь нет матери, и мне не верится, что когда-то была, потому что она не понимает моего душевного состояния, велит опять спать ложиться.

Несмотря на прекрасное настроение, я готов всерьёз обидеться на прабабку, но, шагнув в сени, тут же забываю про неё.

В сенях темно. Ступая босыми ногами по холодным половицам, я добираюсь до лестницы, ведущей в летнюю спальню-горенку, взбираюсь по приступкам и приникаю ухом к выпиленной внизу двери дырке — кошачьему лазу. Из-за двери доносится лёгкое похрапывание: мать спит.

Пока мне достаточно и этого слухового контакта с матерью. Крадучись выбираюсь на крыльцо, усаживаюсь там и, прислонясь к перильцам, долго сижу, ни о чём не думая.

Ещё вчера я так и минуты бы не усидел, но сегодня мне это нравится, ибо в своём безделье ощущаю смысл: я жду, куда мать выспится, и слежу, чтобы её сну ничто не мешало. А многое может помешать. Например, нашему петуху петь захочется или тётки-Катин кот явится, сядет перед нашим Барсиком, и они начнут друг на дружку орать. Или в сарайчике курица, снеся яйцо, примется кудахтать. А то на прадедову берёзу прилетит ворона и, раскачиваясь на тонкой ветке, станет каркать без всякой причины. Для всех предполагаемых нарушителей тишины у меня с вечера кое-что припасено: в петуха, как только крыльями взмахнёт, — яблоко, вороне, птице упрямой, — пять речных голышей, котам достаточно пригрозить берёзовым голиком, а курица закудахчет — закрыть дверь в сарайчик и припереть батожком.

Сижу я так с полчаса. В трусах и майке делается прохладно. Словно прознав об этом, на крыльцо выходит прабабка и набрасывает на меня телогрейку. Становится тепло. А тут и солнышко взбирается на черёмуху, и в траве-мураве разноцветными искорками вспыхивает роса. Искорок много, их словно посеяли из решета. Я пытаюсь сосчитать их, но они то вспыхивают, то гаснут, то все вдруг быстро-быстро мигают. В глазах на-

чинает рябить. Я спиной прижимаюсь к перильцам, закрываю глаза и... засыпаю.

— Сыночка! — слышу сквозь сон материн голос. — Просыпайся, кушать пора.

Сильные руки вздымают меня вверх. Не открывая глаз, я обнимаю материну шею, утыкаюсь носом куда-то выше ключицы.

Окончательно просыпаюсь в избе. Тут властвует обычный утренний запах. Пахнет свежим печным дымом и горячими ржаными лепешками. Хайма, ссыпавшись с печки и полатей, уже расселась по лавкам вдоль стола и вожделенно тарашится на голубенькую занавеску, отделяющую кухню от избы: вот-вот прабабка вынесет блюдо с лепёшками — наилучшую еду. И прабабка вносит блюдо. Несёт гордо, будто на нём невеста какой деликатес, а не лепёшки, начинённые мятой картошкой, которые, правда, пекутся в исключительных случаях: на праздники государственные и церковные да вот как сегодня, ради приезда госты. Не донеся блюдо до стола, прабабка уже распоряжается, ибо не может постоянно не распоряжаться: при такой семье её власть должна постоянно подтверждаться, иначе — разномыслие, а разномыслие породит разор в повседневно и кропотливо созидаемом всеми нами хозяйстве.

— Ты, Лёлька, — говорит прабабка матери, — его, сердешного, с рук скинь, в овшенник ступай. Там на земле четыре крынки, две, что к стене ближе, носи сюда.

По давней привычке подчиняться прабабке мать мигом усаживает меня на лавку и прытко выскакивает из избы, а прабабка продолжает гудеть, определяя уроки на день:

— Откушаете — Юрка к матери своей на поле капусту тяпать. Андрюшка — следи таскать. У конюшни свалены, спросишь там, какие наши. Галька с Лидкой — на картошку. Да смотрите прилежно тяпайте... Надьке к обеду бельё выполоскать. Борьке — к Бойку за отбитыми косами, после скажу ещё что. Катюшке крыжовный куст, что у пруда, обобрать: Лёлька сахару привезла, варенье варить будем. А Валерка пушай лодырничает, он ноне с матерью, праздник у него...

Распоряжения раздаются до тех пор, покуда мать не приносит молоко. Тут все начинают есть. Басок прабабки смолкает, и только в конце трапезы она говорит:

— Ты, Лёлька, ноне гуляй себе. А в ночь Панька с Юркой накосят, дак завтра сено ворошить. Дня в три-четыре высушим и уберём — чую, завтрава вёдро грянет. — Она сквозь юбку трёт колени и, встав с лавки, командует: — Марш по делам!

Мы с матерью выходим на крыльцо, и начинается наипрекраснейший день, каких в моей жизни десятка два вряд ли наберётся. Этот день мы будем вместе — я и мать.

Мы затворяем за собой калитку. Я оглядываюсь: на крыльце и возле топчется наша хайма и глядит нам вслед. Их матери и отцы далеко отсюда: в Москве, в Рыбинске, в Ярославле, а то и в Кемерово. С прабабкой постоянно живёт лишь Панька. Остальные родичи померли либо на войне погибли. Из старшего поколения выжила только прабабка. Она спускается с крыльца и застывает посреди хаймы, как седая, столетняя ёлка, окружённая молодым подлеском.

А мы с матерью уже шагаем по деревне. На матери белый в васильках сарафан. Она кажется мне высокой и стройной. Я гордо выступаю рядом

и очень страдаю, что деревенские нас не видят: улица пустынна, народ на работе. Только возле магазина встречаются две бабы.

— С приездом, — кланяется одна.

— С возвращением, — вторит другая.

— Спасибочко, — ласково отвечает мать, а я несказанно рад этой встрече: теперь на деревне наверняка будут расхваливать сарафан, а заодно и красоту матери. Я знаю, что вся деревня убеждена: отец взял за себя мать исключительно за красоту. «Он, вишь, по всем странам летает, кажись, чего толичко не перевидал, а женился на своей, деревенской. Стало быть, краше Лёльки-то, считай, нигде нет».

Думаю, деревенские были правы. Уже после службы в армии, после окончания института я видел, как мать, стирая пыль с мебели, не спеша двигалась по комнате, а отец, сидя на диване, наблюдал за ней и глаза его светились. Также думаю, что и для матери краше отца никого не было. По крайней мере, во всех наших летних прогулках по деревне всегда так или иначе присутствовала память об отце. То, выйдя с кладбища, мать подводила меня к берёзе, на которой еле проступал заплывший, вырубленный топором крест, и говорила:

— Папа вырубил.

То подводила к огромному камню-валуну и рассказывала:

— Иду мимо, а с камня вдруг кто-то ка-ак прыгнет.

То остановится возле бодрящихся во ржи васильков и вздохнёт:

— Из них мы с папой друг другу венки плели. Сплетём и сравниваем, чей лучше.

Мы идём рядом. Мать держит меня за руку. Она шагает раз, я — два. Стопинка взбирается на горушку. Наверху ореховый куст. Под кустом в тёмно-зелёной траве затаились жёлто-синие цветочки. Мать нагибается.

— Иван-да-марья, — говорит. — Наш с папой цветок, — и загадочно улыбается.

Я ещё в том возрасте, когда все улыбки одинаковые. Мне просто приятно, что и здесь, на горушке, мать вспоминает отца. Становится тепло на сердце. Я смотрю в ту сторону, откуда мы пришли: старым серебром мерцает под солнцем дрань деревенских крыш, слева, по горушке к речке, по изумрудной лужине вразброс свечками торчат молодые ёлки, впереди воронёной косой-горбушей изогнулась река — и над всей этой благодатью до самого окоёма синий хрусталь высоких небес. Во мне сердечная теплота превращается в весёлость, и я неожиданно для себя начинаю тоненько смеяться. Мать, уловив мое настроение, смеётся тоже, подхватывает меня на руки, целует в щёки, в лоб. Я, озадаченный неожиданной лаской, серьёзнее, но тут же хохочу во всё горло уже от щекотки и, отбиваясь руками от матери, сквозь смех кричу:

— Пойдём, пойдём!

Мать ставит меня на землю и звонко — мне кажется, что слышно в деревне, — отвечает:

— Бежим!

Мы между ёлок стремглав несёмся вниз.

У речки мать объявляет:

— А теперь я тебя буду мыть.

Раздев меня, она заводит по колену в воду, а сама, подобравши юбку, усаживается на прибрежный камень.

— Вот так и стой, — велит и запекает тоненьким голоском:

Хороши весной в саду цветочки.
Еще лучше девушки весной.
Встречу вечерочком милого в садочке —
Сразу жизнь становится иной.

Не думаю, что я был слишком грязен. Прабабка содержала нас, хайму, по полной норме мыслимой в деревне чистоты. Думаю, что такое обязательное, неотложное мытьё меня в речке было просто вроде бы ритуалом, конкретным действием, подтверждающим материнское достоинство.

Я это чувствую и не сопротивляюсь. Прабабке я подчиняюсь в силу её авторитета и старшинства, а тут, стоя по колено в речке, ощущаю совершенно необходимую каждому мальцу, созидающую нежную ещё душу сладкую сыновнюю зависимость, происходящую не из возраста женщины, не из её силы воли, а из непосредственного, кровного родства, которое не выдумывается, искусственно не создаётся, не истекает из вековых традиций, но существовало и существует всегда, потому что не может не существовать, потому что иначе прервётся течение жизни.

— Вот и вымыла, вот и вымыла! — радуется мать пятнадцать минут спустя, растирая меня полотенцем. — Влезь на камешек, я с ножек песочек смою.

После мытья мы отправляемся на кладбище, потом на поповской лужине собираем землянику, а оттуда идём на Любанькин луг, куда пастих Ермил Евсеевич пригоняет коров на полдни. Тут собирается вся женская половина деревни с подоюнками. Со скотного двора приезжает телега, гружённая флягами. Сначала бабы гуртуются возле телеги, толкуча о всякой всячине, потом разбредаются по лужине. Подоткнув юбки, усаживаются под коров, и начинается дойка. На какое-то время над лужиной повисает тишина, нарушаемая только коровьими вздохами да звоном молочных струй о донца подоюнков.

Но вот, по мере наполнения вёдер, звук становится глуше, потом превращается в журчание, и к запаху травы, коровьего пота и навоза примешивается сладкий запах парного молока. Раздаётся первый возглас:

— Лёлька, возьми кружку у Евсеича — тёпленького налью!

— Ко мне, ко мне, Лёлька! — зывает другой голос. — У Зорьки вкуснее!

— А у Звёздочки — одна сметана. Давай сюда!

Мы с матерью понемножку пьём почти горячее молоко от каждой коровы, но коров много, всем скотницам желательно угостить мать. Так что живот мой вздувается, как барабан. Мне кажется, что он вот-вот лопнет.

— Пойдём, пойдём, — тяну за руку родительницу. — На любятинском поле горох поспел.

Мы направляемся к любятинскому полю. Вслед нам несётся:

— Завтра на тёпленькое приходи, а то в городе отошала!

Мы собираем горох. Потом возле карпинской стопинки едим щавель. Домой возвращаемся, когда солнце, перевалив речку, глядит в окна изб. Усевшись на крыльце, ждём возвращения хаймы и прабабки с огорода. Мать спрашивает:

— Есть хочешь?

— Нет, — кручу головой и в свою очередь спрашиваю: — Папка где?

— В Астрахань полетел.

— Туда? — киваю за речку.

— Нет, — отвечает мать и указывает рукой на юг. — Туда.

Мать моя была молчаливой женщиной. Если от отца мне досталось упрямство, то от матери эта самая несуетливость, правда, дающая о себе знать только в случаях, выходящих из ряда обыденных, экстремальных, разбавляя упрямство наполовину и этим сводя к самой малости поступки резкие и скоропалительные. В детстве эта материнская несуетливая рассудительность поразила меня однажды и запомнилась на всю жизнь, ибо, как мне показалось тогда, я из-за неё потерял очень много и лишь с годами понял, что на самом деле много приобрёл.

Однажды в деревню приехала некая материнская городская подруга с мужчиной и двумя огромными чемоданами. После положенной гостевой застольи чемоданы открыли, и подруга принялась доставать из них мотки синей и зелёной пряжи, расхваливая её:

— Чистая, исключительно чистая шерсть. Ты спичкой кончик прижги, понюхай. Исключительно чистая! Толик принёс, а я думаю: в деревне с руками оторвут.

— Почём она вам досталась? — спросила мать.

— А нипочём. Правда, Толик? В том-то и штука. Всё, что за неё получим, — себе. Чистые деньги. Тебе, Лёлька, можно цигейковую шубу присмотреть — ты мечтала, а ему — велосипед. Хочешь, Валерик, велосипед двухколёсный?

К тому времени я уже научился ездить на приятельском двухколёсном велосипеде и страстно мечтал о собственном. Сидя на лавке, я пялился на синюю и зелёную нитяные кучи и обмирал от счастья: вот наконец-то свершилось, мать продаст шерсть, купит мне велосипед, а потом себе купит шубу. Моё лицо сияло. Я посмотрел на мать, стараясь на её лице разглядеть радость, но у матери лицо было спокойно. Она, как бы любуясь переливами цветных нитей, перебирала их и вовсе не спешила радоваться. Наконец стряхнула с пальцев нити, как стряхивают воду, и улыбнулась.

— Ну что?.. — насторожилась подруга.

— А ничего, — ответила мать. — Сейчас же всё собирай и увози.

— Да ты с ума сошла! — плюхнулась на лавку подруга.

— Я-то не сошла. Это вы с Толиком ума лишились. Как ты до этого додумалась? А как я цигейку надену? Как людям в глаза глядеть стану? А как на эти деньги Валерке куплю велосипед? Они ведь, получается, ворованные.

— Ворованные? — всплеснула руками подруга. — Надо же! А я считаю — заработанные.

— И считай на здоровье. А нам тут всем, мне — не всё равно, как зарабатывать.

Так я остался без велосипеда.

* * *

А и предивно же устроена наша память! Казалось бы, накрепко забытое неожиданно всплывает из её глубин, похваливая нас либо порицая, и мы, хотим того или не хотим, склоняемся перед её судом. Правда, нередко, склонившись, не преклоняемся, считая себя умнее отцов и мате-

рей, мудрее мудрости тысячелетий, думая, что именно мы постигли такое, о чём в прошлые времена и не слыхали, о чём ни матери, ни отцы, ни весь сонм предков не догадывался, и вся прошлая история до момента нашего собственного понимания была чистой воды заблуждением, а из семидесяти миллиардов людей, существовавших на земле, именно мы избавлены от ошибок.

Сию превеликую исключительность мы объясняем просто: дескать, живём не до новой эры, не в её начале, не в середине, а сейчас и, следовательно, знаем гораздо больше. На первый взгляд это действительно так. Но на поверку — иначе, ибо присвоить прошлое знание — недостаточно, им нужно ещё и обладать, то есть применять для истинной, а не для мнимой пользы. Мало знать, что Господь наш Иисус Христос, выгнав торговцев из храма, учил: «Не написано ли: “дом Мой домом молитвы наречётся”, а вы сделали его вертепом разбойников». Надобно ещё и осознать: на земле созидание во имя Христово — та же молитва, а земля наша — тот же храм Христов.

Удивительно, но моя мать, неверующая женщина, это осознала... Отстраняясь от воспоминаний, я возвращаюсь к действительности в тот миг, когда Боёк, поддакивая Сашке, говорит:

— Так, так... А ещё дети стали плоше отцов — и-и-худая примета.

— Об этом я уже и не говорю, — вздыхает Сашка.

— А зря, — встречает тётя Катя. — Дети — главное. Раз дети плоше, то и всё плоше. Жизнь будущая от детей пойдёт, а ежели они плоше отцов, какая же жизнь-то выйдет? Все государство расфукают.

— Да уж и-и-расфукали, — шерится Боёк.

— Значит, — вмешиваюсь я, дабы оживить беседу, — значит, отцы плохо воспитывали детей.

— Писатель, а чепуху порешь, — вскидывается Сашка. — Отцы детей воспитывали как положено, да что толку! Воспитываешь его, воспитываешь, он в люди пошёл, а там всё не по воспитанию, всё шиворот-навыворот. Понимаешь, для хорошего воспитания в обществе почвы нет. Обществу не нужны хорошо воспитанные. Потому что хорошо воспитанному поколению нужны условия согласно воспитанию. Такое возможно только в приличном государстве, а не в нынешнем. Теперь государство только себя блюдёт, а не народ, ему, государству, так спокойнее и прибыльнее. Воспитанному-то поколению надобно уровень жизни дать, а невоспитанное без уровня проживёт или издохнет — не важно. Ты Блазневых со станции помнишь?.. Пятеро, наши с тобой ровесники. У них детей семь человек. Так вот, их ли, этих семерых, не воспитывали? По всем правилам нашим здешним, как искони положено. А что вышло? Трое за бандитизм сидят, трое — за торговлю наркотиками, а один — бизнесмен: в два года «Волгу» и «Опель» нажил, дворец трёхэтажный себе в райцентре отгрохал; винной торговлей занимается, мироед. Хорошо, что старый Блазнев до эдакого срама не дожил.

— Вот и выходит: плохо их воспитывали, — настаиваю.

— Да не плохо! — восклицает Сашка. — Просто молодому человеку деваться некуда. Куда ни кинь — везде клин: чтобы живым быть, приходится совестью поступаться.

— Вот и пускай не поступаются, — настаиваю.

— А тогда нищим быть во всю жизнь и нищих плодить.

Тёте Кате обидно становится за молодое поколение.

— Да не все, не все нынче такие, — раздражённо ворчит она.

— Конечно, не все, — неожиданно соглашается Сашка и разводит руками. — Это я по инерции. На тех-то, кто не как все, надежда. Иначе-то хоть в гроб ложись.

Он кидает безвольные руки на стол. Затем из блюда вылавливает малосольный огурчик. Откусив, кривится:

— Горчит.

— Не выдумывай! — обижается тётя Катя. — Огурец к огурцу клала. Концы обрезаны — перед засолкой пробовала.

— Всё одно горчит.

— Поел? — прищуривается тётя Катя.

— Поел.

— Сыт?

— Сыт.

— В таком разе — марш из-за стола!

Мы с Бойком поднимаемся с лавки вместе с Сашкой, причём Боёк возглашает: — Мне бы ещё и-и-стопочку.

— Обойдёшься! — цыкает тётя Катя, и Боёк смиряется.

На крыльце, усевшись на ступеньки, закуриваем. Разговор ведётся уже о хозяйственных делах: о том, что цемента на погреб вполне хватит, а песок придётся возить с речки, с ляминского мыска, тачек сто. Просушить его, просеять, и можно цементировать. За три-четыре дня управимся.

— Считаю и-и-пять, — поправляет Боёк. — День и-и-мне на опалубку.

Сашка хмурится:

— Четыре дня. Пока Валерка возит песок, ладь опалубку — кто мешает? А погреб закончим, начнём рубить пчелиный зимник. Ты сколько у нас пробудешь?

— Месяц, — отвечаю.

— Ну, за месяц мы много чего успеем. Хорошо, что приехал, помощь от тебя весомая. Погреб, зимник — в первую очередь. Дом — потом. В случае чего год-два проживу в старом. Главное — дело своё начать. Мы с мужиками так решили: остаемся в колхозе, а землю по возможности арендуем. Это для того, чтобы в случае чего мы и там, и там. Так мы в любом случае хозяева. Нам главное, чтобы рвачам-варягам здесь места не досталось. Земля должна принадлежать нам, чьи предки над ней портками трясли.

— Выходит, пришлых принимать не будете? — спрашиваю.

— Совестьных да работающих, случится, — будем, а барышникам — от ворот поворот.

— Ну а если станут отбирать силой?

— Тогда, как в тамбовском Кирсанове.

— А если маршала на вас?

— Тогда деваться некуда — значит, такая наша планида.

«Такая наша планида» Сашка произносит тихо, но твёрдо. Слова эти, сотни раз слышанные мной от людей по разным поводам, от всеобщего частого употребления затёртые, блёклые и незначительные, в моём сознании вдруг превращаются в нечто такое, что немислимо описать. Только одно можно сказать: они не несут в себе безвольной покорности неотвратимой судьбе, но как бы равны праведной воинской присяге, когда сознательное согласие на гибель за Родину подразумевает светлый, благой смысл, приобщая ещё живого воинского человека к вечной жизни в людской памяти и на небесах. И я чувствую, что месяц, отведённый мной исключительно на занятие литературой, нужно посвятить Саш-

киному делу. Литература в данном случае должна подождать: мне необходимо помочь Сашке выиграть будущее возможное сражение, потому что, может статься, от исхода его будет зависеть, какой станет и литература. В голову вдруг приходит, что всё в этой жизни невидимо и крепко связано: я и Сашка, и Боёк, и тётя Катя, и Сашкина Светка, и мои дети, и литература, и мой приятель художник, который пытается живописью передать Христов свет, и труд рабочих и крестьян, и размышления учёных, и сердечные порывы поэтов — всех-всех, кто составляет народ, всё, что речётся нашей жизнью, нормальной, человеческой, когда не само дело главное, но наполняющий его дух, ведущий по пути спасения. Мне кажется, если я увильну от помощи Сашке, то связь прервётся, общая сила, ещё кое-как соединяющая всех нас, распадётся на много маленьких разрозненных сил и на земле начнётся такое нестроение, что и подумать страшно. Тогда вместо погребка каждому хоть персональный холодильник дай — жизнь не оплодотворится духом.

— Значит, — спрашиваю, — мне завтра песок возить?

Сашка кивает.

— Ладно, — соглашаюсь бодро, словно такой работы только и добивался.

— Тогда, — говорит Сашка, — перед завтрашними трудами поедем рыбу ловить. Ты как? — поворачивается он к Бойку.

— Я — и-и-за.

— В таком разе дуй за вёслами.

Через полчаса от деревни к речке движется процессия: впереди Сашка в неизменных ковбойке, галифе и кирзовых сапогах несёт светлые, оцинкованные вёдра; за ним Боёк в долгополом брезентовом плаще, вооружённый двумя вёслами; следом тётя Катя с закидушками — капровыми сетчатыми экранами на металлических прутах; последний — я, в болотных сапогах с подвязанными к поясу голенищами, на плече трёхметровый шест — мне приказано отталкиваться на мелководье, а в случае чего лезть в воду и волочить лодку за цепь. Пустые вёдра, раскачиваясь, чуть позванивают, Сашкины сапоги — постукивают, мои — литаврами грохочут. Тётя Катя гундит в спину Бойку:

— Глядите не перевернитесь. Они молодые, а ты в сряде эдакой сразу канешь.

— Учи и-и-учёного, — отбрёхивается Боёк.

— «Учи, учи!»! А давешним летом кто из лодки вывалился?

— В тот и-и-раз я пьяный был.

— А ноне трезвый?

— Ноне и-и-выпимши.

— «Пьяный, выпимши» — что в лоб, что по лбу. Дома бы сидел.

— Учи и-и-учёного!

— Ты, Сашка, с него глаз не спущай.

— Ладно, — энергично кивает Сашка.

Тётя Катя принимает за меня:

— А ты сапоги от пояса отвяжи. Тонуть будете — что тогда?

— Да чтоб тебе чирый на язык! — заступает за всех нас Боёк.

— Я ведь — душевно, — обижается тётя Катя. — Ты мне когда советуешь, я слушаю.

— Когда это я и-и-советовал тебе? Окстись. Чтоб я да в бабье дело!.. А ежели и присоветовал когда — я на поселье и-и-старший, имею право. А ты в нашенское не лезь. И-и-моду взяла. Допрежь такого не бывало.

— Как не бывало? — дивится тётя Катя. — Допрежь-то я конюхом была. — И тычет кулаком в спину Бойку. — Кнута хорошего на тебя нет.

— Во-во, — соглашается Боёк и, напрягая захмелевший ум, силится сказать некое заковыристое, но Сашка цыкает на них:

— А ну, заканчивайте ерундить!

Далее мы идём молча. Молча влезает в лодку, молча усаживаемся. Сашка берётся за вёсла, и мы трогаемся. Тётя Катя, как и положено женщине, машет вслед, куда лодка не заворачивает за мыс.

Время к полудню. Солнце зависло над речкой. Река — голубая. Только у берегов, под ивами, вода коричневая, в жёлтых пятнах кувшинок. Из-под ив налетают стрекозы, садятся на зелёный Бойков плащ, подрагивая тельцами, отдыхают и летят к другому берегу. За лодкой по голубой глади тянутся две вереницы сизых следов от вёсел. Под носом лодки вода позванивает колокольчиком, под кормой — воркует по-голубиному. Лес по правому берегу то приступает к воде, то пятится, и метров за двести до излучины как вкопанный останавливается перед светло-зелёным заливным лугом. С воды кажется, что дальний, сиреневый его конец упёрся в небо, и от этой осязаемой всем телом мощной и покойной широты сердце моё начинает ликовать. Дабы ничем не выдать этого светлого ребячьего чувства, глядя в дно лодки, я смущенно тру виски, но тут Боёк возглашает:

— А вот и-и-шас! — раскидывает над бортами руки и по всем правилам деревенской певческой школы громко заводит высоким тенором:

Ой да я с комариком, я с комариком,
Ах, с комариком плясала,
С комариком да плясала.

Отпев куплет, оглядывается на меня, кивает: давай — и я решительно пристраиваю свой голос к Бойкову на октаву ниже:

Ох да мне комар ножку, мне комар ножку,
Ах, комар ножку отдал, я,
Комар ножку да отдал.

Мы ещё не успели допеть куплет, а Сашка кидает вёсла, вскакивает со скамьи, упирает руки в бока и начинает притопывать кирзачами по плоскому днищу, вторя нам крепким басом:

Ай да все суставчики, все суставчики,
Ах, все суставчики повредил,
Суставчики повредил!

Без роздыха мы пропеваем песню раз, второй и третий, начинаем в четвёртый. Углая наша посуда от Сашкиных выкаблучиваний с борта на борт кренится, течение нас несёт назад, а песня всё повторяется и повторяется до тех пор, пока Боёк, вконец не упарившись от горловой натуги, не скидывает брезентовый плащ и не прекращает буйное веселье:

— И-и-будя!

Сашка закрывает рот и осознаёт себя стоящим в лодке. Корит Бойка:

— Старый ты гриб, в грех ввёл. Ну кабы перевернулись?

— Не перевернулись бы, — отвечает Боёк и высказывает крепкий резон: — А моей вины тут и-и-нету. Тут родимой сторонushке и-и-сердце откликнулось.

Резон настолько серьёзный, что Сашка не возражает, садится за вёсла, и мы плывём от луга наискосок к противоположному берегу, к ляминскому леску — месту безлесному, плоскому, травянистому, удивительному лишь несуразным названием да ещё тем, что там под берегом наверняка можно взять рыбу.

Доплыв, опускаем в воду закидушку, причаливаем к берегу и усаживаемся на бережку. Речная вода лениво лижет прибрежный песок, и от этого у нас мысли ленивые.

— Нешто и-и-закурить? — затевает разговор Боёк.

Мы закуриваем, но разговор не клеится. Я лично смущён давешним хоровым пением. Мне не совсем понятно, как я, взрослый мужик, к тому же совершенно трезвый, вдруг ни с того ни с сего стал на всю речку орать песню. Выкурив полпапиросы, соображаю, что Сашка тоже совершенно трезвый. Выходит, я пел в компании, и, следовательно, стыдиться нечего.

Такое умозаключение успокаивает. И я невинно восхищаюсь нашим поступком:

— А ничего спели!

— Ага, — соглашается Сашка. — По всем правилам.

— И-и-точно, — кивает Боёк. — А главное-то, главное-то — в державе толичко что не мор — а мы и-и-поём. Отродясь так было, и мы, стало быть, так. Натура у нас такая.

— У кого «у нас»? — спрашиваю.

— А и-и-у народа.

— Не понял, — притворяюсь.

А Боёк дивится:

— Ты, Валерка, тамо, в городе, совсем сдурел. Всё ясней и-и-ясного. Народ такой мы: и в дождь, и в вёдро завсегда и-и-с песней. — Он чешет нос и уточняет: — В дождь больше, конечно.

— В дождь — в горе, значит? — спрашиваю.

— Ага, — подтверждает Боёк.

— Так чему же тут радоваться?

— А тому. Горе у нас не в горе. Мы — и-и-верующие от века, и при царях, и при коммунистах, и когда велели и-и-верить, и когда запрет клали. Для нас спасение не в земных князьях, а в Спасе. И получается: другим народам беда — беда, а нам — и-и-наука. Оттого у нашего народа и душа светлая. Мы в горе не ожесточаемся, мы и-и-песни поём.

— Это точно, — кивает Сашка. — Ты, Валерка, взгляни по-иному на нынешние времена. Ведь мы сейчас живём вопреки логике. По всем земным законам, уж года два бы, как быть гражданской войне, а мы терпим бесхозяйственность, лихоимство, голод, предательство, обман, много чего всякого терпим. Терпим да про комара поём. О душе вот рассуждаем. А почему?

— А почему? — отзываюсь.

И Сашка отвечает:

— А потому. Бог нас от насилия бережёт. Надеется, что мы на этот раз отыщем более светлый выход. Сколько мы в своей истории сплеча рубили? Было? Было. Ошибались? Да. Так вот, теперь в нас должен проявиться прошлый опыт. По Божьей воле. Понимаешь?

Я всё прекрасно понимаю. Мне не понятно другое. Я ехал сюда, чтобы в деревенской тиши привести в порядок мысли, поискать ответы на вопросы, которыми интеллигенция мучает себя, стараясь решать за народ. А народ — вот он, сидит на берегу речки и рассуждает. И получается, он, народ, уже на всё дал ответы и их по полочкам разложил. И будет так, как решил он, народ, как ему подсказывает его вековой опыт, будет то, чего народ ждёт, что соответствует его духовному выбору, ещё пока не проявившемуся воочию, но негласно уже определившему движение русской жизни на века вперёд. Будет так, как было в прошлом: народ перемелет лихо и снова пойдёт вперёд одной-единственной желанной ему дорогой. И предводитель будет. Но не беспардонно-самовластный, а такой, каких только и признавали русские: внешне вроде бы и отец нации, а на самом деле — её сын.

— Это понятно, — отвечаю. — Не понятно другое... — И, набравшись смелости, говорю, подбирая слова, которые, по-моему, не должны обидеть собеседников: — Я не пойму, что случилось. Я ведь сюда приехал зачем? Чтобы свои мысли освежить вашими, решить нерешённое. Мы ведь там, в столице, за народ болеем. Ночи, бывает, не спим, спорим, как да что, ищем рецепты народного счастья. А получается, у вас тут всё и без нас решено. Получается, не я вас, вы меня учите. Вернее, даже и не учите, а ставите перед фактом. Вы что, считаете себя умнее людей, прочитавших горы книг, знающих всё о любом народе в мире, изучивших все политические и экономические законы и всё же боящихся ошибиться? Откуда в вас такая самонадеянность?

Я много чего говорю. Сначала подбирая слова, скоро перестаю стесняться и уже не могу справиться с красноречием. Сам говорю и вроде бы не сам, вроде бы кто-то посторонний внутри меня подкладывает в гортань не присущие мне речения, а язык мой, словно мельница, перемалывает их. Со стороны глянуть, я — великий мудрец, а сидящие передо мной — смурь пошехонская, которым миром и комара не задавить. Я даже вскакиваю на ноги и прохаживаюсь по травке перед Бойком и Сашкой, то и дело останавливаюсь, приподнимаясь на носки, вздымая к небушку длань с поучающим перстом. Что движет мной сейчас? Неужто действительно обида за широкие круги столичной научной и художественной интеллигенции? Или что-то иное, ещё не осознанное мной, что и осознать не хочется?

— Сократы! — восклицаю, собираясь и далее обличать высокомерие земляков, и осекаюсь: мне вдруг становится понятна причина своей неистовости. Не за интеллигенцию мне обидно, не за столичные светлые умы. Просто меня гложет зависть. Мне обидно за свой собственный ум, может, и менее просвещённый, но не менее остальных столичный, мой, мой, мой — и поэтому наилучший, наиспособнейший, наимудрейший из всех в России. Мне невыносимо, что в нынешнем столпотворении умов остойчивость обрёл не мой ум и даже не облагороженный серьёзным чтением ум Сашки. Меня возмущает Боёк, учёный вовсе, который судит о действительности столь ясно, что хочется замутить эту ясность и порушить его уверенность в собственной правоте.

Боёк же, не догадываясь о моём озарении, расстилает на травке плащ и, кряхтя, укладывается на спину.

— И-и-срамота, — возвещает лениво.

— Где? — спрашиваю, удивлённый его спокойным тоном.

— Первое — у вас, в столице. А другое — тебе дивлюсь: тутошный, нашенский, а и-и-дурак. Им, учёным-то, простительно: рядом с учёностью всегда и-и-бес сидит. Ты же корень отсюда имеешь, значит, должен беса углядеть. Бес разнолик, оттого разномыслие в учёных и-и-людях. А у нас тут всё просто: вот речка, вон поле, вон лес, и-и-земля стало быть, и мы вот сидим-посиживаем. Мы — есть, земля — есть, и, стало быть, земля — наша. Какое уж тут разномыслие?

— В нашей ясности бесу почвы нет, — встречает в Бойкову речь Сашка.

— Во-во, — соглашается Боёк. — И-и-бес он такой, он в мыслях и-и-прогресс любит. А у нас с Сашкой — и-и-попросту всё.

— Потому что истина Божия — одна, в ней нет прогресса, — заявляет Сашка.

И Боёк снова соглашается:

— Во-во. Мы тут весь ваш прогресс мерим истиной Божией. Подходит к ней — и-и-хорошо, и-и-не подходит — в сторону. А у вас, в столице, как я понимаю, и-и-наоборот, вы истину Божию под прогресс подстраиваете, и выходит и-и-не истина и не Божия...

— А чья? — спрашиваю уже только затем, чтобы участвовать в разговоре.

— Сам знаешь, — отвечает Боёк, и я не возражаю, ибо, каюсь, названным методом, случалось, и сам грешил и радовался своей умственной зрелости.

А Сашка, укладываясь рядом с Бойком, говорит задумчиво:

— Вот это и есть современный атеизм высшей выделки. На Западе вещь давно известная, а для нас новая и, пожалуй, пострашней нашего прошлого безбожия. В нём отрицания-то Бога вроде и не заметно, но, когда не человек служит Богу, а Бог человеку, считай, что Бога нет, хоть всю землю уставь церквями.

Я молчу и думаю: как замирить обстановку, чтобы спор не свёлся к поиску победителя, но, как исстари повелось между добрыми людьми, послужил общежительству.

— Мы, — говорю с расстановкой, подстраиваясь под Сашкин тон, — мы... вроде с песни начали...

— И-и-с песни, — соглашается Боёк.

А Сашка начинает размышлять:

— Жизнь наша земная — временная, но жить надо так, будто собираешься жить вечно. Песня — хорошая песня — это подтверждает: живём временно, а поём так, словно жизни конца нет. Вывод: в людях бессмертная душа заложена Богом. Вот и надобно жить по душе, по Божьей воле. О том и говорим. О песне, о земле, о государственном устройстве рассуждаем, о бабах ли толкуем — всё о душе заботимся, о Божьем даровании. Жизнь по душе должна вершиться, а не душа устраиваться по жизни. Душу калечить — грех, величайший. Хорошие-то люди искони телом пренебрегали, душу как зеницу ока берегли. А как? Да образом жизни. Они, верно, себя любили, но любили и ближнего своего, как самих себя. Вот и весь секрет. Просто вроде, а на самом деле невероятно трудно. Потому и жизнь доброго человека — постоянный душевный труд. Вкалывать до седьмого пота — не хитро, хитро, вкалывая, добрым оставаться. Доброту никакими законами не узаконишь, её надобно просто иметь и не терять. Ты тем, которые ночи не спят, за нас переживая, растолкуй там: мы, добрые люди, всегда, отродясь по душе жили и жить будем. По-другому у нас не получится.

— Скажу, — киваю, — скажу. Но и мне скажут. Скажут: придумал ты этих добрых людей, не было их никогда и не будет.

— А ты им, — перебивает Сашка, — добрые люди, мол, всегда были, иначе жизнь давно бы превратилась в кромешный ад.

— А мне: и добрые твои, и не добрые — все скопом грешат.

— И-и-грешат, вестимо, — вскакивает с плаща Боёк и принимается ногтями скрести небритую щеку. — Грешат, но и-и-по-разному.

— Правильно, — соглашается Сашка. — Одним грех — не во грех, другие, согрешив, каются. Для добрых людей грех всегда был, есть и останется грехом, грех для них не является правдой жизни. И это тоже главное. Пожалуй, даже самое главное. Жизнь так или иначе по правде вершится, потому что народ правды хочет.

— Весь? — спрашиваю.

— Весь, — твёрдо отвечает Сашка.

— Но ты же сам говоришь: одним грех не во грех, — возмущаюсь я его непоследовательностью.

— Ну, во-первых, их, этих, намного меньше, а во-вторых, каждый человек, пусть бессознательно, но правды желает. Как только правда начнёт торжествовать, это меньшее число людей к правде потянется.

И я собираюсь выставить последний свой аргумент. Чтобы с удобством насладиться торжеством, не спеша усаживаюсь на плащ по-турецки, обе руки в колени с вывертом упираю и говорю с хитрецей, похожей на ехидцу:

— Лукавишь. На словах у тебя одно, а на деле с мужиками ко всякому случаю готовишься. Случись что — вы, трое—пятеро, колхоз расташите и станете за милую душу мироедничать.

— Истинно дурак, — вздыхает с хмельной откровенностью Боёк.

И Сашка пристально вглядывается в меня и с примиряющей ленцой предлагает:

— Кончай ваньку валять. Прекрасно ведь понимаешь, что мы не по кривде собрались жить, а чтобы легче было ей противиться. Лезь в лодку, поедem закидушки снимать.

И мы садимся в лодку. На этот раз гребу я. Боёк с Сашкой вытягивают закидушки, выпрастывают рыбу из ячеек.

— И-и-на уху хватит, — оценивает улов Боёк. — Гребки к дому.

Обратный путь проделываем без приключений. Каждый думает о своём, и только напротив деревни Сашка нарушает молчание, кивая на тётю Катю, стоящую на берегу:

— Как и не уходила.

— И-и-баба, — вроде бы осуждает тётю Катю Боёк и тут же вроде бы восхищается. — Порода у наших баб такая, стало быть, аккурат для мужика: толичко об ней и-и-подумаешь — она тут как тут. И-и-никуда от неё не денешься, хоть в лес беги. Не переделаешь — такими их Бог и-и-создал.

— И нечего переделывать, — откликается Сашка и, отвечая мыслям, пришедшим на ум в данный момент, оборачивается ко мне: — Разное теперь толкуют: то, дескать, нужно переиначить нашу историю, то породить. А по мне, и то, и другое — глупость. Нашу историю надо продолжать. Так-то оно крепче будет.

— А получится? — спрашиваю.

— Непременно получится. Сейчас народ попросту растерялся. Как по лесу вкруговую блудит. Ну да углядит просеку и пойдёт. Пойдёт...

В этот день мы больше не философствовали. После ухи чуть ли не до первых петухов перебирали умерших деревенских, всю здравствующую родню, сообщали друг другу неизвестные факты из нашей жизни, дивились её стремительной текучести, обсуждали сроки и методы предстоящей стройки, вывезли из крытого двора тачку, в которой с утра мне предстояло возить песок, и для лёгкости хода смазали ось солидолом.

В свою избу я вернулся затемно и, лежа под одеялом, ещё размышлял о тёте Кате, Сашке, Бойке и вообще о добрых людях. Хотелось понять, как на нашу историю влияет добрый человек и как на доброго человека влияет наша история, какая связь между ними и что станет, если эта связь исчезнет. Заснул я незаметно.

А под утро мне приснился сон: вдоль по деревне бежит Петька Чирков и взывает:

«На помощь, на помощь!»

Из изб выскакивают деревенские: Боёк с Сашкой, тётя Катя и давно умершие. В том числе и прабабка, и мать с отцом, и две бабки и два деда. Толпа ширится, и у поскотины людей скопляется столько, что они еле протискиваются в прогон. Как всегда, позади трусит Марфенька-Трое-ручица, изображая фальшивую растерянность на лице, вскрикивает визгливо:

«Ахти, опоздаю, ахти, опоздаю!»

Я тоже пытаюсь бежать, но с ног то и дело сваливаются кроссовки. Я останавливаюсь, возвращаюсь назад, обуваюсь, туго завязывая шнурки, но кроссовки опять соскакивают — и так до тех пор, пока я не догадываюсь разуться. За поскотину выбегаю последним. На выгоне, ощерясь зубцами, громоздится красно-кирпичная стена, в два раза выше кремлёвской московской, и стена эта пучится, словно беременеет на глазах. Мне кажется, что она вот-вот с грохотом лопнет и кирпичами засыплет деревню. Петька Чирков тоже страшится этого. Решительно размахивая култей и здоровой рукой, командует:

«К стене, все к стене! И держать! Держать!! Держать!!!»

Люди, кидаясь к стене, прижимаются к ней грудями, упираются руками, пытаются остановить развал. Поражённый бессмысленностью их действий, я поворачиваюсь к Петьке.

«У них мощности не хватит!» — кричу я о людях, словно о моторах, а Петька начинает хохотать, тыча в меня пальцем. Отсмеявшись, хлопает меня здоровой рукой по плечу и указывает глазами: «Смотри».

Я оборачиваюсь и ахаю: люди, только что махонькие, как муравьи, стремительно растут: через пять секунд они в треть стены, через десять — в две трети, через пятнадцать — вровень с зубцами, и вот стену подпирают гиганты. Она перестаёт трещать.

«Так держать!» — кричит Петька, задравши к небу голову.

«И-и-держим! — несётся из-под облаков голос Бойка. — И-и-закурить бы!»

И Петька заверяет:

«К вам посланы верхолазы с сигаретами!»

«А мне, а мне!» — кричу я, топча траву голыми пятками.

«Сигарет?» — спрашивает Петька.

«Нет, нет, — отвечаю, — у меня папиросы. Мне бы тоже задание. Такое же, похожее. Чтобы маковкой в облака».

«Такого пока больше нету. Но есть другое. Тоже геройское».

«Какое?»

«Стену чинить надо. Цемент есть — песку нет. Песок возить будешь?»

«Буду, буду, — радостно соглашаюсь и, застеснявшись, словно мальчишка, спрашиваю: — А я тоже таким большим стану?»

«Большим — нет, — смеётся Петька, — но сильным — обязательно».

«Согласен, согласен», — киваю.

«Тогда бери тачку».

За спиной у Петьки появляется тачка. Петька нагибается, котяшками пальцев здоровой руки остукивает короб и возвещает:

«В порядке. — Смотрит на довоенные наручные часы с решёткой. — Пора!»

Тут я просыпаюсь. Слышно: в наружную дверь стучат и в паузах — голос Петьки Чиркова:

— Вставай — пора, вставай — пора, вставай — пора!

Я выбегаю в сени и открываю дверь. На крыльце пусто, и возле крыльца на серебряной от росы траве следов нет. Солнышко только выставило над горизонтом макушку. Яркий луч бьёт мне в глаза, и на ресницы выкатываются слёзы. На душе тревожно и радостно. Как в детстве, когда ещё толком не знаешь, чего ждать от жизни, но знаешь наверняка: жить будешь хорошо.

16 октября 1993 г.

Коломна



Иллюстрации *Василины Королёвой*

ПОЭЗИЯ





Фото Павла Зеленецкого



Роман Вадимович Славацкий родился в Коломне в 1957 году. По образованию историк (окончил Коломенский педагогический институт). Член Союза писателей России. Его перу принадлежат повесть «Пожарник», стихотворные сборники «Баллада Маринкиной башни», «Самоцветные чётки», «Посадский венок». Издал свыше десятка краеведческих исследований и буклетов, посвящённых родному городу.

Заместитель председателя творческого объединения профессиональных писателей г. Коломны.

УШЕДШИХ ДНЕЙ СЕДЯ ПОЗОЛОТА

Старые вещи

Светлане Тельновой

Они лежат на старых чердаках,
красуются под красными углами,
но в их потёртой коже — тлеет память
о стародавних предках и веках.
Есть память родового сундука,
есть память крова, принятого нами,
и память у лампы, словно пламя,
горящее в иконных огоньках.
И драгоценный клад, и милый вздор
хранят в себе — дыхание и взор,
и чей-то след, и чей-то голос вещей.
Не торопись их пылью пренебречь.
Прислушайся!.. В тиши струится речь,
которую неслышно шепчут вещи.

Очки

А.А.

В подвале потайном, где тленье правит, —
под ворохом тряпья, как странный дар,
нашли старинный кожаный футляр
с очками в черепаховой оправе.

Протёк десятилетий грубый гравий,
но свеж упругой кожи чёрный жар,
и так же ярко блещет окуляр,
немного старомоден и забавен.
Быть может, их касалась рука
весёлого гуляки Пильняка?
Такой вопрос по-своему коварен.
А впрочем... Тем и славится Арбат,
что он любой загадке вечно рад —
хотя б и скрытой в кожаном футляре.

КУКОЛЬНЫЙ ДОМ

Ольге Вечеровской

Когда заката алая излука
в камне рассыпается золой,
вечернею волшебною порой
нам кажется понятен шёпот кукол.
Какая это чудная наука —
следить за их причудливой игрой!
...На небе проступает звёздный рой
свеченьем заколдованного звука.
И в милом царстве снова реет вечер,
и музыка звучит, и льются речи,
и пишется секретное письмо...
И наши дни смущаются и блёкнут,
когда Господь заглядывает в окна
таинственных игрушечных домов.

ЧАСЫ

Памяти М.С.

Посад — в напольных английских часах
пирует, красным деревом украшен,
и алые большие корпуса
похожи на шатры кремлёвских башен.
А в кабинетах — славный «Ле Руа» —
резной подарок пышного Парижа, —
трактуя Рока древние права,
секунды и минуты ниткой нижет.
Часы везде — на полках и столах,
и даже на церковных колокольнях,
за гранями оконного стекла,
в карманах — на цепочках подневольных.
И время дремлет, словно бы оно
хрустальным звоном заморожено.

Кирпич

Николаю Шепелёву

Коломна — лишь поэзия и камень,
звонящий камень храмов и палат,
уложенный учёными руками
в добротный и тугой посадский ряд.
Кокошников узорчатая пена,
неброский блеск потёртых изразцов,
резною ризой схваченные стены,
воздушный зной золóченных венцов!..
Так неужели варвар — вдруг разрушил
Посада многопесенную душу?
Она живёт — чеканными веками,
горит бронёй резного кирпича!
Коломна — лишь поэзия. И камень
в ладонях реставратора-врача.

Вывески

Андрею Климанову

О дивный мир старинных магазинов!..
У булочной — пылающий калач;
а вот и самовар — весьма горяч;
а вот, полна лимонами, корзина.
Блестят калоши лаковой резиной;
в аптеку звоном колбы манит врач;
а над мясною лавкою — секач
клыкастый зев торжественно разинул.
И ты, как зачарованный, глядишь
на пестроту обёрток и афиш,
на древние серебряные фото,
на ветхий и забавный водевиль...
И вьётся, как египетская пыль,
ушедших дней седая позолота.

Керосиновая лампа

Памяти Э.Л.

Магический туманный абажур,
прикованный сюда во время оно,
стеклом своим — молочным и зелёным —
подводит нас к ночному рубежу.
И я с нездешним трепетом гляжу
на этот светоч, бронзой оплетённый,

на гибкие растения плафона,
подобные цветному миражу.
...Под ним вязали, делали уроки,
и мир казался ясным и широким.
Но дата на металл занесена:
«Четырнадцатый год, январь». Безвестно
в уютный свет Жюль Верна льётся Бездна:
всемирная и страшная война.

Библиотеки

Елене Новиковой

О сладостная тишь усадеб сонных,
сафьяновый покой библиотек,
где золотом обрезают — прежний век
застыл в тиснёных гербах и коронах!
Как полновесен перечень имён их!
Вот римлянин, а рядом — древний грек.
А для прекрасных дам — важнее всех
прелестный мир Кларисс и Грандисонов.
Но лёгкий вздор sentimentalных леди
сменил надменный блеск энциклопедий,
с которым не поспоришь налегке.
И всё же — как милы в тепле сафьяна
наивные старинные романы,
забытые на старом чердаке!

Изразцы

Анатолию Червякову

Коломенский Арбат! Печными изразцами
украшены твои дымящие дома.
Орлов и сочных трав роскошная тюрма
в углу волнует взор извилистым мерцаньем.
Нарядны и пестры, как пряник, терема,
построенные здесь брадатými купцами;
их печи, в кораблях, с цветами и дворцами;
милордов, птиц и дам цветная кутерьма.
А рядом классицизм — куда стройней и строже,
и кафельный отряд блестит, на полк похожий,
как будто кирасир горящая броня;
отделка их скупа: простой рисунок синий.
...Но есть особый шик — в изысканном камине
с чугунным кружевом у самого огня!

Зеркало

Виоле

Блеск зеркала, хранящий темноту,
Венеции заветное преданье...
Ну что ж! — начнём крещенские гаданья, —
серебряную пыль с него смету
и в зыбкой глубине увижу ту,
которая таит мои страданья, —
ночной лагуны шёлковой тканью
укутанную в сумрак и мечту.
Мерцанье Тициана, дым Беллини,
горенье Веронезе, вихри линий
и гладкого стекла алмазный лес,
дворцовых спален сонные повои...
Вот что поведал в сумрачных покоях
хранящий темноту свинцовый блеск.

Столовое серебро

Наталье Андреевой

Тяжёлое барокко серебра —
чеканные столовые приборы;
на ризницу немецкого собора
похожа их нарядная игра.
Ракушки, где во льду лежит икра,
раскрыли металлические створы;
а вот — ладья салатницы, которой
английские гордились мастера.
Но кончится обед, и роскошь эта
войдёт во чрево грузного буфета,
а на столе поставят самовар.
...И словно дорогих столетий тени,
серебряные льются отраженья
и тает на металле тонкий пар.

Ларец

Галине Горчаковой

О глубина непролазной столовой!
Пыльная рухлядь да книжные кипы.
Ветошь семейная: веер бордовый,
кольца, гербарии, дагеротипы,
и — потемневшею бронзой окован,
старый ларец из ореха и липы...

Что там скрывают под крышкой пудовой
бронзовых скреп потаённые скрипы?
Цветом подобные выцветшим листьям,
старые связки загадочных писем
взор беспокоят французскою прозой.
Пусть же ларца медносвитые вены
строчки забытые тьмою оденут!
Письма... И пепел засушенной розы.

Фарфор

Памяти Николая Петропавлова

Арбатского уютного фарфора
молочно-перламутровая гладь:
сервизы свет струят из-за стекла,
и горки громоздятся, словно горы.
Нарядных ваз упругие узоры,
и статуэток трепетная стать;
столетьями пристало вам — блистать,
балета неподвижного танцоры!
Арбатские шкафы... Фарфоры их —
как будто створки раковин морских —
для взора пенно-белая утеха.
Развеян даже след былых семейств...
Но вот из темноты — исходит весть:
фарфоровое призрачное эхо...

Многоуважаемый шкаф

Ирине и Геннадию Савиновым

Как старый мажордом, таинственно-угрюм,
резной, как монумент античного тирана...
Поклон тебе отдать давно пришла пора нам.
Твоих богатств, о шкаф, не смог измерить ум.
Как древний галеон, таит бездонный трюм:
шкатулки, и стекло прозрачного Мурано,
корицу, и ваниль, и сладость майорана,
гвоздику, и мускат, и сказочный изюм.
Откроем-ка сезам: все пряности на месте?
А там — китайский чай в коробочках из жести,
где некогда бисквит хранил седой Эйнем.
Что может быть милей, семейней и мудрее?
...Как старый мажордом в готической ливрее,
стоит в столовой шкаф — загадочен и нем.

Ручная мельница

Маргарите

Коломенские кухни! Благодать,
от коей никуда теперь не деться:
печей горячих каменное сердце,
подносов медь и ступок череда...
А сколько рядом утвари немецкой,
сюда свезённой в давние года!
Сверкает шкапа старая слюда,
а в нём — ручная мельница для специй...
И вьётся дух корицы и гвоздики,
и рдеет лак, обласканный мастикой;
изящный деревянный автомат
горит на полке, гордый, словно талер,
собрал и бронзу маленьких деталек,
и дерева дразнящий аромат!

Марки

Виктору Мельникову

В альбоме старом — выцветшие марки:
портреты императоров, орлы...
Зубцы — как будто ветхий след пилы,
как будто воск в оплавленном огарке.
Советских надпечаток слой неяркий,
картинки цвета пепла и золы,
вожди и пионеры — слишком злы,
но сердцу нет прекраснее подарка.
Трепещет знак имперского расцвета
на кончике блестящего пинцета,
зацепленный холодным остриём.
И в сущности — вся наша жизнь и мысли —
всего лишь маркированные письма,
отправленные сквозь небытие.

Сухарница

Л.Б.

В шкафу она стоит настороже —
богатый чай венчать своею сеткой
готовая. И лёгкая салфетка
поверх неё наброшена уже.
Изящный штрих в буфетном витраже:
обычное плетенье... Но заметь-ка:

сверкает серебром, работы редкой
сухарница — от фирмы Фаберже!
Как переданы гладью и чеканкой
соломки острота и волны ткани!
И прошлый век вернула нам легко
обычная старинная плетёнка,
салфеткою застеленная тонкой
с отогнутым небрежно уголком.

Паркет

Владимиру Потлову

В древесной плоти есть магическая статья,
и сокровенный свет, и вечности приметы...
Как видно, неспроста в мерцании паркета
озёрной глубиной легла цветная гладь.
Какое мастерство — мозаику слагать!
Сосна и палисандр сиянием согреты
и собраны в узор — бесценные букеты —
они легли ковром. Надолго ли? Как знать!
И в зеркале мастик, и в лёгком блеске воска
доселе длится стиль изысканного лоска,
и даже целый век не в силах расколоть
цветные тени дам, изящных, точно стебель.
Карельским янтарём отсвечивает мебель,
и дерево живёт и дышит, словно плоть.

Старые фотографии

Геннадию Чистякову

Прошедший век провеял, как мгновенье,
и нет — ни тех людей, ни той страны,
и только их пленительные тени
глядят из серебристой старины.
Какие непонятные наряды,
забавная застылость строгих поз!..
Но что же так тревожит в этих взглядах?
Неслышимый укор? Немой вопрос?
Всего лишь век прошёл — такая малость!
И эти снимки — всё, что нам осталось?
О нет! Не пропадёт ничто на свете!
И верится — когда наступит час,
родные тени к нам придут — и встретят,
и в свой туманный край проводят нас...

Коломенская филокартия

Александр Денисову

Старинная-старинная открытка
(как будто из Ассирии конверт,
где шифры треугольников и черт
в огне окаменев, укрыла плитка)...
На улицу закаркала калитка,
вот стройный кавалер идёт, как ферт;
девицы: гордый взор жестокосерд;
снует вдоль древних стен людская нитка!
Монастыри, базары и лабазы,
ряды, Библиотека, башни, вязы,
гимназия, и Кремль, и вечный сквер...
...Ах, призрак это всё, кусок картона,
поблёклого, коричневого тона, —
как будто из Ассирии конверт!..

Стекло

А.А.

Имперские орлы и вензеля
на склянках и причудливых бутылках.
Они звучат воинственно и пылко
узорным звоном царского рубля.
А вот — гербы чужого короля —
забавная торговая развилка.
Хранила эти странные посылки
арбатская богатая земля.
И смотрит удивлённая Коломна
на склянки для духов, одеколона
и капель, что назначены врачом...
...Ты выкопал бутылку из Шампани,
а в ней лежит истлевшее посланье,
залитое столетним сургучом.

Ковка

Виктору Камаеву

Лианы драгоценного железа —
над входами витые кружева,
густых оград чеканная трава,
ажурный крест, пылающий над бездной,
звучание подков, сверканье лезвий,
и скрепы на дверях, и маска льва,

всё это — сплав мечты и мастерства,
когда горит огонь на грани среза,
когда играет пламя в глотке горна
и молот заплетает звон узорный
в тугую и трепещущую ветвь.
Ночное колдовство — Судьбы союзник!
И льётся, как настой, из древней кузни
овейный веками дымный свет.

Глина

Александр Тельнову

Укрыты рукотворные былины
под грудами коломенской земли...
Их гончары когда-то обожгли —
сокровища, отлитые из глины.
Обломки от лощёного кувшина,
седого рукомя сбитый слив,
посуда, что на рынок привезли:
шершавый шар корчаг, полива кринок;
смешных игрушек тонкие скорлупки,
фигуристый чубук табачной трубки —
в плену таятся, тёмном и сыром.
Посадская земля богата с лишком —
как будто чрево глиняной кубышки,
до горлышка набитой серебром.

Город

Анатолию Кузовкину

Мой Город, заколдованный и старый,
укрыт в пыли; и спит который год,
похожий на готический комод,
забытый кем-то в лавке антиквара.
И там, среди богатого товара,
невидимый паук молчанье вьёт;
стоит хрусталь, и теплится киот,
мерцают медью латы самоваров...
Зубцы Кремля в тени затаены,
но кружево венцов его резных
зажжётся позолотой на рассвете.
Мой город стар и в дрёму погружён.
Не трогайте его — он видит сон,
ведущий в глубину Тысячелетья.



Геннадий Леонтьевич Ступин родился в 1941 году в городе Аткарске Саратовской области. Перепробовал множество профессий: работал кочегаром, каменотёсом, охотоведом, грузчиком в аэропорту Внуково, электриком, слесарем, машинистом насосной станции.

Его стихи — о суровом послевоенном детстве, далёком степном городе Аткарске с его необычной природой, о нелёгкой судьбе России — были замечены выдающимся русским поэтом Юрием Поликарповичем Кузнецовым.

Окончил Высшие литературные курсы.

Автор трёх книг. Член Союза писателей России.

ЯСНАЯ МОЯ СУДЬБА

* * *

Удаляются звуки земные,
Гул машинный и гомон людской.
Приближаются звуки иные —
Одиночество, воля, покой.

Я дошёл до предела, до края,
Не умея ни стать, ни свернуть.
И лежит предо мною, пугая,
Без дорог во все стороны путь.

Никому не дано двух жизней.
Сердце плачет, а разум глядит,
Где звезда моя над отчизной
Одиноко и тихо горит...

Нет, не брошу я камнем в небо,
Хоть душа от боли черна.
Разный вкус у правды и хлеба,
Только горечь у них — одна.

Я пойду, куда дует ветер,
Чтоб забыть о счастье своём.
Нет дороги мне на всём свете.
Только путь мой. Во мне самом.

* * *

Воздух редок, тёмн свет
 От крещенского мороза.
 Слеп сухой, сыпучий снег,
 Немы ёлка и берёза.

На дороге ни следа.
 Глубока очей остуда.
 Не придёт никто сюда,
 Не уйдёт никто отсюда.

Даже дятел не стучит,
 Пылью снежною не вест.
 Стороною время мчит,
 Лишь светлеет и темнеет.

Печь гудит, молчит вода...
 Заварю покрепче чаю.
 И горит в окне звезда,
 Если света не включаю.

И не чувствует себя,
 Вечность целую осия,
 Ясная моя судьба —
 Этот лес, зима, Россия.

Вороны и воробны

Там, где мусорные баки цвета хаки...
 обитает юный ворон — он проворен...
Евгений Рейн

Не воробны, а вороны были
 На Руси. И на русских устах.
 Чуя битву, кругами кружили,
 Богатырские глазоньки пили,
 На священных сидели дубах.

Перепутали всё, позабыли
 Иль не знаем, живя впопыхах,
 Величавой и горестной были —
 Только воронами вдруг прослыли
 Все воробны в иных головах.

И везде его нынче несметно
 На помойках людского жилья —
 Проживающего всесветно,

Чёрно-серого всё же бессмертно,
Жадно каркающего воронья.

Иногда лишь в глухом, потаённом,
От дорог удалённом углу,
Там, где нечем разжиться воронам,
Вдруг гортанно, с надтреснутым звоном
Вековое раздастся «кру-кру»...

Из какой незапамятной дали
Ворон с верной подругой летят?
Что снедали, чего повидали,
Что сквозь землю и небо в печали
Человеческим криком кричат?

Чтобы русской душе не забыться,
Мчится с мёртвой водой и живой —
Чтоб в веках воедино ей слиться,
Кличет чёрная вещая птица
С чёрным клювом — разящей стрелой.

Опалённая древним пожаром,
Нам, воронам отдавшим себя,
Вдруг является въяве недаром
Птица с грозным Перуновым даром —
Позабитая наша судьба.

Небо

Всю жизнь гляжу на небо,
На тучи-облака,
Заворожённо, немо,
Подавленно слегка...

Оно, на вид простое,
Как полая вода,
Не ведает простоя,
В движении всегда.

Нахмурено ли, ясно,
Зарёю ли горит —
Оно всегда безгласно
Мне что-то говорит.

О родине, о детстве
И о моей судьбе...

А если приглядеться —
И о самом себе...

И ночью ли глубокой,
Сияющим ли днём —
Вот так вот, око в око,
Всю жизнь мы и живём.

* * *

Неожиданные холода
В долгожданном, желанном июле...
То ли наша остыла звезда,
То ль мы сами с орбиты свернули?

Потемнение в ясной судьбе.
Непонятно, досадно, тоскливо!
И к какому идти нам судьбе?
Потепления ждём терпеливо.

Ветер, тучи, дожди, градобой...
Ни просвета нигде голубого.
И над жизнью своей, над собой
Вдруг задумываемся глубоко.

Всё как будто бы в наших руках:
И природа, и мир на планете.
Но в огромных небесных глазах
Выражения странные эти...

Может, напоминание тут:
Всё же мы — лишь природы творенье.
Эта мимика грозная туч,
Эти жесты — внушают смиренность...

* * *

Затмение жизни проходит,
Я вижу опять небеса.
И душу, как в детстве, уводят
Простые, как хлеб, чудеса.

Прямою воздушной дорогой
За речку, поля и леса,
Где света и воздуха много
И в небе поют голоса...

И просто земною дорогой,
Где небо стоит в колее,
И всяческих камушков много,
И всяких козявок в траве...

И в самую землю, где корни
И красный блестящий червяк
Бежит от меня всё проворней
И мне не даётся никак...

И глубже, где кипенно-белый
И крепкий, как сахар, песок
Таит в себе окаменелый,
Невиданной формы цветок...

И дальше, глубоко-глубоко,
Где вечно блуждает во мгле
Живая вода одиноко
И выхода ищет вовне...

И в небо, высоко-высоко,
Где жаворонки в тишине
Поют, трепеща невесомо,
О вечной любви и весне...

Костёр

Н.Е.

Костёр горел светло и жарко,
Нас опаляя и губя.
И пламя бешено и ярко
В глазах плясало у тебя.

Глухая ночь вокруг теснилась,
От мира укрывая нас.
Мы были вместе — нам не снилось.
Одни, без посторонних глаз.

Обнявшись, мы не различали
В одном пылу, где я, где ты.
Пугая нас, сердца стучали...
И всё видали, но молчали
Большие чёрные кусты.

...Костёр дымился еле-еле,
Трава клонилась, вся в слезах.

И звёзды на глазах бледнели
В пустых, холодных небесах.

За чёрным лесом, на востоке,
Заря вставала, как в крови...
Неслышно истекали сроки
Как бы украденной любви.

И молча мы с тобой глядели
В костёр, не отрывая глаз...
И птицы так печально пели,
Как будто знали всё про нас.

* * *

Мне под утро приснилось, что ты — с другим,
И зачем-то я сразу встал.
А восход светом розово-золотым
На высокой тучке блистал...

Это было во сне или наяву?
Это с ней или со мной беда?
А подножья деревьев, кусты и траву
Затоплял туман, как вода...

Я бы птицей кричащею полетел,
Чтоб тебя увидеть сейчас!
А восход на деревьях уже блестел,
А на тучке уже погас...

Но была от меня далеко-далеко
Ты, одна или не одна.
А уже и туман растаял легко,
До травинки земля видна...

Неподвижно я и безмолвно стоял
Перед светлым большим окном.
Новый день предо мною пел и сиял —
Мне ходить предстояло в нём...

* * *

Как невзрачна и неуютна
Осень в стенах больших городов.
Всё темно, и уныло, и мутно,
Ветер свищет меж длинных домов...

Там, в лесу или в поле, раздумье —
Здесь тоска и досада берёт.
По асфальту, как мусор, в безумье
Листья мечутся взад и вперёд...

Там природа, со сроком согласно,
Примириется с долей своей —
Здесь всё больно, тревожно, опасно
Накопляется в душах людей.

Там покой и печаль увяданья,
Вековая, вселенская грусть —
Здесь привычная ноша страданья
И забот нескончаемый груз.

О скопленья жилья и несчастья,
Строй глухих и незрячих домов...
Тяжела, неуютна, невзрачна
Осень в стенах больших городов.

В ночной электричке

Я о себе задумался глубоко,
Что горько-одинокими дни мои...
А в тёмном небе, далеко-далёко,
Горели одинокие огни.

И так они потерянно мигали
Из тёмной и бездонной глубины
Заваленной тяжёлыми снегами
Огромной и таинственной страны,

Что, вглядываясь в свет их поневоле,
Превозмогая мчащуюся темь,
Я позабыл про собственные боли,
И про себя я позабыл совсем.

О, как невыразимо проходили
Они из тьмы во тьму, из тьмы во тьму...
И всё они безмолвно говорили,
Что нужно было сердцу моему.

И так их, одиноких, было много,
Что расступалась ночная мгла,
И в ней моя железная дорога
Светла и нескончаема была.

Гудки в ночи кричали как шальные,
Гремел вагон, рассыпаться грозя...
А я глядел в далёкие, родные
Моей земли прекрасные глаза.

Они кружились тихо и широко
И пропадали, Боже их спаси...
Я о себе задумался глубоко,
А увидел огни — по всей Руси.

* * *

...Где дом мой? Где моя семья?
Родимый край степной?
Живу один безвестно я
Меж небом и землёй.

Поют чужие соловьи,
Казённая постель...
Где жажда славы и любви?
Где страсти дикий хмель?

Поют чужие соловьи,
Лягушки вторят им...
Где гордые мечты мои?
Развеялись, как дым.

Где жизнь моя? На всей земле.
Где счастье? В небесах.
В остывшей копошусь золе
С печатью на устах.

Осталось мне с десятков лет,
Дорога в три версты,
Да этот ясный Божий свет,
Да чистые листы.

Лишь времени беззвучный гром
В седеющем виске.
Лишь воля думать обо всём
На русском языке.

О бесконечность дум моих...
Благодарю, судьба,
За высшее из благ земных —
Свободу от себя.



Нина Борисовна Соловьёва родилась в Донецке. Там же получила университетское образование по специальности «математика». Сейчас живёт в Коломне. Работала программистом, оператором, счетоводом.

Лауреат двух конкурсов «Поэтическая Коломна». Стихи печатались в журнале «Юность», в «Коломенском альманахе».

Постоянный автор «Коломенского альманаха».

В 2006 году в Коломне вышла книга рассказов «Вспомни обо мне».

СКАЖИ МНЕ ГОЛОСОМ ЕГО

* * *

Лучше бы ни с кем не враждовать!
Пусть воюют листья с ветром серым,
пусть пророчат правду ради веры
и казнит невинного молва...

Я не знаю, что такое клин
меж веленьем совести и крови,
я с отцом и матерью не ровень,
как полынь и тополь-исполин.

Я извечно отстаю от них
прямотою, остротою взгляда —
пригибаться ниже мне не надо,
чтоб не раздражать моих родных.

Но с тобою — осью болевой,
алой нитью по канве сюжета,
мне пришлось изведать муки жертвы
ради божества гражданских войн.

Этот сумасшедший бог швырял
серым пеплом по цветущим вишням,
хотел: не слышу и не вижу,
как в огне любимые горят!..

Ноябрьская лужайка

Тьма нежится в травах, но ягодам красным
гореть в этот час не темно.
И кажется, слово над временем властно,
и всё, что исчезло давно,

глотком животворным отчаянно выжмет
ослабшая сила корней,
и осенью станем мы чуточку ближе,
как почва и корни, родней.

Сквозь дым седины зеленеет лужайка,
питаюсь холодной тьмой,
и словно в апрельский туман погружает
весь мир перед самой зимой.

И сходятся вместе конец и начало,
коль солнце по кругу плывёт...
И слово последней, безмерной печали
ушедшую радость вернёт.

* * *

Двенадцать лет, как длится встреча.
И память каждый день хранит —
будь он мученьем обесцвечен,
будь счастьем радуге сродни.

А в буднях слышен отголосок
угроз прервать живую речь...
Поэту стих — всего лишь способ
бесценный дар души сберечь.

Заря ли, блик ли чуть приметный —
одно лишь кряду в них сошлось:
проходит сквозь сердца поэтов
планеты болевая ось.

Не мастер жить самообманом,
услышит сердца тайный плач —
поэт не заживляет раны,
но коль в дороге медлит врач,

ночную глушь проймёт словами
и времени ускорит ход,
и чутких строчек ткань живая
чужую боль в себя вберёт.

* * *

Под вечер налетает шторм
на Зайцев сквер, на красный дом.
И безутешное «За что?»
со всех сторон стучит дождём.

Но лишь сгустится темнота
и лишь к дождю привыкнет слух,
я верю вновь, что неспроста
горюет так один из двух.

Что за собой влечёт слова
времен старинное кольцо,
что жизнь не должен оборвать
нелепый заговор глупцов.

И в такт с шумящею листвою
я упрошу ночную жуть:
«Скажи мне голосом ЕГО
хоть что-нибудь, хоть что-нибудь!..»

Новогодняя молитва

Пошли мне, Господи, оттепель,
чтоб в праздничный поздний час
не мучили, не заботили
простуда, болезнь, боязнь...

Чахотки глухая проповедь
под сплетнический экстаз,
что шлялась глухими тропами
и стужи не береглась.

Пошли мне оттепель, Господи!
Я там отслужу сполна,
где свечки сияют звёздами,
лампадой горит луна.

Где тени с крыльца не падают,
но темень сползает вниз,
чтоб ёлочными нарядами
в проулки сметать огни.

Случись заболеть нешуточно —
и станешь — первейший враг:
не пустят и на минуточку,
не вспомнят и в двух шагах.

Не то, что крестьяне древние —
бросались чумным на грудь,
вдыхая немного времени
в готовых навек уснуть.

А после, целуя намертво,
не знали, что меркнет взгляд,
затем, чтоб лететь фонариком
прямохонько в райский сад.

Мост через Коломенку

Сколько раз эту прозелень льда,
эти снегом подбитые пятна,
будто рану с повязкой измятой
в тёмных снах предвещала беда.

Россыпь шальных людей на реке.
И в излучине — светло-зелёный,
смутный берег с застывшею кроной —
в полусне, в полумгле, вдалеке...

Эти пробы на смертный исход:
влажный лёд, весь следами покрытый,
раскатившихся бус из нефрита
перепутанный сбивчивый счёт.

И пустой, бесшабашный припляс,
вздохи льда и воды под ногами;
И бегущий с ресниц ручейками
мокрый снег с белизной напоказ.

И запретный и тёплый туман.
Гиблость тверди, обманчиво гладкой,
когда шаг замедляя украдкой,
чуешь бездной грозящий обман.

Когда длится и длится игра
и на лёд завлекает следами,
как о верности судит предатель,
как востребует ласки тиран.

Но пройдёт невредим, как всегда,
одержимый смертельною жаждой.
И погибнет беспутно отважный,
не испробовав крепости льда.

* * *

Венецианский двор дождём зачёркнут.
Решётки смяв, дождь пляшет по двору —
чтоб просто быть; чтоб говорить о чём-то;
жалеть цветы, упавшие из рук —

к тебе, к тебе гвоздики льнут послушно,
смирней, чем смотрит вслед бродячий пёс;
и вновь проспит твой идол равнодушный,
какую жертву ты ему принёс.

И снова чернь простушкою бывалой
пойдёт тебя за этот миг бранить,
как будто жжёт ей душу венчик алый
и режет плоть времён тугая нить.

Тебе

И вновь течёт история по жилам
невинной кровью, на войне пролитой...
И вновь враги пророчат мне могилу,
как вороньё над раною открытой.

Когда ползком уходит от врага
солдат, в смятенье брошенный своими,
под грузом жизни смерть почти легка,
но как исчезнуть, дорогое имя

не прокричав, не прошептав хоть раз —
глаза в глаза — хоть выдохом последним,
не рассказав, что связывает нас
геройский дух минувших поколений;

что инквизитор, нагнетая страх,
лишь потому сейчас не правит нами,
что по чуть-чуть, своею кровью, пламя
гасили все, кто сгинул на кострах...

Цветы в память о добром сердце

Ты подумай хоть раз — что-то главное, лучшее гибнет.
И не кровь, и не остов, а солнечный творческий миг.
Но в ответ лишь хлестнёшь беспощадною фразой агитки,
И попадают в снег тёмно-красные капли гвоздик.

И за эти слова, и за эту кровавую дробь,
не проклятия шлейф (друг вовек не дожждётся проклятий!),
а камней немота, чтобы горестный крик побороть,
чтобы вслед не бежать и к земле не бросаться в объятья.

Как трагична судьба нашей полной контрастов страны,
где угарным расстрелом ничтожных возводят в герои,
где возможен Раскол из-за ноты в молитвенном строе
и закон воровской на руинах идейной войны...

Мой беспамятный друг! Ты витаешь в нездешних мирах —
дела нет до стихов, до истории тоже нет дела...
Ты идёшь по дороге, где красные капли на белом,
горделиво любуясь игрою химер в небесах.

12 октября

Словно чёрный след на белом флаге;
словно рвётся ткань живая, словно
наизнанку вывернут концлагерь,
призрак-монастырь таранит лоно

грустной увядающей долины —
эта осень так исходит горем,
что не хватит ночи, самой длинной,
переплакать дождь в глухом затворе.

Вырванные с корнем, без оглядки,
умирают заживо деревья;
кочьями изодранной тетрадки
крылья птиц раздёрганы на перья...

Небо ждёт — темней пустой глазницы,
не мелькнёт ли зренья лучик синий?
Не взлетит ли раненая птица
над могилой преданной святыни?

А берёзы хлещут, без разбора,
золотом, к ногам слагая выси,
засыпают капище раздора —
монастырь, поправший святость жизни.



Татьяна Фёдоровна Башкирова родилась в 1948 году в городе Коломне. Окончила За-райское педагогическое училище. Занималась в литобъединении «Зелёные цветы» под руководством поэта Олега Кочеткова.

Печаталась в журналах «Москва», «Молодая гвардия», «Смена», в альманахе «Поэзия», в газете «Российский писатель». Автор сборника стихов «По обе стороны времён» (2004).

Член редколлегии Коломенского альманаха с его основания. Член Союза писателей России.

Живёт в Коломне.

ВОРОЖИТ ЗИМА...

* * *

О разлуке обоим — не снилось:
Лучезарные выпали ночи.
Его имя — с твоим породнилось
И к нему возвращаться не хочет.

А без имени — что под луною,
Что под солнцем: не радуют силы...
Ты покинула имя родное,
Так, случайно, — другим заменила.

Вот и осень пришла — без ненастья,
Но омоют холодные росы
И следы его позднего счастья,
И твои — слишком ранние — слёзы.

* * *

Вечер, мягкие тени баюкая,
Частым дождиком сыплет в стекло.
За далёкой речною излукою
Твоё детство недавно легло.

Там сияют румяные яблоки
Для родителей светлых твоих,

И восходят небесные радуги
От земного согласия их.

Помня сказку — волшебную, древнюю, —
Чтобы в детстве минутку побыть,
Ты б хотела быть верной царевною
И сто пар башмаков износить.

Лебедю, горючей крапивою
Сад зарос, и к нему не пройти.
«Мама, папа! Вы порознь — счастливые?» —
Стылый ветер метёт впереди.

Их рассветы — бессонницей мучатся,
Пред тобой — неизбывна вина...
Спи, страдалица... или разлучница...
Ты пока — никому не жена!

* * *

Ворожит у Пятницких белая зима,
Кружится над городом вьюга-карусель.
Рыженькая девочка — это я сама —
Улицею Пушкина свой несёт портфель.

Дома — ссоры долгие матери с отцом,
Для тебя отрада вся — на страницах книг.
Оттого-то, девочка, ты бледна лицом,
Голос твой застенчивый неприметно тих.

Слушай меня, милая! Минет двадцать лет —
Перемены сбудутся и в твоей судьбе:
Кареглазый, искренний, наш большой поэт
Скажет слово верное о стихах тебе.

А пока, родимая, надо вырастать,
Выбираться как-нибудь из своих невзгод.
Не таи обиду ты на отца, на мать, —
Знай, что веку долгого не дал им Господь.

Да, ещё Жуковского почитай в тиши:
На поэтов «школьных» он явно не похож.
Не теряй наивности молодой души,
Даже если в жизни ты что не разберёшь.

Улыбалась девочка... слушала едва...
Ну, наговорила же тётя чепухи!

Ей тогда не верилось: через год иль два
Вдруг — во сне — напишутся первые стихи.

Уходила девочка в школу, на урок,
Без следа растаяла в дымке голубой.
Тоненькой былиночке было невдомёк:
Говорила только что с выросшей — собой.

Ворожит у Пятницких белая зима,
Воскрешая в памяти свет далёких дней.
Я смотрю потерянно. Я стою одна.
Рыженькая девочка... Я грущу о ней...

Встретенье

Такие сугробы зима намела,
А думали — вовсе она не придёт.
Я вытерла пыль и полы подмела,
И стынет в кастрюле горячий компот.

Звонок телефонный. Задержится муж:
Работа, мол, срочная и допоздна.
Сынуля родной в дальнем рейсе к тому ж...
Сиж у окна и вздыхаю одна.

Ну хоть бы котяра явился пока!
Куда там... Гуляет... Весенние дни...
Тебя заклинаю я издавека,
Молю: «Ну пожалуйста... мне позвони...»

Синеет в окне. Темнота. Скучота.
И нет ни звонка от тебя, ни кота.

Вдруг шумно явились: рассерженный муж,
Голодный, усталый, продрогший к тому ж.
Сынуля кричит: «Накрывай же на стол!» —
А тут ещё кот непутёвый пришёл!

На кухне моей — теснота, суета...
Сначала, конечно, кормлю я кота!

И вдруг — телефон мой! А вдруг это — ты?
Я кинулась вмиг от плиты-духоты —
Да ну их всех к бесу! Я трубку взяла...

Такие сугробы зима намела!

Расклейщик афиш

Над городом ранним — морозная тишь.
Спешит одиноко расклейщик афиш.
Немолод лицом, но улыбка светла, —
Зима ему студит усы добела.

А дома остался неприбранный рай:
Газеты, диван, сигареты и чай.
Почётные грамоты там со стены
Глядят на владельца, ему не нужны.

Он был инженером — не хуже других,
Да только с завода уволили их.
Пришла перестройка — и умер завод,
А он вот — не умер... А он — всё живёт...

Супруга болела да в землю легла,
А дочь с новорусским в Париж отбыла.
Пусть ноги болят, да и ноет спина, —
С своими афишами он — допоздна.

Работа спасает... Порой устаёт...
Февральское солнце отраду даёт,
Да — город, да — люди, да — надо спешить,
И сердце колотится: следует жить!

Вечерние тени спускаются с крыш.
Бредёт, спотыкаясь, расклейщик афиш.
Закатным огнём зажигая снега,
Его обнимает глухая пурга.

* * *

Чёрных птиц из дали нанесло,
Бьётся в стёкла недобрая стая.
Но сегодня — седьмое число,
Сохрани нас, Седмица Святая!

В моём бедном притихшем углу
Даже лики икон почернели.
И пугающе тень на полу —
Вся лохматая — движется еле.

Но не встать, не разъять темноты,
Не прогнать духоты и угара.
Где-то в городе мечешься ты
От шального липучего жара.

Мои бледные щёки горят.
Не заснуть... Одиноко и больно...
Эй, с клешнями! Пожалуй-ка в ад, —
Походил меж людей — и довольно!

Ты, закат, ярых птиц отгони —
Им и в сумрачном поле не тесно.
Озари наши поздние дни
Вдохновенья свечою небесной.

Видишь — небу от туч тяжело,
Ива тонкая ветра боится...
Огради нас, седьмое число,
Сохрани нас, Святая Седмица!

* * *

Панельный серый терем мой
Семи ветрам открыт.
Заокский ветер, как шальной,
Стрелой ко мне летит.
То вещей конь... Издалека
Примчит, когда не ждёшь:
Сияют в гриве облака,
Копыта — частый дождь.
Глаза — как искорки огня,
Да не сробела я:
«Куда ты, конь, помчишь меня?» —
«В минувшие края!»
Десятилетия позади
Мы оставляем вмиг.
Вдруг — свет в окошке... Погляди,
Кто там к стеклу приник?
Мой конь! Лети на зов огня!
Коснись скорей земли!
У рыжей девочки — меня —
Косички расцвели,
И я вхожу в наш старый дом,
Где у окошка — мать.
И так отрадно нам вдвоём,
Светло — не передать!
А мама смотрит на меня.
Я опускаю взгляд...
И отпускаю я коня,
Я не хочу — назад!

* * *

О какой же ты мыслишь судьбе? —
В поле ветер свободный несётся,
Ты спроси: обогрет ли он солнцем? —
Ты у ветра спроси о себе.

А ещё ты спроси у реки,
У высокой ветлы над обрывом:
Её дни коротки и горьки,
Её ночи — тумана разливы.

Вот об этом и песню пропой
Робким голосом и неумелым:
Хорошо ведь на свете на белом
Тебе с ветром, ветлой и рекой?

* * *

Удалые мои, вороные, —
Бог иль чёрт вас на землю послал.
Улетели копыта шальные
За далёкий глухой перевал.

Улетели... А что мне осталось? —
Не спеша обихаживать дом? —
Потому лишь, что я испугалась
Пасть на землю горящим лицом,

Быть смешной постороннему глазу...
Пред своею звездой не права,
Неужель не видала ни разу,
Как к земле припадает трава?

* * *

Зимние сумерки скоры да зыбки,
Гаснет на вербе пуховая нить.
Бабушка Анна глядит без улыбки:
«Зять-то уехал... домишко сносить...

Неперспективная наша деревня,
Да обветшал уже дедовский кров,
Будут стоять вдоль дороги деревья...
Как же деревья — одни, без дворов?

Воду не буду носить из колодца —
С ванной квартиру даёт исполком...»
Бабушка! Как тебе нынче живётся
В великолепье твоём городском?

Бабушке Анне видится снова,
Только падёт с темнотой забытьё:
Дальнее детство... Деревня Петрово...
Старый колодец... Собака её...

В землю сошедших подружек улыбки,
Тот, кого даже теперь не забыть...
Зимние сумерки, скоры да зыбки,
Гасят на вербе пуховую нить...

* * *

Вспоминаю далёкое детство:
Маму, бабу и солнечный плёс.
Мне от бабки Натальи в наследство
Рыжина беспокойных волос.

Бабка книги в руках не держала —
Чтила жизни старинной уклад:
Под снопами на поле рожала
Голосистых здоровых ребят.

Две войны её яркие шали
Страшной вестью спалили дотла...
Восемь деток — росли-подрастали,
Девять деток земля приняла.

Упокоилось брненное тело,
Завершило земные дела.
В моём доме свеча не горела,
Что покойница-бабка зажгла.

Не горела... И что за причина —
Оправдания канули в ночь...
Вот ращу я единого сына,
Нерождённой оставила дочь.

Бабка, бабушка... думаю снова
Про твоё житиё-бытиё.
А моё долгожданное слово —
Не из песни ли дальней её?

* * *

Какое огромное счастье —
Весенней капли трезвон!
Трамваи как мальчики мчатся
По лужам, пугая ворон.

Под вечер, уставши немного,
С грустинкою в лужах-глазах
Сутулая грезит дорога
О солнечных жёлтых цветках.

Я лучшей подруги не знаю.
Дорога! Пусть годы летят —
Давай мы с тобою, родная,
Обнявшись, пойдём на закат.

Какое огромное счастье —
Ручья говорливая нить.
Какое огромное счастье —
Есть повод тебе позвонить!

* * *

Я квартиру тесную покину
И уйду одна бродить в поля.
На какую на беду-кручину
Увидала в небе журавля.

Вот он, вот он, — полетел иль снится,
Вон он, вон он, — скрылся в облаках.
И такой постылою синица
Показалась у меня в руках.

Я синицу выпущу на волю,
А она, несчастная, за мной.
Ой ты, горе, поле моё, поле,
Да над полем сумрак неземной.

Улетай же, бедная синица, —
Мне с тобою белый свет не мил.
Мне на свете радость — лишь приснится
Взмах его широких сильных крыл.

Что подруги, что мои родные,
Что мне разом опустевший дом...
Только сосны видели немые,
Как рвалась душа за журавлём!



Михаил Викторович Мещеряков родился в 1963 году в Коломне. Окончил Рязанский медицинский институт. Работает врачом. Стихи пишет с юношеских лет. Посещал занятия литературного объединения «Рязания». Печатался в областных и районных газетах. Победитель городских поэтических конкурсов.

Постоянный автор «Коломенского альманаха». Выпустил две книги стихов — «Пустынное бесшумье» и «Тысячелистник», тепло встреченные коломенским читателем.

Некоторые стихи, переложенные на музыку и исполняемые автором, перешли в жанр авторской песни.

Я – ТОТ, И УЖЕ НЕ ВАШ...

Тысячелистник

Я ветвь меньшая от ствола России...

Арсений Гарковский

**Монгольский конь тебя топтал,
жгли печенег до Поволжья,
а ты из-под земли восстал,
тысячелетний путь продолжил.**

**Сильнее, чем тевтонский меч,
древнее Рюриковой славы,
святая праведница Речь,
ты — корневая часть державы.**

**Твоими соками жила
неистребляемая сила,
что посох Нестора вела
и пушкинским пером водила.**

**За эти кроны и стволы,
вцепившиеся в землю прочно,
тысячелетний сон травы
лежал невидимую почвой.**

Из тех сказаний вековых
произросли стихов колосья,
и разнотравий луговых
мне слышится многоголосье.

Средь расцветающих полей,
тысячелистник запоздалый,
на каждой веточке твоей
я — листик малый.

Не из таких ли самых строк
возник язык многоголосый?
На каждый тысячный листок —
цветок белёсый.

Синий мир

О Боже, волнения слёзы
Мешают мне видеть тебя.

Б.Пастернак

Боже, откуда вы только взялись!
Глаз не вмещает всей этой сини
неба

и прущей из-под земли
сини подснежников
с новой силой.

Лучше входил бы Ты
в душу мою
медленно,
вкрадчиво и постепенно.

Я посредине мира стою,
маленький
гражданин Вселенной.

Боже, не дай же нам столько любви,
сколько во всём этом зелени, сини.

Так для чего же мы
муки Твои,
как свои собственные,
сносили?

Синь надо мною
и синь подо мной,
даже во мне,
как глаза я закрою.

От суеты и от грязи земной
лечишь и лечишь меня синевою.

Боже, глаза не умеют принять
Всей красоты Твоей.
Мыслимо ль, Боже,
всю красоту неземную объять,
если земную вместить невозможно?

Всё по Тебе мои думы скорбят,
Все Твои муки я чувствую кожей.
Боже,
зачем же мне столько Тебя,
Я не вмещу Тебя,
мыслимо ль, Боже?

Сини небесной пошли мне глоток,
Взгляд устремляется выше и выше.
Капают слёзы на синий цветок.
Господи, тише.
Господи, тише.

Он

Не раз грохочущая смерть
к его воротам подступалась.
И уходила. И сдавалась.
И разбивала плеть о твердь.

Не раз в священную грозу
она пустить пыталась стрелы,
но наводили ужас стены
зияньем чёрных амбразур.

Но вот ворот тяжёлый стон
цепных ворон на сучья поднял,
и безоружный, весь в исподнем,
мишенью белой вышел Он.

Казалось, перед остриём
её безжалостных орудий
теперь Он беззащитен будет
в нелепом панцире своём.

Он не боится ничего,
себя под стрелы подставляя.
И колет Смерть, не задевая
ни дух его, ни плоть его.

Пешком

Был путь до белого листа чуть холоден и зыбок
и проходил через места коломенских Подлипок.
Машина маялась движком (не держит обороты),
обзаводиться стал брюшком...
Я полюбил ходить пешком от дома до работы.

Как даль прозрачна и чиста, в любое время суток
коломенские купола всего видней отсюда —
чуть-чуть пониже облаков. С холодным ветром в поле
доносит звон колоколов с высоких колоколен.

Который колокол звенит? Откуда звон летящий
легко возносится в зенит, то медленней, то чаще?
Что предвещает? Что таит в ушедшем, настоящем?
И что так в воздухе стоит прозрачно и звеняще?

Кто б ощущал его без нас? Кто б плакал, в слух вбирая
всю эту музыку? Весна подобралась, играя,
к прогнившим тазикам без дна, к сосулям на сараях.

«Прекрасен замысел, — шепчу, — прекрасен, чист и светел».
Я всеми органами чувств люблю весенний ветер.

Ещё нет запаха цветов по закоулкам дачным,
но тянет дымом из садов печным, а не табачным.
Ещё не сделались ручьи шумящи и звенящи,
но высыпались воробьи из придорожной чащи.

Ведь с точки зренья воробья мир так устроен, чтобы
вся утренняя толчея, кондуктор и автобус,
чтоб всё заканчивалось вдруг — случайно, без причины —
пригоршней семечек из рук похмельного мужчины.

Разглядывая их в окно, я вспоминал, как срочно
и я записывал в блокнот просыпанные строчки.
Послушай, воробей, скажи — иль мне ответ оставишь? —
что нужно заплатить за жизнь за горсти букв и клавиш?

За голос, жёсткий и живой, за сердца тонкий лепет?
Иль просто чувствовать его благословенный трепет?
Ходить по улице, смеясь, в сплошном весеннем царстве,
рукою трогать вязов вязь, понять, что есть живая связь,
и помнить: благодарствуй...

Сказ о корабле Коломне

Р.С.

Мастер бороду корябал
и смущённо замечал,
что Коломна, как корабль,
покидает свой причал.

Замыслом своим доволен;
вот из глубины веков
встали мачты колоколен
с парусами облаков.

Годы-волны, море-время,
рядом — вечности простор.
Капитанский мостик — кремль,
Капитан его — Собор.

Капитан обходит рифы,
тонко чувствуя штурвал.
Летописец пишет мифы,
заполняет бортжурнал.

Может, это труд Сизифов
лишь глухих архивов для?
Иль по этим самым мифам
путь узнают корабля?

В кубрике грохочет утварь;
задевает за кусты
и скрипит Старо-Голутвин —
левым бортом — монастырь.

Вот картина о Коломне:
чайка за кормой парит,
Протопоповской часовни
на носу фонарь горит.

* * *

...и жизнь, которая о смерти
задумываться не спешит,
пока стоит на самой тверди —
не видит волосок души.

Ещё мы празднуем, пируем,
до времени не взявши в толк,
что каждый миг — он нам *даруем*
и взят у будущего в долг.

**А наши тоненькие души
взирают, будто бы в гостях,
на эти страшные пирушки
у будущего на костях.**

Незаконченное

**Когда-нибудь нас не будет,
мы просто выйдем из дома,
из жизни, из чьих-то судеб,
из всех адресов знакомых.**

**Заполнятся наши ниши
и время залижет ранку.
Фамилию мою в книжке
редактор возьмёт в рамку.**

**Хоть рукопись того праха
печатать уже не срочно,
но женщина будет плакать,
вчитываясь в строчки.**

**И в этой листве бумажной
я — тот, и уже не ваш, но...
Но это уже не важно.
Всё это совсем не важно...**

**Так мы, поднимаясь в гору,
имея в запасе мощность,
не всю развиваем скорость.
Оставим ещё возможность.**

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Сегодня Михаилу Мещерякову — 45! Дата особенная и важная: ведь в поэтической летописи Коломны этот мастер занимает не последнее место. Он отличается замечательной тонкостью письма. Так старинные художники накладывали на полотно слой за слоем — и эти тончайшие краски в итоге рождали удивительную живость и глубину.

Читаешь его строки — и будто слышишь хруст снега, ощущаешь запах осеннего леса, уют старых домов, человеческое тепло... Как добиться этого поразительного эффекта, когда зачарованное в строке мгновение повторяется вновь и вновь, словно в драгоценной миниатюре? Да очень просто! Надо быть волшебником — таким, как Михаил Мещеряков.

Золотая книга коломенской поэзии украшена его строками. И мы знаем: ещё не раз эти страницы озарятся самоцветными просверками стихов!



Редколлегия



Ли́дия Миха́йловна Пышкина родилась и живёт в Коломне. Училась в специальной школе-интернате. Работала радиомонтажницей на учебно-производственном предприятии Всероссийского общества слепых.

Печаталась в журналах «Наша жизнь», «Советский школьник», в сборниках «Второе зрение», «Живой огонь», в «Коломенском альманахе».

Автор трёх книг стихов: «Черёмуховый омут» (1996), «Медное колечко» (1998), «Простите все, любившие меня» (2007).

ИДУ ПО ЯНВАРЮ...

* * *

Перемыть бы мне в избе полы,
Да с песочком, да со свежим лыком,
Но стоит кругом одна полынь
Серовато-пыльной горемыкой

И горчит, мучительно горчит.
Я в раздолье этом задыхаюсь
И сама себе в глухой ночи
Потихоньку безутешно каюсь,

Что жар-птицу я не догнала,
Что душа металась и болела,
Как земля дождя, любви ждала,
Но не так любила и жалела.

Но зато мне вышло по судьбе
Крест нести, покуда хватит силы,
Верить добрым людям, как себе,
И делить все горести России.

* * *

В глухомани зима занеможела,
Разбесилась лихая пурга.
И сосна, застонав растревоженно,
Мечет длинные иглы в снега.

Всё ей чудится, всё вспоминается
В этом вое, и свисте, и мгле,
Как навстречу заре поднимается
Юный ствол в золотистой смоле.

Как она, неподвластная осени,
У печальных лесов на виду
Под раздольем простуженной проседи
До рассвета качает звезду.

А теперь под скрипучею старостью
Гнёт всё ниже вершину свою.
Только ветви вдруг вскинула яростно:
«Я ещё этот год постою!»

* * *

Ветер гнёт черёмуху над омутом,
Над глубокой тёмною водой,
И духмяный цвет, как снег нетронутый,
Чистотой сияет молодой.

Он дурманит сладковатой горечью
Эту ночь и юную луну,
Лепестков прозрачное узорочье
Сыплет ветер с веток в глубину.

И совсем не боязно у омота,
Если ночь до боли хороша.
Отцветает старая черёмуха,
Как моя мятежная душа.

* * *

В окно глядится зимняя звезда,
И до весны совсем ещё далече.
А время утекает в никуда,
Бесплодное, как наши встречи.

Моей вины постылые глаза
Полны печалью наших одиночеств,

А мне, как прежде, нечего сказать
И этой самой длинной ночью.

Окно мне, что ли, наглухо забить,
Как сердце я своё давно забила?
Прости, что не сумела полюбить,
Прости, что всё-таки любила.

* * *

Пожить бы в тихом домике с камином...
Но мне в бетонной клетке вековать.
А дождь умыл цветущий куст жасмина,
Опять пора июню ликовать.

А дождь умыл цветущий куст жасмина,
И чистой синью пахнет высота,
И девушка, смеясь, проходит мимо
Дурманно-белоснежного куста.

В моей бетонной клетке нет камина.
А ночи там, за городом, тихи...
И дождь умыл цветущий куст жасмина,
И, словно капли, падают стихи.

* * *

Он был один на этом белом свете
(Вот разве что собаку приютил).
И в праздники и в будни незаметен,
Молчал, работал, потихоньку пил.

Его друзей по свету разметало.
В войну погибли дети и жена.
Одну медаль из светлого металла
За всё ему отчислила страна.

Его вчера больница хоронила.
Никто не плакал, не салютовал,
Одна собака жалобно скулила.
Сосед медаль на рынке продавал.

В Победный День на память не скупитесь,
В молитве скорбной вспомните его.
Да вот ещё: собаку приютите,
А больше и не надо ничего.

Благовест

Вон вороньё над волоком —
Не счесть, не счесть.
Звонит, глаголет колокол
Лихую весть.

Какие нынче воины
В Руси, в Руси?
Поганым зельем споены,
Лежат в грязи.

Но встали вьюги чистые,
Да с Покрова
Опять сама Пречистая
Взяла права.

Нет воронья над волоком.
Россия — есть!
Звонит, глаголет колокол
Благую весть!

* * *

Моя любовь прозрачна и печальна,
Как зимняя на убыли луна,
И свет её, мелькающий случайно,
Едва ль достанет до речного дна,

До доньшка той самой речки Леты,
В которой спит забвение веков,
И падают неслышно капли света
В пространство меж пустынных берегов.

Моя любовь — забытая дорога,
Та, по которой не вернуться вспять:
Нет у неё ни доли, ни порога...
И потому мне нечего сказать.

* * *

Отсчитала мне годы жизнь,
Словно горсть медяков в ладонь.
Хочешь, вовсе не дорожи,
Хочешь, вовсе не трать, не тронь.

Не скупясь я жила-была,
Не щадила своей души.
Вот и осень моя пришла,
Пересчитывая гроши.

Омывает дождём рассвет,
И, последней деньгой звеня,
Скупит осень зелёный цвет
Без меня уже, без меня.



Валерий Константинович Капралов родился в 1937 году в Коломне (посёлок Бочманово), окончил Московский горный институт, работал геодезистом, геологом на изысканиях в Сибири, на Урале, в Поволжье, в Подмоскowie. Кандидат технических наук, автор 90 печатных научных работ. Один из авторов «Российской угольной энциклопедии» (2004).

Член Союза писателей СССР и России с 1988 года. Автор книг стихов: «Забывтая дорога вдаль» (1982), «Крик тишины» (1993), «Камень с души» (1992), «Спускается ангел» (2001). Пишет прозу. Постоянный автор «Коломенского альманаха».

Живёт в Москве.

ВЫСОКОЕ ЗРЕНИЕ

* * *

Проходя по лугам,
где цикорий цветёт,
где отметиной алой
гвоздика застыла,
зов уловишь в себе,
зов полей и болот,
зов лугов и лесов...

Всколыхнёшься — а было...

Мы давно позабыли названия трав,
из деревьев мы знаем берёзы и сосны,
из цветов — васильки и ромашки.

Смешав
свет и тьму,
перепутали осени-вёсны.

Потому, безразличье в себе затая,
покупаем бумажный цветок
вместо счастья.

Сердцу больно,
когда сквозь тебя и меня
прорастает из трав
позабытая чаща.

* * *

От близости болота и осин
 в том доме было сыро, пахло клеем.
 Я оставался вечером один —
 но и теперь об этом не жалею.
 Какая одиночеству отметка?
 Глубокой ночью, рассекая мглу,
 царапала по мягкому стеклу
 протянутая непогодой ветка.
 И в одночасье думалось о том,
 что жизнь другая лучше и терпимей.
 Но отчего мне всех необходимей
 был этот дом в Царицыне пустом?

Жизнь что-то перепутала,
 смешала
 бензин с огнём,
 а дело — с плутовством,
 а смелость — с хамством...
 Много или мало —
 Нам жить по совести.
 Такие, брат, дела.
 И совесть вдруг по-детски
 закричала,
 когда своё жилище не нашла.

* * *

Отдали деда в интернат —
 продали дом и старый сад.
 Стал внук
 как будто бы богат —
 подарки носит средь недели.
 А дед и сам, пожалуй, рад,
 себя не чуя в лёгком теле.
 Его душа на самом деле
 давно вернулась в старый сад.

* * *

Всё прошло наяву иль во сне.
 А теперь это видно воочию:
 время тает, как утренний снег,
 на горячих следах многоточия...
 И тогда, растекаясь, вода
 покрывает такие пространства,
 где сомкнулись любовь и беда,
 где измена и постоянство.

Но весь мир не оценишь чутьём,
 не охватишь глазами и словом.
 Для чего мы на свете живём?
 Вот и видим в стремлении новом,
 как во всём оправдается свет,
 жар-цветком освещаая потёмки,
 чтоб сказали прямые потомки:
 «В этом мире страдания нет».



Надежда Васильевна Щетинина родилась в Коломне, в семье преподавателей Коломенского педагогического института. В 1981 году окончила психологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. Работала в Москве.

Стихи и прозаические произведения опубликованы в «Дне поэзии», сборнике «Истоки», в нескольких выпусках альманаха «Поэзия». Лауреат литературного конкурса Творческого объединения медицинских работников за 2000 год. В столице вышли два стихотворных сборника. Трагически погибла 22 января 2007 года.

ОТ СЛОВА ДО СЛОВА

* * *

Ты играй, моя свирель,
выводи за трелью трель,
чтобы сплавить, чтобы свить
звук в серебряную нить.

Чтобы нить была тонка,
точно пряжа паука;
чтобы стало звук легко
вдеть в игольное ушко.

Ты играй, чтоб удалось
тишину пронзить насквозь
и на ней средь диких гор
вышить сказочный узор:

будет море серебра,
будет жизнь моя щедра,
расцветут сады вокруг,
станет песней каждый звук...

Ты играй, моя свирель,
как зелёный вьётся хмель,
как скользит над морем крыш
в вышине по небу стриж.

Ты играй, чтоб удалось
через жизнь пройти насквозь,
как проходит ясный луч
сквозь покров угрюмых туч.

* * *

Отчего мне так тревожно?
Почему? —

Не пойму...

Отвечаю односложно
в пустоту,
никому.

Отчего кричали птицы
у меня

под окном?

Отчего влажны ресницы?
Нет, потом.

Всё потом...

Милый, бедный мой, далёкий,
как тебе помочь?

...Я на синем самолёте
улетаю в ночь...

Улетаю, умираю,
ты прости-прощай.

Я тебя совсем не знаю...
...Баю-бай...

Сторож

Мне всю ночь сидеть в сторожке,
охранять пустой завод...

По дорожке ходят кошки
и собаки круглый год.

Это всё мои владенья,
древний замок родовой.
Я сама в нём привиденье
и хранитель-ангел свой.

Не встречаю здесь врага я,
но, наслушавшись бабушь,
я сама себя пугаю
и сама себя боюсь...

Свет зажгу и выпью чаю,
и скучаю до зари...
Но исправно выключаю
на рассвете фонари.

Иногда в ночи бессонной
невзначай схожу с ума,
и тогда по телефону
я звоню себе сама...

* * *

Былой любви расколото
волшебное стекло.
Его осколков золото
сквозь пальцы утекло.

Как дом необитаемый,
в котором нет огня,
звезда моя, мечта моя
оставила меня.

Пройду сквозь стужу лютую,
неся печаль свою,
снегами боль укутаю,
метелью обовью.

Не убережешь от холода
души моей тепло,
когда любви расколото
волшебное стекло.

* * *

...Иди. Дорога далека.
Я буду ждать тебя века...

Когда сойдётся клином свет,
когда надежды больше нет,
когда проигран вечный бой —
мы снова встретимся с тобой.

И хоть идём из разных мест
и каждый сам несёт свой крест —
ты помяни мои слова:
я буду ждать, пока жива.

* * *

Жизнь сочтется по капельке кровью из жил,
отливающих блеском металла...
Ты родиться на тысячу лет поспешил,
я — на тысячу лет опоздала.

Мы не можем, вращаясь в едином кругу,
утолить нашу вечную жажду.
Оттого я любить никого не могу,
да и ты не любил ни однажды.

Жизнь уходит по капельке кровью из жил.
Нет любви ни конца, ни начала...
Ты родиться на тысячу лет поспешил,
я — на тысячу лет опоздала.

* * *

...И если сердце, разрываясь,
Без лекаря снимает швы, —
Знай, что от сердца — голова есть,
И есть топор — от головы...

М. Цветаева

Опускать не желала забрала,
будто шла не на крест, а во храм,
и объятья свои раскрывала
всем просторам и всем ветрам,

билась, звенья цепей разрывая,
путь слепцам освещала во мгле, —
но была она слишком живая,
чтобы выжить на этой земле.

* * *

Чужая, чужая...
Всю жизнь уезжаю,
всю жизнь покупаю куда-то билеты.
А где-то, а где-то
не ждут меня вовсе,
на улице осень
и окна без света...

На улице осень, на улице поздно.
Глухими разъездами мёрзнет мой поезд.
И пусть здесь так боязно ночью беззвёздной —
гораздо важнее мне где-то НЕ БЫТЬ...

* * *

Вот оно, долгожданное море!
На песок набегает волна,
оставляя на пенном узоре
неземные свои письма.

А за ней уже плещет другая,
всё стирает и пишет опять...
И века, на века набегая,
шелестят. И никак не унять,

не забыть, не оставить в покое,
не вобрать в свою душу их бег...
Что же это за диво такое?
И зачем ему ты, человек?

* * *

...Всю жизнь я надежду лелею,
что где-то на самом краю,
быть может, Господь пожалеет
бездомную душу мою.

Быть может, на краешке бездны
Я веру и смысл обрету...
Пожалуйста, будьте любезны,
скажите, куда я иду?..

* * *

Моим стихам со мной морока,
им нет покоя день и ночь:
любое лыко ставлю в строку,
чтобы молчанье превозмочь.

Но, как назло, молчанье длится,
хотя кругом — народ стеной.
Порой друзей мелькают лица,
да только где-то не со мной.

Я знаю, им со мной не сладко.
На мне терпения броня.
И лишь стихов моих тетрадка
готова выслушать меня.

* * *

Жду солнца в непогоду,
а в радости — беду.
В плену ищу свободу,
на воле рабства жду.
Прошу тепла и хлеба
в холодной серой мгле
и вижу только небо,
скитаясь по земле.

* * *

Пойду куда глаза глядят...
А встанет тьма стеной —
тогда на ощупь, наугад
пойду во тьме ночной.

Пусть на пути моём метель
засыплет чей-то след —
пойду за тридевять земель,
куда дороги нет.

Когда же вся истлеет плоть,
и я паду без сил —
не может быть, чтобы Господь
меня не воскресил!

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Здравствуйтесь, уважаемая редколлегия
«Коломенского альманаха»!

С огромным восторгом открыл для себя ваш альманах и стихи Олега Кочеткова в «Коломенском книгочее». Читал и перечитывал. Для меня было несколько неожиданно и приятно узнать, что в Коломне литературная, в том числе поэтическая жизнь получила дальнейшее и интересное развитие, и это в наше время тотального бизнеса. Очень рад, что в городе, с которым и я связан достаточно большим отрезком моей жизни, думают не только о рубле, но и о Рублёве.

Высылаю вам книжку своих стихов «Своё прошедшее любя» с просьбой: если представится такая возможность, передайте её от меня Олегу Кочеткову в знак благодарности за его стихи, за его выстраданную любовь к Родине.

С дружеским приветом

*Вальдемар Ванке
г. Штуттгарт*



Константин Валерьевич Лемент родился в 1986 году в Санкт-Петербурге. Стихи начал писать с детства. Неоднократно печатался в коломенских и московских газетах. Лауреат областного поэтического конкурса «Алмазный голубь — 2005».

Студент филологического факультета Коломенского государственного педагогического института. Занимается переводами англоязычных поэтов. Пишет тексты для коломенских и московских музыкальных коллективов. Живёт в Коломне.

НИЧТО НЕ СТАНЕТ ОТКРОВЕНЬЕМ

Вечерняя прогулка

Творят миры в белеющих домах,
Костры полны сухой душой тумана.
И всё горит, но прежде всех — закат.
И городская живопись спонтанна.

Я вышел в сумрак. В город. Подышать.
Ещё не знал, какую выбрать жажду.
Хотелось сердце догола раздеть, разжать,
Хотелось жить — единожды, однажды.

Я семенил чуть медленней, чем дождь,
И воскрешал в неистовой прогулке
Начало жизни, светом залитой,
Ещё не отданной: парящей, беглой, юркой.

Я ощущал. Толпились имена
Прекрасных дев (чарующа их заводь).
Все гимны юности, разогнанной до дна,
Напоминала полушёпотом мне память.

К кому теперь, куда теперь идти?
Есть два пути отчаянно-неверных:
Пойти домой или пойти в таверну,
В обоих случаях — с собою взаперти...

Последний воск для чистого огня —
Твоя любовь, бесчувственно-святая...

Иду домой в бездействии тумана:
там ты оставила
надежду
для меня.

* * *

1

Ничто не станет откровеньем.
Смакует ночь прилив дождя,
И я купаюсь в звёздной пене
На каменистых площадях.

В остановившихся трамваях —
Окон квадратные костры...
На мир несдержаннозираю
С тоской ценителя в кости.

2

Так дорог миг, когда невинных —
Не то чтоб вечных, но своих —
Зенитных строк сквозная сила
Приходит на душу гостить.

Ты ей не рад: ты, человеке,
Ты меньше мысли о добре,
Ты всех провинций духа меньше!..

А мир прекрасен на заре:
Кипящим маслом — побережья,
Нева, соборы, рыбаки...

Но остаётся всё, как прежде,
Живому слову вопреки.

Осенняя сепия

Мы, сдвинув стулья, притаились у окна.
Рука в руке; волос кокосовых копна
Моё плечо задела нехотя. Мы таем...
Октябрь стонет за стеклом, необитаем...
Скользят оттенки влажных туч по двум листам,

Что загибают уголки свои в истоме,
Слегка бумажной; и в тоске бредут по дому
Сухие призраки без глаз — таков пошив.
Они всё помнят: страсти двух, ещё живых,
Смотрящих пристально в октябрь подоконный...

Крошит по-старчески листву усталый дуб...
Все молодые деревца сопят в дыму...
Ещё не венчаны, создания в окне
Друг другу нежности бормочут в тишине...
И чуть шевелятся от мыслей пальцы рук...

Прольются слёзы... Без желаний прежних лет
Они под действием любви — прощальный блеф —
Пошлют друг другу вместо писем — телеграммы...
И осень с нежностью прокисшей, старой мамы,
Как эпитафию, споёт эпитахаму...

Нимфа

Я — в травах, спалённых огнём,
Я — в солнце, пекущем бока.
Я — нимфа, бесполоая днём,
Но ночью погрязну в грехах.

Мне имени леший не дал.
Мне платья не сшила весна.
Я — верного мужа беда,
Когда подойдёт ко мне сам,

Прекраснее птицы любой,
Заманчивей леса в лучах,
Распушенный с детства бутон,
Любовью полнее всех чаш.

Нарушил мой сон поутру...
Не ищешь меня меж ветвей...
Безумец! Для тех, кто угрюм,
Я всякой находки нужней!

Да, я скоро уйду...

Да, я скоро уйду: надоело валяться на дне.
Оставляю тебе наше жидкое, слизкое небо...
Ты прислушайся: как безотрадно колышется хрупкая верба...
Если ей одиноко, как нам, — значит, это к весне...

Эти улицы... Кто попадёт, тот назавтра — поэт.
Тот печаль свою скроет в портвейне от глаз постояльцев...
Ах, как мёрзнут на зимнем ветру твои тонкие пальцы!
В пору их целовать на ветру, но, наверно, не мне...

ХРОНИКА



Обретённый образ

В конце января нынешнего года православных Коломны постигло большое несчастье. Из храма Святого Духа в селе Шкинъ был похищен чтимый образ Серафима Саровского. Эта икона была спрятана верующими и оказалась единственной уцелевшей из бывшего богатого убранства здешней церкви. Её чудесным обретением, по указанию самого преп. Серафима, началось в 1991 году возрождение шкинъской православной общины и восстановление храма. Образ пользовался большим почитанием коломенцев, ему приезжали поклониться паломники из соседних благочиний.

И вот народная святыня украдена... Сотни православных горячо молились о возвращении реликвии. И свершилось: коломенские следователи раскрыли разветвлённую преступную группу, на совести которой немало святотатств. Икону вернули верующим, и уже 22 марта перед ней служили молебен.

Благодарим всех, кто спас это достояние нашей духовности и культуры. Мы смотрим на икону Преподобного и точно вновь слышим из уст его: «Здравствуй, радость моя! Христос воскрес!».



Анна Владимировна Лексина родилась в Москве.

С ранних лет воспринимала поэзию подмосковной природы в деревне Бакунино Коломенского района.

Окончила Коломенский педагогический институт, исторический факультет, поступила в аспирантуру при кафедре литературы КГПИ и защитила кандидатскую диссертацию под руководством профессора кафедры литературы А.П. Ауэра.

Печаталась в газетах «Коломенская правда», «Наши вести».

ЭКСКУРСИЯ В ЛЕТУ

Историософия судьбы

Велика Россия и красива.
И конечно. Как это ни жаль.
Жаль, нельзя уйти от негатива,
Завернувшись в бабушкину шаль.
Мы зовём друзьями первых встречных,
А друзья нам — лишь одна родня —
На стремнинах Ганга быстротечных,
В Сербии, среди взрывов и огня.
Нам твердят: «Вы племя молодое,
Вам цивилизация нужна!»
Те, кто промышлял века разбоем,
У кого в крови всегда война.
«Drang nach Osten!» — пляшет по Европе
Вечноисторический фокстрот.
Этого не видят те, кто в ШОРе
Жизнь свою проводит без забот.
И зачем им думать о России,
О судьбе своей родной страны,
Если в Ницце устрицы красивой,
А в Париже лучшие штаны?

* * *

Мои яблоки в ваши корзины
Соберут пожилые грузины.
Продадут на армянском подворье.
Прогуляют барыш в Лукоморье.

Ваши звёзды в мои колесницы
Запрягает небесный возница.
Полетим на концерт олимпийский.
Ваш билетик, оракул Дельфийский?

* * *

У колодца сердце бьётся
И болит от перемен.
А в оконце светит солнце —
Солнце будущих измен.

Не измен, но — изменений.
Слышишь пульс реки Вре́мён?
Мне не нужно утешений.
Это — сон.

В поход!

В этот день, непохожий на день,
Лай собаки казался сигналом.
Шёл по улице маленький пень
И себя ощущал генералом.
Удивительно плыть в январе
На разведку, за призрачным снегом.

А пушистое солнце — в норе.
Снаряжает к походу телегу.
Перед выходом сонной травы
Сухостой на дорожку крестился.
А мороз-неприятель грозился —
Не сносить завтра её головы.

* * *

В жёлтом небе сумрак голубой.
Ветер покружил и — надоело.
У реки рукав совсем другой,
Берега бранятся то и дело.
Клёны вызывают всех на бой,
Щедро в нос швыряются перчаткой.

А берёзы трепетной гурьбой
Тянутся за облачной лошадкой.
Царственна рябиновая гроздь.
Грезит о невиданном банкете,
На котором гости — клёст и дрозд,
И конечно, — маленькие дети.

* * *

Засеяны поля павлиньими глазами.
Мираж лесных дорог — прекрасный махаон.
На краешке небес, увидите вы сами,
Танцуют бабочки неведомых времён.
Однако путь далёк. И солнце осторожно
Захлопывает свой дорожный саквояж.
В нём радуги, и сны, и всё, что невозможно
Забывать и объяснить. Тем паче сдать в тираж.
Уходит день с земли неслышными шагами,
Оставив нам надежды розовую нить.
А звёзды свысока осыплют нас снегами.
Забоятся, чтоб нам не сгнить.

НАШЕ
НАСЛЕДИЕ





Фото Виктора Смылова



Нина Константиновна Букринская родилась в 1927 году в Зарайске. Окончила естественно-географический факультет Коломенского пединститута, несколько лет отдала учительской работе. С 1959 года — ответственный редактор Зарайского радио.

Член Союза журналистов, член Зарайского исторического общества, автор многочисленных краеведческих исследований и книги «Сенницы. Усадьба и владельцы».

Нина БУКРИНСКАЯ

ЗАБЫТЫЙ ПИСАТЕЛЬ

В 1908 году в газете «Ярославский голос» появилось стихотворение «Забытый погост», подписанное псевдонимом «Александр Рязанский».

Погост заброшенный, унылый
и печальный,
Давно тебя никто не посещал.
Лишь только ветер песню погребальной
В поблекшей зелени уныло завывал.

Могилы заросли давно густой травой,
И камни на холмах покрылись старым
мхом.

Кресты подгнили и поникли над
землёю.

Кто спит под ними непробудным сном?

Купец ли ты, простой ли ты крестьянин,
Весь век провёл нечѣсан, не умыт,
Иль граф, иль князь, иль старый русский
барин?

Не всё ль равно? Ведь ты забыт.

Прислал стихи в ярославскую газету уроженец Рязани Александр Дроздов, ученик пятого класса гимназии. Псевдоним «Рязанский» был вполне оправдан: и сам молодой поэт был жителем Рязани, и отец его, Михаил Алексеевич, был инспектором народных училищ Рязанской губернии, и дедушка его всю жизнь прослужил священником в соседнем с Рязанью селе Алпатьево.

Михаил Алексеевич вспоминал потом, что работы было очень много: в уезде обучалось тринадцать тысяч детей, в школах работало около семисот учителей.

Своим первым опубликованным стихотворением будущий писатель и критик Александр Михайлович Дроздов как бы предугадал свою судьбу. Прошло более ста

десяти лет со дня его рождения, а о нём вряд ли вспоминают. (Речь идёт о «живой», читательской памяти. В энциклопедиях и словарях А.М. Дроздов включён в литературный процесс XX века. См., например: Краткая литературная энциклопедия: В 9 т. М., 1964; Писатели Русского Зарубежья. Лит. энциклопедия. М., 1997; Русская литература XX века. Библиографический словарь: В 3 т. М., 2005.)

Родился Александр Дроздов в 1895 году, учился в Рязанской гимназии, затем в Петроградском университете. Серьёзную литературную жизнь начал с 1914 года. Его стихи и рассказы помещали журналы «Вестник Европы», «Современный мир», «Нива», «Лукоморье» и другие. Знакомство с писателями Борисом Лазаревским, Юрием Слёзкинским, Зинаидой Гиппиус, Дмитрием Мережковским определило его политические мировоззрения тех лет. Революцию он не принял. Выступал в газетах «Речь» и «Вечерние огни» как либеральный публицист националистического толка, видящий в большевизме крушение России. Вместе с редакцией газеты «Вечерние огни» уехал на юг. Здесь командовал белыми генерал Деникин, который создал «Особое совещание Главнокомандующего Добровольческой армией». В отделе пропаганды этой организации и работал Дроздов.

Об этой части своей жизни он так писал в статье «Интеллигенция на Дону»:

«Я приехал на Дон в конце июня 1919 года, как раз в ту пору, богатую надеждами и упоением военной победой, когда генерал Шиллинг подходил к Одессе, генерал Май-Маевский обложил Харьков и едва не взял в плен Троцкого, лично руководившего обороной красной крепости, когда генерал Врангель во главе кубанских частей, под зноем южного солнца, в безводной духоте сальских степей уже бомбардировал красный Царицын.

За моими плечами стоял советский Крым, откуда я только что урвался. Я приплыл из Ялты в Новороссийск на рыбацкой парусной фелюге, нас было человек десять, мореплавателей, и среди них режиссёр государственных театров В.Мейерхольд, который бежал не столько от большевиков, сколько от добровольцев, бесчинствующих в первые дни своего прихода, с той бесшабашной яростью, которая рождается лишь в мутные эпохи гражданских войн.

Мы плыли несколько суток среди нахохлившихся волн с пенистыми гребнями, вынесли два шторма, едва не потопивших нас, от которых энергией бравого боцмана и милостью Нептуновой укрылись в анапскую бухту.

В Новороссийске я расстался с Мейерхольдом, который был опасно болен и очень подавлен духом... Первое впечатление после большевистского карающего кулака, матросов из гнусных комендатур с воспалёнными от кокаина глазами, бессудных расстрелов на ялтинском молу под лупоглазой скорбящей луной, под куполами дремучей Яйлы было отрадно и ласково. Всё горело, всё кипело, на улицах сияли лица женщин, прекрасных и оживлённых, весело бегали в серых шинелишках офицеры, газетчики звонкими медными голосами кричали всё о новых и новых победах над бегущими красными.

Глядели гордо, говорили гордо, как будто Москва, освобождённая от скверны Москва, была рядом, гудела густым сиропом колокольного звона, блистала золотом куполов, дымила фабриками, качала хоругвями крестных ходов»...

Но белые войска были разбиты, и в конце 1919 года Дроздов эмигрировал. Жил в Париже, затем был Берлин.

Заведующий архивом-библиотекой Российского фонда культуры Виктор Леонидов в предисловии к статье Дроздова «Интеллигенция на Дону» написал: «В самом начале 1921 года он оказался в Берлине.

Столица Германии была в то время второй столицей России. Русских здесь собралось такое количество, что ходил анекдот о немце, который повесился, отчаявшись услышать на улице хоть одно слово на родном языке.

Русские издательства, журналы, газеты, общества закрывались, открывались, эмигранты свободно общались с советскими гражданами и даже публиковались с ними в одних и тех же изданиях... Дроздов, лёгкий, общительный, напористый, был тут как рыба в воде. Кроме потока собственных произведений, он успевал ещё и что-то ещё организовывать».

Александр Михайлович работал очень интенсивно. Выпустил книги «Счастье в заплатах», «Подарок Богу», «Тупая борозда». Был руководителем литературного объединения «Веретено», редактором журнала «Сполохи». Ожидалось, что в первом номере журнала будет программная статья редактора, но нет. Лишь на 27-й странице помещена его небольшая работа «Домашние страницы». Но какие в ней мысли и слова! «...Я думаю о душе России, широченно размашистой, как ухарь-купец, кидавший червонцы на стол трактира: ты близка нам в себе неизменно, ржавыми ветрами овеванная, проклявшая и приявшая, ты, душа России.

Как бы ни быть заражённым её кровью, как бы ни хранить в себе её улыбку и слёзы — всё же наши подошвы оторваны от её земли, всё же мы изгнанники и нелюбимые гости в чужих домах. Единое, что ощутимо связывает нас с нею и приковывает цепью сладчайшей, — русская культура и русский язык. Ей и ему мы будем служить по мере сил наших, а через них — России».

В журнале печатали свои произведения Алексей Толстой, Сологуб, Бальмонт, Бунин, Андрей Белый, Куприн, Соколов-Микитов, Саша Чёрный, Волошин, Крандиевская, Пильняк. Критики ставили произведения Дроздова в один ряд с работами Алексея Толстого.

В 1922 году обстановка и настроения в редакции изменились. В своей автобиографии Дроздов писал: «...Я сближался с советскими писателями, приехавшими в Берлин, и печатал их произведения в “Сполохах”, что скоро привело к расколу в журнале. Тогда же у меня были две встречи с Горьким под Берлином, во многом повлиявшие на мой дальнейший путь... произошёл решительный разрыв с эмиграцией...». В это же время в одном из писем сестре в Россию читаем: «Живу я плохо, в смятении. И от того смятения не пишу». Как видно из его строк, материальная сторона жизни изменилась. В этом же письме: «У нас светопреставление... Немцы дохнут. Всё закрывается. Жизнь умирает».

В 1923 году Дроздов возвращается на родину, как он пишет сам, «по разрешению ЦИК».

Начался новый этап в его жизни и творчестве. Ещё до эмиграции в Одессе вышел первый сборник его ранних рассказов «Пощёчина». За границей кроме вышеперечисленных работ вышел первый роман «На мосту», сборники рассказов, множество очерков, статей, заметок. А теперь — новая обстановка, новые люди, новая идеология.

На улицах Зарайска в эти годы нередко появлялся худощавый молодой человек, безукоризненно одетый. На продолговатом лице мягко светились внимательные голубые глаза. Александр Михайлович навещал своих родителей, живших в этом городе. Приезжал после командировок, писал. В родной семье дышалось и работалось хорошо. Особенно милы были его сердцу летние дни в старом саду. Здесь было написано немало очерков о земляках-учителях для «Учительской газеты». А первые его поездки были в близлежащие усадьбы великих земляков — в Даровое, где жил когда-то Достоевский, на родину Есенина — в Константиново, в Ясную Поляну к Толстому. После каждой поездки появлялись в газетах очерки-размышления.

Дроздов ездит по стране, наблюдает, осмысливает, пишет. Печатаются и быстро раскупаются повести «Внук коммунара», «Сын палача», «Неуловимый», роман о коллективизации на Кавказе «Кохейлан IV», повесть о тружениках промышленности «Зима на Тихоне», сборники рассказов. Талантливый человек, он точно отражает современную действительность и недалёкое революционное прошлое. Его книги — этапы истории России, и написаны они живым, сочным, своеобразным языком.

Через полвека после его возвращения в Россию мне пришлось лечиться в санатории имени Анджиевского в Ессентуках. В местном кино-театре как-то смотрела фильм «Офицеры». С экрана артист пел: «От героев былых времён не осталось порой имён...» А я думала об удивительной справедливости этих слов в данный момент, потому что никто не мог рассказать мне о том человеке, чьё имя носит здравница. Лишь через много лет мне попала в руки книга повестей Дроздова, среди которых оказалась и повесть «Анджиевский». Это был очень молодой председатель Пятигорского исполкома, который брал власть в городе, защищал здравницу от войск Шкуро, твёрдо верил, что трудящемуся народу нет иного пути к человеческой жизни, кроме свержения буржуазии, страстно желал, чтобы красоты и целебные воды Кавказа были доступны всем народам страны. Погиб он в борьбе за осуществление своей идеи в двадцать четыре года. Жизнь его промелькнула яркой звездой на зоревом небосклоне тех лет, а писатель Александр Дроздов не дал ей погаснуть, исчезнуть из нашей памяти; ярко воссоздана и атмосфера того времени.

В 1934 году Дроздов вступает в Союз писателей. Работал в журнале «Дружба народов». Во время Великой Отечественной войны заведовал редакцией журнала «Новый мир». Когда главным редактором становится Константин Симонов, Дроздов заведует отделом прозы, ведёт семинар прозы в Литературном институте имени Горького, заведует отделом национальной литературы в «Литературной газете». У него учились студенты, ставшие потом известными писателями, — Солоухин, Тендряков и другие.

С 1950 года — в составе редколлегии журнала «Октябрь», работает под руководством Фёдора Панфёрова.

За годы работы в «толстых» журналах через руки Дроздова прошло множество крупных произведений. В их числе редактировались и рецензировались книги Галины Николаевой «Битва в пути», Ардаматского «Они живут на земле», Сергеева-Ценского «Утренний взрыв», Борзенко «Какой простор», Чаковского «Год жизни», Закруткина «Сотворение мира», произведения Паустовского, Шарафа Рашидова и многих других.



Александр Дроздов (в профиль, сидит справа), Нина Глазунова (стоит рядом с А.Дроздовым), Илья Глазунов (в центре), Сергей Михалков (стоит), Эдуардо де Филиппо (сидит за столом). 50-е годы

Племянница Дроздова Ирина Анатольевна Терская-Дудовская вспоминает о нём: «Я жила в Ялте, в доме творчества писателей, где в то время там были Трифонов, Викулов, Казакевич. Дядя редактировал “Золотую розу” Паустовского, который отдыхал и работал там. А в Ленинграде я была свидетельницей того, как он редактировал роман Д.Гранина “После свадьбы”. Одна чужая рукопись сменяла другую, а он работал, правил, ездил на редколлегии журнала, пытался выгородить время и для своих сочинений. Круг общения с ним очень широк. Сохранились совместные фотографии, на которых рядом с дядей — Ольга Форш, Сергей Михалков, Сергей Борзенко, Эдуардо Филиппо, художник Илья Глазунов и его жена Нина. В семье хранятся несколько портретов Александра Михайловича, выполненных Глазуновым».

Теперь мало кто знает о писателе Дроздове. А между тем в библиографическом указателе «Русские писатели-прозаики» (М.: Книга, 1971) есть такие строки: «Широкое признание литературной общественности получила работа А.М. Дроздова — редактора, рецензента, литературного критика, организатора и составителя сборников.

А.М. Дроздов был постоянным членом областной комиссии Союза писателей, много внимания уделял переводам произведений литературы народов СССР. Критика высоко оценила мастерство Дроздова — переводчика произведений писателей национальных республик».

Александр Михайлович, тонко чувствующий родное слово и трепетно берегущий богатства нашего языка, очень остро воспринимал пре-

небрежительное отношение к нему. Об этом он писал Фёдору Панфёрову: «Речь идёт о разумной свободе русской речи и о беспощадном деспотизме предписаний и правил нашей казённо-терминологической грамматики. Эту грамматику насаждают в народ не учёные-лингвисты, а составители докладов, циркуляров, резолюций... потеряв чутьё к языку, они миллионами молоточков вколачивают в сознание людей штампы, видя в языке лишь одно назначение — быть орудием общения и отвергая его второе назначение — быть орудием мышления и сердечной жизни.

Против нашей неписаной, но вседействующей грамматики кто может воевать? Писатель... Нужно воевать практикой, в том числе редакционной практикой». Эти слова, написанные полвека тому назад, актуальны и сейчас.

Антонина Коптяева писала о Дроздове, что Панфёров радовался ему как приобретению для работы в редколлегии и говорил о нём: «Такой молодец! Больше всех работает, не считаясь ни со временем, ни со своим слабым здоровьем, молодым авторам очень помогает... Свежая струя в журнале... Умный и очень объективный человек».

В 60-х годах Александр Михайлович вернулся к продолжению романа «В предрассветный час» и одновременно начал роман о советском художнике, в образе которого хотел показать Панфёрова. Для того чтобы работа шла успешнее, он, слабый здоровьем, уехал из жаркой и душной Москвы в Новый Иерусалим. Дело подвигалось быстро, работа шла к концу, когда произошло непоправимое. Ему потребовалось поехать в Москву и остаться там на ночь. И в эту ночь в дачном доме, где он снимал комнату, вспыхнул пожар. Сгорело всё, в том числе и рукописи романов.

После смерти жены — обаятельной умной женщины, писательницы Татаровой — это был второй жестокий удар судьбы, здоровье его пошатнулось.

Умер Александр Михайлович в день своего рождения, 6 ноября 1963 года. В этот день его сестра Евгения Михайловна вошла в кабинет и увидела его сидящим в кресле и уже бездыханным, с недочищенным апельсином в руке и открытой книгой, упавшей на стол.

И в заключение — строки о Дроздове писателя Владимира Лидина: «В своём портфеле, огромном и департаментском, Александр Михайлович Дроздов носил, казалось, не рукописи молодых писателей, а их судьбы.

День за днём и годы за годами сидел он, окутанный дымом папиросы, над этими требующими самоотвержения чужими рукописями, исправлял их своим мелким аккуратным почерком — и сколько вступивших в литературу писателей обязаны именно его точнейшим советам, тонкому вкусу, а главное — страстной влюблённости в литературу.

После себя писатель оставляет не только книги, он оставляет ещё и атмосферу своей души, если ровный её свет помогал и другим найти дорогу. В книге нашей литературы Александру Михайловичу Дроздову принадлежит чистейшая по своему внутреннему содержанию страница».



Александр Михайлович Дроздов родился в 1895 году в Рязани. Детство и юность провёл в Ярославле.

С 1915 года публиковал стихи и рассказы в журналах «Вестник Европы», «Лукоморье», «Современный мир», «Нива», был секретарём редакции «Нового журнала для всех».

Революцию Дроздов не принял. Эмигрировал, жил в Париже и Берлине. Много издавался (романы «Чертополох», «Девственница», «Антонов огонь», «На второй день», повести, рассказы).

В декабре 1923 года вернулся в Москву. Первоначально писал на темы, привезённые из-за границы: о революционном движении в странах Запада и Востока; роман об эмиграции «Лохмотья» (1928). Затем — романы: «Маруся золотые очи» (1928), «Предрассветный сон», ряд повестей.

Умер в Москве в 1963 году.

Александр ДРОЗДОВ

НОЧЬ ПОЗАДИ

ПОВЕСТЬ

I

Отец Ольги, малоземельный кубанский казак, погиб в революцию как-то чудно и неправдоподобно: на станции Поньри, выйдя из вагона раздобыться кипяточком, он у бака столкнулся с чужим пехотным капитаном, пробиравшимся на Дон. Переодетый псаломщиком, капитан испугался казака и уложил его выстрелом в глаз. Земляки доставили на хутор сапоги убитого.

Мать Ольги много лет сохла от кисты, а с тоски по мужу и вовсе стала не человек. Бедняцкое хозяйство легло на плечи Ольги. Девка она была злая, весёлая, жадная, и ей всё мечталось, что она дождётся необыкновенного счастья, о котором по всей Кубани пойдёт слава.

Своё счастье Ольга купила красотой. В ту самую осень, когда в Ростове Корнилов, бежавший от Быхова, собирал офицерскую армию, а по станицам соперничали две власти — Советы и атаманская, к хате Ольги подкатили поездежане. Ольга уже была готова к венцу. Мать взяла в руки образ, до сияния начищенный мелом. Иссохшие руки тряслись. Благословляя, она венчиком иконы оцарапала Ольге щёку.

— У, старая ведьма! — прошипела Ольга, целуя угодника в гречневый лик, ладонью вытерла кровь и побежала к двери, боясь, что подвода уедет, не дождавшись её.

Молодые казаки с белыми повязками на рукавах, уже чересчур выпившие, встретили её песнями и криками. Подобрав юбки, Ольга влезла на подводу и тотчас же охмелела от их песен и спиртного дыхания. Сытые кони пошли, встряхивая бумажными цветами и лентами, вплетёнными в гривы. Тонко зазвенели

бубенчики, навстречу полетел сухой ветер. Дружки орали песни и держали себя так, будто Ольга была из зажиточного дома. «Ой, ведьмаки-сволочи, — восторженно думала она, — я вам не Олька с Гнилого хутора, я вам теперь жена Сметанникова!»

Сам Платон Сметанников, которого она до сих пор видела всего три раза, сейчас представлялся ей не человеком, а неким собранием недвижимостей: каменный дом под железной крышей, обвитый диким виноградом, черешни в золотом клею, базы, полные скотины, бакалейная лавка с тайной торговлей вином и за хутором два исправных млына. Всем этим она теперь собиралась владеть, потому что была красива, бойка и желанна хилому мужу, который ни на что другое не гош, как только бегать по её первому слову. Передний дружка, правивший конями, кнутовищем подкидывал чистые и блестящие конские хвосты, чтобы они летели по ветру. Второй, обернувшись к невесте, махал кубанкой и, бросив петь, глядел на Ольгу глазами, полными хмельного жара.

Огромное жнивье поворачивалось вокруг скачущей подвода. Вскоре показались сады Хадажинской, крыши хат и над ними четырёхугольная колокольня церкви. Морозный свет лежал на церковном кресте, прободившем мусульманский полумесяц: символ Православия, победившего Восток.

Свадьбу условились играть тихо, чтобы не дразнить Совет и председателя его Кованька, который глаз ко глазу видел в Петрограде живого Ленина. Отменили и смотрины, и малые пропой, и девишник, а на свадьбу была звана только самая близкая родня.

Подвода, гремя колёсами, подкатила к паперти, тесно забитой народом. Дружки под руки сняли невесту, но первый дружка был настолько пьян, что споткнулся и сапогом измарал невесте подол. Она ущипнула его за руку. Помахивая рукой, он повёл Ольгу в церковь, восторженно крича казакам:

— Шо згуртовались? Расступись, укусит! Злая! Злая!

Венчание шло медленно: попу отвалили щедро, и он, надев самую богатую ризу, старался ничего не пропустить из службы. Платон Сметанников, тонкий и мутноглазый человек лет двадцати пяти, затянутый в мундир и надушенный, встал подле Ольги, из робости не взглянув на неё.

Виски у него были вдавленные, ноздри на плоском носу похожи на револьверные дула. Не мигая он смотрел на пламя золочёной свечи, которую держал в своём костлявом и маленьком, как у женщины, кулачке.

«Вот тянет поп, — думала Ольга, — будто рыбу удит... Скорей бы, что ли!» Но это уже было самое настоящее венчание, и счастье, которого она добивалась, теперь не могло уйти от неё. Пока певчие пели, а она с мужем обходила аналой вслед за сверкающей спиной попа, она думала, что, пожалуй, на пиру пьяные гости переколотят посуду и уж нажрут-напьют столько, что ей с матерью хватило бы на целый год! А то спьяну, стервы, не подпалили бы дом!

Когда подошло время целоваться, изо рта Платона, из самого его нутра, на неё дохнуло гниlostью. «Помрёшь скоро, Платон, — подумала она без всякого сожаления. — Не помер бы раньше, чем возьму в руки дом...»

Когда на пир сошлись званые, свёкор Терентий Кузьмич велел работникам встать на крыльце и не пускать незваных. Пировали на верхнем этаже, в горнице, освещённой шестью одинаковыми лампами под одинаковыми белыми абажурами. Божницы были украшены бессмертником

и засохшим чабрецом, от которого шёл монпансейный запах. Ставни на окнах прикрыли.

Ольга, раскрасневшаяся после венчания, села рядом с мужем своим, по-прежнему серьёзным и молчаливым: глядя перед собой сухими глазами без всякого блеска, он ртом вбирал воздух, а выпускал его через ноздри, отчего в ноздрях у него шевелились длинные и почему-то седые волоски.

Гостей было всего человек десять, всё больше старики и старухи, была одна только девка, Ольгина дружка; она вдруг заплакала, раскрыв рот, потом взяла с тарелки кусок хлеба, стала жевать и приговаривать:

— Продалась ты, Ольга, в монастырь... В монастырь ты свою красоту спрятала...

Пир и точно был хмельной, да невесёлый. Как водится, прокричали: «Горько!», пошутили, и опять Ольга ощутила на своих губах дыхание мужа. Брат Терентия Кузьмича, старик широкой кости, неприятный, выпил кряду шесть рюмок водки и, подсев к дружке, закричал истошно:

— Горька-а!..

И, путаясь в своей длинной бороде, поцеловал её в шею, но вдруг заскучал и нахмурился. Мать Ольги, поджав лиловые губы, жеманилась, не пила. Старики, забыв про свадьбу, стали орать про политику.

Свёкор Терентий Кузьмич, ещё крепкий, но худой казак с золочёной серьгой в волосатом ухе, зажал горлышко графина, поднял его вровень глаз и, прищурясь, закричал:

— До чего хороша! Кушайте, дорогие гости, эту водку я с мирного времени берёг!

Старики закричали все враз, загремели тарелки, графинчик опрокинулся на скатерть, скатился на пол, из его горлышка по крашеному полу тоненькой струйкой тянулась наливка.

— К Екатеринодару подвалила доброволия, а её побили. Матросы, говорят, побили — с Азовского и Чёрного морей. Под кем ходить? Под кубанской?

— Какой — кубанской? Как этой власти будет имя?

— Называется Быч.

— А этого Быча, как его по батьку?..

— Если утвердится Деникин, то и до царя недалеко, — сказал Терентий Кузьмич, нагибаясь и нашаривая на полу графинчик.

Твёрдые глазки его глядели сердито и пьяно.

Ольга встала и, нагнувшись, помогла найти ему графинчик, велела принести тряпку, чтобы подтереть вытекшую на пол наливку.

— Скатёрку-то, скатёрку как загадили! — сказала она и отвела белую руку свекрови. — Не сыпь соли, мамонька, крутым кипятком надо.

Терентий Кузьмич растопыренными пальцами обнял её голову и сочно поцеловал в губы.

— Взял эту девку, — сказал он, прослезившись, — прямо что из катуха, с навоза. Людей я вообще вижу сквозь плоть, как речное дно сквозь чистую воду. Меня ни телом, ни богатством, ни лестью не обманешь. Этот босяк Кованько тож ходит вокруг голытьбы, сбивает на большевизм. Да она, голытьба, всякая бывает, разумная и дурная. Ольга-то у меня разумна. Прямую дорожку выбрала. У большевиков на закрутку нет, а у меня всего есть без счёта.

Ольга охмелела. Пила она первый раз в жизни, и ей показалось, что сейчас она родилась сызнова, куда краше и сильнее, чем была: так всё

стало звонко, тонко, хорошо. Похвалил старик. А уж если похвалил, то будет ходить у неё в пристяжке.

Она поглядела на свекровь, на её белое, как пшеничная булочка, осоловелое от вина лицо с пронырливыми, блестящими глазками.

Эту тоже легко обротать.

Ей захотелось быть сильной, хорошей, чтобы все любовались и слушались её. Она взяла в руки четверть водки и сама стала обходить стол, наливая в рюмки старикам и старухам и потчуя их.

Опять все ревели: «Горько», мокрые бороды и губы ползали по её лицу, и все любили её и радовались ей. Какой-то нежный дымок плыл по комнате, качая шары белых ламп. Вдруг грянула плясовая. Широко раскрыв глаза, Ольга увидела прямо перед собой двух гармонистов, старого и молодого; одинаково отвалив головы на левое плечо, они держали на коленях огромные нарядные гармони с серебряными скрепками по углам мехов. Их будто выдавила из себя белая стена — так внезапно они предстали перед её глазами. У старого было бельмо на глазу. У обоих на потные лбы свесились чубы.

Мать Ольги с поджатыми своими лиловыми губами стала кружиться перед гармонистами. Она хоть и жеманилась за столом, да была пьяна.

Потом вышли плясать старухи, за ними — старики.

Сразу запахло потом. На фитильке лампы запрыгал огонь, большой, как язык лошади. Стол с измаранными едой тарелками и рюмками, опрокинутыми на скатерть, опустел. За столом остались только молодые. Ольга, откинувшись к стене, в неиспытанном восторге смотрела на пляшущих стариков. Близко на неё надвинулось измятое лицо мужа. Он тяжело дышал, и его револьверные ноздри смыкались и разлеплялись, как губы. На виске, под кожей, трепетала вена, отравленная алкоголем.

— Вы же смотрите, вы ж любите меня, Ольга Степановна! — сказал он отчаянным шёпотом.

Она локтевым сгибом обняла его хилую и длинную шею — даже он был ей мил!

— Я вам муж! — закричал Платон Сметанников. — Пей, пьянствуй да почитай мою волю!

Посреди пляса вошёл в комнату работник, искал глазами Терентия Кузьмича. Терентий Кузьмич, пошатываясь и сыро дыша, стоял у стенных часов с медным маятником и переводил гири. Он обернулся к работнику, затряс головой и показал ему кулак. Работник отошёл к двери, потом, тоскливо оглянувшись, поправил рубаху и на цыпочках подошёл к столу.

— Как хотите, но они произведут разбой, — сказал он в пространство между Ольгой и Платоном, — требуют поднести. Им обидно, известно. Хоть по чарке им поднести, известно.

— Кто? — спросила Ольга.

— Молодые казаки.

— Молодые казаки, со всей станицы голяки, — сказал Платон. — Гони их к лысой матери, я за всё отвечаю!

— Ну вот, на что людей обижать! — Ольга положила на плечо мужа свою широкую тёплую ладонь.

Платон хмельно и покорно взглянул на жену. Горница, полная чада, гудела пляскою; дружка вертелась бесом среди взмокших от пота и багровых стариков, на липкой шее её взбрасывалось монисто с круглыми денежками и стучало по ключицам.

Мать Ольги ходила вдоль стен, уклоняясь от пляшущих, кланялась им и говорила стыдливо:

— Гуляю я. Дочерю единственную я замуж выдаю.

Ощущение счастья ещё шире разлилось по телу Ольги, она велела мужу взять поднос, поставила на него полный графинчик водки и три пузатые рюмки с красными виноградными ягодами по стеклу.

— Ничего, — сказала она, — зараз уж потратимся, поугощаемся. Уж такой день!

Она шла впереди, за ней очень неуверенно, далеко перед собой выставив поднос, пошёл Платон, работник придерживал его за локти. На лестнице толпились дворовые, кухонные и лавошные люди.

Завидя молодых, они потеснились, и молодые прошли мимо них, осторожно ставя на ступени ноги.

Работник открыл дверь на крыльцо. Ночь была безветренна и темна, и первое, что увидела Ольга, — звёзды на небе, роящиеся над хатами и тёмными садами. Ольга прислонилась к резным перилам, глотая свежий воздух.

Платон, покачиваясь, стоял рядом, в графинчике плескалась водка. Ольге почудилось, что звезда упала в графинчик и зелёным светом зажгла вино. Из темноты к самому крыльцу надвинулась толпа. Гармонь в руках парня раздвинула мехи, которые провисли над его коленями, будто животы старых кобыл. Гармонь заиграла насмешливо и уныло. В гармонисте Ольга узнала Сашку с Дурного хутора, парня, с которым вместе росла и которому обещалась быть женой.

Он пришёл её поздравить и, наигрывая на гармони, подошёл к самым ступенькам; выставил ногу и поглядел на Ольгу снизу с прищуром, как глядят в степи на орла, парящего в поднебесье.

На его круглое, курносое, будто из чугуна слитое лицо из двери падал свет.

Ольга взяла графинчик, налила рюмку. И ей почудилось, что звезда из графинчика перекатилась в рюмку и лежит на её дне, как светящийся камешек. Она взяла рюмку и, свободной рукой держась за перила, сошла по ступенькам и протянула Сашке рюмку.

— Выпей, Сашка, за счастье моё. Чего было, то кончилось. Мы с тобой вместе росли.

Всё ещё продолжая наигрывать, он не принимал рюмки.

— С пуховой перинкой вас, Ольга Степановна, — сказал он, — с законным кобельком! С богатой вас родней! Поживёте — расскажете, сладко ли вам гнилого мужа любить.

— Ты пей... пей... — испуганно сказала Ольга.

— Да уж не знаю, пить ли мне вино из ваших денежных ручек? — спросил Сашка, бережно положил гармонию на травку, выпрямился, расправил усы и вдруг ловко вышиб рюмку из руки Ольги.

Удар пришёлся по руке. Ольга, покачнувшись, схватилась за крылечную витую баясинку. В толпе засвистали.

Так же, как Сашка гармонию, Платон бережно поставил поднос у своих ног и, заплетаясь ногами, пошёл на Сашку. Ольга зажмурила глаза, завизжала. Она услышала мягкий удар, топот сапог, шум драки. Тело Платона, выкинутое толпой, мешком свалилось у её ног. В толпе грянули плясовую, казаки гурьбой пошли вдоль улицы.

Платон повозился на ступеньках, покрутил шеей, сел. Из рассечённой скулы его весело бежала кровь.

Отдышавшись, он сказал:

— Веди, ополосни мне морду, стерва. Или... или я тебе не муж?

II

Все надежды Ольги сбылись в этот год. По станице говорили, что в семье Сметанникова завелась атаманша, посмеивались над тихим Платоном и завидовали домовитому Терентию Кузьмичу.

В самом деле — Платон первые дни ещё пытался навязать свою волю жене, а там устал, бросил. Платон был казак хворый, ленивый и к жизни, и к войне, и к хозяйству. Он любил сидеть в сумерках, прямо поставив спину, полузакрыв глаза, и думать о самых тайных вещах: о смерти, о бесчисленном количестве на земле всяких зверей, птиц и рыб, о могучей власти денег над людьми и о том, что человек человеку волк, и почему это так. Казак он был плохой и, несмотря на то что и дома и в станице оказывали ему почёт, жил ото всех как-то в стороне.

Первые недели, пока это ему самому не прискучило, он ловил жену и, дыша ей в рот, задавал вопросы неожиданные и нелепые: «Царь есть помазанник Божий, а на престоле не удержался. Почему?»; «Если б запретить казакам и всякому другому, белому, жёлтому и чёрному народу воевать, то расплодилось бы народу миллиард плюс мильон и ещё сто нулей. Пожрали бы все злаки, произрастаемые на земле, и выпили бы всю воду из рек, колодцев и других водовместилищ. От голоду и жажды стал бы народ подыхать и подыхал бы стоя, прижатый друг к другу, потому что так тесно стало бы на земле, что и прилечь негде. Выходит, что войны идут не за царя, не за землю, а за то, чтобы человеку просторно было на земле. Верно?»

Этими вопросами Платон вводил жену в томительный мир своих размышлений. Вечерами, глядя, как Ольга застилает постель, обжигая его из-за плеча жаром бессовестных глаз, он доставал с горки Библию, садился у постели и читал скучным, словно бы коричневым голосом:

— «Жёны, повинуйтесь своим мужьям, как Господу. Потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и он же спаситель тела. Но как церковь повинуетеся Христу, так и жёны — своим мужьям во всём».

Этим он пытался внушить жене страх перед собой.

Не стерпев, она ему отвечала:

— Тебе повиноваться — от сраму сторишь. Я сегодня в мякиннике загребаю солому, бачу — валух о стенку трётся, рогами грозит, бородой трясёт. Я его спрашиваю: «Ты что это, валух?» А он мне: «Замучил тебя Платон притчами своими — все как, та на что, та почему, та верно ли? Посылай его ко мне, на всё ему дам ответ: я мудрый, борода у меня длинная».

— Это как же мне воспринимать? — спросил Платон, захлопывая Библию.

— А так. Целовать меня целуй, а душу не вороши. У меня на душе не навоз лежит. У меня в душе радость.

И верно, жизнь её ложилась гладкой зимней дорогой, а она ехала по ней в прочной кошёвке, кони были хорошие и путь весёлый. С утра до ночи стучали по дому маленькие черевички. Она приглядывала и за стряпухой, сама отпускала провизию. Вместе с наёмными девками, прявшими в нижней горнице осеннюю шерсть, пела она казацкие песни. На

базах звучал её певучий голос; ей нравилось видеть, как в глазах работников вспыхивает мужская тревога, а говорят они с нею почтительно.

Сашка приходил помогать.

Поработав, садился на меже. Пришлый парень, кацапская речь, чуба и того нет, дешёвые портки. Сидел и слушал, как орут в буераке гагары. Глупая птица! Нестоящие Сашкины речи о любви! В кармане у Сашки расхожая медная монетка, а ей бы, Ольге, достать золотую.

— Красивая ты. От красоты и жадная.

— У меня один товар — красота.

— А у меня товар — крепкие руки.

— Дёшев товар. Не ценится.

— За красоту, чаешь, больше дадут?

Много дали за красоту, за чёрные брови, в диком разлёте застывшие над синими глазами, за гладкую кожу, за белые зубы. Терентий Кузьмич — как отец родной и без невестки ни шагу. Скашивая глаза на её круглые локти, Терентий Кузьмич сажал невестку на тарантасик, любил вместе с нею ездить в степь. Свекровь пробовала было язвить, да перестала, ест блинцы, потеет, щурит заплывшие глаза: «Дыньки солёной бы, Ольгушка... Пряничков, Ольгушка, прикажи принести: говорят, свежие привезли в лавку...»

Однажды по весне пришла к Ольге старенькая мать Сашки и повалилась в ноги. Ольга вместе с Терентием Кузьмичом принимала во дворе ящики с гвоздями. Какой-то дальний казак со шрамом через всё лицо привёз эти гвозди и предлагал купить на продажу.

Ещё было сыро, а солнце уже припекало, побуревшая житная крыша амбара дымилась. На чёрных слегах, собранных в пучок, трещали воробы.

Мать Сашки упала коленями на землю, прижалась к земле лбом и подняла на Ольгу глаза, такие же вороные, как у Сашки, но только с красными веточками на белках. К её лбу припечатались комышки земли и трушинки соломы.

— Что ты, Марья? — весело спросила Ольга. — Разве я Сус Христос или жена-мироносица?

— Возьми Сашку в работники, — сказала Марья.

Терентий Кузьмич, подбрасывая на ладони гвоздочки, нахмурил лицо:

— Не надо нам работников — время тёмное, воюем всё, не остановимся.

— Возьми Сашку, Ольга Степановна, — повторила Марья, не глядя на Терентия Кузьмича. — Пропадёт человек ни за копейку. Старик пьёт, землишку продали с аукциона за долги, по девяносто копеечек с десятинки. Нуждишка. Сашка говорит: «Пойду к Сорокину, красному командиру, буду себе землю воевать». Он своё на немецкой отвоевался — какой он воин, разве он казак? Его генералы повесят либо немцы.

— Сам-то Сашка хочет ли в работники? — спросила Ольга, задохнувшись. Сердце засадило мукой-радостью. Она не ждала этого. Звонче закричали воробы на слегах. Вдруг представилась ей шея Сашки, налитая силой.

Она обернулась к Терентию Кузьмичу, сказала вкрадчиво:

— Взять, что ль? Я его с детства знаю, работник хороший.

Марья опять поклонилась в ноги и пошла к воротам. У ворот она оглянулась, концом платка вытерла со лба грязь. В её взгляде Ольга почувствовала ледок: так на неё теперь глядели бедняки с Дурного хутора. Завидуют!

Сашка пришёл на другой день с утра и договорился о работе, не подымая глаз. О случае на свадьбе он не сказал ни слова, величал хозяй-

ку Ольгой Степановной и даже губ не покривил. Будто натянул он на себя новую шкуру: смиренный, исполнительный, расчужим-чужой.

Когда Ольге было семь годков, а Сашке восемь, отец Сашки, мужик беспокойный и мятущийся, собрался к морю, поискать счастья в чабанах. Шёл он ненадолго и для весёлости взял с собой Сашку и Ольгу, дочь соседа. Они поехали в товарном вагоне, на площадке. Сначала тянулись степи, покрытые яростно-зелёной травой, полные всякой необыкновенной птицы, все в горячих огоньках цветов. Потом открылись горы — неясные их вершины будто срастались с небом.

Мужик повёл детей в горы. Тропинка бежала среди гнутых ветвей кизила, цвёл ломонос, и по лиловой земле бегали ящерки. Над скалами висели белые облака. Мужик речисто говорил о чабанах, что народ они богатый и гостеприимный, что дадут они каждому по козе и жизнь начнётся душевная.

Никакой душевной жизни в горах не получилось. Чабаны угостили детей козьим молоком, позволили заночевать в шалаше, а назавтра чтоб домой. Всю ночь мужик жаловался чабанам на неудачную жизнь.

Дети лежали на овчине, глядели на костёр. Слушали, как по-человечески протяжно вздыхают ночью горы.

— Отец у меня дурак дураком, — сказал Сашка. — Всё выдумывает выдумки. Нет ему на свете своего места. Он на чугунок ходил, в батраки ходил, табунщиком ходил — куда он только не ходил! А дома жрать нету.

— Нехорошо так про отца-то, — сказала Ольга.

— Чего нехорошо? Пьёт, а к работе ленивый. Вот я возрасту — матери буду в утешение.

— Ишь какой!

— Я, брат ты мой, поклоняться казакам не стану. Возрасту — прикуплю земли, возьму жену. Пойдёшь за меня женой?

— Я ещё маленькая.

— Вырастешь. Торопиться некуда.

С той поры, с восьмилетнего возраста, и взял в голову Сашка: Ольга будет ему женой. Так и рос, верный этому детскому договору.

Но вышло иначе. Эх, времечко! Восьмилетний мужичок в горах, рассуждающий о земле и хозяйстве; семилетняя казачка, растянувшаяся на душевной овчине; ветер качает козьи шкурки, развешанные на бечеве; ветер, ветер, летящий с гор, оброни монетку счастья со своих голубых крыльев!

На немецкую Сашка уходил с деревянным сундучком на плечах. Красивый был парень; в зубах покупная папироска, дым летит из широких ноздрей; по шляху за призывными шли бабы, плакали. Ольга шла и плакала, как все; за пазухой, меж грудей, она несла бутылку запрещённой водки — Сашке в подарок в дальний, дымящийся кровью путь; знойный ветер летел над золотой степью, в степи копнили пшеницу, ходили табуны в степи. Ветер, ветер, куда летишь, куда уносишь девичьи думки? Тогда верила, что будет ждать Сашку, пошёл солдатом — вернётся офицером! Но в разлуке одумалась. В эти годы жарко цвело её тело. Сашке-то, шептала мать, многовато будет такой красоты. Подавится. Мать говорила, что об Ольге собирают молву богачи Сметанниковы из Хадажинской. Гляди, девка, своего счастья не проворонь!

После прихода Сашки-работника мало что изменилось в доме Сметанниковых. Сашка работал в полную силу, по вечерам пил на кухне чай. Первые дни Ольга ловила его то на дворе, то в поле. Он отвечал ей ко-

ротко. А она мучилась уязвлённой гордостью: если не из-за неё пришёл, то из-за чего же? Не из бедности же?

Жизнь становилась тревожнее, опасней. По Кубани скакали верховые, агитировали кто за Кубанскую раду, кто за красных. Появлялись какие-то смутные на вид, остороженькие люди, говорили за добровольцев. Накинув на плечи расшитый цветами платок, Ольга бежала в лавку. Приказчик из иногородних, старик Скепиндей, подставлял ей табуретку, по-собачьи оскаливая зубы. В лавке всегда было много народу. Раньше приходили сюда затем, чтобы поглядеть на Ольгу, пошутить с ней, принять из её проворных рук товар и сдачу. Теперь здесь кричали все враз, густо бранились, грозили друг другу.

На счастливую жизнь Ольги ветер, осенний ветер гнал угрюмую грозу.

Говорили, что большевики хотят делить казачью землю поровну между казаками и иногородними, у богатых казаков землю отбирать без выкупа. Оскудел Дон атаманами: Каледин застрелился, Африкан Богаевский неизвестно где, генерал Краснов запродался Вильгельму Сухорукому. Прошлой зимою Дон вытолкал Корнилова, генерала с лицом калмыцкого божка, и всю его армию в шесть тысяч штыков, артиллерию и обозы, и в обозе Родзянку, председателя Государственной думы. Доброволия пошла на Ольгинскую, оттуда на Лабу и Екатеринодар — искать кубанского гостеприимства. В степях, одетых мартовской гололедицей, мотались бездомные офицерские полки. Да, слышать, того Корнилова уже и в живых нет, а на его месте в Екатеринодаре сидит генерал Деникин да ещё какой-то Быч.

Казаки в лавке Терентия Кузьмича кричали:

— А этого Быча самого бы в плети! Что за Быч? Кем уполномочен? Какой у него государственный плант? Какая у него земельная линия?

— Надо подниматься за доброволию, казаки. Доброволия царя посадит в России.

— Ему, царю, на казачью силу опереться хочется. Без неё он что слепой без палки.

И ревком, и станичный атаман, по очереди, созывали станичников на митинги. Шли всей станицей как на праздник: бабы принаряжались, казаки надевали черкески, малиновые шаровары, кубанки с малиновыми верхами. Атаман принимал в школе, а комиссар Кованько — возле своего дома, у дубьёв. У атамана почётными гостями были старики, а у Кованьки молодые казаки, фронтовики. Атаман, седой старик, кавалер японской и немецкой кампаний, приятель старого полковника Шкуро, вставал перед казаками во весь свой могучий рост, поблёскивая газырями и кинжалом серебряной чеканки, говорил осанистым голосом:

— Старики! Получены сведения — богатые таманские казаки позвали немцев из Крыма и с их помощью повыгоняли красных. Получены сведения — таманские казаки рубят советскую армию Ковтюха и гонят её с полуострова. С коммунистами и у нас не может быть сговору.

Старики кричали «верно!», «правильно!», оглаживали бороды и черкески и, пошумев, шли к ревкому, садились на дубьях и ждали, когда выйдет Кованько, чтобы говорить речь. Фронтовики садились на землю позади стариков. Земля была пестра от подсолнечной лузги.

Кованько вышел встрёпанный, с бедовыми, обжигающими глазами. Был он казак из последних, голодовал на своей крохотной земле, хотя и никогда не батрачил. Был он знаменит тем, что, воротясь с немецкой, не стал бить свою жинку, бабу востроносую, пустую и весёлую, торговашую во время войны сладкой плотью своей и самогоном. Баба так

изумилась его доброте, что перестала блудить и по своему почину содержала ревком в опрятности, самим Сметанниковым впору.

Кованько вышел на крылечко ревкома, поклонился казакам и, надув толстые губы, сказал:

— Счас канцелярист принесёт бумаги, и я вам, товарищи, постановлю правду трудового казачества.

Он сел на ступеньки, и тотчас же в дверях ревкома показался канцелярист, и это был не кто иной, как Сашка. Терентий Кузьмич, сидевший на переднем дубке, крикнул. Ольга подняла руку, потёрла заалевшие щёки. И вдруг подумала: «Значит, так-то ты? Для ревкома ты в Хадажинскую перебрался жить? По ночам, что ли, пишешь ты Кованьку бумаги?»

Она глядела на Сашку растерянно и злобно.

Он развязал шнуры на большой рыжей папке, подал её Кованьку. Кованько тяжёлыми пальцами выдернул бумажонку, снял фуражку и начал говорить:

— Атаман втирал вам очки насчёт армии Ковтюха, казаки. Это верно, что немцы сидят на Тамани. Это верно, что Ковтюх отошёл с боем. Неверно только то, что Ковтюх есть враг, а немцы, рада, Краснов и доброволия есть друзья. Атаману они друзья. Сметанникову они друзья, а всему трудовому казачеству, усталому от войны и бедному касающе земельки, они есть хозяйчики и прожорливые акулы. Плохо обстоит дело на Кубани! Топчут наши законные поля сапоги царской доброволии. Немцы обнажают свой аппетит на наш хлеб, скотину и домашних птиц, гусей. Втравляет нас самозваная рада в братоубийственную войну, чего казакам совсем не надо. Правильно ли я балакаю? Плохо обстоит дело на Кубани! Рада подписала с русскими генералами договор, не спросясь трудовых казаков. Что за рада? Кто её выбирал? Подпирают её богатые казаки, владельцы несметных десятин. А про эту раду песня есть. Читаю песню:

Гудит бычачье стадо...

По фамилии Быч песня! — круто выбросил Кованько кулак и продолжал:

Гудят все, что шмели...
Ой, Рада, ой, дид, Рада,
Ой, люшеньки-люли!

В гуще казаков, стоявших у забора, притушённо скрипнула гармонь, тонкий тенорок подхватил вполголоса:

Ой, Рада, ой, дид, Рада,
Ой, люшеньки-люли!

Старики задвигали плечами, но оглянуться им не позволила честь.

С чистым тенором гармониста сплёлся сочный баритон; второй баритон, ещё посочнее, пошёл с ним в ногу, потом занял ведущее место; октавой ниже взял тучный бас; скворцом взвился подголосок; тонко прозвучала казацкая походная войсковая дудка; войсковой бубен стал отбивать такты; грянул припев:

Ой, Рада, ой, дид, Рада,
Ой, люшеньки-люли!

Утром к хате атамана подскакали двое верховых. Атаман вышел встретить их на крыльцо, повёл в горницу. Бабам велел подать чай, варенья, хмельного. После чая гости, сверкая оружием, пошли в ревком и арестовали Кованьку именем генерала Деникина.

Кованько сидел на ключе в той самой комнате, где ещё вчера писал станичные декреты и правил протоколы митингов. Он очень мучился тем, что с утра не побрился и перед атаманами показывается неопрятным. Его жена тряпкой замывала порог комнаты, бросила тряпку, глядела в скважину и плакала.

Ночью гости увезли Кованьку в неизвестном направлении и к сомнительной судьбе.

Утром к Сметанникову пришли старики. Они были одеты как на бой, вооружены и торжественны. Вежливо и долго они сидели в нижней гостиной, вызывая Сметанникова на разговор. Терентий Кузьмич всё не мог понять, зачем они пришли, не знал, угощать ли их или только разговаривать с ними. Посидев сколько нужно, старики встали и пошли во двор арестовывать Сашку.

Когда Ольга увидела это, то побежала искать Сашку. Нашла его на овечьем базу. Она испугалась его бравого вида — сам пойдёт на смерть. Она шепнула ему:

— Иди за мной. Чёрт. Любый.

Как слепой, он пошёл за ней. Там у них, у Сметанниковых, была криница, накрытая сколоченным из досок щитом. Ольга сняла щит, сказала неверным голосом:

— Лезь, что ли. Не найдут здесь.

Сашка полез в криницу, увидел перед собой чёрную бездну. Близость смерти тоской глянула на него. Только сейчас он понял, что голос у Ольги неверный. Он спросил у неё:

— Подержаться мне или уж... потопнуть? Один конец!

— Я тебе потопну, я потопну тебе! — ответила Ольга таким жарким голосом, что он поверил ей.

Ногами он упирался в продухи на стене криницы. Руки его лежали на срубе. Ольга навалила щит, подёргала его вправо, влево, пригоняя, чтобы он лежал правильно. Она сорвала щитом кожу на пальцах Сашки. Раскорячась, он висел над смертью. Ольга побежала навстречу старикам, которые вместе с Терентием Кузьмичом шли арестовывать Сашку.

— Сашка-то... — проговорила Ольга, задыхаясь.

— Чего? — спросил Терентий Кузьмич.

— Ускакал Сашка. Взял коня...

— Которого? — спросил Терентий Кузьмич и, не дожидаясь ответа, тревожась за своих коней, пошёл к конскому базу.

Ольга пошла за ним, нагнала его и шепнула ему в спину:

— На чужом коне ускакал Сашка.

— Где взял чужого? — обернулся Терентий Кузьмич. И, взглянув на Ольгу, он понял, что она любит Сашку.

III

Темрюкский залив, Керченский пролив и Чёрное море омывают берега Таманского полуострова. Казаки здесь издавна промышляют неистощимой на урожаи землёй и самосадочной солью. Станицы богаты и

многосадны; широкие бахчи полны сивых дынь и зелёных арбузов; на море казаки ловят рыбу, в плавнях бьют птицу. Революцию встретили исподлобья. Красные... Что за люди? Что за человек полководец Ковтюх?

Испугавшись красных, казаки поманили из Крыма немцев — те пришли с артиллерией и железными касками, повесили на атаманских хатах приказы: ферботен направо, ферботен налево. На востоке немцы дотянулись до Батайска. Грузинская меньшевистская дивизия повисла на Сухуме, заняла Сочи.

Война занималась на Кубани.

Под Хадажинской, на кладбище, поселилась выпь: по ночам плакала навзрыд. Ворот на станичной кринице прежде ходил легко, теперь стал скрипеть. На закатах роса на жнивьях отливала кровью. Казаки откармливали коней, чистили чересседельники, готовили саквы. Таились друг от друга, кто куда метнётся. На хаты, на сады Хадажинской знойно дохнула война. Сыны вдруг перестали ломать кубанки перед стариками. Сашка исчез из станицы. Терентий Кузьмич потерял сон, ночами сидел у окошка, глядя, как медленно плывёт ночь и просыпается заря, как казачки в расшитых рубахах выводят с базов скотину.

Три молодых казака проехали верхами мимо окон. Они снимали кубанки и, вертя ими над головой, кричали казачкам:

— Прощайте, бабы! До всего доброго!

На стук босых ног Терентий Кузьмич оглянулся: Ольга, накиннув на плечи мужнину черкеску, стояла в дверях; лицо у неё было измятое, синие глаза налиты тоской. Увидя свёкра, она подхватила болтающиеся рукава черкески и стянула их на груди.

Терентий Кузьмич пальцами взбил бороду, покосился на белую рубаху Ольги:

— Чего встала? Скотину выгнали. Чи под боком у мужа плохо спится?

Она стояла не отвечая.

— Садись. У меня тоже сна нет, всё думаю и тревожусь. Садись, поговорить мне, кроме как с тобой, не с кем.

Она села позади него, запахнувшись в черкеску. Колени у неё были холодны, не согрелись за ночь. Терентий нахмурился, проговорил без злобы:

— За Сашкой плачешь, сучка?

— Нужон он мне!

— Или хлебом-солью недовольна? Теперь всего у тебя есть, всего богато, а раньше, кроме бабьей стати, ничего у тебя не было. Трудно, Ольгушка, много всего иметь: обойми-ка его, имущество, защиты, убежища от людской зависти. Землю поди-ка обойми — рук не хватит. Незащищённая лежит земля. Платон — казак срамной, слабый, других сынов нет, ты и есть вся моя опора.

— Кто это у вас, батько, землю собрался отнимать?

— Люди, — сказал Терентий Кузьмич, вздохнув, — и всё, видно, недоброго ума. Вон как война перетасовала казаков: все были в одну масть, а теперь, гляди, завелись в казачестве и тузы, и валеты, и двойки, — и двойки, гляди, желают тузов бить! Самый последний казак лезет в козыри! Сейчас, гляди, по улице простегнули трое, при оружии и чересседельных мешках, — куда поехали казаки? То-то. Слышно, Ковтюх вывел с Тамани сорок тысяч войска: рабочих питерских и донецких, морячков черноморских, казачков-беднячков. Ломит через Кубань на соединение с красными.

— Красные-то — сказала Ольга, ёжась, — тоже не звери. Кованько кому сделал зла? Землю он твою трогал? А как с ним? Бабы сказывали, три дня в степи кровавый лежал, пока не помер. Как это с ним?

Осенним ясным днём Ольга выехала с работниками на выпас собирать навоз для кизяка и далеко в степи, на шляху, увидела широкое облако пыли. Сначала оно долго стояло на месте, похожее на дым костра, потом метнулось в сторону и по шляху, увеличиваясь в размере, стало катиться ей навстречу. Вскоре в самой середине облака неясно проступили туманные фигурки коней и людей.

Работники закричали: «Ковтюх идёт!» — и, перекинув вилы, побежали к телегам. Ольга, оглядываясь на облака, медленно подошла к передней телеге. Работник натягивал на лошадь подпругу, натуженное лицо его покраснело. Он побежал на нераспрямлённых ногах к передку, сел одним прыжком, и телега понеслась к станице, теряя по дороге навоз. Пыль поднялась из-под колёс и закрыла от Ольги ясный горизонт, осеннее ясное небо и облако, катящееся из степи на станицу.

Въехав в станицу, работники кричали:

— Красные идут! Спасайтесь!

Бабы и казачата бросились сгонять птицу; ко дворам потянулись цепочки гусей; застучали калитки; работники открыли ворота, и телеги въехали во двор. Ольга соскочила наземь; под ноги ей кинулась собака, проскочила мимо ног и, вытянув передние лапы, высоко вздёрнув лохматый зад, залилась лаем. Ольга слышала, как на улице откликнулся ей пёс тоньше голосом, потом по всей станице поднялся визгливый, гулкий, хриплый и тонкий собачий перебрёх. Ольга, стряхивая с юбки дорожную пыль, закричала, чтобы запирали базы.

«Скотина-то в поле!» — проплыла в её голове тревожная мысль.

Через двор с кипящим самоваром для свекрови бежала кухонная девушка, поставила самовар на землю и заголосила. Кран раскрылся, кипяток, пробивая землю и клубясь паром, потёк к воротам. Ольга кинулась в дом. Бледный Платон спускался по лестнице, на ходу щёлкая затвором винтовки, губы у него были чёрные.

За ним проворно, как мальчик, скатился Терентий Кузьмич, отнял у сына винтовку:

— Валух чёртов! Пропадёшь ни за что... Пронеси, пронеси, Господи!

Он выбежал во двор и кружился среди без толку бегающих людей, поднимая ладони, будто в пляске поматывая седой бородой. Из расстёгнутого ворота его бешмета вываливалась полная, красная шея.

— Пронеси, — причитал он, — пронеси, Господи!

Увидел Ольгу, кинулся к ней:

— Беги на гумно, Ольгушка, заройся в скирд — не случилось бы беды!

Она с досадою сбросила с плеч его руки, открыла калитку и вышла на улицу. Платон пошёл за ней, сжав кулаки и раздув ноздри. По пустынной улице, тукая о землю палкой, шёл слепой Гаврилов, станичный бедняк, и бормотал что-то в свислые, поверху чёрные, а понизу седые усы.

Навстречу ему, занимая всю ширину улицы, шагом продвигались отряды Ковтюха.

Конные и пешие смешались. Голодные люди, одетые кто во что, шли молча. Не слышно было ни песен, ни шуток. Совсем близко от Ольги прошёл заросший до глаз человек в женской кружевной сорочке под ши-

нелю, потерявшей петли и крючки. В прорези сорочки торчали ключицы, обтянутые тёмной кожей. Треух бил его по вдавленным щекам. Винтовка оттянула ему плечо. Он остановился возле Ольги, обветренные губы его пришли в движение, она поняла, что он выговорил «хлеба», но вдруг не поверил казачке, стоявшей у такого богатого дома, зло ощерил зубы и пошёл дальше.

Люди шли и шли. На одних были шинели, на других — штатские замызганные пальтишки с оборванными карманами, на третьих — шубы; из швов лезла мятая жёлтая вата. Сапоги, штиблеты, татарские чувяки вздымали пыль; мелькнули босые ноги, разбитые в кровь. От сплошного движения людей голова Ольги пошла кругом. Мимо неё плыли бородатые и безусые лица, либо тупые от усталости, либо молодецкие, то сведённые молчаливой, но угрожающей злобой, то добродушные и открытые, как у казаков на гулянках.

Проехала группа конных.

Впереди, кулаком опершись в ребро, ехал широколицый, крупный человек, к его запястью браслеткой была привязана ремённая плётка. На серой сатиновой рубаше его лежали пятна застарелого пота, обветренного, засыпанного пылью. По тому, как он глядел поверх войска и на окна хат, по остроте его взгляда Ольга угадала в нём начальника. Всадник вёз за ним вылинявшее знамя, складками упавшее вдоль дрезка.

Ольга следила за проходящим войском, за этими усталыми, измученными толпами, с боями вступившими на Кубань, и вдруг сознание страшно и тяжело повернулось в ней: ей тайно открылась изнанка этой толпы — то непонятное ей, что эту толпу двигало, что заставляло её идти, драться, верить в широколицего человека на коне, то, что делало толпу войском.

— Оборвыши, таких-то я голой рукой возьму! — дохнул ей в самое ухо голос Платона.

Они оказались страшнее, чем она думала о них! Закрыв глаза, Ольга слушала лишь разбродный топот множества ног, прошедших бесчисленные вёрсты. Она открыла глаза и снова стала различать отдельных людей. Их лица возникали перед ней на какую-то долю минуты, потом словно выползали из памяти. Молодое, безусое, ещё по-детски мягкое лицо с коричневыми висками и мягким, круглым подбородком заставило её встряхнуться — она поглядела мальчику вслед. Это был матрос, на его плечах прыгали чёрные ленточки с золотыми якорьками. Тонкая, маленькая винтовка, каких она никогда не видела прежде, прямо и хищно торчала за его спиной, плотно пригнанная к плечу ремнём.

Потом она поняла, почему её поразило лицо этого мальчишки: шея его была перетянута белым лоскутом, и на лоскуте цвело пятно крови.

Полки шли нескончаемой, потерявшей стройность колонной. Потянулась артиллерия. Исхудалые лошади потащили орудия в грязных чехлах. Седая кобыла плакала на ходу крупными, как горошины, слезами. На спицах колёс каменными култышками сидела засохшая грязь. Везли снарядные ящики. Посреди артиллерии шёл тучный человек, весь опухший, раздутый и мягкий. За голенище его сапога был заткнут пучок татарских серёжек. Он то шёл за орудием, шупая рукой чехол, то выбегал в сторону, пропускал орудия мимо себя, покрикивал на лошадей, на ездовых, опять вбегал в колонну. Был он в неутомимом хозяйском беспокойстве. И в голубых глазах его кипела любовь; любил эти орудия на разболтанных тележках, и этих отошальных лошадей, влачивших орудия, и этих ездовых, понукающих лошадей, — как любят жизнь, как любят надежду и

своё будущее. Ещё долго Ольга видела тучную его спину, жёлтый затылок, слезшую на правое ухо синюю фуражку. И ей захотелось догнать его и дать ему хлеба. И почему-то ей подумалось, что, получив хлеб, он не станет его есть, а сунет в горло орудия.

Но она не сдвинулась с места.

Потом в станицу вступили обозы. Это был поток крестьянских телег, линеек и татарских арб. Проколыхалась на разбитых тонких колёсах извозчичья городская пролётка. Но больше всего было степных длинных телег, запряжённых лошадьми и волами. Кострецы волов кровоточили. Женщины, и дети, и седобородые старики, закутанные в свитки и чекмени, тесно и беспокойно сидели на телегах. Орала грудные младенцы. Причитал, и взвизгивал, и открывал улыбкой беззубые дёсны старик, помешавшийся в походе. На одной из телег, поверх наваленных тулупов, проплыл мимо Ольги лупобокий, нарядный двухвёдерный самовар с ручками в виде крыльев и с краном в виде лебединой шеи. В трубу самовара был воткнут красный флаг. Многие из крестьян брели рядом с телегами, и среди них легко было различить чеченцев из притуапсинских хуторов в чёрных бурках и широких, как вороньи гнёзда, папахах.

Едва головные телеги обоза въехали в станицу, как улицы огласились воплями. Старческие голоса, уже тусклые и бессильные, сливались со звонкими голосами детей.

Беженцы кричали, шаря глазами по оконным наличникам, по калиткам глухо запертых ворот:

— Хле-ба-а!.. Хле-ба-а!..

Но глаза людей, слезящиеся от ветра, красные от бессонницы и свтящиеся от голода, встречали пустые пороги, запертые двери, калитки с неподвижно висящими кольцами и длинные ряды окон, на которых невидимые руки поспешно задёргивали занавески. Станица встречала их тишиной и безлюдьем. Псы, уже уставшие брехать, сидели у своих дворов и, подняв уши, слушали гром и шум движения.

— Хле-ба-а! — кричали беженцы.

Платон за плечи повернул Ольгу и втокнул её во двор. Запер калитку на щеколду, поднял с земли палочку и всунул её в петли запора. Из круглых ноздрей его прямо в лицо Ольги летело встревоженное дыхание. Он жевал губами, собирал слюну. С ненавистью и страхом плюнул на калитку. От непрерывного движения обоза по улице калитка вздрагивала. Плевок потянулся по ней вниз, оставляя блестящий след.

«Хле-ба! Хле-ба! — безостановочно плакал за воротами детский голос. — Хле-ба!» У Ольги тошно засосало под ложечкой. Будто сама она не ела много дней. Хлеба! Воображению её представился ломоть хлеба, ещё горячий, дымящийся... красноватая корочка, душистая мякоть... На губах её выступила слюна.

Она покорно пошла за мужем в дом.

Свекровь сидела у окошка и, пухлыми пальцами отогнув занавеску, глядела на улицу, как на пожар или на половодье. Детский голос ещё звучал в ушах Ольги. Она встала, без толку стала перебирать посуду на столе.

Прибежала с улицы возбуждённая девка, говорком стала рассказывать:

— Все заперлися. Казаки стоят за воротами с ружьями, ждут грабежу. А Кованькина баба вынесла хлеб, так ей руки было не оторвали. Голодные как черти... Говорят, ещё хромой Степан отчинил ворота, кормит —

народу навалило, как на свадьбу, всю хату разнесут! А так все заперлися. Говорят, сейчас грабить начнут.

Голос Терентия Кузьмича сказал через стенку:

— Ты остался б, Платон, во дворе. Ольгушку возьми. Да винтовку-то гляди не бери, спаси Бог, голыми руками его не пускай и голосом. Я полежу — тоже выйду.

Во дворе было тихо. Работник, отворив калитку, глядел на улицу, потягивая дым из костяной трубки. Шум доносился издалека, глухой и невнятный. Крики «Хлеба!» стихли. Вероятно, полки и обоз частью вышли за станицу, частью расположились на площади, напротив церкви.

Ольга вместе с Платоном села на крыльце, стала глядеть в небо. Гонимые ветром, облака низко шли над крышами, быстро меняя рисунок, форму и плотность. Синяя туча сронила несколько капель дождя. В хвост ей ударило солнце.

— Что дрожишь-то? — спросил Платон.

Она не успела ответить.

— Пусти-ка пройти! — сказал за воротами сочный и весёлый голос.

Работник попятился, хотел прикрыть калитку, но ему помешали. Послышался шум борьбы.

Работник икнул, схватился за живот и, перегнувшись пополам, сел на землю. Гуси, испугавшись шума, вытянули шеи и стаей пошли от ворот к крыльцу. Намётом пробежал по двору розовый поросёнок, потряхивая лопушинами ушей.

Калитка распахнулась с треском.

Через сидящего на земле работника перешагнул солдат, не старый и не молодой, смуглый, поросший цыганской бородкой и с глазами, кипящими яростью. Одет он был в женский халат морского цвета, перепоясан широким ремнём, на голове фуражка почтового ведомства. К плечу его были привязаны растоптанные ботинки с длинными пыльными шнурками в узелках. Патронташ перепоясывал его грудь, и у бедра в деревянной огромной кобуре висел наган.

Солдат остановился, расставив ноги и оглядывая двор, базы, хозяев на крыльце. Голубые белки его глаз блестели, как очки.

— Здорово, хозяева! — крикнул он. — Здравсте-мордасти, солдат революции заботится покушать. Не угостите ли?

Работник поднялся с земли и встал в некотором отдалении, почтительно поглядывая на солдата.

Платон и Ольга сидели не двигаясь. Солдат встряхнул плечом. Ботинки стукнули каблуками. Солдат подтянул ремень на животе, придержал рукой деревянную кобуру и вдруг, согнувшись, вытянул вперёд узловатые руки, стремительно кинулся в гусиное стадо.

Гуси взмахнули крыльями, полезли на стену, на крыльцо.

Чувствуя в себе ту же яростную силу, которая была в глазах солдата, Ольга схватилась с крыльца. Солдат, прижимая к груди большую белую птицу, кинулся к воротам. Работник стоял в стороне и смеялся. Солдат прищёлкнул языком, вильнул перед работником бёдрами и выскочил на улицу.

Ольга оглянулась на Платона. Он лежал на крыльце, сжимая в руках гусыню, которая билась крыльями, крича гортанно и смертельно. Винтовки под рукой не было. Ольга нагнулась, искала камень. Оттого, что в глазах её стало темно, она потеряла равновесие и лицом ударилась о скобу на ступеньке. Кровь хлынула из её рассечённого надбровья.

— Держи его, разбойника, — шёпотом проговорил Платон, всё ещё не выпуская птицу.

Едва помня себя, Ольга выбежала за калитку. На улице трава была примята прошедшим войском и обозом. Следы обутих и босых ног, следы колёс исполинскою паутиною лежали на широкой пыльной дороге. Блестела среди улицы манерка, оброненная уставшим бойцом. На стволе акации осью телеги сорвало кору; белое и душистое тело дерева обнажилось — вытекал из раны благоуханный сок.

У ворот стояли казачки и старики, пасмурно глядели вдоль улицы.

Ольга побежала вдоль дворов, прижимая ладонь к рассечённой брови. Кровь огнём жгла ладонь.

Сейчас же за поворотом Ольга увидела телеги обоза. Бабы и мужики слезли с телег и сидели прямо на земле, копаясь в своей одежде. Лошадей выпрягли — они ходили между телегами и, опустив морды, вялыми губами трогали траву. На этой улице тоже наглухо были заперты ворота и занавешены окна. Здесь пробиться было нельзя. Солдат с гусем провалился как сквозь землю.

Ольга свернула на боковую улицу и побежала по ней. Здесь за Ольгой увязалась простоволосая, босая баба с острыми голыми локотками. Ольга признала в ней Голосову.

— Ограбили, ограбили! — крикнула Голосова на бегу. — Покрали гусей!

Они побежали вместе. Узким переулком они свернули к площади. Против каменной церкви с красной крышей, на всём пространстве от ограды до калитки атаманова двора, кишел пёстрый вооружённый народ. Люди стояли, ходили, сидели на земле. Ольга и Голосова вытерли слёзы; расталкивая людей, они стали протискиваться к атаманскому дому. Старый солдат, сидевший на земле, расставил руки, поднял на Ольгу красные, больные глаза, сказал:

— Куда, красавицы?

Ольга коленом ударила по его шершавой ладони. Солдат сделал вид, что помер, опрокинулся на спину и задрал вверх босую чёрную ногу с толстым и чёрным ногтем на большом пальце. Кругом захохотали. Ольга увидела жёлтого хозяйственного артиллериста, который, заложив толстые руки за спину, задумчиво и отсутствующе глядел в небо, где ветер трепал подола облаков.

— Где у вас главный-то? — зло крикнула ему Ольга.

Он устремил на неё добрые глаза.

— Командир? — спросил он ласково. — Или комиссара вам нужно, милая женщина? Впрочем, оба они там.

Он подбородком указал на атаманский двор. Бойцы расступились, пропуская женщин. На крыльце толпились вооружённые люди в гимнастёрках и пыльных сапогах. Боясь, что их не пропустят к командиру, Ольга стала кричать: «Грабители! Разбойники!» Голосова стала плакать, резко и громко, с большим искусством.

Вооружённые, сердито сдвинув брови, глядели на них.

— Кровь-то у тебя это почему? — сурово спросил один из них.

— Подавай мне командира, ты, усатый! Очень я испугалась твоего револьвера!

— С жалобой?

— Испугалась я твоего ружья, насильник!

— Пусти, пусти их, — сказал второй.

За дверью, в коридорчике, на лавке сидел Ковтюх, затылком опираясь о дощатую перегородку и закрыв веки, припухшие от недосыпания. Матрос Жуков и политкомиссар Комаров возле окна рылись в своих кожаных сумках, доставая помятые бумажки и расправляя их на ладонях. Ковтюх раскрыл глаза, тупо поглядел на Ольгу. Спустя минуту глаза его пояснили, зажглись, через зрачки впустили в усталый мозг беспокойный и горячий мир.

Взгляд этих глаз был широк и зорок. Ольга собиралась кричать, но сердце её вдруг ослабело, словно вытолкнуло злость.

Она сказала, кривя губы:

— Какой же это порядок, господин генерал или как там тебя... Мы тебя не трогаем, зачем же ты нас трогаешь? Ворвался солдат во двор и стащил гуся. Поросёнка стащил. Меня разбил в кровь.

— Грабители, бандиты! — закричала Голосова. — Кто вас звал, чертей? Воюйте в степи, а станицу не троньте!

Ковтюх легко вскочил со скамейки, яркая краска вспыхнула на его щеках, на загорелом лбу и подбородке. Он сделал широкий шаг вправо, повернулся, сделал шаг влево. Матрос и Комаров молча поглядели на него. Плечи Ковтюха откинулись назад, грудь выпукло выпятилась. Он подошёл к Ольге вплотную, пальцами приподнял ей голову за подбородок. Прищурясь, поглядел на её разбитую бровь. Из рта его несло махоркой.

Голосова перестала кричать. Раскрыв большой рот, она глядела прямо в лицо Ковтюха.

— Поросёнка увели, — тихо повторила Ольга, — гуся утащили. Меня разбили в кровь.

Ковтюх спросил:

— Узнаешь бойца в лицо?

— А то нет?

— Выстроить полк! — тихо сказал Ковтюх Комарову.

Тот вышел на крыльцо, хлопнув дверью. Расставив ноги, Ковтюх стоял перед казачками, лицо его тяжелело, что-то огромное и сильное, что жило в нём, глянуло на Ольгу из его глаз. Она сказала про себя: «Грабитель» — и сама не поверила себе. По клочкам она собирала в себе своё растерянное остервенение. Ковтюх нагнулся, за ушки подтянул голенища сапог и вдруг выругался.

Спустя некоторое время он повеселел, сказал казачкам:

— Идите за мной, птицы-вороны! Ишь круглые! Раздобрели, бабы, на жирных-то гусях!

IV

Приднепровский полк во фронту стоял напротив крыльца атаманской хаты. Все это были пороховые ребята, не раз стёганные смертью. Здесь были бородатые дяди, и усачи, и такие, что успели побриться в Туапсе у базарных брадобреев, а теперь заросшие беспорядочной щетинкой. На лицах лежали степная пыль, усталость и мужество. Пальцы их крепко держали винтовки, взятые к ноге. «Смир-рна-а!» — пропел полновзвучный голос полкового командира. Люди были одеты пёстро и плохо, истомлены и голодны. Люди умели лежать под снарядами немцев, слушать свист пуль, цепями идти на золотопогонников. Приди нужда —

они с голым кулаком пошли бы на танки, на дредноуты и на броневики. Самолёты интервентов сбрасывали на них смерть с воздуха, каждая кулацкая станица в степи грозила им смертью, и смертный ветер обдул их, и они не боялись смертного ветра.

— Слушай меня, бойцы! — закричал Ковтюх своим лёгким голосом, сходя с крыльца.

Он пошёл вдоль фронта, вбирая в себя взгляды людей.

— Слушай меня! В Туапсе на армейском митинге поклялись мы перед лицом революции и партии большевиков-коммунистов хранить дисциплину, как собственное око! Позор тому стрелку, который запоганит себя грабежом! Позор сукину тому сыну, который поспит с беззащитной бабой! Позор насильнику над мирным населением Кубани! В этом ли мы клялись на революционном штыку и на большевистской сабле? Дружно отвечайте мне, бойцы!

— Верна-а! — закричали ряды, как кричат «ура».

— Не бандиты мы, не прислужники буржуазии, не лакеи империалистов, не базарная шпана. Мы — солдаты Ленина, на своих бесстрашных штыках мы несём славу революции. На смертях наших расцветает революция, как маков цвет. В этом ли мы клялись? Дружно отвечайте мне, бойцы!

— Верна-а! — прокатилось по рядам.

— Верна-а! — подхватил Ковтюх. — Почему ж тогда прибегают ко мне эти вот бабы, одна из них разбитая в кровь? Почему жалуются мне, вашему боевому командиру, и говорят, что боец революции ворвался, как бандюга, в мирный двор, сграбастал гуся и поросёнка, избил бабу? Либо клеветят эти бабы на славные полки Ковтюха, либо есть среди нас такой распоследний чёрт, которому плевать на знамя революции? Отвечайте мне, бойцы!

Но бойцы не отвечали. Сомкнуто стояли их ряды. Каменели на винтовках пальцы. Ковтюх своим лёгким шагом дошёл до фланговых, повернулся и двинулся назад.

— Горько мне, что молчат бойцы, — сказал он с большой силой. — Позор и стыдоба! Мы в боях, как через колючий дёрн, продираемся через кулацкую Кубань, мы на Кубани льём жгучую кровь, и Ленин слушает нас из Москвы. Весь российский пролетариат слушает наш поход. А здесь какая-то бандюга тишком марает нашу честь. Уж беспроглядная, видать, это бандюга, раз боится перед лицом товарищей назвать своё проклятое имя!

При этих словах вышел из рядов бледный солдат с цыганской бородкой, бросил винтовку на землю и, чувствуя тошноту, тихо сказал:

— Это я того гуся спёр.

Ковтюх неторопливо нагнулся, поднял винтовку и, держа её обеими руками, повернулся к крыльцу. Ольга, тяжело дыша, сошла со ступенек навстречу его взгляду. Она заплетала ноги, как пьяная. Круглый камешек, сбитый её носком, докатился до ноги Ковтюха.

Ковтюх неподвижно, но горячо глядел на неё.

— Этот боец? — спросил он её.

— Этот самый.

— Гуся и поросёнка угнал?

— Он же всё.

— И в морду бил?

— Он же всё.

— Вольна-а! — закричал Ковтюх, оборачиваясь к фронту. — Бойцы, товарищи! Вот перед вами Крылов, боец четвёртой роты Приднепровского полка. Пользуясь оружием, он пустил из женщины кровь, украл у неё гуся и подсвинка. Как назвать всё это? Можем ли мы терпеть в армии бандитов? Как нам поступить с этим человеком? Быстро отвечайте мне, бойцы!

Люди, ставшие вольно, единодушно закричали о том, что нужно созвать митинг и на митинге судить Крылова. Вся площадь, усеянная бойцами и беженцами, уставленная боевыми тачанками, орудиями и телегами, пришла в движение. Толпа потекла между телег к чистенькому крылечку атаманского дома. Где-то позади толпы человек высоко поднял гуся, его перехватили другие руки, и белая тучная птица, роняя жемчужные перья, крича всей своей потрясённой душой, поплыла над головами. На лапе птицы крутилось металлическое колечко.

Тщедушный боец с нежными глазами, стоявший впереди, подскокил, на легу сгрёб гуся и присел на коленки, борясь с птицей, в смертный час свой обретшей громадную силу. Совладав с ней, он подбежал к Ольге.

— Держи! — выговорил он, обливаясь потом. — Держи своё достоиние!

Ольга обняла гуся, села на ступеньку и коленями зажала ему крылья. Ей вдруг стало страшно этого народа и всего, что здесь происходит.

У самого уха её Голосова визжала:

— Судите его, вора окаянного! Судите его воинским судом!

Гусь спрятал клюв под мышку Ольги и затих. Подняв глаза, она увидела солдата с цыганской бородой, залитого, несмотря на смуглоту, какой-то шершавой, серой бледностью.

Толпа поставила его на телегу.

Раскорячив ноги, он стоял среди домашнего скарба, среди горшков, сухолицы икон в медных окладах, среди детских люлек и домотканых ряден. Его дамский капот распахнулся, открыв подштанники, у лодыжек перехваченные красненькой конфетной тесёмочкой. Неспokoйные лошади дёргали телегу, и, чтобы не упасть, солдат приседал, выкидывая руки с распяленными чёрными пальцами. Он хотел что-то сказать, опустил нижнюю челюсть и так и не смог её поднять. Она тряслась, открыв ряд нижних блестящих зубов. Ольга вспомнила, как он, ворвавшись во двор, сказал с весёлой злостью: «Здрасьте-мордасте!» Сейчас невозможно было представить себе, чтобы этот человек, стоящий на телеге, был способен на весёлость!

Ей стало жалко его и мерзко его видеть. Митинга никакого не было. Сначала стоял великий шум, беспорядочная голосня. Люди так напирали на телегу, что передние, схватившись руками за грядки, трясли её. Мелькнуло доброе лицо артиллериста, всё в плачущих складочках кожи. Мальчик с простреленной шеей кулаком стучал по ноге Крылова. Вскоре возбуждение стало спадать, потому что всем хотелось услышать, что скажет Крылов в своё оправдание.

Кто-то из толпы, кого не было видно, голосом тонким, как флейта, задавал вопросы. Крылов, не поворачивая головы на голос, а глядя на Ольгу и на гуся, зажатого между её коленями, отвечал, стуча челюстью.

— Ты что же, собака, шатаешь нашу дисциплину? — спрашивала флейта.

— Виноватый, — отвечал Крылов, — виноватый я.
— Винова-атый?! — в недобром изумлении вздохнули бойцы.
— Ты что ж это сделал, Крылов? — допрашивала флейта.
— Я сделал преступление, но я кушать хотел.
— Если кушать хотел, добром просил бы. Кто из нас кушать не хотел?
— Столько я кушать хотел, что разум-голову потерял.
— Ра-азум потерял?! — задохнулись бойцы. — Это боец, это ковтюховец-то?

— Виноватый я, — сказал Крылов, — простите меня.

Здесь опять поднялся великий шум и продолжался долго. Ковтюх сошёл с крыльца, короткой рукой сделал знак, чтобы расчистили ему к телеге дорогу. Бойцы потеснились. Ковтюх, заложив руки за спину, прошёлся взад-вперёд. От сильного движения его рук, когда он их закладывал за спину, на рубашке его лопнула пуговица.

Едва шум затих, он повернулся к Ольге и громким голосом, разнёсшимся по всей площади, закричал Ольге в лицо:

— Бесчинство какое-нибудь, насилие делали над тобой?

Она видела, что ненависть к ней клубится и бьётся в его глазах.

Она ответила ему звонко:

— Не делали.

— А зачем говорила, что делали? А зачем морда в крови?

Голосова высунула из-за плеча Ольги остренькое лицо:

— Он кулачищем ахнул её между глаз. Сама видела!

Крылов дикими глазами взглянул на неё с телеги, обернулся к толпе и выкинул перед собою руки, сжатые в кулак.

— Ребята! — сказал он густым голосом. — Даю прямое слово бойца: не ударял я её ни в лицо и ни в куда. Я только гуся у неё позаимствовал, очень я кушать хотел. Судите меня за гуся, а за истязание женщины милуйте.

Флейтовый голос пропел из недр толпы:

— А за поросёнка, Крылов, судить тебя или миловать?

— Не крал я поросёнка, восходи!

Лошадь дёрнула, Крылов упал на колени, схватился руками за грядку. С головы его покатились фуражка почтового ведомства. Редкие и злые, коротко стриженные волосы щетинкой стояли на голове. Добрый артиллерист поймал фуражку и двумя руками надел её на голову Крылова, расправил смятую тулью.

Крылов, опершись на колени, встал на телеге, открыл рот.

— Восходи! — истерически выкрикнул он. — Этот подсвинок промеж ног у меня вышугнул на улицу независимо от меня. Даю вам клятву бойца! Подсвинка я не брал и с женщиной не шалил. Я только в гусе виноват. Пусть эта казачка подтвердит по совести.

Но здесь флейта оборвала его, крича: «Довольно допрашивать, судите его по всей строгости!» Многолюдная площадь снова пришла в движение.

Крылов тоскливо оглядывал море голов и плеч, бушевавшее вокруг телеги. Крики и угрозы вспыхивали то здесь, то там, подобные разрывам снарядов при ураганном артиллерийском огне. Эти разрывы голосов должны были казаться ему теперь артиллерийским огнём, из кольца которого не выйти. Бойцы нащупывали страшную его вину, и вот начались первые попадания! Он услышал слово «расстрел». Потом он услышал слова, связанные в беспощадные сочетания: «К стенке его, безо всякой жалости!»

И он понял, что жалости нет к нему и, вероятно, не должно быть к нему никакой жалости.

Тогда он сам потерял к себе всякую жалость, вдруг успокоился и стал тем Крыловым, каким знали его все товарищи, — батраком из-под Армавира, пошедшим за Ковтюхом расшибать в щепки буржуев и генералов, солдатом революции, через плечико поплёвывающим на смерть. Он был тем самым Крыловым, каким знали его товарищи, и вместе с тем другим Крыловым. Крыловым — вором, укравшим гуся, оплевавшим порохоевое знамя полка.

Он снял фуражку и рукавом вытер со лба холодный пот.

Президиум митинга на крыльце атаманской хаты писал приговор. Крылов сурово и терпеливо глядел на Ковтюха, на товарищей — матроса Жукова и на большевика Комарова и на то, как в руке Комарова колышется быстрый карандаш, набрасывая на клочке бумаги торопливые строчки.

Ковтюх взял у Комарова листок. Бойцы затихли. Ковтюх внятно и гулко стал читать:

— «...митинг бойцов Приднепровского полка постановляет: рядового Крылова, нарушившего железную дисциплину, опозорившего честь революции, *расстрелять*».

Услышав это, Крылов широко перекрестился, поклонился бойцам и стал слезать с телеги.

Никто не помог ему, хотя он был какой-то необыкновенный и напоминал больного. Слезши с телеги, он внимательно и умело оправил свой халат. Фуражку почтового ведомства он так надел на голову, чтобы козырёк торчал параллельно бровям. Зайдя за телегу, он оправился. Широкая, но бессильная улыбка раздвинула его чёрные губы. С этой улыбкой Крылов пошёл прямо на Ковтюха и, не доходя до него, щёлкнул голыми пятками, встал во фронт.

Необыкновенно полным голосом он сказал:

— Рапортую, товарищ командир. Рядовой четвёртой роты Приднепровского полка, осуждённый резолюцией митинга, к смерти готов.

— Есть! — по-морскому ответил ему Ковтюх.

И Ольге стало страшно — невесть чего. Ей стало страшно Ковтюха, матроса Жукова, который засунул ленточки своей бескозырки за ворот, потому что дул ветер. Ей стало страшно молчания бойцов — ух и кричали же они! — а сейчас вся площадь молчала так, словно это было кладбище. Ей стало страшно Крылова с его мёртвым телом и широкой улыбкой.

Ковтюх сказал штабу:

— Выделить отделение четвёртой роты Приднепровского полка для совершения казни.

— Прощаю, прощаю его! — закричала Ольга.

Все увидели, что она подняла гуся на своих руках и, бессмысленно качая головой, сначала пошла, потом побежала навстречу Крылову и, наклонившись, поставила гуся у его ног.

— Дарю тебе гуся, задаром отдаю! С голоду, с голоду он, простите его!

Гусь, утомлённый пережитым, поднял голову на высокой шее, посмотрел на босые ноги Крылова и сел в пыль.

Крылов оторвал глаза от Ковтюха, посмотрел на гуся и протянул ему руку, шевеля пальцами, будто давал гуся хлеб.

Бойцы, сдвинув брови, закурили трубки и свёртыши. Мальчик, раненный в шею, вдруг вышел вперёд, собираясь дать Крылову свёртыш, но испугался того, что на него все смотрят, бросил свёртыш на землю, пошёл в толпу. Множество глаз смотрело на него. Он вернулся, поднял свёртыш, мокрый от слюны, спрятал его в карман. То здесь, то там коротко ржали лошади. Люди молчали. Ковтюх посмотрел, как Ольга сидит на коленях и плачет.

Он спросил:

— Бил он тебя, казачка?

— Ни, — ответила она, руками опершись в землю.

— Отчего ж лицо твоё в крови?

— О скобку вдарилась.

— Врала подружка твоя?

— Богачка она! — тяжело сказала Ольга. — Соврала я ради неё.

— Подсвинка, чёрт его, крал наш боец?

— Ни!

— Зачем неправду говорила?

— Ой, командир, стреляй меня, расстреливай! Вместе с ним, с солдатом этим, смертную муку приму!

Подняв голову, она увидела босые ноги Крылова, большие ноги с широкими ступнями и плоскими подошвами. Они были бронзово-грязные до косточек, но между щиколотками и концами подштанников оставалась чистая полоска. Наверно, Крылов сейчас поддёрнул подштанники. Эта полоска так была жалобна, так родна!

Отдохнув, гусь поглядел на Ольгу своим блестящим глазом и сказал: «О-го-го!» Ольга ладонями упала в пыль. Нет, не была тёплой эта пыль! Осень шла на Кубань и всё подхолаживала — и травку, и деревце, и небо, и пыль! Осенний ветер шумел над Кубанью. Ветер, ветер, ты куда летишь, ты о чём свистишь?

— ...революционным решением... прощается!

«О-го-го!» — сказал гусь и пошёл прямо навстречу распростёртым рукам Ольги.

V

Услышав о том, что Ковтюх подступает к станице, атаман попрощался с семьёй и пошёл прятаться в малинник. Он присел в кустах и отсюда слушал шум войска. Захватив кончик уса пальцами, крутил его в тоненькую ниточку. Несмотря на осенний холодок, в малиннике было парно. В это лето трижды обирали малину, и даже сейчас кое-где висели налитые, сочные ягоды. На шершавом листе, прямо перед глазами атамана, сидела муха жигалка. Зелёное ступенчатое брюшко её было необыкновенно красиво. Её крылышки были прозрачны. Атаман впервые видел муху так близко. Впервые так пристально он её разглядывал. Шум войска, вступающего в Хадажинскую, всё увеличивался. Муха, пригравая бледным солнцем, высунула хоботок.

— Вот ты улетишь! — с завистью сказал старый атаман. — Эх ты! Эх ты! Вольная!..

Спустя час пришла дочка, принесла в подоле горшок топлёного молока и кусок белого хлеба.

— Чего там? — спросил атаман, в обе руки беря горшок.

— Шёл бы ты к Сметанниковым, батя, — сказала дочка, сверкая глазами. — К нам становятся штаб. Ужо убьют тебя. Зараз убьют.

Он увидел, что она оживлена, что ей всё это нравится, залпом выпил молоко, как пьют водку, отдал ей горшок и, выйдя за огороды, медленно направился к Сметанниковым.

Идя позади дворов, он озирался и прислушивался к шуму в станице. В то же время он словно руками ощупывал свою душу: в ней было что-то дрянцеватое, она похожа была на загнанную мышь, уткнувшуюся в тёмную щель.

Атаман не привык стыдиться себя, но сейчас приходилось стыдиться собственной походки и лёгкого дрожания в ногах. Его страх был унижительный, а стыд шёл от головы, от гордости, от гордого представления о себе, которое создавалось на протяжении всей жизни. Пока он шёл, то страх осиливал в нём, то побеждала гордость. От этой внутренней борьбы атамана кидало и в жар и в холод.

Слабея, он схватился руками за тын. Пятна солнца, лежащие на золотой траве, вдруг сдвинулись с места и поплыли в его глазах, сливаясь в одно огненное рядно. Он оттолкнулся от тына и пошёл дальше, рассуждая сам с собой. «Надо было выставить заставы, — думал он, — принять бой. В станице и пулемёты есть, и винтовки, и казаки. Настоящие казаки, бывшие немца, а не какой-нибудь голодный сброд!»

Он присел на бугорочек и вдруг заметил, что видит тускло и плохо из-за слёз, заставших его глаза. Вынув носовой платок с начальными буквами своего имени, вышитыми шёлком, он помял его в широких ладонях.

«Выставить бы надо заставы, стрекануть бы по ним пулемётиком», — подумал он, прислушиваясь к шуму.

«Грабёж, видимо, ещё не начинался». Отерев слёзы, атаман поглядел на крыши, но нигде не было видно пожара. «Покидать бы их всех в костры, пусть покорчились бы!» — подумал он.

С задов он прошёл к Сметанникову на баз. Здесь было пустынно, всё будто вымерло, не видать ни скота, ни домашней птицы, ни людей. У свежих тесин, заготовленных под крышу, лежал на боку самовар.

Атаман присел на тесины.

В боку самовара искажённо изобразилось его лицо в подкове опрятной бороды.

Вскоре на крыльчке появилась работница, задрала подол и, закрыв им губы, стала смеяться.

— Чему ты, чему? — сказал атаман сердитым шёпотом, закрывая глаза, чтобы не видеть бесстыдства голых девкиных ног.

— Сашку в горнице потчуют, — ответила девка, опуская подол и блестя глазами. — Сашка прощаться пришёл. Сашку потчуют.

— Будет врать-то, — приказал атаман. — Пойди кликни мне хозяина.

Терентий Кузьмич лёгким шагом спустился со ступенек, отирая усы, вымоченные похлёбкой. Остановясь перед атаманом, он косо поглядел на него, погладил себе живот и ягодицы. Спросил:

— Прятаться ко мне пришёл, атаман? Так тебя вижу?

— Шутишь всё. Смотри не перешути — тошнить будет.

— Одному Богу известно, что с нами буде. Пойдём, пересидишь в амбаре. Ковтюх, слышно, ночевать у нас не собирается.

В амбаре приятная прохлада шла с земли. Белая бабочка сверкала в тонком луче солнца, проколовшем крышу.

У закрома на низеньком табурете сидел Платон и чёрствым пальцем листал маленькое Евангелие с осьмиконечным крестом на красном переплёте — тоже прятался от Ковтюха. Он не поздоровался с атаманом, только пододвинул ему табуретку, сам пересел на пустые мешки.

Терентий Кузьмич сел на мешки рядом с сыном. Сытный обед давил на сердце. Терентий Кузьмич икнул, сунул руку в закрома — пропустил меж пальцами муку.

— Несмотря на глубокие пророчества великих евангелистов, — медленно проговорил Платон, засунув палец между страницами, — не могу найти в этой святой книге точного ответа моему вопросу. Если диавол ведёт Ковтюха, то как же Господь Бог попустил, чтобы дети тоже были среди полчищ его? А они там имеются. И они там кричат: «Хлеба!», страдают и болеют, и смерть равно угрожает им. Дети — существа, чистые сердцем, и как же допускает Господь поругание невинных? На этот вопрос святое Евангелие не даёт мне ответа.

— Ты об одном Боге не думай, — раздражённо сказал атаман, — ты диавола тоже пожалей. Чертенят ему нужно. Откуда взять? Только с земли.

— Разве что, — ответил Платон, подумав.

Он полистал Евангелие, шевеля сухими губами.

Бабочка, вырвавшись из луча, зигзагом пролетела мимо его лица и села на землю, трепеща белыми крылышками.

— Всё же не могу я убивать детей, — скромно, будто стесняясь, проговорил Платон, — не могу я убивать всё непорочное, всё невинное, всё славящее Бога чистым дыханием своим.

И, приподняв сапог, со вкусом раздавил бабочку.

Сидя среди Сметанниковых, атаман чувствовал, как в нём всё сильнее разгорается раздражение. Ковтюх-то, видать, не так уж страшен. Казакам выйти бы со дворов и ударить с флангов — только шерсть полетит. Атаман поглядел на Терентия Кузьмича, на Платона. От раздражения он младенчески почмокал губами. Казаки, прости господи! Один — святоша, ему бы кадила раздуть попу, ему бы с демонами воевать. Платон поплюнул палец, перевернул страничку, глаза у него были светлые, как у бабы в минуту крайней нежности. Смотреть на него было противно.

Терентий Кузьмич сидел молча, но казалось, что его усы и борода улыбаются.

— Отличился ты, Терентий Кузьмич! — гневно сказал атаман. — Чего это девка балакала? Беглого батрака потчуеть, как гостя?

— Потчujem, — покорно согласился Терентий Кузьмич, однако не пряча своей насмешки. — Пришёл Сашка, говорит: «Попрошаемся, Кузьмич. Навсегда исчезает точка нашего соприкосновения. Я от тебя особой обиды не терпел, ты от меня злодейства не видел. Поэтому прощай». Я говорю: «Всего доброго». Он говорит: «Встретил я у Ковтюха Ольгу, велела, чтоб я её сундучок взял. Не вернётся она к вам».

— Брешет, — равнодушно сказал Платон, не отрывая глаз от текста Евангелия.

— Сашка мне говорит: «Верь или не верь — твоё дело, хозяин. А только если веришь, то сундучок мне дай». Я отвечаю: «Уж лучше я не стану верить». Он всё стоит, не выходит, мнётся, слабый, как некормленный конь, и говорит: «Я исты хочу».

— И дал?! — закричал атаман, тряся бородою.

Терентий Кузьмич повёл на него своими вялыми, бледными глазами, но в чёрных точках его зрачков будто ластился, стлался и перебежал опасный огонь.

Опустив глаза, Терентий Кузьмич сказал вкрадчиво:

— Как не дашь? Мне моя хата и мой баз дороги. Он с полчаса в хате подышит, а мне до конца жизни в ней дышать. Ему одну ложку глотать, а мне их глотать ещё тысячи. Ничего. Сейчас сидит и жрёт — и всё молча. Похлёбки ему велел поставить, гусиных потрохов. Молчит и жрёт, но только с каждым глотком уходит из него доброта. Лютеет. Что ни глоток, то больше. Чёрт с ним! Тьфу!

Он сплюнул

— Тьфу! — сплюнул вслед за ним атаман.

VI

На закате войско Ковтюха покидало Хадажинскую. Густая кровь зари лежала на церковном кресте, прободившем мусульманский полумесяц. Длинной и нестройной вереницей тянулись конники, за ними шла артиллерия, за нею тяжёлые обозы — визжали оси, заходились в крике младенцы, и, окрашенная зарёй, нежным светом вспыхивала пыль.

Из густых садов станицы, из-под тутыней и груш, зорко глядели на войско старики станичники. Платон, растолкав стариков, грудью и руками опёрся о тын. Ямки его висков блестели от пота. Обозы шли очень долго, огибая дертянки и мельницы-вальцовки. Беженцы в одиночку и кучками шли вдоль телег, отсюда они казались муравьями.

Платон протянул руку назад и, не оглядываясь, нетерпеливо пошевелил пальцами, сказал незвучным голосом:

— Давай!

Чей-то голос откликнулся с опаской:

— Бачьте, як поспешае Платон. Не було б чего!

— Давай! — повторил Платон.

В руку его вошёл ствол винтовки, гладкий и приятно прохладный. Платон ладонью зажал его возле мушки и потянул к себе, везя прикладом по земле. Он глядел не отрываясь на телеги, уходящие в степь, на багровые клубы пыли и на женскую фигурку в белом платке, бредущую у задней арбы. Она шла легко, но неровно, как пьяная; платок, спустившийся на спину, бился на лёгком степном ветру и похож был на крылья бабочки, той, что он раздавил в амбаре. Платон вскинул винтовку, рукой ощупал затвор, и сухой, безрадостный, бесплодный восторг сошёл на его душу. Небо, пыльный шлях, сонные крылья ветряков, вся земля, Божья вотчина, вдруг обесцветилась для него, потеряла цвет и рельеф и стала плоской, как картинка, и на этой картинке ему чётко стала видна каждая чёрточка, каждый завиток. Жизнь выцвела и остановилась, и только один он, Платон, дышал и двигался в ней, и горел сухим восторгом отчаяния. Локтем левой руки он опёрся о поперечную жердь тына, установил в руке винтовку и впалой коричневой щекой прижался к ложе. Тогда перед сощуренным глазом его на конце дула появилась белая фигурка Ольги, будто бабочка села на ствол и мягко помахивала белыми крылышками. Потом белое пятно платка надвинулось на самый глаз, будто вошло в зрачок и затопило его. Платон дёрнул спуск. Плечо его заныло. Звук выстрела на дворе расколол его душу. Он бросил винтовку о

землю и, не глядя на стариков, твёрдым, бессердечным, машинным шагом пошёл в глубь сада, задевая головой за ветви яблонь — яблоки били его по высокому лбу.

Пуля пропела высоко над головой Ольги, и, не поняв её песни, Ольга не подняла головы.

Она шла в хвосте обоза, держа за руку чужого казачонка в тряпичной шапке и мужской вылинялой рубахе. Рядом на арбе, ныряющей в лад ходу лошади, сидел древний старик, тот, что помешался в походе, — он держал Ольгиного гуся на своих остренских, сухих коленках, глядевших в прорехи его портов. Гусь кричал, старик ладонью зажимал ему клюв и, показывая белые дёсны, смеялся, как ребёнок.

— Шадись, молодка, к штарику, — сипел он сквозь смех, — отсюда мне видать обетованную землю!

— Молчи уж, древний, — тихо говорила Ольга и всё заглядывала, нагибаясь на ходу, в ясные глаза казачонка.

— Придём вшем народом, разляжемся на обетованной земле, — сипел старик, — а бог сидит на ней, рожа крашная, одежда царшкая. Што ты скажешь? Повелит он нам: «Пошли взад, вшивый народ!» Што ты скажешь? «Я, грит, чиштого народу кликал на обетованную землю — генералов и тузов, помещиков, родных моих племяшей на земле — одну чиштую птицу. А вы, народ, — птица нечиштая, провалишь, народ, развейши прахом, дымом беги от глаз моих!» Што ты скажешь? Тогда подходит к нему начальник Ковтюх, р-раз ему в шытую харю, глянь-поглянь, а бога-то нет, одни черепки, и всё шлавно.

— Не богохуль, — сказала Ольга, — тебе помирать скоро.

— Да я ж ужо помер, ужо на той ли переправе, где не дали мне хлеба, — серьёзно ответил старик, и улыбка сбежала с его чёрствых губ. — Один дух мой ш вами. Што ты скажешь?! Не шледовало мне перед шмертью читать противобожных брошур. Без этого брошура я, хрен тебя ешь, может, вштрел бы Шуша Хришта, а так на небе ни души нет.

— И коли тебя угомон возьмёт? — сердито сказал казачонок, поглядел на дедовы коленки, сплюнул, потом поглядел в лицо Ольги.

Так они шли около часа, и Ольга смотрела, как широкий шар солнца, огрузнев, коснулся земли и вдруг вытянулся и стал похож на столб. Длинное облако словно кушаком перепоясало его. От долгой ходьбы и таборного шума Ольга оглохла. Она шла босиком и вдруг поняла, что шлях перестал жечь её подошвы, что воздух посвежел и близка ночь. Словно проснувшись, она дико огляделась вокруг.

Никого не было знакомых среди этих расхристанных тысяч людей, они текли в неизвестность, по выжженной степи, как течёт по руслу реки косяк рыбы. Казачонок, которого она продолжала держать за руку, устал и спотыкался. На коленях у деда всё ещё кричал гусь, мерцая голубым глазом. Ой, куда ж ты идёшь, Ольга? С кем блукаешь, с каким байстрюцким войском, да не с той ли вшивородной гольтепой связала ты свою судьбу?

Она вдруг с прозрачной ясностью представила себя посреди своего хозяйства, брошенного ею, увидела дом, свой двор, свои базы, своего послушного свёкра и гнилого мужа, который будто затем существовал в её жизни, чтобы рядом с ним, уродом, она казалась красивее. Вот какое счастье ты бросила, Ольга! Ветер, ветер! Что ж ты, Ольга, повернулась против него лицом, что ж ты бредёшь, сумасшедшая Ольга, навстречу его мстительной силе? Он же сорвёт с твоих плеч платок, он же повалит тебя и бросит в пыль, эх, сумасшедшая Ольга!

Казачонок дёрнул её за юбку, попросился на арбу. Ольга подняла его и посадила рядом с дедом, который дремал, обняв гуся. Грустная борода его лежала на спине гуся. Посадив казачонка, Ольга почувствовала, что сама устала и едва бредёт. Она прошла некоторое время, держась за передок; ей показалось, что она заснула на ходу, она разлепила веки и неловко, как старая, взвалилась на арбу. Она легла за спиной деда на тряпьё. Под головой её лежал пучок сухих веток, припасённых для костра. Казачонок, уснув, свалился на её ноги. Гусь на коленях деда затих. Арба покачивалась, как лодка на воде. В пустынном, глубоко зеленеющем небе Ольга увидела одинокое облако в виде кольца. Это было то облако, что недавно перепоясывало солнце, ветер быстро гнал его и вдруг разорвал кольцо, и облако, вытянувшись в ленту, вдруг понеслось очертя голову на край света.

Ольга спала и проснулась от голоса Сашки. Держа коня в поводу, Сашка шёл рядом с арбой, он был страшно бледный, но весёлый, больше ничего не говорил, и всё-таки было видно, что он весёлый.

Ольга села в телеге и смотрела на Сашку, испытывая почти непереносимый страх. Сашка шёл, мелькали пучки подорожника, которые он засунул себе за голенища.

Страх не проходил.

Ольга подумала, что до конца жизни обречена этому человеку. Она облилась потом, страх её прошёл, и она увидела, что рубаха у Сашки очень грязная и её нужно постирать в первой же речонке.

Пройдя за арбой около версты, Сашка вдруг приблизился и, схватившись за передок, поглядел прямо в лицо Ольге. Она готовно нагнулась к нему, покорная и печальная. В зрачках Сашки плыло зелёное небо. Держась за передок, Сашка шёл боком, занося правую ногу за левую.

Он сказал шерстяным голосом:

— На биваке ты не спи, Оленька. Я приду, ты, Оленька, не кричи.

И она ответила покорно:

— Задавлю свой крик.

Тогда он взвалился на спину коня, неловко дёрнул ногами, сел в седло и, не оглядываясь, поскакал вдоль обозов.

И Ольге запомнилась от этой встречи только страшная Сашкина бледность.

VII

Где-то там, в голове похода, в штабе, был отдан приказ становиться на ночлег. Мимо арб проскакали верховые, назначенные на дозор в арьберггарде. Потом прошёл отряд матросов — чёрные ленточки, золотые якорьки: Ковтюх на крайний случай выставлял заслон со стороны Хадажинской. Чистое, свободное от облаков, откровенное небо играло тихим золотом звёзд. Арбы и телеги сгрудились; стало похоже на ярмарку, только недоставало весёлого гомона. Выпрягли лошадей и волов, пустили их в степь. Сторожить их пошли деды и подростки. На привале зажгли костры. Запахло разогретыми чугунками. Вместе с худой, жилистой молодой таманской казачкой Ольга варила траву в кипятке, посыпав в чугунок соли, покрошила хлеба. Казачка была потная, в лихорадке. Она говорила, лоя зрачками пламень костра:

— Ох, надо жить! Ох, как жить-то надо!

Безумный дед вдруг обрёл большие силы, он ходил между арбами, спрашивал:

— Угодника Николая не прячете? Нашолил мне в жизни Николай-угодник, хочется ему потрясти бороду. Што ты скажешь?

Ольга хорошо знала эти места: здесь в прошлом году атаман продавал свои улеши, а она с Терентием Кузьмичом ездила в лаковом тарантасике мерить землю. Она знала здесь неглубокую балочку, поросшую осокой, сон-травой и беленой. Она встала, загорелась щеками и пошла в балочку ждать Сашку. Как она ждала его, как жаждала! Всей растерянностью души она жаждала его: придёт, обнимет, повалит на землю, крест и радость женщины, и последняя тревога за дом, за деньги, за проклятый якорь богатства навеки, навеки потонет в его любви. Она сошла в балочку, запах белых чашек дурмана закачал её. Она вспомнила горы, воздух юга, бараны шкуры, навешанные на бечеве, ветер, ветер, мальчика Сашку и его слова: «Пойдёшь за меня женой? Вырастешь... торопиться-то некуда».

Она засела в зарослях дурмана, и ей вспомнилось, как час назад они проехали мимо того места, где убили Кованька. Это было плоское место, даже холма не было на могиле Кованька. Кто-то прикатил валун на его могилу, и на этом валуне лежал чей-то перстень: много казаков ездило по этой дороге, но никто не взял перстня, потому что тихий его блеск был блеском памяти о Кованьке. Ольга проехала мимо могилы, и душа её будто выдохнула дым и стала чище. Овчины на бечевине, ветер, пустынное море за горами. Пусть же Сашка повалит её на землю, она лопатками почувствует эту землю под собой...

Он пришёл и был нехороший, весь в липком поту, хотя было по-ночному свежо. Он бросил в траву картуз, картуз перевернулся доньшком кверху, на доньшке было написано слово: «Ленин».

Дышал Сашка тяжело, она посадила его возле себя, ей было так же весело, как тогда, когда по зимней пороше она летела к венчанию, так же весело, но и гораздо лучше. И вдруг она почувствовала, что у неё пропал всякий страх к Сашке, она ощутила своё тело как неслыханное богатство, которое сейчас кинет под ноги Сашки, и осчастливит его, и поработит.

Но её большая власть вдруг сломалась — так же вдруг, как возникла. И Сашка ей стал дорог по-иному. Он тянулся к ней длинными худыми руками, она поймала руку, поцеловала её в твёрдую ладонь, Сашка стал для неё такой ясный, что захотелось петь.

Он навалился на неё грудью, и она почувствовала, как его пот пропитывает её рубаху. Она рукой схватила прядь его волос, подёргала её. Она увидела страшную зелень его лица, но боязнь за него не дошла до неё.

Держа её в своих руках, Сашка сказал почему-то на украинском наречии:

— Так нэма ж кращего, як наш край.

Руки его ослабли, он упал на спину, и будто ветер встрепенул его тело.

Она наклонилась над его телом, бьющимся в конвульсии, и совсем не испугалась его, потому что знала, что любовь к Сашке, если она займётся, будет не похожа на всё то, чем она жила раньше. На губах Сашки выступила пена. Ольга сорвала пучок сон-травы и отёрла его рот.

— Так нэма ж кращего, — повторил Сашка через муку и вдруг отчётливо произнёс: — Подсыпал мне Терентий Кузьмич яду. Если встретишься, помяни ему эту ночь.

Он стал вытягиваться, она всем телом легла на него, он плюнул пеной, и она успела поймать закат его взгляда. Под своим живым телом она почувствовала его ещё горячее тело, которое дарило своё последнее тепло степи, земле и ей, Ольге. Ей показалось, что сейчас наступит всеоб-

щая смерть: людей, звёзд и земли. Она ошиблась. Она увидела себя сидящей в зарослях балки, Сашка лежал мёртвый.

Ольга встала и пошла из балки, ветер был встречный, но не сильный, против него было легко идти. В таборе горел только один костёр — его шевелил безумный дед.

На шляху цокали копыта.

Всадник в солдатской гимнастёрке скакал вдоль лагеря, увидел Ольгу и осадил коня. По манере его движений Ольга узнала Ковтюха.

Ковтюх спросил, взглядываясь в темноту:

— Чего слоняешься, баба?

Ольга сказала тихим голосом:

— В балке-то. Отравленный. Сашка.

У Ковтюха в войске было с тысячу Сашек. Но он снял армейскую фуражку, подержал её на отлёте, сказал: «Честь павшему за революцию!» — и, ногами сжав бёдра коню, поскакал в ночь. Ольга слушала, как падают в пыль копыта его коня, и вдруг она увидела, что ночь прошла, что небо порозовело и что нужно идти дальше.

ЛЕОНИДУ БОРОДИНУ — 70!

Были на Руси деревянные кремли. Вкопанные в плотный земляной вал, высились сплошные срубы бревенчатых стен, сурово громоздились проездные ворота с коваными створами, а над входом взирал из глубокого киота озарённый лампадою образ Христа. Там, внутри, шла своя жизнь, строились дома и храмы, трудились ремесленники. Набеги врагов обжигали эти стены, время выглаживало их ветрами и снегами, но плоть кремля только становилась прочнее, каменела от протекших лет, приобретая цвет чёрного серебра...

На такую крепость похож Леонид Бородин — известный русский писатель, лауреат российских и международных литературных премий, с 1992 года — главный редактор журнала «Москва».

Дорогой Леонид Иванович! Вот уже более десяти лет «Коломенский альманах» связан с Вашим журналом — и в издательском, и в творческом плане. Журнал «Москва» для нас не только ориентир — он светлый маяк, к которому держит путь наш альманах.

Мы рады, что Вы — не чужой для Коломны человек: Вы бывали здесь и в ту пору, когда собирали материал для повести о Марине Мнишек — «Царица Смуты», и позже — как член редакционного совета альманаха.

От имени всех читателей нашего древнего города поздравляем Вас с юбилеем, желаем Вам крепкого здоровья, душевного равновесия и новых, по-бородински правдивых и умных книг, умножающих славу русской словесности!



Виктор Мельников,
главный редактор «Коломенского альманаха»

РУССКОЕ
ЗАРУБЕЖЬЕ





Фото Виталия Хитрова

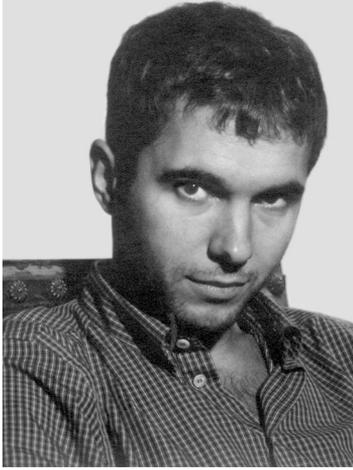
Андрей КОСТИН

СЕРЖ И ДЖЕЙН

ПОЭМА

On s'est aime
deja, mais —
nuance:
la decadence¹.

С.Гензбур



Андрей Григорьевич Костин родился в 1968 году в Коломне. Учился в Военном институте иностранных языков в Москве, продолжил образование в Париже.

Андрей Костин принадлежит к плеяде молодых поэтов, активно вошедших в литературную жизнь во второй половине 90-х годов. Его стихи печатались в журналах «Арион», «Новый мир», «Новая Юность». В 1999 году вышел первый сборник стихотворений — «Immaginaria».

В его новой поэме «Серж и Джейн» три главных действующих лица — помимо заглавных героев это ещё и Париж, где автор провёл годы учёбы и чей образ ярко и необычно для русской поэзии преломился в его стихах.

Живёт в Милане.

Серж Гензбур, французский поэт, композитор, исполнитель, был и остаётся популярным у себя в стране так, как, пожалуй, Высоцкий — у нас в России. Безумно талантливый, он не вписывался ни в какие рамки.

Серж долгие годы страдал комплексом по поводу своей внешности: фигура отнюдь не тарзаническая, невысок, узкие плечи, оттопыренные уши, нос... Нос на самом деле изумительный. Несмотря на еврейско-русские корни (его родители родом из России, Серж знал несколько фраз по-русски), это, скорее, нос французской лепки: крупный, но более чётко очерченный, тонкой работы ноздри, высокая, но узкая переносица и, соответственно, — форма горбинки. Французскость взяла своё, или язык побеждает гены.

Гензбур писал стихи к мелодиям Брамса и Шопена и свою музыку — по мотивам стихов Верлена, Превера. Он стал авторитетом для американских джазистов.

Но сначала Сержа притягивала живопись, он мечтал быть художником.

Песни Гензбура шли нарасхват у профессиональных исполнителей, но вдруг их запели безголосые: Анна Карина, Брижит Бардо, Джейн Биркин, Изабель Аджани, Катрин Денёв, Ванесса Паради. Хорошая компания.

«Je t'aime... moi non plus»² — так называлась песня, которую Серж Гензбур написал в 1968 году для Брижит Бардо. Бардо отказалась её записывать — песня шо-

кировала откровенной эротичностью. Серж поклялся, что песня не прозвучит никогда.

В 1968-м на съёмках фильма Гензбур знакомится с Джейн Биркин, никому не известной английской манекенщицей. Джейн — 21, она, в отличие от большинства манекенщиц сегодняшних, действительно красива и наивна. Она ещё не говорит по-французски, когда влюбляется в человека с внешностью Квазимодо и репутацией циника. Сержу — за сорок, скоро эту парочку будет обожать вся Франция. Дуэт Сержа и Джейн «Je t'aime... moi non plus» обошёл полмира, принёс Гензбуру славу, сопоставимую со славой Набокова после выхода «Лолиты». Песня долго держалась на первых местах в хит-параде Англии и была запрещена цензурой в Италии.

В 1971-м у Сержа и Джейн родилась дочь Шарлотта.

В 1984-м — дуэт Сержа и Шарлотты «Lemon incest». Один из последних фильмов, снятых Гензбуром, — «Charlotte for ever»³.

Теперь Шарлотта — известная актриса, очень талантливо сыгравшая Джейн Эйр. У неё есть сын, но она никогда не позволяет его снимать фоторепортёрам.

Когда Серж и Джейн расстались, он продолжал писать песни и время от времени эпатировать публику.

Гензбур умер 2 марта 1991 года.

Джейн Биркин живёт в Париже, она известна и любима прежде всего как исполнительница песен Гензбура.

«Серж» и «Джейн» — это вымышленные имена, в поэме ничего, кроме города, не имеет отношения к реальности. Хотя степень реальности Парижа у каждого своя.

Автор

I. Серж

1

Как в голове гудит
после вчерашнего. Серж,
помят на лицо, небрит,
но в чистой сорочке — свеж,
одну за одной дымит,
злобно шурясь на брешь

яркого света в окне,
из-за тяжёлых штор.
Джейн не звонила. Не
хочет — не надо. Узор
теней на полу, спине
рояля. Утро — минор,

скука, повтор. Рука
ищет, куда стряхнуть.
Столбик из пепла пока



дрожит, но ещё чуть-чуть —
и, край обнажив уголька,
медленно рухнет. На грудь

так падала Джейн ладонь.
Вместо, мысленно, черт
бывшей подруги тронь
клавиши и, интроверт,
кутаясь в дым, как в бронь,
выдохни после: «Merde»⁴.

Наверное, не позвонит.
Каждый по-своему горд,
сам по себе — сибарит.
И в полутьме аккорд,
будто повиснув, звучит:
крик, летящий за борт.

2

Массируя пальцами горб —
косточку носа, сильней
стирая кулак о лоб,
меж приоткрытых дверей
Серж различит гардероб —
уже без её вещей,

то же окно, кровать.
Боль в голове на ходу
трудно не расплескать.
Кухня от дыма — в чаду.
Где только, если б знать,
были лекарства. Еду

лучше не видеть. «Gitanes»⁵.
Белые на голубом
буквы. Мутный орган
бокала с широким дном.
Виски льётся под кран,
пахнет, будто клопом.

У Джейн, наверно, другой.
Бросив таблетки и
залив аспирин водой,
Серж, торопя глотки,
прижавшись сухой губой,
шипящие пьёт пузырьки.

Пачка «Gitanes», коробок.
Просто — начало дня.
Эти слова, голосок:
«Мы будем теперь друзья».
Лучше найдём недотрог,
невысоко паря.

3

Намеченный раньше обед,
заполненный встречами день —
шизофрения, бред.
Легче, пожалуй, мигрень.
Забраться скорее под плед
в надежде, ослабив ремень

и на груди расстегнув —
белое на голубом —
пуговиц пару, уснув,
хотя бы некрепким сном,
боль, а не пепел стряхнув,
явь приглушить — потом.

Сознание воспалено,
забудется, передохнёт.
Покажет цветное кино,
лучше — запретный плод.
Другая, кто — всё равно.
Только бы Джейн не в счёт.

Скорее. Диванная ткань
сомкнётся с шершавой щекой:
так гладит листом герань,
обратной его стороной.
Скорее, касание, стань
бархатом кожи, рукой.

Тяжесть бровей, ресниц,
свинцово упавших век.
Радуги, вспышки зарниц.
Их угасание, бег.
Лишь негативы лиц.
Если бы сон — поблек.

4

Под Новый год маскарад.
Музыка, шум. Её
рядом подруги. Брат
носит большое копье.
Серж, ничему не рад,
кофта и шарф — blanc bleu⁶ —

выкрашен, как Чингачгук.
Обруч из перьев мал.
Стрелы, пластмассовый лук.
Пляшет, гогочет зал.
Всё надоело, и вдруг —
будто индейский оскал,

тёмное что-то в лице:
он видит его, врага,
там, на другом конце
пёстрой толпы. Серьга —
как и тогда, на крыльце.
Как и тогда. Пурга

мела, заноса силуэт, —
не разделить пополам.
Сколько, заранее, лет
Не заживающий шрам?
Джейн, поправляя берет,
тянулась к чужим губам.

Джейн!.. Объятия их
вьюжил, покачивал снег.
За неимением других
в эти мгновения — век —
ветер, метель — в понятых:
если бы сон — поблек.

5

Холодно, как наяву.
Оцепенение, шок.
Заметив из перьев ботву,
кто-то пускает смешок.
Нащупать локтём тетиву —
тугую и тонкую — шёлк.

Откуда же столько людей,
ломающихся весело в бар?
Бритый детина — халдей
замёрз, выдыхает пар,
мнётся вблизи дверей.
Какой это, кстати, бульвар —

Распай или Сен-Мишель?
Море гудящих авто.
В стёкла лепит метель.
Рядом с рекламой лото —
мокрые — будто бы гель —
волосы типа в пальто,

с которым стоит она.
То жар, то озноб внутри.
Снежный завес, пелена.
Этот бульвар, фонари,
как декорации сна,
как негативы, — рви.

Тёмные контуры крыш.
Весь этот город — мним.
Эти фасады — лишь
улиц придуманных грим.
Ночные огни. И Париж
будто пьянит, подхалим.

6

Город, хоть ты утешь.
Город, ещё один ход.
Не двигаясь с места, Серж
колет ботинком лёд.
Не двигаясь с места, меж
ряженных, в свой черёд

спешащих попасть за порог,
он держит незримый рубеж.
Снежный индеец, стрелок.
Tombe, tombe la neige⁷.
Город, из этих строк,
как по живому, режь.

Ватные пальцы рук,
и на лице — немота.
Всё, что творится вокруг,
весь маскарад, суета —
это лишь сон, Чингачгук.
Эта картинка — не та.

Другие — твои берега.
Не зря боевой раскрас.
Медленно гнётся дуга,
стынет на уровне глаз.
Пряди волос, серьга.
Стрела попадает в паз.

Мимо проносит гурьбу.
Теперь, не дыша, тяни.
Пёрышко тронет губу.
Двое, так близко — они.
Пряди волос на лбу.
Белые ночи, дни.

7

Память, ты лучший друг,
попробуй её вернуть.
Память, любимый недуг,
не сомневаясь, забудь,
пуская на волю, с порук,
капельку боли — ртуть.

Après, qu'est-ce qu'elle me dira⁸?
Крошки из мрамора — снег.
Звёздная пудра. Игра
тающих слов для калек.
Sous-до-ро-га-бе-drap⁹.
Изваяние, но не грек.

Тёртый кокос с небес.
Нашествие белых мух.
Давит на плечи, как пресс,
куртка — гусиный пух.
В воздухе — бритва, дизел,
режущий, но не слух.

Так, по пути со стрелой
вылетит: с Джейн или без.
Придуманный только мной
Сон наяву — исчез.
Да, я — мстительный, злой,
последний, но не ирокез.

...Скаल्प. Кровавая плешь.
Чей-то далёкий стон...
Кадр обрывается. FLASH.
Кто это — Джейн или он?
Tombe, tombe la neige...
Придуманный нами сон...

8

Ещё не очнулся взгляд.
Прямо над ним — потолок.
Долго исследуя ряд
лепнины, который убог,
глаза ещё будто горят,
ищут причину, исток.

Они ещё там, а не здесь,
им нужен начальный отсчёт —
найдя его, чувствуют резь.
Серж их лениво трёт,
крутит обратно весь
ролик и морщит рот.

Джейн, это всё — déjà vu¹⁰.
Я словно теряюсь в сквозном
пространстве, ещё дремлю
вне времени. Поделом.
Будто набросят петлю
фантазии задним числом.

«Jane»¹¹. Её руки на
мне или ком-нибудь.
Плечи, волос копна,
губы, талия, грудь.
Сцепленных тел струна,
чтобы потом уснуть.

Будто из всех измен,
прошлых и будущих, нам
нечего взять взамен
и разделить — пополам —
Джейн, эту пытку, плен...
Джейн, я забуду, сам...

9

Высокий, однако, стиль,
как аспирин — не впрок.
В комнате тихо — штиль.
Представь, что сейчас — звонок.
Полосы света, пыль
на купленном ею «Vogue»¹².

Пыльный журнал — в залог...
Тусклый зашторенный свет.
Серого дыма клок.
Съехавший на пол плед.
Серж через тонкий носок
ступает на гладкий паркет,

и по нему филигрань
на первом шагу скользит.
Будто в ответ, гортань
выдохнув «merde», хрипит.
Кашель заглушит брань.
Мы вышли из смежных орбит

растущей своим чередом
в каждом из нас тоски.
Но всё-таки были, с трудом,
но, кажется, были близки.
Джейн, когда мы — вдвоём,
давят нежнее тиски.

Остались привычки, часть
общей посуды, друзей.
Ревность — смешная напасть,
воображение — злей.
Осталась, условно, страсть
неповторимых ролей.

10

Кухня и кафельный пол.
Снова — бокал воды.
Облокотясь на стол,
пепла задуть следы.
Наш островок, атолл
близости или вражды —

капля на дне, в глазах.
Когда-то мы будем седы
и отделим, в мечтах,
от прошлого тёмной руды,
Джейн, на других именах
полоску прозрачной слюды.

Серж неловко плеснул
на руку, пнув табурет.
Вяло ладони стряхнул
и закатал манжет.
Улицы ровный гул,
и, на стене, трафарет

рассеянных мягко лучей.
Если бы вправду — миг:
мерещится звон ключей.
Утопия. Солнечный блик
отживших уже мелочей.
Утопия — шёпот ли, крик

взгляда, без слов: «Это — я,
Джейн. Я вернулась. Вот...»
Голос: «Ты ждал меня...»
Солнечный блик, излёт
утра, начало дня.
Il ne nous reste que de¹³...

II. Джейн

1

...cendre. Пепел. Ash¹⁴.
Над зеркалом плавно кружат
пылиночки пудры — beige.
Сделав полшага назад,
брызнув на шею «Calèche»¹⁵,
Джейн осмотрела наряд.

Вместо привычных, в обтяг,
джинсов, футболки и
лёгких кроссовок — пиджак,
узкая юбка, чулки.
Сумка, а не рюкзак,
блузка и каблуки.

Чтобы взглянуть со спины,
выгнуться талией вбок.
Волосы, тяжесть копны —
не очень тугий пучок.
Заколка, со стороны —
миниатюрный смычок.

Туфель подъём невысок.
Джейн повернёт, привстав,
тёмную лайкру ног,
икры, коленный сустав,
точка опоры — мысок,
и отряхнёт рукав.

Опять разворот, повтор.
Тело застыло дугой.
Лопатки, сужая зазор,



смыкаются между собой.
Фигурка — тореадор
с запрокинутой головой.

2

В белом плафоне разлит
бархатный свет. Вода,
неплотно закрыта, журчит.
Серж не звонит — ерунда.
Трубка, что рядом лежит, —
ни пользы и ни вреда.

Убрать в косметичку
пудру и тени «Lancôme»¹⁶.
Редкие капли, душ —
словно больной метроном.
Жалость к мужчине — чушь.
Не думая лучше о нём,

«кто всех милей» скажи
в профиль, потом анфас,
долго, в упор, в витражи
серо-зелёных глаз.
Дымка из слов, миражи,
сомнительный парафраз

в тяжёлой, как сон, голове
пятое утро подряд.
Особенно эти две
последние ночи — ад.
Дрожащий клубок на софе.
Пальцы виски леденят.

Тонкая рук белизна,
и паутинка вен.
Такой же узор, тона —
прожилки на мраморе стен.
Кожа лица — бледна,
как полутень — гобелен.

3

На выдохе плавно качнуть,
касаясь холодным лбом
об амальгаму, грудь.
Пальцы накроют хром —
кран наконец повернуть.
Старая песня, синдром,

который на первых порах
может легко всколыхнуть
приступ отчаянья, страх.
Будто глазами шепнуть:
«Перегорело. Прах»,
как заклинание. Будь

проклята эта тишь
с призраками квартир.
Имя — всего лишь фетиш.
Утро — немой ювелир.
Там, за окном, Париж,
люди, весёлый мир.

Имя — любой уголок,
каждый дверной проём,
шторы, кровать, потолок,
комнаты, пыль под столом,
пол, коридор и порог.
Запахи, дом целиком

будто вели дневник,
хронику наших имён.
Дом ещё сам не привык.
Чувствуя, что обречён,
точно плывёт на миг.
Зеркало, белый плафон.

4

Настроив на резкость зрачок,
Джейн различает вновь
контуры впалых щёк,
гладит мизинцем бровь,
ладонью — воротничок
шёлковой блузы. Кровь

стынет под кожей рук,
слабо мерцая, — ртуть.
Ноготь, вонзаясь, как плуг,
чтобы потом обогнуть
линию рта — полукруг,
пустится в долгий путь

по корочке сжатых губ.
Будто стеклянный взгляд.
Отенок помады — груб.
Серж не любил помад.
Весь этот выход — глуп.
Зачем каблуки, наряд —

чтоб удивить подруг?
Весь этот на день план —
слабость, какой-то трюк,
умышленный самообман.
Шёпот — спасательный круг
в зеркале мраморных ванн.

Тени по веку смажь.
Он уже не позвонит.
Тонкая фальшь — макияж
вряд ли кого убедит.
Лишь напускной кураж —
треснувший голос: «Shit»¹⁷.

5

Нервно плеснув лосьон,
вытереть наспех грим.
Бежевый слой — микрон.
Эти черты под ним
Серж называл «garçonne»¹⁸,
видел лицо таким.

Скомканный ватный диск,
снова — струя. Напор
бьёт рикошетом брызг.
Внутренне — наперекор,
будто бы зная риск,
незавершённый спор

Джейн оборвёт: верней
больше самой не звонить.
Ждать ли иных вестей?
Так, и в молчании — нить.
Вскинув углы локтей,
волосы — распустить.

Грузно, уровня плеч
ниже, примерно на треть,
рухнет копна. Отсечь
это в пучок — не сметь!
Позже, на солнце, жечь
будет отливом в медь.

Au gevoir, зеркала!
Джейн, на ходу побросав
туфли, будто со зла
дёрнув пиджачный рукав,
где-то по шву порвала...
Вот уже спальня, шкаф.

6

Быстро, почти на бегу,
блузку стряхнуть с руки.
Джейн, прикусив губу,
снимет бретельки, и,
лишь оттенив худобу,
нежный рельеф — бугорки,

даже не дрогнув, мелькнут.
След на боку — курсив.
Новые вещи жмут.
Полку разворошив,
вдруг обернуться: жгут
будто бы плечи. Миф:

разве мы были вдвоём?
Это коснутся дни,
как запрещённый приём,
край не разжав простыни,
стеленным вместе бельём:
«Серж, у себя натяни».

Сцепленных тел нелеп
переворот, двуспинн.
Тихая комната — склеп
эха из звуков, картин.
Майка попалась «GAR».
Шорох джинсовых штанин

спешно минует паркет
мимо оконных ниш.
Пара простых полукед —
радость ступни. В Париж,
дальше, надеясь, от бед,
выпорхнуть, словно стриж.

7

Воздуха первый глоток.
Зелень и шум тополей
бросят на щёку листок,
влажный и липкий. Вклей
города часть в эпилог
неотделимых долей.

Город — начало, пролог.
Ширь Елисейских полей,
Сена, сады — исток.
Ночью бульвар — фарисей.
Воздух Парижа — рок.
Ты, в одиночку, сильнее?

Справа — макушка Eifel,
будто бы в первый раз.
Серых домов акварель
высохла только сейчас.
Воздух Парижа, апрель —
в каждом отдельно, в нас?

Арки, налево, торец.
Узкий деревьев клин.
Город — спасенье, конец.
Так, без особых причин,
видит, небесный жилец,
каждого — до сердцевин.

Выгнув по ветру ребро,
катапультировав тлю,
лист полетит, как перо —
маленький принц авеню.
Может, над Trocadero
сделать успеет петлю.

8

Я, как когда-то Превер,
мёртвые листья ловлю?¹⁹
Наш за оградой сквер.
Тонкую роскошь свою

дарят Марсо и Клебер.
Город, я нас — делю?

Через восьмой район,
Мимо Marbeuf, Tremoilles,
город, как сладкий сон,
в памяти перелистай.
Шелест платановых крон
выдохнет вслед: «Прощай».

Старые улицы. В них
выцвели камни стен.
Солнце, гранит мостовых,
в городе — без перемен.
Тот же, на нас двоих,
воздух Парижа — плен.

Всё как вчера на миг:
лица людей — парижан,
тот же отель, бутик,
те же фасады Османн.
Если идти напрямик —
наш, за углом, ресторан.

Через Montaigne к Alma.
Стёкла витрин, тротуар.
Джейн побредёт одна
мимо гуляющих пар.
Воздух Парижа, весна,
где расставание — дар?

9

Столики. Официант —
фартук и чёткий пробор —
также ровняет кант
скатерти, трёт прибор.
Скоро нахлынет десант.
«Bon appétit, alors»²⁰.

Чашка, остывший тост.
Башню и здесь, из кафе,
видно не в полный рост.
Город — в Верлена строфе:
площади, Сена, мост —
чтобы сказать «je m'en vais»²¹.

Полдень ведь наш разлит
тенью аллеи Bosquet.
Клумбы вокруг Invalides.
Будто бы всё — вдалеке.

Так, между нами висит
город — на волоске.

Дальше — Sevres-Babylone.
скоро уже Luxembourg.
Те же скамья и клён,
гравий, набор скульптур.
Не достаёт — шаблон —
нас, восковых фигур.

Так, половину пути,
через Латинский квартал,
вместе теперь не пройти.
Город заранее знал:
«Я ухожу. Прости», —
кажется, он внушал.

10

Будто всё тот же листок
долго чертит спираль,
чтоб приземлиться у ног.
Солнце. Palais Royal.
Веер фонтана широк.
Водная пыль — эмаль,

перелетев за круг,
встретит преграду скул,
шеи, ключиц и рук.
Джейн отодвинет стул.
Тот же, знакомый звук:
смешанный с шелестом гул,

брызги и детский крик.
И на щеках роса.
В каждой истории — пик.
После, увы, — полоса?
Так приближали тупик
Наши глаза, голоса.

Чем заполняет теперь
время утраченный Сван?²²
Будто соблазн потерь,
что это в нас — изъян?
Тление времени мерь
болью любимых ран.

Город живёт, смеясь.
В небе — предел высоты —
пересекутся, длясь,
белые ленты — бинты.

Бантик на память, связь.
Я и Париж. И ты.

Пояснения

¹ Дано:
мы были влюблены.
Да, но —
нюанс,
наш декаданс.

(Строки из дуэта С.Гензбура и Д.Биркин «La Décadence», 1971).

² «Я люблю тебя... а я уже нет» (*фр.*).

³ «Шарлотта навсегда» (*англ.*).

⁴ Разговорное ругательство, «чёрт» (*фр.*).

⁵ Марка крепких французских сигарет.

⁶ «Белый голубой» — французская марка одежды.

⁷ Падаёт, падает снег (*фр.*) — строка из популярной песни бельгийского певца и композитора Сальваторе Адамо 70-х годов прошлого столетия.

⁸ Что она скажет мне потом? (*фр.*).

⁹ Игра слов. В «судороге бедра» выделены первый и последний слоги: «sous drag» (*фр.*) — под простынёй.

¹⁰ Дежа вю (*фр.*).

¹¹ Джейн (*англ.*)

¹² Название французского журнала.

¹³ Нам остаётся лишь пепел (*фр.*).

¹⁴ Пепел, зола (*англ.*).

¹⁵ Марка французских духов.

¹⁶ Марка французской косметики.

¹⁷ Разговорное ругательство, «чёрт» (*англ.*).

¹⁸ От фр. «garçon» — мальчик. Garçonne — слово женского рода. Серж, видимо, подчёркивал подростковую андрогинность в облике Джейн.

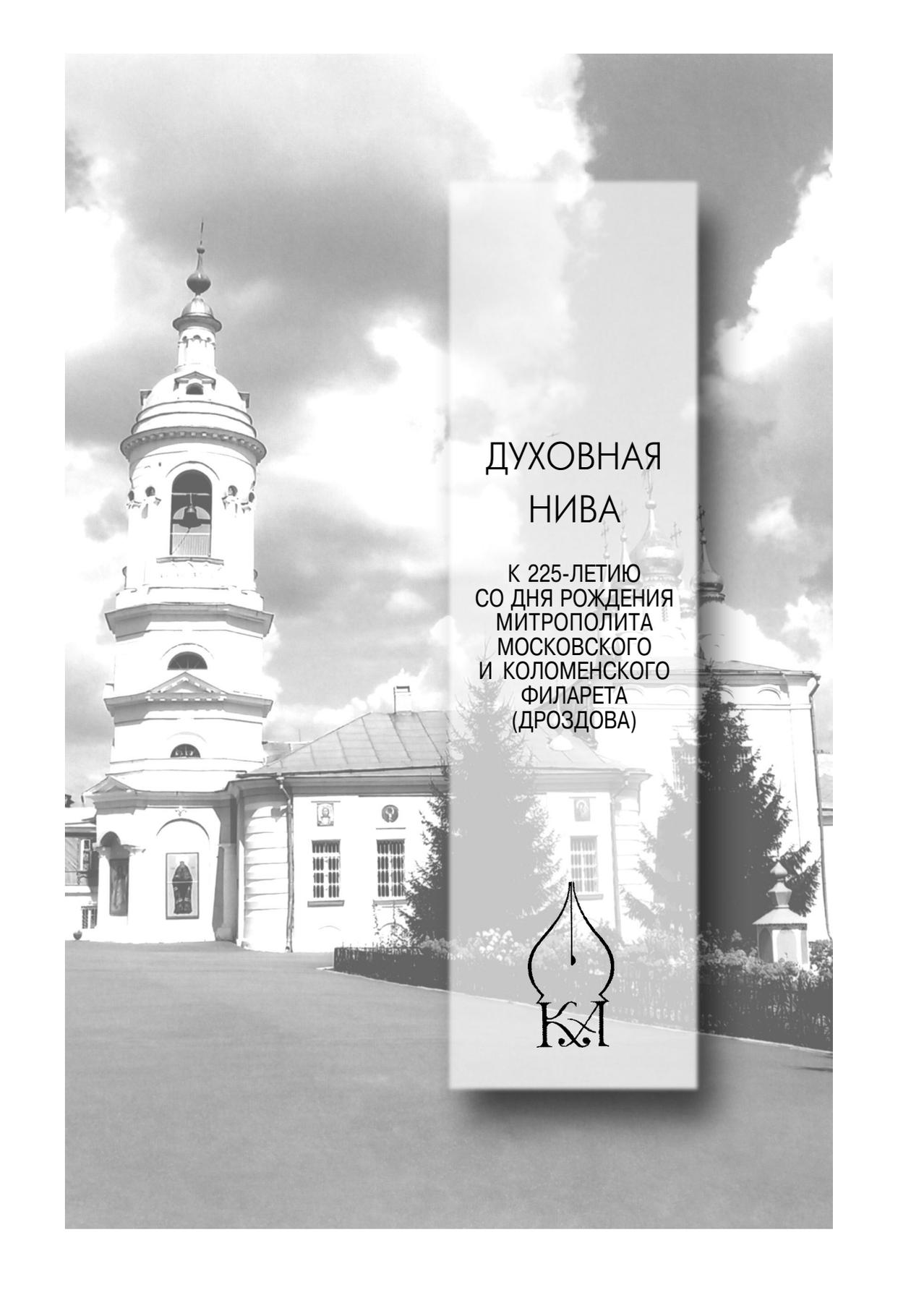
¹⁹ «Мёртвые листья» — одно из самых известных стихотворений Жака Превера.

²⁰ Приятного аппетита, тогда (*фр.*).

²¹ Я ухожу (*фр.*).

²² Сван — герой романа Марселя Пруста «В поисках утраченного времени».

Иллюстрации Оксаны Лапа



ДУХОВНАЯ
НИВА

К 225-ЛЕТИЮ
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
МИТРОПОЛИТА
МОСКОВСКОГО
И КОЛОМЕНСКОГО
ФИЛАРЕТА
(ДРОЗДОВА)





Фото Виктора Смылова

Геннадий БЫЧКОВ

СЛУЖЕНИЕ ЦЕРКВИ И ОТЕЧЕСТВУ



Геннадий Иванович Бычков родился 28 января 1925 года в селе Парфентьево Коломенского района. В 1940 году окончил сельскую школу и поступил продолжать учёбу в школу № 9 г. Коломны. В 1943 году, не закончив десятого класса, добился отправки на фронт и до окончания войны провёл связистом на передовой.

После демобилизации окончил Коломенский паровозостроительный техникум, а затем исторический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. С 1956 по 1975 год работал преподавателем в Коломенском филиале Всесоюзного заочного политехнического института. В 1965 году защитил кандидатскую диссертацию. В 1975 году перешёл работать в Коломенский педагогический институт. В 1993 году избран на должность профессора кафедры правоведения.

Заслуженный работник культуры России. Награждён орденом Отечественной войны второй степени, медалью «За отвагу» и тринадцатью правительственными медалями.

Скончался 26 января 2006 года.

Православная Коломна

Святитель Филарет (в миру Василий Михайлович Дроздов) родился 26 декабря 1782 года в семье диакона коломенского Успенского кафедрального собора Михаила Фёдоровича. В Богоявленской церкви, в которой служил его дед, была сделана запись в метрической книге. Впоследствии его биограф и современник Н.В. Сушков в своих «Записках о жизни и времени святителя Филарета, митрополита Московского» (М., 1868) привёл эту запись, предоставленную ему самим владыкой. Даём её здесь полностью.

Получено лично от владыки.

Метрика
из Архива Московской
Духовной Консистории

По метрикам г. Коломны Богоявленской церкви за 1782 г. в 1-й части о рождающихся в декабре под № 19 число 26 записано:

«У соборного диакона Михаила Фёдорова родился сын Василий. Крещён Января 1 числа. Восприемником был соборный ключарь Пётр Васильев, восприемница Домника Прокопиева жена Иерея Никиты Афанасьева».

С подлинною записью верно:

Исправляющий должность Секретаря
Консистории *Розанов*.

4 фев(раля) 1864.

Биограф святителя Филарета Н.В. Сушков, описывая его детские годы, проведённые в Коломне, обратил внимание на то, что запись сделана в Богоявлен-

ской, а не в той церкви, которая относилась к церковному приходу его родителей. Он поведал о доброй традиции на праздник Рождества Христова младшим членам родственного круга в один из первых дней праздника собираться у старших родственников на «семейный мир». Следуя вековому обычаю, и диакон Коломенского кафедрального собора (тогда Коломна была епархиальным городом) Михаил Фёдорович Дроздов отправился к своему родителю, священнику коломенской Богоявленской церкви. С ним была и супруга его Евдокия Никитична, которую застала здесь минута разрешения от бремени, и она произвела на свет сына, названного Василием в честь св. Василия Великого.

К этому времени Михаил Фёдорович, вопреки желанию прихожан, был определён к Троицкой церкви, что находилась в Ямской слободе. Туда он переехал вместе со своей семьёй. «Поэтому три причта: соборный, Богоявленский и Троицкий спорят между собою из-за утешения называть своим сопричетным младенца Василия, ныне столь знаменитого Архипастыря Московского и Коломенского, а по значению в церкви можно сказать и вселенского», — отмечал Н.В. Сушков.

Михаил Фёдорович, не будучи смущённым таким, мягко говоря, «прохладным» отношением к нему прихожан, особенно со стороны ямщиков, тем не менее продолжал ревностно, с душевной теплотой служить своим прихожанам. Исполняя «с такой готовностью и точностью все законные требования своих детей духовных, что и грубые сердца смягчились, согретые его душевною теплотой, и, раскаявшись в своей несправедливости к своему доброму пастырю, прихожане однажды навсегда изменили свои отношения из худых в наилучшие», — рассказывает Н.В. Сушков.

Сохранились интересные описания дома Дроздовых и его окрестностей, где протекали детские годы владыки. Описания эти были получены Н.В. Сушковым от викария Святителя Леонида, епископа Дмитровского, в которых тот рассказал: «Я неоднократно посещал эту Троицкую церковь и этот дом местного иерея, где прошли первые 13 лет жизни нашего Великого иерарха.

К западной окраине города со внутренней его стороны примыкает зелёная площадка. Посреди её возвышается старинный каменный храм. Площадь с востока отделена от улицы обыкновенною церковною оградой; с запада она обсечена крутым берегом довольно глубокого оврага. Этот овраг служит городской межою. Весною в нём шумит поток снеговой воды, от которого на летнее время остаются только лужи во впастьях.

На противоположном берегу оврага уже нет зданий, а начинаются луга и поля; по северную сторону площадки дорога, которая спускается в овраг и выше из него идёт в Каширу, то есть прямо на запад, вдоль реки Оки; по южной стороне площадки ряд домов причта. Разумеется, дома небольшие, деревянные, в один этаж. За последним домом наклонились к оврагу несколько старинных прекрасных лип.

Архитектура храма ничем особенно не примечательна. Настоящая холодная церковь — очень высокая. Трапеза при ней ныне тёплая с двумя приделами, в недавнее время устроенными. Иконостас в настоящей церкви устроен в прошедшем веке и с тех пор неизменен. Пред этими самыми иконами возносились к небу тёплые детские молитвы того, кто предстоит всей молящейся Руси в молитвах о мире всего мира и благосостоянии церквей...

Усадьба священника — длинная узкая полоса земли вдоль улицы, кроме северного конца, где построен дом с небольшим двором и службами, она вся занята пустым садом плодовых деревьев. Дом одною стороною выходит на улицу, другою на площадку, прочими на двор и в сад. Зала с прихожею и ещё тремя или четырьмя комнатами составляют тот дом, который построен ещё Михаилом Фёдоровичем. Впоследствии стены подняты в несколько венцов, окна увеличены, пристроено несколько покоев, но и донныне хозяева **старое** оберегают и отделяют от **нового**, тем более что и расположение старой главной части осталось прежнее. И нынешний иерей говорит, что если бы понадобилось увеличить, то скорее вроеется в землю, нежели нарушит то, что осталось ненарушенным. Вот, может быть, окно, к которому подбежали мальчики, дети ямщиков, и кричали: “Вася, пойдём играть!” А матушка отвечала им: “Ступайте прочь, Васеньке надобно учиться”. И как будто вижу я Васеньку с книжкой и как он поглощает — урок за уроком — первые капли того учения, которым сам питался прежде, нежели стал питать людей Божьих тем высоким учением, которое составляет красоту и славу отечественной Церкви».

В кругу семьи и домашнее воспитание

Род Дроздовых вёл своё начало от лиц духовного звания. По свидетельству самого Филарета, он помнил имена своих предков до прапрадеда Игнатия. Более детальных сведений об этом человеке до него не дошло. Однако было известно, что тот служил причетником, был человеком начитанным и разумным. Он заботился о том, чтобы его дети служили пресвитерами. И его надежды сбылись: Фёдор Игнатьевич (отец Михаила Фёдоровича и дед Василия Михайловича) стал протоиереем Богоявленской церкви.

Следует сказать, что отец Василия Дроздова, как учитель Коломенской семинарии, кроме обычных пасторских обязанностей, заботился о развитии своих духовных запросов. Он был занят поиском нужных ему интересных книг, в результате чего в его доме появилась богатая библиотека. Книги были разные, в том числе богословского, философского, исторического содержания.

Первые детские годы до поступления Василия в Коломенскую духовную семинарию проходили под покровительством его дедушки Никиты Афанасьевича и бабушки Домники Прокопиевны. Это были радушные люди, горячо любившие своего внука и отдавшие его воспитанию все свои способности и старания.

Домника часто ходила в церковь, брала с собою внука и приучала его к церковной молитве. «Ребёнок любил ходить в Троицкую церковь, где, отстояв всю службу, с каким-то вожделением смотрел, как опускался свешник и после погашения свеч вновь поднимался вверх. Полные света и огня душа, карие глаза малютки благоговейно следят за медленным восхождением свешника к самой высоте иконостаса, и слышится тихий голосок гениального дитяти: “Мама, скоро кончится служба, молитва к Богу пошла”».

В 1791 году юный Василий был отдан в Коломенскую семинарию, в которой царили суровые порядки и обучение велось плохо. Биограф святителя Филарета Н.В. Сушков в связи с обучением Василия в Коломен-

ской духовной семинарии заметил: «Что представляли во время его ранней молодости наши духовные училища, могли способствовать развитию его необыкновенных дарований? Не будет ошибкою сказать, что не училища, не руководители, а собственный пытливый ум и собственная твёрдая воля, при помощи Божией, возрастили ту красоту силы его, которую он явил собою миру».

Поступление Василия Дроздова в Троицкую семинарию и обучение в ней со всей убедительностью подтвердили эту мысль Н.В. Сушкова.

В Троицкой семинарии

Вскоре юный Василий оказался в стенах знаменитой Троице-Сергиевой семинарии. Он, как и его товарищи из Коломны, мечтал поступить в философский класс, являясь учеником такового в своей Коломенской семинарии. Но им пришлось разочароваться в своих намерениях. Было предложено поступать в нижестоящий класс. Отец Василия, Михаил Фёдорович, зная способности своего сына, попросил руководство семинарии назначить ему экзамен. Просьба была удовлетворена. «На испытании предложена коломенскому студенту задача по философии: “О врождённых идеях”. Дали юноше лист бумаги, и он, окружённый преподавателями, на глазах ректора и наместника должен был писать по-латыни на заданную тему. Вопрос им скоро разрешён — и пришелец коломенский принят на философский курс», — пишет его биограф Н.В. Сушков.

На первых порах учёбы в семинарии у Василия возникали серьёзные затруднения с жильём, о которых он сам рассказывает в своём письме родителям: «Уведомляю Вас, что я теперь в добром здоровье, хотя прежде занемог было кашлем от сырого ветра. Живу на той же квартире, где сперва остался, но после праздника непременно сойду, потому что на Переславке никому не велено стоять на квартире. Не знаю теперь, куда приклонить голову: не только на хозяйский кошт нигде не принимают, но и на свой — весьма мало. Там тесно: — там хозяин пьяница: — там беспокойно. Надобно жить или на худой квартире, или на улице. Беда! — Если пойдёшь на худую квартиру и то за теснотою, то за шумом каким, будешь терять много времени: то правда, что не хуже будет, если жить на улице. Здесь не Коломна: потерять на квартире часть времени значит потерять почти целый день. Просидевши семь часов в день в школе, захочешь беречь остальные. Притом часто приходишь рано: и сие пропадает. И так остаётся весьма мало. Чтобы здесь употреблять время как должно, надобно иметь часы».

Живя в таких крайне неблагоприятных условиях, он очень нуждался в моральной поддержке своих родных и близких, в первую очередь отца и матушки. Вот одно из его писем, свидетельствующих об этом. «Мне принесло радость получение Вашего письма, — но не чтение. Вы желаете мне спокойствия: но может ли Ваше беспокойство не быть моим беспокойством? Известия, полученные от Вас, родили в душе моей множество возмутительных мыслей. Иногда, один с моей скукою, ходя по обнажённому саду, погружаюсь я в мрачную задумчивость и на всяком предмете, на который устремляется мысль моя, кажется, читаю слово мудраго: И так молю Того, который Един не причастен никаких сует, да ниспослёт Вам спокойствие, а спокойствие Ваше успокоит Вашего покорнейшего сына. В.Д.».

К квартирному вопросу прибавились и некоторые затруднения, обнаруженные в ходе обучения. В философском классе, в который Василий

был зачислен после своего испытания, некоторые дисциплины уже были пройдены, и ему пришлось прилагать усилия, чтобы восполнить свои знания. Ему немало пришлось поработать для этого. Это видно из его письма дедушке Никите Афанасьевичу и бабушке Домнике Прокопьевне. «Имею честь поздравить с прошедшим торжественнейшим праздником Воскресения Христова. Приношу Вам чувствительнейшую благодарность за Ваши письма, которые получил я оба 15-е число Апреля — в Воскресенье. — Простите мне, что я так долго не писал к Вам. Право, мало было времени. Мне должно было и делать то, что другие делают, и то, что они уже сделали. В четыре недели целую десь издержал я бумаги. Правда, оставались у меня минуты свободные от дела, но разстройство мыслей препятствовало мне писать: ибо сим оное умножалось. Наконец вздумал я писать родителям, — написал: но — не знаю что. Я не извинился, что долго молчал, ни поздравил их с наступающим праздником. Попросите хотя Вы у них мне в сем прощения».

Решая успешно вопросы, связанные с преодолением трудностей, возникших в ходе реализации учебной программы философского класса, в который, как известно, Василий был зачислен несколько позже, он сосредоточился на решении квартирного вопроса. Ему была предложена другая квартира, лучшая, в Ильинской слободе. Но и она не подходила ему, ибо семинаристы устраивались там, как говорят, «по знакомству» с хозяевами. В конце концов указали на квартиру у дворника рождественского священника (оба пьяницы). «Дня через три либо менее сойду я на другую квартиру, а именно: к дворнику Рождественскаго попа (о попе спросите у Батюшки: я думаю, слышал он, что это за человек), к такому же пьянице, как и сам поп. Нам, правда, особенный дан будет покой. Я буду сам покупать муку, которая здесь по 60 копеек или более. Может быть, и пустые (щи?) очень часто кушать буду; ибо как товарищи, так и я. Вы скажете: зачем иду на такую квартиру? Но иначе должно жить на улице или по крайней мере в такой лачуге, в которой два или три вол(о)ковых окошка и в самые полдни книгу читать не видно. В такую звал меня один из моих товарищей вместе с собою. Уведомьте о сем батюшку: но ради Бога не беспокойтесь; меня сие житьё весьма мало или совсем не трогает и не огорчает».

Но, как выяснилось, и эта квартира оказалась неподходящей для скромного семинариста, каким был Василий. У священника жили ученики, выгнанные из бурсы за шалости или по бедности, довольно-таки грубые, способные оказать на Василия негативное воздействие. Естественно, Василий не мог долго оставаться на этой квартире и поставил вопрос о поселении его в Лавре на казённый счёт с внесением им денег. Его просьба была удовлетворена и без этого условия. «Я принят на казённое содержание, и живу теперь в монастыре. Вот и мои новости! Более ничего».

Батюшка и Матушка! Благословите меня заочно, — а я, с сыновнею покорностью о сем Вас прося, пребуду Вашим послушным сыном. В.Д. Июня 10 дня 1800 г.», — писал Василий в своём письме родителям. Между тем всё это не могло не отразиться на его здоровье, на состояние которого он неоднократно жаловался в своих письмах к родителям. «О себе ничего не имею сказать ничего нового. Только сырая погода часто худо действует на мою голову. Здесь свирепствует глазная болезнь. В Вифанской Семинарии считают изо ста человек до сорока больных. В нашей число сих последних не так велико», — писал Василий.

Миновал 1800 год. Наступил 1801-й. Весной этого года произошло событие, всколыхнувшее тогда всю Россию, — внезапная смерть императора Павла I. Кончину императора оплакивали россияне, в том числе

и троицкие семинаристы во главе с митрополитом Платоном. В те же дни произошли события, которые оставили на юноше, судя по его описаниям, неизгладимый след, отразились на его душевном состоянии и выветили его некоторые духовные качества, в частности веру в таинственное, чудодейственное. Об этом он писал в письме от 4 ноября 1801 г. своему отцу Михаилу Фёдоровичу: «Обряд присяги совершился у нас в один с Вами день по утру, в присутствии Преосв(ященства). Он тут же и подписался; прочее духовенство и семинаристы целовали только крест и Евангелие, а подписывались дома. По окончании же службы и хода по городу, в сей день обыкновенного, была панихида; сам Преосв(ященство) пролил довольно слёз, и многие ему последовали. Через день после сего свирепствовала и у нас буря со снегом, которая раскрыла половину Троицкого Собора, а отчасти большие кельи. После слышали мы, что от ней же лишились жизни шесть человек семинаристов Владимирских, иные на дороге, а другие в самом городе.

Ещё слышали мы новость, может быть, Вам уже известную. Однако я не устал написать. Неподдалёку от Ромна (от Москвы около 600 вёрст) явился образ Богоматери, прозводящий чудеса неслыханные.

Во время молитвословия на нём были видны слёзы и каплями выходили слова: **покайтесь и веруйте**; также слышался голос, который ни с чем сравнить не можно и которого несколько бывший там для освидетельствования Протопоп положил на ноту. Всё же читал я в записке, присланной из Москвы и нашим начальникам».

Случай с иконой слезоточащей Богоматери и произносящей слова: «Покайтесь и веруйте» был для Василия символическим, в который его возвышенная душа верила и преклонялась.

А вскоре лавра принимала у себя нового императора Александра I, посетившего Москву, в том числе и Троице-Сергиеву лавру. Семинаристы с благоговением встретили всероссийского самодержца. «Наконец мы увидели Гения России с кротким, но величественным взором, с ангельскою улыбкою, провожаемого собором харит. В 7 часов накануне праздника вступил он в Лавру, — и пасмурная ночь улыбнулась. По крайней мере у нас в монастыре было весьма светло. На праздник по Литургии не забыл Он посетить Семинарию нашу, а после обеда Вифанскую, и возвратился в Столицу. Через несколько дней и Преосвященнейший за Ним последовал, а у нас, по щастливом переводе, началось учение», — пишет Василий в своём письме отцу.

В учебных делах Василий весьма преуспевал. Так, за усвоение богословского курса было отмечено ему, что «отлично остёр, прилежен и успешен», изучение греческого языка «похвально, прекрасно» и т.д.

В ходе обучения в семинарии обнаружилась такая его черта, как наблюдательность, стремление проникнуть в сущность явлений. Его пылкий ум старается анализировать события, касающиеся разных сфер общественной жизни. Вот некоторые выдержки из его писем, свидетельствующие об этом. «В Москве принят я хорошо и получил латинскую речь (вероятно, от митрополита Платона. Его речь после коронации императора Александра I была переведена на разные языки, в том числе и на латинский. — Г.Б.), *говорённую по коронации Его Величеству*».

Или же: «Хлеб здесь дороже Вашего. Мы в Семинарии едим, или... видим из муки, купленной по 75 коп. пуд, хлеб средственных дорований». «Вновь беру перо, чтобы написать новое. В семинариях велено обучать Медицине, чтобы из них выходили врачи душ и телес». «Слухи о возвращении Владыки к Празднику в Лавру и о переименовании здешняго Посада в город составляют здешния новости, впрочем, не весьма достоверныя». «Теперь я взглянул на Ваши строки

о дороговизне. Мука здесь по девяносто коп. продаётся. Что же до дров, то я рад бы, когда б можно было послать Вам несколько сажень в этом конверте: у нас теперь ставят по 125 коп. за сажень». «Хотя я и не имею тайн, требующих скрытности, особенно в рассуждении Вас; однако, по какой-то обыкновенной предосторожности, мы часто не всё пишем, что думаем и что можем говорить...»

Об ученической жизни Василия сохранилось, как пишет его биограф Н.В. Сушков, «такое предание: он любил музыку, занимался шахматной игрой и потешался ловлею рыбы: смело, с рыбацьею сетью, впереди своих товарищей, на заводи или, как говорится у рыбаков, на крыле носился юноша по вифанским глубоким прудам. Как кстати это занятие рыбной ловлей, это содружество с любезной благословенным рыбакам — апостолам стихией в преемнике их, по рукоположению святительства! Позже, покинув отроческие забавы и устраняя праздность от головы и сердца, даже в краткие часы отдыха от молитв и уроков, он употреблял их обыкновенно то на головоломную игру в шахматы — это для упражнения ума; то на извлечение стройных звуков из дедовских гуслей — это для занятия души. С детства прислушивался внук к игре на них своего деда и перенял от него искусство бряцать по струнам царя-пророка. Жаль, что в наших обителях и духовных училищах забыты псалтырь и гусли Давида. Я помню ещё бойких гуслиаров в народе; теперь редко-редко где найдётся этот древний кивот священных псалмопений».

Юный и талантливый семинарист был на виду у всех. Все его примечали и любили за его необыкновенные дарования, которые ярко проявлялись в годы ученичества.

Учительство

Прошло не так много времени, и ученик Троицкой семинарии стал в ней учителем. Документов, рассказывающих об учительской деятельности Василия Дроздова, почти не сохранилось, если не считать его писем родным. Как это видно из письма Василия отцу от 26 ноября 1803 г.: «18-е число текущаго месяца сделан здешним Наместником и посвящён в архимандрита О. Симон, бывший в Академии Риторике Учителем. На его место переведён здешней Риторике Учитель: а на место сего определён Греческого и Еврейского языков Учитель. 25-го представлен я к Высокопреосвященнейшему и он сделал мне несколько вопросов на Греческом языке. Через час — Вы видите новаго учи(теля) зимою в летнем платье».

Ему было определено жалованье в 150 рублей в год. О подробностях своего быта уже как преподавателя семинарии Василий рассказывает в следующем своём письме от 2 декабря 1803 года: «Я уже перебрался в назначенные для меня покои. Теперь восемь часов вечера: заслуженный матрос, отправляющий для всех учителей должность повара, а для меня и камердинера, только теперь, окончив со мною разговор об Антихристе, вышел в переднюю. Я один. Взглянув на Ваше письмо, я тотчас переселяюсь мыслями в Коломну. Желание быть ближе к Вам?.. Оно теперь должно быть отложено по крайней мере года на два. Я должен жить в отдалении от Вас, и жить сам собою, или, как говорят, своим домом. Я ещё не знаю, сколь многочисленны 150 руб. годоваго жалованья.

Мои товарищи идут ко мне ужинать: потому что кушанье готовится в моих покоях. — Я прерываю.

Мы отужинали. Но трудно возобновить прерванную связь мыслей, особенно после ужина».

В то же время денег на необходимые расходы просто не хватало. И, естественно, молодому преподавателю, как бы он ни хотел обременять своих родителей, пришлось намекнуть, что он в настоящее время крайне нуждается в деньгах: «Батюшка! Я хочу сообщить Вам теперь мои карманные мысли. Я говорю — **карманные** — не потому только, что они имеют связь с карманом, но и потому, что они, кажется мне, мало достойны занимать голову разумного существа. — Что за мысли, спросите Вы, которые бранят, однако не стыдятся иметь! Что же делать! Таков свет, таково тиранство его благопристойности, что и должно по наружности следовать тому, чего внутренне не одобряешь. Но полно мучить Вас так длинным и важным предисловием... Короче: я думаю сделать себе перемену летняго платья. Вы подумайте: к чему это? — Иначе я могу дойти до того, что сюртук мой никуда не годится, а делать новой будет не ко времени. Я гляжу также и на других. Но я сомневаюсь в том, на какое платье решиться. Кафтан не много стоит, но здесь мало и носят, сюртук дороже; но везде годится. Греческое преимуществует тем, что оно покойно, что при нём не будет нужды в хорошем халате, какового у меня и нет; что оно и в случае перемены мало потребует перемены, между тем как другое совсем должно будет кинуть... но оно больше пристойно здесь, нежели в другом месте. Я ожидаю на сие обстоятельного Вашего мнения, без которого не решусь ни на что; и после буду ещё советоваться с моим карманом».

Конечно, Василий получил помощь от любящих его родителей. «Я получил ответственное Ваше письмо, которое содержит в себе более, нежели сколько содержало моё требование. Я просил совета и наставления: Вы обещаете и денег. Сего уже слишком много: а Вы ещё оговариваетесь. Искренне говорю Вам: с горестию сношу я мысль, что до тех пор не могу оставить Вас в покое от подобных случаев. Но что делать! Иногда и старания не помогают».

Между тем авторитет Василия, преподавателя еврейского и греческого языков, был очень высок как среди его коллег, так и духовного начальства. Об этом, например, свидетельствует письмо ректора семинарии Евграфа его отцу. Он ответил на письмо Михаила Фёдоровича, написанное им по просьбе сына ему. Михаил Фёдорович, будучи благодарным ему за то участие, которое он принимал в судьбе сына его, писал, что «навсегда останусь я благодарным к Вам, Милостивейший Отец, и теперь благодарю от искреннего сердца хотя нескладными словами, прося при том как ко мне, так и к сыну моему продолжить Ваши отеческия милости».

Евграф в своём ответном письме Михаилу Фёдоровичу отметил: «С чувством истинной признательности получил и читал письмо Ваше. Я не заслужил от Вас тех отзывов, каковых Вы меня признали достойным: а тем сугубее обязываете меня продолжать, как должное внимание и любовь к достойнейшему сыну Вашему, так к самим Вам уважение. Вы подлинно имеете драгоценный залог и свидетельство Божияго к Вам благоволения в талантах, а паче в честном поведении сына Вашего. Да возрастит и усугубит Промысл сие на Вас благословение! В сем желании пребуду неизменным».

Молодой учитель давно уже был склонен к поэзии, и когда в августе 1806 г. освободилась вакансия учителя поэзии, семинарское начальство решило предоставить её Василию Дроздову. Митрополит Платон согласился с этим мнением и написал резолюцию: «Определить учителя Дроздова, и притом ему, для особеннаго дара, быть проповедником при Троицкой

Лавре и говорить проповеди через неделю и, когда случится, в праздники, и те проповеди нам представлять. А жалование ему производить по 250 руб. в год, да от меня по 50 рублей, итого по 300 р. за год».

О склонности молодого учителя к поэзии можно убедиться, например, из его письма: «Честь имею поздравить Вас с приближающимся днём Вашего Ангела, хотя и надеюсь ещё вперёд писать о сём.

Я и не вовремя кричу,
Что многолетства Вам хочу:
Что в сердце вечно обитает,
Законов времени не знает.

Когда в 8-е следующего месяца будут у Вас наши родственники, прочтите им общий от меня визит:

Любезнейшим родным,
И малым, и большим,
Всех благ прямых желаю;
И также посылаю
Кому агу! Кому виват!
Пусть сами меж собой делят».

В том же году Василий Дроздов стал известен как замечательный проповедник. Слава его как проповедника буквально разнеслась после того, когда им было произнесено слово 12 января 1806 года в честь освобождения обители Преподобного Сергия от нашествия врагов. По поводу этой проповеди митрополит Платон писал своему викарию Августину: «А у меня проявился отличнейший проповедник, учитель Дроздов. Я сообщу его проповедь — и удивитесь». Ещё более слава его как проповедника возросла, когда он подготовил и произнёс свою проповедь в Великий Пяток. Вскоре эти проповеди были опубликованы с одобрением митрополита Платона на заглавном листе. Именно с той поры стало особенно проявляться благосклонное внимание знаменитого митрополита к Василию Дроздову. В свою очередь это находило своё выражение и в его служебном продвижении. В начале 1808 года он был утверждён учителем высшего красноречия и риторики, будучи оставленным в должности проповедника. Об этом, например, свидетельствует его письмо родителю от 29 января 1808 года, в котором отмечается, что «Теперь два класса развлекают меня так, что всегда не достаёт времени (потому-то я так долго и не собрался писать). Риторика уже моя: но Поэзии ещё не сбыл с рук».

В тот период особенно ярко продолжала проявляться такая черта его характера, как наблюдательность за всем тем, что происходит во внешнем мире, умение анализировать события и делать соответствующие выводы. «О мире и здесь не слышно ничего решительного: уверяют только, что приступ к сему есть, и было свидание **инкогнито**, после коего отношения переменились из неприятельских в дружеския», — рассуждал он в связи с подготовкой заключения Тильзитского мира.

Между тем, отдавая себя целиком и полностью служению Богу, готовясь принять монашество, он скучал по родной ему Коломне, родительскому крову. Это, например, нашло своё отражение в его письме родителю 4 июня 1808 года: «Пошёл в сад для прогулки, вдруг я услышал позади себя вопрос: **Нет ли здесь Коломенских из Семинарии?** Я оглянулся и увидел на траве старика, который глядел прямо на меня. Я узнал, что он из Бо-

городицкаго, а жена его взята из Карасёва и что по ней он родственник Благодичному! Да не ты ли сын его? Я отрёкся; и сказал ему, где найти того, кого он искал. А после прогулки пишу к Вам...

Старик, о котором я говорил Вам, досадил мне только тем, что не мог о Вас ничего сказать обстоятельного: я отметил ему за это — не сказал своего имени. Говоря со мною о Вас, если бы он хотя солгал, что у Вас был, или Вас видел: то бы он одолжил меня. Тогда я позвал бы его к себе: а теперь отдам письмо чрез Якова».

В своём письме родителю от 1 ноября 1808 года он уже прямо уведомил его и матушку о своём твёрдом намерении постричься в монашество: «Не знаю точно, понравится ли Вам новость, которую скажу теперь: впрочем, если в Ваших письмах говорит Ваше сердце, надеюсь, что я не оскорбил Вас и не поступил против Вашего соизволения, сделав один важный шаг по своей воле, по довольном, смею сказать, размышлении. Батюшка! **Василья** скоро не будет; но Вы не лишитесь сына: сына, который понимает, что Вам обязан более, нежели жизнью, чувствует важность воспитания и знает цену Вашего сердца. Простите мне; я не думал осмелиться хвалить Вас и не знаю, как это вырвалось. Без нетерпения, но с охотою, без радости, но с удовольствием я занимаюсь теперь некоторыми приготовлениями к преобразованию. Но Высокий Благодетель мой отнимает у меня часть своих попечений. Дано приказание изготовить рясу и полукафтаны на его счёт. В следующий пост, и, вероятно, в первой половине его, вселят надеть оныя. Я прошу теперь Вашего благословения и молитв и надеюсь, что Вы и в том и в другом не откажете».

Ещё в июле 1808 года Василий Михайлович подал митрополиту Платону просьбу о пострижении его в монашество. В нём он дал обоснование своего твёрдого намерения идти этим путём. «Обучаясь и потом обучая, — писал он, — я научился по крайней мере находить в учении удовольствие и пользу в единении. Сие расположило меня к званию монашескому. Я тщательно испытал себя в сем расположении в течение пяти лет, проведённых мною в должности учительской». Митрополит Платон, представляя эту просьбу Святейшему Синоду, от себя писал между прочим: «И я по испытании его честных и сановитых нравов и отличного учения, нахожу его способным понести сие состояние и... Св. Правит(ельственный) Синод покорно прошу онаго учителя, по его желанию и по требуемой пользе церкви и училища, в монашество постричь дозволить».

Указом Св. Синода от 7 октября того же года было дозволено пострижение Василия Дроздова в монашество. 16 ноября 1808 года на утрени, в трапезной церкви Троице-Сергиевой лавры, наместник лавры архимандрит Симеон постриг Василия Михайловича в монашество под именем Филарета.

В 1809 году он был вызван в Петербург, и начался новый, петербургский период в его жизни и деятельности.

Нравственный облик святителя Филарета

Говоря сегодня о такой выдающейся, масштабной личности, каким являлся митрополит Филарет, мы сознаём, что он был явлением необыкновенным в русской жизни. И сегодня взять на себя смелость объяснить обществу всё значение служения его целому периоду гражданской и церковной истории было бы, по крайней мере, нескромным. После Филарета, хотя прошло много времени, осталось немало ничем не напол-

ненных пустот, которые, естественно, требуют наполнения заметками, статьями, книгами, монографиями, диссертациями для того, чтобы дать полное, всеохватывающее его жизнеописание.

Не будет преувеличением сказать, что такие выдающиеся личности, каким был Филарет, рождаются раз в столетие. Н.П. Гиляров-Платонов в скорбные для России ноябрьские дни 1867 года, оценивая, какую утрату понесла Россия в связи с кончиной Филарета, сказал: «Легче и доступнее оценить деятелей, которые избирали себе один путь жизни, одну сторону духовной деятельности; легче вмещаются в рамки исследования для настоящего времени и такие крупные личности, как Платон, св. Тихон Воронежский, Феофан Прокопович, Стефан Яворский, Иннокентий и Макарий, лица, отодвинутые от нас пространством времени, и из отдаленья времён представляющие нам довольно выясненные образы; но для того, чтобы выяснить личность митрополита Филарета, надо подняться выше своего времени и иметь возможность обозреть его мысленным взором; митрополит Филарет... Он был не представителем эпохи; он сам и был эта эпоха; он не выражал своё время, а руководил время». Таких оценок личности Филарета было высказано немало в тот скорбный для России 1867 год.

Чтобы ещё нагляднее представить всю масштабность, колоритность личности Филарета, достаточно взять его послужной список, в котором представлена служебная лестница, по которой продвигался владыка. Характеризуя служебное поприще Филарета, невольно обращаешь внимание на такой момент, как его необыкновенно многосторонняя деятельность и быстрота развития. Так, в 1803 году — студент, в 1812 году — ректор и профессор академии, в 1814 году — доктор богословия, в 1808 году — монах, в 1817 году — с.-петербургский викарий, в 1826 году возведён в сан митрополита Московской епархии.

Как не проникнуться уважением к такой личности, которая, как это видно из её послужного списка, почти каждый год принимала на себя новые трудные и всё более и более сложные обязанности и в каждую из них вносила что-то новое, существенное, поражавшее тогда многих. Каждая новая ступень его служебной лестницы означала изменение качественного порядка. Так, в марте 1809 года он назначается инспектором С.-Петербургской семинарии и профессором философских наук, через пять месяцев становится ректором учреждённого при семинарии Александровского училища, не прекращая в то же время прохождения прежних должностей в семинарии. В 1810 году он переводится на кафедру богословских наук как бакалавр С.-Петербургской духовной академии, а в 1812 году он уже назначается ректором академии и профессором богословских наук, в 1814 году он уже член Комиссии духовных училищ.

И так можно ещё и ещё сопоставлять прохождение им своего служебного пути, и результат будет тот же. Это предоставляем сделать самим читателям. А нам следует отметить, что деятельность Филарета «при главном церковно-богословском направлении соприкасалась ко всем сферам мыслей и знания, веры и заблуждений, частной жизни отдельных лиц и политической жизни целых обществ».

И ещё. Многие современники чтити высоту его нравственной жизни, и это почтение к нему сопровождалось тем, что многие обращались к нему с просьбою о помощи в болезнях, в скорби. И Филарет никому не отказывал. Это было выражением высшей степени народного уважения к его имени.

Высокая нравственность Филарета проявлялась буквально во всех сферах его деятельности. Скажем, возьмём сферу учебно-педагогического процесса, в которой, как известно, был занят Филарет самым активным образом в так называемый петербургский период его жизни, охватывающий 1808—1819 годы. Как нами уже отмечалось, большой интересный материал можно найти в «Письмах Филарета к родным» (М., 1882).

При всей своей славе, будучи ректором С.-Петербургской Духовной академии, Филарет продолжал поддерживать контакты со студентами, был прост и доступен в обращении с ними. Силой своего ума, научным авторитетом он сумел внушить к себе полное доверие. Студент мог прийти к нему в любое время, заявить о своих нуждах и ходатайствовать о чём-то. Однажды в келью Филарета вошёл студент Михаил Глухарёв с золотыми часами в руке, сказав при этом, что один молодой человек, крайне нуждаясь в деньгах, желает продать их. Филарет, узнав, что часы оценены только на 200 рублей, не задумываясь, дал Глухарёву 500 рублей. Нуждающийся, а это был П.Н. Бартнев, в будущем ставший издателем «Русского архива», тем самым был спасён от серьёзных затруднений, и он помнил всю жизнь об этом великодушном поступке ректора. Такого рода примеров было немало.

Понятно, какое благотворное влияние в воспитательном отношении могла оказывать такая великодушная щедрость на чуткую и восприимчивую ко всему доброму молодёжь.

Нами выше уже говорилось о буквально феноменальном «возвышении» Филарета по его служебной лестнице. Естественно, возникает вопрос о причине столь знаменательного явления. В своё время архиепископ Херсонский Никанор в связи с этим отмечал, что «в необычайно быстром восшествии святителя по ступеням иерархической лестницы, с одной высокой на высшую и высшую степеню, тупая близорукость готова видеть не более как редкую в жизни удачу».

На самом деле истина состоит в том, что возвышение Филарета не было случайным даром счастья, а закономерным результатом его редкой, выдающейся способности, движения его высокой нравственности, безукоризненной строгости жизни.

Впоследствии он сам признавался, что никогда так много не работал, как в это десятилетие (с 1808 по 1819 год), называемое нами петербургским периодом его жизни. По его собственным признаниям, во всё это время он даже не располагал необходимой при его занятиях прогулкой. Он считал свободой от занятий время, когда у него было только одно дело, а не три, пять, как обычно. И всё это при его от природы слабом здоровье. Обо всём этом он сам рассказывает в своих письмах к родным. «Признаюсь, что пишу к Вам редко: но что делать? Никак не успеваю исполнить столько, сколько бы нужно и желательно было. Надеюсь хотя в первую треть сего года быть свободнее (свободою я называю то, когда имею одно дело, а не три или пять вдруг), но и в том обманулся». Или: «Простите, что мало пишу к Вам. Теперь дела полны руки. Попросите Господа, чтобы даровал мне свет, правду и силу».

К этому времени относится факт, сообщённый бывшим студентом Петербургской Духовной академии, Тобольским архиепископом Афанасием в своих воспоминаниях о Филарете как профессоре и ректоре, а именно: «Он в течение шестилетнего курса почти один прочитал студентам все богословские науки; что он... иногда на лекциях заплёвывал весь платок кровью, и что этот учёный труженик после не раз сам говорил, что

он иногда, идя в класс, сомневался, возвратится ли домой живым. Можно ли после сего удивляться его необычайно быстрому возвышению?»

Нам интересно знать, как сам Филарет относился к своему быстрому, необычайному возвышению. В его письмах можно немало найти самоощенки в связи с этим. Это добрая школа семейного воспитания, самоуглубления, самоограничения, его сдержанность, осторожность в мысли, словах, в поступках — черты Филарета, которые имели место ещё в Троицкой семинарии и особенно проявлялись в Петербурге, углублялись и совершенствовались как в умственном, так и в нравственном аспектах.

Убедительным доказательством этого являются его письма родным. Он очень привязан к своим родным, при получении писем от которых «сладкая более, или горькая, слёзы». Он терпеливо сносит замечания, выговоры от близких своих за то, что вовремя не отвечал на их письма. Или же кротко переносит обвинения деда своего якобы в «гордости». И тут же он говорит о том, что «отцу и деду... я обязан лучшими правилами жизни».

Достоинство восхищения его отношение к матери своей. Он чтит её необыкновенно. Особенно трогательным было отношение к ней в последние годы её жизни. Она жила в Коломне у его брата Никиты Михайловича, а после смерти его он перевёз её на местожительство к себе поближе, в Москву. «Редкий день не видался с ней, — прихварывала ли старушка, архипастырь спешил к ней и днём и ночью, иногда не дожидаясь кареты, пешком с фонарём, в сопровождении келейника. Он сам положил в гроб её, сам и отпел виновницу жизни своей. Таким образом, примером собственной жизни своей святитель завещал хранить всем одну из величайших заповедей Божиих: “Чти отца твоего и мать твою, и долголетен будешь на земле”».

Он не стремился к власти, считая, что она не является его уделом. Так, когда митрополит Амвросий сделал ему предложение стать викарием, он отказал ему. Он более всего стремился к тому, чтобы около него были «тишина и книги».

Соответственно, ему как человеку очень скромному был присущ и его образ жизни. Он был крайне умерен в пище и одежде. «Жалованье моё, 650 руб., менее здесь, нежели прежнее Троицкое. Стола ещё не имею: ем похристиански, хлеб и воду с вином. — Это с тех пор, как имею свою комнату. — Хлеба ржаного и пшеничного в день надобно мне копеек на 20. Вот моё изобилие!» Он довольствовался общим столом, хотя это и создавало некоторые неудобства. «С недели Пасхи мы, бакалавры, согласясь между собою, завели общий стол: это выгоднее без сомнения, нежели порознь; но для меня есть та невыгода, что далеко ходить», — писал он своему отцу. Он также не стремился и к роскоши, роскошной одежде. Он писал в связи с этим, например, в своём письме родителю буквально следующее: «Пуд сахара теперь стоит до 90 руб.: обещают более. Отчасу большого также приращения ожидают в ценах иностранных товаров, на кои запрещение обнародовано уже в здешних газетах, каковы, между прочим, сукна и другие материи. Дай Бог, чтобы сие полезное поучение против роскоши было действительно и успешно». Или же: «Мне посчастливилось недавно в Гостином ряду: нанку, которую обыкновенно продают дороже 2 руб., я купил по 180 коп., а изрядный калмыцкий тулуп за 25 руб. Кажется, без ошибки можно сказать, что это куплено у знакомого».

Только впоследствии, когда ему было прибавлено жалованье, он писал: «Я сделал ещё пару платья, которая стоит около 150 руб.».

Затем уже один из иностранцев — Стефан Грелье, бывший в Петербурге в 1818—1820 годах, так о нём отзывался, когда тот был викарием с.-петербургским, епископом Ревельским: «Покои у него необширные, без всякого убранства, с простою необходимою мебелью, как монашеская келья. Это муж науки и знаток мёртвых языков; не менее того в нём видны признаки больного. И по нашим наблюдениям, и по тому, что нам о нём говорили, мы думаем, что он заслуживает эту добрую славу».

По отношению к другим он был тактичен. По отношению к вышестоящим он был почителен, но без какого-либо угодничества и заискивания. Если было необходимо, он твёрдо стоял на своих собственных позициях, защищая их строгими научно обоснованными аргументами. К нижестоящим он отличался вниманием и трогательной, отеческой заботой. Жить для других, заботиться о них — вот его жизненное кредо, и оно проявлялось, как говорится, в большом и малом. Многие факты указывают на это.

Исследователь жизни и деятельности Филарета А.П. Лебедев писал, что «в самом деле, если мы просмотрим всю наличную литературу, имеющую отношение к митрополиту Филарету, то мы в ней нигде не найдём следов, свидетельствующих о том, что жизненный путь его был усыпан розами. Ни о чём подобном нимало не заботился. Мы можем привести несколько поистине трогательных примеров, указывающих, как он мало прилагал попечения о том, чтобы в своей жизни пользоваться земными благами в большей мере, если это доступно обыкновенным смертным. Всё, что хоть сколько-нибудь напоминало его, не только не усыпляло его, но приводило в смущение, как он заявлял об этом».

И вот один из фактов, приведённых им в своей книге: «Лаврский наместник архимандрит Антоний прислал митрополиту каких-то ягод, очевидно, выросших в теплице. По этому поводу владыка писал наместнику: “Благодарю за ягоды. Я употребил их с мыслью, что оне от области преподобного Сергия. Но мне совестно было, — замечает он, — смотреть на сию роскошь и особенно, когда я узнал, что ягоды несены пешком. Помню, что Вы предписали мне их для здоровья, но не желаю лекарства, соединённого с таким трудом для другого”».

В отношениях с другими, даже с высокопоставленными духовными особами, он был особенно щепетилен, порядочен, не внося в их отношения ничего такого, что могло бы ущемить достоинство того, с кем его судьба сталкивала. Так было, например, с Рязанским архиепископом Феофилактом. Он немало «крови попортил» Филарету с самого начала приезда его в Петербург, то задавая ему так называемые «трудные вопросы», уповая на то, чтобы поставить того в затруднительное положение, или даже необоснованно обвинил в плагиате одной из его проповедей и др. Филарет был выше этих, как он считал, «мелочей жизни». Он вступил в борьбу с Феофилактом только после того, как тот в своих действиях поступил вопреки решению Комиссии духовных училищ о запрете к изданию в академии его книги, в которой содержался перевод с французского на русский язык из сочинений Аксильона под названием «Эстетические рассуждения» (1812 год).

Только после этого Филарет сделался противником Феофилакта по причинам, зависимым только от последнего. Но всё равно Филарет не питал к нему «противных чувств». Мало того, когда он узнал, что Феофилакт направлялся в свою Рязанскую епархию и должен был ехать туда через Коломну, он написал своим родителям, чтобы они встретили его

как подобает. «Прилично также будет предложить ему посмотреть Ваше училище, учащих и учащихся. Без сомнения, Вам сделаны будут вопросы о его начале, о учебных предметах, о его содержании. Вы можете между прочим поставить в виду то, что трудящиеся в нём трудятся не для корысти.

Что принадлежит до самого угощения, надеюсь, оно Вам большего беспокойства не сделает. Водка и пирог, если перед обедом; чай, если вечером: и, в обоих случаях, бутылка цимлянскаго или другаго краснаго вина, — вот всё что нужно».

Как стало затем известно, родители Филарета встретили рязанскаго гостя со всем своим радушием и гостеприимством, так, как их просил об этот сын.

Во всех делах и поступках Филаретом руководила его высокая нравственность, которая вызывала тогда у многих его современников восхищение.

Связи с родными

В нашем представлении Филарет выступает как человек гигантской воли и острого ума, способный решать все дела умело и, главное, результативно. Но если бы мы тогда заглянули внимательно в его душу, то увидели бы, что не сразу он стал такой масштабной, скажем прямо, гигантской личностью. В годы далёкой юности душа его искала, страдала в мучениях, куда ему приложить свои способности, как он сам понимал, незаурядные. Мятежный характер юноши, его многообразные проявления ярко отражены в его письмах к родным. Всеми своими мучениями, сомнениями он делился со своим отцом, Михаилом Фёдоровичем, с которым вёл постоянно переписку. В письме своём от 10 декабря 1802 года он писал отцу: «Я представляю, что и я некогда должен вступить на сию сомнительную сцену, на которую теперь смотрю со стороны, где нередко невежество и предрассудок рукоплещет, освистывает злоба и зависть... И мне идти по сему пути, где мечут под ноги то камни, то золото, о которых равно удобно претывается неопытность или неосмотрительность». Несколько позднее он замечает: «Первая часть **науки жить на свете** есть наука быть более или менее — хамелеоном».

После этого прошло ещё четыре года, но сомнения, колебания в отношении своего жизненного пути не переставали беспокоить Филарета. На это указывает следующее его письмо отцу, в котором были такие строки: «Меня затрудняет несколько будущее, но я, не могши прояснить его мрачности, успокаиваюсь, отвращая его взоры, и ожидаю, доколе упадут некоторые лучи, долженствующие показать мне дорогу. Может быть, назовут легкомыслием, но я называю это доверенностью к Провидению... Пусть, кто хочет, бежит за блудящим огнём щастия; я иду спокойно, потому что и нигде не вижу постоянного света».

Почти в то же время Филарет писал отцу: «Отчего это происходит, что я теперь менее доволен собою, а более ко всему холоден нежели когда-нибудь? Я похож на такого человека, который стоит в глубокою ночь на пустой дороге, не хочет ни быть (оставаться) на одном месте, ни подвинуться вперёд. Вы не находите в моих мыслях точных мыслей; но я сказал Вам, что и в голове моей нет их. Если бы я имел решительное намерение, Вы бы уже знали. То, что я вижу и знаю и к чему наклоняют меня, не довольно мне нравится (разумеется, священство и семейная жизнь). Другое, противное сему, не довольно мне известно» (очевидно, речь идёт о монашестве).

Невольно возникает мысль о том, как у такого человека, обладающего таким глубоким умом, сильной волей, могли появляться колебания, сомнения в правильности или неправильности избираемого им жизненного пути. В связи с этим следует согласиться с дореволюционным профессором А.П. Лебедевым, автором небольшой работы «Великий и в малом митрополит Филарет», сказавшим о том, что «разгадку нужно искать в свойствах его сердца. Сердце холодное, управляемое расчётами и житейскими соображениями, решило бы вопрос без всяких внутренних терзаний. Ведь учесть шансы житейских выгод и невыгод вовсе не трудно, если руководствоваться банальными мотивами. Но у Филарета было сердце, которое жило другими чувствами... Великодушие наконец возобладало в нём, и он, хотя и после многих дум, решил вопрос так, что в его решении собственная личность получила второстепенное значение».

Работа о людях, их нуждах, стремление облегчить их страдания, служение Отечеству становятся путеводной звездой, за которой ему предназначено было следовать всю свою жизнь. Особенно это ярко проявлялось в его тесных связях с родной ему Коломной и прежде всего с его родными, знакомыми. Письма Филарета к родным содержат интересный, яркий фактический материал, убедительно подтверждающий это.

Он был в самом тесном контакте со своим отцом. Проявляя к нему сердечное, тёплое отношение как к своему родителю, он в то же время видел в нём мудрого человека, обладающего большим жизненным опытом, авторитетного священнослужителя. Он гордился своим отцом. Это подтверждает, например, его письмо отцу, в котором он, в частности, отмечал: «Я слышал, что у Вас в Коломне много случилось перемен для Вас не неприятных; что к имени Вашей должности присоединено титло первенства. Я не хочу теперь изображать заслуги, которые сему предшествовали и сделали Вас сего достойным. Я не имею намерения хвалить, не довольно умея ценить истинные достоинства. Я скажу только с чувством сердечной радости: "Поздравляю!" Сплетением множества слов не лучше бы я выразил мои мысли, нежели сим одним. И так я, сердечно пожелав Вам счастливого успеха в должностях, Вами на себя приемлемых — в чём уже и предуверен, — умолкну».

Сохранился интересный рассказ сестры Филарета Агриппины Михайловны Богоявленской об обстоятельствах, связанных с получением Михаилом Фёдоровичем протоиерейства. В 1800 году в Коломну приехал митрополит Платон по делам, связанным с включением Коломны в Московское епархиальное управление. Он, застав там двух благочинных, спросил, кто же из них будет старшим. Оба они, буквально не сговариваясь, в один голос заявили, что таковым является священник Троицкой церкви, что на ямской слободе, Михаил Фёдорович Дроздов. Митрополит Платон, вняв словам этих двух честных и беспристрастных священнослужителей, отреагировал тем, что тут же назначил Михаила Фёдоровича протоиереем коломенского собора.

И ещё. Являясь уроженцем такого града, каким была Коломна с её славным историческим прошлым, Филарет имел особый интерес к славным историческим событиям Отечества. В одном из его писем родителю он писал, что «был в здешней крепости. Внутренность сего храма показалась мне величественна; множество знамён, расположенных около стен, составляют в нём необыкновенное украшение». Причём, посещая те или иные исторические места, будучи преданным величию древнего города Коломны, её замечательным историческим памятникам, он обязательно сравнивал их с теми, которые были в тех местах, которые он посещал.

Вот что он писал в одном из своих писем родителю после посещения одного из таких исторических мест: «Покои деревянные, с нижним этажом каменным. Я вспомнил, смотря из них на реку и кустарник, о подобных покаях Старо-Голутвинских (в Коломне, Старо-Голутвинском монастыре. — Б.Г.)... Четыре дня, проведённые мною в М., не показались мне долги, так как и путешествие».

Образ милой сердцу Филарета Коломны с её древними монастырями, золотоглавыми куполами храмов, особенно кремлёвских, всегда будоражил его воображение и в какой-то мере стимулировал его творческую деятельность. Об интересном факте в связи с этим становится нам известно из одного письма Филарета своему родителю, в котором идёт речь об отношении Филарета к строительству Храма Христа Спасителя. Известно, что идея о создании Храма Христа Спасителя зародилась не только «сверху», у самого императора Александра I, но и «снизу», в самом народе. К Филарету шли различные проекты храма, которые он тщательно просматривал, корректировал, совсем плохие — отбрасывал...

И вот здесь-то ему на помощь пришли те чудодейственные образы церковных памятников, которыми располагала родная ему Коломна и которые прочно отложились в его памяти. В частности, рассматривая проект иконостаса, он невольно обратился к тому, который украшал коломенский Успенский собор. Вот что он писал в связи с этим своему родителю: «Известно Вам, что государь Император принял намерение создать храм Христу Спасителю в память спасения Отечества от нечестиваго врага. Теперь сочиняются планы для сего здания: и между прочими прислан сюда один сделанный некоторым дворянином с образа храма, виденного им во сне, ещё прежде Государева указа о Храме Московском. К. А.Н. неоднократно требовал моих мыслей о внутреннем устройении предполагаемого храма (что да будет между нами), и я, между прочим, открыл ему свои мысли о несовершенстве иконостасов по новейшему образу строения, которые, будучи малы и скудны, противоречат мысли величия, которую должен бы подавать алтарь. Но как здесь не вижу я ни одного иконостаса, в котором бы с огромностию соединена была правильность и красота, соответствующая вкусу нынешняго времени, и который бы мог объяснить и оправдать мою мысль: то желал бы иметь рисунок иконостаса Коломенского собора, буде таковой рисунок найдётся у Вас готовый. Но если готоваго нет, то не трудитесь делать: ибо хороший дорого станет, а нехороший не достигнет цели. Те, кому нужно сие, могут исполнить сами; если предубеждение в пользу новаго не стеснит свободы суждения».

Так Филарет, опираясь на то духовное богатство, которым располагала Коломна, вносил свой немаловажный вклад в проектирование Храма Спасителя. Коломенские памятники церковной старины вдохновляли его.

В решении общественно-политических проблем Филарет находит себе опору в родном городе, при этом опираясь на своих близких родных. Известно, например, что Филарет, особенно в последние годы своей жизни, был занят активной деятельностью по борьбе с расколом. И нередко в этой многотрудной работе по преодолению раскола, особенно в Московской губернии, обращался к своему дедушке, Никите Афанасьевичу, у которого был опыт по ряду аспектов этой борьбы. Это видно, например, из следующего письма Филарета своей матери: «Вот пришла на мысль и ещё просьба, которую при засвидетельствовании моего почтения прошу предложить дедушке Никите Афанасьевичу. У него есть много выписок из книг, полезных для вразумления раскольников. Теперь есть обстоятельства,

в которых такие выписки могли бы мною употреблены, если Бог благоволит, к пользе заблуждающей братии. Не можно ли с оных выписок сделать немедленно вернаго списка, за который я охотно бы заплатил тому, кто будет на сие употреблён, сколько потребно будет?»

В свою очередь, Филарет посылал в Коломну свои книги, проповеди и многое другое. У него были самые тесные связи с наместником Старо-Голутвина монастыря Самуилом. Вот что писал в связи с этим Филарет своей матери: «Посылаю Вам несколько экземпляров небольшой книжки, которую я напечатал ради пользы ближних. Раздайте их желающим. Экземпляра два, три доставьте О. Строителю Самуилу (настоятель Коломенского Старо-Голутвина монастыря, умер 29 февраля 1829 года. — Г.Б.) на память о мне». Или вот ещё. В том же письме им было сказано: «Другую книжку **не угашайте** духа особенно одобряю прочитать Иродиону Стефановичу. Ему нужно учить и других не угашать духа».

Филарет любил коломенские храмы, овеванные легендами, он стремился по мере возможности их посещать. Особенным вниманием его пользовался Бобренев монастырь. В письме матери он писал: «Рад был всех видеть, дома (вероятно, дёма?) и тихий дом в Бобреневе посетить: но теперь нет времени путешествовать для себя. И в Москве сколько буду иметь свободы — не знаю». Надо полагать, под тихим домом имелся в виду Бобренев монастырь и находящаяся там могила родителей Никиты Афанасьевича, деда Филарета по матери. Можно утверждать, что за оградой Бобреневского монастыря находилась священная для Владыки могила, в которой покоился прах прадеда и прабабушки.

Сердце Филарета всегда было преисполнено большой радостью, когда священнослужители — его земляки — удостоивались высоких наград. Это, например, видно из нижеследующего письма Филарета: «Я прогулял сегодня класс в удовольствие здешняго протоиерея, который по разположению ко мне, ещё поутру пришёл уведомить меня о протоиерее Коломенском, поздравить с присланным ему из святейшего Синода награждением: что не знаю, в чём состоит сие награждение: а надеюсь узнать тогда, когда оно украсит голову, для коей назначено. Вы знаете, какое участие беру я в сем человеке: и потому я ни слова не говорю о моей радости».

Частые общения Филарета с близкими ему людьми, родителями, с братом, сёстрами, зятьями и со знакомыми помогали ему во всех его делах, больших и малых. В этих отношениях проявлялись замечательные его человеческие качества, как то: глубокоуважительное отношение к своим родителям, забота о близких родственниках, его скромность, забота о духовном просвещении прихожан и др. Факты, содержащиеся в его письмах к родным, со всей убедительностью подтверждают это.

Как-то к Филарету обратился священник, который был его другом, с просьбой что-то сделать для защиты его племянницы, которая была женой священника одной из церквей в Коломенском уезде, в с. Чанки. Дело в том, что этот священник часто находился в нетрезвом состоянии и издевался над своей женой. С подобной просьбой к Филарету обратился её брат, студент академии. Филарет немедленно отреагировал на эти просьбы и тут же написал своему отцу письмо, в котором просил его что-то сделать для несчастной женщины: «Позвольте мне наконец принести Вам прозбу. В Ч. (Чанки. — Б.Г.) есть Священник: а здесь один священник, мой друг, дядя его жены, и один Студент брат ея. С(вященник) не трезв; его жена нещастна; ея родственники не знают, как помочь ей... выговором, угрозой, как Вы разсудите», — писал Филарет.

Немало фактов, которые содержатся в письмах Филарета родным, указывает на его скромность. Одно из его писем родителю красноречиво свидетельствует об этом. В нём рассказывается о том, что Филарет был представлен к награждению орденом Св.Владимира 2-й степени. Филарет, зная существующий регламент награждений, решил, что он не заслуживает данного ордена 2-й степени, а более подходит к ордену 3-й степени. Об этом Филарет рассказал в своём письме родителю:

«С сыновнею искренностию я должен известить Вас о последнем приключении моём.

Прошедшею весною Преосвященнейший Митрополит рекомендовал меня к награждению. К. А.Н. предложил мне орден С. Владимира второй степени: но я отрёкся, представляя, что сие не сообразным кажется мне с моим чином и служением в сравнении с моими сверстниками. В следствие сего и был я представлен Его Императорскому Величеству к награждению орденом С. Владимира третьей степени, и в начале сего месяца получил Высочайшим подписанием утверждённый на моё имя рескрипт. Но между тем до получения его Преосвященнейший Митрополит вновь писал к князю Александру Николаевичу, представляя меня именно ко второй степени С. Владимира: и сие также доведено до сведения Государя Императора. И по сему новому представлению получена Высочайшая Граммата: а утверждённый прежде, но ещё не объявленный рескрипт велено возвратить.

Копию с Грамматы при сем прилагаю».

БОЖИЕЮ МИЛОСТИЮ
МЫ АЛЕКСАНДР ПЕРВЫЙ
ИМПЕРАТОР И САМОДЕРЖЕЦ ВСЕРОССИЙСКИЙ
и прочая и прочая и прочая
Новгородского Первоклассного Юрьева Монастыря
Архимандриту Филарету.

Неусыпные труды Ваши по званию Ректора и Профессора Богословских наук в Санкт-Петербургской Духовной академии, деятельность в образовании достойных служителей алтаря Господня, назидательные и красноречивые поучения о истинах веры, коею одушевляется слово и житие ваше, обращают на вас особенное внимание Наше и милость. В ознаменование оных сопричисляем вас к ордену Святаго равноапостольного Князя Владимира, знаки коего второй степени, при сем препровождаемые, повелением возложить на себя и носить установленным порядком, пребывая Императорскую Нашею милостию вам благосклонны.

*Трахенберг,
июня 29-го 1813 года
Александр*

Филарет постоянно проявлял свою заботу о духовном росте своих земляков. Он присылал в Коломну через своих родственников литературу разного содержания, в том числе и свои проповеди; некоторые из них были напечатаны. Это видно из писем Филарета своим родным: «Пользуясь настоящим случаем, посылаю Вам для раздачи родным и знакомым **Слова на Великий пяток** 10 экземпляров, **Слова на смерть** Смоленского 5, **о причинах военных успехов** 10».

Общественные проблемы, особенно те из них, которые были связаны с эпидемиями, войнами, стихийными бедствиями, были предметом внимания Филарета. В Отечественную войну 1812 года, по мере продвижения наполеоновского войска к Москве, многие её жители на повозках с домашним скарбом буквально «катились» по московским дорогам в глубь страны. Не избежали сей участи и жители Коломны. Часть их, в том числе и семья Филарета, когда угроза наполеоновского нашествия нависла и над Коломной, эвакуировалась. В своих письмах Филарет описывает это тревожное для страны время. Прежде всего Филарет прямо говорит о том, что он патриот своего Отечества: «Что до меня принадлежит, я скорбел и скорблю о нещастиях родных, знакомых и отечества, пользуясь сам не заслуженной безопасностью и спокойствием». И там же: «Правда, в сентябре и здесь принимаемы были некоторые меры осторожности; робкие и праздные люди оставляли город: церкви и духовенство были всех спокойнее».

Отец его, Михаил Фёдорович, с зятем своим Иродионом Стефановичем уезжали в Рязань, а мать с детьми — в Козлов.

Филарет отдавал всего себя борьбе с такой страшной эпидемией, как холера, не раз в те годы охватывающая страну. Первая холерная эпидемия случилась в 1830 году. К этому времени ряд эпизодов его многосторонней антихолерной деятельности был связан с Коломной. В его письмах к родным эпизоды, связанные с этим, нашли своё отражение. «Здравие Вам, Милостивая Государыня Матушка, и всему семейству. Желаю знать о Вашем здравии. Я здоров, и у меня дома благополучно. В городе же есть несколько больных и умирающих опасною болезнью. Посылаю некоторые записки о предосторожностях». В одной из них он дал целый ряд практических советов, как уберечь себя от заражения ею.

Филарет особое внимание уделял общению со своими ближайшими родственниками. Он приглашал их к себе на обеды, завтраки или другие семейные праздники и торжества по тому или иному случаю. Это видно из его писем к родным. Вот что говорилось в одном из них: «Угодно ли будет Вам, Милостивая Государыня Матушка, завтра кушать у меня; и если угодно, то возьмёте ли с собою Григория Ивановича (Богоявленского. — *Б.Г.*) и Сестрицею только, или угодно Вам, чтобы я и племянниц с племянниками пригласил? Прошу разрешить сие теперь, чтобы мне знать, как расположиться?»

В семейном общении Филарет находит себе большое удовольствие и в общем-то потребность. Здесь следует сказать, что он был не только высокопоставленным церковно-государственным деятелем, недоступным для простых смертных, а человеком со всеми своими достоинствами и недостатками. Он не был сверхчеловеком, каким его рисовали некоторые.

Человечность его особенно проявилась в години потерь самых близких ему людей — отца, матери, брата, дедушки и других родственников.

В начале 1816 года Филарета постигло большое горе. 18 января после болезни скончался его отец Михаил Фёдорович. Ушёл из жизни не просто родитель, а его верный друг, с которым он делился своими сокровенными мыслями, жизненными планами, теми вопросами, которые возникали перед ним и ответы на которые он всегда находил у отца, человека умного, отзывчивого, с добрым сердцем. Все тонкости их необыкновенной дружбы мы находим в письмах Филарета родным.

Филарет предчувствовал кончину отца, и об этом он написал позже в своём письме уже после его смерти. Он говорил о том, что «...слабость Вашего здоровья занимает меня и наяву, и во сне. В сем состоянии остаюсь донныне. Стараюсь последовать примеру преданности в волю Божию, каковый

всегда видел в Вас: и лучшее утешение в настоящем положении моём есть та мысль, что твердейшее основание спокойствия и надежды Вы полагаете во Враче души телес. К Нему и я прибегаю в недостойных моих молитвах, и, имея возможности ближе служить Вам во время Вашей немощи, молю Его всемогущим Своим Промыслом устроить всё так, чтобы внешняя скорбь Ваша растворена была внутренним утешением веры и упования, и чтобы обычные ли человеческие средства или единая Его невидимая сила возвратили телесному составу Вашему крепость его, и вместе с Вами всему роду нашему дано было с новым утешением узреть всем благая Господня на земли живых. Между тем Вы простите моей нетерпеливости, если, не ожидая, когда Вы сами известили б меня о своём облегчении, прошу у Вас сего известия, хотя чрез других, дабы не тяготить Вашей руки. Особенно прошу приказать написать мне, нет ли случая, в котором бы я мог чем-либо служить Вам в настоящих обстоятельствах».

Филарет любил своего брата и заботился о нём постоянно. Когда он учился в Московской Духовной академии и особенно после смерти отца, он просил ректора о. Филарета, чтобы его брат находился под неослабным ректорским вниманием. «О брате попещись просил и о. Филарета, которому и послал на его нужды сто рублей». Когда он сам получал от него письма, он тут же отвечал на них. Получив письмо от него в связи со смертью отца, Филарет написал ответ, в котором содержались трогательные строки в связи с их переживаниями об отце. «Письмо твоё, любезный Брат, мною получено. Что ты начинаешь чувствовать утешение в общей нашей печали, тем и я утешаюсь. Нельзя быть без печали: но предаваться ей не должно».

Иногда Филарет писал брату о своих нравоучениях, присылал нужные ему книги, заботясь о пополнении его библиотеки новыми изданиями. «Когда видишь худой пример: не соблазняйся мыслию, что люди ненакаданно делают зло; не наказанное вскоре, готовит большую беду тому, кто сделал оное. Старайся исполнить своё дело тщательно и верно, сколько можешь: а затем меру успеха и благосостояние своё поручай Богу, прибегая к Нему часто тайною сердечною молитвою; и Он сохранит тебя. В трудных случаях проси наставления о. Филарета, изъясняя ему свои нужды и беспокойства искренно. Я имею мысль переместить тебя: но как теперь пред окончанием учебного курса сделать сие неблагоприятно; то оставляю сие до вакации. Не открывая сего никому прежде времени, подумай о сем, и напиши мне свои мысли. — Писано мне о книгах тебе потребных. Но учение... не многими книгами, а размышлением о читанном и слышанном. Теперь можешь читать философские сочинения Цицерона, что и для знания и языка полезно. Книги в реэстре твоём, который при сем посылаю, отмеченные первым числом, можешь выписать из Коломны теперь же. А когда перейдёшь в Богословское отделение: тогда можешь взять книги означенные в реэстре вторым числом; и тогда будешь иметь Библиотеку, какую ученики очень редко имеют».

В письмах к брату содержатся решения конкретных практических вопросов, связанных с церковной деятельностью в Коломне. «Поклонись от меня Иродиону Стефановичу и скажи, что на пристройку приделов к холодному Собору не можно согласиться: это противно и древнему характеру, и прочности здания, и месту. Лучше, как думает Савин Дементьевич (коломенский горожанин. — *Б.Г.*), пристроить придел к тёплому Собору на запад от колокольни, если только надобно строить. Новое положение о Духовенстве особенно в городах не велит умножать Церквей».

Филарет был крайне обеспокоен тем, что здоровье брата стало ухудшаться. Это нашло своё выражение, например, в одном из его писем, в

котором он, в частности, писал: «Не могу не заметить, что это уже не первый случай, который показывает, что здоровье брата не таково, чтобы без заботы ходить в Митяево ночью и в грязь или стужу. Думаю, знаете, что я ему говорил уже прежде, не хочет ли переменить места: но он отказывался, представляя, что бабушка того не пожелает. Тогда я похвалил его отказ: но теперь думаю, что не позволительно мне предложить своё мнение. Если внук бабушке угоден, и служит ей покою: то надобно беречь его, и потому надобно поискать ему места, которое было бы менее трудно для его некрепкого здоровья. Скажите бабушке сию мысль, и сообщите мне ответ ей, а также Ваше мнение».

Тревога всё более и более увеличивалась. «Знакомый Григорию Яковлевичу Высоцкому доктор будет на сих днях в Коломне: почему я просил, чтобы он побывал у Вас, осведомился получше о состоянии здоровья брата, и о пользовании его, и о том, не нужно ли для него какое дальнейшее пособие. Дайте ему способ исполнить моё поручение, к успокоению моему. Уведомьте потом меня о его посещении», — писал Филарет.

Из писем Филарета, в частности, в связи с болезнью брата нам становятся известными многие факты, связанные с высокой его нравственностью. «Мне кажется, что если я поступил неправильно, и против меня понадобилось правило осторожности, то лучше бы сказать прямо, чтобы и я впредь мог остеречься от моей ошибки. Кто же мне скажет правду, если брат не скажет? Просил бы я, если можно, вывести меня из сего тёмного положения».

14 июня 1839 года Никита Михайлович скончался на 40-м году жизни. Для Филарета это был тяжёлый удар. «Покоримся, Милостивая Государыня Матушка, судьбам Божьим. Утешайте скорбь Вашу надеждою на Бога. Советуйте же невестке. С трудом могу, но желаю, если Господь устроит, быть у Вас».

Иными словами, в самые тяжёлые дни своей жизни, особенно в те из них, которые связаны с утратами близких ему людей, он удивительно открыто проявлял своё такое отзывчивое и доброе сердце, которое он обычно стремился держать закрытым для других. Это, например, видно из того, как он реагировал на кончину своего любимого дедушки Никиты Афанасьевича в своём письме от 17 сентября 1824 года: «Бог совершил волю свою над Прародителем нашим: повинемся судьбе Его. Известие о представлении Дедушки (Никита Афанасьевич скончался 8 сентября 1824 года. — *Б.Г.*) получил я не без слёз: но и не без утешения. Знаю, что он ожидал часа смертного, и к таинству приступал часто. И потому нечаянность кончины не приносит заботы. А что он был у Иродиона Стефановича: мне кажется, что он послан был дать последния Благословения. Да примет Господь душу его в мире. Утешаюсь воспоминанием, что брат не отрёкся послужить спокойствию последних дней его. Молитвы его будут с нами. Не скорбите много, и Бабушку утешайте».

Проповеди святителя Филарета в Коломне

Именным указом Александра I от 13 июля 1821 года Филарет был назначен архиепископом Московской епархии. Филарет в душе был рад этому своему новому назначению. Он радовался, ибо здесь была его родина, Коломна. В Троице-Сергиевой лавре он нашёл себе вторую, духовную родину, трогательное покровительство митрополита Платона (Левшина). Эти чувства, мысли им были изложены во время пребывания в Коломне, в которую он приехал 27 мая 1822 года. В воспоминаниях современников этого события рассказывается: «В 1822 г., 27 мая прибыл в

Коломну вечером, просвещенный Филарет, архиепископ Московский и Коломенский. По въезде в родной город он направил путь свой к тамошнему Успенскому собору, в котором почивают некоторые архиереи святой памяти. Приложась в древнем соборе к местным образам, Филарет начал было говорить проповедь с амвона, но, сказав немного слов, прервал её по причине народного шума, а произнёс уже на другой день, во время им совершённой литургии в том же соборе».

Саму свою проповедь Филарет начинает с эпиграфа: «Иже любит отца или мать паче Мене, несть Мене достоин; и иже любит сына или дочь паче Мене, несть Мене достоин. (Мф. X, 37)». «По неисповедимым судьбам Божиим, видя себя вновь посреди сего града (Коломны. — *Б.Г.*), в котором суждено было мне в первый раз увидеть свет и от которого течением происшествий увлечён я был так, что никогда уже видеть его не чаял — сверх чаяния, вновь находясь посреди братий и ближних, в сообществе которых получил первые приятные ощущения жизни, — желал бы я совершенно предаться сильному влечению любви к отчизне, — любви, по которой, как изъясняется некто из Иерусалимлян, дети Иерусалима **благоволиша камень его, и перст его ущедрят** (Псал. 1, 15), то есть самые камни отечественного града им любезны, мил даже прах путей его. Сердце моё готово теперь воспеть своему Иерусалиму: **вопросите, яже о мире Иерусалима: и обилие любящим тя! Будь же мир в силе твоей, и обилие в столпостенах твоих.** Ради Братий моих и ближних моих, глаголах убо мир о тебе (Псал. СХХI, 6—8)».

И далее проповедник восклицает, останавливая поток мыслей и чувств, охвативших всего его: «Сию сладкую песнь пресекает грозный глас заповеди Христовой, которая, как будто по особенному намерению, ныне оглашает меня среди сего храма. **Иже любит отца или мать паче Мене, несть Мене достоин: и иже любит сына или дочь паче Мене, несть Мене достоин.** Что же буду делать? Восприиму иную песнь песнопевца Израилева: не **Богу ли повинется душа моя** (Псал. XI, 2)? Покорю любовь к ближним и братиям, — покорю любви к Богу и Христу; **забуду люди моя, и дом отца моего,** и потщуся помнить токмо людей Господних и дом Отца небеснаго. В сем расположении духа и прерванную Иерусалимскую песнь продолжать мне позволено: **дому ради Бога нашего взыскав благая тебе** (Псал. СХХI, 9). Боголюбезный граде! Ради святых Церкви, которая есть дом Божий, ради православных чад ея, которые суть присные Богу, желаю я тебе благ; и поелику желаю для Бога, то и благ желаю Божественных, **мира Божия, превосходящего всяк ум, веры Божией, которая есть Божий дар, любви Божией, изливающейся в сердца наши Духом Святым**».

И затем Филарет на основании текста проповеди поучает жителей города о любви к Богу.

Проповедь Филарета, по свидетельству его современников, произвела на коломенских горожан неизгладимое впечатление. Все были очарованы и воодушевлены вдохновенными словами его, которые доходили до самых сердец. Сразу же поступили запросы о том, чтобы данная проповедь была напечатана и распространена среди них как можно в больших экземплярах. Это нашло своё отражение в письмах Филарета своей матушке. «Иродиона Стефановича благодарю за письмо сего дня полученное. Проповедь (речь идёт о его проповеди, произнесённой им при посещении в неделю Всех Святых 28 мая 1822 года в Коломне. — *Б.Г.*), может быть, напечатаю с несколькими другими», — писал он в своём письме от 7 августа 1822 года.

В другом письме, от 3 ноября 1822 года, в связи с этой проповедью писал: «Между делом, занимаюсь печатанием прошлогодних проповедей по благословению и на иждивении Св. Синода: таким образом будете иметь и ту, которая говорена в Коломне».

В последующие годы после данного посещения имел горячее желание как можно чаще бывать в родной Коломне. В связи с этим он, например, писал своей матушке: «...желал бы я к Вам в Коломну: но не знаю, как Бог велит. Молю его, чтобы Он сохранял Вас и всех вас».

Следующее его посещение Коломны было в начале августа 1828 года. Об этом нам становится известным из его письма матушке, в котором он просил у неё извинения, что «умедлил известить вас о моём возвращении» (из Коломны. — Б.Г.).

5 августа 1828 года в неделю двенадесятую Филаретом была произнесена проповедь, в которой он обратил внимание на благочестие жителей города. «Се, под руководством Апостольским, вкратце напоминаю, **сказал я вам, братие, благовествование, еже благовестиша** нам богомудрые отцы наши, **еже**, как то видимо есть, **и приясте**, в нём же, уповательно, **и стоите, имже** — о, если бы и остальное мог я присовокупить с полною уверенностью о всех вас! **имже и спасаетесь!** Ведут меня к вожденному о вас упованию и чистое исповедание веры, нами содержимое, и святыми ея таинствами в вас запечатлеваемое, и древнее благочестие, плодоношением и добродееанием во святых храмах, и делами человеколюбия, до ныне между вами свидетельствуемое».

Подобное мы читаем и в произнесённой им в Коломне 7 сентября 1853 года проповеди при освящении храма Введения во храм Пресвятыя Богородицы. При обращении своём к прихожанам им было сказано: «Приходите во Храм Божий прилежно; входите в него со страхом Божиим; слушайте в нём священное чтение и пение со вниманием и желанием уразумения и наставления».

17 сентября 1861 года в Коломне состоялась беседа (заочная), текст которой был написан Филаретом при освящении придельного храма Божией Матери в Тихвинском соборе Коломны. Это был второй, после Успенского, собор. Первоначально он был построен ещё во времена Дмитрия Донского, так же, как и Успенский собор. В 1682 году Коломенским архиепископом Никитой он был перестроен. Но в конце XVIII века возникла потребность в его поновлении. Это и было осуществлено известным богатым купцом Иваном Демидовичем Мещаниновым. К середине XIX века храм был снова обновлён, украшен, значительно расширен, на этот раз купцами Тупицыными.

На освящение храма храмоздатели просили приехать самого владыку. Филарет долго колебался, ехать или не ехать в родной град. Однако, к сожалению, ему пришлось в силу своего плохого самочувствия отказаться от этой идеи. Но текст его будущей проповеди, или, точнее, беседы, был составлен. Выступить с ней он поручил своему викарию, епископу Леониду. 17 сентября 1861 года эта беседа и состоялась.

Проповедь начиналась со следующих слов: «Окончившим путь приятно отдохнуть, но приятно и оглянуться на начало и продолжение пути и перенесённые трудности... Так, среди приятных часов обновления сего храма, не неприятно будет вспомнить его прежнее существование и путь воссоздания его», — продолжает Филарет, выступающий на этот раз в роли историка коломенской церкви. Обнаруживая своё знание истории храма, владыка замечает, что «усердием гражданина сего града, раба Бо-

зия Иоанна (упомянутого нами выше Ивана Демидовича Мещанинова. — Г.Б.) создан здесь храм; и много лет им довольствовались, но потом начали находить его не довольно пространном».

Гордостью за коломенских прихожан звучат слова филаретовской проповеди: «Радостна жалоба, что храм тесен: она показывает, что он имеет довольно молящихся. И едва ли не больше радостна жалоба, что храм становится тесным: это показывает, что он имеет довольно молящихся. И едва ли не больше радостна жалоба, что храм становится тесным: это показывает, что число молящихся умножается. Господи, умножи и благослови любящих дом Твой земный и чрез него веди их в Твой дом небесный!»

Далее в тексте проповеди с глубочайшим уважением говорится о храмоздателях: «Присно памятный раб Божий Филипп (купец Коломенский Филипп Назарович Тупицын. — Б.Г.), ктитор сего храма по должности возымел усердие сделаться действительным храмоздателем, чрез распространение сего храма».

И далее в проповеди Филарет как компетентный историк коломенских церквей рассказывает о том, что кроме упомянутого Филиппа Назаровича Тупицына «у других благорасположенных граждан возникла... мысль: создать отдельный, совершенно новый храм (речь идёт о лицах из городского управления, которые заявили свои права на распоряжение соборным храмом как таковым, а не как приходским. — Б.Г.). Произошла борьба мнений, и предприятие подверглось колебаниям и остановкам».

В конечном счёте взял верх план Филиппа, но, как говорится, ему не суждено было сбыться. «Проведение Божие хранило его до тех пор, пока дело решительно утвердилось в его руках: и вскоре Господь, приняв его твёрдое намерение, как самое дело, принял его в будущий век».

Филарет рассказывает, что после кончины Филиппа Назаровича его наследники (сыновья Ф.Н. Тупицына) реализовали план своего отца в отношении храма и, как отмечает Филарет, «исполнились некоторым образом оба мнения, прежде взаимно противоборствовавшие. Предпринято распространение храма; но вот вы не видите ничего старого, а видите совершенно новый, пространный, величественный, благолепный храм».

И с искренней радостью Филарет отмечает: «Да радуется душа, начавшая богоугодный подвиг, и душа, благословенно совершившая оный». Далее следуют его проникновенные слова: «Утешимся все. И наипаче прославим Бога, Который дарует благие намерения, и благословляет исполнение их».

Кончина святителя Филарета и его похороны

Рассказывают, что 17 сентября 1867 года было днём предвестия близости окончания земной жизни великого святителя Филарета. К нему во сне явился отец и сказал ему о том, что надо «беречь 19-е число». Филарет об этом поведал наместнику лавры Антонию, с которым он был в самых близких отношениях. Вот как об этом рассказывает Антоний. «17-го сентября, — владыка митрополит был в это время в лавре, — по окончании ранней литургии в его домовую церковь, я явился к нему с обычным, повторявшимся каждый день докладом о состоянии обители; он после моего доклада говорит мне: “Я ныне видел сон, и мне сказано: *береги 19-е число*”. На это я заметил ему: “Владыка святой! Разве можно верить

сновидениям и искать в них какого-нибудь значения? Как же можно притом обращать внимание на такое неопределённое указание? Девятнадцатых чисел в каждом году бывает двенадцать”. Выслушав это, он с чувством сердечной уверенности сказал мне: “Не сон я видел; мне являлся родитель мой и сказал мне те слова. Я думаю с этого времени каждое девятнадцатое число причащаться Св. Таин”. Я сказал, что это желание доброе».

«Через два дня после сего, 19-го сентября, во вторник, во время литургии в домовая церкви он причастился Св. Таин. В октябре он был в Москве, и 19-го числа, в четверг, также причащался Св. Таин в своей домовая церкви. Наступило в следующем месяце ноябре роковое 19-е число. Это приходилось в воскресенье. Пред тем всё время владыка чувствовал себя хорошо и легко, принимал посетителей, ревностно занимался делами, выезжал иногда из дому. На неделе пред 19-м числом он принимал одного из своих почитателей, который при прощании передал ему просьбу одной почтенной дамы, также уважавшей святителя, что она желала бы быть у него и принять его благословение. Владыка сказал: “Пусть приедет, только прежде 19-го числа”. Так глубоко укоренилась в уме владыки мысль о девятнадцатом числе!»

Далее наместник лавры продолжает свой рассказ о последних днях жизни владыки. «18 ноября, в субботу, владыка говорит своему келейному иеродиакону Парфению, что завтра он будет служить литургию в своей домовая церкви, и чтоб всё было приготовлено к служению. Старик Парфений, отличающийся прямою и откровенностью, решил заметить владыке, что он утомится от служения и не будет, пожалуй, служить во Введенъев день, что лучше бы тогда отслужил. Но владыка сказал: “Это не твоё дело; скажи, что я завтра служу”. Он отслужил литургию, и в роковое 19-е число скончался».

К вечеру 19 ноября 1867 года слухи о смерти старейшего архипастыря, любимого народом, разнеслись по Москве. Глубокая скорбь тогда охватила всех — от простолюдина до знатных господ. Всеми он был любим и почитаем. Необычный звон колоколов с колокольни Ивана Великого, продолжавшийся в течение нескольких часов, подтвердил страшную весть о кончине владыки. Буквально на следующий день официальная пресса была заполнена сообщениями о кончине Филарета, в которых описывались последние часы его жизни.

«Вчера, в воскресенье 19 ноября, в исходе втораго часа пополудни, почил в Бозе преосвященный Филарет, митрополит Московский и Коломенский. Возвратившись в Москву из своего отшельническаго уединения в начале минувшаго октября, владыка приступил к своим обычным занятиям. В течение последних двух недель он три раза (8, 12 и 19-го ноября) совершал Божественную литургию в своей домовая церкви; в этот же промежуток времени присутствовал в синодальной конторе и дважды посетил московскаго генерал-губернатора князя В.А. Долгорукова. Делами архипастырь занимался с обычною неутомимостью, живостью сообщения и быстротой производства. Два вечера в неделю были посвящены докладам викариев; доклады эти продолжались по несколько часов сряду, и владыка выслушивал их с неутомимым усердием. Посетители и просители были принимаемы им всё это время с обычным вниманием. В последний раз слушал он доклад вечером в пятницу 17 ноября; доклад продолжался от 5 до 8 часов вечера», — сообщали «Московские ведомости». А вот другое газетное сообщение в тот день. «В воскресенье, 19 нояб-

ря, владыка митрополит совершал литургию без утомления и по кратком отдыхе принимал новоназначенного московского губернатора, генерала Баранова. Затем преосвященный остался один. Наступил час его скудной трапезы; но он медлил, когда ему было о том доложено. Наконец в исходе второго часа келейник, вновь войдя в комнату архипастыря, нашел его бездыханным. Мирно и безболезненно перешёл он в вечность. Немедленно дано было знать о том викариям, наместнику Чудова монастыря и генерал-губернатору. Приглашены были врачи (Г.Г. Рахманов, постоянный врач покойного, Варвинский, Паженкопф, Захарьин), но помощь их оказалась излишнею. Князь В.А. Долгоруков прибыл немедленно по извещении поклониться телу архипастыря, когда оно, только что опрятанное, ещё лежало на обычном одре почившаго. Затем, облаченное в архиерейския ризы, тело было перенесено в большую залу, где была совершена архиерейским служением панихида. Облачение совершалось со всем торжеством, подобавшим высокому церковному сану почившаго. В руки усопшаго святителя были вложены дикирий и трикирий. Диаконы, каждый раз пред начатием каждения, обращались к почившему. Вечером того же дня в восемь часов была совершена вторая панихида».

«Сегодня, двадцатого ноября, совершены были две панихиды. Немедленно прибывший из Троице-Сергиевой лавры наместник Антоний привёз кипарисный гроб, приготовленный заранее по распоряжению почившаго, и тело было переложено.

Толпы народа не переставали целый день окружать Троицкое подворье, где тело блаженнаго почившаго архипастыря останется в продолжение всего завтрашняго дня», — писали газеты. Перенести тело усопшаго в Чудов монастырь было решено в четверг 23 ноября. Дело в том, что буквально каждый час, даже далеко за полночь, шли толпы народа в Троицкое подворье, чтобы проститься с почившим владыкой... «Каждый день, в буквальном смысле, от раннего утра и до поздней ночи, даже почти во всю долгую зимнюю ночь, около гроба святителя неустанно, неумолкаемо толпился народ. Полиция, приставленная для водворения порядка, оказывалась бессильной для удержания наплыва этих неустанно притекавших народных волн; мы не раз посещали Троицкое подворье далеко за полночь, и всё-таки при входе в недавнее жилище архипастыря необходимо было ждать час или два, чтобы поклониться гробу его», — описывал прощание свидетель тех горестных для россиян дней.

Величавый, как живой, лежал Филарет в кипарисовом гробу. «Как волны, кипел народ около этого гроба, и волны эти постоянно вливались и изливались неизсякаемой струёю», — рассказывали свидетели.

Наконец наступил четверг 23 ноября, когда тело усопшаго должно было быть перенесено в Чудов монастырь, находившийся на территории Кремля. Знаменательным было то, что почти всё взрослое население вышло на улицы и площади Москвы, чтобы отдать дань своего глубокого уважения великому Святителю. Народ провожал своего архипастыря в последний путь. Чтобы не упустить каких-либо деталей этого «народно-православного, торжественно-печального зрелища», мы уступаем место нашего повествования описанию его свидетелями того события. «С самого раннего утра почти до пяти часов, когда гроб был внесён в Чудов монастырь, народ не покидал улиц и площадей его шествия во всю длину. Было не тольколюдно, было тесно во всю длину улиц, во всю ширину площадей. Громадная историческая Красная площадь как бы захлебнулась народом.

Печальный перезвон всех московских сорока сороков, безмолвная тишина едва шевелившейся несметной толпы и тихо, едва заметно подвигавшийся гроб, шествие которого обозначалось небольшими красными лаврскими хоругвями, составляли редкое, русское, народно-православное и торжественно-печальное зрелище». Маршрут шествия начинался с Троицкого подворья, затем пролегал по Троицкому переулку, к Самотеке, по Садовой улице до старых Триумфальных ворот, по Тверской к Иверской часовне, через Красную площадь в Кремль.

Места на пути шествия для перемены лиц разделены были на следующие чреды: 1) На Садовой против Семинарского дома, 2) у Триумфальных ворот, 3) против Страстного монастыря, 4) близ Иверской часовни.

Священники монастырей и церквей, мимо коих следовало шествие, выходили с хоругвями и иконами, с запрестольными иконами. Священник при сем имел в руках крест, а диакон — кадило, а причетники выходили со свечами. Священник и диакон присоединялись к шествию, занимая каждый место в своём чине.

«Для отпевания тела почившаго митрополита Московского и Коломенского Филарета приехали из разных мест высокопоставленные иерархи: высокопреосвященный Арсений, митрополит Киевский и Галицкий; Нил, архиепископ Ярославский и Ростовский; Антоний, архиепископ Владимирский и Суздальский; Никандр, епископ Дмитровский и Игнатий, епископ Можайский. Ещё накануне отпевания из Петербурга в сопровождении свиты приехал Великий князь Владимир Александрович, а ещё ранее прибыл синодальный обер-прокурор граф Д.А. Толстой».

Эти же лица совершили торжественно-трогательное отпевание в кафедральном Чудове монастыре (Арсений, Никандр, Игнатий), Успенском (Нил, Антоний). Надгробное слово во время причастного стиха было произнесено ректором Московской Духовной академии, протоиереем А.В. Горским. Он обрисовал основные вехи жизненного пути Великого иерарха, которые были ознаменованы замечательными деяниями на благо всех людей и имя которым только одно — **Подвиг**. «Так, проводя в труде и подвигах день и ночь, неусыпно, неутомимо, всегда имея в виду волю Господню и не свою личную пользу, но благо Церкви, государства, общества, — верим, мог он сказать, скончаявая своё земное поприще: **подвигом добрым подвизался**», — сказал А.В. Горский.

Он особо отметил, что Филарет «никогда не переставал быть горячим сыном общего всем отечества, и пастырь стада Христова являлся мужем государственным, когда был призываем к рассмотрению вопросов, в которых нужды Церкви соприкасаются с делами государства, или когда доверием Самодержцев русских поручаемы ему были особенно важные дела. В нуждах государства он первый приносил жертвы от сбережённых им даяний. И во всех радостях и скорбях Царского Дома принимал глубочайшее участие, с молитвой в сердце, с словом духовным».

После окончания литургии тело почившего было перенесено в трапезную, где и было совершено его отпевание.

Поминальная трапеза происходила в мироварной палате, в которой был накрыт стол на 250 приборов. В воскресенье 26 ноября, после литургии, совершённой митрополитом Киевским и Галицким Арсением вместе с викарием Леонидом и заместителем лавры Антонием, совершена была лития. Перед ней выступил протоиерей церкви Св. Троицы на Арбате И.М. Богословский-Платонов. В его речи имелись примечательные слова: «Мы верим, что не разлучаемся с тобою, святой Архипастырь наш! Как

прежде временно оставлял ты град сей для того, чтобы в уединении иметь более свободы пешись и трудиться для блага вверенной тебе Церкви, окрилая дух молитвой при гробе великого угодника Божия Сергия: так и ныне, когда телом грядешь ты для упокоения в его земной обители, дух твой, всегда паривший выше земли и времени, напутствуемый слёзными молитвами многих и многих тысяч людей, несомненно устремляется к небесной и вечной обители преподобного, откуда благоговяющая пред тобою паства ожидает твоих непрестающих молитв и твоего святительского благословения».

После совершения литии архимандриты вынесли гроб на крыльцо Чудова монастыря. Вся прилегающая площадь была заполнена народом. Всё замерло кругом, воцарилась глубочайшая тишина. По всей Москве раздался колокольный звон. Военская часть произвела салют, отдав тем самым последнюю почесть великому Святителю. Далее траурный кортеж направился к железнодорожному вокзалу. На пути его следования стояли огромные толпы народа. Народ отдавал дань своего глубочайшего уважения Филарету. Вот как описывают это событие его очевидцы. «Со всех сторон, из всех переулков по пути шествия стекался народ поклониться в последний раз своему Архипастырю; крыши домов, окна, заборы, колокольни церквей, всё, в буквальном смысле, было усеяно народом; неподалёку от Красных ворот встретили и воздали ему последнее поклонение воспитанницы недавно устроенного митрополитом Филаретом, на его иждивение, училища для девиц духовного звания.

В час и десять минут процессия приблизилась к вокзалу железной дороги; здесь, в последний раз, среди Кремлёвских хоругвей, была совершена последняя в Москве лития, и потом гроб, сопровождаемый Его Высочеством, перенесённый через залу на платформу архимандритами, был поставлен на особо приуроченное место, обитое со всех сторон чёрным сукном, и окружён везде сопутствовавшими ему лаврскими хоругвями. На платформе у этого высокочтимого гроба стали наместник лавры Антоний и некоторые другие лица из духовенства. Высокопреосвященный Арсений, архиепископы — Нил Ярославский, Антоний Владимирский; епископы Никандр Тульский и Леонид Дмитровский, архимандриты, члены Консистории, члены попечительства и благочинные сопровождали гроб в том же поезде... Не слышно для народа, безмолвно стоявшего кругом воксала, торжественно-тихо двинулся этот поезд и прибыл в лавру через три часа и двадцать минут».

По пути следования в лавру в Мытищах, а затем в Хотькове были короткие остановки траурного поезда. Здесь также собирались огромные толпы народа, особенно крестьян из близлежащих сёл и деревень.

Поезд с гробом Филарета медленно подходил к лавре, встреченный несметным множеством людей, которых становилось всё больше. Архимандриты сняли гроб с поезда и направились в лавру. «Архимандриты подняли его, и среди всё гуще и гуще налегавших сумерек двинулась процессия иноков в их чёрных одеждах, с ярко горящими свечами, в среде значительного собора духовенства и несметного числа народа; драгоценный гроб тихо подвигался к месту последнего покоя незабвенного Святителя. Надвигавшаяся ночь придавала этому шествию особенно печальный характер: освещение блестящего облачения духовенства и этого скромного, простого гроба, вмещавшего в себе останки мужа превысшего всех из присутствовавших, производило необычайно сильное впечатление».

Гроб был внесён в Троицкий собор. В 7 часов большой лаврский колокол приглашал всех почтить память святителя, но желающих было так много, что храм не мог вместить всех. И 27 ноября владыка не был ещё погребён. Между тем прибыл с восьмичасовым поездом московский генерал-губернатор и присутствовал на Божественной литургии. Архимандрит Сергей произнёс содержательную речь, в которой были такие примечательные слова: «Поистине невозможно изобразить его подвиги, ко благу Церкви и Отечества им понесённые. Если бы собрать все те письма, которые начертала десница его, то самому нечувствительному человеку нельзя бы не прийти в благоговейное удивление; а какие благотворные действия произвели они, то и представить трудно; если бы собрать всех тех, на кого возложены были его священные руки, изливавшая божественную благодать, немощная врачующую и оскудевающая восполняющую, то далеко не вместил бы их храм, вдвое сего пространнейший; а сколько добрых семян посеяли его мудрые уста, это поистине известно одному Богу».

В тот же день в трапезной лавры, где ещё не так давно провозглашались здравицы в честь юбиляра, состоялась заупокойная трапеза на двести человек, и было в конце её пропето «Со святыми упокой» и провозглашена «вечная память» почившему владыке.

Вторник 28 ноября был днём погребения Высокопреосвященного митрополита Филарета. Получается, что девять дней тело Филарета не было предано земле. Последнюю литургию над гробом совершали Высокопреосвященный Арсений вместе с епископами Никандром, Леонидом и наместником лавры Антонием. Профессор богословия в Московском университете протоиерей Н.А. Сергиевский во время причастного стиха произнёс следующее красноречивое и выразительное слово: «Что сие ныне творит великая лавра Сергиева? Ради чего в ней это необычайное, не однодневное собрание святителей, священства, иночества, синклита, народа?»

Великая лавра, с необычайным собором, священнодейственно прие́млет ныне своего великаго Священно-Архимандрита и во иерархах Великаго Филарета, внезапно, необычным шествием к ней пришедшаго, дабы никогда уже не оставлять её телом своего смирения. Торжество печальное! Увы, великая обитель Сергиева!»

В час пополудни гроб был поднят старшими из братии лавры и пронесён до южных ворот собора, где были пропеты литии, а затем против алтаря, у северных и западных дверей Троицкого собора. После этого процессия направилась в придельный храм, который был воздвигнут в честь пятидесятилетнего юбилея почившего владыки. «Храм ещё не готов, но в нём была готова могила для маститаго юбиляра — знаменитая могила! Могила выложена оштукатуренным кирпичом, глубина ея в 2,5 аршина, в могиле другой дубовый гроб, устланный можжевельником, в него-то и был опущен кипарисный гроб, около котораго перебивала вся Москва, пред которым падал ниц народ во время его переезда из Москвы в Троицко-Сергиеву лавру и который целым населением встретили и приняли и лавра, и посад.

Гроб скрылся... над ним теперь тяжёлая плита и вскоре воздвигнется ещё более тяжёлая гробница; но Пастырь жив в чувствах народа и долго, долго будет жив в его памяти».

В советское время могила была осквернена. Ныне восстановлена и доступна верующим.



Небесный покровитель Коломны святитель Филарет, митрополит Московский и Коломенский, родился 26 декабря 1782 года. Детство будущего святителя проходит в Ямской слободе Коломны.

Владыка начинал образование в Коломенской семинарии, а продолжил его в Троицкой лаврской семинарии, где занял затем место учителя. В 1808 году учитель Василий Дроздов принимает монашество с именем Филарет. В 1809 году его вызывают в Санкт-Петербургскую Духовную академию, а с 1812 года он становится её ректором.

В 1822 году епископ Филарет восходит на Московскую кафедру. Теперь он бывает в родном городе уже как правящий архиерей, освящает храмы и духовно поддерживает земляков.

Митрополит Филарет скончался в 1867 году, совершив многие чудеса при жизни и по смерти. Он прославлен в лике святых в 1990 году.

Святитель ФИЛАРЕТ (ДРОЗДОВ),
митрополит Московский
и Коломенский

МЫСЛИ И ИЗРЕЧЕНИЯ

О духовной жизни

* * *

Поистине благо человеку, когда Господь Иисус Христос есть его сердце и жизнь, — и не только ему, но, чрез него, и приближающимся к нему. Ибо всякая сила в средоточии, такая распространяется и в окружность, и действует в ней. И обратно: лишаящий себя сего дара своим нерадением лишает чего-нибудь, может быть, и других. Господу помолимся, да будет сердцем живущих Ему и животом умерших себе и миру, смертью же для тех, в коих живёт ещё ветхий человек, дабы по крайней мере не распространять жизни ложной, когда надлежало бы жить истиною и её распространять.

(Из письма к наместнику Антонию)

* * *

Если жалуемся на леность и холодность, надобно поискать, не впал ли в душу какой из тех помыслов, кои тяготят долу, а не воспаряют горе; а это помыслы, в коих что-либо присволяется или приписывается себе — успех дела, похвала, замечание недостатков ближних с перевесом в нашу пользу. Искуси мя, Господи, и испытай мя, и виждь, аще есть пути беззакония во мне, и настави мя на путь вечен.

(Из письма к наместнику Антонию)

* * *

Что из глубины в день можно видеть звёзды, это справедливо; только глубина должна быть узкая и крутая, мало

доступная солнечному свету. Чем глубже человек в смирении, тем лучше видит небо.

(Из письма к наместнику Антонию)

* * *

Всякому подвизающемуся о своём спасении можно и должно сказать: *несть ти потреба тайных*: не ищи знать сокровенное или будущее. Для спасения нужно верить, исполнять заповеди, очищать сердце, а не любопытствовать. Желать знать сокровенное опасно; а желать открывать оное ещё опаснее. Но вот сие не препятствует тому, чтобы Провидение Божие открывало тайное и обращало сие для своих целей, даже и при несовершенстве орудия, как можно примечать на опыте.

(Из письма к наместнику Антонию)

* * *

За всех ли, за одного ли, как премудро учит Церковь, миром Господу помолимся. Душа молящегося в мире если и вскипает, то тихим и чистым огнём, но не пригорает, кипит, но не выкипает, изливается, но не истощается.

(«Письма к духовным лицам»)

* * *

Молитва друг о друге есть лучшее из общений. Несовершенства же молитвы должно по возможности исправлять, но не должно унывать от них. *Надобно различать дело молитвы от услаждения в ней*. Дело делает человек и должен делать постоянно и неослабно по правилу и порядку, а утешение дарует Бог по благодати, когда то нужно для привлечения или подкрепления человека и когда человек оное принять может. Подобным образом и чувство собственной немощи не на то употреблять должно, чтобы тяготиться и упадать духом, но чтобы оставлять надежду на себя и чрез молитву о помощи переходить к надежде на Бога.

(Евреинов. «Воспоминания»)

* * *

Надобно стараться быть в молитве постоянно и неколебиму нечаянностями, но также надобно в ней быть тихой и смиренной и не давать дерзновения воображению.

(«Письма Филарета»)

* * *

И то лишение, что не можете посещать храм Божий, принимайте не со скорбью только, но также с мирным послушанием воле Божией. Имя Господне да обитает в сердце вашем, и фимиам молитвы да восходит горе от души вашей: и тогда вы не чужды храма Божия.

(Сушков. «Записки о жизни м. Филарета»)

* * *

Если даются слёзы, надобно благодарить благоутробного Бога и пользоваться ими для очищения души. Но как ничего не должно быть чрезмерно, то и слезам иногда надобно поставлять предел чрез обращение ума к другому доброму занятию.

(«Письма Филарета»)

* * *

Обличать человека по своей воле едва ли нужно, разве сам он подаст случай сказать ему истину. Обличать за себя трудно, чтобы не примешалось самооправдание. Притом обличение может обратиться в неприятность другому человеку, чрез которого перешли речи. Не лучше ли помолиться только, чтобы Бог вразумил каждого смотреть на дело ближнего простым оком, без осуждения и подозрения.

(Из письма к наместнику Антонию)

* * *

Не несправедливо и не бесполезно будет меру терпения наполнить водою кротости и возлить на огонь ревности, чтобы он горел тихо и не разгорался без нужды до пожара, могущего, сверх опасения, повредить мирные скинии любви, снисхождения и смирения.

(Из переписки с Муравьевым)

* * *

На порицание лучше отвечать кротостию, нежели порицанием. Чистою водою надобно смывать грязь. Грязью грязи не смоешь.

(Из письма к епископу Алексию)

* * *

Надлежало бы более трудности находить в том, чтобы судить людей, нежели в том, чтобы смотреть на них просто, как смотрят на колеблемые ветром дерева или на текущую реку; но, видно, и в том есть трудность, чтобы не судить. Что же делать? Надобно учиться постепенно, сперва осуждать себя за осуждение ближних, потом удерживаться от осуждения словом, когда мысль на то подвигнется, далее удерживать самую мысль. Кто довольно знает и судит себя, тому недосужно судить других.

(Сушков. «Записки о жизни м. Филарета»)

* * *

Сердиться не полезно. *Гнев мужа правды Божией не соделывает.* Можно гневом только произвести или увеличить раздражение другого, а привести в лучшее расположение можно только терпением и миром. Духовный закон говорит, что надобно помочь ближнему и притом не оскорблять другого.

(«Письма Филарета»)

* * *

Правду говорить дело хорошее, когда нас призывает к тому обязанность или любовь к ближнему; но сие делать надобно, сколь возможно, без осуждения ближнего и без тщеславия и превозношения себя, как будто лучше другого знающего правду. Но при том надобно знать людей и дела, чтобы вместо правды не сказать укоризны и вместо мира и пользы не произвесть вражды и вреда.

(«Письма Филарета»)

* * *

Слово человеческое может быть изострено, как меч, и тогда оно будет ранить и убивать; и может быть умягчено, как елей, и тогда будет врачевать.

(«Письма Филарета»)

* * *

Одно смирение может водворить в душе мир. Душа не смиренная, непрестанно порываемая и волнуемая страстями, мрачна и смутна, как хаос: утвердите силу ея в средоточии смирения; тогда только начнёт являться в ней истинный свет и образовываться стройный мир правых помыслов и чувствований. Гордое мудрование, с умствованиями, извлечёнными из земной природы, восходит в душе, как туман, с призраками слабого света: дайте туману сему упасть в долину смирения; тогда только Вы можете увидеть над собою чистое высокое небо. Движением и шумом надменных, и оттого всегда беспокойных мыслей и страстных желаний, душа оглушает сама себя: дайте ей утихнуть в смирении, тогда только будет она способна вслушаться в гармонию природы, ещё не до конца расстроенную нынешним человеком, и услышать в ней созвучия, достойные премудрости Божией. Так, в глубокой тишине ночи, бывают чутки и тонки отдалённые звуки.

(Из переписки с Муравьёвым)

* * *

Невидимые, но подлинные грехи видеть иногда препятствуют человеку видимые, но мнимые добродетели.

(Сушков. «Записки о жизни м. Филарета»)

* * *

Радость земная проникается печалию, потому что душа сокровенно чувствует неудовлетворительность земного и потребности лучшего. Печаль о Господе проникается радостью, потому что душа предчувствует то, что сказано Апостолом: «Печаль яже по Бозе, спасение соделывает». Да взыщем радости, в которой бы не скрывалось жало печали. Да не страшимся и печали, в которой радость будет.

(Сушков. «Записки о жизни м. Филарета»)

* * *

Против нашей немощи, греховности, ничтожности есть бесконечная благодать и всемогущее милосердие Божие. А против лености Бог положил нечто и в нас: ибо если умеем победить леность и трудиться неутомимо и неусыпно для выгод мирских, как можно часто видеть на многих, то почему не возбудить себя к подвигам для царствия небесного? А поколику возбуждаемся, Бог и дело Своё нам указывает, и силу творить оное дарует, не так, впрочем, иногда, чтобы нам тотчас видеть и успех дела, но довольно, что не даёт препятствиям и отчаянию победить нас. Впрочем, дом душевный по большей части строится подобно тому, как по сказанию о церкви Киевской Лавры: пока строили, она всё была немного выше земли; а явилась вся, когда вся была достроена.

(Евреинов. «Воспоминания»)

* * *

Печаль может быть справедлива, но никогда не должна быть чрезмерна. *Печаль многи уби*, говорит опытный мудрец, *и несть пользы в ней*.

Печаль никогда не должна быть сильнее веры в Бога и надежды на Него. Что бы ни произошло, надобно веровать в Его милосердие и надеяться от Него помилования.

Для сего надобно отвлекать мысль от предмета печали и занимать ум и сердце молитвою. Не должно смущаться тем, что в сих обстоятельствах молитва несовершенна. Приносите Богу намерение молитвы, Он призрит и даст молитву молящемуся.

(Сушков «Записки о жизни м. Филарета»)

* * *

Если терпишь искушение и скорбь от ближних, упражняй себя в терпении и в прощении оскорбляющим. Так за динарий искушения можно купить сокровище добродетели.

Если терпишь скорби безвинно, благодари Бога. В слове *безвинно* есть сильное врачевство против скорби.

(Сушков «Записки о жизни м. Филарета»)

О нашем времени

* * *

Усиленное стремление к преобразованиям, неограниченная, но неопытная свобода слова и гласность произвели столько разнообразных воззрений на предметы, что трудно между ними найти и отделить лучшее и привести к единству. Было бы осторожно как можно менее колебать что стоит, чтобы перестроение не обратилось в разрушение. Бог да просветит тех, кому суждено из разнообразия мнений извлечь твёрдую истину.

(Из письма к арх. Гаврилу)

251

* * *

Век сей так страстен к беспорядку и вздору и так забыл первые начала здравого смысла и приличия, что между ревностью строгою, которой он не помышляет и не выносит, и между недостатком ревности, преступным против истины, трудно пробираться тропинкою ревности терпеливой.

(Сушков «Записки о жизни м. Филарета»)

* * *

Ученик пророка Иеремии Варух скорбел о своих личных несчастьях. Господь повелел Иеремии сказать Варуху: се яже аз насадих, аз разорю; и ты ли взыщешь великих? Не ищи. Вот Иерусалиму угрожает разрушение, народу Божию плен: скорби об обещанном, и пред сим не почитай великими твоих личных несчастий.

(Из письма к наместнику Антонию)

* * *

Наши изуродованные суетою обычаи, не исправляемые и грозным временем, угрожают более, нежели внешние враги.

(Из переписки с Муравьёвым)

* * *

Мне и вечерняя заря нынешняго, и утренняя наступающаго года не покажется светлою. Облаки темнеют; наносится дальний гул грома; гро-

моотводов или нет, или их ломают. Волны восходят: Иисус же спаше. Возстани, Господи, запрети волнам и разжени тучи.

(«Письма к разным лицам»)

* * *

Век сей лукав; чистому добру неохотно верит; случаи к нареканию и клевете ловит жадно; жалом насмешки, даже неосновательной, язвит иногда не без вреда успехам добрых предприятий.

(«Письма к духовным лицам»)

* * *

Дивлюсь я нередко нынешнему времени, в которое люди, при возрастающей по-видимому образованности, оказываются не так осмотрительными в поступках, как в прежнее время; и даже те же люди, при возрастающей опытности, являются менее основательными, нежели за несколько лет. Это примечательно и в малом, и в великом.

(Из письма к наместнику Антонию)

* * *

Для века сего недовольно действовать справедливо: надобно иметь осторожность, чтобы буквою закона и формою не вооружились против правды.

(Из письма к наместнику Антонию)

Управление и служба

* * *

Открывать и обличать недостатки легче, нежели исправлять. Несчастье нашего времени то, что количество погрешностей и неосторожностей, накопленное не одним уже веком, едва ли не превышает силы и средства исправления. Посему необходимо восставать не вдруг против всех недостатков, но в особенности против более вредных, и предлагать средства исправления не вдруг всепотребные, но сперва преимущественно потребные и возможные.

(Из письма к еп. Дмитровскому Иннокентию)

* * *

Как Вы пришли в страну, где есть беспорядки привычные, то надобно, как можно тихо, приводить людей к порядку, чтобы порядок не показался стеснением.

(Из письма к еп. Алексию)

* * *

Хлопотать можно по страсти, без нужды не надобно, а пещись о порядке с рассуждением и миром надобно. Вспомните писанное: *буди бдя и утверждая прочая, имже умрети*. Мы бы сказали: для чего же заботиться, бдеть, утверждать то, что уже обречено умереть? Оставим, пусть кое-как остаётся до смерти. Но не то повелевает истинное слово: *буди бдя и утверждая*. Не будь нерадив. Не допусти до разрушения прежде

времени. Если скажем: не станем починивать ветхого дома — будущей весною перейдём в новый, а ветхий будет сломан, то придёт прежде весны зима и заставит нас раскаяться, что решились доживать кое-как без починки.

(Из письма к наместнику Антонию)

* * *

Имейте терпение и поминайте слова, что достовернее суть язвы друга, нежели вольные лобзания врага.

(«Письма к духовным лицам»)

* * *

Снисхождение к преткнувшемуся и падшему надобно иметь, но снисхождение к небрежному и закосневающему в падении имеет в обществе неблагоприятное действие, охлаждающая ревность и распространяя небрежение. Надобно беречь каждого: но ещё больше беречь дух всего общества.

(Из письма к еп. Алексию)

* * *

Истинная обязанность начальствующего и помощника ему не в том состоит, чтобы с завязанными глазами ходить между подчинёнными, а в том, чтобы, узнав претыкание брата, не думать, что мы лучше его, и чтобы действовать в отношении к нему так же безгневно, как и прежде сего сведения.

(Из письма к наместнику Антонию)

253

* * *

Скучно, что люди во всём видят беспорядки и злоупотребления и за беспорядки одного человека в одном месте хотят перестроить весь мир.

(Из письма к С.Д. Нечаеву)

Язык

* * *

Бывало, искали достоинства в том, чтобы говорить мягко, а теперь ищут в том, чтобы говорить резко, и потому говорят хуже, нежели думают.

(Сушков «Записки о жизни м. Филарета»)

О богослужении

* * *

Слава Богу, что Он дал тоску по церкви. Когда можно, пусть она приведёт Вас в церковь, а когда не можно, скорбь лишения Господь

примет от Вас как жертву. Услышав благовест, приходите мыслию в церковь, припоминайте себе тамошнее действие и молитесь.

(«Письма Филарета»)

* * *

Пусть регент настраивает хор, а епископ распространяет дух гармонии в церкви, да будет вся она единым духовным хором и органом Божиим.

(«Письма к духовным лицам»)

* * *

Вы говорите: только бы молился человек, какими то ни было словами. Согласен и прибавляю, что в простоте верующий иногда нестройными словами молится лучше разумевающего, чему есть пример в сказаниях Отцов. Но иное молиться для себя; иное публиковать слово молитвы для употребления другим. Церковь даёт нам молитвы, взяв из уст Святых, чтобы молитвы были хороши и чувством, и примером, и разумом. Не прав тот, кто предлагает другим свои бестолковые выражения молитвы.

(Из письма к наместнику Антонию)

* * *

Вообще, мне кажется, не излишняя осторожность, чтобы при общих молитвах употреблять только то, что благословлено и принято Церковью, а не вводить нового, хотя и доброго, по частному изволению, которое может отворить дорогу к нововведениям сомнительным. Мне кажется, надобно стараться не о расширении церковного правила, но о том, чтобы существующее правило совершаемо было больше, и больше степенно и неспешно, чтобы больше давать места вниманию, размышлению, умилению и созерцанию.

(Из письма к наместнику Антонию)

* * *

Всем новым творцам акафистов надобно пожелать, чтобы их акафисты были произведением духа, а не литературы, чтобы они читающего возводили к созерцанию или погружали в умиление и питали назидательностию, а не осыпали градом хвалебных слов, с напряжённым усилием отовсюду собранных. Св. Григорий Богослов не написал акафиста Св. Василию Великому.

(Из переписки с Муравьёвым)

Монастыри и монашество

* * *

Не излишне было бы рассудить, полезно для Церкви печатать ново-составляемые службы и акафисты, в которых много слов и мало духовных мыслей и назидательности, и занимать сим неразборчивых, тогда как не находят довольно времени и усердия в точности исполнять богодухновенными отцами преданные существенные службы.

(«Письма к разным лицам»)

Церковные дела

* * *

Прекрасен совет отца Серафима не бранить за порок, а только показывать его срам и последствия.

(Из письма к наместнику Антонию)

* * *

Мысль, как смотрят ныне на духовенство, ничего не значит при выборе сего звания. Мало ли как смотрят и на христианство! Сказано: горе, егда добре рекут вси человецы; а нигде не сказано, чтобы была беда, когда иные худо смотрят.

(Сушков «Записки о жизни м. Филарета»)

* * *

Вспомнить и в дело употребить воспоминание, что Апостолы и древние Отцы Церкви устроили и распространяли Церковь, и разрушали взгромождение ересей не силою внешних законов языческого мира, но силою крепкой веры, любви и самопожертвования.

(Из письма к еп. Алексию)

* * *

Нередкая в наше время черта, что люди мнят знать дело, ревновать о пользе, службу приносить Богу, а в самом деле угадывают (и то не всегда удачно) мысль, которая теперь в моде и покровительствуется сильными, и служат ей в надежде, что и она им послужит. Не так создается истинное благо Святыя Церкви. Простите меня.

(Из письма к арх. Гавриилу)

* * *

Теперь посторонние к нам строги, а мы хотим быть к себе снисходительны. По порядку, посторонние должны быть к нам снисходительны, а мы к себе строги.

(Из письма к наместнику Антонию)

* * *

Неприятно видеть в алтаре пустое дерево иконостаса, когда передняя сторона позолочена: тут есть несообразность и неискренность; хотят хвалиться перед зрителями, а святыня, говорят, не осудит. Но сего не будет, когда в иконостасе с обеих сторон будет дерево.

(Из письма к наместнику Антонию)

* * *

Забота о свечах для храма не должна быть чрезмерна. Высокие и толстые свечи и умножение их без нужды нередко вредят благообразию храма. Свет свечи должен означать благоговение к святой иконе и давать удобство видеть её, а большая свеча заграждает её для зрителя. Должно делать нужное и приличное, а не мечтать о великолепии бесполезном.

(Из письма к игуменни Сергии)

* * *

В наш расслабленный век едва ли можно епитимии вести точно следом за правилами; надобно всего паче по состоянию кающегося наблюдать, чтобы епитимия вела его к исправлению, предохраняя от двух крайностей: от бесстрашия по причине послабления и от отчаяния по причине строгости.

(Из письма к еп. Дмитровскому Иннокентию)

* * *

Народ наш ещё не довольно настроен к напряжению и продолжительному вниманию; краткое и близкое к разумению и к сердцу слово он берёт и, не роняя, уносит.

(«Письма к духовным лицам»)

* * *

Если бы надлежало объявить войну какой одежде, то, по-моему, не шляпам священнических жён, но великолепным рясам архиереев и священников. По крайней мере это во-первых; но сие-то и было забыто. *Священницы Твои, Господи, да облекутся правдою.*

(Из письма к еп. Дмитровскому Иннокентию)

Источники

Переписка Филарета с Муравьёвым. Киев, 1869.

Письма к игумении Сергии. Тверь, 1890.

Письма к наместнику Антонию: В 4 т. М., 1877–1884.

Письма к епископу Алексию. М., 1883.

Сушков. Записки о жизни митрополита Филарета. М., 1886.

Письма к духовным лицам. Тверь, 1888.

Письма к разным лицам. Тверь, 1888.

Письма к С.Д. Нечаеву. СПб., 1895.

Евреинов. Воспоминания о митрополите Филарете.

Письма к наместнику Лавры Афанасию. 1886.

Письма Филарета. СПб., 1891.

Письма к Филарету Черниговскому. 1883.

Письма к Иннокентию Алеутскому // Русский архив.

Письма к архиепископу Гавриилу // Чтения в Обществе истории. 1868.

Письма к еп. Дмитровскому Иннокентию. 1871, 1872, 1886 гг.



МИР
ЛАЖЕЧНИКОВА

К 200-ЛЕТИЮ
ЛИТЕРАТУРНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И.И. ЛАЖЕЧНИКОВА



ЛЕДЯНОЙ ДОМЪ.



Фото Льва Авдева



Александр Юрьевич Сорочан родился в 1976 году. Историк литературы, писатель, переводчик. Кандидат филологических наук, доцент кафедры истории русской литературы Тверского государственного университета.

Член Российского союза профессиональных литераторов.

Автор четырёх книг прозы, а также двух монографий и 130 статей и публикаций, значительная часть которых посвящена русскому историческому роману XIX века. Участник сборника «Дом Лажечникова», редактор сборников «Лажечников и Тверской край» (Тверь, 2005–2006).

Александр СОРОЧАН

ПОЭЗИЯ И НРАВСТВЕННАЯ ПОЛЬЗА ИСТОРИИ

Иван Иванович Лажечников прожил долгую жизнь. Он знал и славу, и забвение, и военную, и гражданскую службу, и тихую семейную жизнь, и шумную публичную деятельность. Был он и романистом, и цензором, и поэтом, и вице-губернатором, и офицером, и чиновником... Да мало ли событий вместили в себя годы 1790–1869-й?

Но никто и никогда, кажется, не называл Лажечникова мыслителем. Наоборот — мы привыкли рассуждать о его простодушии, открытости, чувствительности, даже наивности. Искренность чувствований, выразившихся и в поступках, и в сочинениях Лажечникова, позволяла говорить об увлечении, одушевлении — но никак не о размышлениях.

Однако первой публикацией Лажечникова как раз были «Мои мысли (подражание Лабрюйеру)», и в дальнейшем творчестве писатель свои любимые мысли развивал.

Попробуем и мы «проследить за мыслью великого человека», определив общее развитие занимавших писателя вопросов. Может быть, в том, как изменялись формы их выражения, обнаружится некая закономерность...

1

Бесспорно, в раннем творчестве Лажечникова мысль и чувство нераздельны. О таком единстве много и подробно писали до меня, нет нужды лишней раз рассказывать о том, как юношеские восторженные впечатления воплощаются в пер-



«Господин Лажечников не только не обманул сих надежд, но даже превзошел общее ожидание и по справедливости признан первым русским романистом»
(В.Г. Белинский)

мание, что достигается ходом инспирированных автором размышлений. Н.И. Надеждин с похвалой отозвался об этом методе, а его суждения были восприняты позднейшими критиками. Для них основной постулат романа недолго оставался тайной: «“Последний Новик” — апофеоз любви к Родине <...> искренней и горячей <...> Герои романа отдали всю жизнь благу отчизны». Как основа всех чувств и поступков героев должен быть принят именно патриотизм, возраставший в России под влиянием событий 1812 года. Это одна из причин феноменального успеха романа.

Герой романа был оценен С.А. Венгеровым как попытка создать олицетворение патриотизма, что «завлекло автора в непролазные дебри неправдоподобности и искусственности». До начала действия и в эпилоге поступки Новика объясняются большей частью его честолюбием и несдержанностью нрава. Резкая перемена, совершившаяся с Владимиром, принявшим на себя позорное звание шпиона в период, когда родине угрожала опасность, была только временной (напомним, сходную метаморфозу претерпевает герой очень популярного в России романа Ф.Купера «Шпион», 1821). То же происходит и с другими героями. Патриотизм, не слишком сильный в человеке, может быть пробуждён на мгновение (в историческом масштабе), как в случае с Густавом, не помышлявшим ни о каком героизме до самой решительной осады, когда он

вых сочинениях Лажечникова в прозе и стихах — будь то «Описание Мячкова кургана» (1805) или «Военная песнь...» (1808). Гораздо важнее другое — в ранние годы ни одному чувству не отдаётся Лажечников вполне, одушевление не переходит известных границ. Пока не начинается Отечественная война, на двадцать лет определившая основную идею писательской деятельности Ивана Ивановича. «Патриотизм» Лажечникова — опять-таки не мысль, а чувство. Это доказывают и «Походные записки русского офицера» (1820), и «Последний Новик» (1831). Ведь Лажечников оставил военную службу в 1819 году, в конце 1820 поступил в службу штатскую, которую считал продолжением служения Отечеству. По выходе в отставку в 1826 году он реализовал замысел первого романа...

Чрезмерно запутанный сюжет «Последнего Новика» ориентирован на то, чтобы усложнить восприятие предельно упрощённой авторской концепции, акцентировать на ней вни-

предпочёл смерть сдаче в плен. Для романиста важен преходящий характер такого одушевления. Во имя патриотизма допустимы (в книгах) даже нарушения нравственных норм, но это ненадолго — жизнь возвращается к иным основам. И поиск этих нравственных основ очевиден в жизни и творчестве Лажечникова в 30-е годы XIX века.

2

Теперь патриотическое *чувство* отступает на второй план — размышления писателя, ставшего администратором, всё чаще посвящены более общим проблемам. Пост директора училищ отнюдь не был синекурой. Лажечников напряжённо работал, вникая в мельчайшие подробности развития народного образования в регионах: в 20-х годах XIX столетия — в Пензенской и в Казанской, в 30-х — в Тверской губернии. И поездки, и участие в торжественных мероприятиях, и встречи и беседы с учениками и воспитателями — всё это отнимало немало времени. И мысли о воспитании человека отразились и в «Ледяном доме» (1835), и в «Басурмане» (1838); в этих романах автор пытается приблизиться не к «тайным пружинам» истории, а к нравственным её урокам. У Лажечникова не искусство превращается в орудие истории, а история служит средством для преподносимых в гармоничном художественном оформлении нравственных концепций, изначально многосторонних и включающих в себя осознание процессуальности истории в сочетании с идеей её конечности.

Неудивительно, что оба романа вызвали нарекания в отступлении от исторической истины, — занимает писателя не столько событие, сколько его вневременной смысл. А к разгадыванию «смысла истории» приступает Лажечников весьма решительно — это для него становится главным, самым важным и насущно необходимым. Автор теперь исследует мир в совершенно иные эпохи, он пишет не о борьбе народа с внешним врагом, а о борьбе внутренней. Столкновение отдельного человека и государственной машины, ведущее чаще всего к трагедии, всегда подразумевается писателем. История враждебна нравственной личности, она навязывает этой личности иную модель поведения, которая может быть оправдана только крайностями борьбы за независимость государства. В остальные периоды исторической жизни человеком должны управлять иные побуждения, исходящие из его собственных духовных потребностей. Их формирование и описывается в «Ледяном доме» и в «Басурмане». Не буду лишней раз напоминать известные всем сюжеты. Приведу лишь один пример...

В «Басурмане» дана оригинальная трактовка личности Афанасия Никитина. Тверской купец, совершивший легендарное путешествие в Индию, является одним из центральных персонажей романа. Он появляется и в прологе, и в эпилоге, сопровождая главных героев. Однако цель, с которой данное историческое лицо вводится в повествование, совсем не очевидна. Дело усугубляется известной уже современникам фактической неточностью: Никитин умер, не дойдя до Смоленска, в 1472 или 1475 году, а в романе он жив до 1505 года. Лажечников оправдывает себя в предисловии к роману: «Исторический романист должен следовать более поэзии истории, нежели хронологии её». Автор упоминает о нескольких умышленных анахронизмах, но самый заметный «забывает».

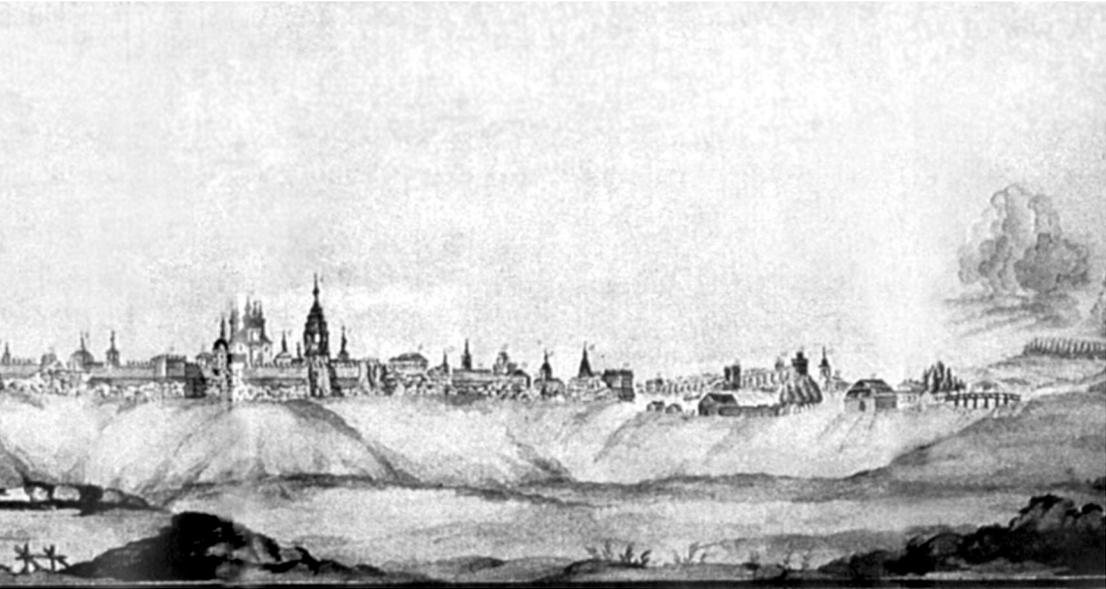


*Копия с акварели неизвестного художника «Вид города Коломны из-за Москвы-реки от Бобренева монастыря» (1800 год).
Такою Коломну видел И.И. Лажечников*

Тверской купец — уникальный пример «просто человека», лишённого социального статуса (он утратил всё имущество и живёт своими занятыми рассказами). В самом начале романа он описывает царю обычаи индусов и жизнь при дворе султана. Романист почти дословно следует тексту Софийской летописи*. А непосредственно перед этим речь идёт о дворе Ивана III. Вроде бы между двумя рассказами нет ничего общего — в хорамах султана всё из золота, а царский двор состоит из «нескольких клетей», и семи ворот в нём нет. «Индеяне не едят никакого мяса», в отличие от русских, и т.д. Но антитегичность этих картин снимается с прибытием в Москву героя книги — Антона Эренштейна. Он наблюдает Москву, и зрелище это не особенно приятно путнику. Дело не только в неприятных (скорее непривычных) лицах и в пространственной разбросанности столицы. Когда на глазах у Антона сжигают подозреваемых в отравительстве, поневоле вспоминаются индусы из «Хожения»: «Кто у них умрёт, и они тех жгут, да и пепел сыплют на воду». Впечатления двух путешественников весьма сходны — и в убожестве, и в великолепии им видится дикость, их поражают чужие лица и обычаи. И Никитин, и Эренштейн едут на Восток, только понимают под этим разные места. Таким образом, отчёты Никитина подготавливают читателя к восприятию эмоциональной реакции другого «басурмана» — Антона. Мотив путешествия, введённый в прологе, развивается и углубляется в основной части. Чужая культура воспринимается иноземцем неадекватно — этот тезис подтверждают и русский, и европеец.

Лажечников стремился преодолеть эту неадекватность — и отчасти преуспел. Успех его романов об этом свидетельствует... Но дальнейшее развитие мысли нетрудно предугадать: от уроков истории писатель обра-

* См.: Хожение за три моря Афанасия Никитина. Л., 1986. С. 46 и след.



Особого рода «панорамность» города, замеченная ещё жудожниками XVII века, передана была и Лажечниковым в автобиографической повести «Беленькие, чёрненькие и серенькие»

щается к тому, что можно сделать здесь и сейчас, руководствуясь уже заданными моральными установками.

263

3

Лажечников отдаётся полезной деятельности — он открывает учебные заведения, устраивает благотворительные мероприятия, даже участвует в организации первой пожарной команды (и пишет для неё гимн)... Кажется, времени для творчества не остаётся. Но это впечатление обманчиво. Писатель Лажечников, став вице-губернатором, по-прежнему много работал — может быть, наименее плодотворными для него были как раз годы отставки и жизни в Коноплино (1838–1842). В 1842 году завершён «Опричник», позднее пишутся «Беленькие, чёрненькие и серенькие». В своём роде административная должность для Лажечникова была не столь обременительна. Увы, среди множества дел оказалось мало таких, которые всерьёз занимали Лажечникова-человека. Именно поэтому пошли разговоры о рассеянности и непрактичности Лажечникова-чиновника. И отъезд из Твери в 1853 году мог отчасти быть следствием этой самой непрактичности. А в Витебске, как явствует из писем Лажечникова, самая атмосфера никак не благоприятствовала занятиям изящными искусствами. Именно это и стало причиной очередной отставки. Так что объяснять отказ от творчества возросшим интересом к службе, думается, неточно.

И он по-прежнему «пишет историю»... Присмотримся повнимательнее: почти все поздние произведения — тоже исторические. Меняется лишь представление об исторической дистанции. «Беленькие, чёрненькие и серенькие» (1856) открываются описанием детства Вани Пшеницына,

далее следуют главы, посвящённые опять же давней истории рода Савиных. В романе «Немного лет назад» (1862) историческая коллизия обозначена уже в заглавии; времена до реформы 1861 года Лажечников рассматривает как исторические. Возможно, в этом тексте выражается «интерес к современной жизни <...> гуманного и гражданского, а не художественного свойства». Но проявляется этот интерес в давно знакомой форме *исторического* романа — восторгаясь современностью, Лажечников пишет о прошлом. Разительные отличия между прошлым и настоящим ещё очевиднее от того, что это прошлое — недавнее. Наконец роман «Внучка панцирного боярина» (1868) в значительной степени посвящён польскому мятежу. И это событие Лажечников рассматривает как историческое, постоянно акцентируя внимание читателей на том, что времена беспорядков давно миновали и воцарились мир и покой. Дистанция между событием и временем написания текста уменьшается, но модель исторического романа для Лажечникова актуальна.

И это позволяет нам предположить, что не занятость по службе и не поиски нового жанра стали причиной того, что Лажечников-романист на десять лет замолкает. Меняется осмысление истории...

Героями первых романов писателя были столичные обитатели — сначала жители Петербурга, потом жители Москвы. В поздних же сочинениях исторический центр смещается в провинцию. Главным героем становится провинциал — хранитель устоев, продолжающий дело предков. Герои последних книг Лажечникова, живя в провинции, не забывают о славном прошлом — и страны, и рода. Они не кичатся давними подвигами предков, но стараются не забывать о них. Провинциальная жизнь представляет Лажечникову богатый материал для новых наблюдений; и эти наблюдения ведут не просто к восхвалению настоящего, к восторгу перед совершающимися на глазах у стареющего писателя событиями, о котором писал С.А. Венгеров. Исторический романист ищет в прошлом — всё более близком — опору для настоящего; и находит её в культуре.

Лажечников уже в 30-х годах может именоваться провинциальным писателем — все его наиболее известные книги написаны за пределами «двух столиц». Вместе с тем именно обращение к историческому прошлому помогает романисту преодолеть свою «провинциальность». Он оказывается в замкнутом мире, и эту замкнутость Лажечников смог преодолеть не сразу. Но потом он находит выход. Лажечников пишет о прошлом России как целого, стремясь уравнивать столицу, где вершатся судьбы России и русской культуры, и провинцию, в которой он служит. Столичное и провинциальное пространства в равной степени насыщены обширным историческим контекстом. Административная деятельность в провинции воспринимается как составная часть облика писателя, который обращается к ценностям общего порядка. У Державина (тоже провинциального администратора и писателя) эти общие ценности воплощались в философских медитациях, у Лажечникова — в исторических романах. И от романа к роману возрастал интерес писателя к культуре как совокупности накопленного человечеством опыта.

Выйдя в отставку, Лажечников как раз и ощутил себя провинциалом — обычным помещиком, лишённым возможности как-то идентифицировать себя в рамках процессов культурной жизни. От «Последнего Новика» к «Басурману» в романах Лажечникова нарастает политический протест против централизованной имперской власти, переходящий в «Басурмане» — романе антистоличном, точнее, «антимосковском» — даже в агрес-

сивность по отношению к верховной власти* (сюда же следует отнести и драматургию Лажечникова 40-х годов). После перерыва в творческой деятельности начинается поиск новой тональности, в результате чего появляются тексты второго — «уравновешивающего» или «оправдательного» типа. Таковы поздние романы, очерки, статьи. Лажечников, по-прежнему используя исторический материал, доказывает самоценность бытия русской провинции, обитателем которой он остаётся до середины 50-х годов.

Служба, тем более на значительном посту, предоставляет ему немало возможностей. Он не только расширяет круг знакомств, находит в «семейных преданиях» сюжеты для новых произведений. Он возвращается к давней мысли о пробуждении культурных сил в русской провинции. Сначала он занимался сугубо педагогической деятельностью, теперь он расширяет сферу воздействия: здесь и благотворительность, и пожарные команды, и медицина, и увековечение важнейших событий, повлиявших на всю русскую культуру. Потому в «Тверских губернских ведомостях» появляется не только некролог Венецианову**, но и «Заметки для биографии Крылова». Задача писателя-историка — не столько увековечить память о прошлом, сколько продемонстрировать важность этой памяти для настоящего, доказать её вневременную ценность.

4

Размышления о «нравственной пользе истории» во многом подвели итог предшествующим исканиям писателя — в них отразились и патристические, и моралистические суждения ранних лет. Однако в конце жизни мысли писателя принимают несколько иное направление. Может, это не сразу заметно. Тем не менее Лажечников вновь меняется, меняется пафос его размышлений, меняется отношение к исторической памяти, к социальным и нравственным установкам. И рядом с традиционными, ожидаемыми романами появляются произведения иных жанров — комедии, драмы, очерки...

Бесспорно, тексты Лажечникова в 50–60-х годах XIX столетия воспринимаются современниками как часть «литературной провинции» и соответственно рецензируются — с позиций «литературной столицы», которая «выглядит как некая доминирующая модель, определяющая культурное состояние той или другой эпохи». Провинциальный администратор Лажечников идеально вписывался в такого рода «плоскостную» литературную карту; и методы его (просветительской) деятельности кажутся архаическими, и литературные произведения строятся по шаблону ушедшего «пушкинского века». Однако меняющиеся историософские взгляды Лажечникова по большей части были обусловлены его административными занятиями. Усиливающийся интерес к провинции стимулирует обращение к новейшей истории. Первоначально исторические тексты Лажечникова основаны на общих для всех эпох нравственных законах, которые обретут полное воплощение в приближающейся утопии. Позднее, пытаясь воздействовать на «провинциальное сознание» апелляциями к историче-

* См. об этом: *Сорочан А.Ю.* Мотивировка в русском историческом романе 1830–1840-х годах. Тверь: Тверской гос. ун-т, 2002. С. 104–108.

** См.: *Сорочан А.Ю.* Тверская общественная жизнь в 40-х — начале 50-х годов XIX века (из материалов «Тверских губернских ведомостей») // Лажечников и Тверской край. Вып. 2: Литератор в провинции. Тверь: Марина, 2006. С. 5–18.

скому опыту, Лажечников приходит к актуализации истории. История, как явствует из его собственных наблюдений, не столько урок, сколько объединяющее начало, призыв к культурному развитию, который может и должен быть услышан и подхвачен в провинции. В Твери Лажечников нашёл подтверждение этому новому тезису; административная деятельность способствовала последнему повороту в мировоззрении писателя.

В автобиографических очерках, поэтизируя описания недавнего прошлого, Лажечников вновь и вновь проводит мысль об идеальном характере. Таковы не только всем известные Пушкин или Ермолов. Скажем, идеальное описание русского семейства возникает в очерке «Заметки для биографии Белинского» (1859). Нет нужды приводить весь панегирик усадебной жизни и семейству Бакуниных (фамилии Лажечников не называет по цензурным причинам); эти страницы принадлежат к числу лучших в мемуарном наследии писателя. Но важно отметить и исторические экскурсы в описании усадьбы Прямухино, и упоминание святого для Лажечникова имени Пушкина, и прямолинейную идеализацию семейного уклада: «В одном из уездов Тверской губернии (Пушкин некоторое время жил близ этих мест, у помещика Вульфа), на котором природа сосредоточила всю заботливую любовь свою, украсив его всеми лучшими дарами своими <...> Да и семейство, жившее в этом уголке, было как-то особенно награждено душевными дарами. Зато как было тепло в нём сердцу, как ум и талант в нём разыгрывались, как было привольно всему доброму и благородному!»

Образ «величавого старца» в окружении «гармоничного семейства» — не просто символ «доброе старое время». Лажечников даёт в очерке идеал жизнеустройства, близкого по времени и понятного читателям. И Белинский попадает здесь в среду, чуткую ко всему доброму и разумному, здесь он открывает для себя немецкую философию и эстетику, здесь выходит на «настоящую» дорогу...

Память о прошлом одушевляет Лажечникова — может, это одушевление сродни патриотическому возбуждению 1812 года, с поправкой на возраст и изменившуюся ситуацию в окружающем мире. Писатель вновь переживает чувства молодости, но как изменился характер переживаний! Он не тоскует о прошлом, а стремится показать, как могут быть возрождены лучшие стороны этого прошлого. Размышления о прошлом больше не сводятся только к патриотизму, нравственным урокам или пользе для настоящего. Писатель обращается к тем совершенным началам, которые во все времена пребудут... Мы можем критиковать форму, в которую облечены его поиски, но благородство самой мысли оценить следует. Да, впрочем, и противники писателя это благородство ценили.

В заключение не удержусь и напомним малоизвестный факт. В числе эпитафий, предложенных вдове М.М. Хераскова для мавзолея поэта, был текст, написанный Лажечниковым:

Россия, наклонясь, над урной слёзы льёт
Любимца Муз; венец к подножью повергает
И в мыслях говорит: «Певца России нет!
Кто ж славы днесь моей величие познает?»

Не думаю, что Лажечников уже тогда задумывался о лаврах «певца России». Но лавров этих он вполне достоин — и не в последнюю очередь потому, что «в мыслях говорил» о том важном, что волновало лучшую часть российского общества XIX века. И остаётся только надеяться, что его мысли окажутся созвучны и нам, и нашему времени...



ОДНАЖДЫ, 200 ЛЕТ НАЗАД

В жизни большинства русских писателей, поэтов, драматургов, художников, композиторов XIX века имелись свои пены, свои «сады лица», где он «безмятежно процветал» наедине с природой. Перечислить всех не хватит места. Пушкин — Михайловское, Лермонтов — Тарханы, Некрасов — Карабиха, Островский — Щёлыково, Тютчев — Мураново, Лев Толстой — Ясная Поляна, Чехов — Мелихово, Блок — Шахматово, Чайковский — Клин. Вот только у Гоголя не было своего «гнезда», и поэтому он разъезжал в поисках пристанища и тихого уголка по друзьям и знакомым. В том числе гостил и в усадьбе Спасское у своей доброй знакомой Александры Осиповны Смирновой (Россет).

Александр Анато́льевич Су́слов родился 18 января 1948 года в городе Воскресенске. Окончил химико-технологический факультет политехнического института, получив специальность «химик-технолог».

С середины 80-х годов XX века увлёкся краеведением. Печатался в областных и районных газетах, альманахах, сборниках, буклетах. В 2004 году вышел первый авторский поэтический сборник «Сундук».

Работает преподавателем в Воскресенском филиале Московского государственного открытого университета (МГОУ). Увлекается фотографией и путешествиями.

А вот Ивану Ивановичу Лажечникову повезло, своё имение у него было. Точнее, усадьбу Кривякино (Красное сельцо) приобрёл его отец, коломенский купец Иван Ильич Ложечников (именно так писалась изначально фамилия), да и то на подставное лицо. История покупки усадьбы уже неоднократно освещалась (см. например, «Коломенский альманах» за 2007 год), поэтому останавливаться на этом не будем.

Красное сельцо Лажечников-старший приобрёл как летнюю резиденцию, дачу. Здесь всё семейство проводило наилучшее время года, начиная с мая и до осени, на зиму возвращаясь в Коломну, где у них был собственный дом.

Лажечников-старший стал владельцем усадьбы в конце XVIII века, примерно в 1798-м. Ване Лажечникову было в ту пору около восьми лет (он родился 14 сентября 1790 года по ст. ст.), и первый приезд в новое «гнездо» он вполне мог запомнить,

тем более детские воспоминания так ярки. Впоследствии он описал усадьбную тихую жизнь в автобиографическом романе «Немного лет назад» и в повести «Беленькие, чёрненькие и серенькие».

В усадьбе прошли его детские и юношеские годы. Последний раз он побывал здесь осенью 1812 года и именно отсюда, с крутого берега Москвы-реки, вместе с другими обитателями усадьбы наблюдал зарево горящей Москвы. Позднее, много лет спустя, уже известным писателем, он снова приезжал сюда, в эти благословенные места, навсегда связанные с его детством (имением в то время владел его младший брат Николай).

Именно здесь, в аллеях кривякинского парка, на скамейке под древним дубом, в беседке, на берегу реки или тихих прудов юного Ваню стала посещать муза, он начал пробовать своё перо (гусиное). «...Живописная местность в деревне отца моего на берегу Москвы-реки рано пробудила во мне любовь к красотам природы», — писал он в автобиографии «Моя жизнь».

С шести лет к Ване приставили гувернёра-француза Болье. Тот был весьма образован (окончил Страсбургский университет), помимо французского (естественно) хорошо знал немецкий и русский языки. Из Франции Болье эмигрировал по политическим соображениям. До Лажечникова он занимался воспитанием детей князя Оболенского, что о многом говорит.

И русскому языку, и французскому Ваня обучился быстро и стал «глотать» книги из обширной отцовской библиотеки. Своего воспитателя Иван Иванович вывел потом под именем Франца Ивановича Голье в романе «Немного лет назад».

«Когда я хорошо ознакомился с французским языком и порядочно с немецким, моя литературная жатва была обильнее, мало-помалу, с физическим и умственным ростом моим, я стал читать на французском языке сочинения аббата де Сен-Пьера, “Эмиля” Руссо, трагедии Вольтера и Расина, Тацита, Тита Ливия во французском переводе...»

Французский был в то время языком высшего сословия и вообще образованных людей. Часто его знали лучше родного русского. Пушкин позднее напишет о Татьяне Лариной:

Она по-русски плохо знала,
Журналов наших не читала
И выражалася с трудом
На языке своём родном,
Итак, писала по-французски...

Вот и Ваня (пока ещё Ложечников) первые свои пробы пера сделал по-французски.

«В это время, ещё будучи четырнадцати лет, я возымел сильную охоту к сочинительству и сделал на французском языке описание Мячкова кургана, что по дороге из Москвы в Коломну; пятнадцати лет сочинил на том же языке стихотворение, а 16-ти лет написал **“Мысли в подражание Лебрюйера”** и послал статью эту в “Вестник Европы”, издававшийся тогда Каченовским. Редактор, не подозревая в авторе мальчика, напечатал статью в своём журнале, и так как я громил в одной фразе тиранов, то он сделал на неё собственноручное замечание».

Первые Ванины опусы — «Описание Мячковского кургана» и стихотворение на французском — никогда нигде не были напечатаны, и

следы их затерялись. А вот «Мысли в подражание Лебрюйера», которые автор скромно озаглавил «Мои мысли», написаны по-русски и были опубликованы в декабрьском номере (№ 23) журнала «Вестник Европы» за 1807 год. Подписаны они были так: **И.Лож-въ. С. Кривякино**. Эта была *первая* публикация будущего нашего романиста, «русского Вальтер Скотта». И произошло это ровно двести лет назад.

«Мысли» свои Ваня обдумывал и писал в тишине усадебного парка, нарушаемой разве что щёлканьем соловьёв, весной—летом 1807 года. Ему было действительно шестнадцать полных лет, шёл семнадцатый.

Сочинение Жана де Лабрюйера (1645–1696), так пленившее Ваню, называется «Характеры» и впервые увидело свет в 1688 году. Это были небольшие (а иногда и обширные) афоризмы, высказывания, зарисовки из жизни с комментариями и «моралью» (отсюда писателей этого направления называют «моралистами»). В первом издании насчитывалось 418 «характеров», и оно сразу обрело шумный успех. За короткий период (8 лет) вышло девять изданий, причём в последнем (1696 года) было уже 1120 «характеров».

В русском переводе книга Лабрюйера вышла впервые в 1812 году, но, конечно, вся просвещённая Россия уже давно прочитала её в оригинале. Не только юный Ваня Лажечников испытал влияние этой книги, но, скажем, Антиох Кантемир или Денис Фонвизин; Пушкин цитировал Лабрюйера...

Михаил Трофимович Каченовский (1775–1842) был всего на 15 лет старше Лажечникова. Журнал «Вестник Европы» он редактировал с 1805 по 1830 год (правда, с перерывами). Вообще, М.Т. Каченовский — историк, основатель так называемой «скептической школы» в исторической науке. В каком-то смысле он был антиподом Н.М. Карамзина и критиковал его «Историю государства Российского». Он считал, что древнейшие письменные источники русской истории весьма недостоверны и верить им надо с большими оговорками и «скепсисом». М.Каченовский был академиком Петербургской Академии наук, профессором, а с 1837 года — ректором Московского университета.

Получив рукопись от неизвестного автора из некоего села Кривякина, он решил, что это какой-то умудрённый жизнью сельский философ, и без промедления опубликовал текст в своём журнале.

Журнал «Вестник Европы» выходил в формате «ин кварто» (размер стандартной современной книги) два раза в месяц (24 номера в год), и содержание его было весьма разнообразным. Само название обязывало уделять много места новостям из Европы, главным образом следить за событиями во Франции, где к власти уже пришёл Наполеон Бонапарт.

Первый раздел 23-го номера назывался «Литература и смесь». Открывает журнал «Речь Демосфена против Филиппа о Херсонесе», а сразу вслед за ней, на странице 188 (нумерация страниц журнала была «сквозной» для всего годового комплекта, и 23-й номер начинался фактически со 161-й страницы) помещены Ванины «Мысли». Любопытно просмотреть всё содержание журнала, чтобы знать, в какой «компании» напечатали Ваню Лажечникова. Пробежимся кратко по его страницам.

Сразу после «Мыслей» напечатано стихотворение на кончину М.М. Хераскова. Далее идёт песня И.Грамматина «Я не знала ни о чём в свете тужить»; затем эпитафия на смерть князя М.Голицына («Голицын здесь

лежит»); смесь (о французах и всякой всячине); филологическая догадка о происхождении слова «красный»; о кометах. После статьи о кометах открывался второй раздел — «Политика». Он целиком был посвящён «Историческому и статистическому изображению Португалии» (с. 214–233). Третий раздел назывался «Известия и замечания» и был коротким (6 страниц). Он состоял из выписок (цитат) «из разных ведомостей (газет. — А.С.) иностранных». Таким образом, весь номер имел объём около восьмидесяти страниц. «Мысли» Вани Лажечникова занимали четыре из них.

Поскольку журнал 200-летней давности малодоступен рядовому читателю, а «Мои мысли» никогда ни в одно собрание сочинений или избранное не включались, мы полагаем, будет правильным напечатать их теперь целиком, чтобы каждый сам мог убедиться, какие мысли навеяли на юного автора наши кривякинские красоты.

Правда, как пишет сам И.Лажечников, «впоследствии времени издал я эти незрелые произведения в одной книжке под названием “Первые опыты в прозе и стихах” (книга вышла в Москве в 1817 году. — А.С.); но, увидав их в печати, устыдился и поспешил истребить все экземпляры этого издания» (так же поступил позднее Н.Гоголь со своими первыми «опытами»). Однако современные исследователи (В.А. Викторovich) полагают, что скорее всего «истребление» книги — легенда, созданная самим автором. Как бы то ни было, «Первые опыты...» так же малодоступны, как и «Вестник Европы».

Итак, «Мои мысли». Всего этих мыслей восемь. Хотя в оригинале они не нумерованы, введём для удобства нумерацию.

Мысль № 1

Гордость — разумею благородная — должна быть видна и в монархе и в народе, для того, чтобы заставить себя уважать и страшиться, — в бедном и несчастном человеке, для того, чтобы заставить почитать добродетель и в рубище...

Мысль № 2

Кто не был несчастлив, не знает, что есть истинно наслаждаться счастьем; кто не видел ужасов бури, не ощущает живого удовольствия в ясную погоду; кто не был палим солнечным зноем, не знает, что есть прохлада тенистой рощицы и свежие струи ручейка кристального!..

Мысль № 3

Когда безжалостные мальчишки бросают в меня камнями, что должен я делать? — бежать от них и спрятаться за высоким забором.

Мысль № 4

Женщины любят страстно, ненавидят страстно, чувствительны до страсти; мужчины любят с хладнокровием, отвергают руку помощи с хладнокровием; убивают друг друга — с хладнокровием...

К этой мысли М.Каченовский присовокупил своё замечание: «Умеют они (женщины. — А.С.) и мстить дерзким — прощая!..». То есть месть женщины заключается в прощении. Глубокая мысль. Заметим, что и у самого Лабрюйера есть похожий афоризм о женщинах: «Женщины умеют любить

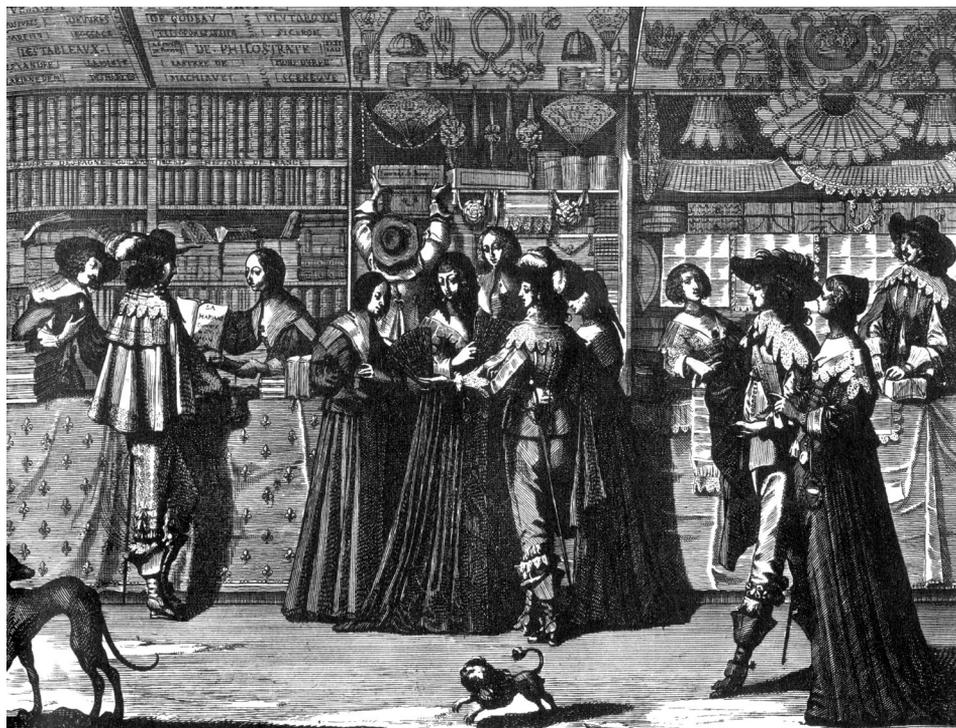
сильнее, нежели большинство мужчин, но мужчины более способны к истинной дружбе» (гл. III, № 55). Если французский моралист изрёк эту мысль в возрасте уже за сорок, то нашему автору едва исполнилось шестнадцать. Откуда такое знание женщин?

Мысль № 5

Я шёл по улице; — израненная собака лежала в углу; — на жалостные стоны пришла туда другая собака, и в ту же минуту начала лизать раны больной; не отошла до тех пор, пока не увидела, что ей стало легче. — Зверь чувствует сострадание — а человек просвещённый, с разумом, с сердцем!!

С этой чересчур пессимистичной мыслью М. Каченовский также вступает в полемику: «Не спорим, что есть люди жестокие, не знающие сострадания; однако ж, не унижая достоинства чувствительных собак, можно сказать наверное, что в обществе человеческом более найдем примеров добросердечия, нежели между животными». У Лабрюйера также есть рассуждение о собаках (довольно длинное): «Я не знаю, способна ли собака выбирать, помнить, любить, бояться, воображать, мыслить... и т.д.». Иван Иванович вступает как бы в спор с этим рассуждением, утверждая, что да, собака «чувствует сострадание».

Кстати, стаи собак обитают в нашем парке до сих пор...



*Tout ce que l'art humain a jamais inventé
Pour mieux charmer les yeux par la galanterie,
Et tout ce qu'ont dépassé la grâce et la beauté,
Se dépeindre à nos yeux dans cette galerie.*
1691, in. n. 1.

*Joy les Cavaliers les plus aduantageux
En loint les Romains, le moins à combattre;
Et de leur passion les amans languoureux,
Flattent les mouuemens par des vers del theatre.*

*Joy faisant semblant d'acheter deuant tous
Des yeux, des bouuaills, du ruban, des dentelles,
Et d'auant Courtisane se d'auant rendez-vous,
Pour se faire aimer galantiment les Belles.*
Donneront sur le grand N. Dime en l'Abbaye le Bland le jeune grand - avec Privilège de Roy.

*Joy quelque Longue à faute de succès
A venir? aduantageusement de colère se picquer
Contre des Chocqueurs qui parlent de procès.*

Жак Калло. Книжная лавка в дворцовой галерее (офорт)

Мысль № 6

Бедные и несчастные не могут найти себе друзей в знатных вельможах: ибо сии последние оказывают вспомоществование не из любви к ним, но из одного тщеславия: — станет ли слабый цветок искать себе защиты от сильных порывов ветра подле величественного, гордого дуба? — нет, он прижмётся к такому же слабому цветку — и они крепко обовьются один около другого...

У Лабрюйера имеется целая глава (IX) «О вельможах», включающая 56 «мыслей». Среди них есть и схожие с «мыслями» Ивана Ивановича, но в целом он оригинален.

Мысль № 7

Опять о женщинах (видно, тема уже волновала юного автора)

Какое различие между женщиною и Царём Персидским? — Деспотическое правление первой основано на законах природы — то есть красоты и добродетели; а второго — на законах, установленных с одной стороны жестокостью, с другой страхом. — Как приятна и сладостна неограниченная власть первой, ибо она связывает смертных узами любви! — как несносно беспредельное могущество второго, ибо оно оковывает подданных тяжкими цепями тиранства!..

И к этой мысли М. Каченовский добавил свой комментарий: «Неограниченная, **во зло употребляемая** власть женщины столь же несносна, как и беспредельное могущество Персидского Царя, **во зло им употребляемое**. Люди уже наслаждались счастьем, живучи под властью отеческою, на взаимной доверенности и правителя, и управляемых основанною, прежде нежели пришло им на мысль писать общественные договоры».

Мысль № 8, последняя

Великий человек, прославившийся умом своим или мужеством, не может равнодушно взирать на людей, стремящихся на равную степень высоты; он старается загородить им путь к славе; он страшится разделить её с соперниками своими; он желает, чтобы вселенная удивлялась ему одному, чтобы ему одному курила фимиам хвалы бесконечной... Таков ли *великий муж*? Нет, имя сие тому принадлежит, кто не знает зависти и самолюбия; кто приносит должную дань превосходным дарованиям, и радуется от всего сердца, видя общие успехи; кто снисходительностью торжествует над своими соперниками. Он подносит каждому из них по венку — и в то самое время тысячи венков летят к ногам его.

* * *

Под последней мыслью и стоит подпись: *И. Лож-въ. С. Кривякино.*

Ещё раз повторим, что осенили сии мысли юного Ваню Лажечникова двести лет назад, под сенью усадебного парка, где ныне гуляют с колясками мамы, резвятся дети, по берегам прудов сидят терпеливые рыболовы, молодёжь пьёт пиво...



И.И. ЛАЖЕЧНИКОВ КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАНИСТ

РЕЧЬ, СКАЗАННАЯ НА АКТЕ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ГИМНАЗИИ
ГУРЕВИЧА 18 СЕНТЯБРЯ
1894 ГОДА

Евгений Михайлович Гаршин родился в Харькове 15 августа 1860 года. Брат писателя Вс. Гаршина. Критик, мемуарист. Литературную работу начал в 1878 году. Отдельными изданиями вышли его книги «Поэзия Я.П. Полонского», «Три поэмы (А.Н. Майкова, гр. А.А. Голенищева-Кутузова и К.Р.)», «И.И. Лажечников как исторический романист». Составил для средних учебных заведений книгу «Русская литература XIX века. Опыт истории новейшей русской словесности в биографиях, характеристиках и образцах».

Несколько работ Гаршин посвятил брату: «В.М. Гаршин. Воспоминания», «Литературные беседы», «Литературный дебют Вс. Гаршина», «Как писался “Рядовой Иванов”».

Кроме критических работ им написана повесть для юношества «Дети-крестоносцы».

Умер в Ленинграде в 1931 году.

Кто из нас на пороге детства и юности не зачитывался такими хорошими книгами, как исторические романы Лажечникова «Последний Новик», «Ледяной дом» и «Басурман»? Автор этих произведений, укрепивший в нашей литературе род исторического романа, принадлежит к числу замечательнейших наших писателей. Три романа, известных всем и каждому хоть понаслышке, сохраняют и по сей час свою свежесть, хотя и появились полвека тому назад, и Лажечников в наши дни читается и должен читаться наряду с корифеями нашей словесности.

Белинский видел у Лажечникова могучий талант первого русского романиста, принадлежащего к числу тех писателей, «которых влияние особенно сильно на эстетическое и нравственное развитие современного им общества». Лажечников, по отзыву нашего критика, «обладает всеми средствами романиста: талантом, образованностью, пламенным чувством и опытом лет и жизни».

Лажечников скончался 25 лет тому назад. В настоящее время столетняя годовщина дня его рождения, который в точности остаётся неизвестным, так как в руках биографов нашего писателя не было до сих пор документов, безусловно достоверных для решения этого вопроса.

В Императорской публичной библиотеке хранится собственноручная автобиография Лажечникова, написанная для «Художественного листка» Тимма, но последняя цифра даты несколько раз переправлена, до того, что действительно тут можно прочесть и 2, и 4, и 9. Есть, однако, основание заключать из того же манускрипта, что Лажечников хотел здесь установить цифру 2: на той же странице рукописной автобиографии он написал было: «десяти лет он зачислен был на службу в Архив Министерства Иностранных Дел», но затем слова «десять лет» зачеркнул и сверху поставил: «в 1802 году». Но как мы видим из другого письменного свидетельства того же Лажечникова — в его воспоминаниях, здесь достоверна лишь дата зачисления на службу; скольких же именно лет Лажечников этого зачисления удостоился, он точно не знал, как это видно из письма его к известному писателю Б.Н. Алмазову, писанного 20 января 1869 года и ныне появившегося на свет в журнале «Русское обозрение», в последней его сентябрьской книжке. Здесь Лажечников говорит совершенно определённо: «по изустным преданиям, сообщённым мне, сколько я помню, моим отцом и матерью (письменных не помню), я родился 14 сентября 1794 года, в городе Коломне. Между нами сказать, — продолжает покойный писатель, — в послужном списке моём мне прибавлено несколько лет, вероятно, потому, что я зачислен был на службу в Московский Архив Коллегии Иностранных Дел малолетним мальчиком. Говорю *между нами* потому, чтобы избежать официальных служебных запросов по этому предмету».

Этим письмом совершенно объясняется, почему Лажечников, составляя свою автобиографию, перемарывал цифру года своего рождения, путаясь между своими личными и семейными воспоминаниями и формулярным списком. Полагаем, что воспоминания отца и матери и самого маститого писателя в такую пору жизни, когда бы он не стал уменьшать себе годы, надо отдать преимущество и верить, что Лажечников родился 14 сентября 1794 года.

Отец его, коммерции советник, жил на дворянскую ногу, в роскошно обстроенном поместье близ города Коломны, и воспитание своего сына поручил французу-гувернёру. Но это не был какой-нибудь невежественный Вральман или пьяный Бопре при Гринёве, или легкомысленный m-г Abbé при Онегине, а серьёзный человек, получивший образование в Страсбургском университете и рекомендованный в воспитатели Лажечникову не кем иным, как знаменитым подвижником русского просвещения Н.И. Новиковым. Понятно, таким образом, будущий наш русский Вальтер Скотт поведён был в духе самого живого интереса к литературе и просвещению, так что уже в отрочестве предаётся писательству на французском языке, а в 1807 году его статья «Мои мысли» была напечатана в «Вестнике Европы».

Записанный в архив Министерства иностранных дел, Лажечников в 1812 году, увлечённый общим порывом патриотизма, поступил в Московский гренадерский полк; был адъютантом принца Карла Мекленбургского, а потом Полуэктова и участвовал в заграничных походах, о которых печатал письма, вышедшие отдельной книжкой в 1820 году под заглавием «Походные заметки русского офицера», но ещё раньше, в 1817 году, вышли его «Первые опыты в стихах и прозе». Впоследствии Лажечников относился очень отрицательно к этим своим опытам и заботился об уничтожении книжки, но в своё время она доставила ему доступ в Петербургское литературное общество. В 1818 году Лажечников — адъютант на-

чальника гренадерского корпуса графа Остерман-Толстого, на родственнице которого и женился, и переведён в лейб-гвардии Павловский полк, в следующем же 1819 году оставил военную службу. С 1823 по 1826 год Лажечников — директор училищ Пензенской губернии, затем директор гимназии и училищ Казанской губернии до 1831 года и, наконец, директор народных училищ Тверской губернии до 1837 года. Выйдя в отставку, Лажечников живёт в Твери, в 1843 году получает место вице-губернатора там же, в 1853 году перемещён на ту же должность в Витебск и в 1854 году снова выходит в отставку. С 1856 по 1858 год Лажечников служит цензором в С.-Петербургском цензурном комитете. Последние годы своей жизни Лажечников провёл в Москве, хилый, больной. Когда Общество любителей российской словесности в Москве пожелало отпраздновать пятидесятилетний юбилей его зачисления в члены этого Общества, то он настоятельно просил об отклонении этой чести. «Я больной и дряхлый, доживающий ветхие дни мои, не могу быть в заседании Общества. Много бы обязали меня члены Общества, если бы ограничились каким-нибудь письменным заявлением, что они оценили в моих произведениях честное служение литературе, которому я никогда не изменял» (см. то же письмо к Алмазову). Тем не менее юбилей был торжественно отпразднован 4 мая 1869 года, а 25 июня того же года Лажечников скончался, не оставив своим детям никакого состояния, не завещав им ничего, кроме своего честного имени. Нужно прибавить, что и всю свою жизнь Лажечников прожил, не имея личного своего состояния, так как отец его разорился, когда он только что вступал в свет и начинал свою жизнедеятельность.

Обращаясь к определению литературной физиономии Лажечникова как писателя, мы считаем за лучшее напомнить сказанное о нём полвека тому назад. 60 лет прошло со времени появления знаменитых «Литературных мечтаний» В.Г. Белинского, когда наш незабвенный критик произвёл беспощадную расценку всего нашего к тому времени накопленного литературного достояния. Много кумиров было при этом повергнуто в прах, но Лажечников был оценён страстным и могучим критиком по достоинству.

Первый роман Лажечникова «Последний Новик», действие которого происходит в Лифляндии в эпоху борьбы Петра Великого с Карлом XII, есть, по отзыву Белинского в вышеупомянутой статье, «произведение необыкновенное, озаменованное печатью высокого таланта». Увлечательность художественных картин нашего исторического прошлого, когда XVII век с царевною Софиею, стрельцами и Андреем Денисовым, раскольником из рода князей Мышецких, сменяется XVIII веком с такими птенцами гнезда Петрова, как благородный Шереметев, живо представленный с его боярской осторожностью и усердно усвоенным европеизмом, даже в речи, усеянной галлицизмами, идёт рука об руку с чувством глубокого и искреннего патриотизма, с идеей беззаветного служения своей родине и идеалом человечности, чем проникнуты главные действующие лица романа. Паткуль, этот лифляндский дворянин, поплатившийся головой за борьбу с сумасбродным Карлом XII, который не захотел вникнуть в заявленные ему нужды Лифляндии, смелый до дерзости, но всегда благородный во всех своих порывах, и Владимир Кропотов, воспитанный в должности новика, то есть вновь принятого на службу боярского сына, при дворе Софии Алексеевны, ненавистник Петра в отрочестве до безумного покушения на его жизнь в алтаре храма, во время мятежа стрельцов, ненавистник, который затем, в долгие

годы скитальчества в европейских странах, проникается поклонением перед великим монархом и тайнственно служит успехам русского оружия, надевая на себя личину шпиона шведских генералов. И всё это для того, чтобы окончить жизнь неведомым никому отшельником в монастыре родной земли.

Ещё больший успех имел при своём появлении «Ледяной дом», представивший яркую картину тяжёлого времени, пережитого Россией в царствование императрицы Анны. Главный герой здесь Артемий Волынский, представленный несколько односторонне, лишь как выразитель здравого патриотического чувства, когда надвинулась извне пагуба на русскую землю. Но вместе с тем это глубоко страстная, порывистая натура, развернувшаяся вполне в его пылком увлечении пленённой при взятии Хотина молдаванской княжной Мариорицей Лелемико, рождённой от цыганки, также играющей живую роль в романе. Вспомните при этом такие эпизоды в романе, как замораживание живого человека клевретами Бирона или торжественное празднование родин дворцовой козы, и перед нами встанет воочию весь стыд и весь позор этого несчастного времени.

В «Басурмане» Лажечников перенёсся в эпоху, отдалённую веками на степень полного исчезновения живых преданий и воспоминаний, которые, несомненно, могли окрылять его фантазию относительно событий прошлого века. Изобразить в романе Россию при Иоанне III, заглянуть в частную, домашнюю жизнь народа, показать, как он в эту эпоху и думал, и чувствовал, и пил, и ел, и спал, — всё это было едва мыслимо в тридцатых годах нашего столетия, при тогдашнем состоянии исторической науки, без той разработки археографического и археологического материала, каким мы располагаем теперь. Но как справедливо заметил Белинский, «для художника достаточно одного намёка, чтобы представить себе полную картину жизни народа в известную эпоху».

Герой романа — иноземец, лекарь Эренштейн, барон по происхождению из рода онемеченных чешских дворян, сделавшийся лекарем вследствие романтического эпизода в жизни его отца, который нечаянно оскорбил знаменитого врача того времени Фиоравенти, брата того Фиоравенти, который был зодчим и розмыслом Иоанна III; тот же знаменитый врач спасает жизнь жены гордого барона и в момент рождения его сына берёт с барона клятву, что он из своего первенца сделает врача и отдаст его на воспитание оскорблённому им учёному медику. Весь этот поэтический замысел в высшей степени характерен для Лажечникова как писателя глубоко гуманного и передового во всех своих стремлениях и помыслах. Его Эренштейн погибает на плахе так же, как Паткуль и Волынский, погибает как жертва человеческой низости, опирающейся в своей силе на невежество и предрассудки: иноземный врач, «басурман», казнён за смерть пациента, вылеченного им, но отравленного Иоанновыми царедворцами нарочно, чтобы погубить басурмана. В общем, «Басурман», как это было понято и современной критикой, представляет собою истинно художественное произведение, дышащее исторической правдой и романически занимательное. Прибавьте к этому, что в романе значительную роль играет Афанасий Никитин, рассказы которого о хождении за три моря умелой рукой романиста введены в ход действия его живой картины боярского быта; что живое участие в развитии интриги принимают дьяки Курицын и Схария, эти представители умственного брожения конца средних веков нашей истории, — и вы поймёте симпатии к этому роману всех тех, кому дороги живые предания, освещающие ход

истории нашего умственного развития. Не станем здесь останавливаться на других произведениях Лажечникова, каковы не лишённые значения драма «Опричник» (написанная в 1842 году и напечатанная в 1859 году) и два романа из современной жизни («Немного лет назад» и «Внучка панцирного боярина»). Выше охарактеризованные три романа: «Последний Новик», «Ледяной дом» и «Басурман» — составляют блестящее созвездие, ореол неувыдаемой славы Лажечникова, с которым имя его надолго вперёд должно сохраняться в потомстве, если только это потомство дорожит своим умственным и государственным прошлым.

«Писатель, оживляющий историю своего народа поэтическим представлением её событий и деятелей, в духе любви к родному краю, способствует оживлению народного самосознания и оказывает немаловажную услугу не только литературе, но и целому обществу». Эти слова нашли себе место в рескрипте, данном на имя Лажечникова государем императором Александром III. К этой оценке заслуг писателя да позволено будет присоединить слова Пушкина, который по поводу «Ледяного дома» писал Лажечникову: «Поэзия всегда останется поэзией, и многие страницы вашего романа будут жить, доколе не забудется русский язык».

В самом деле, Лажечников — это один из авторов, чтение которых должно лечь краеугольным камнем в деле умственного развития каждого русского юноши, и в этом смысле не забудутся слова Пушкина, который и сам оставил такой блестящий перл исторической беллетристики, как его «Капитанская дочка».

Любовь к родине, добросовестное изучение эпохи, общегуманный строй мыслей и, сверх всего, литературный талант, неподдельный, незамученный и незаезженный — вот характерные черты автора «Ледяного дома», «Последнего Новика» и «Басурмана». Три исторических романа за долготную жизнь, но зато всё это образцовые произведения, и каждое порознь составило эпоху в момент своего появления.

Да, такие романы, как создания Лажечникова, читаются, перечитываются и должны оставаться достойным предметом подражания в смысле формы, концепции и общего настроения, их проникающего.

Подготовил к печати К.К. Залеснов

С метрической книгой не поспоришь...

Выступая на юбилее Лажечникова в связи со «столетней годовщиной дня его рождения», в начале своей речи Е.М. Гаршин отметил, что документально подтверждения этой даты нет. До 90-х годов XX столетия и в Коломне не раз доводилось слышать, как экскурсоводы, лекторы, учителя истории и литературы, называя именитых земляков, сетовали, что, к сожалению, точной даты рождения первого русского писателя-романиста, коломенца Ивана Ивановича Лажечникова назвать не могут: в биографических очерках и даже в автобиографиях годами рождения И.И. Лажечникова назывались и 1792-й, и 1794-й.

Некоторые литературоведы давали советы, что, мол, разгадку можно найти в архивах. Но дальше рекомендаций общего плана дело не шло. Специалисты почему-то не брались за решение этого вопроса. И вот не специалист, а инженер-конструктор **Константин Константинович Залеснов** определил для себя задачу — разрешить загадку, и сумел добиться поставленной цели...

История родного города привлекала Константина Залеснова со школьных лет. Особенно повлияло на него выступление лектора из Москвы, который очень интересно рассказывал о Коломне; о том, почему город носит такое имя, докладчик высказал несколько версий.

Услышанное о вариантах происхождения названия Коломны подтолкнуло ученика четвёртого класса школы № 24 Костю Залеснова к мысли, что, может быть, существуют ещё какие-то предположения. Желание выяснить это привело мальчика в библиотеку, в краеведческий музей. И он узнал немало любопытного не только о происхождении названия города, но и о многом другом, связанном с родным краем.

Увлечение краеведением укрепилось, когда, отслужив три года в армии, Константин Залеснов вернулся в Коломну.

Вот уже сорок лет К.К. Залеснов работает инженером-конструктором в Конструкторском бюро машиностроения. Окончил Коломенский станкостроительный техникум, Коломенский филиал Московского вечернего машиностроительного института, МВТУ имени Баумана. Можно сказать, технарь до мозга костей. А всё своё свободное время отдаёт увлечшему его с детства краеведению. И на этом пути сумел добиться немало.

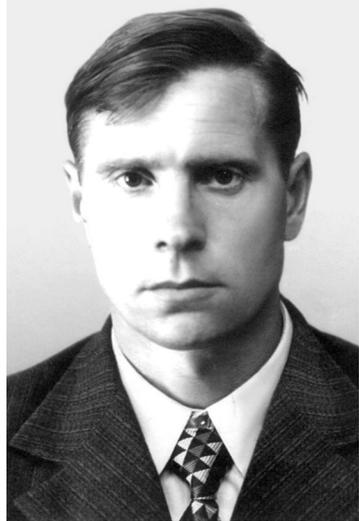
Внимание К.К. Залеснова привлекли Девичье поле и Девичья гора. Пришлось прочитать работы многих историков, в том числе Н.М. Карамзина, И.М. Снегирёва; а с академиком Борисом Александровичем Рыбаковым довелось даже встречаться. Высказал ему свою гипотезу о происхождении названия Девичьего поля под Коломной. Маститый учёный на уголке статьи-исследования коломенского краеведа написал фломастером: «Весьма возможная гипотеза. Для подтверждения необходимы археологические раскопки. *А.Рыбаков*». Та памятная встреча произошла в ноябре 1988 года.

Много разных тем разрабатывал краевед К.К. Залеснов. Он изучил жизненный путь поэта-самоучки из села Пирочи Анисима Нечаева, историю приходского храма Коломзавода, разузнал о событиях, последовавших после голутвинской трагедии в декабре 1905 года... И, конечно же, большая заслуга К.К. Залеснова в том, что ему удалось обнаружить документы, удостоверяющие точную дату рождения Ивана Ивановича Лажечникова. В Москве в Центральном государственном историческом архиве разыскал метрическую книгу церквей города Коломны и Коломенского уезда. В приходе церкви Бориса и Глеба (а именно в этом приходе и состояли родители писателя до переезда в новый дом на Астраханской улице) в графе «родившиеся» в 1790 году К.К. Залеснов прочитал следующую запись: **«В сентябре у коломенского купца Ивана Ильина сына Ложечникова сын Иоанн крещён 23 дня. Восприемники были купец Емельян Ильин Ложечников, купецкая Фёкла Васильевна Мошенкина».**

Залеснов в первое мгновение не поверил глазам своим. Неужели вот эта короткая запись может дать ответ на мучивший его (да и не только его!) не один год вопрос: когда родился И.И. Лажечников? Медленно прочитал запись ещё раз. Отметил, что, к сожалению, не указан день рождения Иоанна и, кроме того, после слова «купецкая» явно пропущено какое-то слово: то ли «жена» либо «вдова», а может быть, «дочь». Но это уже не столь важно. Принципиальное значение обнаруженной записи в том, что указан год рождения Ивана Ивановича Лажечникова.

Подобных счастливых моментов краеведу Константину Константиновичу Залеснову довелось пережить немало.

Анатолий Кузовкин



Константин Константинович Залеснов родился в январе 1936 года в Коломне. Окончил Коломенский станкостроительный техникум. Служил в армии, работал конструктором на заводе тяжёлого станкостроения. После окончания МВТУ им. Н.Э. Баумана работает в Конструкторском бюро машиностроения.

Член коломенского клуба краеведов. Соавтор книги «Шахматы в коломенском крае». Один из авторов энциклопедии «Коломенский край» (1997).

КОГДА РОДИЛСЯ И.И. ЛАЖЕЧНИКОВ?

Точная дата рождения И.И. Лажечникова, знаменитого русского романиста, не была известна даже его современникам. Слово «даже» употреблено здесь потому, что вопрос о дате возник ещё при жизни писателя, но решён так и не был. Казалось бы, чего легче, подойти к человеку и спросить: «Иван Иванович, когда ты родился?» Но дело осложнялось и позицией самого Лажечникова. Её подробно изложил в своей речи в Санкт-Петербургской гимназии Гуревича 18 сентября 1894 года историк, педагог, писатель и критик Е.М. Гаршин (см. с. 273–277 настоящего издания).

И торжественный акт по случаю столетия великого романиста отмечался именно в 1894 году потому, что «воспоминаниям отца и матери и самого маститого писателя в такую пору жизни, когда бы он не стал уменьшать себе годы, надо отдать преимущество и верить, что Лажечников родился 14 сентября 1794 года».

Не известно ни одного документа с упоминанием о каком-либо юбилее И.И. Лажечникова. Вероятнее всего, общественность так ни разу торжественно и не отметила ни одного юбилея писателя, хотя он прожил без малого 79 лет.

Правда, в мае 1869 года по инициативе Общества любителей русской словесности было отмечено пятидесятилетие его литературной деятельности. За начало её посчитали дату принятия И.И. Лажечникова в члены данного Общества, а основанием для принятия был выход в свет сборника «Первые опыты в стихах и прозе» в 1817 году. Похоронив И.И. Лажечникова в июне 1869 года у собора во имя Смоленской иконы Божией Матери в Новодевичьем монастыре в Москве, совре-

менники так и не решились на могильном кресте, а затем и памятнике поставить дату рождения писателя.

Большинство же исследователей, вероятно, рассуждая, как и Е.М. Гаршин, склонилось к дате 14 сентября 1794 года. Поэтому в 1894 году вышло несколько работ, посвящённых памяти первого «русского Вальтер Скотта».

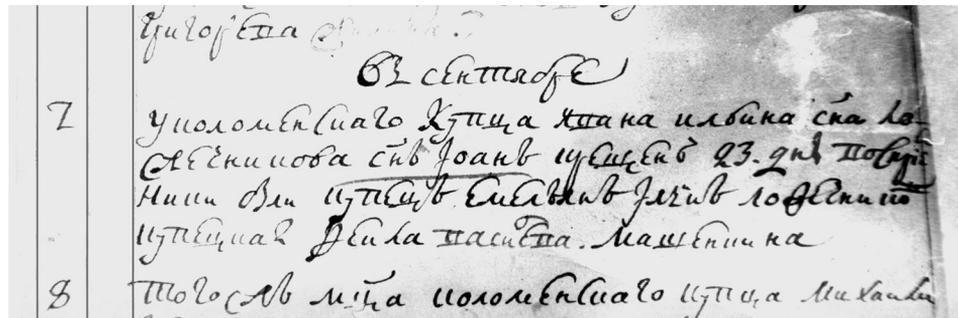
Однако не все были так единодушны в этом вопросе. Большой знаток творчества Лажечникова С.А. Венгеров в критико-биографическом очерке к посмертному изданию собрания его сочинений писал в 1883 году:

«И.И. Лажечников родился 14 сентября 1792 года (а не в 1794 году, как полагали до сих пор библиографы)». В примечании к очерку он приводит несколько своих соображений относительно предлагаемой даты. Первое. В № 7 «Русского художественного листка» помещена биография Лажечникова, где говорится, что Лажечников родился 14 сентября 1792 года, причём сам писатель подписал этот номер как цензор. Второе. «Многократно Лажечников сообщает, что когда ему минуло 6 лет, отец взял ему в гувернёры француза Болье. Если Лажечников родился в 1794 году, то поступление Болье относится к 1800 году. Но... в один из последних годов царствования императора Павла отец Лажечникова и Болье были по доносу схвачены полицией и увезены из Коломны. Отец был помилован Павлом в день Михаила Архангела, что в сентябре. Так как император Павел умер в марте 1801 года, то отец Лажечникова был освобождён уже в сентябре 1800 года». Это дало основание Венгерову определить дату рождения 1792 годом. И третье. «Первое произведение Лажечникова “Мысли” помещено в 1807 году в “Вестнике Европы”. Если довольно удивительно, что эти “Мысли” с их философским оттенком принадлежат 15-летнему мальчику, то уже совершенно невероятно, чтобы их написал мальчик тринадцатилетний».

Из второго и третьего аргументов можно было бы предположить и более раннюю дату рождения И.И. Лажечникова, но С.А. Венгеров, как и Е.М. Гаршин в предыдущем случае, поверил самому писателю.

Обоснованная, таким образом, С.А. Венгеровым дата рождения И.И. Лажечникова и вошла во всю последующую литературоведческую и справочную литературу XX столетия.

Наши сомнения по поводу 1792 года появились при сопоставлении автобиографической повести «Беленькие, чёрненькие, серенькие» с материалами, найденными в Центральном историческом архиве Москвы.



Фрагмент записи из метрической книги церкви Бориса и Глеба Запрудской слободы г. Коломны за 1790 год. Фото К.Залеснова

Например, в повести он с подробностями описывает свою поездку с матерью в Москву к заболевшему деду по отцу, где они получили деньги на постройку нового дома. С другой стороны, в записке дяди Лажечникова Емельяна Ложечникова (фамилия предков Лажечникова писалась через «о») читаем: «Государь мой братец Иван Ильич, небезизвестно вам, что имеем мы надобность для предоставления в залог по казённому соляному подряду недвижимого нашего имения, состоящего в городе Коломне, в нём выстроенного дворах и лавках, доставшихся нам после **покойного родителя** (выделено мною. — К.З.) купца Ильи Акимовича Ложечникова...». Дата написания записки — 20 декабря 1795 года.

Кроме того, из повести мы знаем, что мальчик хорошо запомнил печальную реакцию отца на известие о смерти Екатерины Второй, а она, как известно, случилась в 1796 году.

Если учесть, что устойчивые впечатления могут остаться у человека на долгие годы, если он видел события в возрасте не менее четырёх или пяти лет, то станет очевидно, что ни 1792-й, ни тем более 1794 годы годами рождения И.И. Лажечникова быть не могли.

Просматривая в ЦИАМ метрическую книгу церковей города Коломны и Коломенского уезда за 1790 год, в приходе церкви Бориса и Глеба (а именно в этом приходе и состояли родители писателя до переезда в новый дом на Астраханской улице) в графе «родившиеся» мы прочитали следующую запись: «В сентябре. У коломенского купца Ивана Ильина сына Ложечникова сын Иоанн крещён 23 дня. Восприемники были купец Емельян Ильин Ложечников, купецкая Фёкла Васильевна Мошенкина». Кроме того, после слова «купецкая» пропущены либо слово «жена», либо слово «вдова», либо «дочь».

281



Церковь Бориса и Глеба в Запрудях. Фото А.Дудкина

Интересный момент — при проверке метрической книги в том же приходе за 1792 год была найдена запись: «В мае, 8, у коломенского купца Ивана Ильина сына Ложечникова сын Николай, крещён 21 дня». Восприемники были те же. Упомянутое слово здесь также пропущено.

Эта запись — ещё одно доказательство, что в 1792 году И.И. Лажечников родиться не мог.

После этого уже по-другому приходится смотреть на два свидетельства о дате рождения И.И. Лажечникова в 1790 году. Первое из них приведено А.К. Жизневским в предисловии к опубликованным письмам Лажечникова, изданным в 1895 году. «Оно (столетие со дня рождения Лажечникова. —

МОИ ВОСПОМИНАНІЯ

О Б Ъ

ИВАНЪ ИВАНОВИЧЪ ЛАЖЕЧНИКОВЪ

На Тверской Ученой Архивной Коммисіи и на мнѣ, лично, какъ на сослуживцѣ Ивана Ивановича Лажечникова и притомъ пользовавшемся дружескимъ его расположеніемъ, — которое вполнѣ выразилось въ прекрасныхъ его письмахъ ко мнѣ, — лежитъ обязанность почитать его память, по случаю исполнившагося столѣтія со дня его рожденія. Оно въ истекшемъ сентябрѣ праздновалось въ Москвѣ, хотя, какъ оказывается нынѣ, столѣтіе со дня рожденія Ивана Ивановича въ дѣйствительности исполнилось въ 1890 году. Въ этомъ удостовѣряетъ формулярный о службѣ его списокъ 1853 года, хранящійся въ Тверскомъ Губернскомъ Правленіи; въ этомъ списокѣ показано ему отъ роду 63 года. Такая официальная дата должна считаться вѣрною, тѣмъ болѣе, что она устраняетъ несообразность, какъ напр. награжденіе его чиномъ актуариуса въ Архивѣ Коллегіи Иностранныхъ Дѣлъ двѣнадцати лѣтъ, если считать годомъ рожденія его 1794 годъ.

Иванъ Ивановичъ Лажечниковъ прожилъ въ Тверской губерніи почти 24 года: сначала въ должности директора Тверской гимназіи, съ 5 марта 1831 г. по 12 мая 1837 г.; въ 1842 году онъ былъ избранъ дворянствомъ попечителемъ той же гимназіи, а съ 19 апрѣля 1843 г. по октябрь 1853 г., былъ Тверскимъ Вице-Губернаторомъ.

Фрагмент из воспоминаний А.К. Жизневского



Владимир Потлов. Модель памятника И.И. Лажечникову. Бронза. 1994 год

К.З.) в истекшем сентябре праздновалось в Москве, хотя, как оказывается ныне, в действительности оно исполнилось в 1890 году. В этом удостоверяет формулярный список о службе 1853 года, хранящийся в Тверском губернском правлении. В этом списке ему показано отроду 63 года. Такая официальная дата его рождения должна считаться верною».

Второе свидетельство было приведено в книге В.С. Арсеньева, изданной в Витебске в 1910 году. В графе «возраст» формулярного списка, заполненного И.И. Лажечниковым в октябре 1853 года, написано: «шестидесяти трёх лет».

Возникает вопрос: как мог Иван Иванович, описывая подробно своё детство, забыть год своего рождения и написать в автобиографии в 1858 году (после некоторых колебаний) 1792 год, а в письме к Б.Н. Алмазову указать 1794 год? К сожалению, достоверных объяснений нам найти не удалось.

Попробуем предложить версию. Для этого обратим внимание на слова в приведённой цитате А.К. Жизневского «...как оказывается ныне...». Это написал тот самый Август Казимирович, который, живя в Твери, был одним из самых хороших знакомых Лажечникова. «Почти каждый вечер во время вечерних своих прогулок мне приходилось побывать у Ивана Ивановича, обменяться с ним несколькими словами и рассказать ему о подмеченных мною в течение дня сценах, преимущественно народных». После отъезда Лажечникова из Твери их переписка продолжалась до 1869 года, хотя и с перерывами. Получается такая картина: Иван Иванович правильно пишет свой возраст в официальных бумагах, а сослуживцы узнают об этом через сорок с лишним лет! Вероятно, сослуживцы не знали его истинного года рождения и в 1850 году, когда ему исполнилось 60 лет, ибо нет никаких упоминаний о юбилее, который мог иметь

место в Твери, где более чем за двадцать лет службы его все знали, уважали и любили и где у него было много друзей: Ф.Н. Глинка, А.В. Верёвкин, Озеров и другие. Значит, юбилея не было, и одной скромностью Ивана Ивановича объяснить это вряд ли возможно.

А может быть, пока официальные бумаги спокойно лежали в сейфе, Иван Иванович устно называл своим годом рождения — 1794-й? Попробуем предположить, когда и почему он начал убавлять свой возраст.

Надпись на памятнике первой жены Ивана Ивановича, сделанная самим Лажечниковым в 1852 году, гласит: «Авдотья Алексеевна Лажечникова, почившая на пятидесятом году, подарив мужу 30 лет счастья и оставив прекрасную память в сердцах всех, кто её только знал».

Отсюда вычислим, что во время бракосочетания, состоявшегося в 1822 году, Ивану Ивановичу было 32 года, а его невесте 20 лет. Мог ли Иван Иванович, будучи старше своей невесты на двенадцать лет, убавить себе четыре года? Вполне мог.

Здесь можно сказать, что писателя подвёл мужчина. По-человечески его можно понять, хотя и задал он хлопот своим биографам.

И.И. Лажечников «держался» поздней даты своего рождения и дальше, тем более что вторая жена была его моложе почти на сорок лет. 4 августа 1853 года он писал А.Ф. Кони: «Вы удивитесь, если я вам скажу, что я — шестидесятилетний старик женился на 22-летней девушке. Кажется, это мой последний роман».

Последнее слово в этом вопросе должны сказать литературоведы, историки и психологи.

ХРОНИКА



Тайна старинной усадьбы

Дом Лажечникова оживает... Подошла к концу долгая реставрация. И первым в культурный обиход вошёл старинный флигель. Здесь развёрнута экспозиция. Но главное — в усадьбе поселился дух Лажечникова!

И когда любители истории посещают это место, бывает, что навстречу им из таинственной полутьмы выходит сам Иван Иванович Лажечников и рассказывает свою жизнь.

Ошеломляющий эффект реального присутствия хозяина дома создаёт литературовед, поэт и бард Михаил Кукулевич, поразительно похожий на пожилого Лажечникова.

А в соседней комнате гостей ждёт цветочный чай и знаменитая коломенская пастила, о которой рассказывает сама пастильница, словно только что вышедшая из «Ледяного дома».

Заповедный коломенский дом открывает свои тайны, предания иклады...



ПИСАТЕЛЬСКИЕ
СУДЬБЫ



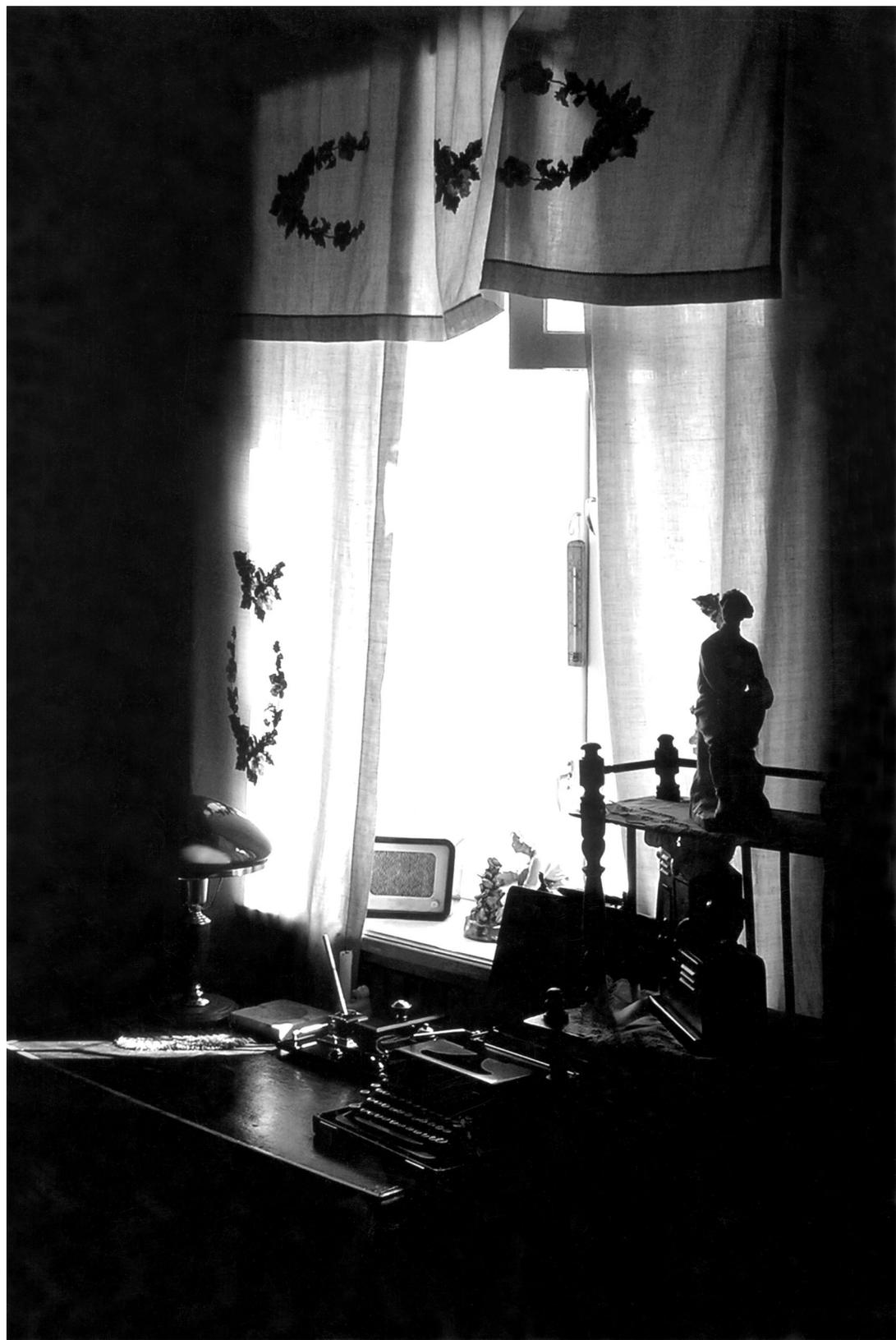


Фото Виктора Смылова



Александр Александрович Сахаров — автор ряда статей об А.С. Пушкине, М.Ю. Лермонтове, по истории России, опубликованных в журналах «Москва», «Московский журнал», «Сура», научных сборниках.

Участник российских и международных пушкинских и лермонтовских конференций, Багратионовских чтений.

Член Союза писателей России и Межрегионального Лермонтовского общества.

Александр САХАРОВ

НЕИЗЪЯСНИМЫЙ ДАР

ЭТЮДЫ О В.А. ЖУКОВСКОМ

*К 225-летию со дня рождения
В.А. Жуковского*

**«В нём не было ни лжи,
ни раздвоенья...»**

Личность, судьба и творчество Василия Андреевича Жуковского и сейчас, спустя 225 лет со дня рождения и 155 лет со дня кончины, не перестают волновать нас. Кем же предстаёт перед нами Жуковский?

Без сомнения, великим поэтом, одним из создателей современного русского языка. Романтиком, автором поэтических баллад, сказок, прекрасной тонкой лирики, великолепным переводчиком...

Другом и учителем великого Пушкина, братом, товарищем, порой наставником многим литераторам пушкинской плеяды: Вяземскому, Давыдову, Батюшкову, Боратынскому, братьям Тургеневым, Козлову, Гоголю, Лермонтову...

Выдающимся педагогом, деятельность которого на посту воспитателя наследника престола и других лиц царской фамилии была направлена на развитие и укрепление в них любви к Отечеству, к русской культуре, высоких личных нравственных качеств, коими наставник их обладал в полной мере. О педагогике Жуковского следовало бы сказать особо.

Именно Василий Андреевич Жуковский был рядом с Пушкиным в последние часы его жизни и поведал о них в своём письме отцу поэта. Он сохранил



*«Победителю-ученику
от побеждённого учителя —
в тот высокотожржественный день,
в который он окончил поэму
Руслан и Людмила».*

В.А. Жуковский. Гравюра Е.Эстеррейха

рукописи Пушкина и подготовил издание собрания его сочинений в пользу вдовы и детей Пушкина.

Пользуясь близостью к монарху и царской семье, он был постоянным заступником и просителем за обиженных, сосланных, бедных, по выражению А.С. Пушкина — «милость к падшим призывал». Он пишет письма в защиту Н.И. Тургенева, о смягчении участи декабристов, хлопочет об освобождении из крепостной зависимости Т.Г. Шевченко, просит о высылке денег Н.В. Гоголю, о прощении Е.А. Боратынского, вступает за честь погибшего А.С. Пушкина и его семьи; к нему с просьбой о заступничестве обращается бабушка М.Ю. Лермонтова Е.А. Арсеньева... Василий Андреевич Жуковский по праву может быть назван «совестью русского общества XIX столетия».

Недаром в стихотворении «Памяти В.А. Жуковского» Фёдор Иванович Тютчев писал:



А.С. Пушкин в гробу. Рисунок В.А. Жуковского

И этот-то души высокий строй,
 Создавший жизнь его, проникший лиру,
 Как лучший плод, как лучший подвиг свой,
 Он завещал взволнованному миру...
 Поймёт ли мир, оценит ли его?
 Достойны ль мы священного залога?
 Иль не про нас сказало божество:
 «Лишь сердцем чистые, те узрят Бога!»

А ещё — он был хорошим художником, оставил много пейзажей и зарисовок, которые неустанно заносил в свой альбом во время поездок. И если пейзажные его рисунки выполнены в классической академической манере, с подчёркнутым соблюдением правил линейной перспективы (что, впрочем, не лишает их очарования), то несколько дошедших до нас портретных рисунков, выполненных рукой поэта, представляют особый интерес, так как являются важными свидетельствами трагической судьбы поэта. О некоторых из этих рисунков и пойдёт наш рассказ.

«Милостивая государыня матушка...»

Известно множество женских образов в поэзии и графике А.С. Пушкина. Графика Василия Андреевича Жуковского более скромна. Из многих дошедших до нас портретных рисунков выделим портреты двух женщин; объединяет их любовь поэта к изображённым.



Сальха. Рисунок В.А. Жуковского

прелесть этой усадьбе, а обстановка — дубовая роща, ручеёк в долине, виды на отдалённые пышные луга и нивы, на близкое село с церковью настраивали чувства обывателей к мирному наслаждению красотой при-

Перед нами изображение сидящей на скрещённых ногах женщины. Её поза и одежда выдают в ней женщину восточную. Кажется, что могло заинтересовать в ней поэта? Чтобы понять это, нам придётся вернуться к его рождению.

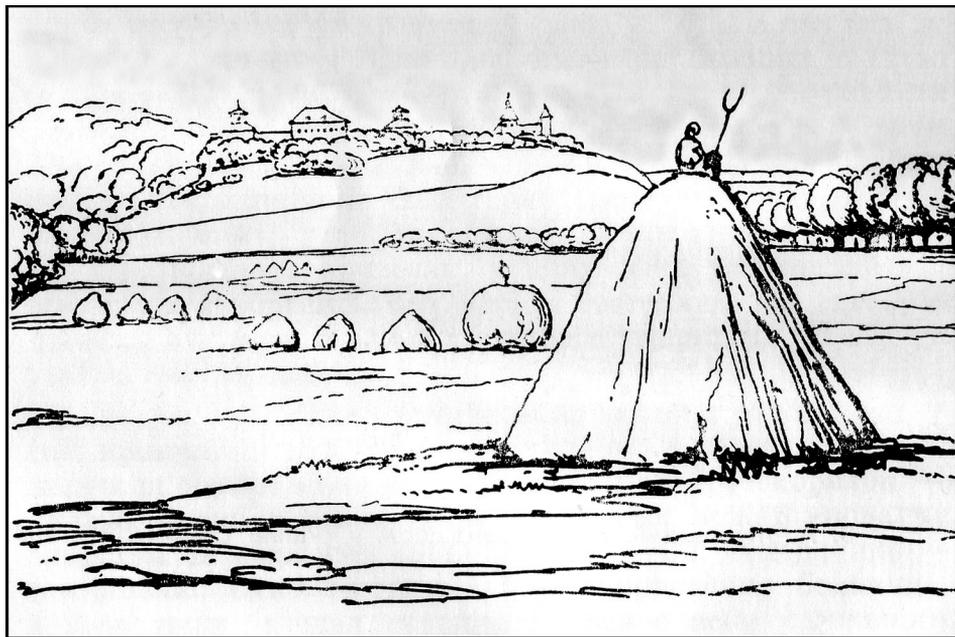
Итак... «Село Мишенское, одно из многих поместий, принадлежавших Афанасию Ивановичу Бунину, находится в Тульской губернии, в трёх верстах от уездного города Белёва. Благодаря живописным окрестностям этого имени и близости его к городу, владелец избрал его постоянным местопребыванием для своего семейства и, по тогдашним обычаям, обустроил и украсил его роскошно. Огромный дом с флигелями, оранжереями, теплицами, прудами, садками, парком и садом придавал особую

роды» (из воспоминаний К.К. Зейдлица (1798–1885), известного врача, друга В.А. Жуковского). Именно здесь и появился на свет будущий поэт и педагог. Эти места полюбил он на всю жизнь, они были связаны с дорогами для него воспоминаниями. Он позже неоднократно возвращался сюда, делал зарисовки.

Продолжим наш рассказ, также опираясь на воспоминания современников поэта. «В царствование императрицы Екатерины II, когда были ведены Россией такие счастливые войны против Турции, мещане города Белёва и многие крестьяне, казённые и помещичьи, повадились ездить за нашею армией маркитантами и торговали с большой выгодой. Один крестьянин села Мишенского... пришел проститься с своим господином, спросил: “Батюшка, Афанасий Иванович, какой мне привезти тебе гостинец, если посчастливится торг мой?” Дедушка отвечал ему шутя: “Привези мне, брат, хорошенькую турчаночку, — видишь, жена моя совсем состарилась!” Но крестьянин не за шутку принял эти слова. Он торговал очень счастливо и после первого взятия Бендер, кажется, в 1774 году возвратился и привёз с собой двух турчанок, родных сестёр: 16-летнюю Сальху, уже вдову, — муж её был убит под стенами Бендер, — и 11-летнюю Фатьму, которая скоро и умерла» (из воспоминаний А.П. Зонтаг, дочери Варвары Афанасьевны Юшковой, внучки А.И. Бунина; А.П. Зонтаг приходилась Жуковскому племянницей, она была тремя годами младше, но в детстве они воспитывались вместе).

Сальха, отличавшаяся приветливостью, добротой и смирением, покорилась своей судьбе и жила в семье Буниных — сначала при младших дочерях Варваре и Екатерине, которые учили её говорить и читать по-русски, затем ей было поручено всё хозяйство.

Её молодость и красота, расторопность в хозяйстве и умение готовить привлекли к ней внимание Афанасия Ивановича. «Сальха, как неволь-



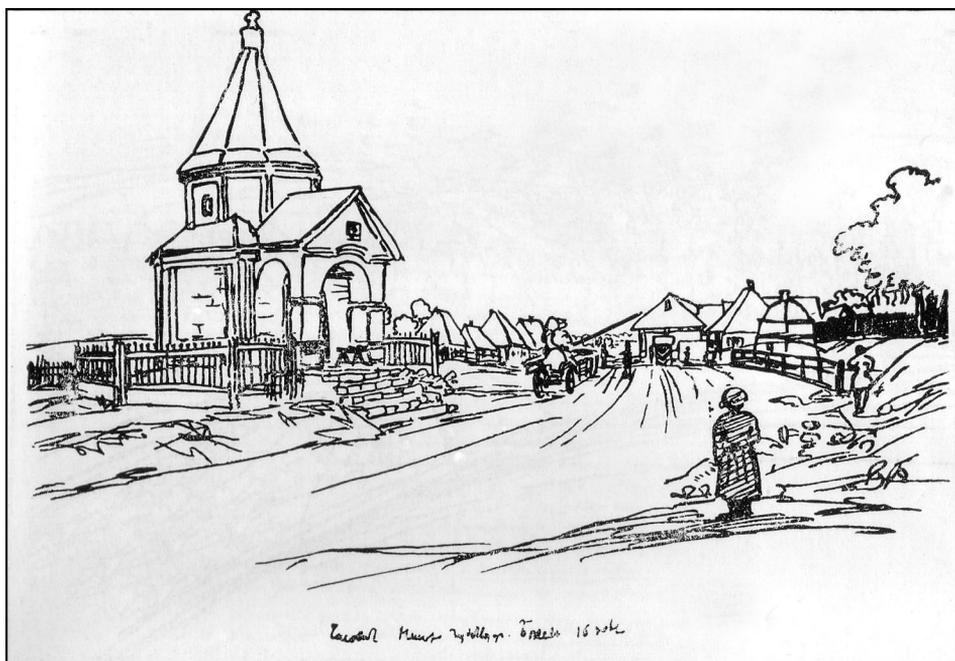
Мишенское. Рисунок В.А. Жуковского



Афанасий Иванович Бунин

ница, по своим магометанским понятиям, покорилась ему во всём, но всё так же была предана душою Марье Григорьевне, которая, заметя связь мужа своего с турчанкой, не делала ему ни упрёков, ни выговоров, а только удалила от Сальхи дочерей своих... Она считала себя второю женою, но всегда оставалась покорною первой жене, как госпоже своей, от которой не слыхала никогда неприятного слова. Бабушка не винула её, зная её магометанские понятия» (из воспоминаний А.П. Зонтаг).

Пристрастившись к чтению, она много читала и наконец решила принять Православие. «Во святом крещении она была наречена Елизаветою, а по крёстному отцу, дедушкиному управляющему, отчество её было Дементьевна» (А.П. Зонтаг), фамилия же ей была дана по происхождению — Турчанинова. 29 января 1783 года Елизавета Дементьевна родила сына. Восприемниками при крещении стали бедный киевский дворянин Андрей Григорьевич Жуковский и, с согласия матери, Варвара Афанасьевна Бунина. Тут же, получив при крещении имя Василий, мальчик был усыновлён А.Г. Жуковским, а потому получил его фамилию и отчество Андреевич. Как вспоминает со слов бабушки и Сальхи А.П. Зонтаг: «Марья Григорьевна по-



Часовня Николая Чудотворца. Белёв. Рисунок В.А. Жуковского

дошла посмотреть на прекрасного мальчика и со слезами благословила его. Она думала о своём единственном сыне, умершем за два года перед тем, в совершенных годах... Сердце её, неспособное к зависти и ни к какому неприятному чувству, кажется, с этой минуты усыновило новорождённого.

После сорока дней Елизавета Дементьевна пошла с сыном в церковь, чтобы взять молитву. Возвращаясь домой, она вошла с младенцем своим в гостиную, где сидела бабушка, стала перед нею на колени и с горькими слезами положила к её ногам малютку. Бабушка взяла его на руки, целовала, крестила и также плакала».

С этой минуты у Васи стало две матери, которые любили и помогали ему до самой своей смерти. «Он вырос прекрасным, милым, добрым ребёнком. Все любили его без памяти. Для старших он был любимым сыном, а для младших — любимым братом»

Ещё в 1785 году отец записал Василия сержантом в Астраханский гусарский полк. В шесть лет он получил первый офицерский чин прапорщика, дававший право на личное дворянство, и был внесён в дворянскую книгу Тульской губернии. И когда получившему домашнее образование Жуковскому надо было продолжать учение, сосед по имени предложил ему поступить в полк. Но устройство в военную службу не состоялось: вступивший на престол император Павел I запретил брать на действительную службу несовершеннолетних офицеров. Однако пока юный прапорщик жил в Нарвском полку, стоявшем в крепости Кексгольм на берегу Ладожского озера, произошло событие, о котором он написал матери: «Милостивая государыня матушка Елизавета Дементьевна! Имею честь вас поздравить с праздником (Рождеством. — А.С.)... О себе имею честь донести, что я слава Богу здоров. Недавно у нас был граф Суворов, которого встречали пушечной пальбою со всех бастионов крепости».

По возвращении в Тулу Василия Жуковского ждала ещё одна важная для него встреча, о которой сам он впоследствии написал так: «Из посторонних лиц этого времени самое памятное и любезное для меня есть лицо Болотова... Он посещал нас в Туле, он был мне самый привлекательный человек и сильно на меня действовал своей многосторонностью». Разносторонне образованный, много ездивший по России, он увлёк юного Жуковского рассказами о создании природных парков, о птицах и животных, он знал наизусть оды Ломоносова, Хераскова и Державина. Именно Андрей Тимофеевич Болотов посоветовал родным Жуковского определить его в Московский университетский благородный пансион.

После окончания пансиона Жуковский служит некоторое время в Соляной конторе. Однако эта служба ему не по нраву, и, воспользовавшись первым же предложением, он оставляет её, занявшись литературным трудом.



Андрей Тимофеевич Болотов *Ю.И. Селивёрстова*

*Андрей Тимофеевич Болотов.
Гравюра Ю.И. Селивёрстова.*

1988 год

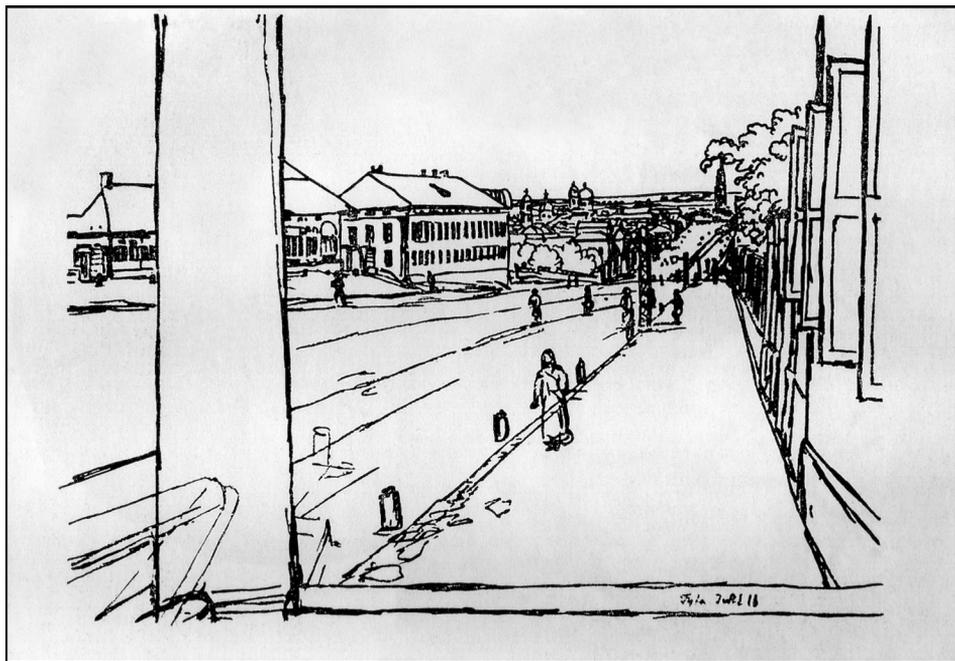
Жуковский осознаёт двойственность своего положения: хотя он и принят ласково как сын и брат в доме Буниных, он не носит фамилию отца и не считается его наследником. «Одиночество, совершенный недостаток в приятных связях, отдаление тех людей, которые бы могли меня оживить и ободрить в искании всего хорошего, совершенное бессилие души, ненадежность на самого себя — вот что меня теперь мучит. Я один; в самом себе не нахожу довольно прибежища; <...> мне недостаёт ободренья. <...> Не имея своего семейства, в котором бы я что-нибудь значил, я видел вокруг себя людей мне коротко знакомых, потому что я был перед ними выращен, но не видел родных, мне принадлежащих по праву... Я не был оставлен, брошен, имел угол, но не был любим никем, не чувствовал ничьей любви; следовательно, не мог платить любовью за любовь, не мог быть благодарным по чувству, а был только благодарным по должности», — записывает Жуковский в дневнике 26 августа 1805 года. Впрочем, в следующей записи (16 ноября) он признаётся: «Это было писано в худом расположении духа», — однако видно, что эти мысли мучают его постоянно, хотя порой он и преувеличивает своё одиночество: многие — и друзья, и родные — искренне любят его.

Двойственность положения в семье сказалась на характере Жуковского: он научился сострадать обойдённому судьбой и принимать чужую боль как собственную.

У него появилась новая мечта — перестроить подаренный ему тёткой Авдотьей Афанасьевной Алымовой дом в Белёве, на самом берегу Оки, и поселиться в нём с матерью. Идея не вызвала возражений у его матерей, а Мария Григорьевна даже обещала дать своих плотников. Хотя Мария Григорьевна ни в чём не упрекала Елизавету Дементьевну, а та, в свою очередь, чувствовала к ней привязанность, всё же и сын, и мать мечтали жить вдвоём, независимо от Буниных. «Желания твои о моём счастье чрезвычайно меня тронули. Конечно, мой друг, я с тобою надеюсь быть счастлива и спокойна; любовь твоя и почтение право одни могут сделать



Москва. Рисунок В.А. Жуковского



Тула. Рисунок В.А. Жуковского

294 меня благополучной. А во мне ты напрасно сомневаешься, я очень чувствую, какого имею сына... А когда даст Бог мы будем жить в своём домике, то ты можешь быть уверен в моём снисхождении и доверенности; увидишь, что у тебя есть добрая мать, которая только твоего щастия и желает», — писала сыну Елизавета Дементьевна.

Однако, когда дом был построен, Елизавета Дементьевна жила в нём только во время приездов сына, когда же он уезжал, она переселя-



Белёв. Рисунок В.А. Жуковского

лась в ставший для неё привычным и родным дом Буниных, к Марии Григорьевне.

В 1808–1810 годах В.А. Жуковский занят редактированием «Вестника Европы», он задумал собрать и издать многотомную хрестоматию русской поэзии. «Вот расположение моего “Собрания”, — пишет он Александру Тургеневу в сентябре 1809 года, — оно должно состоять из пяти, если не из шести полновесных томов; в первых двух или трёх *лирическая поэзия*; в следующих по порядку: *басни, сказки, элегии* и прочее и прочее до *дистиха*... Всё уже списано и приведено в порядок».

Живя в Москве, наезжал он в Мишенское и в Муратово — орловское имение сводной сестры Екатерины Афанасьевны Протасовой, доставшееся ей в наследство от отца. Он взялся быть архитектором и распорядителем работ по устройству имения, в котором не было ещё господского дома: Е.А. Протасова с дочерьми Сашей и Машей поселились пока в крестьянской избе.

В 1810 году Мария Григорьевна Бунина и Елизавета Дементьевна, сложившись, купили Жуковскому небольшую деревеньку Холх в окрестностях Белёва с семнадцатью крепостными — через реку от полюбившегося ему Муратова.

Жизнь начала налаживаться. Жуковский оборудовал себе кабинет в перевезённом из Муратова старом доме Протасовых, через речку был построен мост. Однако литературные дела требовали почти постоянного присутствия Василия Андреевича в Москве, назревал конфликт между двумя редакторами «Вестника Европы» — Жуковским и Каченовским.

В это время и произошла трагедия — 13 мая в Мишенском скончалась Мария Григорьевна, в солидном, впрочем, для того времени возрасте восьмидесяти трёх лет. Елизавета Дементьевна, приехавшая в Москву к сыну с этой грустной вестью, умерла спустя десять дней после своей бывшей хозяйки. Василия Андреевича глубоко потрясла эта утрата. Похоронив мать на кладбище Новодевичьего монастыря, он сожалел о том, что совсем мало виделся с ней и практически не знал её. Поклонился он и праху Марии Григорьевны Буниной. Лишившись сразу двух своих матерей, он стал ещё более одинок.

О Елизавете Дементьевне Турчаниновой — турчанке Сальхе — и её трагической судьбе и напомнил нам карандашный рисунок поэта.

«Тихий ангел»

Не оправившись от своего горя, Жуковский отправился в Холх, в свой пустующий домик. Теперь ря-



М.А. Мойер (Протасова).
Рисунок В.А. Жуковского. 1820 год

дом с ним жило семейство Протасовых: Екатерина Афанасьевна с дочерьми Машей и Сашей.

В муратовском доме Жуковский затевал разнообразные игры, выпускал шуточные газеты. В это веселье вовлекались соседи и близкие Протасовых. Разыгрывались комедии, в том числе специально для этих случаев сочинённые Жуковским.

Осенью Жуковский поселяется в Холхе, вновь начинает работать. «Моё время разделено на две половины: одна посвящена учёню, другая авторству... Учёню: философия и история, и языки... Сочинения и переводы... Живу я очень уединенно», — пишет он в Санкт-Петербург Дмитрию Блудову.

Друзья зовут Жуковского в столицу, но Жуковский не в силах покинуть Холх и близкое Муратово. Смыслом его жизни давно и надолго стала Маша Протасова.

Но вернёмся немного назад. Одна из сводных сестёр поэта, Екатерина Афанасьевна Бунина, вышла замуж за Андрея Ивановича Протасова. В 1805 году он умер, оставив жене двух дочерей: Машу (родилась в 1793 году) и Сашу (родилась в 1795 году), и большие долги. Расплатившись с долгами, Екатерина Афанасьевна поселилась в Белёве, недалеко от Мишенского. Видя стесненное положение Протасовой и трудность при её средствах нанять хорошего учителя, Жуковский предложил заниматься с девочками. Протасова согласилась. Жуковский горячо увлёкся этим делом, составил обширный план занятий, имеющий целью не только сообщить ученицам знания, но и развить их нравственные качества. Основой обучения и нравственного воспитания стала литература. Василий Андреевич сам подбирал и переводил произведения для своих воспитанниц.

Жуковский горячо привязался к девочкам, особенно к старшей, Марии. Вскоре он понял, что полюбил её. Жуковский думал сформировать из неразвитой еще духовно и умственно девочки жену, такую, как она рисовалась в его воззрениях. «Я был бы с нею счастлив, конечно! Она умна, чувст-



*М.А. Протасова. Рисунок
В.А. Жуковского. 1811 год*



В.А. Жуковский в юности

вительна, она узнала бы цену семейственного счастья и не захотела бы светской рассеянности», — записывает он в дневник. Жуковский поверил в возможность своей мечты, тем более что Маша отвечала ему взаимностью.

Свои размышления Жуковский поверял дневнику. По дневникам можно составить себе ясное представление о душевном облике, настроении и взглядах Жуковского в эту пору. Как отмечает литературовед И.М. Семенко, «поэт с величайшим вниманием анализирует свое душевное настроение, стремится этим путем выработать в себе твёрдые нравственные принципы, осмыслить свое отношение к жизни, религии, выработать свое этическое credo». Вот, например, запись в дневнике от 3 января 1806 года.

«Будущая жизнь»

- 1) Что я должен и могу из себя сделать со стороны морального образования.
- 2) Какова теперь М<аша> и какую я желаю ей быть.
- 3) Какая цель моей жизни и как до неё достигнуть.
- 4) В чём должен положить своё счастье.
- 5) Чего искать в свете и от чего отказаться.
- 6) Как пользоваться самим собою, чем заниматься и чем доставлять другим пользу.
- 7) Как себя образовать и какой методе следовать в чтении.
- 8) План моей жизни: семейственной; авторской; общественной.
- 9) Что я должен иметь необходимо для своего счастья.
- 10) Как вояжировать и что делать, если не поеду вояжировать.

Моральная система

В отношении к Богу; к ближнему; к себе самому.

К Богу.

- 1) Понятие о религии натуральной и откровенной: на них основывать свои поступки.
- 2) Понятия о творении.
- 3) Молитва.
- 4) Провидение.

К ближнему.

- 1) Человеколюбие.
- 2) Общество.
- 3) Любовь к отечеству.
- 4) Учтивость, любезность.
- 5) Супружество.
- 6) Дружба.
- 7) Благоедеяния.
- 8) Светские знакомства.
- 9) Дуэль.
- 10) Любовь.
- 11) Обхождение.
- 12) Разговор.
- 13) Снисходительность.
- 14) Откровенность. Прямодушие.
- 15) Мода. Странность.
- 16) Слуги.

- 17) Родные.
- 18) Общее мнение.
- 19) Великодушие.
- 20) Справедливость.
- 21) Жалость.
- 22) Говорить правду.

К самому себе.

- 1) Спокойствие души.
- 2) Душа.
- 3) Характер.
- 4) Ум.
- 5) Тело.
- 6) Добродетель.
- 7) Ревность.
- 8) Вспыльчивость.
- 9) Гордость, кротость.
- 10) Экономия.
- 11) Умеренность.
- 12) Осторожность.
- 13) Скромность.
- 14) Злоречие.
- 15) Целомудренность.
- 16) Уважение самого себя.
- 17) Свобода.
- 18) Постоянство. Твёрдость.
- 19) Надежда.
- 20) Мужество.
- 21) Чувствительность.
- 22) Мнение.
- 23) Честность.
- 24) Совесть.
- 25) Смерть.
- 26) Состояние.
- 27) Порядок.
- 28) Образ жизни.
- 29) Счастье.
- 30) Слава.
- 31) Хозяйство.
- 32) Здоровье.
- 33) Скука.
- 34) Чтение.
- 35) Лень, медлительность».

В 1808–1811 годах Жуковский редактирует «Вестник Европы». В это время он сближается с Н.М. Карамзиным, П.А. Вяземским, часто общается с Александром Тургеневым, знакомится с К.Н. Батюшковым. Несколько экземпляров первого своего выпуска он послал в Белёв. Но его собственное творчество пронизано мыслями о Маше. Две сказки его, напечатанные в «Вестнике Европы», — «Три сестры» и «Три пояса» — о ней, героини их Минвана и Людмила — она, Маша. Всем им по пятнадцать лет, эти сказки — подарок к пятидесятилетию Маши.

Маша пишет ему письма («Вестник» разлучит нас по крайней мере на год! Очень грустно об этом думать! Пожалуйста, пиши ко мне почаще... Помнишь ли, мой милый друг, как было весело, как ты меня учил рисовать. Когда-то опять это будет. Милый мой Базиль, когда приедешь ты к нам...»), усердно занимается образованием, переводит повесть М. Эджворт «Прусская ваза» (этот перевод Жуковский позже напечатает в «Вестнике Европы»).

Но Жуковский уже знает, что Екатерина Афанасьевна, которой он открыл свою любовь к Маше, не одобряет его. Причины — Маша ещё ребёнок, а главное, они состоят в близком родстве (хотя Жуковский был сводным, а не родным братом Екатерине Афанасьевне). Возможно, Екатерина Афанасьевна, отказывая Жуковскому, имела в виду (хотя и не говорила ему) и ещё одно препятствие — его происхождение. Он мог быть другом семьи, воспитателем её дочерей, но мужем одной из них... Об этом она не хотела и думать. Жуковский понимал, что Маша не пойдёт против воли матери, он и сам воспитывал её в таком духе.

1812 год. Жуковский заканчивает «Светлану». Первоисточником «Светланы», как и более ранней «Людмилы», также явилась «Ленора» Бюргера, но у Жуковского получились произведения настолько самостоятельные, настолько не похожие на свой прообраз, как и друг на друга:

Раз в крещенский вечерок
Девушки гадали:
За ворота башмачок,
Сняв с ноги, бросали...

Вскоре и навсегда «Светлана» делается знаменитой, и часто у современных читателей имя Жуковского сразу же и прочно ассоциируется с этим именно произведением.

Однако Отечество в опасности! Французские войска, предводительствуемые опытнейшими полководцами, вторглись в пределы России. И Жуковский решает вступить в народное ополчение. Он отправляется из Холха в Москву, так как на Орловщине ополчение ещё не создавалось. Жуковский был зачислен в Первый пехотный полк Московского ополчения, который 19 августа отправился из Москвы. «Я благословил Жуковского на брань: он вчера выступил отсюда навстречу неприятелю», — писал 20 числа Карамзин И.И. Дмитриеву. Вместе с московскими ополченцами Жуковский был участником Бородинского сражения — хотя их полк простоял весь день в резерве, но подвергся пушечному обстрелу: было много убитых и раненых. Также ополченцем был в Бородинском бою и Вяземский.



*В.А. Жуковский.
Рисунок карандашом
А.А. Воейковой. 1823 год*

Вскоре Жуковский был прикомандирован к штабу Кутузова, и здесь-то он смог применить против врага своё главное оружие, единственное, которым он владел в совершенстве, — Слово.

В сентябре 1812 года он приезжает в Орёл. Маша Протасова записывает в дневнике (10 сентября): «Вдруг наш добрый Жуковский явился из армии курьером к губернатору в 7 часов вечера. Этот бесподобный вечер никогда не забудется... Было очень много гостей, все приходили его смотреть, он нас успокоил много насчёт дурных слухов... Он приехал к губернатору, чтобы ему рассказать, что сюда, в Орёл, привезут пять тысяч человек раненых; тридцать будет стоять у Плещеевых в доме, и мне готовить для них корпию и бандажи».

Целый месяц Жуковский занимался в Орле устройством госпиталей, делал закупки для армии. 10 октября Екатерина Афанасьевна сама записывает в Машинном дневнике: «День памятный в наших горестях: Жуковский, добрый наш Жуковский опять поехал в армию». День знаменательный — в этот день русская армия вступила в Москву, оставленную неприятелем. Вернувшись в штаб армии, Жуковский начинает большую элегию, принёсшую ему поэтическую славу, — «Певец во стане русских воинов». Эта торжественная песнь есть и воззвание на битву, и восхваление героев, и скорбь о погибших, и воспоминание об исторических корнях России.

И.И. Лажечников, также участник событий 1812 года, записал в «Походных записках» (20 декабря): «Часто в обществе военном читаем и разбираем “Певца во стане русских”, новейшее произведение г. Жуковского. Почти все наши выучили уже сию пьесу наизусть. Какая поэзия! Каков неизъяснимый дар увлекать за собою душу воинов!..» А Николай Коншин писал: «Эта поэма, по моему мнению, достойная Георгия 1-й степени, делала со мной лихорадку».

Писал Жуковский и штабные документы. Написанное им стихотворение «К старцу Кутузову» («Вождю победителей») было напечатано в походной типографии и листовкой распространялось по армии.

Однако Жуковский заболел, был перевезён в госпиталь в Вильно, а затем получил бессрочный отпуск и в январе 1813 года приехал в Муратово. В это время неоднократно издаётся отдельными брошюрами и в журналах его «Певец во стане русских воинов», и Жуковский начинает подумывать о собрании сочинений. Он собирается целиком посвятить себя «авторству».

Жуковский вновь пытается определить свои отношения с Екатериной Афанасьевной, заручившись поддержкой влиятельных знакомых и родных, сочувствовавших ему. Здоровье же Маши, и без того слабое, ухудшалось от невыносимых страданий. В марте 1814 года состоялся решительный разговор Василия Андреевича с матерью Маши. Он получил решительный же и непреклонный отказ.

Жуковский и Маша десять лет не теряли надежды, пытаясь добиться согласия матери Маши на их брак. Между тем Е.А. Протасова ссылалась на родство и религиозные запреты и была непоколебима в своём отказе. Двое близких людей не могли видиться, кроме как на людях, переписывались.

Эти годы ознаменовались важными событиями как в стране, так и в жизни Жуковского. Он познакомился и сблизился с молодым ещё Пушкиным и оценил его чудный дар. Было создано литературное товарищество «Арзамас», в котором Жуковский принял живейшее участие...

1817 год. 14 января Маша Протасова обвенчалась с профессором Дерптского университета, хирургом И.Ф. Мойером (впоследствии ставшим учителем выдающегося хирурга, героя Севастопольской обороны Н.И. Пирогова). Она решилась на этот брак потому, что Мойер, как и Жуковский, не мог без неё жить, и потому, что в нём она нашла подобие Жуковского.

Жуковский нашёл в себе силы приветствовать брак М.А. Протасовой, он был на свадьбе. Друзья не понимали, как мог он решиться дать Маше согласие на замужество. «Минута, в которую я решился, — отвечал он на упреки А.И. Тургенева, — сделала из меня другого человека... Я хлебнул из Леты и чувствую, что вода её усыпительна. Душа смягчилась. К счастью, на ней не осталось пятна; зато бела она, как бумага, на которой ничто не написано. Это-то ничто — моя теперешняя болезнь, — столь не опасная, как первая, и почти похожая на смерть... Но не бойся! Я не упаду. По крайней мере, я надеюсь воскреснуть» (письмо от 25 апреля 1817 года).

В это же время Жуковский получает предложение о службе — быть учителем русского языка при молодой супруге великого князя Николая Александре Фёдоровне (прусской принцессе Фредерике-Луизе-Шарлотте-Вильгельмине). Это назначение послужило началом долгой педагогической деятельности Жуковского при императорском дворе.

Когда он может вырваться, он приезжает к Мойерам в Дерпт. Вот как записывает Маша в своём дневнике об очередном приезде Василия Андреевича: «Я стала ещё счастливее с тех пор, как он ещё раз благословил моё счастье... Его пребывание здесь много сделало мне добра: оно подкрепило всё хорошее в сердце и дало снова сил на будущее». В 1821 году у Мойеров родилась дочь Катя. «Милый ангел! — пишет Маша Жуковскому, — какая у меня дочь! Что бы дала я за то, чтоб положить её на твои руки». Саша Воейкова, приехавшая навестить сестру, дописывает: «На Машу весело глядеть...»



*М.А. Мойер. Художник
К.-А. Зенф. 1824 год
(с прижизненного оригинала
того же автора)*



*И.Ф. Мойер. Неизвестный
художник. Конец 10-х годов
XIX века*

В день своего рождения, 29 января 1822 года, Жуковский приехал к Мойерам. «Душа, ты можешь вообразить, каково было увидеть его и подать ему Катку! Ах, я люблю его без памяти и в минуту свидания чувствовала всю силу любви этой святой», — писала Маша после отъезда Жуковского (1 февраля) А.П. Елагиной.

Летом Маша с Мойером приехали из Дерпта в Муратово. По дороге она навестила бывший дом Жуковского в Белёве. В Муратове ждало её письмо от Жуковского. «Ангел мой милый, старый мой Жуковский!.. Твоё письмо возвратило мне всё! И прошедшее, и потерянное в настоящем, и всю прелесть надежды... Теперь нет для меня горя! И в Муратове я теперь счастлива!.. Твоя комната, с письмом твоим в руках, есть мой рай земной!..» — отвечала она. Её привезли в Муратово уже опасно больной.

В конце февраля 1823 года Саша Воейкова собралась в Дерпт, чтобы находиться с сестрой при её родах. Жуковский поехал с ней. У него был лишь недельный отпуск, и 8 марта он решил возвращаться. Вот как описывает он в письме А.П. Елагиной своё прощание с Машей: «Долго ждал лошадей, всех клонил сон. Я сказал им, чтобы разошлись, что я засну сам. Маша пошла наверх с мужем. Сашу я проводил до её дома... Возвратясь, проводил Машу до её горницы; они взяли с меня слово разбудить их в минуту отъезда. И я заснул. Через полчаса всё готово к отъезду. Встаю, подхожу к её лестнице, думаю — идти ли, хотел даже не идти, но пошёл. Она спала, но мой приход её разбудил; хотела встать, но я её удержал. Мы простились; она просила, чтоб я её перекрестил, и спрятала лицо в подушку...»

Не минуло и двух дней с момента приезда Жуковского в Петербург, как пришло известие о смерти Маши. Жуковский пишет А.П. Елагиной: «Я опять на той же дороге, по которой мы вместе с Сашей ехали на свидание радостное... Её могила — наш алтарь веры, недалеко от дороги, и её первую посетил я. Покой божественный, но непостижимый и повергающий в отчаяние. Ничто не изменяется при моём приближении: вот встреча Маши! Но право, в небе, которое было ясно, было что-то живое. Я смотрел на небо другими глазами; это было милое, утешительное, Машино небо». Рядом с Машей был похоронен и её родившийся мёртвым сын.

Ты предо мною
Стояла тихо,
Твой взор унылый
Был полон чувства,
Он мне напомнил
О милом прошлом;



А.А. Воейкова (урождённая Протасова). Художник М.Олешкевич

Он был последний
На здешнем свете.

Ты удалилась,
Как тихий ангел;
Твоя могила
Как рай спокойна,
Там все земные
Воспоминанья,
Там все святые
О небе мысли.

Звёзды небес!
Тихая ночь!..



Могила М.А. Мойер. Рисунок
В.А. Жуковского. 1823 год

Перед смертью Маша написала Жуковскому письмо, которое и прочитал он на её могиле: «Друг мой! Это письмо получишь ты, когда меня подле вас не будет, но когда я ещё ближе буду к вам душою. Тебе обязана я самым наживейшим счастьем, которое только ощущала!.. Жизнь моя была наисчастливейшая... И всё, что ни было хорошего, — всё было твоя работа...»

А вот строки из письма Жуковского Маше, написанного в 1817 году, когда уже становилось ясно, что препятствия их соединению непреодолимы: «Я никогда не забуду, что всем тем счастьем, какое имею в жизни, обязан тебе, что ты давала лучшие намерения, что всё лучшее во мне было соединено с привязанностью к тебе, — что, наконец, тебе же я обязан самым прекрасным движением сердца, — которое решилось на пожертвование тобой... В мыслях и чувствах постарюсь быть тебя достойным! Всё в жизни — к прекрасному средству!..»

По воспоминаниям всех, знавших М.А. Протасову, она была необыкновенно обаятельна, хотя и не отличалась красотой, — живая, остроумная, простая, сочетающая ум с воображением, доброту с образованностью. «Когда вчитываешься в письма М.А. Протасовой-Мойер, как-то сам собою выплывает в памяти образ пушкинской Татьяны», — отмечал П.Н. Сакулин. «Разбирая черты её, я находил даже, что она более дурна, но во всём существе её, в голосе, во взгляде было нечто неизъяснимо-обворожительное. В её улыбке не было ничего ни радостного, ни грустного, а что-то покорное. С большим умом и сведениями соединяла она необыкновенную скромность и смирение. Начиная с её имени всё было в ней просто, естественно и в то же время восхитительно. Других женщин, которые нравятся, кажется, так взял бы да и расцеловал, а находясь с такими как она, в сердечном умилении всё хочется пасть к ногам их. Ну, точно она была как будто не от мира сего» (Ф.Ф. Вигель).

Такой предстаёт она и на рисунках Жуковского.

«Твои, Поэт, прощальные лучи...»

*О милых спутниках, которые сей свет
Присутствием своим животворили,
Не говори с тоской их нет,
А с благодарностию были.*

По сути дела, Василий Андреевич Жуковский был всю жизнь очень одиноким человеком. Друзья уходили из жизни раньше него: Андрей Тур-



*В.А. Жуковский в Неаполе.
Рисунок Г.Рейтерна. 1833 год*

генов, Пушкин, Козлов... Ушла из жизни Маша Протасова-Мойер, через некоторое время не стало и её сестры Саши — «Светланы», как её называли близкие по имени героини одноимённой поэмы Жуковского.

Годы после смерти Маши были заполнены творчеством, общением с литераторами (он сблизился с Аксаковым, Гоголем, познакомился с Лермонтовым, Тютчевым), службой при дворе (он был учителем наследника престола), путешествиями.

До конца жизни заботился он о дочери Маши и Сашиных детях.

Свою семью Жуковский обрёл лишь 21 мая 1841 года, обвенчавшись в русской и лютеранской церквях в Штутгарте с Елизаветой Рейтерн, дочерью своего друга художника Г.Рейтерна. Там же, в Германии, в 1842 году рождается дочь Александра, в 1845-м — сын Павел.

12 августа 1852 года сердце

Жуковского перестало биться. Последний год своей жизни он, полуослепший, затворившись в тёмной комнате своего дома в Баден-Бадене,



*Е.И. Мойер (дочь Маши).
Рисунок В.А. Жуковского*



*Н.В. Гоголь в Риме.
Рисунок В.А. Жуковского*

работал над поэмой «Вечный Жид», писал последние свои стихи и всё ещё надеялся вернуться в Россию. И он вернулся: 29 августа он был похоронен в Санкт-Петербурге на кладбище Александро-Невской лавры, рядом с Н.М. Карамзиным и И.И. Козловым. Гроб несли на плечах студенты университета. Проводить его в последний путь пришли Ф.И. Тютчев, П.А. Плетнёв, А.И. Козлова (дочь поэта), Е.П. Ростопчина, А.П. Елагина.

В этих кратких очерках невозможно рассказать о личности Василия Андреевича Жуковского со всей полнотой. Мы наметили лишь несколько штрихов к его портрету.

«Великий русский поэт, учитель Пушкина, учитель всех русских лириков не только первой, но и второй половины XIX века, человек, действительная доброта которого не имела границ, величайший труженик, Жуковский был и образцом гражданина, воспитавшим целое поколение своим примером. Бесстрашие Жуковского, говорившего властям правду, сродни бесстрашию декабристов, вышедших на Сенатскую площадь. Наряду с Пушкиным и Рылеевым Жуковский — один из замечательнейших людей своей эпохи. В нём соединялись мягкость и энергия, утончённость духа и несокрушимость бойца. Вместе с тем это был человек высоконравственной жизни, освещавший и облегчавший жизненный путь многим людям, соприкасавшимся с ним, и столь же высоконравственного творчества, во всей красоте этого понятия, ставшего традицией для русской классики. Это человек жизни в одно и то же время трагической и счастливой, так как он не бежал от трудностей и несчастий и неустанно, смолоду, воспитывал сам себя...» — так охарактеризовал Василия Андреевича Жуковского его современный биограф В.В. Афанасьев.



В.А. Жуковский. Художник Т.Райт

К портрету Жуковского

Его стихов пленительная сладость
 Пройдёт веков завистливую даль,
 И, внемля им, вздохнёт о славе младость,
 Утешится безмолвная печаль
 И резвая задумается радость.

А.С. Пушкин

У него сердце на ладони.

Константин Батюшков

Памяти В.А. Жуковского

1

Я видел вечер твой. Он был прекрасен!
В последний раз прощаясь с тобой,
Я любовался им: и тих, и ясен,
И весь насквозь проникнут теплотой...
О, как они и грели и сияли —
Твои, Поэт, прощальные лучи...
А между тем заметно выступали
Уж звёзды первые в его ночи...

2

В нём не было ни лжи, ни раздвоенья —
Он всё в себе мирил и совмещал.
С каким радушием благоволения
Он были мне Омировы читал...
Цветущие и радужные были
Младенческих первоначальных лет...
А звёзды между тем на них сводили
Таинственный и сумрачный свой свет...

3

Поистине, как голубь, чист и цел
Он духом был; хоть мудрости змеиной
Не презирал, понять её умел,
Но веял в нём дух чисто голубиный.
И этою духовной чистотою
Он возмужал, окреп и просветлел.
Душа его возвысилась до строю:
Он стройно жил, он стройно пел...

4

И этот-то души высокий строй,
Создавший жизнь его, проникший лиру,
Как лучший плод, как лучший подвиг свой,
Он завещал взволнованному миру...
Поймёт ли мир, оценит ли его?
Достойны ль мы священного залога?
Иль не про нас сказала Божество:
«Лишь сердцем чистые, те узрят Бога!»

Ф.И. Тютчев

Первым вдохновителем моим был Жуковский.
А.А. Блок



Олег Юрьевич Шилов родился в 1975 году в городе Воскресенске. Окончил исторический факультет Коломенского педагогического института, работает в газете «Коломенская правда». Краевед.

Автор исследований и публикаций, посвящённых истории Коломны начала XX века, творчеству Б.Пильняка. Постоянный участник Пильняковских чтений.

ПИЛЬНЯК И ГОРЬКИЙ

К ИСТОРИИ ОДНОГО
ЛИТЕРАТУРНОГО «ДОНОСА»

Ужинали, сидели под фэном... — да, так и засиделись с Локсом до четырёх часов, в разговорах бродяжествуя по России от её прошлого к настоящему, будущему, — от севера до юга, от мелочишек до великого. Сидели в его кабинете, полуодетыми, пили бесконечную содовую — и говорили: о милой России, за которую всегда надо умирать!

Б.Пильняк. Китайская повесть (1928)

Взаимоотношения Б.Пильняка и М.Горького были осложнены конфликтом, о причинах которого молчат известные нам мемуарные и эпистолярные свидетельства. Размолвке предшествовали вполне комплиментарные отношения, встречи (в феврале—мае 1921 года).

После 1921 года письма Б.Пильняка М.Горькому редки, многие из них, очевидно, имеют целью возобновить прерванные взаимоотношения. Ответы М.Горького на эти письма нам неизвестны. Тем не менее Б.Пильняк не исчезает полностью из сферы внимания М.Горького. Его публичные отклики о творчестве Б.Пильняка носят критический характер, касаясь, в частности, «цветистости» языка произведений писателя.

Публикация «Повести непогашенной луны» в 1926 году заставляет М.Горького вспомнить о своём старом знакомстве. В письме А.Чапыгину (17 июня 1926 года) М.Горький «проговаривается»: «Прочитал скандальный рассказ Пильняка “Повесть непогашенной луны” — каково заглави-



Максим Горький

це? Этот господин мне противен, хотя в начале его писательства я его весьма похваливал. Но теперь он пишет так, как будто мелкий сыщик: хочет донести, а кому — не решает. И доносит одновременно направо, налево. Очень скверно. И — каким уродливым языком всё это доносится». Акценты в начале и финале горьковской инвенции не обманывают — причина, конечно же, в содержании, а не в языке «Повести». Что же могло так уязвить М.Горького?

Слово «повесть» в «заглавьице» для Б.Пильняка излюбленное. И первый раз в его творчестве оно возникает в 1922 году, когда из печати выходит книга «Повесть Петербургская, или Святой-камень-город». Именно на этот период и прихо-

дится разрыв отношений между писателями.

Б.Пильняк посвятил «петербургской теме» два произведения. Это рассказы «Его величество Кнеб Рітер Командог» (первоначальное название «Рассказ о Петре», 1920) и «Санкт-Питер-бурх» (1921) — до сего дня так и не переизданный.

В 1922 году писатель опубликовал их под одной обложкой, связав общим названием «Повесть Петербургская, или Святой-камень-город» (причем расположив в порядке, обратном времени создания). Впоследствии автор неоднократно вносил изменения в эти тексты, переиздавал в сборниках, менял их последовательность и разделял другими произведениями.

Почему же Б.Пильняк счёл однажды возможным объединить рассказы в единое художественное целое с общим названием (и, что немало важно, в стилистически едином художественном оформлении); какой смысл он придавал этому объединению и зачем от него отказался, своими руками разрушив целостность задуманного художественного высказывания?

«Игра» писателя с «петербургским текстом» носит вовсе не случайный характер. В «Повести петербургской...» исторический рассказ о петровской эпохе «Его величество» (своего рода исторический пролог) следует за повествованием о современных автору событиях («Санкт-Питер-бурх»), нарочито нарушая логику исторической последовательности. Запутать читателя таким нехитрым маневром вряд ли возможно. Две части повести реализуют замысел автора: в них он сравнивает две эпохи, два поколения — петровское и современное ему революционное. При этом Б.Пильняк меняет вектор времени, намекая: Россия возвращается к давно пройденному этапу.

Всё в петербургской дилогии Б.Пильняка организовано на основе художественного параллелизма. Объединены и образы героев частей дилогии. При внимательном рассмотрении они оказываются двойниками.

Пётр и его соучастник-сподвижник Зотов из исторической части дилогии проецируются на образ находящегося в будущем их идейного наследника — Иванова (в котором В.Шкловский узнал «следователя ЧК»). Казнённый петровцами раскольник Тихон, предрекающий гибель Санкт-



Борис Пильняк

Петербурга от потопа из «Его величества», во многом схож с образом инженера Людоговского: оба они почвенники, борцы с властью, которая насильственно и бездумно загоняет Россию в Европу, не считаясь при этом ни с какими потерями. Оба героя убиты в равелине Петропавловской крепости накануне Пасхи.

В части диалогии, рисующей канву современных автору событий, Петру, созданному им городу и продолжателю петровского дела Иванову противостоит инженер Андрей Людоговский с манифестом: «Я утверждаю, что в России с низов глубоко национальное здоровье, необходимое движение, ничего общего не имеющее с европейским синдикалистическим. В России анархический бунт во имя безгосударственности, против всякого государства. Я утверждаю, что Россия должна была — и изживает — лихорадку петровщины, петербургщины, лихорадку идеи, теории, математического католицизма. Я утверждаю большевизм, разиновщину и отрицаю коммунизм. Я утверждаю, что в России победит — русское, стряхнув лихорадку петровщины. Алексеевский равелин. Инженер Андрей Людоговский». — Так было записано в протоколе».

В эпизоде, знакомящем читателя с этим героем, писатель делает малозначашее, как может показаться на первый взгляд, отступление: «В доме у инженера, в его кабинете за ширмой стояла кровать, — и некогда так же стояла кровать у того же инженера в Лондоне. Тогда в Лондоне был подпольный съезд революционеров. И как тогда в Лондоне, встречаясь раз в год здесь, в Санкт-Питер-бурхе, поздоровавшись, подошёл потихоньку к кровати Иван Иванович и стал шупать — простыни.

— Ты что? — спросил инженер.

— Я смотрю, простыни, не сырые ли? Не простудись, голубчик».

Диалог Ивана Ивановича и Людоговского, которые окажутся впоследствии идейными противниками, отсылает нас к хорошо известному эпизоду из биографического очерка М.Горького «В.И. Ленин» в авторской редакции 1930 года.

Ситуация, в которой оказываются герои повести Б.Пильняка, буквально повторяет рассказ Горького о партийном съезде в Лондоне и его встрече с будущим вождём русской революции: «Пришёл в гостиницу, где я остановился, и вижу: озабоченно шупает постель.

— Что это вы делаете?

— Смотрю — не сырые ли простыни. <...> Вы должны следить за своим здоровьем».

Этого эпизода нет в тексте очерка так называемой первой редакции, опубликованной М.Горьким сразу после смерти В.Ленина в 1924 году. Но именно очерк 1924 года содержит те наблюдения и размышления, которые писатель в позднейших редакциях скроет от читателя. Здесь, в посмертном очерке, М.Горький, отмечая противоречивость природы вождя, оправдывает его: «Лично для меня Ленин <...> один из тех праведников, один из тех чудовищных, полусказочных и неожиданных в русской исто-



Гвардии обер-офицер Зотов

ло у Ленина припадок бешеного гнева» охватывает в рассказе «Его величество» и Петра, узнавшего от графа Толстого о смерти Тихона Старцева: «На Фомином острове пойман был раскольник, предрекал оный потоп и мою подмену. Где оный раскольник?»

— Казнён, ваше величество. <...>

Пётр встал, судорожно натянувшаяся правая нога откинулась назад, лицо обезобразилось судорогой, подбородок свернуло к плечу, глаза смотрели дико, беспомощно и больно.

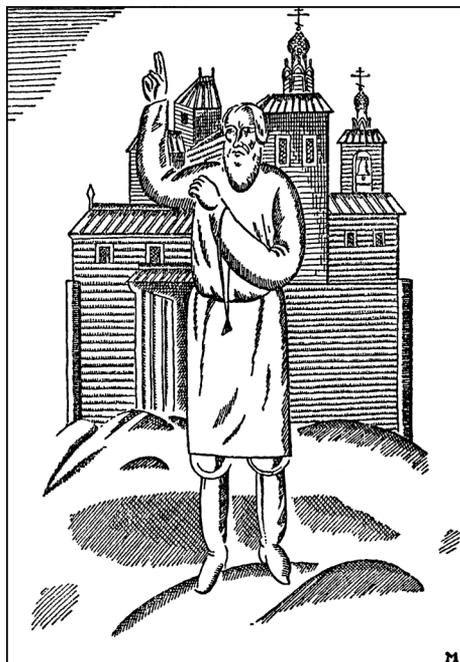
— По чьему указу? Какими регулами? — бунт?! — Толстого четверговать, Зотова на дыбу!..» Сходство эпизодов очевидно, и горьковская ремарка в очерке 1924 года звучит как ответ-оправдание на обвинение, скрытое Б.Пильняком в «Повести петербургской...».

Образ Петра оказался востребован эпохой Гражданской войны и революции. Но неоднозначной

рии людей воли и таланта, какими были Пётр Великий, Михаил Ломоносов, Лев Толстой и прочие из этого ряда»; «и был он насквозь русский человек — с “хитрецей” Василия Шуйского, с железной волей протопопа Аввакума, с необходимой революционеру прямолинейностью Петра Великого».

Сходство персонажной пары антагонистов Людоговский—Иванов в «Повести петербургской...» с Горьким и Лениным, конечно, не буквальное, а типологическое, мировоззренческое. И первая редакция очерка «В.И. Ленин» помогает понять главный идеологический конфликт повести.

В контексте размолвки писателей может быть сопоставлен ещё один эпизод из очерка М.Горького 1924 года. В нём он рассказывает об одном своём ходатайстве перед В.Лениным: «Спасти этих людей не удалось, их поторопились убить. Мне говорили, что это убийство вызва-



Тихон Старцев



Гуляние в Летнем саду

оценке этой исторической фигуры, которая свойственна литературе и историографии начала XX века (назовём роман «Пётр и Алексей» Д.Мережковского, «Курс лекций по русской истории» В.Ключевского), вскоре суждено было уйти в прошлое. Вместе со свободой мысли и творчества. В последней прижизненной публикации рассказа «Его величество» в 1932 году писатель даже снимет из финала упоминание Октября 1917 года, которое открыто связывало две эпохи: «Девушки пели тогда, чтоб пропеть два столетия, — девушки пели о семнадцатом годе октябрей».

В условиях ужесточившегося идеологического контроля подцензурное протаскивание «несвоевременных мыслей» о своей эпохе становилось всё более сложным. Л.Гинзбург отмечала в «Записях 1925–1926 годов»: «Исторические романы и детские книги — для многих сей-

час способ писать вполголоса. Самоограничение этих жанров успокаивает совесть писателя, не договорившего своё отношение к миру». К этому времени популярные в начале 20-х годов поиски протоэпохи российской революции стали опасны. И.Сталин в беседе с немецким писателем Э.Людвигом в 1931 году на вопрос: «Допускаете ли Вы параллель между собой и Петром Великим? Считаете ли Вы себя продолжателем дела Петра Великого?» — ответил следующее: «Ни в коем роде. Исторические параллели всегда рискованны. Данная параллель бессмысленна». Также была закрыта тема и других исторических сравнений: «Что касается Ленина и Петра Великого, то последний был каплей в море, а Ленин — целый океан».

В двухслойном хронотопе «Повести петербургской...», где «встречаются» пора петровских преобразований и русская революция, диалог времён персонифицирован. Для его «оживления» писатель вводит в повествование «фантастический» элемент. Чтобы перенести Петра в эпоху революции — в рассказ «Санкт-Питер-бурх», писателю необходимо такое качество образа своего героя, как вневременность, способность являться после смерти: то качество, которым наделён у А.С. Пушкина Каменный гость. Именно Каменный гость является «следователю ЧК» Иванову в бреду петербургской лихорадки и беседует с ним на узнаваемом языке Петра: «В углу, на кровати, Иван Иванович — лёжа — видел огромную шахматную доску: этой доски не было в действительности. — Мир, дым заводов, руки рабочих, кровь, миллионы людей, — красное пламя России, — Европа, ставшая льдиной на бок в Атлантике, — Каменный гость, влезший — с громом — с конём — на доску: — на шахматной доске. Простыни — сухие, в комнате мрак, и тут в сухих простынях, в подушках — мысль: я! — я-aaa! Каменный гость — с вод-



Пётр — отец Отечества

кой: “Ваше превосходительство! Паки и паки Россия влачима есть на Голгофу. Каковы циркумстанции?..” Гость: “Никакой России, государь мой, никакого Санкт-Петербурха, — мир”. — Каменный гость: “Выпьем, ваше превосходительство, за художество. Не пьёте?” — “Не пью”. — “А за Алексеевский Петропавловской крепости равелин, — паки не пьёшь?” — “Не пью”. — “Понеже и так пьяно, ваше превосходительство, — так ли?” — “Шутить изволите, государь мой, Алексеевский равелин — я, — я же!” — В сухих простынях, в жарких подушках, в углу — мысль: я-ааа!.. я-а — есть мир!» «Ты еси — Пётр».

В своём комментарии к поэме А.С. Пушкина «Медный всадник» В. Брюсов (1909) так объясняет механизм превращения «исторического Петра» из «Арапа Петра Великого» в центральный образ поэмы,

312

время действия которой (так же как и в случае с «Повестью петербургской...») соотнесено с современностью поэта: «чтобы сделать своего героя чистым воплощением самодержавной мощи, чтобы и во внешнем отличить его ото всех людей, Пушкин переносит действие своей повести на сто лет вперёд <...> и заменяет самого Петра — его изваянием, его идеальным образом. Герой Повести — не тот Пётр, который задумывал “грозить Шведу” и звать к себе “в гости все флаги”, но “Медный всадник”, “горделивый истукан” и прежде всего “кумир”. Именно “кумиром”, то есть чем-то обожествлённым, всего охотнее и называет сам Пушкин памятник Петру».

Та же метаморфоза происходит с Петром в «Повести петербургской...» Б.Пильняка, хорошо знавшего В.Брюсова. Вовсе не исключено и знакомство писателя с текстом брюсовского эссе, опубликованного в составе популярного издания собрания сочинений А.С. Пушкина под редакцией С.А. Венгерова. В «Повести петербургской...» Б.Пильняк заменяет пушкинское определение «Медного всадника» — «кумир» — на синонимичное «идол».

Фраза-рефрен в «Санкт-Питер-бурхе» — «ни один продавец идолов не поклоняется богам, он знает, из чего они сделаны» (повторяющаяся четыре раза) — вдруг разрешается — «(ни) (ты) (один) (еси) (продавец) (Пётр)». Рефрены, которые могут быть соотнесены только с голосом автора-рассказчика, подсказывают: писатель оказывается тем, кому открыта истинная природа идола, отсюда отсутствие у него пиетета к нему.

В глазах Б.Пильняка миф о Петре как великом государственном божестве десакрализован. Рисуя портрет Петра, Б.Пильняк снижает его образ, даже демонизирует его (в русле легенды о Петре-Антихристе). И то,

как отреагировала околотитулярная элита на его интеллектуальную эскападу, доказывает: Б.Пильняк попал в цель, затронув самые болезненные для российского общества проблемы — поиска национальной и государственной идентичности после потрясений революций и Гражданской войны. И сравнение М.Горьким Ленина с Петром в контексте аллюзий «петербургского текста» Б.Пильняка оказывается явно не в пользу вождя мировой революции.

Критик А.Яценко отмечал «вопиющую несправедливость» ярко отрицательной характеристики Петра у Б.Пильняка: «В рассказе Пильняка не только не нашёл своего “отражения” действительный, “живой” Пётр, — слишком сложная и великая фигура, но и Пётр как миф, как идея. Дело Петра есть вечное, путь, указанный им для России, единственный, которым она сможет выйти на большую дорогу мировой жизни. Проблема петровского дела лежит в основе всей нашей истории, и простое отрицание его не только не художественно, но и коренным образом несправедливо». Это высказывание свидетельствует: часть русской интеллигенции, решившая примириться с постреволюционной действительностью, искала основание для позитивной национальной идеи в историческом мифе о сильном лидере. Пройдёт немного времени, и миф о государе-плотнике, культивированный в николаевскую эпоху, снова будет востребован. Уже официальной советской идеологией. Не отстанет от неё и советская литература.

При всём негативизме оценок Б.Пильняка трудно заподозрить в «суздальском национализме», в котором его упрекал А.Яценко. Б.Пильняк отнюдь не отрицает того, что России необходимы перемены, заимствование положительного опыта европейской цивилизации. Но лаконичная картина апокалиптического Санкт-Питер-бурха, стоящего на костях своих строителей, не даёт обмануться.

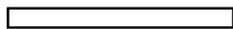
Рисуя облик Петра-параноика, Б.Пильняк спорит с одним из первых русских общественных мыслителей, попытавшихся дать глобальную оценку личности Петра, разобраться в сути и последствиях его реформ, — Владимиром Соловьёвым. Отголоски его апологии Петра I находим у Б.Пильняка в повести «Санкт-Питер-бурх». В статье «Несколько слов в защиту Петра Великого» В.Соловьёв отмечал: «Я вовсе не преувеличиваю достоинств и значения Петра. **Я даже затрудняюсь назвать его великим человеком — не потому, что не был достаточно велик, а потому, что он был недостаточно человек** (выделено мною. — *О.Ш.*). Наш исторический великан был похож на великанов мифических».

Здесь В.Соловьёв определяет «...так называемую “интеллигенцию”» как «...людей, наиболее содействовавших верховной власти, со времён Петра Великого, в деле просвещения России», и затем говорит без обиняков: «интеллигенцию» «создал... посредством училищ» Пётр.

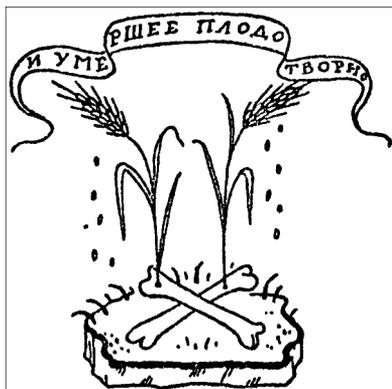
В диалогии Б.Пильняка объекты рассуждения В.Соловьёва меняются местами: идол — это Пётр, которому поклоняется созданная им интеллигенция. Пафос диалогии направлен против векового раскола, раскола нации, учинённого Петром. Революция не отменила этого раскола, а, будучи следствием его, ещё более усугубила, приведя народ к братоубийственной Гражданской войне. Империя Петра не пала, революцию в России возглавили интеллигенты — верные наследники Петра, наследники его нелюбви, непонимания собственного народа. Всё, что ими движет, — это энергия разрушения, на деле они государственники, носители слепой и безжалостной петровской метафизической идеи. И пер-

行皮行草行呆

СПБ
АНКТ ИТЕР УРХ



Россия бытом, нравом, городами — пошла в семнадцатый век. На рубеже семнадцатого века был Пётр... <...> была русская народная живопись, архитектура, музыка, сказания об Иулиании Лазаревской. Пришёл Пётр, — и невероятной глыбой стал Ломоносов, с одою о стекле,



и исчезло подлинное народное творчество... <...> в России не было радости, а теперь она есть... Интеллигенция русская не пошла за Октябрём. И не могла пойти. С Петра повисла над Россией Европа, а внизу, под конём на дыбах, жил наш народ, как тысячу лет, а интеллигенция — верные дети Петра. Говорят, что родоначальник русской интеллигенции — Радищев. Неправда, — Пётр. С Радищева интеллигенция стала каяться, каяться и искать мать свою, Россию. Каждый интеллигент кается, и каждый болеет за народ, и каждый народа не знает <...> Бунт народный — к власти пришли и свою правду творят — под-

линно русские подлинно русскую. И это благо!.. Вся история России мужицкой — история сектантства. Кто победит в этом борении — механическая Европа или сектантская, православная, духовная Россия?..»

Мнение критика А.Воронского об этом ярком и пространном монологе однозначное: «Это говорит Глеб, но в контексте иных художественных вещей Б.Пильняка совершенно очевидно, что устами Глеба говорит сам автор».

Для Б.Пильняка М.Горький был высочайшим духовным авторитетом, совестью нации — пророком, поучающим и

вые дела «петровцев» после прихода к власти — уничтожение всех, кто не согласен с ними.

Размышления Б.Пильняка на тему петровского периода русской истории мы находим и в романе «Голый год» (1922). Здесь в пространном монологе художник Глеб Ордынин выражает своё историософское кредо: «Путь европейской культуры шёл к войне <...> Механическая культура забыла о культуре духа, духовной <...> Европейская культура — путь в тупик. Русская государственность два последних века, от Петра, хотела принять эту культуру <...> И революция противопоставила Россию Европе. И ещё. Сейчас же после первых дней революции





обличающим (каким он был в период создания «Несвоевременных мыслей»). В письме М.Горькому 24 мая 1921 года, на которое, как мы полагаем, ответа он уже не получил, Б.Пильняк пишет: «...у меня же к Вам — вполне понятно и законно — и чувство нежности, и чувство любования, и благодарности, и восхищения, и удивления...» И ему же (уже после издания в июле «Повести петербургской...») 18 августа 1922 года: «Такого морального водителя, которого нам необходимо, у нас нет».

Внутренний надлом, происшедший в Горьком, его соглашательство с революционным террором и отъезд-бегство из России, как нам кажется, не избежали оценки в «Повести петербургской...». Образ инженера Андрея Людоговского заключает в себе аллюзию, которая, будучи спроецированной на историю России, показывает пример бескомпромиссной нравственной борьбы и напоминает о тех литераторах, кто отстаивал свои убеждения ценой собственной жизни, пав жертвой революционного террора 1919–1920 годов.

Ещё могло глубоко уязвить М.Горького и то, что Б.Пильняк предал гласности (через «Повесть петербургскую...») его интимные воспоминания о В.Ленине, и главным образом оценку В.Ленина как государственного деятеля, как человека.

Кроме этических причин, ссора М.Горького с Б.Пильняком обусловлена опасными политическими последствиями узнавания прототипов «Повести» для обоих. Именно это обстоятельство, пожалуй, объясняет лучше всего отсутствие эпизода с простынями в первой редакции очерка «В.И. Ленин» (1924) М.Горького и «расколотый» впоследствии Б.Пильняком текст «Повести петербургской...».

Диалог, происходящий между Каменным гостем и Гостем (Иванов), обнаруживает связь с новозаветной апокалиптикой. Дважды произносимый Каменным гостем тост («Выпьем, ваше превосходительство, за художество») перекликается с пророчеством сильного Ангела о суде над Вавилоном (Откр. Иоанна Богослова 18, 21–23): «...повержен будет Вавилон, великий город, и уже не будет его. И голоса играющих на гуслях, и поющих, и играющих на свирелях, и трубящих трубами в тебе уже не слышно будет; **не будет уже в тебе никакого художника, никакого художства...**» (выделено мною. — *О.Ш.*). Заметки из дневника Н.Ашукина, которому, кстати, довелось быть первым слушателем прочитанной писателем повести «Санкт-Питер-бурх», позволяют понять смысл этого тоста и заключённого в нем авторского намека.

Сообщество русских писателей таяло в эти дни в России с каждым днём: они умирали от голода, гибли в застенках и покидали Родину. В дневнике Ашукин передает речь Б.Зайцева по случаю отъезда А.Белого (17 октября 1921 года): «Мы, русские писатели, с вашим отъездом ещё более осиротеем: умер Блок, трагически погиб Гумилёв, нет среди нас Бальмонта, Ремизова... Можно сказать, что с вашим отъездом выбывает целый корпус действующей армии русской литературы».

Пётр — Каменный гость — торжествует в «Повести...» победу: «Выпьем за художество! Плевать! Поелику пребываем мы в силе своей и воле».

Цитатная вставка-эпиграф, сконструированная писателем в «Санкт-Питер-бурхе»: «Паки и паки влачimy будучи на Голгофу!..» — предваряет рассказ о казни заключённого в Алексеевский рavelин инженера Людоговского: «...последний раз кора большого мозга ассоциировала мысль о смерти, о любви, о вечности, о Боге (больше ведь ни о чём нельзя тогда думать, перед вечностью, тогда ведь нет — человеческих — отношений)...»

*Иллюстрации к изданию «Повести петербургской»
художника В.Масютина. 1922 год*

ХРОНИКА

Постановлением главы Коломны В.И. Шувалова новая улица в одном из районов города — Щурове — наименована в честь Адриана Моисеевича Грибовского. Блестящий вельможа «осмнадцатого столетия», фаворит Екатерины Великой, он доживал свой век в щуровском имении, в Поочье, на границе Московской и Рязанской губерний.

Коломенцам он памятен прежде всего своими записками. Это один из колоритнейших представителей мемуаристики своей эпохи. Человек острого и язвительного ума, Грибовский создаёт в своём дневнике яркий образ Коломны начала XIX века.

Прошли времена, когда наши улицы назывались в честь душегубцев и ненавистников русского народа. Теперь пришла пора прозвучать именам литераторов. И, может быть, в недалёком будущем появятся у нас улицы Пильняка и Соколова-Микитова, Колёва и Кирсанова...

* * *

Адриан Моисеевич Грибовский (1766-1833) — статс-секретарь; учился в Московском университете; в 1784-1786 годах служил при Державине в Петрозаводске казначеем приказа общественных денег. С 1787 года служил в военно-походной канцелярии кн. Потёмкина; после того был определён правителем канцелярии гр. П.А. Зубова. Мало-помалу он сделался правою рукою фаворита и получил доступ в покои императрицы; читал ей иностранную почту, подносил к подписанию указы, а в 1795 году был назначен статс-секретарём «у принятия прошений». После смерти императрицы был выслан из Петербурга, а в апреле 1798 года был заключён в Петропавловскую крепость, из которой через год переведён в Шлиссербургскую. Освобождён только императором Александром I в 1801 году.

Перед смертью задался мыслью написать характеристику внутренней жизни Екатерины II. <...>

Бумаги Грибовского были изданы М.П. Погодиным под заглавием «Записки о Екатерине Великой кавалера А.М.Г.» (1847).

Перевёл с французского идиллическую повесть д'Арно «Опасность городской жизни» (СПб., 1784).

*Из «Энциклопедического словаря»
Брокгауза и Ефрона (СПб., 1893)*



Лидия Андреевна Сычёва — выпускница Литературного института им. А.М. Горького.

Литературный критик, прозаик, публицист. Автор книг «Предчувствие», «Тайна поэта», «Последний блокпост», «Вдвоём».

Лауреат журналистской премии имени В.Матвеева, премий журналов «Москва» (1999), «Сельская новь» (2000), «Подъём» (2001).

Член Союза писателей России.

Живёт в Москве.

ПОСЛЕ КРУШЕНИЯ

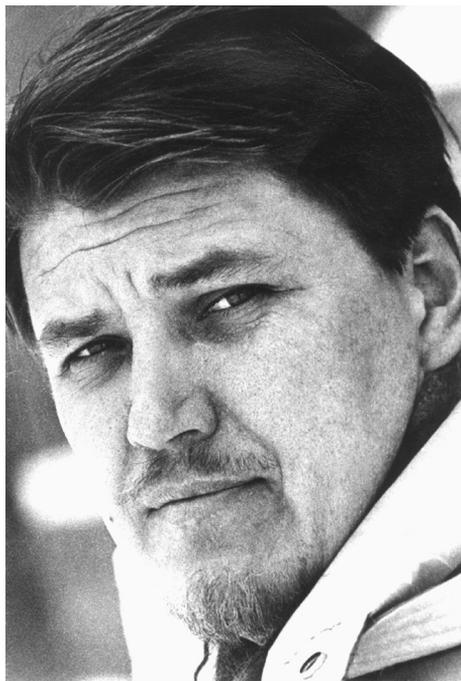
Гордимся тем, что Вячеслав Дёгтев не только публиковал свои произведения на страницах нашего альманаха, но и долгие годы был членом нашей редколлегии.

Редакция

Ночью выли собаки — жутко, страшно. Если выглянуть в окно, то видно — под многозвёздным небом, на синеватом глубоком снегу, с десяток разномастных кормлёных дворняг сбились в кучу перед большим корпусом, подняли головы к нашему этажу. Воют — с подскуливаниями. Музыка ада — мороз нехорошего предчувствия пробирает до костей. Собак невозможно отвлечь, прогнать (это пытался сделать сторож), они перемещаются на новую площадку и с удвоенной силой берутся за песнь загробной тоски. Что же они знают о другом мире, чего бояться?!

Днём, ближе к вечеру, умерла тяжелобольная. Последние дни жизни она лежала на каталке в коридоре. Белый, застиранный айсберг страдания и беды. Уже не стонала, плыла в полузабытьи. И вот — отошла.

Деловая, очень хорошая, любящая свою работу молоденькая медсестра Таня (укол от неё получить или капельницу — сущее удовольствие) по коридору не ходит — летает или танцует, и, увлечённая, мурлычет музыкальную мелодию: «Ягода-малина, в гости нас манила» или «Золотится роза чайная, как бокал вина...» На неё приятно посмотреть — щёки румянятся, взгляд — ясный, всегда аккуратная чистая униформа и много-много небольшого жизнелюбия. «Мария Петровна, — громко зовёт Таня, на минутку прервав бормотание песенки, — а мне бирку вешать или зелёнкой мазать?» Старшая сестра отвечает тихо, глухо. «Понятно!» — исполнительная Таня, устремлённо, натягивая по дороге медицинские перчатки и опять же мур-



лыча популярный мотив, без раздумий устремляется к покойной...

* * *

Но всё это было после. А тогда, скудной и малоснежной зимой, гуляли мы с задушевым моим другом, художником Илюшей Миногиным, по Никитскому бульвару. Дело было вечером, в декабре. Увлечённые беседой, мы не замечали вокруг ничего — спорили, кажется, по обыкновению, о будущем искусства в России. Вечер стоял мягкий — морозец держался еле-еле, снег, едва прикрывающий свободную землю, осел и потемнел. Жёлтый свет фонарей и окрестных домов слегка скрашивал бедную зиму и придавал прогулке уют — в больном, загазованном и, по большому счёту, чужом городе в эти минуты у нас появился свой уголок, «отдельная жизнь»...

Вячеслав Дёгтев. Фото Р.Шкловского

318

Время было позднее — поток машин уgomонился, не ревел, и потому мы чувствовали себя вполне свободно.

Вдруг откуда-то сбоку, из-за деревьев, мужской голос громко позвал Илюшу по имени-отчеству, и вскоре большая, плотная фигура обрисовалась перед нами. Это был писатель Вячеслав Дёгтев. Пока он церемонно, театрально даже шумел, приветствуя «мэтра Миногина», я украдкой его рассматривала. Дёгтев, что называется, был «весь из себя» — окладистый воротник в бобрах, норковая шапка-боярка, на шее — чёрная бабочка, и вообще весь он, благоухающий резким парфюмом, излучал силу, уверенность, довольство, и я бы даже сказала — богатство. Не гость, но хозяин жизни...

— А это — Ольга Брянцева... — начал было Илюша представлять меня Дёгтеву.

— Знаю, знаю, читал, — ровно отвечал тот.

— Землячка твоя! — наседали Илья.

— Да, слышал, — Дёгтев дипломатично уклонился от обсуждения этой темы и свернул на дела издательские: в столице затевалась новая его книжка, и хорошо, если бы «мэтр Миногин» взялся её иллюстрировать.

Илюша обещал посмотреть. Мужчины ещё обменялись несколькими фразами, и Дёгтев взглянул на часы.

— Опаздываю в ЦДЛ, там нынче премию вручают. Должен быть на церемонии, — важно заметил он, и кратко попрощавшись, исчез так же стремительно, как и появился.

— Каков козырь, а? — проговорил после его ухода Илья, недоумённо осматривая свою короткую демисезонную куртку.

— С Воронежа! В бобрах! — хохотала я, впрочем, в глубине души чувствуя себя уязвлённой — «шинелька», которую я надевала «в грязь», и вовсе казалась неказистой рядом с дёгтевскими мехами и бабочками.

— Урок нам, лаптям московским, — подвёл итог Илья.

В ближайший выходной я отбросила все дела и потратила день на покупку шубы...

Мы действительно были земляками, оба — из Воронежской области, оба — деревенские, правда, Дёгтев «сельское» своё происхождение скорее скрывал, чем подчёркивал, упирая на город, на то, что он — бывший лётчик-истребитель, воин, «степняк» и проч. В моём отношении к нему было много снисходительно-родственного: мне казалось, что я понимаю его лучше других. Из-за того, что мы — из одних мест, выросли среди одних и тех же людей, пейзажей, мыслей... Посему мне казались смешными некоторые дёгтевские выкрутасы — например, его «гонения» на Ивана Бунина или «примерка» на себя роли «потомка Куприна». Честно говоря, некоторая «грязноватость» многих его вещей («ложка дёгтя») мне даже претила. Раздражало и то, что он иногда механически «свинчивал» свои рассказы, лишая их действительной (хотя и менее броской) логики.

«Ох уж этот Дёгтев!» — снисходительно думала я, читая его хвастовство в газетах («я — гонимый писатель», «я — русский Джек Лондон», «я — более чем в двухстах изданиях напечатался»). Но было дорого и понятно: нарочитое подчёркивание «мужского» начала (что в наш бесполоый век практически исчезло), энергичность, красочность, наблюдательность слова, а иногда — это особенно подкупало — откровенная, покаянная лиричность. В нём чувствовалось много дурной, необузданной, дикой силы, казалось, что конца ей не будет, и это было, пожалуй, главной его привлекательной чертой.

Весть о том, что Дёгтев умер скоропостижно от инсульта в 45 лет, поразила меня необыкновенно. Дело было не только в том, что он прожил мало, что он был ещё здоров и крепок, а в том, что буквально за месяц или полтора до его смерти я, попытавшись прочесть новую его вещь, не осилила больше четырёх страниц, вдруг ощутив «исчерпанность» темы.

И всё мне чудилось в те дни — в полусне-полузабытьи — одно виденье: лодка без паруса, море без берегов, громадная солёная тошнотворная волна — вверх-вниз, вверх-вниз... И — неизбежность крушения. Странно, но даже в этом полубреду почему-то казалось мне, что в беде виновата я, только я... Зачем безалаберно и дерзко увела лодку от родного и счастливого берега?! Теперь за возвращение я плачу потерями. Виновата, виновата... Меня ужасала моя душа. Всплывала и терялась застарелая дума: а смогу ли я жить после таких потерь?!

А то вдруг на ум приходило другое: мироустройство равнодушно и несправедливо независимо от меня и моих поступков. «Ничего не поделаешь», — холодно и лениво ядовитой змеёй шевелилась мысль. Во рту беспрестанно ощущалась горечь, изнутри поднималась тошнота. Ну и пусть. Ну и пусть — равнодушие начинало побеждать волю. Не для чего жить.

— А выглядите вы неважно, — правдиво говорила мне по утрам нянечка Рая, трудолюбиво гоня шваброй под кроватями. Я уже знала многое из её жизни — что у неё парализованный невменяемый муж (после инсульта), что он был редкой сволочью, но куда денешься... Муж много ест (он же себя не осознаёт), и я иногда отдавала Рае продукты из передач.

Днём, на тихом часе, я читала и думала. Мне казалось, что пришло время, когда надо было честно ответить на вопрос: зачем всё это? И жизнь, и дело. Писательство отнимало главные физические и духовные силы, заби-

рало душу, не говоря уж о времени, которое теперь измерялось деньгами. И все эти немалые труды проваливались в бездну ненужности: книги, за исключением бульварных, никто не читал. Даже «ближний круг» знакомых... Так стоят ли жизни эти «чёрные буковки»?! Ради чего мы обворовываем себя и своих близких?! Это казалось самым страшным — бесполезность дела.

Сопалатницы мои покидали унылые больничные стены на десятый день, самое большее — через две недели, а для меня лечащий врач — будущий кандидат наук — придумывал всё новые и новые схемы, но ничего «не шло». Пилюли и уколы только ухудшали дело, остатки воли растворялись в «химии».

Честно говоря, мне просто не хотелось жить. Купленная в прошлом году шуба вспоминалась с усмешкой — в эту снежную, морозную зиму почему-то не хотелось ни бодрости, ни веселья, ничего. Вверх-вниз, вверх-вниз, волна — тошнота... Смысл труда и жизни потерялся, растворился.

И вот в эти-то тягучие, наполненные ночным собачьим воем времена мне и попал в руки журнал с новой дёгтевской повестью. И вдруг я с ужасом угадала в своём земляке такое же настроение и поняла: он тоже заблудился, попался в «литературный капкан». Жизнелюбие было утрачено, а может, оно переплавилось в слова — в чёрные жучки-буковки. Жизнь, потраченная на никому не нужные закорючки... Жучки-убийцы.

Вслед за Дёгтевым я читала «Крушение» Фицджеральда. Как-то странно, нехорошо подобрались книги! «Бесспорно, вся жизнь — это процесс постепенного распада... И, казалось, как это романтично — быть преуспевающим литератором; тебе не мечтать о славе, в которой купаются кинозвёзды, но зато уж та известность, какой ты добился, останется надолго... С час я метался по постели, кусая подушку, и до меня дошло, что уже два года я живу за счёт тех ресурсов, которых во мне не осталось, и, как физически, так и духовно, я уже кругом в долгу... Я осознал, что и моя любовь к тем, кто мне всего ближе, свелась всего лишь к старанию их любить...»

О бытовой жизни Дёгтева (кроме однажды увиденных «бобров») мне было ничего не известно. И вот, когда после смерти писателя я оказалась в его небольшой двухкомнатной квартирке на улице Карла Маркса, когда увидела раздолбанную пишущую машинку «Любава» (точно такая же была и у меня — самая дешёвая из всех возможных; светлый корпус, тугая, тяжёлая клавиатура), когда взгляд мой упал на сиротливую, комковатую подушку без наволочки на старой холостяцкой тахте, я не смогла сдержать слёз. Мне трудно передать, что я почувствовала. Что все люди — братья? Что искусство — это самая жестокая на свете вещь? Что все писатели — несчастные люди? Что всё-таки страшно смерти, больше даже, наверное, чужой...

Как странно было думать, что здесь, за допотопным компьютером со стареньким пятнадцатидюймовым монитором, рождались неведомые миры, здесь, в окружении доморощенного искусства (несколько неумелых дёгтевских портретов явно провинциальных художников, живописный Ленин из сельского красного уголка, барельеф Сталина — главные украшения квартиры), он пытался сотворить образ сильного, по-советски влиятельного писателя. В смокинге и в бобрах. А у самого — вместо стульев — лавка! И — затрёпанная карта Воронежской области на стене, и — немногие книжки на самодельной полке. Чёрные томики собрания сочинений Юрия Бондарева, несколько разрозненных изданий современных писателей, собственные сборники. Вот и вся библиотека! Вот и вся жизнь... И я представила, что по моему дому вот так же ходят чужие люди. Сочувству-

ют близким. А в глубине души думают: дура, из-за чего сгорела — из-за плетения словес («плётков», как говорили у нас в деревне)!

Ужасная тоска охватила меня, будто я хоронила не совершенно далёкого мне человека, которого я и видела-то несколько раз мельком, а близкого родственника, брата. И тут ко мне подошла мать Дёгтева — худенькая, иссохшая старушка в тёмно-коричневом плаще, в платочке. «А вы автобиографию печатать будете? Будете? Он написал перед смертью», — твердила она, плача. Я кивала. Взгляд мой ещё раз упал на бедную книжную полку — там притулился аптекарский пузырёк. «Берёзовый дёготь», — гласила надпись. Наверное, кто-то подарил хозяину — возможно, в день рождения. Здесь же приткнулась крохотная конная фигурка русского воина, грудились разномастные номера «толстых» журналов — писатель хранил свои публикации. Неужели ради этих «чёрных буковок», абсолютно чудовищного и глупого занятия с точки зрения окружающих (и близких тоже), надо было столько мучиться, отдать жизнь?! — крутилось у меня в голове. И ответа, честно скажу, не вырисовывалось.

От безделья и скуки женщины в палате точили лясы — о диагнозах, прогнозах выздоровления, неграмотности врачей, страшных случаях и, наоборот, необъяснимых историях исцеления; говорили о ценах, телесериалах, произволе милиции, тяжёлых судьбах наркоманов, первой любви (и любви вообще), о тяготах жизни в большом городе, о безработице и пьянстве в деревне.

Как-то речь зашла о провидении и предчувствии. Припоминались разные сны и озарения, когда ясно угадывалось — «это со мной уже было». Спорили о том, «записана» ли где-то Там, наверху, наша жизнь уже на «дискету» и ничего в ней поправить нельзя, или всё-таки что-то можно сделать — в судьбе обозначены только вехи, «контрольные точки», а всё остальное — в силах человеческих.

Черноглазая оптимистичная Лена, продавщица из ларька, совершенно не склонная к абстракциям, всё время молчала, и, кажется, без интереса смотрела в окно. Наконец не выдержала:

— Ой, девки, ну я не знаю, как у вас, а у меня стопроцентное предчувствие! Сижу, торгую, товар-сдача, туда-сюда, а у самой в сердце свербит. Думаю: ну нынче мой точно напьётся! Не поверите: ни разу не ошиблась! Я прям уж и не рада этому предчувствию!..

Все смеялись... В больницу ко мне приходил Илюша — постаревший и встревоженный. Дела его тоже были неважны. Мы не вели прежних разговоров, больше молчали, и я пыталась по привычке улыбаться, успокаивать, что «всё хорошо». Мы были порознь, хотя изо всех сил старались быть вместе. И я чувствовала, что «тащу» его куда-то вниз, что это нехорошо, не надо, но ничего не могла с собой поделать.

И всё же «запас прочности» был велик. На спасительной чаше весов — счастье заветных минут, красота слова, тихие поля и просторы, летящая одинокая дорога (нас — двое!), его испанская гитара, мой павловопосадский платок, наши родные, близкие и друзья, наши враги (они тоже звали остаться!), времена года — с золотыми листьями и снежными заносами, времена суток — с красными умиротворёнными закатами и дерзким солнцем по утрам, и ещё много, много повседневных «вёшек», которые держали и звали остаться... А на другой чаше весов — только чёрная равнодушная бездна, манящая тем, что ничего «земного» там нет. Вечный покой.

Штормовые качели нездоровья — вверх-вниз — потихоньку стихали. И вот настал день, когда в окружении местных собак я, спотыкаясь от слабости, вышла за больничные ворота. В чёрном пальто, с чёрным рюкзаком. Уходя, я искренне обещала «заехать, проведать, отблагодарить», но после так и не смогла себя пересилить — не заехала и не проведала.

Жизнь потихоньку налаживалась — без прежнего, впрочем, «огня» и задора. Она продолжалась обязанностью и «чувством долга», и ещё аккуратным старанием уберечься от новых больничных страданий.

И тут я узнала, что умер Вячеслав Дёгтев.

Мне трудно выговорить то ледяное, мертвящее чувство страха, которое тогда меня взяло. Ты избавился от врага, преследователя, ты его победил, кажется, навсегда, и вот — опять, опять! Мне почему-то зашло в голову: он умер и за меня тоже. Или вместо меня. Это, конечно, была дикая, совершенно ненормальная мысль, которая могла родиться только у недостаточно здорового человека.

И всё же я решила поехать в Воронеж, на похороны.

Илюша не стал меня удерживать, только покачал головой.

— Поезжай, — раздумчиво сказал он мне.

В буре чувств и сомнений отправилась я в город своей юности.

Гражданская панихида проходила в Доме офицеров, и пышность похорон (дорогой светло-коричневый гроб, множество ярких венков, духовой оркестр, лучшее городское кладбище — центральная аллея, воинские почести), так вот, эта пышность и даже помпезность церемонии опять воскресили в моей памяти пресловутых «бобров». Как знать, если бы можно было всё отыграть назад, выбрал бы Слава Дёгтев этот путь — «публичного писателя»?! Может быть, он предпочёл бы и не писать вовсе?! Куда лучше долгая благополучная жизнь и похороны не с официальными почестями, а с домашней скорбью и сердечностью. Так думала я, и ещё с горечью размышляла о том, что Дёгтев сам себя загнал в образ «писателя»: у меня «всё о'кей», я — успешный человек, живу на гонорары... А после возвращался к неустроенному быту, к стене одиночества. К лавке, подушке без наволочки, к вечной тоске, к тупику. Самодельный монах.

А между тем, думалось мне, писатель нынче никому не нужен. Даже и с «имиджем». Была когда-то на селе завидная профессия — тракторист. Нынче она стала массовой и обыденной. То же самое произошло и с писателями. Кто теперь не «литератор»? Редкий политик средней руки не сочинил и не издал лживый апокриф своей жизни. Любой мало-мальский графоман, не мучаясь, за деньги, получит должную известность... Я смотрела на огромный венок от администрации города и управления культуры. На траурной ленте — траурные слова: «Дорогому Вячеславу Михайловичу...» Дорогому, а отчество переврала.

Отца писателя зовут Иван. Он здесь же, у гроба. Сухонький живчик. Не плачет. Шепчет мне на ухо: «Пошли, я тебе что-то расскажу...»

Я слушаю.

— Моя баба неделю им, Славкою то есть, не могла разродиться. Я ждал, ждал, взял молока, кусок сала положил и поехал проведывать её в больницу на лисапедке. Дело ж было летом, а там рядом на площадке натянули простыню, кино показывают по Шолохову. Я кажу: «О, ё..., ещё писателя родит!» Вишь, как напороочил! А тут выбегает сестра и говорит: сын у тебя родился, только-только! Гляди ты — какая судьба!

— Да, — говорю я.

— А я, — продолжает отец, — тут у него в городе всего два раза и был. А он ко мне приехал, глянул — у нас хозяйство, семь кур, — и погнал с матерком: зачем вам, мол, это надо. Ну, а я их, гляди, до сих пор держу...

А в Дом офицеров, на второй этаж, всё поднимаются и поднимаются люди. Пришли проститься и местные писатели. Покойный их не жаловал — слишком малые амбиции, не тот размах!.. Ну что же, теперь у него пышные похороны, а у них «серая» жизнь. Что лучше?!

Подходят к гробу казаки, военные, бизнесмены. Для них он был офицером и «великим русским писателем», вошедшим в учебники литературы. А был ли он таковым хотя бы для себя самого, когда оставался один в неуютной холостяцкой квартирке?! Где сосредоточилось единственное его богатство — полка собственных книжек...

Но что же было тогда, в одну из тихих ночей (собаки не выли целую неделю)? В изнуряющей бессоннице я ловила радиостанции на портативном приёмнике. И вдруг среди моря попсы, «гопов» и «стопов», среди запинаящихся, косноязычных бормотаний диджеев попала я на романс Лермонтова «Выхожу один я на дорогу». Это было таким неожиданным, оглушающе-большим чудом, таким потрясающим событием, что я не смогла, не сумела сдержать слёз. Вся убогость, загнанность, повседневная скорбь здешней жизни вдруг совершенно испарилась, исчезла, растворилась, и в те минуты, пока длилась мелодия, я почувствовала себя совершенно здоровой. Как прежде... Невозможно было сдержать восторга перед неземным чудом. Как? За что? Почему? «Только одухотворённость спасительна, — беззвучно твердила я. — Главное, чтобы она не была ложной...»

Человек даже не подозревает, что вся его жизнь находится под диктатом слова — своего, чужого, написанного, прочитанного, услышанного... И между слов он растёт, совершает свои главные дела, стареет... «Не хочу оставаться одна. Пусть любовь будет сильнее смерти», — твердила я.

Отпевали Дёгтева во дворе его дома. Улица Карла Маркса — самый центр города, из четырёхэтажной хрущёвки когда-то открывался прекрасный вид на местное море — Воронежское водохранилище. Теперь дёгтевский дом со всех сторон «обжат» высокими новоделами — не осталось ни вида, ничего. Только деревца у подъезда хрущёвки, бельишко на балконах, исписанный непристойностями подъезд... Убогая советская жизнь. Но она почему-то кажется живее, чем уродливые, построенные «сапогами» элитные современные дома — бездушно-пустые, населённые чужими людьми. С верхних этажей недолго поглазели на непривычное зрелище, потом ушли — чтобы не перегружаться тяжёлыми эмоциями. И этих людей он хотел «завоевать», поразить своими рассказами!.. Для них мучился, не спал ночей, корпел над рукописями. Нет, ничего им не нужно. А тем, кто живёт в хрущёвках, — уже не нужно...

Гроб поставили на табуретки, ветер трепал белые одежды, обрамляющие покойного. Батюшка, высокий, согнутый тростиной, с редкой бородой, большим крестом на груди, управлялся один — читал положенные молитвы, кадил, а после произнёс небольшую проповедь. Ветер был злой, пронизывающий, вышибал слёзы. Может, поэтому отпевали Дёгтева без свечей — они всё равно бы погасли. Батюшка свершал обряд — он подчеркнул это для нас — по казацкому обычаю, называя покойного не «рабом Божьим», а «казакком».

Потом священник говорил — очень просто, обиденно — о том, что главная жизнь человека свершается внутри его, а не вовне. Меня поразили эти слова необыкновенно. Не то чтобы я этого не знала. Но они были выговорены так легко, привычно. Давно известная вещь!.. Забытая нами в суете. И вдруг я подумала: а может, вся наша беда — литературы и писателей — в том, что сейчас народилось множество людей, у которых нет этой внутренней жизни?! Вообще нет! Намёка даже. Вот и приходится умирать вместе со всеми. Медленно и мучительно убивать в себе остатки внутренней жизни. Потому что ты не один в слове, ты связан им тысячами незримых нитей с людьми. А они давно уже живут только внешними раздражителями, отсекая «ненужное». Ой, не знаю, не знаю...

И вот — кладбище. Центральная аллея, где упокоены Герои России, доктора юридических наук (почему-то именно их надгробия упорно попадались мне на глаза) и другие лучшие люди города, встретила нашу процессию весенней распутицей, лужами. Гроб к могиле несли на руках, оркестр рвал душу. Пока шли, я вспоминала наш маленький деревенский погост, где похоронен дядя Жора. Его жена, моя крёстная, очень любила своего непутёвого мужа. На могильном холмике — самая простая пирамидка из металлических прутьев с крестиком сверху, на табличке даже нет фотографии. Как-то мы заговорили с крёстной о памятниках, о том, у кого что стоит, каких денег это стоит... «А я Вальке (дочери) говорю: ды не надо мне ничо! Вы мне при жизни создайте условия. А то в гроб уложили и хвалятся: мы-де матери мраморную плиту поставили!»

У зияющей могилы — последнее прощание. «Кто хочет сказать?» — спрашивает русоволосый распорядитель похорон. Пауза длится и длится. Говорить вроде уже и не о чем — Дёгтев уж точно никого не услышит. Ничего ему не нужно — ни венков, ни аллеи Славы, ни дорогого надгробия. Неудобная заминка — ждут отец и мать, сёстры, дети, жёны — бывшая и нынешняя. Вернее, теперь уже вдовы.

— Давайте я скажу. Он был разным. Но он был честным писателем...

Дальше я не помню, о чём говорю, помню совершенно живые — ни одного седого — волосы Дёгтева (их трогает порывистый ветер) и совершенно мёртвые, недвижимые его, фиолетового цвета руки.

Краткие, неуклюжие речи у гроба, плачет мать: «Ой, худо мне!», и кричит — в искривлённые губы тщетно пытаются всунуть валидол. Кричит: «Прости, сынок!» Но в чём она виновата?! Что родила его под звуки шолоховского фильма?! Что всю жизнь, по сей день, работала не покладая рук?! Что не могла оценить его трудов и успехов?!

Похоронная команда слаженно опускает гроб в могилу. Под автоматные залпы, которые дают курсанты местного лётного училища. Форма — с голубыми петлицами. Под цвет неба... А небо сегодня серое, грозит дождём. «Не для меня придёт весна, не для меня Дон разольётся...» Хочется петь и плакать.

Либералы Дёгтева не голубили. Хотя и связываться с ними он остерегался, хорошо понимая силу космополитического литературного «лобби». Он, «потомок Куприна», выше «серости», над «схваткой». Была в этой позиции не изошённая столичная хитрость, а неуклюжий воронежский расчёт (мне, его землячке, хорошо понятный). Да, эффектным словом в рассказе рубануть — это не то что честно (то есть по нынешним временам безвестно, будь ты хоть самым Шолоховым по дарованию) идти по жизни.

Всегда, читая Дёгтева, вспоминала я слова Льва Гумилёва: «Среди нас бродят потомки скифов, гуннов, исчезнувших народов...» Дёгтев, манифестант «русского», был, конечно, «степняком», а не «казаком». Он даже внешне походил на потомка кочевника, любил ханскую «пышность», «гаремы». Ничего удивительного тут нет — родился на земле «Дикого поля». Древняя степняцкая кровь как раз и давала ту первобытную силу, энергию, которая поражала в его вещах. Помещённый в другой «контекст», он всегда жил в состоянии внутреннего конфликта с чужой окружающей средой. Часто, по иронии судьбы, обвиняя её в «серости» и «нерусскости».

Говорили мы с его сестрой. «Знаете, теперь, когда Славы нет, даже в деревню ехать не хочется... Он такой компанейский, всегда что-нибудь придумывал. Конечно, он был очень одинок в своей семье. Разве мы могли его понять, оценить?! Родители у нас совсем простые люди. Даже поговорить ему о своём доме было не с кем». «А жена?» Сестра махнула рукой: «Первая, от которой Андрей и Максим, она какая-то необщительная, даже на похороны не пришла. Вторая — сын Лёня от неё — видели, парнишка такой светленький, подходил прощаться? Она обычная женщина, зачем ей какая-то литература?! Ещё у него жена была из Москвы — недолго, я её не знаю. Ну, и с Олей он жил последнее время в гражданском браке — Полинка у них родилась. Она тоже, мне кажется, не особо интересовалась тем, что он писал. Была у него — ну не знаю, как сказать: подруга не подруга, муза, в общем. Очень Славу понимала, он с ней советовался, обсуждал дела литературные. Она приходила в Дом офицеров прощаться. Букет роз принесла. Долго стояла, плакала. Большая такая женщина, полная, в очках, в чёрном одетая. С ней-то он только и отводил душу».

На панихиде в Доме офицеров бросился мне в глаза одинокий паренёк с неподдельной скорбью в глазах. Я долго думала, что это сын Дёгтева — уж больно похож внешне: те же коротко стриженные русые волосы, тот же — точь-в-точь — разлёт и рисунок бровей, черты лица, разрез глаз... Юношеская уменьшенная копия. Потом, когда паренёк говорил на кладбище у гроба, я узнала — нет, не сын, а ученик, ходил на занятия в литобъединение, где Дёгтев преподавал. Был покойный для юноши кумиром, образцом для подражания, просветителем, учителем и в общем, по большому счёту, литературным родителем. А похороны вёл высокий стройный парень в чёрном костюме — старший сын Дёгтева, Андрей. Благородная посадка головы, основательность в движениях, разумность в действиях — наверное, это и был лучший «рассказ» писателя...

На поминках — всегда легче. Кажется, что умерший здесь, рядом, ну разве что вышел на минуту-другую. Но он обязательно вернётся! Неотвратимость потери ещё не осознана, не осмыслена. А он — никогда не войдёт, никогда картинно не прищурится, не поправит щегольскую бабочку у чуть распушенного под крепкую шею воротничка. Деревенский денди! Впрочем, Дёгтев, кажется, даже и не из деревни, а с какого-то заброшенного хутора...

Поминали его в столовой Технологической академии. Длинные, как взлётные полосы, столы. С почти банкетными блюдами, с торжественными людьми. Я никак не могла справиться с чувством, что всё это всерьёз, навсегда. Почему-то казалось, что я присутствую не на погребальной тризне, а на каком-то чествовании писателя (по случаю юбилея, например, или вручения литературной премии). После одной из поминальных речей даже раздались аплодисменты. Устроители громко заспорили: хорошо ли это, можно ли? «Вы ещё на поминках спойте!» — укоряли одни. «Ну и что тут

такого? — возражали другие. — Люди от сердца говорят, как чувствуют. Мы же не обычного человека провожаем, а великого писателя!».

В разговорах нет-нет да и всплывала мысль о том, что Дёгтев предчувствовал свою смерть. Человек, абсолютно безалаберно относящийся к быту, он буквально за неделю до смерти приватизировал квартиру. Привёл в порядок писательский архив и передал его на хранение другу. Озаботился родословной: раздобыл портреты дедов и прадедов, некоторые даже завёл под стекло... Я слушала это и думала: нет, он не готовился умирать. Он наконец-то решил плюнуть на «чёрные буковки» и зажить нормальной человеческой жизнью. Остепениться, перестать задираться, стать проще и устойчивей, и даже, может быть, распрощаться со своим «имиджем» писателя. Потому что — я вновь и вновь вспоминала обстановку его квартиры — он жил не в бедности, не в аскетизме и не в обстановке сознательного служения слову и долгу, а в обмане. Может быть, даже в самообмане словом... И он это понял — как поняла я, лёжа в больнице.

Дёгтев решил уйти от литературы — он устал от борьбы. Но, видимо, там, наверху, где от первого до последнего дня расписан спасительный план нашей жизни (от которого мы так любим уклоняться) и где каждому запланировано занятие для счастья (учитель, поэт, столяр-краснодеревщик, лесник, учёный, священник, шофёр, и даже — «благородный разбойник»), видели его только писателем. Он должен был нести свой «Крест» — так, кстати, называлась одна из его последних книг. Он должен был быть только писателем. Другое дело, каким: «имиджевым» или настоящим...

* * *

С Илюшей Миногиным, задушевым моим другом, сидели мы в любимом кафе, гоняли чай. Говорили. Негромко пели. Замолкали. Вспоминали прошлое. Не загадывали о будущем.

В одну из таких минут мелькнуло: а ведь я могла умереть, не испытать сегодняшнего счастья! Как хорошо жить, радоваться, любить... Нужно обязательно идти к себе — несмотря ни на что! А уныние — подвид самоубийства.

— Знаешь, Илюш, — размягчённо говорила я, — как ни странно, но смерть Дёгтева и его похороны оказали на меня большее впечатление, чем его книги. Так может быть?

Илюша отвечал, я согласно кивала головой. Слушала себя и его, твердила: ну что ж, мы, тихо уходящие в безвестность, зло не победим, мир не переделаем (против лома нет приёма). Но мы всё равно должны быть, чтобы у человека оставался выбор — как был он когда-то и у нас. Это, конечно, неравный бой и неравный выбор, но он должен быть, чтобы тот, кто захочет, смог добраться до самого себя.

Мы сидели на открытой площадке, мимо шла одуроченная молодёжь с пивом, спешили сигаретные женщины, парковали иномарки самодостаточные мужчины, деловитый бомж плющил алюминиевые банки, ветер гнал мелкий городской мусор. Как далеко сейчас я была от воронежских холмов, от наших скромных неглубоких речек, от высокого неба, от маминого огорода, где лопатой перенянчена каждая глудка земли! Земля, которая всех нас — нищих и богатых, талантливых и бездарных — бесстрастно и терпеливо когда-нибудь — в свой срок — обязательно примет.

Но надо жить и заниматься своим делом, если ты уверен, что это — истина...



ЛИТЕРАТУРНЫЕ
ЗАМЕТКИ





Фото Павла Зеленецкого



Татьяна Ивановна Кондратова родилась в городе Наро-Фоминске. С 1978 года живёт в Коломне. Окончила филфак КГПИ, работала учителем литературы в школе № 17. Кандидат филологических наук.

Интересуется проблемами стиховедения, краеведения, имеет также публикации по проблемам детского чтения. На филфаке КГПИ ведет курсы выразительного чтения, введения в филологию, спецкурсы по анализу лирического произведения, а также курс «Литературная Коломна».

ПОДЗЕМНАЯ РЕКА

Сравнивая литературный процесс с течением воды, в нём можно обозначить бурные потоки, тихие заводы, непроходимые болота, бьющие из-под земли едва заметные ключи... Эта метафора применима как к литературе общенациональной, так и к провинциальной, точнее, к литературе, рождённой провинцией (термин «провинциальный», к сожалению, имеет оттенок второсортности). Как гордятся жители подмосковных городов, что небольшие речушки, берущие истоки в их земле, впадая потом в более крупные, доносят свои воды до самого моря. Они питают Оку, великую Волгу, но разве они сопоставимы с ними по глубине и полноводности? Именно сопоставимы! И книги, написанные нашими земляками, надо оценивать по законам художественной литературы вообще, без скидок на провинциальность. Талантливые люди, думаю, в таких скидках не нуждаются! Предлагаемые вам раздумья — это попытка объективно оценить новые произведения двух писателей, живущих в нашем городе.

Коломенский текст

«Лучшая книга о Коломне, написанная после Лажечникова и Пильняка» — приблизительно с таким сопровождением продаётся поэма (авторское определение жанра) **Романа Славацкого «Мемориал»** в культурном центре «Лига». Заявление, прямо скажем, весьма претенциозное, но оно заставляет всерьёз задуматься: как сложится судьба книги, ведь вряд ли писатель, не одно десятилетие посвятивший этому труду, адресовал его лишь коломенским читателям, филологам, историкам, знакомым с понятием «коломенский текст», в который «Мемориал» вписывается очень легко и естественно.



Это и неудивительно — Роман Славацкий известен коломенским читателям прежде всего как публицист, краевед, историк — человек, равнодушный к судьбе своего города, особенно его древней части. Коломенские любители поэзии тоже хорошо знакомы с его именем: стихи Славацкого отличает барочная пышность формы, и в ней он остается верен своей теме — рисует образ Старого Города, погружённого в вековую дрему:

Мой Город, заколдованный и старый,
укрыт в пыли; и спит который год,
похожий на готический комод,
забытый кем-то в лавке антиквара.

И чувствуется, что этот самый «коломенский текст» — дремотное марево, окутывающее город в «Беленьких, чёрненьких, сереньких» Лажечникова, в очерке «На родине Лажечникова» Пильняка, сближающее реальность и фантастику, — здесь тоже присутствует, что автор и город свой уже воспринимает через призму этого «коломенского текста». Славацкий сразу предупреждает своих читателей об этой особой точке зрения в предисловии: «Это попытка осознать тайну Города, в том числе — всё, что передумали и написали о Коломне предшественники за шестивековую литературную историю. Перед вами — коломенский текст. Давайте просто попробуем прочитать его».

Такое предупреждение весьма кстати, ведь литературных реминисценций, связанных с Коломной, в книге очень много. Они узнаваемы, но лишь теми, кто знаком с культурными слоями прошлых эпох. Вот один из таких примеров уже на первых страницах «Мемориала»: «Но в то же самое время по ярусам Башни, не просто существующим, а заполненным, забытым до отказа всякими редкостями, спускалась процессия из трёх человек, и слышался такой разговор:

- Ну и темень...
- Осторожнее, Анна Андреевна...
- О Господи! Я, кажется, сломала каблук...»

Герой, он же рассказчик большей части событий, прекрасно понимает смысл этого видения. Понимают его и посвящённые читатели: эпизод из посещения Анной Андреевной Ахматовой летом 1936 года Коломны описан Сергеем Васильевичем Шервинским в книге «От знакомства к родству», а позже пересказан в различных эмоциональных манерах К.Г. Петросовым, А.И. Кузовкиным и другими краеведами. Упоминает об этом посещении Ахматовой Коломны и сам Роман Славацкий в своей «Черкизовской хронике».

А вот у непосвященного читателя такой эпизод в памяти, конечно же, не задержится, и, может быть (давайте пофантазируем), переиздавая книгу, автору придётся сделать сноски... Здесь и становится очевидной одна из особенностей книги: она рассчитана на образованного читателя, интеллектуала. Это не достоинство и не недостаток книги —

просто таков угол зрения автора на изображаемый им мир, что понятен и интересен он будет отнюдь не каждому. Признаюсь, что не без любопытства я провела небольшой читательский опрос: просто спрашивала знакомых, многих из которых видела на презентации книги, дочитали ли они её до конца? Ответы, конечно, были разные, но преимущественно: ну, не пошло дальше двух глав... И тут я вспомнила, что, приступая к чтению «Мемориала», тоже чуть было не отложила книгу после этих двух первых глав. И дело здесь не только в том, что в болезненном сознании Августа Виткевича, главного героя повествования, хаотично соединяются отрывки из воспоминаний о прошлом (дедушка-белогвардеец, которого «шлёпнули» в 37-м), навязчивых маниакальных идей (поехать в Егорьевск и убить из обрез охладевшую к нему подругу), цитат, видений... Кажется, что самое трудное для самого автора — мотивировать эти постоянные переходы в виртуальный мир, хотя в художественной литературе, особенно после опыта модернизма и постмодернизма, никаких мотиваций и не требуется. Но сам автор, а вслед за ним и его герой, пытаются объяснить читателям все эти превращения: «И вот тогда я с полной очевидностью понял, что Параллельное Существование скрутило меня. И раньше такое бывало, но не в таких же масштабах. Это было уже не раздвоение, а растроение, расчленение личности. Я попал в сатанинский клубок Времени, который крутил и мотал меня, как хотел». Слишком подробны логические объяснения героя, чьё сознание уже раздвоено, они порой слишком риторичны. Кажется, что автор ищет этот свой взгляд, свою художественную точку зрения, но находит её не сразу. Но всё же... находит, и те, у кого хватило терпения прорваться через лабиринт первых страниц, будут вознаграждены.

Повествование ведётся автором в нескольких временных пластах (Коломна середины XVII века, древняя Троя, Коломна восьмидесятых XX века, Коломна пятидесятых...). Предваряя упрёки в подражании Булгакову, автор устами одного из героев формулирует свой творческий метод, при этом иронично комментируя его: «Речь о том, что Булгаков — гений и производит на читателя ошеломляющее впечатление. И от такого потрясения трудно избавиться. Как ни возмьёшь, какого фантаста — обязательно так и норовит вести повествование в двух временных пластах.

Булгаковщина! Родовая травма современной литературы.

Вот пример того, как гениальность порождает армию эпигонов.

Просто чума какая-то!»

Ошутимая в словах Фомы авторская самоирония — качество, бесспорно, очень симпатичное в человеке. И снова становится ясно, на какого читателя ориентируется писатель... Обвинить самого себя в эпигонстве — это ли не провокация? Но провоцировать — это тип игры писателя, которая рассчитана на понимающего собеседника, а не на самодовольного невежду.

Современные филологи, кстати, имеют здесь возможность выявить так называемый метасюжет, то есть найти рассказ о самом рассказывании, повествование о повествовании. Что ж, вот и темы для курсовых и дипломных работ студентам коломенского филфака: «Метасюжет в “Мемориале”», «Ритмическая проза Р.Славацкого» (это уже с подачи самого писателя, заявившего в предисловии, что основа его книги — поэтический ритм).

Думается, что и выбор имён героев — из плоскости «реальной» (хотя реальность эта фантастическая) Коломны 80-х годов XX века — это тоже часть игры: имена редкие, экзотические — Август, Ирэна, Бэзил, Виола, Марк, Фома. Кому-то в их звучании почудятся отголоски коломенской истории (польского нашествия), кто-то найдёт параллели христианские — с блаженным Августином, евангелистом Марком, Фомой Аквинским... Вовлечённые волею судьбы в мистический водоворот событий, связанных с хранением в Коломне Царской Либереи, Илионского золота, они оказываются в ситуациях куда более сложных и причудливых, чем герои других временных пластов. В каждом есть какая-то определяющая черта, заявленная автором: экзальтированные Ирэна и Виола, увлечённые оккультными науками; одна внучка гадалки и колдуньи, причём французской, другая — «категорическая девушка»; неврастеничный Август — «юноша бледный со взором горящим», ясновидец и медиум; аскетический, «рассудительный верующий» Фома (чувствуете подтекст?); скептик и сибарит Бэзил, он же Василий Иванович — «секретный физик»; Марк Левин — полиглот, коллекционер, в прошлом... сотрудник ГБ. Эти герои живут в Коломне 80-х, но их реальная жизнь автору совсем не важна. Странная компания колдует, гадает, пирует в горе и в радости. Кстати, те, кто помнит пустые прилавки Коломны начала восьмидесятых, с неизменной сайрой в масле и плавленными сырками, описания застолий воспримут как некую фантастику: «...как и прежде сверкало ледяное вино в хрустале, дымился кофе, в стекле, фарфоре и бронзе лежали куски и кучи — икры, грибов, оливок, розовела ветчина, плакал сыр, пахло лимоном и табаком». Здорово, правда? Поэзия! Правдоподобно то, что художественно, поэтому нужно сразу принять условия игры автора — не искать в этой линии (детективно-фантастической) никаких соответствий реальным чувствам и состояниям. А если эти несоответствия всё же возникают? Попробуем увидеть в этом пародию на тот же детектив:

- «— Мы здесь в безопасности? — спросил чухонец.
- Бэзил пожал плечами.
- Более-менее. Со мною старенький вальтер. А у вас есть что?
- Браунинг, но это так, игрушка.
- Дискомфорт какой-то, — пихнул я Фому. — Будто за нами следят».

Эти вальтеры, браунинги, шпионский фотоаппарат Виолы, странно звучащее в 1982 году слово «господа», даже в обращении к прибалтам, — что это? Ещё одна провокация автора? Сознательная игра в детектив, в фэнтези (уж слишком явные ассоциации вызывает образ отряда Хранителей)? Да и сами герои всё время удивляются происходящим с ними событиям: «Просто детектив какой-то!» Как кэрролловская Алиса, которой становилось «всё страньше и страньше, всё чудесатей и чудесатей».

Чем герои, явные диссиденты по образу мыслей, занимаются в реальной жизни? Представления смутные: Август вроде бы студент, пишет роман о Трое, а остальные... Избранные, которые «маскируются под нормальных». Но как им это удаётся? Реальность здесь отступает на второй план, и напрасно автор вводит в своё лирико-фантастическое повествование детали этой реальной жизни, желая что-то объяснить, этим он ещё больше запутывает сознание читателей. Родителей Августа он сначала

ла отправляет в санаторий, чтобы сделать героя свободным, а потом и вовсе лишает жизни (случайная авария). Причём полная свобода других героев никак не мотивирована, да и Август-бедняжка, увлечённый своей тайной, ни разу не вспомнит о своих «предках» — тоже ведь характеристика героя! Но автор предупредил уже в самом начале повествования, что читать его книгу по законам обычной прозы нельзя.

Известно, что произведение нужно судить по тем законам, по которым оно создано. Август — медиум не только для Виолы и Ирэны, он медиум и для автора, который наделяет его сознанием не просто диссидентствующего юноши 80-х годов, но явно послеперестроечным взглядом на мир: Август видит в памятнике Ленину «картавого дедушку-сатану с протянутой рукой», мыслит цитатами из «Голого года» Пильняка: «...въехал коломенский совет и начал “энергично функционировать”».

Действительно, образы героев не слишком полнокровны в художественном отношении, они все вместе выполняют свою художественную функцию — это через них проходит связь истории и современности, это им надлежит выполнить возложенную на них миссию — вернуть Илионское золото, тем самым снять проклятие с Коломны. Иногда автору удаётся преодолеть эту схематичность, вдохнуть в героев живую жизнь — когда возникает тайна рождения Ирэны, в мать которой, оказывается, были влюблены и Бэзил, и Марк, и Митяй...

И наконец-то автор отказывается от постоянной мотивации переходов одного временного пласта в другой: они уже чередуются свободно, как монтаж, ведь читателям не важно, что перед ним — куски рукописи Августа или просто ощущение героем присутствия Параллельного существования. Остаются только пометки: запись Виолы, Фомы... И за всем этим присутствие автора — свободного в своей творческой фантазии...

Все три основных повествовательных пласта соединены общими образами-символами: это Башня, Тайна, Елена, Огонь. Они являются в гибнущей Трое, и в Коломне средневековой, и в современном героям мире. Все эти переходы создают особое течение времени — нервное, с поворотами вспять, с зеркальным отражением событий, когда прошлое оборачивается будущим. Эта призма зеркальных отражений несколько раз возникает в романе: Август, погружаясь в сон, переносится в Троию, но и Гектор в своём «странном» сне видит коломенскую жизнь. Медиум слышит Кассандру, но и прорицательнице является смутное видение «двух девушек, удивительно красивых», одна светло-волосая, а другая «с длинными, прекрасными пепельными волосами, и причёски их были схвачены блестящими обручами, и глаза их — широко открытые, длинные, как на фресках, смотрели на неё в упор. А рядом с ними стоял молодой человек в совершенно дикой варварской одежде, безумный, с горящими глазами, всклокоченными волосами и жидкой бородой».

Башня — это то мистическое пространство, где Время стучается, где оно начинает подчиняться иным законам. Это Башня Трои и Башня Коломны, между которыми существует неразрывная связь. Она объясняется неоднократно на страницах «Мемориала» и по-разному: в книге «Смарагд» мифологически: Коломна была основана римским князем Яр-Коломаном, а Рим основали троянцы. Есть объяснение почти бытовое, от доморожденных магов: «У них там что-то замкнуло, а выход получился

на нас». Но главное объяснение этой связи не декларируется, оно связано с основной философской идеей книги: идеей всеобщей вины и расплаты за сотворённое зло. И неважно, в каком звене исторической цепи будет этот выход, но он будет. Именно поэтому герои не могут отказаться от вызова, который им бросает судьба, как и Гектор, выходящий на бой с Ахиллом: «Уж лучше смерть, чем ощущение собственного греха». Троянца не отпускает «Поле» — долина, усеянная трупами. Почти то же ощущают в роковые минуты и современные герои, пытаясь найти коломенскую Тайну и спасти её. Вообще, в «Мемориале» много героев-двойников. Троянец Долон, тайно похищающий часть троянских сокровищ, тот самый Илионский пояс, находит свою смерть, ощутив в последний момент самое тяжкое раскаяние: «Он вдруг понял, что совершил нечто запредельное, более чудовищное и огромное, чем грех, настолько огромное, что оно — это — совершённое им — сделало его богом и раздавило его». А разве не повторяется его судьба Марком Левиным: стать Богом, ощутить в своих руках власть над ближним, воспользоваться ею, уничтожить соперника и быть раздавленным этим грехом, этим предательством?

Ещё один образ, соединяющий временные пласты, — Прекрасная Елена. Это и царица, ставшая причиной Троянской войны, страдающая одновременно и по Менелаяу, и по Парису и перед каждым испытывающая вину за свою красоту: «Светлое, высокое чело, увенчанное золотом! И невозможно понять: где золотая диадема, а где — заплетённые косы». Это и жена священника Сергия — Алёна, матушка Елена, с золотой прядкой волос, сверкающей из-под белого платка. Это и загадочная Элен Бертье, ставшая причиной вражды и предательства друзей. И наконец, это «Ленка из Егорьевска» — «воплощённое создание» и «воплощённый грех» Августа Виткевича, с попытки убить которую и начинается всё повествование.

Картины коломенского Средневековья получились очень зримыми: охваченный чумой город, в котором «безобразно раздутые, страшные» тела вызывают не ужас, а равнодушие привыкших к смерти людей. Но даже во время этого мора остаётся цель, которая открывается немногим — избранным, посвящённым. Она в сохранении Тайного книгохранилища — вот здесь и начинается нить, соединяющая все эти временные пласты.

Самый мощный из всех пластов — античный. Гомеровский эпос здесь обрёл новое дыхание. И если в безжизненной схематичности «коломенских» героев всё же можно упрекнуть автора, то образы мифической полнокровны и глубоки, каждый раскрывается в процессе внутренней борьбы чувства и долга, гордыни и благоразумия, мести и человеческого милосердия: Елена, Гектор, Ахилл, Приам — просящий «милости у зверя»... Славацкий — историк, и его история получилась живой.

Когда-то Осип Мандельштам поэтически сформулировал своё понимание сути Троянской войны: «Когда бы не Елена, что Троя вам одна, ахейские мужи!» Автор «Мемориала» создаёт смысловой объём: это не только война за обладание Красотой, за возвращение похищенной Красоты. Вот мнение простого греческого воина: «Елена — только предлог... мы здесь из-за богатства Трои. Золото — вот наша цель, а вовсе не Елена, пусть даже в ней течёт нечеловеческая кровь. Золото, власть!» Тема противостояния Востока и Запада возникает в монологе Ахилла, кото-

рый звучит в один из самых напряжённых трагических моментов повествования: «На этих полях решается судьба мира. Будет ли главенствовать Асия или Европа скинет давнее ярмо и обретёт величие и блеск? Разные народы — и кто-то должен уступить».

Из всех фрагментов троянской осады особенно сильное впечатление производят сцены «Битва у лагеря» и «Приам у Ахилла». В первом эпизоде битва дана глазами, ощущениями рядового ахейца Ладаса, причём до и после его физической смерти. Потрясает сцена «смотра» мёртвого воинства, когда вчерашние враги становятся в один строй: «Они стояли плечом к плечу: ахейцы, троянцы, взглядываясь друг в друга, и у кого-то глаза были полны отчаянием, у кого-то — беспредельным удивлением, но большинство — стояли спокойно, точно отдыхая после тяжёлого труда». Горе царя Приама, готового «целовать руки убийцы сыновей» ради того, чтобы дух Гектора «нашёл упокоение в загробных полях», — это лирическая проза, скорбная и торжественная, местами даже графически восходящая к стиху:

Город мёртв.
Городу тысяча лет.
И мёртвого воина везли в мёртвый город.

Но не менее тайны Илионского золота трогает в книге тайна лучшего, но ушедшего в безвестность поэта Коломны — Дмитрия Озерова. Его линия сначала идёт пунктиром — это он, Митяй, приобщил всех к старине, он стал Хранителем коломенской тайны. Он отбил невесту, ту самую прекрасную Элен Бертье, у Марка Левина, он был предан уязвлённым другом и погиб в тюрьме. Эти факты как бы случайно разбросаны по разговорам героев, но все вместе они выстраиваются в одну линию — трагической судьбы талантливого поэта, которая сама уже есть одна из коломенских тайн. Август в начале повествования обращает внимание на фотографическую карточку «улыбающегося молодого человека, прекрасного, как юный бог». Талант и красота — причина и счастья, и беды. Почему счастья? Да потому, что была та сильная любовь, которая не знает преград, ради которой рушатся дружеские связи и гибнут цивилизации. И опять троянская и коломенская линии здесь параллельны. Это любовь роковая, как Париса к Елене. И хорошо, что автор избавил эту линию от бытовых подробностей, что она так и осталась пунктирной. В поэзии должна быть тайна, и её можно только приоткрыть, но не объяснить до конца. Тайна эта приоткрыта: плод этой любви — Ирэна. Вот здесь уже не схемы, а живые люди, их сложные отношения. Предатель Марк всю жизнь хранит рукописи Митяя, а в дневнике признаётся в предательстве. Книга заканчивается великолепной мистификацией — рукописью Дмитрия Озерова, отрывками из его книги «Чёрные корабли», сохранённой Иудой, предателем Марком. Жизнь всегда сложнее наших представлений о ней. Что мы испытываем к такому предательству? — Жалость!

Приём лирического дневника, завершающего повествование, не нов. У Пастернака это самый сильный аккорд в романе «Доктор Живаго». Думается, что и в «Мемориале» в нём сфокусированы все основные образы и идеи романа. Огонь, в котором горят черновики Августа, который пожирает дом Целера вместе с хозяином и непрошеными гостями, на котором сжигают тела Патрокла и Гектора, в который герои-храните-

ли бросают «сочинения... мистиков и духовидцев» — этот образ становится центральным в первом стихотворении «Осень в саду». Огонь — символ многозначный: уже в самом повествовании он — то знак очищения, перерождения, то уничтожения и возмездия. Но образ этот трансформируется — мы вспоминаем, что огонь — это ещё и символ дома, очага: «Садовые работы... Дым костров». Горение всегда говорит нам о бренности земного, ведь и слово-то «бренность» происходит от немецкого «brenen» — «гореть». И горение это — осознание жизненного закона, одинакового и для античных воинов, и для героев конца второго тысячелетия:

И прежнего величия пора
прошла, как дым садового костра,
как сладкий ладан — медленный и терпкий...

Лирический герой отказывается от «ложной памяти», разрушает её «бред и призрак» и сам же провозглашает её торжество: «Здравствуй! И царствуй вечно — ложная память!» Да, собственно, память — она всегда ложна — «мысль изречённая есть ложь». Автор прикоснулся к пластам забытой или утраченной коломенской истории, разбередил память — в этом значимость его труда. Конечно, многие вопросы остаются без ответа или наводят читателей на смутные догадки: неужели герои искали Тайную Либерею лишь затем, чтобы сжечь? Герои здесь не «вольны», они подчиняются автору, его воле, его идее — после всех испытаний, на грани жизни—смерти, он приводит их к христианской, православной идее. В этом, мне кажется, отражение не только модного в перестроечные годы обращения рокеров и комсоргов в священники, но собственного жизненного опыта писателя — человека глубоко верующего. Хотя в художественном смысле риторический финал вряд ли является достоинством произведения: его многоплановость и глубина здесь заменяются простым объяснением истины. Кому-то такое объяснение нужно, кому-то нет. Сегодня верующие — это преимущественно неофиты, которые не впитывали веру с молоком матери... Но у каждого свой путь к вере или от неё. Поэтому и книгу, и её финал, я думаю, читатели воспринимать будут по-разному.

Миры Сергея Малицкого

В прошлом году событием в литературной жизни Коломны стал выход целой серии книг Сергея Малицкого. Столичное издательство «Армада» выпустило уже четыре книги в серии «Фантастический боевик»: трилогию «Арбан Саеш» — «Миссия для чужеземца», «Отсчёт теней», «Камешек в жерновах» и первую книгу нового цикла «Кодекс предсмертия» — «Муравьиный мёд». Многих удивило обращение писателя к модному нынче жанру фэнтези, ведь рассказы Малицкого из первой книги автора, «Легко», написаны в традиции русской реалистической прозы. В них был замечен прежде всего интерес автора к внутреннему миру своих героев, психологизм ситуаций, когда становится очевидным, как не совпадают чувства людей и их внешние проявления. Герой рассказа «Грета» имитирует свою «бурную инженерно-конструкторскую деятельность», имитирует участие в судьбе другого человека... Автору, бесспор-



но, жаль своего героя, который оказался неспособен к настоящим чувствам и отношениям.

Рассказы Малицкого в последние годы публиковались почти в каждом номере «Коломенского альманаха»: «Палыч», «Ненужные вещи», «Рвущая нить». Они о нашей жизни, но в каждом взгляд писателя останавливается на разных её сторонах, и сам фокус меняется, варьируется. Это, мне кажется, важное для писателя качество — страховка от сюжетной монотонности, от предсказуемости ситуаций и развития действия. Особенно выделяется рассказ «Палыч», в котором тема творчества, цены таланта, платы за него находит такое убедительное и оригинальное воплощение, что вписывается в линию мировой классики, продолжая её. «Шагреневая кожа» Бальзака, «Портрет» Гоголя,

«Портрет Дориана Грея» Уайльда — с этими произведениями рассказ Малицкого роднит обращение к инфернальному началу, через общение с которым герои осознают суть творчества, красоты, жизни. Малицкий пишет о своём современнике. Его герой, Роман Суворов, — художник, но изображён он отнюдь не возвышенной натурой: до «героя добродетели» ему очень далеко. Но и на «чудище порока» он тоже не тянет. Эти две крайности в характерах литературных героев ещё критиком В.Г. Белинским были обозначены. Роман — обычный, «нормальный» эгоист, любящий «прежде всего самого себя». Он многое ненавидит, и это очень понятно читателю: всё, что разрушает привычный, размеренный образ жизни, что создаёт какие-то неудобства... Как уживаются в одном человеке художественный талант и удивительная прагматичность, граничащая с цинизмом? Женщина должна быть удобной, не создавать проблем, напротив, брать на себя какие-то бытовые мелочи... Взбунтовалась против такого потребительского отношения? Так ей и надо! Мысли Романа злорадны, мелочны: «Да и лет ей, наверное, уже тридцать пять. Что с ней будет через года три-четыре? То-то и оно». Досадно другое: «Хотя теперь другую придётся искать, прикармливать. Морока». Это эгоистическое создание для автора явно предмет не примитивного осуждения, а психологического исследования. Ведь именно такой человек, как Роман, должен был стать предметом лёгкой добычи нечистой силы, охотящейся за душой: готовый продукт для сделки с дьяволом.

Нечистая сила, современный чёрт, «покупатель человеческой души», является в произведении в виде пенсионера Палыча, в полушерстяном костюме, с пластмассовой бутылью дешёвого пива, с речью вежливого бюрократа. Зло существует в оболочке добра — Палыч принимает самое деятельное участие в жизни заброшенной деревни: лечит скот, одаривает всех советами и сочувствием, за что приобретает репутацию «Божьего человека»: ежедневно жилище нового соседа Романа осаждают местные страдалцы. И двери его дома «для всех открыты».

Главное в рассказе — это прозрение героя: он и с самого первого знакомства ощущал непреодолимое отвращение к общительному и дружелюбному соседу, но оно было лишь частью его тихой ненависти ко всему миру. Роман соглашается на сделку: продать старую свою картину, на которой, по словам его умершего друга, осталась его душа. И герой становится свидетелем почти молниеносной реализации этого договора — его залежавшиеся в салонах картины раскупаются, на них растёт цена...

Наверное, история эта могла иметь различные финалы (и наша жизнь, и литература явила нам много вариантов подобных сделок). Малицкий выбирает воскрешение героя. Оно намечено для героя автором после страшной драмы, произошедшей в его доме: взятый на время кот, очевидно, расправился с гигантской крысой, которая с недавнего времени хозяйничала в доме — а Палыча нашли мёртвым, со сломанной шеей и рваными ранами.

В рассказе эта фантастическая история разворачивается на фоне деревенской жизни, узнаваемой, детали которой очень точно подмечены автором. Малицкий обладает метафорическим видением мира, оно проявляется в языке произведения. Автор смотрит глазами героя-художника, который видит, как «никого не тревожа, громыхала вялая сельскохозяйственная действительность», замечает трёх старушек, «стёсанных старостью до одинаковых картофельных лиц», напоминающих «распавшийся остов трёхголового змея».

Герой уезжает из деревни, уезжает навсегда, уезжает туда, где его душа, которую он теперь не отдаст никому.

Наверное, использование мистического, inferнального начала в сюжете «Палыча» было своеобразным переходом к работе писателя в новом жанре. Фантастика Сергея Малицкого — тема для серьёзного разговора, хотя многие жанр фэнтези ещё не начали воспринимать серьёзно: так, детское чтение, чушь, чепуха... Даже Толкина, создавшего образец жанра — философскую притчу «Властелин колец», воспринимают как лёгкое чтение, не требующее интеллектуальных и эмоциональных усилий.

Конечно, расцвет, даже просто бурное цветение сериалов фэнтези часто становится причиной эскапизма — ухода от проблем реальной действительности в мир грёз. И это относится не только к «фантастическим боевикам» — Толкин, наверное, пришёл бы в ужас, узнав, как трансформировался в сознании читателей жанр его книги. «Подсаживаются» не только на Толкина, Желязны, Семёнову и Лукьяненко. Барышни с филологическим образованием «сидят» на Донцовой и Марининой точно так же, как их бабушки на телесериалах — «Санта-Барбарах» всех видов — импортных и отечественных... Пугающая терминология? Но давайте разберёмся: ведь каждому человеку хочется продолжения впечатлений, если они приятны, желанны. Попадая в художественный мир произведения, мы принимаем иллюзию жизни, растворяемся в ней, и нам уже хочется продлить это пребывание. Для кого-то это двоимирие внутреннее, оно совсем не заметно для окружающих: человек самой обычной профессии, погружаясь в чтение фэнтези, ежедневно спасает человечество, восстанавливает справедливость — одним словом, выполняет великую миссию, восполняя дефицит событий собственной жизни. Другие переносят сказку в жизнь, становятся ролевиками — толкинисты, готы... Всё это варианты игры в рыцарей, индейцев или даже в... Чапаева.

Болеют почти все, как корью и ветрянкой. Просто в последние годы объём выхода массовой литературы сильно возрос, но всё же лучше «подсесть» на книгу, чем на иглу. Кстати, Толкин, создавая «Властелина колец», был убеждён, что книга заинтересует только интеллектуалов — а она стала бестселлером!

Читая книги Сергея Малицкого, я пыталась ответить на вопрос: какой нравственный потенциал содержат все эти фантастические истории, где кровь течёт рекой, где порой зверства разумных (разумных ли?) существ принимают чудовишные формы и достигают колоссальных размеров? Удивительно, но в современной литературе трудно найти образ положительного героя, тем более героя — носителя идеального начала, это отражает нашу действительность и продолжает традицию русской классики — порядочный человек всегда рефлексирующий, сомневающийся, страдающий и... бездействующий. Учителя старших классов встают в тупик: какие произведения предложить детям, чтобы раскрыть тему «Герой нашего времени», чтобы слово **герой** не в кавычках было, а в своём истинном значении? И чтобы образ был не ходульный, а полнокровный! Женька Столетов из книги Липатова «И это всё о нём...» — это уже не современность, это герой литературы конца прошлого столетия, даже тысячелетия. И как ни странно, молодые читатели легко отыскивают таких героев в произведениях именно фантастической литературы. Ведь, в отличие от литературы постмодернизма, где нравственные категории или отсутствуют вообще, или сильно размыты, жанр фэнтези проявляет интерес именно к ситуациям нравственного выбора, где борьба добра со злом, как в сказке, является основой сюжета, но воплощается в формах сложных и причудливых.

Жанр фэнтези предполагает создание определённой модели мира, со своей географией, историей, культурой, в которую помещаются герои. Как правило, художественный текст всегда сопровождается географической картой (многие, думаю, помнят карту Средиземья у Толкина).

Мир трилогии Малицкого «Арбан Саеш» существует параллельно с нашим миром, в начале повествования он не именован, и герой даже не подозревает о его существовании. Рядовой Сашка Арбанов, приехав со службы на похороны матери, неожиданно сталкивается с обладателем демонической силы — виновником гибели его родителей. Это демоническое зло, как и в рассказе «Палыч», предстаёт в облике вполне затрапезном — «седой сутуловатый мужчина», Илья Степанович, разъезжающий на старенькой «Волге». Но прежде чем сила эта явится в своём истинном обличье (могущественный демон Илла, цель которого не только погубить род Арбанов, но и вернуться с помощью его крови в Эл-Айран, часть света Эл-Лиа, входящую в Ожерелье миров), автор делает экскурсы в прошлое героя, объясняя его скрытую необычность, избранность: Сашка владеет тайным языком, которому научил его в детстве отец. Уже в реальном мире проявляется свойство героя, которое потом многое будет определять в его особом положении в мире ирреальном: Сашка умеет читать мысли, умеет интуитивно постигать зло, под каким бы обличьем оно ни скрывалось. Герой чувствует: «Кто-то был рядом. Враждебный, но одновременно безразличный, как зверь, который ищет жертву для пропитания. Зверь, обладающий разумом». Писатель отказывается от весьма распространённого хода фантастической литературы,

когда переход героя в ирреальный мир происходит случайно, помимо его воли. У героя есть выбор: умереть в огне или последовать за исчезнувшим демоном. И это не только повествовательный ход, объясняющий перемещение героя в ирреальный мир. В этом проявляется одна из главных черт характера Сашки Арбанова (Саша, как будут его называть в Эл-Лиа): между смертью и неизвестностью он всегда будет выбирать неизвестность. Это герой действия, осознавший свою ответственность за тех, кто рядом, и за тех, кто далеко.

Вместе с героем автор будет открывать для читателей необычный мир, сконструированный по модели раннего Средневековья или литературного представления о нём: ремесленные города, населённые оружейниками и мирными жителями, племена, ведущие почти первобытный образ жизни, восходящие к кельтским и скандинавским мифам и сагам образы наделённых волшебной силой героев, дикая и величественная природа, пантеон богов, которые здесь не бессмертны, — всё это создаёт художественный мир трилогии. Сашка узнаёт о многочисленных народностях, населяющих Ожерелье миров, о сложных отношениях между ними: ари, дери, вали, белу, васты, нари, рады, салмы, свары, архи... Признаюсь, запомнить их довольно трудно. По масштабу этот мир намного шире толкиновского, но ведь автор «Властелина колец» отнюдь не случайно подробную картину мира Средиземья вывел за рамки приключенческого сюжета — она предстаёт в книге «Сильмариллион», где информационная плотность текста такова, что прочитать её способен отнюдь не каждый толкинист. Да и работал над своим вымыслом английский писатель-филолог более двадцати лет.

340

ТАТЬЯНА КОНДРАТОВА

Кстати, толкиновских реминисценций в книге очень много: всадники, чьи лица скрыты тканью с прорезями для глаз, преследующие Сашку и Лукуса в самом начале повествования, очень напоминают назгулов из «Властелина колец», образ Черноты, Чёрной Смерти, расползающейся с севера, даже сам отряд, собравшийся вокруг Сашки и Лукуса, — это те же Хранители Толкина. И их своеобразная интернациональность сохранена: у Толкина были гномы, эльфы, хоббиты, люди — здесь рядом с человеком спасают мир от зла нари, белу, ингу, банги, дери. Тема объединения всех сил, невзирая на различия веры, крови, перед лицом общей опасности, общего зла, тоже восходит к «Властелину колец». Она становится одной из основных и в книге Сергея Малицкого. Миссия Арбана не только объединяет людей разной крови и обычаев, но и открывает им вечные ценности, которые одинаковы и для войны, и для мирной жизни. Часть повествования автор смотрит на мир глазами мальчика Дана, которому явившийся из другого мира Сашка странен своим поведением: он смел, отважен, но прост, милосерден, не умеет добивать раненых и нападать первым. В военных действиях, которые вынуждены вести герои, выполняя свою миссию, открываются разные типы человеческого поведения. Волшебница Йокка не может понять, почему обладающий магической силой Леганд не убивает, он «не может убивать, но понимает, что убийство врага неизбежно». События фэнтези легко проецируются на нашу реальность: интересен эпизод, когда герой спасает детёныша врага, арха, от тиграшегана и превращает, хоть на время, врагов в союзников, способных на благодарность. В книге много мудрых мыслей, рассыпанных по тексту: «Мёртвые идут за своими убийцами», «Чтобы убедиться в правильности пути, надо по нему пройти», «Смолотое зерно не прорастает».

Автор вместе со своим героем пытается ответить на вопрос: если зло было и есть всегда, надо ли с ним бороться? Сам путь героя уже есть ответ на этот вопрос.

Читать трилогию трудно. Обилие героев, многие из которых исчезнут в дальнейшем повествовании. Особенно перегружена информацией о «политической» ситуации загадочного мира первая книга. Тем более что сама миссия главного героя долгое время не ясна ни читателям, ни ему самому: повествование немного напоминает компьютерную бродилку, когда одна опасность сменяется другой, а герои обязательно должны её преодолеть. Сначала из хижины Арбана герой отправляется вместе с белу Лукусом (образ выполняет функцию проводника) на встречу с Легантом, который должен приоткрыть тайну (предок Сашки Арбан-Строитель — могущественный демон Ожерелья миров). Но встреча с ним создаёт ещё большее число тайн и загадок. На этом повествовательном приёме держится интерес читателей в приключенческой литературе. Но тайн и загадок слишком много, герои часто гадают, пытаются что-то предположить, объяснить, но запутываются в прошлом. Мне почему-то показалось, что писатель делает своеобразную проверку читательскому вниманию: заметят ли они, что герои двигались всё время вперёд, а оказались там, откуда начался их путь, — в хижине Арбана? И окончательная «миссия чужеземца» — уничтожить Врага, у которого нет имени, который принимает любое обличие, — и осуществлена героем, и в то же время нет. Герой остаётся на перепутье, между мирами. Когда-то у Сашки Арбанова была цель — вернуться в свой прежний мир; теперь, похоже, цель его изменилась: у него есть «кто-то, кто ему нужен». Его путь, сделав круг, опять лежит в Эл-Лиа.

Путь героев является основой сюжета во многих приключенческих произведениях, но просто нанизывание приключений, преодоление очередных опасностей забывается читателями очень быстро, потому что следующие испытания, как правило, будут ещё более изощренны. Именно поэтому в пути героя в мировой литературе самым важным всегда было изменение самого героя, его отношения к миру. Динамика чувств: зарождение или угасание, переломы человеческих отношений (даже если герои — «нелюди») — вот что делает повествование захватывающим. Герой первой трилогии, Сашка Арбанов, начинает свой путь уже с определённым набором нравственных качеств, которые не меняются на протяжении повествования. Да, он обретает мудрость, понимая смысл древнего изречения: «Чтобы получить всё, нужно отдать всё». Да, в нем рождаются чувства к Линге, проводнице-дерри... Но всё же характер героя довольно статичен, и этот недостаток повествования, мне кажется, писатель преодолевает в первой книге второго цикла.

Герои книги «Муравьиный мёд» живут уже в другом мире или в другой его части, хотя некоторые переключки в географии, названиях всё же присутствуют: дерри — дерпты, белу — бали, Алатель — Аиле... Этот мир более локален, его география (а с нею связан путь героев) очерчена точно и понятно. Это позволило автору обойтись без глоссария.

Богатый город Скир, населённый вольными сайдами, во главе которого стоит конг, избранный на совете влиятельными танами, — модель античной или раннесредневековой демократии — предстаёт в живописных картинах: поединки рабов, совершение обрядов, культовые действия, бытовые сцены — всё это замедляет движение сюжета, создаёт осязаемый образ мира. Диалоги и здесь остаются любимой композиционной

формой автора, но в «Муравьином мёде» они соединяются с яркими описаниями.

Главная сюжетная линия — это бегство из Скира бывшего раба Зиди и вольной сайдки Кессаа. В начале повествования у каждого из героев своя цель: у Зиди — вернуться к своему народу бали, совершить обряд поминовения казнённого колдуна Эмучи. Девушка же спасается от конга, пожелавшего сделать её своей наложницей. Сделка героев подкреплена золотом: бывший раб должен охранять свободную сайдку и сохранить ей жизнь. Зиди — «старик» по меркам жителей Скира, седой воин, которому перевалило за тридцать, к тому же хромой — калека. Кессаа, напротив, обладает необычной красотой, и не случайно, что за ней охотятся многие знатные и влиятельные люди Скира. Не буду перечислять все испытания, выпавшие на долю героев, последнее станет для Зиди смертельным. Но главное, что притягивает внимание читателя, — как рождаются чувства между этими героями, такими разными по крови (сайдка и бали), по положению (дочь жрицы храма и влиятельного тана и бывший раб). Эти чувства не поименованы, они и не требуют названия. Чужие люди становятся близкими — как это происходит? Это всегда тайна — её можно лишь приоткрыть, но это происходит: читатель вместе с красавицей Кессаа испытывает перед сильным, благородным героем-калекой не просто вину, но и то главное чувство, которое люди стараются не произносить вслух, но ради которого они живут. Помните финал сказки о красавице и чудовище, где героиня, рыдая над трупом безобразного зверя, признаётся ему в любви... Одна из вечных ситуаций мировой литературы... Ещё одна сказка о добре и зле, сказка с печальным концом, у которой, очевидно, будет продолжение.

И будет дальше течь вода, и верится, что её источники на коломенской земле не иссякнут...



ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В прошлом году **Сергей Малицкий** стал победителем международного литературного конкурса «Зелёный мост» со своей книгой «Миссия для чужеземца».

Мы от всей души поздравляем нашего коллегу с этим успехом! Произведения Малицкого каждый год становятся украшением «Коломенского альманаха».

Уверены, что его блестящая проза прибавит чести Коломне в литературном мире России.

Редколлегия



Ирина Алексеевна Канунникова — кандидат филологических наук, доцент кафедры русской литературы XX века Московского городского педагогического университета. Окончила Московский педагогический университет (сейчас — Московский государственный областной университет), в 1996 году защитила кандидатскую диссертацию по теме «Художественный мир Н.Р. Эрдмана».

Автор учебного пособия «Русская драматургия XX века», глав о русской драматургии XIX и XX веков в нескольких учебниках и учебных пособиях, более 30 научных и учебно-методических статей.

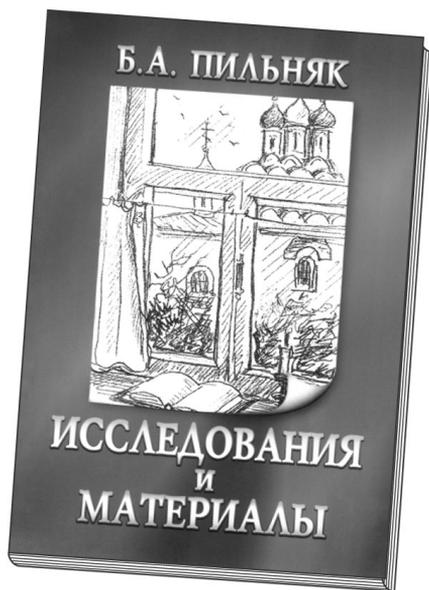
Ирина КАНУННИКОВА

«БЫТЬ ЧЕСТНЫМ С СОБОЙ И С РОССИЕЙ»

НОВЫЙ КОЛОМЕНСКИЙ СБОРНИК
«Б.А. ПИЛЬНЯК. ИССЛЕДОВАНИЯ
И МАТЕРИАЛЫ»

Регулярно в Коломенском государственном педагогическом институте проходят Пильняковские чтения, по материалам которых подготовлен представленный сборник. Творчество Б.А. Пильняка в последние два десятилетия стало объектом пристального внимания отечественных литературоведов, и это не случайно: не столь многие русские писатели XX века могли бы сказать о себе, подобно Пильняку: «Мне выпала горькая слава быть человеком, который идёт на рожон. И ещё горькая слава мне выпала — долг мой — быть русским писателем и быть честным с собой и с Россией».

О писательской и человеческой честности Бориса Пильняка свидетельствуют и «Повесть непогашенной луны», и «Красное дерево», и многие другие его произведения. Но, разумеется, не только о честности, но и о самобытном, оригинальном даровании, тем более поразительном, что после русского Серебряного века очень трудно было уже в отечественной словесности заявить о себе как о писателе не только талантливым, но именно *оригинальным*. «В России — в Великий пост — в сумерки, когда перезванивают величественно колокола и хрустнут после дневной ростепели ручьи под ногами — как в июне в росные рассветы, в берёзовой горечи, — сердце кто-то берёт в руки, — сердце наполнено, — сердце трепещет, и знаешь, что это мир, что ты связан с



миром, с его землёй, с его чистотой, так же тесно, как сердце в руке, — и мир, земля, кровь, целомудрие...» — в этих пильняковских строчках перед читателем предстаёт не просто суровый бытописатель революционного смутного времени, но тонко чувствующий лирик, наследник тургеневской и бунинской традиций.

Поэтому прежде всего хотелось бы отметить, что в рецензируемом сборнике научных трудов представлены многие грани самобытного таланта Б.Пильняка. Исследования и материалы объединены в три раздела: «Поэтика Б.А. Пильняка», «Лингвопоэтика Б.А. Пильняка», «Биографические исследования и мемуарные страницы».

Первый из названных разделов самый обширный и по количеству представленных в нём статей, и по разнообразию подходов к исследованию различных аспектов поэтики Б.А. Пильняка. Отечественные и зарубежные литературоведы рассматривают проблемы жанровой специфики пильняковских произведений, особенности функционирования в них отдельных тем, мотивов и образов, причём особое внимание уделяется исследованию символики и архетипической основы творчества писателя. Многие работы посвящены анализу творчества Б.А. Пильняка в контексте русской литературы 20-х годов прошлого столетия, выявлению традиций, связывающих творчество писателя с русской классической литературой XIX века, а также с зарубежной литературой.

Именно выявлению жанровой специфики ранней пильняковской прозы посвящены материалы, открывающие сборник. А.П. Ауэр в статье «От книги к роману (этиод о поэтике раннего Б.А. Пильняка)» отмечает, что определяющей закономерностью развития и становления творчества Б.А. Пильняка первого периода становится «целенаправленное расширение жанрового пространства (от «стихотворений в прозе» и лирической миниатюры до романа «Голый год», который принёс Пильняку известность и вызвал в своё время много споров. Исследователь считает, что для молодого писателя путь к постижению романной формы пролегал через первые книги рассказов «С последним пароходом» и «Быльё», где «внешне разорванные и несвязанные фрагменты обладают внутренним структурным единством, осуществлённым ещё и с ориентацией на безграничные художественные возможности подтекста».

Такой вывод представляется совершенно справедливым, тем более что в своё время критик А.К. Воронский писал о «Голом годе»: «В сущности это не роман. В нём и в помине нет единства построения, фабулы и прочего, что обычно требует читатель, беря в руки роман. Широкими мазками набросаны картины провинциальной жизни 1919 года. Лица связаны не фабулой, а общим духом пережитых дней. Получается впечатление, что автор не может сосредоточиться на одном, выбрать отдельную

сторону взбаламученной действительности. Его приковывает к себе она вся, вся её новая сложность. И, может быть, так и нужно».

Ю.Б. Орлицкий в «Двух этюдах о прозе Бориса Пильняка» также обращается к исследованию своеобразия прозаических миниатюр, являвшихся литературным дебютом писателя («Год», «Она уехала», «Жизнь», «Встречи», «Будто розы алые, будто розы белые...» и др.). Автор статьи в качестве характерных особенностей миниатюр Пильняка выделяет различные приёмы, указывающие на их стихоподобную ориентацию; пародический элемент; массивованные приёмы особой визуальной организации текста и т.д.

Художественное функционирование отдельных тем, мотивов, образов пильняковской прозы исследуется в статьях Т.И. Кондратовой («Тема детства в рассказе Бориса Пильняка “О Севке”»), А.В. Касицина («Образ революции в поэтике Б.А. Пильняка»), Л.И. Щёлоковой («Военная тема в романе Бориса Пильняка “Голый год”»), И.В. Мотеюнайте («Парадоксы восприятия юродства в повести Б. Пильняка “Красное дерево”»), Е.Н. Богдановой («Проблема двойничества в романе Б.Пильняка “Двойники”»), С.С. Романова («Антиутопические мотивы в прозе Б.Пильняка»). Уже критика 20–30-х годов отмечала замечательное живописное мастерство писателя, его умение иногда двумя-тремя словами очертить образ человека, зверя, природы. Причём нередко те или иные образы и символы в прозе Пильняка имеют глубокие архетипические корни. Варьируясь и видоизменяясь от произведения к произведению, подобные образы-символы создают индивидуальную мифологию писателя. Таковы у Пильняка архетипические образы метели, двойника, волка, луны и др. Трактовка подобных пильняковских символов и архетипов привлекает внимание многих авторов сборника: И.И. Профатило («Архетипический мотив волка в романе Б.А. Пильняка “Волга впадает в Каспийское море”»), И.В. Кургузовой («К поэтике романа Б.А. Пильняка “Двойники. Одиннадцать глав классического повествования”»), И.В. Трофимова («Палех в романе Б.Пильняка “Созревание плодов”») и др.

Внимание современных исследователей привлекает и сложная пространственно-временная организация произведений Бориса Пильняка. Л.А. Трубина («Историософские антиномии “Третьей столицы” Б.А. Пильняка»), Т.А. Капырина («Поэтика времени в “Созревании плодов” Б.А. Пильняка»), Г.С. Прохоров («Обратная перспектива как средство построения художественного пространства (на материале романа Б.Пильняка “Соляной амбар”»)» в своих работах выявляют структурообразующие элементы категорий пространства и времени, которые в прозе Пильняка всегда взаимосвязаны, так как временная структура в произведениях писателя сочетается с моделью художественного мира и с миром отдельных героев. Исследователями также отмечается дискретность художественного пространства прозы Пильняка, когда автор использует так называемый принцип *обратной перспективы*. Л.А. Трубина рассматривает особенности исторического сознания писателя, его историософские воззрения, где важная роль принадлежит «хитросплетению антиномий», в котором рождается концепция исторического пути России.

Большой интерес представляет в сборнике статья французского исследователя П.-И. Буассо «*Revolutio* и революция: от Флобера до Пильняка». Сопоставление этих двух имён, как отмечает сам автор статьи, на

первый взгляд может показаться странным, однако есть между ними и существенная взаимосвязь, которая даёт серьёзное основание для сопоставления: оба писателя стремились рассказать о революции, свидетелями которой им пришлось быть: Флобер — о революции 1848 года, Пильняк — о революции 1917 года. При этом, как отмечает П.-И. Буассо, «осмысление революционных событий опирается у обоих романистов на всеобъемлющую амбивалентность самого понятия “революция”: это одновременно и радикальные перемены, и повторение известного, каким бы ни было соотношение действительности и гротескного неправдоподобия».

Есть в творческом наследии Бориса Пильняка поистине «знаковые» произведения, которые вызывают устойчивый интерес всё новых и новых исследователей. К числу таких произведений, несомненно, принадлежит «Повесть непогашенной луны». Исследованию различных аспектов поэтики этой пильняковской повести, прежде всего связанных с философским постижением смерти, посвящены в сборнике статьи С.И. Патрикеева («О символической природе “Повести непогашенной луны” Б.А. Пильняка»), В.П. Крючкова («Эпицентр смерти в художественной прозе Л.Толстого и Б.Пильняка: “Смерть Ивана Ильича” и “Смерть Гаврилова”») и С.С. Тверской («Медицинский комментарий к “Повести непогашенной луны” Б.А. Пильняка»).

«Пильняк — писатель, несомненно, изысканный и требующий к себе очень внимательного и вдумчивого отношения при чтении. Зато Пильняк порою изумительно умеет одними только приёмами языка и стиля характеризовать эпоху, среду и обстановку своих повествований» — это высказывание Г.Горбачёва может послужить эпиграфом к разделу сборника, посвящённому исследованию лингвопоэтики Б.А. Пильняка. Авторы статей Л.Н. Костякова («Фразеологизмы в структуре художественных текстов Б.А. Пильняка»), Л.С. Метликина («Окказиональные плюрали в прозе Б.Пильняка») и Т.М. Ауэр («Из наблюдений над синтаксической структурой “Повести непогашенной луны” Б.А. Пильняка») проводят структурно-семантические анализы различных языковых явлений пильняковской прозы, что позволяет выявить важные особенности индивидуального стиля писателя, чьё мастерство и языковое чутьё было отмечено такими тонкими ценителями литературного стиля, каким был, например, Е.Замятин.

Последний раздел сборника составили отрывки из воспоминаний Виктора Панова о встречах с Борисом Пильняком, которые сопровождаются вступительными комментариями дочери мемуариста А.В. Пановой. Обоих писателей сблизил трагическая участь, не миновавшая многих литераторов той эпохи: Борис Пильняк был арестован и расстрелян, Виктора Панова тоже арестовали и приговорили к расстрелу, однако заменили его десятью годами заключения.

Дочь Виктора Панова вспоминает шутку Пильняка, обращённую к её отцу: «Я околдовал тебя». Действительно, писатель Пильняк околдовал тогда многих неповторимой индивидуальностью, столь ярко передающей характер той «вихревой» эпохи. Продолжает «околдовывать» и до сих пор богатством и разнообразием тем, мотивов, образов, природным чувством языка многих исследователей русской литературы XX века. Одно из свидетельств тому — материалы представленного сборника.



Ирина Евгеньевна Ракша — писатель, кинодраматург, член Союза писателей и Союза журналистов России. Вдова великого русского художника Юрия Ракши (1937–1980).

Автор 16 книг прозы, переведённых на многие языки мира.

Лауреат ряда литературных премий, в том числе «Золотое перо», им. С.Есенина, им. В.Шукина и других.

Её именем в 1995 году Российской академией наук названа планета Солнечной системы — «ИРИНАРА».

С 1994 года — Председатель приходского Совета храма Рождества Богородицы в Бутырской слободе.

«ТЫ ОДИН МНЕ ПОДДЕРЖКА И ОПОРА...»

I

Во дни сомнений

То, что в последние десятилетия происходит с нашим родным русским языком, с родной речью, давно и печалит, и раздражает. И, думается, давно пора бить в тревожные колокола. Язык наш безбожно уродуется, коверкается. Пропадают и его чистота, и его традиции. А в молодёжной среде это происходит даже с чувством какого-то мазохизма. Чем хуже, тем лучше. И процесс идёт не только в обиходной, повседневной жизни, этим давно больны и наши средства массовой информации. Радио, печать, телевидение. И если лет пятнадцать назад горбачёвские словечки вроде «начать», «покласть», «углубить», «лазит», «вылазит» и прочие (вроде, к примеру, ставшего популярным словца «похудание» вместо «похудение») произносились с издёвкой, сарказмом, как анекдот, то теперь ненормальные словеса прижились, укрепились и стали для большинства почти нормой. Порой с ужасом слушаешь ведущих дикторов и шоуменов популярных телепрограмм (например, первый канал ТВ, разговор о здоровье для миллионов жителей нашей страны «Малахов-плюс») и так и хочется по-тургеневски с негодованием воскликнуть: «Господи! как не впасть в отчаяние при виде того, что совершается дома?» А совершается, если вдуматься, настоящее преступление. Ведь от доморощенного «медика» Малахова, якобы предназначенного нести людям добро, в каждый

дом плывёт с экрана и множится по всей стране страшное зло — зараза косноязычия.

Да что там ТВ! Пройдите по улицам, послушайте реплики, разговоры прохожих, особенно людей молодых. Смешайтесь с толпой, пройдите во время перемен по коридорам школ или вузов! И, возвратясь домой, вам уж точно захочется срочно встать под душ и смыть, соскрести с себя оскорбительно-липкую словесную грязь.

Мне порой кажется, что в стране все меньше становится «русскоговорящих» людей. То есть изначально грамотно говорящих по-русски. И при этом учебные программы по русскому и литературе в школах и вузах сокращаются, становятся факультативными. Воистину, для уничтожения нации достаточно низвести язык до уровня небезызвестной Элочки-людоедки.

Конечно, объяснить прогрессирующую болезнь можно множеством причин. Как субъективных — умышленное размывание языка как устоя русской нации, — так и объективных. Политических, социальных, экономических. И действительно, с развалом великой страны пошатнулись и её языковые традиции. Среди причин — и миграция, и эмиграция, и общее оскудение и понижение уровня культуры, и, конечно, развал структур образовательных. Отсюда и безграмотность на всех уровнях, и вредоносная издательская безвкусица, и безграмотность нового поколения дикторов. (Кстати, слово «диктор» в переводе, к примеру, с исландского означает «произносящий священные тексты».)

И всё-таки, как бы то ни было, следует думать, как не впасть в отчаяние при виде того, что совершается дома. И всё-таки, что надо для начала предпринять каждому из нас, будь то писатель или читатель? Ведь сказал же любимый святой земли Русской Серафим Саровский: «Спасись сам, и многие вокруг тебя спасутся». Так вот, может быть, отбросив лень, протянуть для начала руку к своим книжным полкам, которые, слава Богу, существуют и поныне в каждом доме по всей стране (благодаря, кстати, культурной политике прошедших «застойных» времен), снять с полки, например, томик Ивана Сергеевича Тургенева и прочесть его коротенькое стихотворение в прозе (когда-то известное чуть ли не каждому, а ныне напрочь забытое): «Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины, — ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! Не будь тебя — как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома? Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу!»

Воистину — великий язык, данный великому народу, не может и не должен утрачивать и утратить своего величия. И не надо бояться бить в тревожный колокол, не надо «стесняться» вспоминать и напоминать о богатстве и истоках русского языка, об этапах его развития и истории, о великих писателях, благодаря творчеству которых язык дошёл до нас из глубины веков. Плавно притёк, словно река от истоков к устью. Конечно, разумея при этом, что существует большая наука, лингвистика, которая и призвана заниматься подобными вопросами. Правда, несколько лет назад самими учёными из академий словесности и образования чуть было не был принят закон о языковой реформе, фактически направленный на уничтожение основ родной речи, но то совсем другая история.

А мне сегодня хочется вспомнить о некоторых деталях, некоторых языковых особенностях творчества великих русских писателей. Хочется поговорить о предметной точности русской речи, её «правильности».

А точность и правильность, как известно, — главные качества хорошей речи. И, стало быть, человеческого мышления.

О связи мысли и произнесённого слова, об их соотношении и единстве писали многие мудрецы. От античности до наших дней. Аристотель, к примеру, считал: «Кто ясно мыслит, ясно излагает». А наш великий Пушкин главной ценностью прозы считал «краткость и точность». И сам был краток, а главное, точен в любом выражении. А вот Афанасий Фет патетично мечтал: «О, если бы без слов сказаться мыслью было можно!» Блистательный стилист Ф. Тютчев, говоря о «несовершенстве и слабости» собственного языка, искренне сокрушался: «Мысль изречённая есть ложь». И всё-таки именно они, наши гении Слова — Пушкины, Тютчевы и Феты — создали основу сегодняшнего русского языка. Они задали ему тон. Кстати, «задать тон» значит: подать оркестру или солисту чистый звук ноты «ля». Так сказать, для проверки общего гармоничного звучания всех инструментов. Стало быть, тон, точность звучания, «правильность» языка предполагают его гармонию и богатство.

Это — аксиома, языковая норма нашей литературной классики. И хотя речь, как сама жизнь, явление очень подвижное и, стало быть, изменчивое, нормы с начала девятнадцатого века (восемнадцатый — это ещё романтизм) остались прежними. Как, скажем, группа крови у человека. Она постоянна даже при изменении любых других показателей. А любые другие показатели могут быть необычайно интересны.

Вспомним того же Толстого, его прелестную Наташу Ростову, юную героиню романа «Война и мир». Вот она, непосредственная, как все подростки, после обеда живо спрашивает мать: «Мама! Какое пирожное будет?» И мать отвечает ей: «Мороженое. Только тебе не дадут...» На первый взгляд это может показаться некой несурзаицей. Пирожное мороженое? Но Толстой очень точен, он не грешит против правды. Просто нам, сегодняшним, уже не известно, что в прошлом веке всякое сладкое блюдо, подаваемое к столу на десерт, называлось «пирожным» (от слова «пир, пировать»). Воистину — «на пирожное было мороженое, и Катиш простыла».

А вот, например, в тургеневском романе «Отцы и дети» написано так: «Николай Петрович имел вид озабоченный. Ему донесли, что в его пшенице... показалась головня». Что ещё за головня показалась такая? Но не следует понимать (как пояснили однажды этот текст нелюбознательные студенты Литинститута) как появление в гурте зерна обугленной и даже тлеющей головни, то есть головёшки. И нам, вслед за Тургеневым, хорошо бы знать, что «головня» — это ещё и «опасное грибковое заболевание зерновых». Так что и тут автор был совершенно точен.

Вообще, понятие «точность» в русском языке имеет особый смысл. По этим «точностям», по деталям в произведениях наших классиков можно изучать целые эпохи. И слово тут — как кисть, как краски. Толстой писал: «Надо стараться довести свою мысль до такой степени простоты, точности и ясности, чтобы всякий, кто прочтёт, сказал бы: “Толстой-то? Да ведь это так просто”. А для этого нужно огромное напряжение и труд».

Творческое напряжение Толстого было воистину титаническим. «Войну и мир» он переписывал семь раз. Об этом свидетельствуют и дочь, и жена Софья Андреевна. «Анну Каренину» переписывал одиннадцать раз. «Воскресение» — шесть. Как правило, большинство писателей многократно переписывали свои сочинения в мучительных поисках единственно

оптимального варианта слова, определяющего строку, строфу, мысль. Слова, о котором откровенная Марина Цветаева, вспоминая свои ночные бдения, с трепетным жаром писала: «Не то... Не то... Не то... — И, наконец найдя, восклицала счастливо: — Это!» Точно найденное писателем слово — как праздник! И вообще, писатель начинается с того момента, когда начинает себя переписывать. Именно такой работой над словом писатель и отличается от графомана.

В первоначальных вариантах поэмы «Кому на Руси жить хорошо» Николай Алексеевич Некрасов писал о своем герое:

Поехал в город парочкой!
Глядим, везёт оттудова
Пожиточки свои.

Казалось бы, всё понятно, всё на месте. Но что-то не удовлетворило поэта. И уже в последнем опубликованном варианте текст звучит так:

Поехал в город парочкой!
Глядим, везёт из города
Коробки, тюфяки...

Действительно, один из героев поэмы, немец Фогель, возвращается из города в повозке, запряжённой «парочкой» лошадей. К тому же полной не просто каких-то неопределённых пожитков, а именно «коробок и тюфяков». Стало гораздо образней, гораздо точнее определяет характер и самого немца Фогеля. Как-то Некрасов писал Толстому: «Мне жаль моей мысли, так бедно я её поймал словом... — И далее: — Бывало, я был к себе неумолим и просиживал ночи за пятью строками... Всегда досаую, когда встречаю фразу “нет слов выразить” и т.п. Вздор! Слово всегда есть, да ум наш ленив...» В этих строках вся суть писательского труда.

Ну, а «пройтись» по многократно исписанным, исчерканным, изринованным черновикам Александра Сергеевича Пушкина нынешнему филологу — просто праздник! Ликованье души. Помните, в «Евгении Онегине» описание въезда в Москву впечатлительной, провинциальной девушки Татьяны Лариной? «Возок несётся чрез ухабы, // Мелькают мимо будки, бабы, // Мальчишки, лавки, фонари, // Дворцы, сады, монастыри...» Всеохватная, живая и живописная картина жизни первопрестольной. Но в черновых вариантах всё менее выразительно. Например, вместо «будки, бабы» — «дети, бабы». Но, вероятно, в том автор ощутил некую тавтологию и заменил на «будки, бабы». И именно полосатые будки сразу как бы расширили, разнообразили картинку городского быта. И далее — вместо выразительных видов московской архитектуры было простое перечисление: «Солдаты, девки, мужики, // Бухарцы, немцы, казаки...». Воссоздавая виды старой Москвы (да разве только одной Москвы?), Пушкин умел буквально живописать словом, как художник красками, накладывал мазок к мазку, а порой даже гуще — мазок на мазок.

Например, Александр Сергеевич, никогда не бывавший в Италии (и вообще за границей), однажды задумал написать поэму, сюжет которой происходил бы в Венеции. Но поэме не суждено было родиться. Она осталась в замыслах. Была написана лишь единственная строфа — дивный пейзаж средневековой венецианской ночи. Но всего лишь в четырёх

строках уместилось так много. Даже намёк на душевную драму, на «неравный брак». Старого с молодой. Вот, пожалуйста:

Ночь светла; в небесном поле
Ходит Вesper золотой.
Старый дож плывёт в гондоле
С догарессой молодой.

Кажется, лучше не скажешь. И светлая ночь, и широкое небесное поле! В словах гения всё предельно точно и поэтично. Но чтобы это оценить по достоинству, надо, к примеру, знать, что над головами высокочтимой пары, молча, недвижно скользящей в гондоле по тёмной глади канала, «ходит» отнюдь не «месяц золотой» (как порой толкуют читатели, обманувшись «мужским родом» слова), а Вesper. Именно — Вesper. А Вesperом называли тогда звезду Венеру. Венеру утреннюю или Венеру вечернюю. А раз ночь над Венецией ещё «светла» и Вesper ещё «золотой» (а не красный, как утром), значит, летняя ночь лишь вступила в свои права, и царственный дож со своей юной супругой отправились перед сном на прогулку. Кстати, слово *Vesper* произошло от латинского *vesper*, что означает по-русски *вечер*.

Пушкин настолько владеет всем богатством русского языка, что в любом изображении людей, предметов или явлений соблюдает поразительную точность. Хотя ведь правда искусства не обязывает его к этому, ведь правда искусства вовсе не правда жизни. А вот мы, сегодняшние, читая Пушкина, порой бываем «ленивы и нелюбопытны». И не в силах впитать величие его поэзии до доньшка.

Я сама, например, перечитывая того же «Евгения Онегина», как-то попросту, без затей и так, как казалось, произносила строку:

...И русский Н как N французский
Произносить умела в нос...

Но оказывается — не тут-то было! Произносила я вовсе не так. В этих «Н» и «N» — большая разница. Ошибка всплывает сразу при произнесении! На слове «русский Н». Поскольку по языковым нормам прошлого века, то есть по-пушкински, это следует произносить как букву старого алфавита — то есть «Наш». Вот он — алфавит: «Аз (а), буки (б), веди (в), глаголь (г)... наш (н)». Да, да, и читать следует именно: «И русский “наш” как N французский произносить умела в нос...» По этому поводу у самого Пушкина в статье «Российская академия» даже есть интереснейшее каламбурное размышление. Ну, а мы из-за незнания подобных тонкостей порой читаем неверно. А ещё, может быть, потому, что «эн» и «наш» слова односложные и одинаково легко укладываются в размер стиха.

Или вот ещё, всё из того же романа «Евгений Онегин». Татьяна, трепеща и волнуясь, собирается послать любимому написанное ею ночью письмо с просьбой о тайном свидании. Старая нянюшка, наблюдая за своей любимицей, страшно беспокоится: «Ты вся горишь...». Но Таня не слушает, даже не слышит её:

Татьяна то вздохнёт, то охнет;
Письмо дрожит в её руке;
Облатка розовая сохнет
На воспалённом языке.

Некогда, читая эти строки, я, как, наверное, и многие, думала, что бедная Таня, судя по её жуткому душевному состоянию, должна проглотить какую-то успокоительную таблетку. Возможно, данную ей, так сказать, «за кадром» той же няней. Но не тут-то было. У гения Пушкина — никаких «за кадром» не бывает. Просто в те времена «облатками» называли спрессованные розовые кружочки сухого клея, которые специально покупались и наличествовали в каждом приличном доме. Именно сим клеем, его «таблеткой», намочив которую или лизнув, заклеивали перед отправкой почтовые конверты. Так что — вот вам и «облатка», что «сохнет на воспалённом языке»!..

Но раз уж коснулись тем почтовых, то на этом «почтовая» тема в поэме не кончается. Вот её продолжение:

Она зари не замечает,
Сидит с поникшею главой
И на письмо не напирает
Своей печати вырезной.

Да, у юной Тани Лариной, как и в каждой дворянской семье, была своя собственная «вырезная», то есть гравированная инициалами, вензелями или даже портретом, печать. В то время это было особое и воистину подлинное искусство. Существовали особые художники, прекрасные и уважаемые мастера миниатюры. Маленькая именная печать могла помещаться даже в перстне. Такой «вырезной» печатью обычно ставили оттиск на письмо. Но взволнованная Таня, как мы видим, медлит, не «запечатывает» конверта и «на письмо не напирает своей печати вырезной».

Вообще, «почтовая» тема у Пушкина обширна и символична. Ее можно продолжать и продолжать, прослеживая и в прозе, и в поэзии, вплоть до «Станционного смотрителя» или «Бесов». И каждая деталь у автора будет энциклопедически точна. Прочтя печальное посланье, Евгений тотчас на свиданье «Стремглав по почте поскакал...»

Привычное для нашего слуха, даже обыденное нынче выражение «по почте» («послать по почте», «отправить по почте») в данном контексте, в поэме, имеет совсем иное значение. «Поскакать по почте» значило тогда — ринуться в путь на самых дорогих, скоростных, «почтовых» лошадях. Возможно, на тройке, и, конечно, при дальней дороге — на сменных экипажах. Резвее которых, как считалось, не могло тогда быть. (Лошадей этих, кстати, кормили только овсом, и притом отборным.) Эти конные экипажи «шли по государственному ведомству», то есть были делом государственным. И могли перевозить не только корреспонденцию, депеши или посылки, но (как исключение, и к тому же очень дорого) и пассажиров. А порой даже и «особые грузы». С глубокой печалью, душевной болью и горечью вспоминаю именно о таком «особом грузе», который везли «по почте» в ту роковую для России зиму 1837 года. После дуэли на Чёрной речке и смерти Пушкина его тело (как провидчески и как символично!) везли из Петербурга к последнему пределу именно в таких санях; зимним почтовым трактом, меняя на станциях загнанных, уставших, покрытых инеем, промёрзших лошадей. «В поле бес нас водит, видно, да кружит по сторонам».

Кстати сказать, слово «почта» — слово отнюдь не русское. Оно пришло к нам из итальянского языка. Хотя и через Польшу. Первоначально

оно означало просто остановку, станцию, так сказать «пост» для смены лошадей. Смены на «почтовом перегоне». Уже позднее слово «пост» приобрело как бы другое значение: место «стояния», место дежурства или проверки чего-либо. Например, таможенный пост, пограничный пост и прочее.

Вообще, органичное вхождение в русскую речь на протяжении веков всевозможных иностранных слов, тем более родственных старославянских или же библейских, арамейских и греческих — явление необычайно интересное.

II

Пришёл, увидел, победил

Сколько бы мы ни говорили о богатстве русского языка, но надо признать, что он буквально «набит» словами и выражениями иноязычного происхождения. На протяжении веков русский язык, как хлебосольный хозяин, принимал в своё лоно и «старые» языки — латынь и греческий, и «новые» — немецкий, французский, английский. Порой он приспособлял их, порой оставлял в первозданном виде. В связи с этим очень живой, активный русский язык Александр Сергеевич Пушкин с любовью и очень точно назвал — «общежительным». Среди иноземных языков первое место заняла в русском, конечно же, древняя латынь. И порой, произнося такие «родные» слова, как «глобус», «портфель», «юрист», «акварель», «контракт», «терраса», «вазелин», «соната», «доктор», «диктор» или «проспект», мы и не подозреваем, что всё это «латинизмы». Как правдиво рассказывает нам история, некогда у человечества был единый язык. Народы общались легко. Страны жили, воевали, торговали. Но вот однажды самонадеянно замыслили построить Вавилон, огромный город-башню. Как сейчас бы сказали — увлеклись некой гигантоманией. Такой высокий, большой, что в нём существовал бы самодостаточный, замкнутый мир, уходящий под облака, ближе к Богу. Наподобие Царства Небесного. И поселиться в нем, благоденствуя и возносясь прямо в небо. Проект обдумали и стали мало-помалу осуществлять. Однако, когда башня при неустанном многотрудном строительстве поднялась уже высоко, Всевышний Творец, разгневанный людской дерзостью, их грехами, гордыней, решил не позволить осуществиться их плану, взял и «смешал» все языки. И люди в одночасье заговорили на сотнях наречий и абсолютно перестали понимать друг друга. Строительство прекратилось. И навсегда. Вавилон разрушился, пал... Прошли тысячелетия. Но и по сей день из жаркого Багдада желающие могут проехать автобусом в пустыню, на место развалин древнего «Бабилона». И по сей день среди глыб и камней можно отыскать черепок, например, с голубым пятнышком эмали, украшавшей некогда стены легендарного града. (Кстати, есть такой черепок и у меня.) Неумолимое время до основания уничтожило башню и разметало камни. Но разноголосая речь продолжает жить на земле. И порой с большей достоверностью, чем камни, передаёт нам опыт времён и народов.

На сегодня латинский язык считается одним из древнейших, дохристианских. Языком древних римлян. (Мы не касаемся времён библейских.) И был он с расцветом Римской империи очень живым, распрост-

ранённым по всему Средиземноморью. Однако с упадком и гибелью империи стал для Европы языком лишь избранных. Элитным. Языком учёных, поэтов. Даже был назван «мёртвым». А потому в Древнюю Русь пришёл в первом тысячелетии не сам по себе, то есть путями военными или торговыми, а через живой греческий (эллинский), на котором с начала нашей эры говорило полмира. Того самого мира, который покорила бессмертная грек-эллинка Александра Македонская. Говоря фигурально, латынь въехала к нам на плечах греческого. А в Европе вплоть до Средневековья книги, научные трактаты, церковные проповеди писались на латыни. Первым нарушил традицию великий итальянец Данте. В 1290 году своей возлюбленной Беатриче поэт написал стихи на итальянском. Ему последовали Боккаччо, Петрарка, Галилей. Во Франции первым стал писать на родном французском Рабле. В России же первым восстал против латинских традиций гениальный Михайло Ломоносов. Со свойственной ему во всём отчаянной смелостью свои лекции он читал студентам по-русски. В те годы такая ломка требовала большого мужества. И хотя Александр Сергеевич Пушкин сказал: «Латынь из моды вышла ныне», она, невзирая на моду, так прочно освоилась в славянском и русском, что её порой сразу и не распознаешь. Вот, например, небольшая россыпь латинизмов-идиом, давным-давно обрусевших: «Постфактум» (дословно значит: «после сделанного»), «де-факто» («на деле, практически»); «де-юре» («по закону, фактически»); «экслибрис» («из книг»); «идефикс» («навязчивая мысль, неотвязная идея»; правда, по-русски произносят неправильно, как «идея фикс»). «Проформа» — формально, для видимости, ради формы. «Персона нон грата» — нежелательная личность. Или вот — «альма матер». Альма — кормящая, питающая. Матер — мать. Средневековые студенты часто называли так свои школы, духовно их «кормящие». Так по сей день и осталось с их легкой руки. Или порой мы жёстко говорим: «Жребий брошен», не вспоминая, что это латинизм. Формулу бесповоротного решения впервые произнёс знаменитый римский военачальник Гай Юлий Цезарь. Вернувшись после многих победных походов, он стоял с легионами на берегу пограничной итальянской реки Рубикон. Навстречу ему сенат прислал запрет переходить границу. Все знали — Цезарь жаждет власти. Но он непреклонно воскликнул: «Жребий брошен!» И, с конницей вплавь перейдя Рубикон в 49 году до Р.Х., захватил Рим, стал диктатором. Отсюда же выражение «перейти Рубикон», то есть перейти грань дозволенного. А вот ещё латинизм: «Всё моё ношу с собой». Римские историки рассказывают: в дни завоевания персами греческого города Приены (570 год до Р.Х.) по дороге, ведущей вон из горящего, разграбленного города, тащились несчастные беженцы, тяжело нагруженные спасённым домашним скарбом. Лишь старый мудрец Биант шел с ними не спеша, налегке. На вопросы, где его имущество, отвечал: «Всё моё ношу с собой». На привалах у костров старик успокаивал измученных сограждан, рассказывал притчи, истории. И все понимали — истинная ценность не в поклаже, а в душевной мудрости и добром сердце.

А вот что случилось в 1415 году в Чехии. На городской площади у ратуши казнили осуждённого. Он был привязан к столбу, стоя на высоком ворохе хвороста. Его звали Ян Гус. Его — учёного, патриота, борца за свободу народа — католическая церковь приговорила к сожжению. Костёр должен был вот-вот вспыхнуть. И вдруг осуждённый увидел набож-

ную старушку, спешащую к месту казни с охапкой хвороста. Та, блага ради, намередвалась подкинуть её в огонь. И Ян Гус с безысходной горечью воскликнул: «О, святая простота!» Ведь как раз за счастье людей и этой старухи он боролся и теперь погибал. Восклицание живо и посегодняя. Ведь в своей невежественности люди порой не ведают, что творят... Вот написала, и мелькнуло — Ян Гус, чех, патриот, а предсмертные роковые слова произнес на латыни. Наверное, отнюдь не из любви к ней. А скорее в назидание человечеству. Впрочем, история знает подобное. Умирая, Антон Павлович Чехов, с последним вздохом, сказал по-немецки: «Ихь штербе» — «я умираю».

А в связи с латинизмами вспомню ещё раз о Цезаре. В 47 году до Р.Х. он возвращался из Египта в родной Рим. И по пути, как бы между прочим, в бою при Зеле нанёс поражение понтийскому царю Фарнаку. В Рим же отправил гонца с донесением сенату. Всего в три лаконичных и гордых слова: «Пришёл, увидел, победил!» С тех самых пор уже две тысячи лет звучит на земле по самым разным поводам эта фраза.

Вот вам и «мёртвый» язык, который постоянно живёт у нас на устах. Воистину — пришёл, увидел, победил.

III

Свободный... слободный...

История любого общества неразрывно связана с историей слова. Причём история слова бывает порой не менее интересной. Она как зеркальное отражение жизни. И в том зеркале, если попристальней взглядеться, можно увидеть много необыкновенного и даже нового. А новое, как известно, хорошо забытое старое. В древнерусском языке, который был некогда общим для будущих русских, украинцев, белорусов, имелось такое слово — *слобода*. Тогда оно означало группу сородичей, живущих совместно. Однако шли времена, и этим словом стали называть уже целые поселения свободных людей, целые сёла. Они были несколько отдалённые от «города», находящегося обычно внутри крепостных стен, и от посадов (от слова *сад*, сажать, посадить), расположенных сразу за городскими стенами. В России XI–XVIII веков слободы располагались обычно на частных, «своих», исконных землях и потому освобождались от податей и земельных налогов. Отсюда пошло и название «слобода», то есть — «**свобода**». Отнюдь не случайно и сегодня в российской глубинке можно в народе услышать: «Да холостой он, слободный, слободный». Слободы существовали разные — земледельческие, торговые, ямские, солдатские, ремесленные и даже иностранные. Вокруг старой Москвы, например, Крестовская и Мытная, Лефортово и Хамовники. Слободы были «чёрными» (государственные) и «белыми» (частные). Но всегда отличались они чистотой и своеобразной красотой, цветущими сиренями в палисадах, резными ставенками домов. И гармонии играли, и голосистые песни там пелись: «Как за реченькой за Ламой, ой, слободушка стоит». Гоголь, к примеру, в «Мёртвых душах» писал: «Мне было весело подъезжать в первый раз к незнакомому месту: всё равно, была ли то деревенька, бедный уездный городишка, село ли, слободка».

Слободжане были гордыми, вольными. Частенько прятались там и беглые. С гордостью говаривали: «Слободской люд слободный». Имелся у

них и слободской староста, и своя управа. Но от века к веку города росли, сливались с посадами, заставами, бутырками и, конечно же, со слободами. Со временем становились слободы пригородами. Постепенно слобожане теряли свои ремёсла, профессии, они сохранялись только в названиях. В XIX веке в слободах стали строиться фабрики и заводы. Менялось и население. Ремесленников, сытых мещан, купечество на окраинах вытеснил рабочий, бедный и недовольный люд. И называться стал — «пролетарии». Помните, у Горького в романе «Мать»: «Каждый день над рабочей слободкой дрожал и ревел фабричный гудок». Эти-то слободы и делали революции.

В Москве издавна было много слободок. Но одна из них, расположенная за Москвой-рекой, нам особенно дорога. И называется — Хамовники. В этой части старой Москвы в XVII веке жили ткачи-«хамовники». Слово пришло к нам из древности, из старославянского, и означало «полотно» или попросту «ткань». «Хамовное дело» значило ткацкое дело. А на «хамовном дворе» сушили, белили полотна. Давным-давно исчезли оттуда ткачи. Сегодня это почти центр шумной десятиллионной столицы, а вот мягкое, шелестящее, словно ткань, слово осталось, выжило. Давно там нет земляного охранного вала и рва с водой, но остался «Хамовнический Вал». Само историческое название каждому русскому особенно дорого. Ведь в 1882 году в этой части Москвы — тихой, уютной, «липовой» — купил себе дом (и двор со службами — каретником, дровяником) писатель Лев Николаевич Толстой. Обычно он жил здесь с большой семьёй и челядью зимой, а летом переезжал в имение — Ясную Поляну. Задумав роман о временах Петра Первого (к сожалению, так и не осуществлённый), Толстой писал в дневниках: «Хамовный двор находился в слободе Кадашове». Так что именно «хамовной слободе Кадашова» мы обязаны появлению **шестидесяти произведений** гения русского Слова. «Власть тьмы» и «Плоды просвещения», «Воскресение» и «Живой труп». И сегодня по праздникам, особенно по престольным, как и столетие назад, плывёт там над крышами и цветущими липами колокольный малиновый звон. Это бьют колокола нарядного, яркого храма «Николы в Хамовниках», с любовью вплетая свой голос в общий московский благовест.

IV

На лбу написано

Заглянем в истоки некоторых идиом, пословиц и поговорок, которые мы часто произносим, даже не подозревая об их первоначальном смысле. Ряд таких выражений имеет авторство. Сочинения Пушкина, Гоголя, Салтыкова-Щедрина, Грибоедова полны ярких, образных идиом: «Пошла писать губерния», «С корабля на бал», «Герой не моего романа» и пр. Другие же дошли до нас из глубины веков, и авторство принадлежит, как принято говорить, самому народу.

Вот, например: «Иван, не помнящий родства». Вполне официальная юридическая формула. Она родилась около 1560 года, в царствование Бориса Годунова, в период окончательного закрепления крестьян на земле, то есть установления крепостного права. Беглые крепостные крестьяне, «беспашпортные бродяги» или каторжане, при поимке в полицей-

ском участке «забывали» обычно своё происхождение и своё имя. И назывались чаще всего Иванами. В судебных протоколах так и писали: «Назвался Иваном, родства не помнящим». Именно таким и дошло выражение до наших дней. А ныне означает человека без принципов и идей, который предал свои убеждения и исконные традиции. Салтыков-Щедрин как-то написал: «Я не... связываюсь и предпочитаю быть осторожным с людьми, не помнящими родства».

А вот такую поучительную фразу кто из нас не слышал от родителей в детстве: «Делу время — потехе час». Мы терпеть её не могли, потому как кому же охота бросать игру («потеху») и приниматься за уроки. А ведь уже четыре столетия бытует фраза. А автор её — Тишайший царь Алексей Михайлович, любивший во всём порядок и законность. Он-то и приписал данные слова собственноручно в сборник правил о соколиной охоте («Урядник»). До сей забавы и сам царь, и подданные (бояре, придворные, челядь) были тогда великие охотники. Псовая охота оказалась не в чести, а вот соколиная быстро вошла в моду. Хороший, учёный сокол стоил многих денег. Иногда дороже коня или своры собак. Азартными соколиными охотами на лис и волков в окрестностях Москвы (отсюда, кстати, и названия *Сокольники*, *Сокол*) занимались, в ущерб делу, неделями, месяцами, буквально все имущие. Забывая даже государеву службу. И вот однажды разгневанный царь Алексей Михайлович вызвал в хоромы писаря и дополнил свой «Урядник», свод законов, строжайшей фразой: «Делу время, потехе час». Дабы за «потехой», которой положено отводить лишь короткое время — «час», не забывали о делах государственных, которыми надобно заниматься основное время. Вот такие дела.

Совершенно безобидную легкую фразу «У него же на лбу написано» мы сами произносили с вами не раз. Вспомните. Может, даже вчера... Или позавчера?.. И уж во всяком случае не думали о её происхождении. А корни истории уходят аж в семнадцатый век, во времена так называемого «медного бунта» (широко известный бунт рабочих медных копий и уральских медеплавильен).

Вот оно — первое официальное письменное свидетельство о клеймении непокорных людей на Руси. «Разжегши железо напрасно, — пишет древний свидетель, — клали на лица, на правой его стороне, знак — “Буки” (буква “Б” означала “бунтовщик”. — *И.Р.*), чтоб оный был до веку признатен» (то есть узнаваем). Правда, через сто лет, в 1746 году, «добрая» императрица, просветительница Елизавета Петровна, ввела своим указом серьёзное изменение — клеймение «воров и злодеев» уже на лбу. «На лбу написано, дабы отличны были от прочих добрых людей».

Отсюда и пошли уже вполне современные и известные нам производные слова и фразы: «прожиг», «прожжённый мошенник и плут», «заклеймить позором» и даже, если хотите, «проклятьем заклеянный», и так далее. Следует, кстати, сказать, что клеймение, как скота, так и рабов, было в древности делом вполне обычным. Не говоря уж о провинившихся. Однако в странах Востока и Средиземноморья, где к ворам широко применялось отрубание пальцев, кистей и даже рук, клеймение, бывшее на Руси, считалось наказанием даже гуманным. К примеру, в дохристианском Риме гораздо большим, чем воровство, преступлением считались злословие, сплетни и клевета. И обычно решением римского суда (римское право и по сей день считается эталонным) присуждалось на лбу подсудимого выжигать букву «К» — «калюмниатор», что в переводе значит — «клеветник».

В России обычай клеймения окончательно отменили в 1863 году, при государе Александре II.

V Без дураков

Русская речь, русский язык столь образен, столь разнообразен и столь богат, что за любым выражением или половицей стоит обычно интереснейшая история. И, может быть, следует вспомнить некоторые из них.

«Раскусить человека» — вполне обыденная фраза всего в два слова — имеет давнюю историю. Раньше, когда на Руси ходили золотые и медные монеты, при торговле их подлинность проверялась прикусыванием монеты зубами. Блеск на вмятине позволял отличить подлинник от фальшивки. Отсюда и пошли выражения: «знать на зубок», «взять на зубок» или, более того, «раскусить», хотя бы и человека. «Я тебя раскусил» — то есть узнал до конца. Понял твои намерения и суть.

«Стоит как вкопанный» — тоже довольно частая фраза. Она родилась на Руси в XVII веке при царе Алексее Михайловиче Тишайшем. Голландские купцы, вернувшись из России домой, рассказывали, что видели возле Кремля, на Красной площади, вблизи царских палат, страшную картину — зарытых в землю по самые уши женщин. Действительно, такая казнь (только для женщин) была узаконена в «Соборном уложении» особой статьёй.

Если «баба» чинила по какой-либо причине «мужу своему убийство», то оную следовало «стоймя живую окопати в землю — и так держать — покамест она не умрёт». Вот как было, мужа-то убивать!.. С тех пор народ и сохранил образное выражение: «стоит как вкопанный», то есть чем-то так поражённый, что не шелохнётся.

И раз уж мы заглянули в русскую историю, то давайте вспомним и популярное выражение: «Чтобы впредь неповадно было». В 1649 году всё тот же просвещённый царь Алексей Михайлович (сын Михаила Фёдоровича, первого из Романовых) ввёл это выражение в свое знаменитое законодательное «Уложение». Смысл фразы — наказание «сотенных», которые незаконно и самовольно предоставляли военным отпуска со службы. (Разумеется, за хорошую мзду. Как теперь говорят — за взятку.) Без воеводского на то соизволения. Так вот, теперь «за самоуправство оные подвергались битию батогами» и даже каторге, «чтобы впредь неповадно было так делати».

Ну, а когда слышим выражение: «Что за филькина грамота?» — у нас сразу всплывают в памяти школьные годы и даже строгий родительский голос. Или вспоминается недавний сердитый голос «начальства». А пошла фраза от Ивана IV Грозного. И на самом деле человека жестокого. Для закрепления своей безграничной власти свирепый царь ввел опричнину, «злую службу», жестоко каравшую ослушников. Всех подряд. Без учёта должностей, званий и даже провинностей. Опричники с наслаждением расправлялись с любым заподозренным. И пошли на Руси повальные казни. И полетели с плеч неповинные головы князей, бояр, духовенства. Первым противником сих злодеяний стал мудрый митрополит Московский Филипп.

В постоянных своих посланиях он увещевал, просил образумиться «обезумевшего во зле» государя. Просил опомниться, распустить своих головорезов-опричников. Грозил безбожному извергу отлучением от Церкви. Однако Иван Грозный упорствовал, с презрением усмехался. Публично именовал благочестивого митрополита всея Руси Филькой, а его послания называл «Филькиными грамотами».

Позже он жестоко погубил безвинного мученика митрополита Филиппа, который не отступил от Божьих Заповедей, от христианских своих убеждений — добра, справедливости и любви. Его заморили. Погиб страшной голодной смертью. А вот хлёткое государево выражение «Филькина грамота» благополучно дожило до наших дней. И стало означать пустышку, «липовый документ», который не имеет ни основания, ни уважения, ни веса.

Вспомните курьёзное выражение: «Брито! — Нет, стрижено!» Оно пришло к нам как исторический анекдот. Возвратясь из Голландии и насмотревшись европейских обычаев и укладов, император Петр I запретил на Руси «мужескому» полу носить бороды. Решил жить тоже на европейский лад. Ввёл в обиход ненавистные у нас бритьё и стрижку волос. Однажды мужик, собираясь «в ассамблею», сбрил бороду и похвастал жене, как он чисто побрился. Однако сварливая, «перекорливая» (лишь бы наперекор) жена отвернулась капризно: «Весь в клочьях... Рази это брито?.. Так... Стрижено». Мужик обиделся, шупая подбородок: «Нет, брито». И заспорили они, заругались: «Брито!» — «Нет, стрижено». Да так вконец распалились, что сгрёб мужик свою упрямую бабу в охапку и кинул в реку: «Я покажу тебе, как с мужем спорить! Сказал же — брито». А та уж и тонет, и прямо совсем под воду уходит, рта уж открыть не может, а всё-таки руку высовывает из воды и двумя пальцами, как женщинами, «стрижет». Показывает: мол, не брито, а стрижено, стрижено...

Эта версия происхождения — из серии исторических анекдотов. Справедливости ради отметим, что задолго до времён Петра I существовала народная сказка о жене, принявшей смерть от руки мужа, но не уступившей ему в таком «важном» споре — брито или стрижено...

Вот и сейчас, в бесполезных спорах, можно порой услышать слова, упрямо сказанные в сердцах три столетия тому назад: «Я говорю ей — брито, а она всё — стрижено, стрижено».

Порой в споре мы говорим: «Ну, хватит подливать масла в огонь». То есть ещё больше разжигать ссору. А родилась идиома не сотни, а тысячи лет назад. Точнее — две. В странах Средиземноморья другого топлива, кроме дров и масла, тогда не было. Дрова бесценны, масло дешево. И вот, дабы испечь, к примеру, хлеб или оживить в пустыне костёр, в огонь подливали немного масла. И тот вспыхивал с новой силой.

Фраза «не лезь на рожон» чисто русская. В древности рожном называли заострённый кол или двузубую рогатину. С рожном ходили охотники, как правило, на медведя, который в азарте вполне честной битвы мог лезть вперёд, буквально накалываясь на рожон и так, естественно, погибая. Ныне, к сожалению, справедливость такого поединка исчезла. Охотники уничтожают зверьё бесстрастно, безопасно, сквозь оптический прицел. И не для питания, а для потехи, для жутковатой забавы. Так что рожна уже нет, его заменило ружьё. Но русский язык сохранил предупреждение — не лезть, не нарываться на неприятности, а то можно и проиграть.

А вот выражение «без дураков» мы сегодня слышим повсюду. От взрослых и от детей. В школе, в офисе, на базаре и дома. Это чисто мос-

ковское выражение. Родилось оно на Московии несколько веков тому назад. Когда-то в государеву думу, в золотые кремлевские палаты соби- рались «думу думати» особо знатные и уважаемые бояре. И выносить по особым причинам особо важные решения (отсюда, кстати, слово «Дума»).

Так вот, на такие сходы посторонние не допускались. Ни стража, ни челядь, ни даже шуты-скоморохи (дураки), которых в обычное время пускали в Кремле повсюду. Вот и сегодня, когда решают что-то всерьёз, то обычно сходятся «без дураков».

Очень актуально в наше время такое понятие, как «круговая порука». С ней мы сталкиваемся с детства. Да и потом в жизни. Она бывает всюду. На работе, в тюрьме, в парламенте. И мало кто знает, что впер- вые эту формулу официально записали в «Русской правде» — сборнике указов XVI века. Круговая порука узаконивала коллективную ответствен- ность за некое происшествие в городской или сельской общине. Напри- мер, общий штраф, общая подать, «круговой сбор денег» (с каждой трубы), за сломанный мост или кладбищенскую ограду, за нераскры- тое убийство или похороны неимущего. Помните сюжет в старинной песне «Меж высоких хлебов затерялся»? В небогатом сельце, где слу- чайно «застрелился чужой человек» («суд приехал, допросы, тошнё- хонько»), «поспешили деньжонок собрать» (плата «по кругу»), и вот уже «под густыми плакучими ивами упокоился бедный стрелок». Мину- ли столетия, и сама суть понятия изменилась. Теперь «круговая порука» означает скорее нечто негативное. Обет молчания соучастников, по- крывающих друг друга.

А повседневная очень образная фраза «с боку припёка» звучит не только на кухне. И означает что-то постороннее. Это кто-то чужой, при- ставший и совсем не желательный. А пошла она действительно от пека- рей. Когда к празднику хозяйки пекут на кухне блины, пироги, пирож- ные, так приятно попробовать горяченькую хрустящую припёку печёно- го теста. Однако пекари-профессионалы хлебный «припёк» считают бра- ком в работе. Ну, а для нас дома с боку припёка бывает вкусна и так аппетитна, словно пенки с варенья.

В царской России XIX и начала XX века существовал распространён- ный обычай благотворительности (творить благо), сбора средств «в пользу бедных». Затем слово заменили чужеземным «меценатство», а ныне и вовсе «спонсорство». Как бы то ни было, благотворительность делала много доброго. Для сбора средств проводились среди имущих — дворянст- ва, купечества — «благотворительные вечера», где для посетителей бес- платно играли, пели и музицировали артисты, поэты читали стихи. Сбо- ры за билеты, а также добровольные пожертвования гостей в конце ве- чера на «серебряное блюдо», которое обносила по столикам обычно са- мая красивая и почётная гостья, шли на строительство больниц, богаде- лен, странноприимных домов — для странников, иначе бомжей. В таких вечерах с гордостью принимали участие и наши великие Шаляпин, Пле- вицкая, Собинов, Вьяльцева. В XIX веке — Варламов, Чайковский, Не- красов.

Но не всегда вечера давали серьёзные сборы. Часто, особенно в про- винции, они становились поводом для участия в балах, танцах, выпивке, болтовне. Такие пустые говорильни, когда о жертвенной цели «мероприя- тия» забывали, и стали называть «разговором в пользу бедных». Нынче фраза имеет в виду неискреннюю болтовню, фальшивые обещания.

VI

В обнимку с приставкой

В своей речи мы постоянно употребляем однокоренные слова. Они пришли к нам из глубины времён, издревле. Конечно, эти однокоренные слова, к примеру такие, как «дерево», «жизнь», «заря», «дом», «солнце», были когда-то кем-то впервые произнесены и уже затем «закрепились», зажили в русской речи своей жизнью. Однако в полном смысле русскую речь стали образовывать бесконечно множасьиися, так называемые «производные» слова. Этими-то производными наш язык и обязан своему неимоверному богатству.

Что же касается слов коренных, то в знаменитом «Толковом словаре» В.И. Даля их, вообразите себе, двести тысяч. А в семнадцатитомном «Словаре современного литературного русского языка» слов более ста тысяч. Кстати, в эти словари не вошли слова-«профессионализмы». Это отдельный огромный лексикон. Мы же будем говорить о языке литературном. Как заметил поэт: «Я мог бы написать “Прогулки маляров”, “Прогулки столяров”, но по пути мне вышло с фраерами». И всё-таки сколько же в русском языке слов? Помните, Эллочка-людоедка спокойно обходилась двумя десятками слов (кстати, таких Эллочек и сегодня предостаточно). А вот великий Пушкин с наслаждением «купался» в словах, жонглировал ими. Лексикон его был неисчерпаем. О языке Пушкина написано множество книг. А мы зададимся вопросом: всё-таки сколько же слов в русском языке?

Но, думаю, лучше, чем Николай Васильевич Гоголь, на это никто не ответил. «В каждом слове бездна пространства, каждое слово необъятно...» Да. Вот такой уж он необъятный, наш русский язык. А всё потому, что в нем постоянно «работают» такие трудяги, как суффиксы, приставки, префиксы. Они без конца «прилепляются» к основе, корню слов и образуют новый смысл, иное значение или оттенок. Например, глаголы «искать», «писать», «читать» и др. благодаря суффиксу «тель» превратились в существительные «искатель», «писатель», «читатель». А, к примеру, приставка «на» образовала слова «наглядеться», «нагуляться», «наскучить». И даже такие смешные современные слова, как «наплюхаться», «намакарониться», «намудрить», «надраться», «науськать», вполне всем понятны. Способов производства слов в русском языке множество. Но в обнимку с приставками возможности бесконечны. Можно образовывать совершенно новые и даже забавные слова. Пушкин, например, в прошлом веке придумал: «огончарован». (Имея в виду свою жену Наталью Гончарову.) А писатель и актер Василий Шукшин в наши дни сочинил свою «профурсетку». Так эта «профурсетка» с лёгкой руки Василия Макаровича и вошла в нашу жизнь, в нашу речь. В повседневный быт. И даже как бы обогатила язык. Или вот совсем «свеженькое» словцо: «озвереть». Услышишь где-нибудь вечером в темном переулке: «Ты чё, совсем озверел, что ли?» И сразу поскорей уйти захочется. Тут не вспомнишь о том, что слово образовано приставкой «о» и корнем «зверь». Лишь бы целым остаться. Кстати, один вьетнамский сценарист, учившийся вместе со мной во ВГИКе, виски, например, называл «озверином». На вопрос — почему? — объяснил с печалью в глазах: «Во время войны американским солдатам, идущим в бой, в атаку, давали выпить виски. Для храбрости. И они зверски били и стреляли во всё живое». Вот, оказывается, и ещё одно значение этого слова.

Приставка «о», в общем-то, бесконечна. Не имеет конца, как и её овальная форма. Судите сами. «Оскудеть», «опечалиться», «осунуться», «опростоволоситься», «очуметь», «осиротеть»... и так далее, и так далее. Вы, пожалуй, и сами можете продолжить этот перечень. Так сказать, посоучаствовать в словотворчестве. Можете даже попробовать сочинить, сотворить собственное слово. Лишь бы оно было понятно и благозвучно. Это вполне интеллектуальная, приятная и даже семейная «игра в слова». Например, образуйте слова с разными приставками. Скажем, «за» или «про», или «на». С разными приставками одно и то же слово приобретает бесконечно новые качества, новые смысловые оттенки. Возьмём глагол «бежать». Меняя приставки, вы можете менять направление, характер и даже качество бега. *Убежать, вбежать, прибежать, отбежать, набежать, избежать, пробежать...*

Новые злободневные слова, продиктованные нашим временем (пусть даже жаргонные, которые нас раздражают, но которыми часто пользуются наши дети), вполне поддаются «научному» рассмотрению и объяснению. И, если эти слова не «грязные», обязательно следует обсудить их в семье с детьми. Откуда, как и почему возникли все эти «оттянулся», «прикид», «ништяк», «глушанул», «клёво», «тащусь», «достал», «заколебал», «типа» имеют свою собственную смысловую и этимологическую трактовку. Для таких слов существуют даже свои «дома», «крыши». То есть особые словари, хранилища различных жаргонов, даже жаргонов тюремных, собранных за несколько столетий.

Ведь язык, словно река жизни, постоянно течет, изменяется. И как в воду, в него нельзя ступить дважды. Примерно каждое столетие складывается речь определённой, обновлённой структуры. Основу нашему современному реалистическому литературному языку дал Александр Сергеевич Пушкин. А до него был романтический язык — Державина, Фонвизина, Карамзина.

И, конечно же, нам сегодня, думаю, очень интересно и полезно путешествовать «в глубь слова».

Вот, казалось бы, обычное слово: «сутки». «Су-тк-и»... Приставка «су» или «с», «со», что значит — «вместе». *Со-ратник, с-путник, со-чинитель*. «Тк» — древний корень, означающий сТЫКовку. Он же в словах «стык», «стукнуть», «ткнуть».

Даже слово «ткань» — не что иное, как сТЫКовка множества ниток. А «и» — знак множественного числа. Вот так и получилось слово от столкновения и единения часов дня и ночи — «сутки». Некая самостоятельная единица времени. Как говорится: «День и ночь — сутки прочь». Замечу, что ни в английском, ни в немецком или французском понятии такой «стыковки» часов — «суток» не существует. Владеющие языками это прекрасно знают. Там есть лишь понятия «часы», «день», «ночь». Или же «двадцать четыре часа». И всё. Русский же язык буквально изобилует возможностями словообразования. Изобилует образными, красочными словами-понятиями. Почти каждое русское слово — это особый рассказ. Интереснейшая, порой детективная или лирическая история.

Некогда в древности, ещё до нашей эры гениальный Гомер очень точно сказал: «Гибок язык человека... Поле для слов, и туда и сюда, беспредельно...» Вот мы с вами и побродили по этому чудесному, всегда свежему от новой поросли полю.



НАШИ
ХУДОЖНИКИ





Фото Павла Зеленецкого

КРЫЛАТЫЙ ХУДОЖНИК



*М.Абакумов. Вечерние
призраки (фрагмент)*

Михаила Абакумова когда-то провозгласили «Моцартом в живописи», «солнечной кистью России», потом окрестили «живым классиком». Известный искусствовед Владимир Погодин на одном из вернисажей придумал художнику почётное и весёлое звание — «соловей русской живописи».

Кто коротко с ним общался, тот знает, что человек он светлый, жизнерадостный, импульсивный. Но сложный. Вместе с тем он «мощная Личность и обязательно с большой буквы», как считал близкого его знавшего писатель Валерий Корлёв.

Михаил Георгиевич действительно пишет свободно и легко, как поёт соловей. Мне не раз приходилось наблюдать, как он работает на натуре. За два-три часа большое полотно почти готово. Маленький этюд — полтора-час. Потом в мастерской ещё немного тронет кистью, не переписывая, не замучивая никогда. Это похоже на чудо — такое огромное мастерство. Природная острота композиционного видения, совершенное чувство цвета и, конечно, каждодневная работа с юных лет до сего дня — вот откуда это чудо творчества.

Муки творчества — это не про него. Скорее — радость творчества.

Его живопись определяют как лирическую, романтическую, настроенческую и даже божественную. Сам он шутя называет её «моя психованная живопись», имея в виду энергетику, темперамент.

Но православное сознание художника уравнивает чувства. Не безудержная гордыня самовыражения, которое до сих пор в моде у многих, любящих себя в ис-

кусстве, а отражение в творчестве красоты Божьего мира. Это — первое кредо художника.

Отражение мира — не обязательно строгий реализм. В пейзажах мастера соединяются и другие возможности, близкие его душе, — импрессионистическая живость впечатления, яркая цветовая образность, идущая от народной традиции.

Светоносность, воздушность холстов Абакумова делают его наследником Алексея Саврасова и Исаака Левитана, ставят его в один ряд с Константином Коровиным, Николаем Ромадиным, Ефремом Зверьковым. Абакумов продолжает традиции русского импрессионизма.

В его произведениях всё живёт и движется: листья, травы, воды, снега, ветки деревьев, небеса. Видимую картину мира он пропускает через своё сердце, что и придаёт его пейзажам яркую авторскую взволнованность.

Цвет иногда становится напряжением до звука, а иногда до абсолютной тишины. Слышно, как струится по камням «Студёная речка Сить», как «Звонит тишина», как «Ангелы поют», как шелестят листья, когда «Идут золотые дожди», как свистят «Ветры осенние». Неизменно в творчестве Абакумова одно — его горячая любовь к нашей огромной и прекрасной Родине, которую он старается нам передать.

Храмы, крепости, кремли, монастыри

Главная любовь Михаила Абакумова — архитектурный пейзаж. Не зря же он родился и вырос в одном из красивейших древнерусских городов Подмосковья — Коломне. Церкви, старинные городские усадьбы, купеческие дома — в таком он и сам жил в детстве, и сейчас его мастерская находится во флигеле такой усадьбы.

Его предки по отцовской линии — егорьевские купцы, старообрядцы. Один из дедов поднялся по Волге из Нижегородской губернии и обосновался в деревне Негомож на Оке, а потом переселился в Коломну и купил там дом. Основательный и рискованный одновременно, противоречивый по натуре, он торговал успешно: однажды даже выгодно продал земельный участок брату Саввы Морозова. Держал свой выезд и не отказывал себе в удовольствии обогнать городского голову, хотя за это полагался штраф. Не от него ли страстный, независимый, но и практичный характер внука?

По материнской линии все предки православные. Бабушка крестила Мишу, читала ему Евангелие и Псалтырь уже в послевоенные, вполне советские времена. А отец вспоминал, как в 20-е годы прошлого столетия жгли на площади иконы на огромных железных листах. Однако бабушкины образа и книги сохранились в квартире внука до сих пор. Отец стал классным слесарем-лекальщиком, человеком мастеровым, но остался влюблённым в землю огородником. Был строгим, даже крутым, если по делу; увлечение сына живописью не поощрял, говаривал при этом: «Ты что, до седых волос будешь бегать на овраг картинку писать? Учти, все станки в мире сделаны на правую руку». Миша был левша и писал этюды левой рукой. Однако позже он усиленно плотничал на станке, когда захотел сам делать рамы и подрамники, а потом и дом строить. От мамы ему достались доброта, покладистость, и он отцу не перечил, но тихо и прямо стремился стать художником.

А родительский дом с яблоневым садом и огородом в 80-е годы снесли. Архитектурный пейзаж в начале творчества Михаила Абакумова преобладал в этюдах и небольших работах. Это был период поисков своей темы и своего стиля.

Он принципиально не писал разрушенные храмы. Другие художники возмущались, но писали, надеясь привлечь внимание властей, взывая к их совести. А Михаил, если и напишет, то обязательно найдёт какой-то красивый ракурс и восстановит крестик, хотя тогда их ещё и в помине не было. Даже прекрасный Бобренов монастырь, творение Матвея Казакова, бывший тогда в небрежении, не писал. Впервые сделал этюд в 2000 году, когда монастырь стали восстанавливать.

«Художник пишет то, что он утверждает» — кредо Абакумова.

И ведь напропорочил в своей уверенности, в своём страстном желании. Если приехать сейчас в Коломну, то можно увидеть, что все храмы восстановлены, служат, два монастыря работают, ещё два — близки к открытию. Чистота и благолепие вокруг них.

Михаил Абакумов не только воссоздаёт зрительные образы храмов на своих полотнах, но и принимает участие в возрождении памятников древнерусской архитектуры. На Вологодчине, в местечке Бережок, был в запустении прекрасный храм Преображения Господня, окружённый великолепным сосновым бором. Храм был построен в честь победы в Отечественной войне 1812 года.

Собрались художники из Вологда и Москвы, написали письмо владыке Вологодскому с просьбой озаботиться об этом храме, обещали свою помощь. Прислали батюшку, назначили старосту церковной десятицы; нашёлся плотник, который начал делать деревянный резной иконостас, а художники и местные жители дружно принялись за очистку территории. Потом освятили храм, устроили крестный ход. Теперь там идут службы, молебны на престольный праздник, крещения детей.

«В благословение к трудам на благо Святой Церкви» Михаил Абакумов был награждён в 1999 году Патриаршей грамотой, а в 2005 году — медалью Русской Православной Церкви Преподобного Сергия Радонежского I степени.

Художник пишет не только церкви. Кремли, крепости как памятники воинской славы — у Михаила Абакумова такой пейзаж обыкновенно перерастает в исторический. Он писал их в Пскове, в Изборске и Старой Ладоге, в Калуге и Боровске, Рязани и Зарайске, Тотьме и Великом Устюге, везде находя сердце каждого города.

Отдельная страница в творчестве Абакумова — панорамные архитектурные пейзажи.

Панорамы городов были в изобилии представлены в XVII—XIX веках работами художников-графиков В.Березина, Е.Федосеева, И.Мошкова и других. Они носили подробный описательный характер, их историческая ценность несомненна.

Но в современной живописи, пожалуй, нет другого художника, кто бы так целеустремлённо решал задачу панорамного пейзажа, как Михаил Абакумов. Среди них есть безусловные шедевры. Это его несомненный вклад в искусство. Из десятка предложенных работ Третьяковская галерея выбрала две панорамы Михаила Абакумова: «Бурный день. Великий Устюг» (2003) и «Уходят грозы» (2003).

В панорамном полотне изобразительный ряд разворачивается не вглубь и не вверх пространства: он носит фризовый характер, что позволяет

последовательно и неспешно просмотреть, например, течение реки, движение дороги, рассмотреть храмы, колокольни, дома, если они многочисленны, и создать в памяти более полное впечатление от города. При этом короткая сторона может не два раза, как принято, а три-четыре укладываться в длинную сторону.

Однако панорамными могут быть не только архитектурные пейзажи. Лирический провинциальный и деревенский пейзажи у Абакумова тоже часто бывают панорамными. В качестве примеров приведу «Старый колодец» (2000), «Предчувствие осени» (2000), «Осень на Бережке» (1994), «Половодье в Коломне» (1994).

В своих панорамах Абакумов — несомненный и верный наследник Николая Ромадина, поклонника красоты природы и цветового образа. Близок Михаил в понимании цвета как главного изобразительного средства и к другому значительному художнику конца XX века — Никите Петровичу Федосову. К сожалению, при жизни не успел назвать его своим учителем, но встречались они и разговаривали о творчестве не один раз.

* * *

Многие столичные художники стремятся надолго уехать работать в глубинку, где ещё сохранились народные традиции и красота природы. А живописцы, живущие постоянно в малых городах России, воспитанные в домах под рябинами и берёзами, где истоки их духовного мира и патриотизма, и есть лучшие «певцы провинции святой».

Вот друзья Михаила Абакумова, близкие ему по духу: академики Валерий Страхов из Вологды, Александр Клюев из Красноярска (мастер эпического пейзажа Сибири), Виктор Харлов из Вятки; заслуженные художники России Виктор Корсаков из Рязани и Михаил Изотов из Владимира; художники и педагоги Сергей Коровин из Ярославля и Сергей Селиверстов из Челябинска; прекрасный живописец Юрий Панцырев из Ульяновска — всех не перечислишь. Вместе они представляют большую силу реалистического искусства, способную противостоять бездуховности и пошлости, возведённым сейчас в ранг государственной политики.

Многие провинциальные мастера преподают в институтах и училищах, тем самым сохраняя русскую реалистическую школу. При этом гордость главных всероссийских выставок — тоже они.

Лес, поле, небо

Деревенский пейзаж Абакумов полюбил ещё в студенческие годы, когда довелось бывать с друзьями из ВГИКа, а потом из Академии художеств на практике в Поленове, Пскове, Изборске, Карелии.

Он замечал, как трудно живётся тамошним крестьянам, как нищают и исчезают северные деревни. Не строили дорог в эту глухомань, заставляя людей уезжать из родных мест, закрывали школы, уничтожали так называемые «неперспективные» деревни.

В 1984 году Михаил Абакумов купил дом в вологодской деревне, и с тех пор каждый год с весны до осени бывает там. Местные жители при-

знали художника своим за умение строить и плотничать, сажать огород и вообще много работать. Постепенно в разговорах стала проясняться картина происходящего в деревне.

Деревня — есть она или уже нет? Заросла травой забвения, и выросли на её могиле лазоревые цветы. Не гоняется ли художник за фантомом?

Художники — народ консервативный: они упорно не хотят примириться с исчезновением дорогой для них среды обитания. Они поют свой реквием деревне. Уже давно воспели и отпели её наши великие художники.

А может, так и должно быть? Доколе крестьянину жить непосильным трудом? Пусть будет механизированное производство хлеба, и пусть будет дачное хозяйство, где человек трудится в своё удовольствие, не надрываясь. «И всё бы хорошо, да что-то нехорошо...»

Почему же так щемит сердце? Наверное, без этого не бывает, когда уходит родное, старое, а появляется новое, ещё не ставшее родным. Разве не болела душа у Чехова и Бунина, когда уходили в небытие прекрасные дворянские усадьбы, а Станислав Жуковский писал их последние приметы?

Так и в наши дни: упрямо пишут художники деревню, любимые речки, мостики и лодки, сработанные руками стариков, подёрнутые туманом поля, избушки с их последними дымками, которые и сами скоро исчезнут с лица земли, как эти дымки.

«Деревенская усадьба — не только способ существования человека на земле, но и его философия, его мировоззрение» — так утверждает Михаил Абакумов.

Живописец интуитивный, он нашёл удивительные мистические образы, созвучные лирике Николая Рубцова; образы, ставшие миражами, как тот «таинственный всадник», «неведомый отрок», что скрылся в тумане полей. Присмотритесь: то ли есть там, в красном осиннике, лошадь, то ли её нет; то ли стог забытый в лесу стоит, то ли кто-то притаился и ждёт заветного часа.

Сквозной мотив творчества Абакумова — деревенский дом за развалившейся изгородью, заросший иван-чаем. Не то дом, не то мираж. Сколько таких розовых островков по всему Северу разбросано! Перестали быть, в землю ушли. Характерны названия многих деревенских работ Михаила: «Была деревня», «Деревня притаилась», «Забытый стог», «Покинутый остров».

Почти исчезли с полотен люди. Бредут одинокие фигурки по размытым дорогам в полях. Куда ведут эти дороги?

Может, опомнимся? Не всё ещё потеряно, и придёт новая жизнь на эту прекрасную землю в порядке странного круговорота.

Как всякий художник, живущий в средней полосе России, Абакумов пишет лес. «В берёзовом лесу — влюбиться, в сосновом лесу — молиться, а в еловом лесу — удавиться», — иногда повторяет Михаил народную присказку. Восхищаясь мощью эпических пейзажей Шишкина, сам он пишет лес совсем другим. Он в лесу как дома — знает все деревья. Каждое имеет своё лицо, свой портрет. Часто они становятся своеобразными символами нашей страны и нашего времени. Светлые берёзовые рощи Подмосковья — «Апрельский вечер» (2004), «Соловьиная ночь» (2004). Освещённые солнцем, словно золотые трубы органа, сосновые боры — «Август на Бережке» (1994). Таинственные еловые северные леса — «Дорога в еловом лесу» (1999), «Ели у Северной Двины» (1997).

Был период в жизни Михаила Георгиевича, когда он буквально влюбился в рябину, в её насыщенный огненный цвет. Он писал её и в пейзажах: «Деревенская красавица» (1996), «Первый снег» (1992), «Рябиновые уголки» (1999), и в натюрмортах — на старинном комодe, на лоскутном одеяле. Она была главной героиней его программных картин «Родное окно» (1999), «Золото России» (1991), «Россия, 1993 год» (1993).

Художник ассоциирует рябину с родиной и кровью, как бы удивительно это ни казалось. Кровь неотделима от золота, неотделима от борьбы за власть и богатство. Это — свидетельство острого душевного потрясения во время событий в Москве 1993 года, когда пролилась кровь невинных людей. Рябиновые кисти, окаймляющие светлый православный храм, вдруг превращаются в бурые пятна крови. Картина «ушла» прямо с выставки в коллекцию одного из банков. Жаль, что её уже нельзя увидеть, кроме как в репродукции.

Особое дерево — берёза. На полотнах мастера она имеет множество ипостасей. Она, наклонившись, как бы защищает и осеняет храм преподобного Сергия Радонежского («Святое место», 1992), и наоборот, её защищают крепостные стены Коломенского кремля от непогоды, от бурь истории («Тучи с запада», 1990–1993). Она бывает могучей, старой, корявой ровесницей столетних домов, утонувших в снегу в бывшей деревне Соколово на Вологодчине (1998), а бывает, наоборот, тонкой, юной, роняющей листья, словно золотые монеты («Золотой дождь», 1990; «Листопад», 1994).

Часто в картинах возникают облака, напоминающие небесные крылья ангела. Крылья — ещё один сквозной мотив творчества Михаила Абакумова. Иной раз кажется, что лёгкие, светлые и в то же время мощные крылья есть и у самого художника.

Образ крылатой берёзы до сих пор владеет воображением художника. На выставке в ЦДХ 2006 года под названием «Замело тебя снегом, Россия» она появилась ещё раз в полотне «Косматая февральская метель» (2001).

Многочисленные речки и озёра написаны Михаилом в разных краях родины: светлое, широкое Мстино в белых черёмухах; глубочайшее, нестерпимой синевы, в разломах земли Кумзеро; Кубенское озеро с затопленным посредине Спасом-Каменным. Студёная речка Сить, каменистая, фиолетово-синяя в осеннем золоте берегов, и тихая лесная Пухманга, и чёрной воды Царёва речка в Тотьме, и каналы и пруды Вышне-го Волочка с их романтическими мостиками, и рабочая речка Сухона, заставленная плотами, и, наконец, величавая Ока и весёлая Москва-река — реки его детства.

Образы дороги и поля часто занимают мысли художника, но не просто как красивые виды, а как душевное переживание автора, которое он хочет передать зрителю: ироническая «Новая дорога» (1989); «Дорога во ржи после дождя» (1998), пропитанная свежестью; философская работа «У трёх дорог» (2003), на которой все дороги ведут в никуда.

В 2004 году мастер создаёт картину «Вечная дорога», обобщённый образ русской дороги: через бурелом, через непогоду — к сияющему вдали храму.

Сельская дорога непременно связана с полем. Написать поле — задача сложная. Она требует от художника эпического дара. В открытом про-

странстве земли необходимо выделить какую-то доминанту, найти точную деталь, на которой остановится взгляд зрителя, композиционно решить полотно. Художник доказал всем, что эпическое содержание возможно и в малых размерах. Таковы работы «Засыпает земля» (1997), «Над миром» (1998), «Земля задумалась» (1998) и другие. Иногда пейзаж поля становится историческим пейзажем — «Дикое поле» (1997), «Олегов курган» (1998), «Девичье поле» (2003).

Характерен для всякого пейзажа Абакумова любимейший его образ — небеса. Они бесконечно разнообразны по состоянию, по цвету и типу, по сложности архитектоники. Пишет он их, как правило, с натуры, поэтому небо всегда взаимодействует с землёй и соответствует состоянию природы. Осенью небо бывает тихим, туманным, хмурым; весной — ясным, прозрачным, с лёгкими облачками.

Зимнее небо — множество тонов белого, серого, синеватого, которые видит уникальный глаз художника, позволяет ему создавать сложнейшие цветовые гаммы. Но более всего темпераментный Абакумов любит писать бурные небеса с рваными краями, беспокойным движением воздушных масс, с нависающими, набухшими дождём тучами, с пронзительно синими осколками неба между ними; с летящими по ветру взметёнными листьями; и, наконец, иссиня-чёрные грозовые небеса с пронзающей их молнией, когда освещение земли и воды становится совершенно фантастическим.

Этюды и картины

Михаил Абакумов рассматривает этюд не только как подготовительный рабочий материал. Степень мастерства делает каждый его этюд законченной картиной. Этому научил Михаила ВГИК, где делали раскадровки — законченные композиции сколь угодно малого размера. Это выходило за рамки академического образования. Хотя академические профессора корили его за «киношные» привычки, но вряд ли ВГИК сыграл отрицательную роль, скорее наоборот. Все эти маленькие работы (18×24, 30×40 и т.д.) с незамысловатыми «метеорологическими» названиями типа «Зимнее утро», «Оттепель», «Тёплый вечер» — законченные произведения, решённые в цвете и композиционно, да ещё с определённым смыслом.

Вот, например, «Жил-был дом» (2002). Изумительно красивый по цвету серебристо-седой старый дом, проживший славную жизнь, брошенный, зарастающий цветами кипрея. Грозное небо над ним — как прошумевшие ветра времён. Сердце болит от этой красоты погибающего уголка нашей родины.

Ещё этюд — «Благовест» (2001). Светлый день, солнечные дорожки на земле. Многофигурная композиция: люди идут в церковь.

«Вода прибывает» (2001). Даже не верится, что в столь малом размере можно поместить так много! Люди вечером вышли посмотреть, как начинается половодье. У берега стоит катерок. Вся композиция заключена между двумя старинными двухэтажными зданиями. На переднем плане весенняя мостовая, на втором — фигурки людей, на третьем — сама река; далее — заросли на противоположном берегу, далее — Бобринев монастырь, и над всем этим светлое небо, отражённое в воде. Какой волшебной кистью надо обладать, чтобы сотворить это маленькое чудо!

Михаил не стремится к сюжетной картине. Человек эмоциональный, он заряжает зрителя своим настроением, приобщает его к своему богатому духовному миру, выраженному в красках.

«Солнца след» (1994) написана с натуры, но осмысленна как удивительная природная метафора. Солнце, как огненный хвост ракеты, ложится на снег, пересекая дорожку человеческих следов, фантастическим светом пронизывает ближние деревья. Недаром именно эту картину отметили сотрудники космического предприятия «Энергия» из города Жуковского, оставив такую запись в книге отзывов: «Спасибо за Ваше прекрасное творчество, за силу духа, энергию, передающуюся нам от Ваших мощных полотен, за Вашу любовь к нашей дорогой Родине!»

Пейзажисту не всегда нужен человек как действующее лицо. Его герои — небеса, солнце, звёзды, радуги, деревья, дома и прочие земные и космические объекты.

Натюрморты и интерьеры

Натюрморты его менее всего отвечают буквальному переводу этих слов. Это совсем не мёртвая натура; это эстетическое впечатление художника от красоты мира вещей и красоты природы, перенесённой в интерьер.

Он никогда не пишет банальных, приторных букетов и фруктов. Он любит цветы и травы, только что принесённые с лугов и полей. Отсюда их свежесть, трепетность.

Кстати, он часто даёт натюрмортам и интерьерам пейзажные названия. Он ищет в цветах и вещах их тайный смысл, их загадку, их связь с природой и жизнью человека. Он находит натюрморты непосредственно в природе. Таков, например, «Лесной натюрморт», изображающий землю, покрытую травами, хвойными иголками, корнями сосен. Или «Осени ковёр» — мотив с яблоками, краснеющими в осенней траве и опадающей листве. «Не улучшайте, не подправляйте жизнь, она всегда окажется неожиданной и прекрасней, чем вы думаете. Надо только профессионально владеть кистью», — говорит Михаил Георгиевич.

Зритель и любит абакумовские цветы именно за их живость, некоторую несделанность, недосказанность.

Написал акварелью тёмно-алые розы; фоном оказалось что-то чёрное, расплывчатое, неопределённое, будто масса женских волос. Случайность. Подумал и сказал: «Кармен. Цветы изменчивы, как она».

Ассоциативностью отмечены «Балканские розы» (2005). В простом керамическом горшке, когда-то привезённом из Югославии, их не то пять, не то четыре — один цветок вроде бы за краем холста. Чуть увядшие чайные розы в память о прекрасной стране, разорённой войной. Это ответ художника на трагические события на Балканах. Нет, Михаил Георгиевич не делает из своих произведений какую-то специальную акцию, ему чужда публицистичность в творчестве; но иногда он вкладывает иносказание вследствие глубокого душевного переживания того или иного события. Разглядеть его может только очень внимательный зритель.

Любимые его цветы — васильки. Писал он их и во ржи, и на столе, и опять ведь не просто любоваться, а думать заставит. Зачем, например, рядом, на синей скатерти, связка ключей старинных лежит? Спросишь:

«Так было?» Лукаво улыбнётся: «Ничего подобного, я их сам туда положил. Васильки же в Красной книге. А впрочем, учёные не всегда правы. Сколько раз замечал: год на год не приходится. То их видимо-невидимо, а то исчезнут на несколько лет. Прячутся, берегут себя. Так и другие цветы себя ведут. Загадка природы».

Подрастающая в семье художница иногда упрекнёт отца: «Ты нарушаешь все композиционные законы». Он усмехнётся: «Я уже имею на это право, а ты — нет: ты учишься пока». И проворчит: «Иногда не нарушишь — и нового ничего не создашь».

Именно в деревне Михаил, даже находясь в одиночестве, чувствует полноту жизни, слияние с миром леса и поля, с недосыгаемой красотой природы, с тишиной и миром сельского бытия.

Неслучайно в творчестве Абакумова большое место занимает интерьер деревенской избы. Основной мотив — сад и свет сельского дома.

Интерьер под названием «Солнца луч» (1991) строится на контрасте старых потемневших бревенчатых стен с розовым цветом платья дочери-подростка, её золотыми волосами, солнечным пятном на полу. Сама девочка, как солнечный лучик, в розово-зелёном нежном возрасте, разглядывает, словно впервые, веточку укропа, познаёт деревенский мир.

Ещё один аналогичный интерьер — «Таинственный свет» (1992). Тот же контраст тёмного пространства избы и двух ярких фигур — женщины в красном и мальчика в зелёном, освещённых керосиновой лампой, гармонирующих с цветом иван-чая и светом догорающего дня за окнами. Гармония контрастов.

Интерьер «Ночные сказки» (1993). Здесь краски мерцают, как драгоценные камни, и всё нереально, как во сне.

Уютом и теплом веет с картин «Месяц травень» (1994), «Двойняшки» (1993), «В горнице моей светло» (1994).

По интерьерам абакумовского деревенского дома можно угадать всю его праведную и счастливую жизнь.

Но не всегда безмятежен деревенский мир. Картина «Горький лук» (2004), с фигурой одиноко сидящего инвалида, приобретает социальный и гуманистический подтекст.

Деревенские натюрморты не поражают изобилием даров природы. Скромная корзина грибов, деревянная тарелка с редиской, лесные ягоды, случайно рассыпавшиеся по белой скатерти, капуста, выращенная на своём огороде, — они скудны, как сама жизнь северного крестьянина.

Только один натюрморт стоит особняком среди всех — «Грибной 1993-й» (1993). Он напоминает народную мудрость, вернее, суеверие, о том, что много грибов — к войне. Здесь имеет место всё то же переживание художника о стране, стоявшей тогда на грани новой гражданской войны.

Исторические натюрморты возвращают нас к теме войны. Вертикальный «Цвет Победы» (1995), с иконой архистратига Михаила и красным полотнищем над ней, — это о Великой Отечественной войне. Вертикаль подчёркивает величие события. Такая же высокая вертикаль с бело-жёлто-чёрным полотнищем и золотой трубой поведает нам о монархических взглядах автора — натюрморт «Имперский» (1995).

«Взгляд из прошлого» (1999) — натюрморт с воинскими доспехами, посвящённый древнерусской истории. Какие битвы «видели» пустые глаз-

ницы старинного шлема? Невольно вздрогнешь от этого взгляда, приметив рядом с проржавевшим древним оружием боевой топорик, сверкнувший отточенным остриём на фоне красного окованного сундука.

Впечатление сиюминутного присутствия оставляет интерьер с красным зонтом «Дождливый май» (2004). Словно кто-то только что вышел из мастерской, оставив открытым мокрый зонт. Любимая живописцем «крамольная» красно-зелёная гамма: красный рефлекс на полу от ярко-красного прозрачного зонта, более тёмного тона красная же скатерть, ещё более тёмная фиолетовая сирень на столе, зелёная драпировка, брошенная на спинку кресла, нежная майская зелень за окнами — всё это сгармонировано самым непостижимым образом.

Михаил Абакумов нередко пишет интерьеры храмов. Интерьер реставрируемой церкви на Бережке пронизан солнцем. Смотришь на чистые стружки на полу, на синюю лампадку перед образом, и душа наполняется спокойной уверенностью: всё у нас будет хорошо!



РУССКИЕ ХОЛСТЫ

Божьими холстами заткана Святая Русь. Бесконечными полями украсил её просторы Творец, взрастил дремучие леса, возвысил высокие горы, прошил зелёные покровы серебром рек и выложил огромными зеркалами таинственные озёра, отметил самые прекрасные места городами и весями, что и до сей поры перекликаются звонами колоколов...

Как воспеть эту красоту, как восславить величие Божьего мира? Счастлив художник, которому дарован талант, который способен музыкой цвета передать на холсте образ Отчизны! Народный художник России Михаил Абакумов — мастер, в полной мере обладающий этим даром. Ему шестьдесят лет. Они — словно шестьдесят холстов, и каждая картина исполнена особым смыслом. Здесь найдётся и сказочная яркость детства, и испытания зрелости,

и печаль потерь, и ослепительный свет открытий.

Он делится с людьми своим талантом, когда надо — помогает советом. Произведениями Абакумова украшены многие страницы «Коломенского альманаха».

Михаил Георгиевич! Храни свой дар. Да не утратит твёрдости твоя рука, пусть зорким останется глаз и самоцветной будет чудесная кисть. Твоя Россия и твоя Коломна ждут от тебя новых работ. И пусть, как прежде, светлыми вехами сияют нам русские холсты!

Редколлегия

ОТРАЖЕНИЯ

К счастью, некоторым дано увидеть то, что хочется увидеть многим, и лишь единицы способны с помощью красок и линий показать это остальным. Их образы напоминают окна в другой мир.

Сергей Малицкий



А.Мещанов. Архистратиг

Творчество Андрея Мещанова никем не исследовалось, хотя эта увлекательная задача интересна предстоящим путешественникам в другое измерение, открытое художником. У зрителей на выставках уже была возможность заглянуть в этот удивительный мир сквозь «окно в художественной раме». Именно так определяет творчество художника писатель Сергей Малицкий в предисловии к каталогу живописных работ Мещанова.

«Окно, обрамлённое в художественную раму», распахнуто в «другую жизнь».

«В этой другой жизни желания сбываются, сказочные герои живут рядом, а старики не умирают, а если и умирают, то делают это легко и радостно. Там дети и взрослые летают как птицы, даже если не отрываются при этом от земли. Там Тезей сражается с Минотавром как с равным. Там шуты — самые серьёзные существа. Там звери надевают одежду и боятся холода. Там весну ждут, забравшись на дерево, потому что с дерева дальше видно. Там ветер не только развеивает волосы, но и уносит ложь. Там вечные истины пишутся на песке. Там слоны похожи на людей, а люди на то, кто они есть. Там, для того чтобы задуматься, достаточно закрыть глаза. Там демоны отогреваются у камина. Там Земля распадается на астероиды, чтобы приблизить горизонт. Там устанавливаются памятники чувствам, а репка не хочет вылезать из грядки. Там гномики страдают от аллергии, а Бабай действительно

ходит с мешком под окном. Там всё так, как надо. Или так, как есть на самом деле».

Литературно-эссеистический характер рецензии Малицкого типичен для всех отзывов на выставки Мещанова, появившихся в печати. Видимо, журналисты и искусствоведы, наиболее тонко чувствующие литературный подтекст художественных образов живописца, попадают под обаяние его творческого метода и невольно включаются в игру с ассоциациями.

«Долг художника состоит в том, чтобы суметь выразить то, что он хочет. Долг зрителя — понять его» — так считал художник-символист Чюрленис, о котором в своё время Горький сказал: «Он нравится мне тем, что заставляет меня задумываться как писателя».

Мещанов принадлежит к числу именно таких художников, приглашающих своего зрителя к диалогу в совместном постижении всего происходящего в жизни и в душе человека. Он всегда неожиданный, удивляющий и талантливый. Этим обусловлен интерес к личности художника, живущего и работающего в Коломне.

Никому не дано заглянуть в душу художника, да и надо ли, если она так ярко проявляется в его работах. Возможно лишь внимательно приглядеться к внешним обстоятельствам его жизни, чтобы понять, почему появились именно такие картины.

«Художник рубежа веков» — это глубоко символическое определение в полной мере относится к Мещанову, начавшему свой творческий путь в переломные годы ушедшего столетия.

Рубеж веков, смена тысячелетий, разлом эпох...

«Что-то в России ломалось, что-то оставалось позади, что-то, народившись или воскреснув, устремлялось вперёд... Куда? Это никому не было известно».

Определение переходного времени, данное Зинаидой Гиппиус более ста лет назад, актуально и сегодня. Пресловутое «счастье жить в эпоху перемен» выпало на долю поколения художников, к которому принадлежит Мещанов. Их формирование происходило в сложное перестроечное время, когда проблема андеграунда была разрешена художественной свободой, а советская идеология с эстетикой искусственно созданного социалистического реализма ушла в прошлое. Вместе со свободой пришло время выбора, а это испытание может выдержать только состоявшаяся личность.

«Ветер перемен» — так называется одна из работ Мещанова, в которой человек разрушает остатки каменной кладки, служившей когда-то основанием того, что не уцелело в борьбе с веянием времени.

И хотя творчество художника во многом обусловлено сложностью и противоречивостью времени, существуют и другие причины, влияющие на его судьбу, — образование, работа, семья с её трудностями и обязательствами. Мещанов следует своему призванию вопреки инерции жизненных обстоятельств. В 1994 году, когда создаются первые картины, позади остаются: с отличием оконченная школа, учёба в престижных вузах с будущими перспективными специальностями, переходы из одного вуза в другой, служба в армии, учёба в художественном училище, участие в реставрационно-восстановительных работах на Соловках, преподавание в сельской школе, занятия спортом, участие в художественных выставках.

Казалось бы, ещё не поздно остановиться в своих метаниях и жить как все, повседневными заботами, разменяв своё призвание на хобби, скрашивающее досуг, или ремесло, приносящее доход. Мещанов, следуя своему призванию, выбирает творчество, и, как показало время, этот выбор оказался верным.

С тех пор прошли годы. Состоялось несколько персональных выставок в Коломне, работы художника выставлялись в Москве и за рубежом, разошлись по галереям, частным собраниям, пополнили коллекции зарубежных знатоков искусства.

Картины живут своей жизнью, отдельной от создавшего их художника. Сотни композиций образуют уникальный мир со своими законами, которым следуют его персонажи. Этот мир будет жить всегда, и в этом нет никакой мистики, просто картины, как и рукописи, «не горят», особенно те, которые обращены к извечным вопросам добра и зла, красоты, истины и гармонии.

«Меня всегда коробит писать на злобу дня. Мне нравится писать на злобу Вечности» — так сам художник определил свой принцип в выборе тем. Шутливость высказывания Мещанова оправдывает этот немного пафосный, но вполне оправданный тезис. В сущности, актуальное «сегодня» недолго держится на поверхности жизненной реки, неминуемо сносится течением времени в устаревшее «вчера» и уже никогда не станет желанным «всегда».

«Много серьёзных вещей говорится шутя», — утверждал Джонатан Свифт. Так, через призму лёгкой иронии и откровенного шутовства, Мещанов проявляет в живописной форме увиденное внутренним взором — «то, что не может быть, потому что не может быть никогда, а очень хочется, чтобы было». Простые и сложные истины открываются тому, кто владеет увлекательной игрой «в несерьёзность», поэтому образ шута в творчестве Мещанова становится лейтмотивом, помогающим раскрыть парадоксальность многих явлений жизни, избежав при этом прямолинейности.

Художника привлекает атмосфера театральной буффонады, мир Пьеро и Арлекина (излюбленная тема у художников «Мира искусства»). Он говорит: «Мне всегда нравились шуты своей декоративностью — колпаки, прищуренные взгляды, театральные позы». Тема шута действительно предполагает декоративную трактовку и особенно яркое колористическое решение образа. «Дурачок любит красный колпачок» — так звучит народная мудрость в известной детской дразнилке, обусловив тем самым доминирующий цвет колористического решения композиций.

Шуты добрые и злые, грустные и смешные, — персонажи, примерившие на себя «дурацкий» красный колпак с бубенцами и шариками, ведут свою игру иносказаний и «шутливых» откровений. Вот два весёлых человечка, как и положено по законам жанра, толстый и тонкий, бодро шагают по дороге. Один из них играет на трубе, причём так увлечённо, что не замечает, как другой отбивает ритм ударом колотушки по цилиндру на голове незадачливого трубача («Оркестр»). А вот и шахматная фигура «голового короля», царское убранство на голове которого причудливым образом превратилось в шутовской колпак, но «Его величество» не замечает, что давно стал пешкой. Сатирический подтекст этих сценок проступает под клоунадой «комедии положений».

О важности иронического подтекста для художника свидетельствует «Автопортрет с яблоком». Автор чувствует себя в костюме шута вполне

комфортно, блаженно жмурясь от осознания удавшейся игры и удовольствия от вкуса румяного яблока.

«Мы те, кем притворяемся, поэтому надо тщательнее выбирать маску» — эта мысль проведена в автопортрете как авторское кредо. Маска, как эмоциональный щит, защищает внутреннюю суть от грубых вторжений и неверных толкований, бережно охраняет сокровенное, скрытое от посторонних глаз.

Автопортрет с закрытыми глазами — явление редкое в портретном жанре. Если «глаза — зеркало души», то взгляд человека — едва ли не главная психологическая составляющая создаваемого образа. Мещанов не боится нарушить законы жанра ради маски и игры «в несерьёзность». Странно, но образ, созданный художником, от этого только выигрывает, так же, как и в картине «Жизнь удалась», где портретируемый закрыл глаза тёмными очками.

В портрете молодого человека в ярком свитере лицо модели наполовину затемнено, а оставшийся освещённым левый глаз и вовсе закрыт, что не мешает созданию образа в испанском колорите («Амиго»).

Маска как психологический приём имеет много вариантов: это и тёмные очки, скрывающие взгляд человека, не желающего общения с окружающими; это и отражение в зеркальце плутовского прищура клоуна, помещённого спиной к зрителю («Хитрый»), и затемнённое лицо модели с закрытым глазом.

Пока зритель рассматривает картину, персонажи, созданные художником, сами внимательно подсматривают за ним в зеркальце или сквозь тёмные очки, или одним, остающимся в тени глазом.

Маска может стать сюрреалистической, усиливающей эффект психологического гротеска, как, например, в работе «Лицемер» или в двойном портрете супругов в картине «Семья».

Сюрреалистической игрой с формой во многом объясняется метод художника по созданию образов причудливо-фантастических, гротесково-выразительных. Образы эти выявляются художником из оттиска на стекле, оставленного произвольным красочным пятном. «Притча о кляксе» — так называлась одна из рецензий на выставку Мещанова, раскрывающая, со слов самого мастера, его художественный метод.

«Не люблю истязать холст, мне приятно наблюдать, куда он сам плывёт». Метод, рождающий многовариантность ассоциативного ряда, выбирающий из глубин подсознания образы, которые лишь дорабатываются художником, часто используется в изобразительном искусстве художниками абстрактного и сюрреалистического направления.

По сути, каждый из нас соприкасался с этой увлекательной игрой, глядя в бездонное небо с изменчивыми, исчезающими на глазах облаками. Причудливые, быстроизменяющиеся формы составляли живые картинки, в которых каждый видел своё: фантастических чудовищ, забавных зверюшек; невиданно прекрасные цветы превращали небо в огромную палитру образов, своеобразный калейдоскоп сюрреалистических видений, связанных непосредственно с подсознанием человека, созерцающего игру облаков, воздуха и света.

При всей упрощённости в объяснении сложнейших механизмов творчества такой метод работы с монотипиями (так называются эти красочные оттиски на стекле) действительно является своеобразной игрой с подсознанием, игрой, которая может быть интересна только для художников с развитым творческим воображением. Именно такой, поистине

безграничной и образной фантазией обладает Мещанов, использующий эту игру для создания метафорических ассоциаций, которыми особенно наполнены живописные полотна, посвящённые живущему в его душе детству.

Каждый человек может сказать о себе вслед за Экзюпери: «Я родом из моего детства, словно из какой-то страны». Тема детства — одна из самых проникновенных в творчестве художника. Ей он посвятил свои персональные выставки «Астероид детства» и «Картинки из детской комнаты».

Атмосфера чудесной страны детства как отражение внутреннего мира самого художника с присущим ему непосредственным и образным мировосприятием характерна для его творческого метода. Тема детства опосредованно проведена через всё его творчество. Это и присутствующие в картинах «говорящие» детали из детской комнаты — игрушки в натюрмортах с цветами («Бумажная лошадка»), и трогательно-щемящий дуэт игрушечных мишки и зайчика, так по-человечески прижавшихся друг к другу, что натюрморт на глазах у зрителей превращается в игрушечный «двойной портрет», одухотворённый волей волшебника-художника («Вязаный зайчик»).

Художественный приём «очеловечивания» предметов применён автором в натюрморте «Горшочки», каждый из которых — отдельный характер, а вместе они как маленькая семья. Позднее художник создаст натюрморты, в которых одушевление предметов материального мира станет программным: натюрморт из четырёх, разных по форме и характеру предметов будет называться «Семья», две вазочки с ракушкой составят «Несерьёзный натюрморт», а глиняный кувшинчик превратится в обнажённый торс молодой испанки с веером («Керамика»).

В пору детства превращения касались всего: ветер развеивал волосы травы, цветы шептались о чём-то своём, спутанные ветки деревьев хватили и царапали своими лапами с когтями, а кусты строили страшные рожицы. В детстве даже небольшой обрыв или крутой берег казался краем земли, за которым простиралось пугающее «ничто». Этими детскими впечатлениями наполнены картины, вмещающие, как островки памяти, на своих многоярусных площадках или в волнах воспоминаний отрывки утраченного детства («Остров детства», «Астероид детства»).

Художественные приёмы, безошибочно найденные автором, создают эффект присутствия в пространстве детства взрослого человека, в данном случае художника, с его недетскими вопросами о смысле всего сущего.

Решение философских вопросов через призму детской психологии, не замутнённой предрассудками и условностями взрослого мира, сближает художника с литературным прообразом — Маленьким принцем. Мысли Экзюпери о том, что каждый человек, его душа — это отдельная планета, созвучны образам Мещанова. Особенно это подчёркивает излюбленный художником композиционный приём, который можно обозначить как «край Земли», за которым простирается безбрежный и таинственный Космос. Вся сюжетика таких картин разворачивается на поверхности шара-планеты. Душа человека, макро- и микрокосмос органично сосуществуют в общем пространстве картины.

У подножия огромного колючего растения ведут свою неспешную жизнь бедуины («Кактус»). В детстве даже простые одуванчики казались

большими, а иногда, как пальмы, достигали огромных размеров и отбрасывали резкую тень. Казалось, что в тени этих огромных цветов можно было гулять, укрываясь от палящего солнца («Мирок № 2 для безнадёжных романтиков»).

Из страны детства пришёл мотив хрупкого одуванчика, тонкий стебелёк которого, взрослея, превращается в крепкий древесный ствол, увенчанный тем же младенческим пушком, который покрывал голову ребёнка-одуванчика («Одуванчики»). Подобная трактовка мотива одуванчика как символа незащитности и одновременно крепкой связи с силой земли встречается в творчестве Чюрлёниса (средняя часть триптиха «Сказка») — круглый шар планеты Земля и на нём ребёнок, играющий с одуванчиком.

Картина «Лютики-одуванчики» создаёт обобщённый образ гармонии и чистоты всего живущего и растворённого в природе. Идиллическая картина решена в реалистическом ключе как пейзаж, в сюжетику которого включены дети, с любовью созерцающие нежно выписанную пару — лошадь с жеребёнком. Это один из самых одухотворённых образов в творчестве художника.

Человек предстаёт в работах художника не на фоне природы, а как её часть. Такое органичное слияние принимает порой причудливые формы. Подобно врубелевскому «Пану», прикрылся бараньей шкурой, словно сросся с нею, нагой человек («Абориген»).

Гармоничное сосуществование в картинах Мещанова человека и природы переходит порой в полное их слияние, как это решено в композициях на тему «Времена года». В работах этой серии все состояния природы представлены в пантеистическом контексте, пейзаж включается в них только как один из формообразующих элементов.

Осень олицетворяет старушка, сгорбленная под тяжестью корзин со спелыми плодами; на согбенной спине разместились маленькая рожица, радующая глаз «в багрец и золото одетою» листвою. Ещё зеленеет полетному луг и деревенька на горизонте, но уже чувствуется дыхание приближающейся осени («Бабушка осень»). Осенние месяцы с подступающими холодами, ветрами и душевным смятением прекрасно переданы образом человека с развевающимися волосами в виде гнущихся на ветру осенних деревьев («Сентябрь»).

Лето предстаёт в облике земледельца, на огромной пологой шляпе которого разместились аккуратно вспаханные поля, рожица и деревенька («Фермер»), зима — в образе старца, на сединах которого, как на заснеженном пейзаже, примостилась маленькая деревушка («Декабрь»). Состояние ожидания приближающейся весны убедительно передано трогательным образом бабушки, забравшейся на дерево, чтобы разглядеть первые признаки приближающегося желанного тепла.

Свободно и легко парят над временем воспоминания детства. Полёт как естественное состояние, как символ человеческой души, преодолевающей в своей невесомости законы земного притяжения, по-разному раскрывается в творчестве художника. Это и фантастическая скорость, перемещающая во времени и пространстве и деформирующая тело летящего (композиция «Полёт»); это и гибель Икара в дерзновенном устремлении к Солнцу, показанная через трагедию его отца, безутешного Дедала; это и наивный восторг падения с колокольни, перешедший в парение над родной деревней в картине «Посвящение Крякутному». Меща-

нов передаёт всё многообразие этого притягательного и опасного для человека стремления летать.

Как всякая важная для художника, тема полёта раскрывается в автопортретном ключе. «Тёплый вечер» — так называется семейный портрет, в котором сам художник парит над тихой улочкой Коломенского кремля, над монастырской башенкой, рядом с сынишкой, планирующим выше отца, в виде купидона с бумажными крыльями. Это парение так естественно, что наблюдающая за ними мать с ребёнком спокойно относится к нему, как к обычному явлению, виденному ею на картинах Шагала.

Спокойный и мудрый ребёнок в детском портрете «Мид», в костюме клоуна, смотрит из окна или рамы декораций (а может, это мы смотрим в своё детство?). Не случайно Сергей Малицкий в своём отзыве о художнике задаётся вопросом: «Отчего же я вглядываюсь в его картины и всё время ловлю себя на мысли, что смотрю в зеркало?» Наверное, этот вопрос возникает у многих потому, что художник и зритель по обе стороны холста смотрят друг на друга и на себя одновременно, а образы зазеркалья, как в «Алисе в стране чудес», лишь дополняют эти ощущения. По словам Леонардо да Винчи, «совершенная картина, исполненная на поверхности какой-либо плоскости материи, подобна поверхности зеркала».

В портретах Мещанова эффект зеркального отражения присутствует как принцип подачи модели и применим к любому портрету художника, отвечающему определённым условиям изображения. Например, положение глаз модели, направленность её взгляда могут вызвать у зрителя ощущение взгляда, брошенного на себя в зеркало; это изображение может быть автопортретно даже там, где перед нами заведомо не автопортрет (женский портрет «Ирина»). Именно такой боковой взгляд, словно брошенный на себя в зеркало, часто провоцирует историков искусства на поиски автопортретов во многих фресках и картинах эпохи Возрождения. Наиболее точно это ощущение выражено в поэтической формуле Пушкина: «Себя как в зеркале я вижу».

Интересно, как обращаются разные художники-портретисты с этим магическим зеркалом, которое может приукрасить облик портретируемого («но это зеркало мне льстит»), может, к неудовольствию модели, проявить его глубоко скрываемую истинную сущность, может, вопреки воле самого художника, «предсказать» будущее модели, как это не раз бывало в истории портретного искусства, или перенести модель в далёкое прошлое искусственно созданным эффектом осыпавшейся зеркальной амальгамы.

Мещанов не отказывает себе в творческом удовольствии поиграть с этим волшебным зеркалом, «обманув» его своими переодеваниями в костюмы клоуна или знатного вельможи эпохи Возрождения («Помпезный автопортрет»). «Обман» может заключаться в том, что художник представляет зрителю только своё отражение в зеркале, полностью погружившись при этом «в себя», как бы прислушиваясь к чему-то: это состояние отрешённости подчёркнуто характерной неконтактностью взгляда (автопортрет «Внимая песне»).

Заплаканная женщина, подпирающая лицо руками, хоть и отражается в «зеркале портрета», но смотрит сквозь него туда, где перед мысленным взором ещё раз протекают события её драмы («Слёзы»).

В каком бы жанре ни работал художник, он всегда находит особый ключ к трактовке создаваемых образов. В этом смысле интересны пейза-

жи Мещанова, отражённые в зеркале внутреннего состояния художника, передающие тончайшие грани душевных переживаний и поэтических ассоциаций. Глубину и богатство эмоциональной гаммы воплощает морской пейзаж, сложные цветовые отношения которого говорят о незаурядном техническом мастерстве художника («Прилив»).

К особенностям пейзажных композиций относится удивительная музыкальность образного ряда, проявляющаяся не только в общем эмоциональном подтексте, но и в системе формальных приёмов. Так, в пейзажах «Зимняя ностальгия», «Архитектоника зимы» ритмический рисунок линий словно переводит живопись на язык музыки, навеянной ноктюрнами Шопена или прелюдиями Скрябина. Внутренняя стилистическая близость этих авторов подчеркнута психологическим подтекстом многих картин природы, созданных Мещановым.

Пейзаж органично включён в картины художника, подчас незаметно, на первый взгляд, уживаясь со всеми элементами сложносюжетных композиций. Как правило, это увиденные с высоты птичьего полёта уютные пейзажики с непременноми церквушкой, домиком и вертикалью колокольни.

Эти пейзажные фрагменты композиций могли бы существовать отдельно от картины как самодостаточные, вполне завершённые и цельные образы, приобретающие новый смысл вне общего контекста. Но истинное звучание этих микропейзажей второго плана возможно лишь там, куда помещает их художник, потому что они есть не что иное, как постоянно звучащие камертоны, не позволяющие художнику фальшивить. Без этих миниатюрных фрагментов, служащих напоминанием о национальных корнях и духовных истоках, многие композиции художника просто потеряли бы смысл, потому что именно они, несмотря на свой маленький размер, придают ёмкую многоплановость созданному образу.

Заснеженная равнина и панорама деревеньки на горизонте... Эта патриархальная картинка могла бы стать простым зимним пейзажем. Но высокий воздушный столп заполняется фигурой парящего над землёй ангела, сотканного из струящихся потоков воздуха и света. Мистическое явление призрачного бестелесного ангела, уравновешенное реальностью земного бытия, создаёт проникновенный образ Родины. Яркий духовный подтекст картины «Архистратиг» возводит созданный образ в степень художественного обобщения, подчеркнутого композиционно силуэтом высокого подкупольного пространства православного храма.

Красота исконно русского ландшафта раскрывается и в лирических композициях с эпически трактованными речными далями («Дымное лето»), и в простых, скромных по сюжету пейзажах, завораживающих своей чарующей поэзией, искренностью и одухотворённостью. К работам такого плана относятся архитектурные пейзажи Коломны, в буквальном смысле воспевающие красоту города, ставшего для Мещанова источником вдохновения («Бобренев монастырь»).

Город как живое существо имеет свою историю, судьбу, своё лицо и душу. Судьба его отражена в исторических хрониках, а лицо, хоть и искажённое временем, сохранило свои исконные черты до наших дней. Но загадочную душу города, хранящую много тайн, может постичь только художник, тонко чувствующий те невидимые нити, которые связывают призрачное прошлое с реальностью настоящего.

Сердцем города, его исторического облика, формировавшегося столетиями, является Коломенский кремль. Мещанов связан с этим местом уже многие годы. Мастерская художника расположена на территории кремля, рядом с Соборной площадью, величественным Успенским собором. Это обстоятельство не могло не сказаться на сложном процессе постижения души города, его внутренней красоты и гармонии. Художник буквально сливается с атмосферой средневекового города, проводя в мастерской долгие часы работы, творческих поисков и созерцания в самые потаённые, свободные от суеты часы. Только в таком чутком постижении раскрывается душа древнего города и слышится голос истории, повествующий о трагических и светлых событиях, таинственных переплетениях его судьбы.

Облик Коломны в архитектурных пейзажах Мещанова предстаёт и как величественная декорация исторической драмы, сохранившая черты далёкого прошлого («Вид с моста»), и как фрагменты средневековой архитектуры, введённые в сюжетику картин, и как тихие уголки старого города, уютные в своей патриархальной провинциальности. Иногда кажущиеся неказистыми на первый взгляд задворки кистью живописца возводятся в степень художественного обобщения. Примером такого отношения к натуре является «Вид из окна мастерской», удивительным образом сближающийся с графической работой Врубеля «Дерево у забора».

Несмотря на возникающие параллели композиций Мещанова с аналогично решёнными работами в творчестве других мастеров, художественного влияния на творчество живописца они не оказывают. У Мещанова есть любимые художники, но вместо прямого заимствования, влекущего за собой подражательство и заведомую вторичность, чем грешат молодые ищущие художники, живописец аккумулирует в своём творчестве многочисленные художественные практики, претворяя их в свой самобытный стиль.

Следуя во многих своих работах традициям реалистической школы, он тем не менее не боится разрушать сложившиеся стереотипы, предлагая свой взгляд на реализм, понятый им как принцип постижения законов внутренней реальности, скрытой за внешней правдоподобностью. Учитывая эту самобытную творческую манеру, представляется затруднительным определение единого направления, к которому можно отнести творчество Мещанова. В таких случаях художника называют внистелевым, но и это определение не исчерпывает всего своеобразия его творческого почерка. Вопрос стилового единства или принадлежности Мещанова к какому-либо направлению в искусстве очень непрост, ответ на него может дать анализ творческого метода живописца.

Свободное владение приёмами живописи разных школ и направлений, техническое мастерство Мещанова во многом объясняются профессией реставратора монументальной и темперной живописи, полученной в художественном училище. Художник-реставратор владеет технологией живописи как врач, лечащий картины, спасая их от разрушений.

Даже самый поверхностный взгляд на работы, созданные в разные годы, может отметить широкий диапазон разных направлений и живописных практик, к которым обращается художник в зависимости от темы создаваемой картины.

Например, в картине «Шаман» завораживающая магия таинственной мистерии обеспечивается многослойной, полифонически звучащей живописной фактурой.

Восточная орнаменталистика, насыщенное ковровое многоцветие в причудливых сочетаниях форм служит задаче, поставленной Мещановым в работе «Гуру большие и маленькие».

Импрессионистическая по природе своей тема раннего утра в картине «Восход» выполнена в манере, характерной для художников-пуантилистов. Сочетание переливов мерцающих цветовых точек-пятен идеально подходит для воплощения нежнейших оттенков утреннего света и воздуха, вибрирующего в лучах утреннего солнца.

В «Двойном портрете» сцена, связанная с психологией человеческих отношений, решена в импрессионистической манере, передающей ощущения эмоционального подтекста.

Применение художником приёмов сюрреализма даёт ему возможность выявления скрытых возможностей в работе с формой и трактовкой явлений внешнего мира.

Бытовая зарисовка семейной сцены из жизни самого художника представляет собой офорт, выполненный в традиционно реалистической манере, определяющей правдоподобие жизненной ситуации, окрашенной лёгким юмором («Ругачий день»).

Обращение к стилистике того или иного художественного направления во многом определяется сложностью самих тем, затрагивающих те или иные категории этики, вопросы философии. Об этом ярко свидетельствуют названия картин, данные самим художником: «Заповедь», «Притча о кругах на песке», «Назадсмотрящий», «Агнец».

К этому ряду работ художника принадлежит композиция «Сиреневый мирок для безнадёжных романтиков». Огромная каменная глыба возвышается в центре композиции и, кажется, закрывает горизонт, создавая ощущение безысходности. Но внимательный взгляд зрителя может разглядеть проём в этой каменной скале, нависающей над тропинкой, ведущей сквозь каменную преграду на залитую летним солнцем полянку. Идиллический пейзаж на горизонте существует в ином измерении, объединённом с основным изображением в общем пространстве картины.

О бренности всего сущего повествует картина «Притча о кругах на песке». С философским спокойствием наблюдают мудрецы за тем, как исчезают, осыпаясь в текучем песке, знаки, начертанные рукой учителя. Скульптурная лепка форм придаёт созданному образу спокойную монументальность.

Тематика картин, соприкасающаяся с народной традицией, фольклором или эпосом («Жили-были», «Бабай», «Пересвет»), раскрывается в стилистике книжной иллюстрации с яркой и подчёркнуто декоративной трактовкой образов персонажей.

Но это чисто внешнее сходство, связанное в известной степени с характерной красочностью и условно-сказочной подачей материала. При внимательном прочтении картин этого ряда проявляются глубина и внутренний психологизм изображения, выходящие за пределы сказочной иллюстрации.

Кажется, прямо в душу заглядывает бредущий по заснеженной равнине волк, скупо освещённый мерцанием звёзд на ночном небе, — совсем не сказочный, скорее психологически точно очерченный пер-

сонаж рассказов Джека Лондона («Волк»). Приоделся в модную дублёрку и позирует для своего портрета его молодой собрат в картине «Волчок».

Поединок Пересвета с Челубеем, во многом определивший исход великого сражения за освобождение Русской земли от иноземцев, решён как бой добра со злом. Идея, заложенная художником, раскрывается в этой сцене композиционными и колористическими приёмами, которые помогают раскрыть мысль о неизбежности победы света над тьмой («Пересвет»).

Прелестный белый барашек, похожий на изображённое над ним кудрявое облачко на голубом небосводе, стоит на своей планете-шарике и доверчиво смотрит на зрителя, не догадываясь о трагическом предназначении жертвенной чаши, стоящей рядом, напоминающей рубиновым цветом о предстоящем кровавом действе. Сюжет картины «Агнец» ставит недетский вопрос о смысле и жестокости священного заклания.

Упрощённый рисунок силуэтов, яркие локальные цветовые соотношения сочетаются в работах Мещанова с поистине ювелирной техникой филигранно проработанных деталей, орнамента отделки драпировок и одежды персонажей («Назадсмотрящий», «Бабай», «Гуру большие и маленькие»).

Стилизация под плоскостное декоративное решение композиции в стиле древнеегипетских фресок, увиденных в подземных погребальных камерах при свете горящих факелов, чётко проведена Мещановым в картине «Гор».

В картине «Дождь» сама природа в образе людей с запрокинутыми лицами и пустыми кувшинами ждёт живительной влаги. Объёмная проработка форм головы превращает состояние людей, ожидающих спасительного дождя, в подобия каменной скульптуры.

Работа с формой не ограничивается скульптурной проработкой объёма: художнику интересны выразительные возможности пластики человеческого тела. Как уставшая птица, сложил крылья-руки танцовщик, утомлённый долгой балетной репетицией («Отдохновение»).

Приём создания в живописи скульптурных форм передан в поэме Луи Арагона, посвящённой Матиссу:

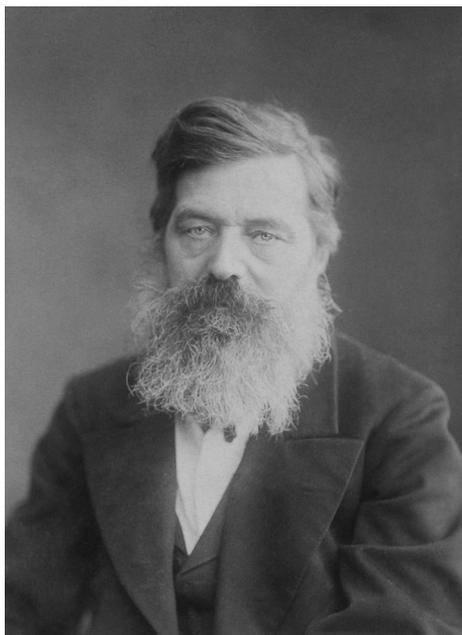
Тебе нравится прикасаться к вещам
Тебе нравится воздух
День ты шлифуешь, как камень
Влюбляешься в совершенные формы
А иногда совершенствуешь их осторожно.

Для Мещанова важна прежде всего задача наиболее яркого раскрытия основной темы картины, а средствами для достижения поставленной цели могут быть художественные приёмы и живописные практики разных школ, направлений и стилей. Не важно, будет ли это «реализм», «импрессионизм», «пуантилизм» или «мистический реализм» — главное, чтобы они служили основной сверхзадаче и органично сочетались в пространстве создаваемой картины. В этом преодолении границ определённого направления с его канонами и стереотипами мышления и рождается самобытный изобразительный язык, свойственный художнику. А критерием оценки художественных достоинств работ любого автора

является его мастерство, проявляющееся в профессиональном владении композицией, формой, пространством и цветом. Эти законы — общие для художников всех направлений.

Мещанов не состоит в творческих союзах, он свободен от корпоративной зависимости. Но, прокладывая свою дорогу в творчестве, он живёт и работает в городе с богатыми художественными традициями, в окружении признанных мастеров живописи. Выставочные залы и художественные салоны Коломны формируют постоянный и устойчивый интерес к изобразительному искусству разных жанров и направлений. Такая благодатная среда служит естественным стимулом для творческих поисков, а неисчерпаемая тема красоты родного края надолго сохранит в душе творческий огонь, без которого просто не может быть вдохновения, открывающего новые грани в постижении вечно меняющейся жизни.

ХРОНИКА



М. Мещанов

МОСКВА
СТОЛ. ЕШНИКОВ ПЕР. ДОМЪ НИКИФОРОВА

Коломенский Посад обогатился ещё одним мемориалом. В мраморе увековечено имя Никиты Петровича Гилярова-Платонова. Выдающийся русский философ, богослов, публицист, педагог и литератор, он внёс огромный вклад в культуру России XIX века. Но, как ни странно, до сих пор в память о нём не было установлено ни одной мемориальной доски: ни в Московской Духовной академии, в которой он преподавал, ни в первопрестольной русской столице, где он творил и где похоронен.

Наконец-то эта несправедливость исправлена. На родине писателя, у храма Никиты Мученика, где служил священником его отец и где прошли детские годы Гилярова, в 2007 году установлена первая в России мемориальная доска к 120-летию со дня кончины выдающегося нашего земляка. В этом году благоустройство мемориала, да и всего храмового участка, будет продолжено.

Проходят десятилетия, но память о ярком бытописателе Коломны не иссякает.

ЧТО БЫЛО,
ТО БЫЛО...





Фото Павла Зеленецкого



Наталия Михайловна Кочеткова — преподаватель-музыковед 1-го Московского областного музыкального училища. Заслуженный работник культуры России.

Родилась на Урале, в Пермской области. Окончила музыкальное училище в Рязани, затем консерваторию в Киеве. Самой интересной сферой своей деятельности считает музыкально-просветительскую.

На протяжении сорока пяти лет в периодических изданиях Коломны, Московской области, зарубежья систематически публиковала материалы о наиболее примечательных концертах и событиях училища, составившие значительную страницу летописи культурной жизни города.

Постоянный автор «Коломенского альманаха».

ПО ДРУГУЮ СТОРОНУ АФИШ

I

*О память драгоценных вечеров,
Сверкнувших, чтоб открыть нам
кладовые
Высоких чувств...*

Они достойны были бы названия «декабрьских», подобно знаменитым рихтеровским, которые проходят в Пушкинском музее, — те лучшие из замечательных концертов, определивших и лицо училища, и несомненный авторитет его в Коломне, а также за её пределами. В афишах прежних лет, теперь просматриваемых мною, на удивленье обнаружилось, что именно декабрь был наиболее богат на выступления солистов-исполнителей, хоров, оркестров, инструментальных камерных ансамблей, на проведение международных фестивалей, на «Вечера советско-чехословацкой дружбы».

Для тех, кто посещал зал музыкального училища, афиша просто и естественно исчерпывала себя информацией-программой предстоящего концерта. Для тех же, кто причастен был к событию как исполнитель, она — лишь видимая часть «айсберга», который подразумевал скрытые от публики и увертюру, и действовыступление, и целый ряд сопутствующих актов, не менее интересных, чем основной. И не грешно ли было б пренебречь рекомендацией поэта:

...Если хочешь что сказать потомкам,
Чтоб память о тебе была жива,
То голосом спокойным и негромким
Произнеси немногие слова.

Стоял декабрь уж на дворе, точнее, день двадцать восьмой двенадцатого месяца, за-

мыкавшего 1965 год. В ту пору зимы были настоящими, с морозом и сугробами, как полагалось на Руси. Вся улица, носившая название Тендерной, переименованная студентами в Бетховен-стрит, напоминала новогоднюю, скорей рождественскую открытку: на первом плане домики в один этаж и три оконца, с засыпанным пушистым белым снегом палисадом — типичный образец так называемого частного сектора. Там, дальше, — ярко освещённое, классической архитектуры здание, гордое в своей значительности. К нему-то с двух сторон стекались люди. Похрустывал снежок под каблучками, мерцали ясные звёздочки в почти ночном уже небе.

Оставив шубки в гардеробе, почтеннейшая публика вступала на мягкую ковровую дорожку, устилавшую широкие ступени лестницы с большим венецианским окном, забранном белой драпированной шторой, и с неприменным бюстом Ленина на постаменте. Вся обстановка заставляла ощущать небудничность происходящего. Красивые причёски дам, их строго элегантные, но без претенциозности костюмы, чуть уловимый аромат духов: там — благородный тон «Москвы», здесь — лёгкий «Ландыш серебристый». А нам, училищным, уже кружили голову изысканные ароматы Shanel или Magie noire, что веют древними поверьями. (Труда для нас тогда не составляло одной из ранних электричек, предполагая тем же днём вернуться на работу, отправиться в Москву, на Горького, — в «Подарки», почувствовать себя любимой; а по пути в салоне ГУМа — в реальность воплотить ещё и Золушки мечту, став обладательницей туфелек из Австрии или Англии, Италии или ФРГ.) Эти моменты наслаждений, как полагается, немалых требовали жертв. Но время было таково. В определённом смысле — время культа красоты, которая вдруг в одночасье возможной стала и для нас. А что до ароматов, так разговор о них несколько не случаен. Нет ничего для музыки роднее, и в том секрет гармонии, открытый импрессионистами. Как это у Дебюсси: «Ароматы и звуки реют в вечернем воздухе».

В фойе второго этажа, просторном, ярко освещённом люстрой, с колоннами, отгородившими его от суеты готовящихся к выходу на сцену музыкантов, знакомые встречались, присаживались на банкетки под сенью фикусов в огромных деревянных кадках. Здесь были завсегдатаи концертов. Во-первых, знаменитости от медицины: В.И. и Ю.В. Спиридоновы, К.И. и П.М. Гришины, Н.П. Хляп, Е.Д. Лихачёва, прекрасная своей восточной красотой М.Г. Петросян. Профессора пединститута, сотрудники ВНИТИ и КБМ, ведущие конструкторы заводов, учителя общеобразовательных школ, художники. Интеллигенция города.

Между звонками, означавшими начало, они заполняли ряды кресел в зале, где каждый устраивался на своём, самом удобном месте. А в это время в закулисы, попросту за сценой, в коридоре, выстраивается оркестр. Студенческий оркестр, и потому руководителю с большим трудом удаётся прекратить шум-гам. Вот он (оркестр) выходит на эстраду, сопровождаемый аплодисментами. Как полагается, гобой даёт звук «ля», и группы струнных, деревянных, медных духовых подстраивают инструменты. Все разом. Как только они слышат себя? Быть может, для кого-то это какофония, а для меня так нет прекрасней этого момента. Какая музыка — созвучья сфер! (Вот только насладиться до конца мне не позволит собственное волнение, когда бы возможно было деликатно определить так паническое состояние страха, тремора, если хотите.)

Как раз в шестидесятые мы утвердили форму аннотированных концертов, желая музыкально воспитать доверившуюся нам публику, образовать и просветить её, сформировать тот вкус, который раньше называ-

ли благородным, настроить слушателей на эмоциональную волну, в которой зазвучит... на этот раз Чайковский. Желающих заняться этим делом, однако, не нашлось, и долгое время функцию ведущего программы я выполняла в единственном лице.

Стою на выходе, себя не помня, вслух повторяя: зачем я только согласилась, чтоб я когда-нибудь ещё... И лишь решительное слово Миши Пархомовского приводит в чувство: «Наташа на месте, молитвенник при ней, — значит, можно начинать». (Молитвенником называл он маленькую лакированную книжечку для заметок к тексту; со временем она обогатится автографами Святослава Рихтера, Герардо Рабаго, Марка Кадина — дирижёра «Виртуозов Москвы».)

Какие трудноодолимые, крутые две ступени к сцене! От выхода до пульта дирижёра, то есть до середины авансцены через оркестр дорожка по диагонали. Пока я прохожу по ней, мысль успевает зафиксировать какие-то несвязные штрихи. Прежде всего — огромный оркестровый коллектив из семидесяти участников. Он с трудом размещается на нашей сцене. Когда успел он вырасти в большой состав? И это наш училищный, студенческий! В провинциальном городе Коломне! Я успеваю вспомнить, например, как дирижёр Виталий Мохов вытаскивал, по его выражению, «буквально из трубы» мальчишек лет пятнадцати; как, увидав зимой в нетопленном трамвае по сути беспризорников, пугающих меня, забирал их с собою, приводил в училище, давал в руки кларнет или трубу и чуть ли не насильно заставлял получать профессию. Скольких подростков отвёл он таким образом с сомнительного пути! Этих ребят не узнать сегодня: все в чёрных отутюженных костюмах, белых сорочках с бабочкой, гладко причёсанные, взволнованные и одухотворённые. Встречаюсь взглядом с флейтистом Геннадием Шиковским. (Высокий и худой ужасно, он не однажды прибежал ко мне домой с запиской от дирижёра — «Накорми, пожалуйста»; я понимала, что иначе у духовика «не держит диафрагма», и быстро готовила отбивные. Кто-то другой заказывал яичницу, уточняя, что хоро-



Исполняется Струнная серенада П.Чайковского

шо бы, если из десяти яиц. В подобных обстоятельствах они мгновенно становились родными нашими детьми.) За следующим пультом, слева, — два альтиста, два неразлучных друга, судьбу которых в первый год их обучения мне поручили обе мамы. Совсем домашние ещё ребятки — Виктор Евдокимов и Лев Родионов, уже познавший искушение славой, сыграв одну из главных ролей в фильме «Взрослые дети», где он азартно и рискованно катался на мотоцикле по квартире. Всё это, вовсе неизвестно почему, успело промелькнуть в сознании, и вот я поравнялась с пультом концертмейстеров оркестра, который занимают талантливые скрипачки — Анна Михайловская и Наталия Горчакова.

В первых своих фразах, обращённых к залу, слышу предательскую дрожь голоса; но как только досадное это мгновение миновало, речь вошла в рабочий ритм, и все ненужные эмоции вдруг разом отступают. Внимание сосредоточивается на содержании слова, на интонации, чтоб монотонной не была, на доверительном послые в зал (по методу актёров) тем выбранным трём-четырёх, откликнувшимся сразу, замкнув контакт, что называется, от сердца к сердцу. (О, благодатная коломенская публика! Вниманье, доброта и искренность «в единую гармонию сомкнулись». Тогда и много лет спустя так часто доводилось слышать мне слова признательности, благодарности. Бывало, при случайной встрече в городе: слушали, потрясены, а следующий когда?)

Всплеском оваций встречают дирижёра. Оркестр встаёт, приветствуя маэстро. Минута напряжённой тишины. Смычки положены на струны, прильнули к инструментам исполнители на духовых.

Вот, наконец, оркестром взят величественный первый аккорд Пятой симфонии П.И. Чайковского, аккорд неизъяснимой скорби, собой заполнивший пространство зала. За ним, выстраиваясь в ряд, — ему подобные, покорные минору и траурному ритму, — слагают фразу, что звучит как образ рока неодолимого, неумолимого. Мысль замыкается мотивом смер-



В программе концерта Пятая симфония Чайковского

ти: так объяснял Чайковский темы, основанные на поступенном нисходящем движении в низком басовом регистре. В ней, в этой теме, заключена главная мысль симфонии. Она пронизывает музыку всей первой части, всех последующих, то угрожая, то коварно насмехаясь. Над чем? Над всеми светлыми мечтами, реализованными в трёх(!), к примеру, вальсах — символах прелестной юности, чем автор удивил своих собратьев по перу; над радостными эпизодами народного веселья, — над всем, что может противостоять обречённости и смерти. Смятение души, тревога и волнение захватывают слушателя, и он, не в силах оторваться, следит за действием.

Уже солирующая валторна пропела знаменитую мелодию в *Andante cantabile*, как песнь о невозвратном, о том, что много было в жизни да прошло, оно ещё манит и словно обещает, но грустно, грустно так... Как слушают!

Зал переполнен. Не спасают приставные стулья. Сидят на подоконниках, у самой сцены, а те, кому совсем не повезло, не растерялись: в фойе соорудили импровизированный амфитеатр из стульев и столов. Через открытые в зал двери стоя внимали Чайковскому и оркестру.

Финал, а значит, и идея всей симфонии — загадочная вещь. В аккордах изначальной темы, которая теперь звучит блистательно у духовых в мажоре и безусловно торжествует, читается двоякий смысл. Что торжествует? Жизнь, сила духа, преодолевшая «судьбу», или — надменно, вызывающе, всё попирая, сама судьба, она же смерть? В трактовке всё решает дирижёр, с собственным отношением к произведению, с ему присущей интуицией и интеллектом. (В.Мохов совершенствовался в тот период в аспирантуре в городе Казани, где уровень музыкальной культуры определял маэстро Натан Рахлин; стажировался непосредственно у известного профессора И.Э. Шермана. Периодически Виталий Семёнович находился на учёбе, и в Коломну летели телеграммы: «Зимой Чаконы не будет исключи её аннотации» или: «Прилетаю пятницу Пархомовскому обеспечить репетицию». Уезжая, Мохов мыслью и сердцем весь пребывал в родном училище, с родным оркестром.)

Концерт дал повод к тому, чтобы студенческий оркестр прозвучал на всю страну, на бывший тогда СССР. Руководитель, напомним, он же директор училища, позаботился об этом, пригласив на исполнение Симфонии Елену Ольхович, корреспондента официального журнала «Советская музыка». Так появилась публикация «Первое в области», где освещались моменты истории музыкальной жизни Коломны, обстоятельства становления училища, творческая атмосфера коллектива, программы концертов, портреты персоналий-личностей, — и обо всём том в превосходной степени.

II

Конечно, Пятая Чайковского — событие неординарное, но, к счастью, не единственное. Замыслов было множество. Обычно возникали они вечерами в кабинете директора, где собирались педагоги, оставшиеся в Коломне на следующий день. Дело в том, что основной состав преподавателей, будучи не местным, приезжал на работу из Москвы, Рязани, Луховиц. Правда, рядом с училищем уже был построен 16-квартирный дом, и лиры над подъездом подтверждали, что предназначен он для музыкантов. Но было там всегда ужасно холодно. Порою мы устраивали в кухне «камин» из кирпичей, каким-то способом разогревали его до красного кале-

ния; и нам казалось очень романтичным сидеть возле него, как будто в юрте. Всегда заваривали прекрасный чай провинции Юнь-ань, добытый контрабандой на рязанской чаеразвесочной фабрике. Какой был аромат! И цвет! И в чистой влаге янтаря неспешно разворачивались чайники в большие лепестки, как крылья бабочек. Засиживались за полночь, бывало, до рассвета, и я вполголоса читала любимого моего Г.У. Лонгфелло:

— Посмотри, как гаснет пламя
Меж багровыми углями!
У камина — тишь и мгла.
У камина я мечтаю,
Поступь стрелок отмечаю:
Полночь только что прошла.
.....
Отсвет зыблется, мерцает,
Фолианты озаряет,
В них — творенья мастеров...
В каждой пламенной странице
Песнь бессмертия хранится —
Отблеск сердца в тьме веков.

Случилось так, что после нескольких зигзагов моей жизни квартира эта стала навсегда моей, а соответственно, заветная та кухня. И тени прошлого витают в ней. Тогда ж здесь собирались замечательные люди. «Все они красавцы, все они таланты, все они поэты...»

Незаурядный пианист Анатолий Сергеевич Розанов. Потомственный интеллигент, неизменно деликатный, корректный, с тёплым взглядом южных карих глаз, скрытых ровно настолько, насколько ему хотелось, под массивной роговой оправой очков. «Зовущий», но ничего не обещавший этот взгляд способен был увлечь с собою незаметно с поздней электричкой в волшебную зимнюю ночь в Сокольники, с лёгким морозцем и редкими узорными снежинками, не тающими на ресницах; наполнить эту дивную красоту загадочным очарованием, «чтоб это счастьем показалось». Сольных выступлений его я не припомню. Выходил на сцену, когда должен был играть партию второго фортепиано с учениками. Рояль у него звучал божественно, и неизвестно, на чью долю выпадал большой успех. А.С. Розанов был высоким камертоном на фортепианном отделе, который он и возглавлял.

— Заходите ко мне, — иной раз пригласит меня к себе на занятия, — мы с Моисейцевой (его отличала манера какой-то воркующей интонацией называть своих учеников по фамилии) работаем над Второй сонатой Прокофьева. — Произносил с нескрываемой гордостью в голосе. Произведение это, явно не школьного уровня, вовсе не было исключением в репертуаре класса Розанова. Он брал себе, чего ж таить, самых способных пианистов и делал из них настоящих музыкантов-мастеров. Они играли, и как играли! Рапсодии Листа, концертные этюды Скрябина, полонезы и баллады Шопена, Первый фортепианный концерт Чайковского, Первую, Вторую, Третью сонаты Прокофьева. Он воспитал Людмилу Кузнецову — звезду, легенду города. Сейчас она заслуженный работник культуры, доцент Московской консерватории и постоянно концертирующая пианистка.

Наш завуч, Борис Михайлович Пронин, — тромбонист по специальности. Представительный, сказали бы о нём в народе, статный и невоз-

мутимый. Ему бы в театре играть роль генерала, особенно в отставке. Он, будучи парторгом, потребовал меня однажды «на ковёр» за то, что в аннотации к «Пер Гюнту» Грига отсутствовала ориентация на решения XXII съезда партии. Такие были строгости. Я же озабочена была совсем другим: каким должно быть платье в тон кобальдам, троллям и прочей нечисти в «Пещере горного короля».

Артистичный, с озаряющей лицо улыбкой и уверенностью столичного деятеля, Виталий Мохов в должности директора чувствовал себя в родной стихии, отличаясь предприимчивостью, порой не без авантюрного нюанса. Нововведения вершил стремительно, не давая опомниться. Однажды, в благословенное утро, поразил всех приобретённым в одночасье инструментальным парком. Новенькие и хорошо послужившие пианино, проверенные временем, известных фирм, сияющие лаком и благородно поблёкшие, заполнили всё свободное пространство первого этажа. В ночь обновились и концертные рояли в зале, приведя в изумление пианистов. Хорошими инструментами были укомплектованы симфонический и народный оркестры.

Красивый жест был свойством его натуры. Он мог позволить себе послать цветы на экзамен в класс музыкальной литературы; открыть отделение — теоретическое, музыковедческое «под педагога», в одарённость и перспективу которого он верил; организовывал блестящие банкеты, маскарады, новогодние балы для педагогов и студентов, где рыцарски эффектный Л.Конторович, преклонив колено, пил шампанское из белой туфельки своей дамы. Вместе с нами «срывался» в Колонный зал на съезд композиторов или на первое исполнение оперы Прокофьева «Игрок», в Театр имени Станиславского и Немировича-Данченко на



С них начиналась история училища. Сидят: В.С. Мохов, Н.М. Кочеткова, Э.Н. Тильман, М.И. Пархомовский. Стоят: В.И. Панов, Ю.И. Бескин, Л.Л. Пономарев, С.М. Микитянский (заведующий кафедрой струнных инструментов Института им. Гнесиных), В.Е. Доронкин, В.В. Строев, Л.И. Конторович

новую постановку «Катерины Измайловой», когда шла она в присутствии автора, Д.Д. Шостаковича.

Скрипач Михаил Израилевич Пархомовский — личность колоритная. О присутствии его в училище уведомлять кого-либо было излишне. Громогласный монолог, независимо от его содержания, в полный голос с надтреснутым тембром, стук стульев, отбивавший такт в классе со специалистами, специфическая суматоха, всегда царившая вокруг него, вовлекавшая окружающих в орбиту его проблем, означали, что Михаил Израилевич прибыл на работу (местом жительства его была Москва, где он снимал квартиру на Матросской тишине). Со всеми его «гешефтными номерами», неизбежными в силу еврейско-бакинского происхождения, с внешностью родного брата Бельмондо его любили все: женщины, которые бросались опекать, до глубины души разжалобленные его плохо обустроенным бытом; коллеги — за страстную увлечённость скрипкой и музыкой; ученики, которым он отдавал всего себя и на которых обрушивал эмоциональный шквал нравочений и угроз — деликатности ради не станем их цитировать. Все равно принимали его таким, каким он был, и обожали, обожали...

Пользуясь дружбой с В.Захаровым, администратором Большого зала консерватории, он обеспечивал нас контрамарками или билетами на лучшие концерты. Что с того, что приходилось слушать стоя, — был ли то Камерный хор под управлением Роберта Шоу, исполнявший «Мессу» Баха, или американский оркестр из Нью-Йорка, игравший Стравинского и Вагнера (в начале шестидесятых!), — они достойны были и не такой жертвы. Зато только с балкона и можно было, умирая от восторга, понастоящему восхититься зрелищем, когда двенадцать тромбонов с золо-

396

НАТАЛИЯ КОЧЕТКОВА



Ю.Бескин играет произведения Р.Шумана

тыми раструбами, сверкнув, как молнии, взметнутся вверх, чтобы скандировать воинственно-фанфарную тему Валькирий.

Рукотворный памятник он сотворил себе в училище — ансамбль скрипачей, который сразу и навсегда стал одним из самых любимых исполнительских коллективов. Ансамбль играл весь цикл Чайковского «Времена года», печалил душу Чаконой Витали, навевал улыбку прелестной пьеской Ибера «Маленький серый ослик», завораживал негой Востока и страстностью музыки Хачатуряна, Караева, выступал с солистками Большого — Галиной Олейниченко, Надеждой Красной, великолепно исполнявшими романсы русских мастеров.

Про Юрия Бескина друзья его, М.Пархомовский и В.Мохов, снисходительно говорили: «Наших дел не понимает», и выражение это сроднилось с ним как постоянный эпитет. И правда, он целиком сосредоточен был на своей виолончели, репертуаре, учениках. Музыкант он был романтно-вдохновенный, тонко чувствующий стиль, проникающий в бездонную глубину звука любимого инструмента, улавливающий полутоновые эмоциональные светотени. Не случайно Концерт Шумана стал коронным номером его исполнительской программы и ещё «Вариации на тему рококо» Чайковского, как эталон изящества и мастерства. При этом находился он всегда в стремительном движении, с широко открытыми, по-детски доверчивыми глазами, звонко смеющийся, с особым гурманским вкусом к анекдоту, пикантной шутке. И те, кто ехал учиться к нему со всех краёв Московской области, и те, кто работал с ним рядом в училище, ценили Юрия Иосифовича как специалиста высокого класса. Играть на сцене он любил не менее своих коллег. Уже 2 ноября 1962 года все вместе исполняют секстет Чайковского «Воспоминание о Флоренции», где М.Пархомовский — первая скрипка, В.Мохов — первый альт, Ю.Бескин — первая виолончель. «Единый лавр их дружно обвивает», их тройственный союз, к которому чуть позже присоединится талантливый и трепетный пианист Юрий Амитон. Теперь, когда есть «базовые» — скрипка, альт, виолончель, рояль и дирижёр, мечтам предоставляется возможность воплотиться в жизнь.



В.Мохов, М.Пархомовский после окончания Концерта И.Брамса для скрипки с оркестром

III

Вернёмся же к вечерним «конференциям» в директорском кабинете. Большой диван специально для гостей. Свет только от настольной лампы под матовым тюльпаном-абажуром. В.Мохов — на привычном месте за столом, сосредоточен на большом приёмнике в желании поймать что-нибудь интересное. Вот... вот Стравинский, у нас в стране ещё полулегальный, его «Поцелуй феи». С притворной серьёзностью пытаемся найти, где ж он, в каком же такте поцелуй; я на правах музыковеда заявляю, что поцелуя вовсе нет и не должно быть, он лишь в подтексте. Мы все чуть-чуть кокетничаем друг с другом (ах, молодость, молодость!). А замыслы и в самом деле возникали здесь. Подумать только: решиться на двойной Концерт (для скрипки и виолончели с оркестром) Брамса. И что ж, сыграли! Подарили публике эту волнующую, страстную, романтическую музыку, где от вступительного такта — сердце пополам. За ним — тройной Бетховена, с солистами М.Пархомовским, Ю.Бескиным, Ю.Амитоном. А как красиво смотрелись они на сцене, на фоне молодёжного оркестра: классические силуэты в чёрных фраках, со скрипкой, виолончелью, за сверкающим парадно-чопорным роялем, за дирижёрским пультом — в экстазе вдохновенья. Каждый из них был артистом, личностью, у каждого была не столько биография, сколько судьба.

Возникла мысль: неплохо было б подружиться с современными композиторами. С лёгкой руки Михаила Израилевича пригласили Азера Рзаева из Баку. Пархомовский играл его скрипичный Концерт, очень красивый, с восточным колоритом томной неги и «диких» ритмов кавказской пляски.

Восточному гостю — достойный приём. Был заготовлен целый ящик изумительного венгерского вина Murfatlar. Среди гостей — Эмилия Тильман, преподаватель литературы и английского. Особа яркая, эффектная. Азер пил за её ресницы. Они и в самом деле стоили того — густые, длинные, как опахала; казалось, будет слышно, если одна из них надует и упадет.

На этот раз я разворачиваю грандиозного масштаба свиток, двойную афишу, приглашающую на концерт из произведений Николая Ракова, признанного среди современных композиторов, лауреата Государственной премии, профессора, автора симфонических, инструментальных, вокальных сочинений, эстрадной музыки. Все исполнители охвачены приподнятым настроением: не каждый день ведь выпадает счастье работать, правильнее сказать — творить с живым создателем музыкальных композиций. Николай Петрович с явным интересом принял предложение о сотрудничестве. Приезжая в Коломну, работал с оркестрантами. Приглашал солистов, дирижёра в Москву, в свой кабинет в консерватории. Детально занимался с ними. Отдельно — с Пархомовским, который исполнял его Концерт для скрипки. С подчёркнутым расположением — к Галине Александровне Глибко-Долинской. Ещё бы! Всё здесь: колоратурное сопрано и хороша собой, какую-то классическую красотой, совпадающей с формулой «правильности». Как ювелирное создание, она — вся совершенство с очарованием распахнутых голубых-голубых глаз, всегда готовых засмеяться. Репертуар располагал к улыбке, тёплой, нежной — в «Колыбельной медвежонка», шаловливой — в «Дудочках». Одна лишь я никак не попадала в зону внимания мастера. Напрасными оказывались

мои поездки в Москву: не находилось времени поговорить со мной в училище — такое вот пренебрежительное отношение к музыковеду, которому всего лишь навсего полагается аннотировать концерт. Не реагировал маэстро даже на моё отчаяние, что выражалось в громком хлопанье огромной двери в зале. Так и пришлось мне выходить на сцену «с собой наедине», не получив ни слова, не говоря уж об интервью, от автора. Пришлось самой найти те образы, что наполняли содержанием Симфониетту, соединить их в тему Родины: то в элегическом звучании медленных частей, то озарённых радостью во всей палитре оркестровых красок. Нашлись достойные слова и о Концерте; естественно вписались два романса для голоса с оркестром. Но главное — сложился облик композитора, притом в сердечном тоне, несмотря на предыдущие мои обиды. И вдруг сам мэтр, поднявшись на эстраду, обнимая, замечает: «Я и не думал, деточка, что можно так интересно и красиво рассказывать о моей музыке». Он очень был доволен всем концертом и не сопротивлялся, когда В.Мохов подал мысль сыграть его в Рязани, в музыкальном училище. Там повторилось то же.

Мне думается, непосредственный контакт с «живыми» композиторами пробудил и в наших музыкантах вдохновенный интерес к созданию своих творений. Душа их не чужда была ободряющей рифмы Саши Чёрного:

Будь творцом! Создай золотые мгновенья.
В каждом дне есть раздумье и пряный экстаз...

Признаться честно, мне не очень верилось в идею; однако года не прошло, как он сложился, авторский концерт. «В октябре в Коломне, — отмечал журнал “Советская музыка”, — состоится первый в истории

399



Новогодний вечер. В центре — И.Гольдштейн, справа — Б.Пронин, В.Мохов, Г.Глибко-Долинская в костюме Весны из «Снегурочки»

города концерт из произведений местных композиторов (симфоническая поэма “Кочубей” и Вторая симфония В.Доронкина, Симфониетта для струнного оркестра Б.Тобиса, Детская симфония Б.Копелевича, Фортепианный концерт В.Мохова). Все авторы — педагоги училища... Знаменательное явление для города, не имевшего раньше своего оркестра!».

Есть фотография, увековечившая это выдающееся событие. И снова мы отправились в Рязань, столь дружелюбно принимавшую нас. (Я жила когда-то в этом городе. В нём училась в музыкальной школе, окончила училище как теоретик и пианистка. Получив вузовское образование в Киевской консерватории, в Рязани начинала свой профессиональный путь как педагог и как ведущая творческих вечеров. Уже обосновавшись во вновь открытом училище в Коломне — а в том большой соблазн, чтоб состояться «в свободном полёте», самолично формируя традиции, — я некоторое время ещё совмещала свою работу здесь с училищем в Рязани, поддерживая дружеские отношения.) Теперь союз был заключён меж творческими коллективами обоих училищ и древних русских соседствующих городов.

IV

*Среди миров, в мерцании светил
Одной звезды я повторяю имя...*

Был в нашей жизни ДЕНЬ. Судьба даровала нам его в преддверии декабрьского сезона, а именно 30 ноября 1983 года.

Директором училища в ту пору был Владимир Ильич Чевела, хормейстер-дирижёр, создатель Камерного хора. Он любил и умел устраивать праздники музыки, преимущественно хоровой, с приглашением разнообразных коллективов из Москвы и Нижнего, из-за границы. Но то, что сделал он на этот раз, стало событием уникальным: он пригласил к нам Святослава Рихтера, и это было потрясением не только для училища, но и для всего города. Именно так будет озаглавлен отклик на концерт мастера в газете «Коломенская правда» — «Город благодарит Вас».

Приезду гостя предшествовала увлекательная прелюдия. Всю церемонию приёма поручили мне, и потому ещё сегодня я помню всё до мелочей. Я привлекла себе в помощницы Раису Андреевну Юденкову. В училище она заведовала библиотекой, но дело-то не в этом, а в том, что она обладала замечательным кулинарным даром, готовила художественно, не только вкусно. Сначала мы соревновались с нею в качествах бульона. Прозрачность — непременно условие; при этом ей хотелось придать холодноватый цвет, мне ж — золотистый. Их получилось два: они, присыпанные зеленью, индивидуально смотрелись в бульонных ярких чашках. Под них успела я расшить салфетки, с алой клеткой на светло-сером фоне и с аппликациями бабочек в углу. Ручная работа. Храню их, конечно, как драгоценную реликвию, иногда демонстрируя знакомым. Что до меня, то мои кулинарные ресурсы скоро иссякли. Зато какие изыски творила Раиса Андреевна! Готовила нежнейший паштет, протирая его сквозь ситечко, — раз шесть, не меньше. А пирожки мясные, крохотные, многократной слойки, буквально таяли во рту (так отзывались гости: самим попробовать не довелось, хотя магическое действие это происходило в моей заветной кухне). Не стану здесь перечис-



Беседа после концерта

лять в подробностях всё изобилие блюд — красивых, ароматных, соблазнительных. До блеска начищались фамильные серебряные кольца для салфеток, продумывался стиль сервировки, где сочетались хохлома и жостово, комплект кофейный, чайный, в зависимости от желания гостей.

Святослав Теофилович приехал не один. Его сопровождали Наталья Гутман (первая виолончель отечественной школы) с мужем Олегом Каганом, высокого класса скрипачом. А также Александр Слободяник в окружении молодых людей. Они не выразили желания пойти «позавтракать» ко мне: я думаю, что их остановило столпотворение у здания училища, куда для поддержания порядка прибыли даже сотрудники милиции. Казалось, всё коломенское население устремилось в этот вечер к нам, хотя официальной информации, тем более афиши, не было.

Почётные гости разместились в угловом классе второго этажа, напротив выхода на сцену. Потребовалось срочно перенести сюда всё из дома. И было б ничего (мы быстро справились с транспортировкой), когда б не та толпа на лестнице, ведущей в зал. Пришлось по головам передавать коробки, чайники, подносы. А как же проникать самим? Лично мне необходимо в первую очередь.

Ну, наконец-то всё образовалось, я знакомлюсь с Рихтером — и это наяву!

Раиса Андреевна моментально распорядилась наилучшим образом, угощала с профессиональным мастерством.

Святослав Теофилович — в кресле за столиком, в белой сорочке с глубоко откинутым воротом. На груди огромный серебряный крест с распятием на массивной цепи. С капризной недоверчивостью смотрит на яства, поначалу отказывается, и только после настойчивых уговоров Натальи Гутман пробует и тут же заверяет, что это очень вкусно.

Однако наступает время поговорить и о программе его выступления. Для начала маэстро спрашивает, как собираюсь его представить. По простоте душевной перечисляю все его регалии: народного, лауреата премий и т.д. «А что, — останавливает он меня, — никто не знает, кто такой Рихтер?» (Нет, нет, совсем без небрежения, свойственного иным из знаменитостей, с которыми доводилось мне общаться в подобной ситуации.) Какой урок я получила! Но это был единственный пример из моей практики такой неложной скромности. Спросил ещё: французское или итальянское произношение — *energico* — мне ближе; узнав, что первое, не возражал. И больше никаких рекомендаций.

Он очень волновался. Подумать только! Всё повторял: «Наташа (это к Н.Гутман), я, наверное, сегодня плохо буду играть». А нам-то всегда кажется, что великим несвойственно волнение.

На сцену мы выходим вместе. «Какая я счастливая!» — звенит в моём сознании. В зале занят каждый сантиметр пространства. Студентам Рихтер позволяет устроиться на сцене. Погашены плафоны. Рояль открыт, и освещает ноты на пюпитре лишь небольшой напольный софит. Вот этот светлый круг и концентрирует мысль, чувство, впечатление. Всё так задумано великим пианистом. Звания, цветы, ордены — всё это не должно отвлекать от главного. «На сцене пусть будет только музыка».

Первое отделение посвящено музыке И.Брамса. (При звуке имени его всплывает в памяти знакомое из Пастернака:

Годами когда-нибудь в зале концертной
Мне Брамса сыграют — тоской изойду.)

Его 2-я соната — произведение философски сложное, многоплановое по содержанию, своеобразное по музыкальному языку. Включение его в программу свидетельствует об уважительном отношении артиста к нашему слушателю. Когда в антракте мы беседуем со Святославом Теофиловичем, он говорит: «У вас хорошая аудитория. Сердце у неё есть»... Поверьте, это дорогого стоит.

Музыку немецкого романтика сменяет лирика Рахманинова: восемь этюдов-картин, три этюда соч. 33, пять этюдов соч. 39 и многое ещё на бис.

Пытаться говорить о впечатлении от исполнения Рихтера — занятие бездарное и неосуществимое. «В едином сердечном порыве, — констатировала пресса, — зал встаёт, волна за волной, от последних к первым рядам — 500 человек, исполненных душевной благодарности за истинно великий дар вечно прекрасного искусства музыки».

Такое не забудется: не только сохранится дорогой страницей памяти, но станет импульсом, источником дерзания и вдохновения.

«Годами когда-нибудь...» Брамс зазвучит в нашем зале с таким глубоким пониманием и чувством, что слушатели замрут и время будто остановится. Светлана Терентьева играет три Интермеццо для фортепиано, соч. 117 (музыканты знают, что пьесы эти признаны «высшей пробой духовной зрелости для исполнителя»). Брамс называет их «Колыбельными своих страданий». Скажите мне, откуда эта мудрость чувств, естественное, ненадуманное погружение в мир скорби и печали светлой у этой девочки в семнадцать лет; скажите прежде мне, кто педагог Светланы? Заслуженный работник культуры Галина Андреевна Гуськова в своё время была благоговейной слушательницей Брамса в концерте Святослава Рихтера.

Цветная, в гамме радуги афиша подробно извещала о предстоящем фестивале искусств «Золотая осень», с большим размахом обещая выступления известных исполнителей отечественной школы: И.Бочковой (скрипка), С.Пономарёвой (фортепиано), М.Тарасовой (виолончель), Ю.Воронцова (саксофон); учащихся ЦМШ и студентов Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского; ансамбля «Тембровые баяны»; гастрولي рязанского «Театра на Соборной», а также Национального хора из Мексики, «Торнадо-хора» (Бельгия, руководитель Эме Тонон) — «все флаги в гости». На две недели рассчитанное празднество.

Всё это пиршество, разнообразие стилей — от классики до эстрады — с джем-сейшн, контраст инструментария и ритм — концерты проходили через день, а то и ежедневно: как правило, по два, в 15 и 18 часов, — всё это уже само по себе доставляло немалую нагрузку для ведущего, поскольку основной площадкой фестиваля был, как всегда, концертный зал училища, и по традиции кандидатура музыковеда, не обсуждаясь, подразумевалась. Но тут ещё и иностранцы. Конечно, с ними интересно. Хор мексиканцев прибыл к нам 22 октября, как раз в тот день, когда дождливая погода сменилась снегопадом. Снег, снег! Они впервые видели его, выражая свой восторг с непосредственностью южного темперамента. «Снег» было первым словом, произнесённым на русском языке. Мне повезло, что художественный руководитель камерного хорового коллектива г-н Херардо Рабаго Палафокс владел французским языком, что сильно облегчило наше с ним общение (вот когда, в который раз в жизни, я благодарным словом вспомнила своих родителей, в дни детства моего позаботившихся о языке; свою «французенку», как называли мы Любовь Альфонсовну Клаво, экстравагантную особу, не знавшую или не желавшую произносить русские слова, и потому волей-неволей мы, дети, освоили язык).

Мы разговаривали с ним, гуляя по дорожкам мемориального парка; он переводил своим коллегам.

Первую часть программы составляли сочинения XVI—XVII веков — музыка, характерная для мексиканского искусства колониального периода. А далее их выступление поразило нас раскованностью выражения чувств, свободой движений по сцене и общей радостностью. Смешно ужасно, как они изображали «кукараччо», — мне объяснили, будто это таракан. Потом они все быстро переоделись в красочные национальные костюмы и устроили настоящий праздник. В заключительной части исполнялась народная музыка. Она была представлена в виртуозных обработках мастеров, поставивших себе задачу таким образом спасти жемчужину нации.

А настоящие переживания возникли с «Торнадо-хором». Эме Тонон в гостях у нас уже не в первый раз. Бельгийцам очень понравилось в Коломне, в училище, где с русским хлебосольством и радушием их принимали. В предыдущий приезд им был устроен вечер в нашем большом концертном зале, с весёлыми импровизациями, с угощением. Как полагается, мы позаботились о том, чтоб быть нарядными. И вдруг они пришли в свободных шортах и футболках, — порядком выцветших, помятых, что ничуть не мешало им петь, танцевать и прыгать от души. Мы постепенно привыкали к европейским нравам, и позже нас уже не удивляли подобные манеры артистов — из Германии, например.



Концертное исполнение оперы «Евгений Онегин» П.И. Чайковского

Так вот, совсем уж близко к вечеру — ни хора, ни мадам Тонон. Они пришли за несколько минут до выхода на сцену: весёлые и беззаботные, в восторге от прогулки, с массой впечатлений.

Мадам Эме готовится к концерту, меняет туалет, набрасывает макияж в моём рабочем классе и параллельно чуть ли не скороговоркой (это на французском вообще-то) что-то рассказывает мне — о коллективе, о себе. Потом набрасывает на листке несколько фраз. Но почерк!.. — это ж не печатный шрифт. На расшифровку — ни минуты, торопят с выходом, тем более что в зале много официальных и почётных лиц, и заставлять их ждать не принято. Вот так, бегом, оказываюсь я на сцене, охваченная ужасом от сумбура в мыслях. Вспоминая кое-что из щебета мадам Тонон, заглядывая также в манускрипт, рискуя на ходу, с листа, дать слушателям информацию в русском переводе. Читая, прихожу в смятение: здесь обозначены три(!) хора, ещё и... Кошки. Какие кошки? Произношу, боюсь представить, что сделают со мной потом. Но как ни странно, всё совпало: был хор, несущий основную функцию; был хор пенсионеров, иные из которых передвигались с тросточкой, даже в коляске; был подростковый хор; представьте себе, были и кошки — совсем маленькие дети в полосатых рыженьких, серых и чёрно-белых комбинезончиках и шапочках с ушами и усами. Они разыгрывали на авансцене подобие театрального спектакля и уморительно мяукали.

Всё это — на импровизации, без напряжения, но в удовольствии; без тех высоких планок мастерства, без тех задач, что составляют принцип наших фестивалей, которые, как правило, проходят в том же зале, где состязаются училищные хоры консерваторий, академий. Вот на Пятом, к примеру, фестивале, посвящённом памяти А.В. Свешникова, высокая награда — быть удостоенным звания лауреата; и получил её хормейстер Николай Гуськов, заслуженный работник культуры, — к великой радости родного училища.

Однако не пора ли взять люфт-паузу, оставив на листках лишь несколько тех нот, которые ещё живут, звучат, трепещут в сердце...



Виктор Семёнович Мельников родился в мае 1948 года в Казахстане. Но детство и юность прошли в Сибири. Суровая красота этого края и мужественность людей сформировали твёрдый и целеустремлённый характер, который очень пригодился в дальнейших странствиях. Мельников исколесил весь Союз от Казахстана до Прибалтики, сменил много профессий, прежде чем нашёл себя в журналистике. Романтика Старой Риги оказала большое влияние на творческое развитие. Но пришло время по известным причинам расставаться с Латвией... И это казалось бы трагическое обстоятельство, способное сломать жизнь любому человеку, способствовало превращению журналиста в писателя.

Виктор Мельников — лауреат премии им. И.Д. Сытина (2002), дипломант областной литературной премии имени М.М. Пришвина (2006), автор восьми книг прозы. Нынешняя публикация представляет писателя в несколько необычном ракурсе — как автора литературных заметок и небольших эссе.

Виктор МЕЛЬНИКОВ

МЫСЛИ ИЗ ЛИХОЛЕТЬЯ

(1994–2007 ГОДЫ)

Как только мы почувствуем себя русскими и православными, тотчас все и устроится.

Ф.М. Достоевский

* * *

Судьба писателя в современной России — если не трагедия, то уж по меньшей мере — драма.

Иногда у меня возникает сомнение: а правильно ли я распорядился своей жизнью? Не знаю более неблагодарного ремесла на земле, чем литература. Она сжигает твоё время, здоровье, погружает в мир грёз, делая тебя совершенно беспомощным в реальном мире, и... чаще всего — ничего не даёт взамен.

Первое, о чём надо забыть, вступая на литературную стезю, — так это о материальном благополучии. Труд и вознаграждение здесь совершенно несоизмеримы. Даже если повезёт и вы сподобитесь получения какого-никакого гонорара, то, разделив его сумму на время, потраченное ради создания вашего «опуса», вы с грустью обнаружите, что находитесь на положении древнеэлладского раба. Впрочем, в Элладе рабов хотя бы кормили...

Всё это, разумеется, нельзя отнести к отряду беллетристических подонков, который множится на наших просторах с устрашающей быстротой. Куда проще заправить в компьютер пару-другую детективов и на их основе сляпать свой «роман»! Вот и делают они по «книге» в месяц. Хотя к литературе, конечно, эта продукция не имеет ни малейшего отношения. Настоящая книга пишется годами...



*Рудольф Копылов
Экслибрис В. Мельникова*

Даже если говорить о великих — и здесь положение достаточно сложное. На Западе давно уже опробована такая модель поведения, когда писатель имеет профессию, которая его кормит, а литературой занимается «в свободное от работы время». Ромен Роллан, к примеру, совмещал своё творчество с преподаванием в университете. Сомерсет Моэм сначала заработал деньги на ходовых пьесах и лишь потом отдался прозе. И эти примеры можно продолжать до бесконечности.

Если брать современную Россию, частенько можно видеть, как наши «перелётные» писатели отправляются на заработки в Европу или в Штаты и там читают лекции, а «между делом» занимаются прозой, стихами или переводами. Если же говорить о России старой, то сочинительство относилось к разряду «барских досугов», когда литератор-дворянин жил за счёт своей вот-

чины, а книги создавал из любви к искусству.

Первым на Руси профессиональным писателем, живущим преимущественно за счёт литературных трудов, был Пушкин. Но ведь мы знаем, что он окончил жизнь с огромными долгами, которые за него потом заплатил царь. И это — Пушкин!

Какими подсчётами можно объять ту духовную, да, пожалуй, и материальную пользу, которую Отчизне приносит одно лишь имя Достоевского? А что сам Фёдор Михайлович получал за свой талант? Гонения, плевки, травлю. И это — Достоевский! Что уж говорить о нас!..

* * *

Господи, помоги! Если мы недостойны покоя, то дай нам хотя бы понимание! Ради чего мы живём, ради чего трудимся? Чем мы не угодили Тебе? Ведь Ты же Сам даровал нам талант; а на деле этот дар оборачивается крестом. И мы тащим его на себе, разбивая в кровь душу, расплачиваясь за него стонущими нервами, надорванным сердцем. Должен же быть в этом какой-то смысл! Но как его понять?

Может быть, дело в том, что «устарела», перестала быть нужной сама литература? Насмешливый циник Оскар Уайльд как-то заметил едко, но вполне справедливо: «В прежние времена книги писали писатели, а читали читатели. Теперь книги пишут читатели, а не читает никто».

Да ведь сейчас не XIX век. Радио, телевидение, Интернет, кассеты, дискеты, а тут книжечка какая-то потрёпанная. Но... почему же в мире

столько жестокости, насилия, несчастья, ненависти, самоубийств? Может ли от этого спасти, скажем, телевизор? Да нет, скорее подтолкнёт, усугубит. А книжечка, картина, икона — всё это дедовское, «устаревшее» — спасало, спасает и будет спасать... Тем более в России, где, по меткому замечанию литературного критика Любови Калюжной, духовная доминанта, то есть господствующее направление умов, всегда напрямую связана с ролью литературы. А роль литературы зависит от судьбы книги как таковой.

Мы отдали себя в руки подлецов и негодяев, доверив им честь называться героями нашего времени. Что им до души, до культуры нашей? Растопчут культуру — что от нас останется? Пыль, прах... Уедем все вместе в Америку? Или пригласим американцев сюда, а то и почище того: «придите и владейте нами», сами мы, мол, совсем ни на что не способны. Так и звать не надо... уже владеют. Только не так, как варяги: этих не обрусачишь, эти себе на уме. Но мы в нашем маленьком Граде никаких варягов-ворогов на царствие не звали. И сдаваться не собираемся...

* * *

К политике я был равнодушен всегда, порой себе удивляясь, а иногда даже на себя за то досадуя; и лишь в зрелом возрасте, после долгих попыток разобраться во всех этих партиях, течениях, «измах», я понял, что тут нет никакого моего недостатка. Всего лишь срабатывала защитная реакция: я не поддавался на обман.

По многолетней житейской, а впоследствии и журналистской привычке я тут же накладывал лозунги и обещания на окружающую действительность, и здесь уже нельзя было спрятать никакой лжи.

Даже когда со свежей болью, кровоточащей раной я написал очерк «Хорошо ли там, где нас уже нет?» — о положении русского «нацменьшинства» в Латвии, к которому совсем недавно принадлежал сам, я меньше всего имел в виду политику, потому что национализм, на мой взгляд, — это ниже всякой политики. Здесь политика уже кончается и остаётся только самое дикое и гадкое, что есть в человеке, — зло, помноженное на злобу, примитивная дубина в руках пещерного человека.

* * *

Удивительная особенность нашей страны — необыкновенное число красивых женщин. Мы просто привыкли к этому и как-то не замечаем. А посмотришь западную хронику и удивляешься: как мало здесь действительно красивых лиц... В чём тут причина? Может быть, в том, что Русь издревле находилась на пересечении путей, где встречались разные народы? Финно-угры, балтийские народности, многообразные племена славян, семиты, половцы и татары... И все они вносили в наш генофонд лучшие свои черты, и этот сплав оттачивался веками, чеканился русской сдержанностью, русским целомудрием, русской верой. И как поразительно многообразна эта красота, как непохожи наши женщины одна на другую, как неповторимы их лица! Вот прямо-таки царское величие,



*Оксана Лана. Иллюстрация к рассказу
В.Мельникова «Колдунья»*

вот необыкновенная утонченность и живость. Даже сквозь вульгарность, сквозь испорченность упрямо пробивается изначальная гармония!

Женщина — всегда загадка, тайна, непостижимая ни при каких условиях; всё твоё знание о ней — иллюзия.

Томас Манн, если мне не изменяет память, написал, что в тайне всегда есть привкус избранничества. Простая логическая связка: если каждая женщина — тайна, то каждая — избранная, единственная, стало быть. Вот вам и гимн Женщине.

* * *

Наверное, я покажусь кому-нибудь старомодным и консервативным, но мои взгляды за последние двадцать лет претерпели мало изменений. Для меня по-прежнему свято всё, что свя-

зано с борьбой нашего народа против фашизма, и я с чувством омерзения всматриваюсь в нарукавные повязки фашиствующих ублюдков. Это нельзя оправдать ни в Прибалтике, ни тем более в России. До какого культурного одичания, безграмотности и нравственного падения нужно дойти, чтобы в нашей стране называть себя нацистом! Вот следствие безмозглой политики наших СМИ. Чего удивляться росту неонацистских банд и их бессмысленной патологической жестокости, когда вы сами провоцируете маргинальное поведение?

Никогда не смирюсь с культом разврата и насилия, на который работают сейчас практически все средства массовой информации страны. Но самое большое зло — непривычные для нас и смертельно опасные для любого общества несправедливость и неблагодарность Родины к своим дочерям и сыновьям. Конечно, я понимаю, что Отчизна по большому счёту тут ни при чём, но дело не только в чиновниках.

Нет таких стран, по крайней мере — цивилизованных, где образцом для подражания выставлялся бы не праведник, а бесноватый, не честный человек, а вор или бандит. К чему это может привести в итоге? Да фактически к тому, что мы уже имеем.

* * *

Многие люди моего возраста живут как бы в ожидании конца России... А на самом деле происходит её возрождение. Сильное возрождение России. При всей физической разрухе дело всё-таки идёт к духовному

росту. Люди больше читают духовную литературу. В местном педагогическом институте из года в год увеличиваются конкурсы при поступлении — а ведь рассчитывать на высокие доходы от профессии учителя не приходится. Медленно, но начинает возрождаться институт семьи — как одна из непреходящих ценностей. Не надо ничего форсировать. То, к чему человек внутренне готов, ему даётся — и семья, и работа, и деньги. Почему бизнес сегодня имеет криминальный оттенок? Потому что люди насильственно захватывают возможности, к получению которых не готовы. А потом расплачиваются — семьёй, карьерой, жизнью. «Ой, за что мне это?» Не за что, а для чего. Это даётся как испытание — для роста. Природа предоставляет возможность исправить пороки своего поведения. Кто-то, возможно, считает это наказанием, а я рассматриваю как испытание — для развития.

Так я считал, пока недавно не высказал всё это Роману Славацкому.

Тот поглядел на меня своими серыми глазами, потеревил бороду и сказал, мрачновато усмехаясь:

— Господь с тобой, Виктор Семёнович, что ты такое говоришь? Да разве можно путать культурное и национальное возрождение? Вспомни Константинополь XIV века. Какой тогда был подъём культуры, философский подъём! Все читали творения Григория Паламы, вдохновлялись его утончённым «исихазмом»; невиданных высот достигли иконопись, литература, история, архитектура. Но не прошло и ста лет, как Царьград был захвачен турками. Спасло ли Константинополь культурное возрождение? Нет, не спасло.

И сейчас в России мы переживаем возрождение духовности: открываются церкви, семинарии, наступил расцвет иконописи, чувствуются ренессансные веяния в литературе, изобразительном искусстве. Но разве это отменяет тот факт, что русский народ вымирает по миллиону в год? Причём вымирает именно русское население, а другие народы, в особенности мусульманские, переживают демографический подъём.

Были русичи, а потом исчезли. Их сменили три братских народа: русские, украинцы и белорусы. А теперь мы переживаем период угасания великорусского этноса. Культура-то, конечно, никуда не денется, и Русская Церковь останется, только как бы не получилось, что лет через сто мы будем совершать богослужение на китайском. И ты думаешь, что чтение духовной литературы или высокий конкурс в пединститут могут нас спасти? Смешно это...

— Но тогда что может нас спасти?

Он поглядел на меня очень серьёзно:

— Чудо. Такие случаи уже бывали. Во времена Смуты Россия практически перестала существовать: поляки сидели в Московском Кремле. Однако страна нашла в себе силы победить. Победит ли она сейчас? Это зависит от того, появятся ли у нас новые Минины и Пожарские.

* * *

В черед бесчисленных реформ, терзающих нашу бедную страну, — очередная кампания по реформе русской орфографии. Я не против реформ, если они улучшают наше бытие. Но мне не нужен новояз взамен моей родной речи. Как бы нам не дореформироваться до того, что мы

просто перестанем понимать друг друга. А русскую классику наши дети будут читать со словарём.

Кто сможет защитить наш язык? Современная интеллигенция? Да её попросту нет. Те, кто претендует сейчас на это звание, — интеллигенто-подобная, люмпенизированная, достаточно безграмотная, плохо ориентирующаяся в реалиях сегодняшнего времени прослойка общества, не имеющая ни сил, ни желания, ни возможностей противостоять всему безобразному, что творится в нашей стране.

* * *

Юрий Авербух как-то пошутил: «Когда тебя некому забрать из морга — это уже одиночество». Я считаю, что каждый человек по-своему одинок. В любом из нас, независимо от той жизни, которую он ведёт, есть это ощущение. Ведь каждый рано или поздно задаёт себе вопрос: что я делаю во вселенной? Никто не планирует свой приход в этот мир и свой уход из него... Есть «кандалы» рождения и смерти. В этом я вижу какую-то безысходность.

* * *

Стены... Они слишком часто возникали передо мной, но прошло много времени, прежде чем я смог отличать их от времянок-перегородок, поспешно возводимых всякого рода мошенниками-мистификаторами, научился видеть в них не тупик, а спасение. Я как-то спросил Николая Бредихина: «Что нужно сделать, чтобы развеять, пустить по миру целую нацию?» И он ответил: «Всего только развалить стены и сровнять с землёй храмы. И чтобы народ при этом молчал».

Стены... Казалось бы, они давно уже не защищают, ибо куда страшнее врага традиционного, карабкающегося на приступ, делающего подкопы, изошряющегося в военных хитростях, оказались всякого рода «отечественные оккупанты», которые как ржа железо источили всю великую в прошлом державу. Именно державу, ибо страна так великой и осталась, а вот с «держателями» нам определённо не повезло.

* * *

Так у нас заведено: чуть проявится у человека талант — и он уже рвётся в столицу показывать свои достоинства: хорохорится, расталкивает других локтями. С Королёвым всё оказалось наоборот. В зрелом возрасте он, благополучный московский чиновник, вдруг резко меняет свою жизнь, переезжает в Коломну по месту жительства жены на скромную должность директора сельского Дома культуры с одной-единственной целью — получить возможность писать, поведать людям о том, что наболело на душе. Трудно сказать, как сложилась бы судьба скромного и в то же время гордого молодого автора, если бы его рукописи случайно не попались на глаза самому Виктору Астафьеву. С этого времени публикации, о которых раньше и не мечталось, последовали одна за другой, а в 1984 году подоспел и первый сборник рассказов и повестей — «Жизнь



Оксана Лана. Иллюстрация к повести
В.Мельникова «Зеленый крест»

время — в период великих потерь. Очень многого лишаемся. Не стало и Королёва: за две недели до пятидесятилетия сердце не выдержало, разорвалось. Незадолго до этого, предваряя свой рассказ «Стремительный полёт утки», он написал: «Памяти моего отца — Героя Советского Союза Василия Ивановича Королёва — посвящаю». На войне как на войне?

* * *

Обнишавшие до предела, мы ещё на чём-то держимся. Вернее, что-то помогает нам держаться. И сейчас самое время думать о судьбе наших наследников. А для этого мы должны сохранить нашу культуру. Пока она у нас есть — мы как народ живы, а без неё — пропадём. В своё время бытовала грустная шуточка: «Мы до коммунизма не доживём, а вот детей жалко».

Коммунизм не получился — теперь демократию строим...

Самое большое зло сейчас в нашей стране — это повальное американизирование. Оно умертвляет наш стержень, наши традиции, наш русский дух. И с этим злом бороться труднее. Но ещё страшнее, если ты к этому привыкаешь. Тогда ты не человек: ты просто орудие.

* * *

Смотрел пьесу Злотникова «Без зеркал». Московский театр «Школа современной пьесы». И вот занавес закрыт, но не тянет уйти из зала.

как жизнь». Это название стало как бы творческим кредо Королёва: оттого, наверное, такой непривычной в изображении современной деревни стала его вторая книга — «На трёх буграх» (1990). Ничего в ней не было от классической патриархальности, высоконравственности, неувядаемого оптимизма героев Е.Носова, В.Распутина, В.Астафьева и других общепризнанных корифеев так называемого деревенского жанра: всё было показано как есть, без прикрас и идеализма.

А жизнь между тем как с цепи сорвалась, подбавляла и подбавляла жару; если раньше что-то измордовывалось, подтачивалось медленно, тихой сапой, то теперь пошла в обвал вся страна. Мало было говорить в полный голос, да и кричать бесполезно: вой такой стоял вокруг, что и не услышат. Куда проще что-либо закричать, чем что-либо замолчать. Жить приходится в непростое

И эмоции перехлёстывают через край, и хочется чего-то героического, какой-то наивности, простоты отношений. Любви, как в книгах Пушкина, стихах Пастернака, да побольше. Хочется ни много ни мало — изменить свою жизнь. Не хватает в ней какой-то новизны. Светлого, чистого ручейка.

* * *

Когда погружаешься в историю культуры нашего города, то не покидает ощущение, что пред тобой огромный ковёр с выразительным рисунком: цветущие луга с шелковистой травой, белые берёзы, упирающиеся в облака, сверкающая в изгибе Коломенка... Все нити переплетаются, цепко держат друг друга, и вырвать хотя бы один узор невозможно: нарушится гармония. Дорогими нитями вплетены туда

и имена. Они сверкают и не гаснут в памяти земляков. И.И. Лажечников, Н.И. Новиков, А.С. Рославлев, А.Е. Разорёнов, Б.А. Пильняк; наши современники: С.В. Гуськов, А.Ф. Кирсанов, В.Н. Леонов, М.П. Маношкин, О.В. Кочетков, В.В. Королёв — это всё наши коломенские литераторы!

* * *

Все мы знаем, что существует удивительный пласт художественной литературы — русской и зарубежной. Недавно я об этом серьёзно задумался: что это такое? И пришёл к выводу: в ней заложен отрицательный опыт человечества. Что такое «Евгений Онегин»? Пушкин рассказал об ошибке Онегина: тот не разглядел в Татьяне человека высокой, удивительной души и потом осознал эту ошибку. Что такое «Король Лир»? Это опыт ошибки короля Лира. Что такое «Гамлет»? Отрицательный опыт принца датского. И если мы посмотрим на всю мировую литературу, на её высоты, пики, то увидим, что это целый ряд великих открытий в области отрицательного опыта.

* * *

Журнал «Москва» начал выпускать книги русского мыслителя Ивана Лукьяновича Солоневича. Наконец-то! Ведь мы действительно знаем о нём до обидного мало. Любой хоть немного уважающий себя интеллек-



Оксана Лапа. Иллюстрация к повести В.Мельникова «Музею требуется экскурсовод...»

туал к месту и не к месту помянет Бердяева, может быть, Франка. Но Солоневича?.. Трагичная фигура. Он нигде не мог прижиться. Его всюду стремились приспособить для решения собственных задач — и Милюков, и монархисты-ортодоксы, и Гитлер, и буэнос-айресская русская община, мощная, богатая, со своей иерархией. Все они отказывали Солоневичу в праве быть тем, кем он был в действительности, — ярким самобытным мыслителем.

Его трудам десятки лет. Но до чего правильны его слова, будто написанные им о сегодняшней России: «...революция в России является логическим результатом оторванности интеллигенции от народа, неумение интеллигенции найти с ним общий язык и общие интересы, нежелание интеллигенции рассматривать самоё себя как слой, подчинённый основным линиям русской истории, а не как кооператив изобретателей, наперебой предлагающих русскому народу украденные у нерусской философии патенты полного переустройства и перевоспитания тысячелетней государственности».

* * *

В последние годы много говорится и пишется о Святой Руси, о дороге к Храму, о золотых куполах... Но видит ли, понимает ли большинство людей, что такое Святая Русь? Мне кажется, не надо её искать: надо просто жить в ней. Кто может в ней жить, тот в ней и живёт.

* * *

Как-то я спросил у Петросова: «Жить, как все — это принцип или оправдание многих людей?» Старый профессор, умудрённый жизнью, ответил: «Это давняя и расхожая формула — “живу, как все” — очень удобна для многих людей, ибо за ней скрывается нежелание определить собственную позицию, а тем более выразить её. Так, конечно, спокойнее. А указывает это, как мне представляется, на то, что воспитание чувства личности — одна из первоочередных задач нашего общества».

* * *

Иногда мы говорим про стихи: «публицистика» — и неосознанно ставим под сомнение художественные достоинства того или иного произведения. Происходит инфляция понятия. Но ведь настоящая поэзия, впрочем, как и вся литература, должна быть публицистичной.

* * *

Человек каждый день стоит перед выбором: между подлостью и честью, ложью и справедливостью. Переступив порог совести, можно иметь очень много, но при этом рискуешь обречь себя на ужасное падение. Как сказано в Новом Завете: «Что пользы человеку, если он приобретёт весь мир, а душе своей повредит?»

* * *

Сегодняшняя демократия — это власть политической элиты, которая контролирует и задабривает большинство и одновременно подавляет с его помощью не вписывающееся в структуры меньшинство. Такое вот общество мягкого насилия, если даже угодно, мягкого тоталитаризма.

* * *

Бывая на презентациях наших художников, испытываю ощущение, что присутствующие там чувствуют себя как на похоронах, когда «о мёртвом или хорошо, или ничего». Наверное, надо, в конце концов, непредвзятым критикам относиться к художникам как к живым, заслуживающим самой резкой критики, раз уж у них хватает смелости бесцеремонно претендовать на особый статус и требовать собственной канонизации в виде «живого классика». И терапевтически сейчас было бы более полезным не раздувать их школярские успехи, а сделать усиленный акцент на трезвой, пусть и суровой критике. Может быть, это побудит их наконец-то взглянуть на собственные художества трезвыми глазами, а зрителей избавит от необходимости находиться в роли лицемерной свиты самозваной интеллектуальной элиты и учителей духовности.

414 * * *

Состояние влюблённости — самое сильное чувство: ты ничего не можешь делать, ни о чём другом не можешь и не хочешь думать. Это чувство просто мешает жить. Любовь — всегда самопожертвование. Если человек не готов к жертвенной любви, то любовь и не придёт к нему. Будет ходить рядом и ждать. А возможно, никогда не придёт. Хотя однозначно: в каждом человеке живёт потребность любви. Тот человек, которого называют холодным, скорее всего, разуверился в любви от долгого ожидания, сказал себе: любви нет. Закрыв своё сердце, стал циничным.

Любовь — это открытость, чистота. Потому людей так привлекают влюблённые. Возле них приятно и взгляду, и душе. Потому что в любящих людях лучится чистая и светлая сила.



Евгений Гринин. Иллюстрация к рассказу В. Мельникова «Кольцо»

* * *

Я люблю Достоевского. Он невероятно глубок, мудр и честен. Любое его произведение удивительно эмоционально. Этого писателя надо читать, а не ограничиваться фильмами. И у Чехова в каждой его вещи столько всего наворочено! Уму непостижимо, как на обычной бумаге умещается столько страсти...

* * *

Верлибр опасен своей «доступностью». Но если пишет профессионал, может получиться гениальное стихотворение. Строчки прочно цементируют внутренний ритм, звуковую выразительность, а неожиданный поворот мысли, парадокс придают стихам свежесть и неповторимость. В этом, я думаю, и состоит искусство: отыскать необычное в обычном, взглянуть по-новому на затёртые образы-стереотипы, явления и таким образом обогатить, расширить наше представление о мире. В конце концов, и Ветхий Завет, и Евангелие, и русские былины, и некоторые сказки Пушкина написаны свободным стихом. А принимать или не принимать мир поэта — дело вкуса.

* * *

Одному из первых критиков демократии — Сократу — сказали, что система выборов должностных лиц с помощью жребия ужасна: всё отдают на волю случая. Он ответил, что согласен с этой оценкой, однако если сто человек, которым нужно избрать предводителя, избирают его по жребию, то есть один шанс из ста, что выберут достойного. А при голосовании — ни одного, так как Глупость и Посредственность никогда не выберут Мудрость.

* * *

Мы вступили в Пушкинский год не в самом лучшем состоянии. Но Пушкин не только наша любовь, но и вера в будущее, и надежда на гармонизацию всего общества: и экономической жизни, и политической, и культурной. Это наша национальная идея на нынешний период. Феномен Пушкина в том, что он, отразив в поэтических мыслях и образах едва ли не все стороны народной жизни — сказочные, исторические, современные ему, — весь устремлялся в будущее. И через столько лет мы не можем обойтись без Пушкина, и постижение его есть постижение самих себя.

* * *

Оживает и возрождается коломенская древность!
Обновлённой выглядит сегодня Соборная площадь, мемориальными досками украсились многие дома Арбатской улицы... Этим переменам во

внешнем облике соответствует и духовное возрождение. И одно из наиболее убедительных подтверждений — конечно же, наш альманах. Уже первые номера показали, как богата самобытными дарованиями Коломенская земля. Десятки оригинальных прозаических и стихотворных произведений, переводы, литературоведческие работы, выступления слушателей Церкви — неопровержимые свидетельства разнообразия духовной жизни сегодняшней Коломны. Наш альманах — это неотъемлемая часть возрождения города. А из таких городов, как Коломна, возможно, и восстановится новая Россия. Дай, как говорится, Бог!

* * *

Пушкин — наша гордость. Это имя заставляет сильнее биться сердце каждого русского человека. И не только потому, что лучшие его произведения посвящены России и проникнуты любовью к ней. Пушкинской музе доступно всё: тончайшее лирическое переживание и широкий эпический размах, глубочайшее философское раздумье и широта общественно-исторической жизни. Пушкин способен одинаково выразительно воссоздать внутренний мир русского мужика и петербургского денди, цыгана и скупого рыцаря, бедного станционного зрителя и гениального Моцарта. С одинаковой силой умел он запечатлеть красоту русской зимней природы и кавказских гор, молдавского кочевья и болдинских далей.

Пушкин уникален и неповторим. В чём же загадка его дара? Одни мыслят её в ниспосланном свыше пророческом видении мира, другие — в абсолютном поэтическом слухе и чувстве стиля и слова, третьи — в энциклопедической образованности; иные — в протеизме, особой способности перевоплощаться, проникать во все сферы жизни. Всё это, конечно, так, но я думаю, одна из главных его особенностей — удивительная щедрость души, стремление пробуждать в людях «чувства добрые», видеть Человека равно и в императоре, и в крепостном мужике. Словом, это то, что Белинский метко именовал «лелеющая душу гуманность». Вот потому-то и сегодня Пушкин так дорог и близок. Нам всем. От школьника до академика.

* * *

Маршрут Коломна—Москва я так изъездил, что, наверное, уже на полпути к Луне. И всякий раз при возвращении замирает сердце, когда, словно лист старой гравюры, разворачивается передо мной Коломна. Янтарём светится на солнце пятиглавие церкви Богоявления. Вот электричка движется мимо частных домов с садами и огородами. За ними вырисовываются огромные зубья средневековых башен. Над кремлём высится кафедральный собор Подмосковья. Главный купол Успенской святыни горит в вышине, словно золотая царская шапка.

* * *

«Век мой — зверь мой...» Меня не покидает странное ощущение, что с приходом третьего тысячелетия мы пересекаем какую-то важную гра-

ницу. Много было разговоров о «конце света» и всяких ужасах. А может, наоборот — начнётся эпоха возрождения России? Может, из зверя получится (наконец-то!) человек? Хочется надеяться. В нашей надежде — наше спасение.

* * *

Мне кажется, история — это понятие очень ответственное. Даже всеобъемлющее. От историка в нашей жизни зависит буквально всё: он, в конечном счёте, должен давать оценку событиям современности и прогнозировать следующий этап развития человечества. Ведь очень верно сказано: «История — воспоминание о будущем». Настоящий историк сегодня — это звено в неразрывной цепи «прошлое — будущее»... Погружаясь в прошлое, мы погружаемся в будущее.

* * *

Когда я проезжаю мимо трамвайного депо, сердце моё ёкает: на фасаде здания, под самой крышей, выступающим кирпичом строители выложили дату постройки: «1948 год». Это год моего рождения. Я всегда с удовольствием посматриваю на своего одногодка. Здание основательное, крепкое. Не сыплется штукатурка, не крошится ещё кирпич, не течёт кровля. «Ничего, — говорю я самому себе, — ещё не вечер, ещё поскрипим».

* * *

Встречаем начало третьего тысячелетия христианской эры. И невольно взгляд обращается к тому таинственному рубежу, за которым остаётся век двадцатый.

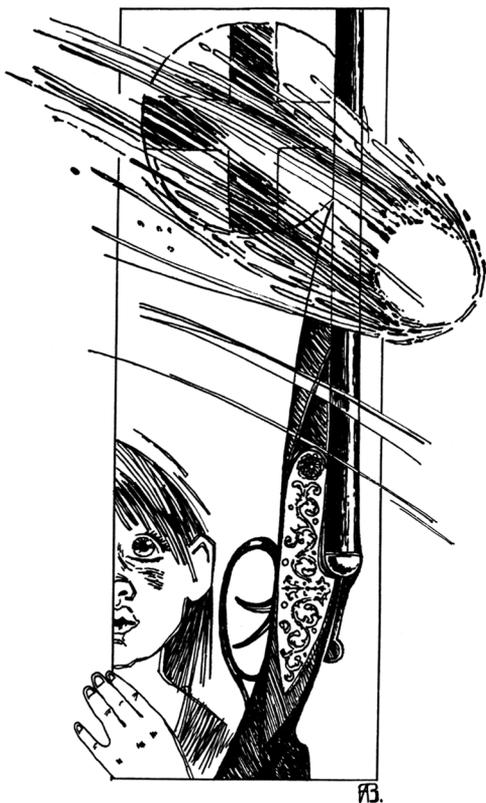
Что он принёс России? Блестящий расцвет начала XX века был оборван войной 1914 года, а затем последовали ужасы гражданской войны, раскулачивание, разрушение храмов...

Но было немало великого, немало прекрасного. Была наша Победа, была могучая страна и мощная индустрия, которая даже сейчас сохраняет свой потенциал.

И всё-таки новый век наступил. Наступила новая эпоха. На смену ниспровержению и разрухе приходят собрание и строительство. Не последняя роль здесь принадлежит и литературе. Как показала практика, она может сплотить народ, а может и способствовать его разобщению.

Стены Коломны... Есть в них некая таинственная сила. И едва ли не самая большая часть этой тайны заключается в одной удивительной особенностях, о которой я уже говорил раньше: существует не только реальный кремль, но и кремль духовный, созданный творческой фантазией многих поколений прозаиков и поэтов Коломны. И мы, нынешняя коломенская пишущая братия, продолжаем строить духовный кремль на радость читателю и, как знать, может быть, на память грядущим поколениям наших потомков.

Что бы ни случилось, как ни тяжелы были бы условия жизни, мы будем продолжать свою работу.



Александр Зотов. Иллюстрация
к рассказу В. Мельникова «Прозрение»

* * *

Ветер веков... В его гуле слышится отзвук далёких, ещё долетописных времён. Примерно две тысячи лет назад Коломна была маленьким финно-угорским поселением. Коломна, Ока, Москва... Эхом Русского Севера, Балтики, Финляндии отзываются эти слова. До сих пор учёные спорят об их значении, но вряд ли они найдут окончательную разгадку. Тысячу лет назад в наши места пришли славяне, смешались с местными финно-уграми, и лишь древние названия ныне говорят о дославянском прошлом края.

Ветер столетий доносит до нас ржание монгольских коней, лязг страшной битвы 1 января 1238 года. То союзное русское войско пало здесь в бою с Золотой Ордой. В гуле времени слышны предсмертные крики, набатный звон, треск огромных пожарищ. В нём чудится и шум бесчисленного войска. Это царь Иоанн III собирает русские силы, полный решимости свергнуть золотоордынское иго.

* * *

Что такое Коломна XIV–XVI веков?

Это центр огромного уезда, что раскинулся на сто вёрст между берегами Оки и Москвы. Это кафедральный град огромной епархии, в которую входили 16 городов. Среди них такие, как Тула, Кашира, Серпухов!

Это любимый город Дмитрия Донского. Это жемчужина древней русской культуры, центр книгописания, белокаменного зодчества, живописи.

Это, наконец, княжеская резиденция, которой, пусть и на краткое время, в XV веке суждено было стать столицей Московского государства. В апреле 1433 года Великий князь Василий II был свергнут своим дядей Юрием Звенигородским и сослан в Коломну. Однако москвичи не захотели служить узурпатору. Вся столица переехала в Коломну, Юрию нечем стало править. В смятении звенигородский князь оставил захваченный город, а его бывший пленник, Василий II, с триумфом вернулся на отчий престол. Но в памяти Коломны навсегда остались те весенние дни, когда град принял на себя высокую миссию столицы...

* * *

Я двадцать лет прожил в Латвии. И хорошо знаю национальные чувства латышского населения. Да, латышам досталось во времена советской власти. 150 тысяч было репрессировано, и это не вычеркнуть ни из истории, ни из памяти. И должно смениться ещё два-три поколения, чтобы забылся этот ужас.

Но я очень хорошо знаю, что те, кто попал под молот репрессий и оказался в Сибири, как раз очень терпимо относятся к русским. Понимают, что не все русские были чекистами и палачами. В Сибири они столкнулись с нормальными, отзывчивыми русскими людьми. Это я сам видел, когда жил в Сибири. Вдобавок моя мама была замужем за ссыльным литовцем. Его друзья собирались в нашем доме, и я помню их разговоры. Многие ссыльные смогли выжить в Сибири только потому, что русские люди помогли им, не бросили в беде, приняли в свою семью. Да, такова была политическая ситуация: у власти был тиран, но люди везде оставались людьми. А теперь яркие националисты спекулируют на человеческом горе и накачивают народ лозунгами: «Латвия для латышей!», «Латыш, не сдавайся!» и прочей бредятиной. Человеческое горе можно понять, но делать себе на этом политический капитал могут только моральные уроды.

* * *

Хочу поделиться впечатлениями от есенинского праздника 2002 года в Константинове, куда я был приглашён. В тот день чествовали лауреатов Есенинской премии. Всё было весомо, торжественно, радостно, в рязанском празднике невольно чувствовалось величие всей Руси. День рождения поэта превратился в торжество литературы. Я искренне порадовался за рязанских коллег. «Не пришло ли время, — подумал я, — учредить и у нас в городе ежегодную коломенскую литературную премию?» Наш педагогический институт, мне кажется, — достаточно солидное и объективное учреждение, чтобы суметь «отделить зёрна от плевел» и выбрать, скажем, лучшую книгу года или лучшего писателя. Коломна — древнейший духовный и культурный центр Подмосковья, и он имеет право на то, чтобы воздать должное своим талантам ещё при жизни. Не надо и придумывать название для нового начинания. Само собой разумеется, это должна быть премия имени И.И. Лажечникова.

Почему родина Тютчева, Фета или Платонова имеет право гордиться своими дарованиями, а родина Лажечникова — нет? Право же, давно пришло время исправить это упущение!

* * *

Судьбы коломенских литераторов всегда складывались нелегко. Известно, что только в 60–70-е годы XX века пять поэтов покончили с собой. Среди них был такой талантливый человек, как Анатолий Иванов. Житель старинных Песков, педагог, человек с тонкой и чуткой душой, он, хотя и не был членом Союза писателей, но работал на вполне профессиональном уровне. Выпустил хорошую книжку детских стихов, готовил к изданию лирический сборник; и вот такой финал...

Я, конечно, не одобряю такого способа решения проблем. Но в то же время не поднимется у меня рука написать строчки осуждения в адрес таких людей... Ведь каждый из них в той или иной мере обладал талантом, чуткой и ранимой душевной конституцией. Но выходит, они не были нужны своему Отечеству. В этих нелепых и безумных смертях видится протест — против общего строя жизни, против безразличия и непонимания окружающих.

«Сейчас совсем другая эпоха», — возразит мне кто-нибудь. Другая, да не совсем... Грустно говорить о талантах, брошенных постсоветским обществом на произвол судьбы.

Ведь именно в годы «перестройки» прекрасный русский писатель Валерий Королёв, как я говорил уже, должен был работать сторожем на дебаркадере. Он, создатель целого мира, наполненного живыми героями, добрый, честный и мудрый человек, оказался ненужным властям. И в результате — непризнанность, работа на износ и смерть в неполные пятьдесят лет. Нельзя сказать, что Королёв забыт: его произведения изданы, его имя увековечено в названии городской библиотеки и в бронзе мемориальной доски. Опять же — не чиновники от власти это сделали. Если бы мы не пошли по инстанциям с письмом, которое подписали десятки уважаемых, известных интеллигентов Коломны, то ничего этого и не было бы. Опять же — не благодаря чему-то, а снова вопреки...

А если вспомнить участь ветерана-фронтовика, покойного Михаила Манюшкина, который вообще сидел без работы. Удивительно: он в веке двадцатом повторил путь средневековых коломенских аскетов-книжников, которые, довольствуясь нищенским куском хлеба, создавали свои творения.

* * *

Коломна всё-таки особенный город: его литературная и художественная история насчитывает более шести веков. Такая глубина культурного наследия не может не оказывать влияния на потомков. Наверное, отсюда-то — пристальное внимание к прошлому, которое характерно для духовной жизни последних десятилетий. И может быть, именно здесь лежит разгадка тайны «коломенского текста» — удивительного единства, свойственного подчас совершенно разным писателям-землякам.

И не нам судить, и не нам расставлять самим себе оценки. История рассудит, кто обретёт бессмертие, а кто будет забыт. Но у всех нас — и у талантливых людей, и у не очень одарённых — есть некая общая черта. И вот парадокс: чем более мы отдаляемся от начала своей духовной истории, тем чётче становятся её логика и последовательность.

* * *

Слышу то и дело: Россия поднимается с колен. Но кто поставил нас «на колени»? Кто равнодушно пустил в распыл великую страну и собственноручно отдал власть в ней полупьяному шуту с его «семьёй»? Наша вина! И много ещё слёз и крови придётся пролить, прежде чем мы искупим её.



ИЗ.

Александр Зотов. Иллюстрация к рассказу В.Мельникова «Часы»

Как всё это созвучно писательскому ремеслу! Давно написаны романы Лажечникова, а их лучи, словно свет далёкой звезды, до сих пор пробиваются к читателям. Под книжной обложкой причудливо перемещаются времена. Племена первобытных охотников пересекают континенты, а космические корабли — галактики. Фантазия писателя воскрешает давно прошедшие и навсегда скрытые за пеленой прошлого события. Но мы раскручиваем ленту времени вспять, и снова, как тысячи лет назад, всматриваемся в тайны и бездонную глубину Вселенной.

* * *

Недавно видел театральную постановку по пьесе одного новомодного «дерматурга». Типичная халтура на тему «ниже пояса». Впечатление тем более омерзительное, что на сцене были талантливые актёры, и их игра только рельефнее выделяла пошлость мизансцен, сквернословие, жалкое шутовство. Некоторые зрители уходили, но большинству — нравилось. Не помню, кто из классиков сказал: «Театр должен поднимать зрителя до

* * *

В нашем краеведческом музее открылась выставка «100 лет коломенской археологии». Я бродил по старинному храму Михаила Архангела, который приспособлен властями под музей, всматриваясь в редкие фотографии, экспонаты. Около каменной машины громоздилась груда каменных ядер. В украшенной изразцами и заставленной посудой мастерской гончар формовал горшок. Разъеденные ржавчиной кольчуги и пластинчатые доспехи, чудом сохранившаяся кожаная обувь, ювелирные изделия: бусы и кресты из полудрагоценных камней, костяные вещи с тончайшей резьбой, россыпи потемневших монет... Давно прошедшая жизнь зримо воскресала передо мной. Нас разделяла бездна времени. Сколько поколений коломенцев сменилось, и каждый человек был таким же, как мы; каждый вглядывался в глубины своего сердца и в бесконечное звёздное небо над Коломной. Но вещи давно ушедших людей напоминают о них. И века сошлись в тесном пространстве...

421



Александр Зотов. Иллюстрация
к рассказу В. Мельникова «Обида»

старинными мануфактурами гордится Раменская земля. Проникновенная и величавая краса подмосковной природы — вот что издавна влекло сюда людей искусства.

Прекрасное Борисоглебское озеро, таинственные леса и парки, широкие равнинные просторы... На этой благословенной земле отдыхал от столичной суеты А.И. Куприн, здесь жила и похоронена замечательная певица Е.П. Лунина-Риччи. А в раменской Масловке была дача И.А. Бунина, где великий писатель устраивал свои «Литературные среды».

Имя Бунина особенно дорого нам. Наверное, никто с такой человечностью и в то же время так утончённо не говорил языком русской новеллы. Рассказы о любви («Митина любовь», «Солнечный удар», сборник «Тёмные аллеи»), философские новеллы и необычная по жанру «Жизнь Арсеньева» вместе с другими произведениями Бунина обогатили русское и мировое искусство XX века.

Сейчас, когда отечественная литература залита мутным потоком так называемой чернухи, всё важнее становится значение русской провинции, в которой ещё сохранился дух высокого искусства. Пришла пора возродить традиции нашей классической новеллы.

уровня высокого искусства, а не опускаться до пошлости». А здесь мы видим типичный пример театрального «чёса» по провинции, чтобы «срубить бабки», эксплуатируя простейшие эмоции и примитивные чувства.

Поругались малость с одним «новорусским» господином. Он: «А что? Забавная пьеса, интересно».

Я спросил его: «Ну скажи, чем эта пьеса тебя возвысила, обогатила, сделала глубже? Ведь это — задача настоящего искусства. А если ты остался на том же уровне или даже упал ниже — значит, то, что ты смотрел, — не драматургия. Неужели ты хотел бы, чтоб твой ребёнок воспитывался на такой «литературе»? А ведь к тому всё идёт».

Задумался...

* * *

С XIV столетия славится Раменье... Здешними вотчинами владели великие князья и цари московские, высшее столичное боярство. Но не только историей, церковными святынями и

* * *

Часто слышишь: «литературная провинция». По-моему, в этом термине есть какая-то искусственность, если не ложь. Так же, как «коломенский прозаик». Звучит, как «курский соловей». Я думаю, понятия провинции и захолустья в культуре не существует. Не мною уже сказано: искусство — оно или есть, или его нет. Без всякого на то территориального деления. Творец — он «перекати-поле», его единственные якоря — язык, культура. Ему безразлично, в какой точке пространства существовать.

* * *

Я вышел из поколения, которое росло после войны и на долю которого сполна досталось и голода, и холода. В школу я ходил в телогрейке, валенках и солдатской шапке-ушанке. Довольствовался самыми малыми радостями в жизни.

Моё поколение отмечено своими специфическими чертами — и, в частности, неудержимым стремлением к самореализации, к самоутверждению, к поиску себя на самых трудных дорогах, без снисхождения и жалости к себе. Стремление это объяснялось разными мотивами — так, мне рано пришлось задуматься над материальным положением — в четырнадцать лет я уже шкурил брёвна, вгоняя в свои мозоли «правду жизни». Но над всеми моими трудностями, ручаюсь, было именно это: **найти себя**.

* * *

Вся жизнь — сплошной сгусток событий. Хороших и плохих. Память, словно море, выплёскивает их на берег — волну за волной. Они цепляются за песок, и если успеваешь до следующей волны — то прочтёшь, а нет — так и смоем солёной водой твою частичку жизни. И как ни напрягайся потом, никогда уже не вспомнишь. Останется тебе только одна серо-жёлтая пена из морской пучины, с ракушками и щепками от утонувших кораблей.

Но бывает, иногда тебе всё же удаётся спровоцировать память воспоминанием, и перед тобой всплывает в парадоксальных переплетениях яркий кусочек небольшого события. Берёшь его бережно в руки и складываешь в коробочку. Так получается книга.

* * *

Как ни прискорбно, но приходится сознавать, что впереди у меня осталось меньше годов пребывания на земле, чем позади. Боюсь ли я смерти? Несомненно, да. Одни (и таких большинство) больше всего боятся долгих и мучительных болей; другие не могут смириться с тем, что не успели достичь поставленных целей; третьих особо тревожит судьба скопленного за долгие годы добра. Меня же прежде всего пугает утрата своего тела; мир будет продолжать своё существование, а я — нет. Как всё-таки примириться со своей неизбежной участью и провести остаток дней в относительном спокойствии?

Нет другого средства, кроме веры.

* * *

Василий Розанов как-то заметил: «Каков же итог жизни? Ужасно мало смысла». Но зато всё-таки в человеческой жизни есть высшая справедливость. Помотало, покружило меня по бескрайним просторам бывшего СССР от Актюбинска до Риги, от холодной прибалтийской брусчатки до тёплого подмосковного разнотравья. Сколько людей перевидал, сколько профессий приобрёл — в том числе и самых экзотических! Со стороны посмотреть — получается какое-то хаотическое кружение. Но оказалось, что весь пёстрый путь прожит не зря: жизненный опыт стал материалом для творчества. Значит, свой смысл есть в биографии каждого человека. Надо только постараться понять его.

ВИKTOPУ МЕЛЬНИКОВУ — 60!



Царственный сентябрь на ветви бросил
Огненное золото годов.
Это осень, Виктор, это осень —
Время собирания плодов.

То, что мы за лето накопили, —
Складываем впрок, в богатый клад.
Так частички драгоценной пыли
Слитком переплавленным горят.

Это время плотное ложится,
Сжатое — страница за страницей.

Собирай же, строго и негромко,
Каждый камень, каждый золотник!
Словно клад, останутся потомкам
Дорогие слитки наших книг!

Роман Славацкий

Дорогой Виктор Семёнович!

Если примерить к Вам одну из литературных заповедей — служить Слову искренне, бескорыстно, пропуская через себя современную эпоху, — то можно сказать, что она давно уже стала смыслом Вашей жизни. Вы прекрасно ведёте свою жизненную партию и сегодня выставляете судьбе счёт: 6:0. В свою пользу! Вы прошли достойный уважения путь, не растеряв на крутых поворотах высокой внутренней культуры, искреннего стремления к добру, веры в себя и в людей, идущих рядом, любви к родному дому и своему делу. Однажды выбрав дорогу, дальше Вы строили её самостоятельно. Вы не ждали, когда придёт Ваше время, — Вы сами вышли ему навстречу. И время покорилося Вам. Ваши книги и главное дело Вашей жизни — «Коломенский альманах» — тому свидетели.

Что пожелать неугомонному человеку и увлечённому писателю? Крепкого здоровья, жгучего желания жить и радоваться миру, по-прежнему оставаясь в центре литературной жизни нашего города и на посту главного редактора «Коломенского альманаха». И конечно же, творческих удач, лёгкого пера, умопомрачительных сюжетов, пронзительных слов и достоверных образов. Чтобы читатель всегда верил Вам и с нетерпением ждал Ваших книг.

Редколлегия

A black and white photograph of a rural landscape. In the foreground, a birch tree with white bark and bare branches stands on the left. The middle ground shows a field of bare trees and a small town or village with a prominent church featuring a large dome and a spire. The background is a hazy, overcast sky.

РОДИМАЯ
СТОРОНА





Фото Павла Зеленецкого

КОЛОМЕНСКАЯ БИТВА



*Битва русских дружин
с войском хана Батыея.
Миниатюра из «Жития
Евфросинии Суздальской»*

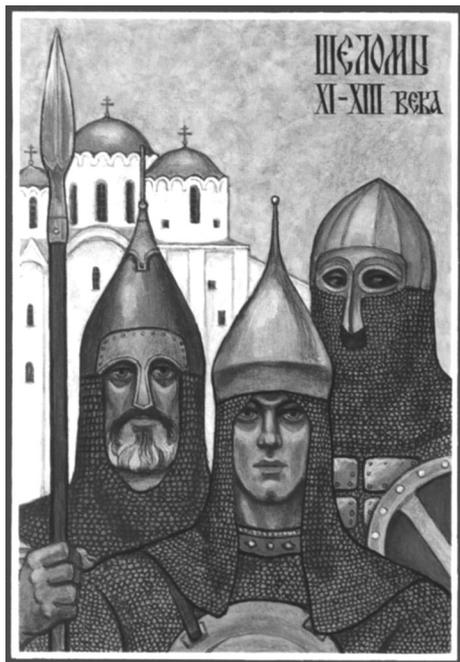
У стен Коломны 770 лет назад произошло сражение, которое во многом определило судьбу Северо-Восточной Руси. К сожалению, это выдающееся событие не так известно, как оно того заслуживает. А ведь 1 января 1238 года — главная дата истории Коломны в её рязанский период.

Подготовка

Мы часто забываем, что в своё время наш город был крепостью великого княжества Рязанского. Коломна основана как пункт стратегической обороны против владимирской экспансии. И даже первое упоминание о ней в летописи за 1177 год связано именно с конфликтом между Владимиром и Рязанью. Так что первые десятилетия нашей истории связаны с затяжной локальной междоусобицей. И лишь через полвека коломенские поля стали ареной, на которой разыгралась настоящая военная драма, решающая судьбу всего народа.

Зимой 1237 года мощное монгольское войско напало на Рязань. Именно монгольское, а не «монголо-татарское», как до сих пор можно прочитать во многих публикациях. Тут возникла обидная путаница в терминах. В ту эпоху русичи называли монгольские кочевые племена «татарами». А предки нынешних татар именовались булгарами. Булгары так же пали жертвой монгольского нашествия, как позднее — Русь; их столица, Великий Булгар, была варварски уничтожена.

Растоптав Булгарию, монголы обрушились на Русь. И первой на пути оказалась Рязань. Позднее советские историки часто говорили о том, что князья раз-



Русские доспехи. Художник В. Семёнов

дробленной Руси «спокойно смотрели», как враги нападают на их соседей. К этой теории нужно относиться с большой осторожностью.

Конечно, русские княжества часто вступали в локальные конфликты между собой. Но это не значит, что, когда наступала общая опасность, они оставались равнодушными свидетелями. Напомним: нападение Орды было неожиданным. Владимирцы физически не могли собрать войско для помощи Рязани.

16 декабря 1237 года армия Батухана осадила Рязань и оцепила город частоколом. Начался непрерывный штурм: пять суток ордынцы, сменяя друг друга, приступали к стенам. Защитники города были предельно измотаны этим бесконечным наступлением. И на шестой день прекрасная столица княжества пала. Рязань была стёрта с

428

лица земли, и город уже никогда не возродился на этом месте. А там, где некогда высилась величественная крепость, осталось лишь городище — Старая Рязань. Новая столица была отстроена позднее в Переяславле Рязанском...

Эта героическая оборона не была напрасной! Она дала возможность русским князьям собрать союзное войско.

Генеральное сражение решено было дать у владими́ро-рязанской границы, на земле удельного Коломенского княжества. Именно отсюда шёл наиболее удобный путь на Владимир, его и нужно было прикрывать прежде всего.

Сюда пришли все наличные силы, которые удалось созвать. Великий князь Юрий Всеволодович послал на битву своего сына Всеволода «со всеми людьми». Здесь были владимирцы, суздальцы, москвичи, войска из Пронска и Коломны, остатки рязанской дружины, воины из Нижнего Новгорода... Таким образом, в союзное войско вошли ратники по меньшей мере из пяти великих и удельных княжеств. Передовой ратью руководил главный владимирский воевода, знаменитый Еремей Глебович. В битве принимал участие и князь Роман Игоревич Коломенский. Именно его рязанцы отправили к владимирскому князю Юрию с просьбой о помощи.

Но посылать на подмогу осаждённым отряд в несколько сот человек было бессмысленно. Это никого не спасло бы и оказалось напрасной жертвой. Нужно было сосредоточить войско, хотя бы немного сопоставимое с ордынскими силами. И вот теперь русичи соединились у Коломны, что издавна служила местом сбора союзных ратей. Предполагается, что соотношение сил было примерно таким: 50–60 тысяч монгольских воинов и 10–15 тысяч наших ратников.

Кровавый пир

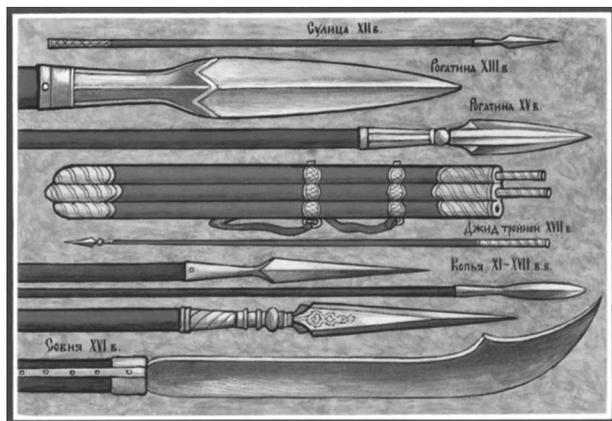
Подробного описания битвы не сохранилось. Вероятно, русское войско выстроилось в два боевых порядка. Передовым полком командовал воевода, второй линией — князья Всеволод и Роман. И вот 1 января началась невиданная доселе битва. Ордынское войско иногда неправильно представляют в виде вооружённой толпы в халатах и мохнатых шапках. На самом деле это была отлаженная военная машина с чёткой структурой. Монгольские всадники на низкорослых и выносливых лошадях были снабжены надёжным пластинчатым панцирем и качественным холодным оружием. Они превосходно стреляли из лука. В их распоряжении имелась самая передовая осадная техника: тараны, катапульты, огнеметные машины.

К стенам Коломны подошло всё ордынское войско во главе с «царевичами». Бату-хан, Орды, Гуюк-хан, Кюль-хан, Кадан, Бури... Эти и другие воеводы, принимавшие участие во взятии Рязани, пришли сюда, чтобы отпраздновать очередную победу.

У ордынцев имелось значительное численное превосходство. Но справедливости ради следует заметить, что им противостояла компактная, отлично вооружённая и хорошо обученная рать профессиональных воинов. Они знали своё дело и умели жертвовать собой ради Отчизны.

Передовой полк был полностью уничтожен. В битве пал и его начальник — Еремей Глебович. Однако жертва этих бойцов не была бессмысленной. Монгольские ряды потеряли строй. И когда на них обрушился бронированный кулак основных русских сил, пришельцы дрогнули.

Характерная деталь: в Коломенской битве пал Кюль-хан. Это единственный чингизид, сын великого завоевателя, погибший во время русской кампании Батые. Этот факт о многом говорит. Ордынские командующие никогда не выходили, как русские князья, «на первый ступ», а всегда находились в глубоком тылу войска и оттуда руководили сражением. И гибель военачальника такого ранга свидетельствует о том, что битва приняла крайне ожесточённый характер, она сопровождалась глубокими прорывами фронта и большими людскими потерями. Скупые летописные сведения подтверждают это: «бишася крепко и бысть сеча велика...».



Коплющее оружие русичей. Художник В. Семёнов

Однако численное неравенство противников сказалось на исходе боя. Русичи потерпели поражение. Когда катастрофа стала очевидной, владимирский наследник, князь Всеволод, вышел из боя и с «малой дружиной» бежал в отцовскую столицу. Остальные ратники прикрывали его отступление...

Трагическую и горестную картину рисуют



*Осада монголами русского города.
Миниатюра из Лицевого свода*

нам исторические хроники!.. Остатки русского войска были прижаты ордынцами к надолбам — первой линии коломенских укреплений, выстроенной из острых, вбитых в землю кольев. Прорваться через надолбы в Коломну русичи не смогли и были полностью перебиты на подступах к городу...

Погиб и наш князь Роман («Урман», как именуют его в восточной хронике). Дополнительные сведения об этих горьких днях сообщает «Собрание летописей» везира Рашид-ад-Дина. Он повествует, что после взятия города «Арпан» (Рязани) монголы «овладели также городом Ике» (в старину нашу крепость именовали Коломна-на-Оке).

И далее: «Кулькану была нанесена там рана и он умер. Один из эмиров русских Урман (Роман Игоревич) выступил с ратью против монголов, но его разбили и умертвили. Потом сообща в 5 дней взяли также город Макар (Москву) и убили князя этого города по имени Улай-Тимур (Владимир)».

Столица Владимирского княжества была захвачена 7 февраля 1238 года. А 4 марта на реке Сити были уничтожены последние отряды Северо-Восточной Руси. Благодаря этому упорному сопротивлению был спасён от разграбления Великий Новгород — единственная русская земля, уцелевшая во время монгольского нашествия.

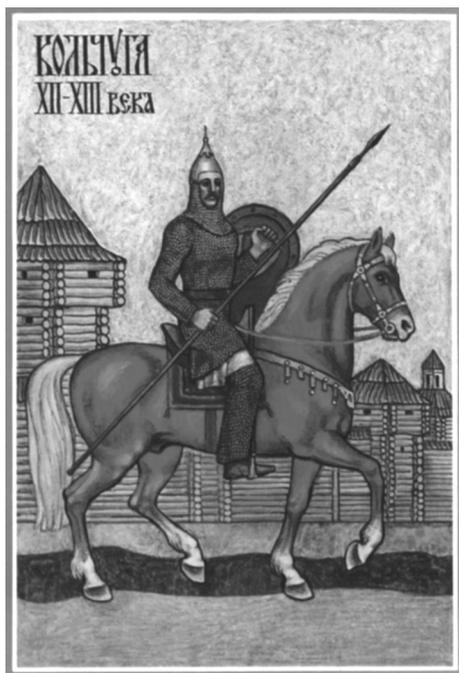
Ну а какую была судьба нашего града? Понятно, что Коломна не могла избежать разорения. Город был обречён: все защитники лежали мёртвыми у его стен. У историка В.Н. Татищева читаем: «А татары, взяв, Коломну сожгли, людей, бывших тут, частию побили, частию в плен побрали». Немногословные строки хроник да следы пожарища, найденные археологами, — вот всё, что осталось от города.

Но кроме материальных свидетельств есть ещё один след, ещё один отзвук, который до сих пор отдаётся в наших сердцах...

Память

Удивительная вещь — народная память! Проходят века, но изустные предания переходят из поколения в поколение; и легенды повествуют о событиях страшной давности. А вместе с ними к нам приходит ощущение непрерывности истории, живое свидетельство о предках.

Рассказывают, что когда ордынцы всходили на стены крепости, православные укрылись в храме у Пятницких ворот и просили Господа, чтобы святыня избежала поругания. И на глазах изумлённых врагов церковь погрузилась под землю! Говорили также, что сначала старики свя-



*Конный дружинник.
Художник В. Семёнов*

А вот ещё одно предание. В противоположной стороне, на берегу Коломенки, в бывшей пригородной резиденции коломенского епископа, Городищах, стоит древняя церковь Иоанна Предтечи. На северной стене её — резной камень: рельеф единорога. В народе его называют Батыевой печатью.

Как появилась она? Говорили старики, что после Коломенской битвы монголы нашли тело князя Романа и принесли его к Батью, спрашивая, что делать с убитым. И сказал царь Батый: «Этот князь храбро сражался. Негоже бросать его тело на поругание. Приведите ко мне их священника». И привели к нему настоятеля храма городищенского. Спросил царь: «Какое у вас погребение самое почётное?» Тот ответил: «В храме Божиим». А Батый говорит: «Тогда возьми этого воина и похорони его с честью. А я дам ярлык этому храму — знак охраны, чтобы никто не смел нарушить покой князя. И будет сей храм стоять нерушимо, доколе сохранится на нём печать моя».

Красивое сказание... Но ради исторической правды приходится заметить, что церковь Иоанна-в-Городищах построена гораздо позже Коломенской битвы — во второй половине XIV века. Следовательно, монголы никак не могли иссесть из камня загадочного единорога.

И всё же, всё же... Многие века миновали; как знать — может быть, каменный храм имел более древнего предшественника и тут происходили некие события, которые положили начало давней легенде? Во всяком случае, обращает на себя внимание уважительный тон по отношению к Бату-хану. Это удивительная деталь; мы видим, что даже во враге русский человек был готов признать что-то хорошее, достойное подражания.

той жизни могли, приложив ухо к земле, по великим праздникам слышать звон подземного колокола — таинственное свидетельство невидимой литургии.

Прошли столетия, давно умерли святые старцы, и мы, грешные, уже не можем расслышать эту весть из «невидимого града Коломны». Но сокрытая жизнь продолжается; и до сих пор там, в глубине, наши предки молятся о нас.

Сказание об этом чуде обращено не к рассудку, а к сердцу. И всё же, вероятно, какое-то историческое зерно скрывается в этом предании. Возможно, в древности тут был овраг или водоём и туда действительно обрушилась церковь. Во всяком случае, в этой части кремля долгое время сохранялась впадина, в дождливое время заполняемая водою. И коломчанки спешили купать в ней своих детей, словно стремясь передать наследникам благодать места сего...



*«Пойдём в их земли, возьмём их города...».
Из летописи начала XIII века*

ка девушках коломенских», как будто это реальные персонажи. Что поде-лаешь: велика сила искусства!

Когда в середине 30-х годов XX столетия готовилась экспозиция Краеведческого музея, коломенский художник А.Солодков написал большое полотно «Взятие Коломны татарами в 1237 году». Тогда как раз отмечалось 700-летие Коломенской битвы, и торжественность картины соответствует величию даты. На холсте изображена мощная крепость со множеством башен, многочисленный гарнизон, защищающий город от бесчисленной татарской рати...

Талантливая и фантастическая картина. Крепость выглядела совершенно иначе, башни сооружались только над проездными воротами. И вооружение ордынцев было другое. И самое главное, не было никакой осады: как мы знаем, судьба Коломны, да и всей Владимирской земли, решилась в полевом сражении. Но всё же этот провинциальный холст дорог для нас — эмоциональным и человеческим содержанием своим.

Коломенская битва... Эхо того давнего сражения звучит в стародавних летописях, в народных преданиях; о нём писали историки. Но всё же у наших современных литераторов и деятелей культуры есть некоторый долг перед предками. Память о героях 1 января 1238 года не отражена на страницах учебников, не запечатлелась во всероссийском народном сознании и не прославлена писателями в достойной мере. Но будем надеяться, что Коломенская битва ещё найдёт своего поэта.

Коломенская битва оставила свой след и в культуре. Известный исторический писатель В.Ян в своём романе «Батый» придумал немало сочных деталей, украсив скупые исторические хроники вымышленными событиями и персонажами. Он сочинил храброго русского разведчика Торопку, который якобы и поразил Кулькана стрелой.

Похороны убитого хана превращены им в торжественную и устрашающую картину. Сорок девушек коломенских положили на костёр Чингизида, чтобы они сопровождали его в посмертное странствие!

Эти эпизоды «пошли в народ», и частенько экскурсоводы с придыханием рассказывают о «Торопке» и «сорока»

БАТЫЙ

ОТРЫВОК ИЗ РОМАНА

Хан Кюлькан под Коломной



*Монгольские стрелки.
Китайская миниатюра*

Ещё до гибели Москвы монголы осадили крепость Коломну¹. Старые бревенчатые стены казались городу прочной защитой. Ворота с ржавыми железными щитами, бляхами и перекладинами были закрыты. Жители взбирались на стены и со злобой смотрели, как кругом разъезжали группы невиданных всадников. Их небольшие крепкие кони то неслись вскачь, легко перелетая через бугры и кусты, то останавливались, крутились на месте и снова мчались в другом направлении.

Иногда железные ворота с визгом открывались, из города выезжали в поле сотни русских всадников. Они бросались на вертевшихся перед стенами монгольских удальцов, гонялись за ними, чтобы захватить пленных, как приказывал воевода. Но монголы близко к себе никого не подпускали и не считали постыдным удирать во всю прыть. Русские всадники, помня наказ воеводы, боялись отъезжать далеко от городских стен.

Некоторые отчаянные татарские удальцы показывались перед самыми воротами. Они стреляли из луков в защитников Коломны, наблюдавших сверху, со стен. Монгольские стрелы были длинные, с железными закалёнными остриями. Татары стреляли почти без промаха, стрелы их пронизывали грудь насквозь.

Старый воин, кряхтя и ругаясь, вытащил стрелу из кровоточащей раны. Все с любопытством рассматривали невидан-

¹ К о л о м н а — передовая крепость, ограждавшая Рязань от набегов кочевников.

ную стрелу. К ней была приделана глиняная свистулька, издававшая при полёте пугающий визг.

Группа татарских всадников на лёгких, быстрых конях оказалась близ городских ворот, дразня и вызывая на схватку. Коломенские удалцы просились у воеводы на битву с татарами, но старый, опытный воин их удерживал:

— Ещё не пришёл последний час. Не верьте хитрому татарину — он вас заманивает!

Защитой Коломны ведал Еремей Глебович, прославившийся в войнах с половцами. Помогали воеводе сын великого князя Всеволод Георгиевич и спасшийся из Рязани князь Роман Ингваревич. Оба начальствовали полками: князь Всеволод — суздальским, а Роман — собранным из ратников, прибежавших из Рязани.

Сперва казалось, что татар не особенно много. Хотя они окружали город кольцом своих отрядов, всё же их было нисколько не больше, чем коломенских защитников. Молодые князья, Всеволод и Роман, порывались схватиться с татарами, разбить их и с боевой славой двинуться дальше, на другие татарские полчища.

Воевода приказал десяти сотням приготовиться, чтобы с рассветом сразу выйти из всех ворот города. Воевода хотел сделать налёт на татарский лагерь.

— Захватите татарских пленных.

Надо у них выведать: сколько у татар войска, кто из ханов перед Коломной и где другие ханы; придут ли они тоже в Коломну или поведут свои отряды на другие города? Без пленных не возвращайтесь!

Главным начальником войска, осаждавшего Коломну, был молодой хан Кюлькан, младший сын великого Чингисхана. Он вёл тумен монголо-татарских всадников в десять тысяч человек; кроме того, у него было пять тысяч кипчаков хана Баяндера и смешанный тумен из воинов разных татарских племён. Но отряды эти к Коломне не явились, а рассыпались по Суздальской земле, занимаясь грабежом убежавшего в леса населения. В течение месяца они сожгли и пустили на пыль и ветер четырнадцать городков.

Хан Кюлькан подъехал к Коломне в суровый зимний день. Он приказал поставить походные юрты на противоположном берегу реки, у опушки соснового леса. Оттуда отчётливо виднелись зубчатые бревенчатые стены Коломны, запертые железные ворота и вооружённые люди между бойницами. Безлюдная равнина замёрзшей реки, где над льдинами стаями перелетали чёрные во-



*Монгольский воин.
Китайская миниатюра*

чётливо виднелись зубчатые бревенчатые стены Коломны, запертые железные ворота и вооружённые люди между бойницами. Безлюдная равнина замёрзшей реки, где над льдинами стаями перелетали чёрные во-

роны, были хорошим полем для передвижения войск и предстоящей битвы.

Высокий, сильный Кюлькан, такого же богатырского сложения, как и отец его Чингисхан, стоял возле своей юрты и жадно всматривался в крепость, разгром которой принесёт ему первую воинскую славу. Лицо Кюлькана было неподвижно, но в душе его кипели страсти, стремление к богатырским подвигам и в то же время недовольство собой.

«Мне уже девятнадцать лет, — думал он, — а я ещё ничего не сделал! Правда, в мои годы отец тоже ничего ещё не сделал. Он был в то время лишь бедным сыном простого десятника, от которого разбежались его голодные нукеры. Он был рабом и находился в плену с тяжёлой колодкой на шее, стучал молотком по наковальне, подгоняемый ударами жестокого хозяина-кузнеца. А я же — могущественный хан Кюлькан! Я сын Повелителя всех народов вселенной, у меня прекрасные кони, под моей властью двадцатипяти тысячное войско. Одним движением руки я могу послать его в любую сторону. Я, хан Кюлькан, закончу то, что не мог выполнить отец, я покорю вселенную до Последнего моря. Мне мешают соперники! Первый — Гуюк-хан. С ним нужно дружить до моей победы. Сильнее всех Бату-хан. Зачем его избрали джихангиром? При первой же неудаче Бату-хана надо казнить, объявив его неспособным. А потом убрать и Гуюк-хана. Но главное, здесь, под Коломной, надо прославиться удалством, смелостью, щедростью к нукерам, чтобы они говорили у костров, как они любят Кюлькан-хана. Потом они же помогут мне сделаться великим каганом...»

В отряде Кюлькана находился хан Баяндер с пятью тысячами кипчаков. Как правоверные мусульмане, кипчаки стояли особыми лагерями, не смешиваясь с монголо-татарскими отрядами. Здесь с ними были сеиды² в зелёных чалмах, затянутые матерчатыми зелёными поясами. Они наставляли кипчаков в правилах мусульманской веры, поучали их, как держаться в бою, говорили им, как радостно пасть за веру. При этом пена выступала у них на губах. Речи их кончались призывом:

— Избивайте иноверцев! Кто падёт в бою за веру, тот попадёт в райские сады, там он испытает неомрачаемое счастье и блаженство.

Среди мусульманских воинов были ещё подразделения по вере: сунниты и шииты. Суннитского толка придерживались кипчаки, а шиитского — воины из иранцев, говорившие по-персидски. На остановках сунниты и шииты никогда не садились рядом и ели из разных котлов. Имамы — проповедники шиитов — рассказывали у костров о приходе «Ожидаемого», или «Господина времени», имама Мехди, давно исчезнувшего, но не умершего.

— Когда зло и насилие в мире достигнут предела, исчезнувший имам Мехди явится вторично, и тогда в мире установится справедливость, не будет ни бедных, ни богатых, а все будут равны и счастливы.

Шиитские воины любили слушать такие рассказы. Они освобождали сеиду место около своего котла и расспрашивали, не скрылся ли Мехди у иноземцев и как найти колодец, куда пролилось молоко из сосцов святой Мариам и приняло там вид отражённого в воде месяца.

— Мы непременно пойдём прямо к этому колодцу, — уверенно заявлял сеид, захватывая тремя пальцами кашу и величественным жестом

² Сеид — духовное лицо, считающее себя потомком пророка Магомета.

отправляя её в рот. — Верьте мне: глаза того, кто заглянет в этот колодец и заметит там молочный полумесяц Мариам, никогда не увидят адского огня...

Кипчакские воины любили слушать былины про подвиги богатырей или смешные рассказы о приключениях плешивого силача Кечеля. Но особенно любили они подшучивать над сотником Тюляб-Биргеном, вспоминая, как связанный урусутский пленный угнал у него красавца коня.

Под Коломной заговорили, что среди урусутских всадников, выезжавших из ворот, многие видели удальца на гнедом коне Тюляб-Биргена. Каждый давал свой совет, как бы вернуть скакуна.

Тюляб-Бирген отворачивался, скрипел зубами и готов был зарубить шутников:

— Такого коня, как был мой гнедой, не найти во всём нашем войске. Я на нём догонял всех. На каком коне теперь я смогу нагнать моего гнедого? Не на тех ли одрах, на каких вы привыкли ездить?

Мулла Абду-Расуллы озабоченным голосом стал объяснять:

— Здесь опять, как и всегда, поможет только женщина.

— Как? Почему? — воскликнули кипчаки.

— Такого коня, как тебе нужно, может дать только хан Кюлькан. Лишь у него имеются кони, быстрые как ветер. Но он щедр только на выпивку, а коней бережёт с жадностью. Поймай чернобровую и румяную урусутскую красавицу и приведи её к хану Кюлькану. Подари ему пленницу, а он тебе подарит скакуна.

— Хотя бы не дарил, а только дал для охоты за моим гнедым! — простонал Тюляб-Бирген.

— Берегись, чтобы урусут не отобрал у тебя и второго коня. Машалла... Машалла!³ — добавил мулла.

Сотник Тюляб-Бирген отправился искать помощи к хану Кюлькану. Два запорошенных снегом дозорных, после долгих уговоров, пропустили сотника в юрту. Позади костра из сосновых веток, на ковре из барсовых шкур, сидел светлейший сын Священного Правителя. Налево от хана тесно прижались друг к другу шесть тысячников. У каждого в руке была круглая деревянная чашка. Слуга-монгол, без сапог, в войлочных чулках, стоял на ковре близ бурдюка, подвешенного на крюке, и подливал ковшиком крепкую арзу в деревянные чашки. Тюляб-Бирген скромно выжидал, сняв меховой колпак и повесив на шею пояс — знак того, что он всецело отдаёт себя на волю вечного синего неба. Кюлькан, желая показать своё величие, продолжал беседу. Наконец он заметил безмолвного просителя:

— На что ты жалуешься и что просишь, храбрый и славный Тюляб-Бирген? Проходи сюда к нам.

— Я твоя жертва! Ты один можешь спасти меня. Если ты не поможешь, я брошусь в бой и отдамся мечам урусутов. Если я неспособен сам проложить себе дорогу доблести, то лучше мне умереть.

— О чём тебе горевать? — сказал старый темник Бурундай, прославленный опытный полководец Чингисхана. — Ты молод, но в рассказах у наших костров уже отмечен как отчаянный рубака и лихой разведчик. Продолжай начатый путь! Добивайся новой славы!

³ М а ш а л л а — Не дай Бог!

— Это всё было. А теперь каждый желторотый юнец при виде меня гогочет, хотя сам ещё не умеет поднять правильно меч и отрубить одним взмахом голову врага.

— Что же ты просишь? — спросил хан Кюлькан.

— Прошу... искру жалости! Из крепости Коломны каждый день вместе с урусутскими всадниками выезжает молодой урус на украденном у меня гнедом коне. Моё сердце не может перенести этого...

— Разве воин может допустить, чтобы кто-нибудь из врагов ездил на его коне? Поймай дерзкого да изруби.

— Ты знаешь, как по книге, скрытые мысли твоих верных слуг и знаешь, о чём я хочу просить.

— Я всё понял! Дай чашу арзы верному Тюляб-Биргену. Я устрою облавную охоту на этого дерзкого урусута... Надо захватить живьём коня и ездока. Даю тебе сорок всадников на лучших моих конях. Ты расставишь их вдоль реки по четыре человека через каждые триста шагов. Как только урусут выедет из ворот, сотня моих всадников врежется в толпу урусутов, расколется и отгонит молодого щенка в сторону. Охотники погонятся за мальчишкой, готова арканы. Всё время будет прибавляться новая четвёрка всадников на свежих конях. Самый лучший конь не выдержит такой скачки. И мы захватим арканами усталого коня...

— Ты великий, ты щедрый!

— Потом я сам буду допрашивать мальчишку, а ты, Тюляб-Бирген, будешь прикладывать к его спине раскалённые угли, чтобы он говорил правду. Для этой весёлой охоты я дам тебе лучшего коня.

— Я твоя жертва на всю жизнь!

Облавная охота

...Он догадлив был:

Вымал из налучника тугой лук,
Из колчана вынул калёну стрелу.
А и вытянул лук за ухо...
А спела ведь тетива у туга лука,
Угодила стрела в сердце молодца.

Из древней русской песни

Торопка приехал в Коломну в рязанском отряде князя Романа Ингваревича. Он остался рассыльным при князе, оценившем юношу за точность и быстроту.

— Что ни поручишь Торопке, — говорил князь Роман, — он всё исполнит, хотя бы пришлось спуститься в пылающее пекло, да ещё прихватит ротозея чертёнка.

Любимым товарищем Торопки был стройный гнедой жеребец, который вынес его из татарского плена. Торопка и холил, и лелеял его, и кормил его из рук хлебом, и, сам часто голодая, отдавал коню последнюю корку. Доставать в Коломне хлеб и сено становилось всё труднее, и конь стал худеть. Жители берегли и прятали хлеб, не зная, сколько времени продолжится осада. Народу в городе набилось много, после того как съехались сбеги из окрестных погостов. Уже начали есть конину.



Вооружённый ордынец. Миниатюра из манускрипта Рашид-ад-Дина

Постепенно Торопка добился такой же сноровки.

Однажды князь Роман призвал Торопку и дал ему сложенный листок бумаги, завернутый в красную тряпицу:

— Тебя недаром прозвали Торопка-расторопка. Князь Всеволод поручает тебе важное дело. Завтра мы неожиданно ударим на татар. Будет горячая сеча. Татары не заметят, если во время схватки ты бросишься через реку в сторону соснового леса. Там охотничьими тропами попытайся уйти на север. Князь Всеволод извещает в этой грамоте своего отца, великого князя Георгия Всеволодовича, как тяжело идёт у нас защита города, и просит его о помощи. Татарва к Коломне валом валит и скоро нас задавит. Ты дорогу держи на Киржач, Ростов и Углич. Туда ещё татары не дошли, и проезд свободен. Месяц, два мы выдержим. Но если к тому времени великий князь не успеет, все мы до единого здесь поляжем, и спасения нам нет. На тебя надежда, что ты доспеешь, найдёшь великого князя и с его дружиной вернёшься к нам на выручку.

Перед рассветом назначенного дня, ещё в темноте, вооружённые всадники заполнили узкую улицу, ведущую к городским воротам.

Торопка и с ним ещё три княжеских отрока находились у самых ворот. Этим отрокам тоже был дан наказ: в темноте пробиться через татарские посты и отвезти грамотки в три разных города.

Торопка, чтобы спасти своего любимца, решил взяться за самую опасную задачу, самое трудное поручение, лишь бы выйти из города. Седло его коня и сбруя были всегда в исправности, кожаные перемётные сумы полны ячменя для дороги и плотно прихвачены ремнями, чтобы не свалились при скачке.

Он стал упражняться в стрельбе из лука, найденного на убитом монголе. Доставать стрелы было легко: каждый день они летели в крепость из монгольского лагеря, сбивая на стенах воинов.

Торопка прикрепил к стене мешок с опилками и учился попадать в него с коня. Сперва это казалось невозможным: монгольский лук, сделанный из чёрных рогов горного козла, был очень тугой. Торопка мог натянуть его только до половины стрелы, которая летела вяло и скоро валилась на землю. Монголы же не натягивали лук, а держали тетиву у подбородка и сразу выпрямляли всю левую руку. Коснувшись тетивой правого уха, они пускали стрелу, которая летела с визгом, готовая пробить любую цель.



Субудай. Китайский рисунок

Уже с ночи закрутила метель. Ветер сметал с крыш снег и осыпал всадников. Немногие были в кольчугах, большинство только в нагольных шубах с нашитыми на груди и плечах железными и костяными пластинками.

— Ну, чего ещё ждать! — зашумели хриплые голоса. — Эй, сторожа, открывай!

Заскрипели с лязгом и скрежетом ржавые петли ворот, и обе дубовые створки распахнули путь в жуткую, тёмную пустоту. Там затаилась смерть. Там ждали тысячи скошенных глаз и отточенные кривые мечи.

Гнедой конь Торопки сам тронулся вслед за другими всадниками. Впереди отряда, окружённый телохранителями, ехал князь Роман Ингваревич. Отряд знал свою задачу — налететь на спящий татарский лагерь среди леса на другой стороне реки.

Отряд перешёл в рысь, всадники подтягивались, держась теснее

друг к другу. На белом снегу выделялись чёрные фигуры. Небо, закутанное низкими облаками, начинало светлеть на востоке.

Доехав до середины реки, Торопка свернул в сторону и стал ускорять бег коня. Вдруг высокий тонкий голос, совсем вблизи, закричал:

— Кху-кху, кху-кху, монголы!..

По льду застучали копыта. Впереди двигались всадники, они перекликались между собой на неведомом языке.

Торопка круто свернул в сторону, но впереди, среди льдин, опять выросли человеческие и конские тени. Торопка бросился назад, смутно заметив протоптанную тропинку, и помчался по ней, боясь, что гнедой грохнется на скользком льду.

Сбоку вылетели три монгола. Просвистела около уха стрела. Гнедой мчался, перелетая через бугры и льдины. Татары с яростными криками преследовали его некоторое время, но потом отстали. Торопка сдержал коня. Остановился. Прислушался. Впереди снова были слышны глухие голоса и топот коней. Торопка бросился опять в сторону и налетел на монголов, державших под уздцы лошадей. Послышались радостные крики:

— Тюляб-Бирген! Твой гнедой сам скачет к тебе! Держи его!

Монголы вскочили на коней и помчались за Торопкой. Они все были на отличных конях, легко гнались за гнедым, и скоро один стал наступать. Гнедой уже нёсся из последних сил. Торопка предоставил коню выбирать дорогу. Оглянувшись, он натянул лук и спустил стрелу, целясь в голову. Всадник вскинул руками и упал с коня. Скакавшие сзади монголы дико завыли:

— Горе! Горе! Хан Кюлькан! Убит хан Кюлькан!

Гнедой уже уходил от погони. Монголы отстали.

Торопка свернул на боковую замёрзшую речку с ровной наезженной дорогой среди частых береговых кустов. Места были знакомые. Эта речка вилась бесконечно, начинаясь в трёх трясиновых болотах, где стояла родная деревня Перунов Бор. Конь, тяжело дыша, перешёл на шаг и остановился. Кругом тихо дремали засыпанные снегом старые ели. Небо светлело. Ветер шуршал в неосыпавшихся сухих листьях одиноких дубков.

Торопка, сдерживая коня, поехал охотничьей тропой, чутко прислушиваясь к каждому лесному шороху.

«Почему я поехал к Перунову Бору? — думал он. — Что потянуло меня сюда, оставив дорогу на север? Не серые ли глаза Вешнянки? Нет, это монголы согнали меня с пути, а своя деревня недалеко. Как же мне не заехать? Может быть, кто жив остался, расскажет, что делается в наших местах?»

К полдню пошли глухие, опасные места. Болота затянуло льдом. Только трясиновые «окна» чернели и дымились странными выющимися облачками. Осторожно ехал Торопка козьими тропочками, зная, что опрометчивый шаг может столкнуть коня в бездонное «окно», откуда нет спасения.

Наконец в просвете между деревьями показались знакомые вековые дубы невдалеке от Перунова Бора. Точно к старым друзьям, подъехал Торопка к громадным деревьям. Он нашёл валявшегося под ними большого деревянного истукана, перед которым молились прадеды. Кто-то, совсем недавно, сметал с него снег, и веник лежал рядом. Выпученные глаза истукана смотрели в небо, и лицо его как бы жаловалось: «За что меня повалили?»

Кругом на снегу виднелись свежие следы. Видимо, недавно здесь бегали в лапотках бабы и ребята. Смелее тронул коня Торопка и въехал на бугор.

Половина избёнок погорела. Уцелели только крайние. Кто сжёг? Кому нужно было выкинуть на мороз бедных лесовиков?

Избы Савелия Дикороса не было. На месте её подымалась только закоптелая пузатая глиняная печь и высокий шест с привязанной на верхушке метёлкой. Кругом торчали полузасыпанные снегом обугленные брёвна.

С лаем бросился навстречу мохнатый пегий пёс. Где-то залились ответным лаем другие собаки. Неужели это Пегаш? Жив ещё? Пегаш узнал своего молодого хозяина, стал прыгать и бросаться к седлу.

Торопка приблизился к закоптелой избе, где жил когда-то Звяга. В щель окна пробивалась тонкая полоска света. Торопка подъехал к оконной заслонке:

— Эй, живые люди! Отомкнитесь! Свои приехали, принимайте!

Шёпотом переговаривались тонкие детские голоса:

— Не отмыкай, мамка! Может, недобрый человек? Спроси сперва — кто?

Из окошка донёлся голос:

— Да ты чей будешь? Откуда?

— Или не хочешь признать? Торопка я, Савелия Дикороса сын! Скорее отомкнитесь! Мне недосуг. Должен дальше ехать.

Застучал засов, открылись ворота. Высокая сухая жена Звяги, кутаясь в рваную шубу, взяла за повод коня и отвела под навес.

— Сена найдётся?

— Есть немного, родимый. Сейчас принесу. Куда его теперь беречь: и коня и коровёнку злодеи зарезали. Проходи в избу.

Дымная лучина горела неровным огнём, потрескивая и вспыхивая красноватым пламенем. Жена Звяги и трое белоголовых детей сидели кругом Торопки. Разинув рты, смотрели на него, пробовали пальцами кольчугу, остроконечный шишак, высокие красные сапоги...

— Они и у нас здесь были, точно с неба свалились, окаянные! — рассказывала измождённая женщина. — Награбили хлеба, пожгли скирды, избы, захватили с собой баб и девок и много детей. Вот эти трое моих забились под хворост, их и не сыскали татаровья, а троих увезли... Не увижу их больше никогда. Опалёниих угнали, и твою... — она всхлинула, — твою Вешняночку угнали. Помолись за них. Из татарского плена разве кто вернётся? А где мой Звяга? Одни говорят, будто видели его на рязанских стенах, другие — что ушёл, в лесу скрывается. Если так, то домой скоро вернётся... Покушай, родимый, хоть хлебушка. Мы теперь хлеб пополам с сосновой корой печём: натолчешь кору и с аржаной мукой замесишь. Муку беречь надо, а не то до весны не дотянем... Иногда выловишь мережкой на озере рыбку. А греемся мы горячей водой с берёзовой чагой⁴. Заболтаешь в котелке воду мукой, сделаешь болтушку, вот ребятки и хлебают...

— А что о других мужиках слыхала?

— Все, кто в лесах укрылся, все ополчаются в отряды, ловят отсталых татар, садятся на их коней. Татар, говорят, очень много. Такая сила, что и в сказке не сказать. Но и наши мужики дерутся как волки, ни за что не сдаются. Думаю я, что татары здесь побудут да и уйдут когда-нибудь, а мы тогда снова построимся...

Передохнув, Торопка отправился дальше. Впереди, задравши высоко хвост, важно бежал Пегаш. Он показывал, на зависть другим собакам, что теперь с хозяином не расстанется, — тоже будет воевать.

Гнев Бату-хана

Гонцы, посланные один за другим, примчались к Бату-хану с известием о гибели хана Кюлькана, младшего сына Священного Правителя Чингисхана.

Джихангир не пожелал видеть никого. Гонцы твердили, что они не могут ждать «ни на кормёжку коня», что они сейчас же должны мчаться обратно с ответом джихангира.

— У нас нет полководца! Войско не знает, что делать! — кричали они.

Дозорные тургауды их грубо отталкивали:

— Нельзя! Ждите!

Гонцы шёпотом спрашивали проходивших мимо нукеров:

— Чем занят джихангир?

— Важными делами: колдует вместе с урусутским колдуном, узнаёт пути дальнейших побед.

Гонцы привязали поводья коней к своим поясам и ждали, сидя на пятках близ юрты. Подъезжали новые гонцы и садилисьazole.

⁴ Ч а г а — древесные наросты на берёзе.

Проходя мимо, на них обратил внимание начальник охранной сотни Арапша. Высокий, худой, с несмелым взглядом, он остановился перед ними, точно оценивая и стараясь узнать каждого.

— Отличились! — сказал Арапша. — Плохо теперь ваше дело!

— Чем мы виноваты! Мы преданно исполняем приказы и привезли джихангиру донесение от темника Бурундая.

— Вы принесли чёрную весть, в которой виноваты только вы. Знаете ли вы, что вас ожидает?

Гонцы вскочили, некоторые хотели садиться на коней.

— Внимание и повиновение! — крикнул Арапша. — Нукеры, не выпускайте никого из этих «чёрных вестников». Держите их коней. А вы ждите, скоро с вами будет говорить джихангир.

Арапша вошёл в юрту. Бату-хан сидел мрачный, скрестив ноги, опустив голову, и пристально смотрел на концы соединённых пальцев.

Рядом сидел на пятках Субудай-багатур. Он взглянул на вошедшего Арапшу, остановившегося у входа. На тихий вопрос: «Можно ли остаться?» — ответил движением головы.

— Он и Гуюк-хан были моими злейшими врагами, — сказал Бату-хан. — Что же мне остаётся, как не радоваться? Никакого утешения дать я не могу. Я радуюсь: злого змеёныша нет!

— Бату-хан может радоваться, джихангир обязан горевать! — тихо, но твёрдо возразил Субудай.

— Кюлькан искал моей гибели, Кюлькан громко говорил, что я баба с бородой. Только ты помешал мне распороть ему грудь и вырвать ядовитое сердце. Многие из моих врагов ещё живы. Главный из них Гуюк-хан, я с ним разделаюсь.

— Зачем ты напоминаешь об этом? Разве я, твой верный слуга, не сторожу тебя днём и ночью?..

— Арапша трижды спасал меня от подосланных чёрных собак, наёмных убийц...

— Тише!.. — Субудай начал сердито сопеть. — Никто в войске не должен знать об этом. Не говорил ли ты сам, что полководец должен быть скрытным... Если бы ты стал радоваться, все бы сказали: «Бату-хан такой же, как все!» А ты, как внезапный гром с неба, поразил



Хан Батый. Прорисовка по рисунку из китайской рукописи «История первых четырёх ханов из рода Чингизов». XIV век

вокруг всех ротозеев, зубоскалов, гуюкских блюдолизов! Укажи цель, куда идти и что делать. Оставайся необычайным, неведомым, непонятным...

Бату-хан очнулся, вскочил:

— Где эти «чёрные вестники»? Теперь я знаю, что делать.

Арапша ответил:

— Они здесь, близ юрты, ждут твоих повелений.

Бату-хан с мечом в руке вышел из юрты, обвёл взглядом сидевших гонцов. Они упали на колени.

Бату-хан начал говорить тихо, сквозь зубы. Постепенно голос его усиливался. Под конец он выкрикивал слова:

— Вам было вверено великое счастье, кусок солнца — сын Священного Правителя. А как вы сберегли его?

— Он сказал, что сам хочет биться, — лепетали гонцы.

— А вы и обрадовались? Разве дело полководца рубить мечом в передовом отряде? Разве так поступал Священный Правитель — великий Чингисхан? Он был настоящим полководцем. Он находился позади войска и передвигал девятыю словами десятки и сотни тысяч всадников. Так он одержал победы, потрясавшие мир...

— Мы это знаем... Мы это помним...

— А что вы сделали с ханом Кюльканом? Вы обрадовались, что хан Кюлькан стал простым нукером и скачет впереди в драке с урусутами, и никто не удержал его, не отвёл назад, не закрыл его своим телом. Вы предатели, и нет вам пощады...

Гонцы распростёрлись на земле, лицом в снег.

— Скачите назад. Скажите войску, что джихангир приказывает заглаживать вину и взять крепость Коломну до моего прихода... Если же я приеду, а вы всё ещё будете скакать вокруг города, я прикажу всех вас перебить как отбросы великого войска, созданного Чингисханом. Прочь



«Я залью кровью всю урусутскую землю...» Художник Н.Усачёв

отсюда, желтоухие собаки, пожравшие труп своего отца! Чего вы ещё лежите?

Батый, хрипя, взмахнул мечом.

Гонцы бросились к своим коням, вскочили на них. Через несколько мгновений ни одного из них не осталось.

— Ты слышал, Субудай-багатур?

— Да, ослепительный. В твоих словах я узнал голос твоего деда!

— Я покажу урусутам, что значит убить сына величайшего из людей — Чингисхана!.. Я залью кровью всю урусутскую землю... Я перебью всё живое, всех живущих, последнюю собаку и последнего ребёнка. Страшным пожаром пронесётся монгольское войско и обратит урусутскую землю в молчаливое кладбище, где будут слышны только крик ворон и вой волка. Скорее подавайте мне коня!..

Глаза Бату-хана стали круглыми. На губах выступила пена. Он топал ногой и кричал в бешенстве:

— Коня мне! Скорее коня!

Зазвенели медные гонги, сзывавшие нукеров. Задрезбуждали рожки, извещавшие о походе. Только Субудай-багатур и Арапша оставались спокойными и неподвижными.

— Позволь, ослепительный, тебе напомнить, — тихо сказал Субудай, — что гонцов ты отослал, а преемника погибшему хану не назначил.

— Пока будет начальствовать, по обычаю, старший темник Бурундай. Он воин опытный, а через день я сам буду на месте и покажу, как надо брать приступом крепости!..

Через день передовые отряды Бату-хана и Субудай-багатура были перед Коломной. Бой был в полном разгаре. Монголы непрерывной лавиной старались взобраться на стены, откуда их сбивали защитники города. Но силы русских воинов слабели, помощи ниоткуда не приходило. Татары ворвались в город.

С великим мужеством бился среди рязанских дружинников и пал доблестной смертью князь Роман Ингваревич Рязанский. Рядом с ним сложил седую голову воевода Еремей Глебович.

Татары резали всех без милости. Немногие оставшиеся в живых попали в тяжёлый плен. На дымящихся развалинах Коломны татары гуляли и пировали три дня. В середине города, на площади, где стояла сгоревшая церковь Воскресения, Бату-хан приказал сложить большую кладку брёвен, на которую положили тело молодого хана Кюлькана. Вместе с ним монголы сожгли сорок самых красивых коломенских девушек. Два любимых коня в нарядной золотой сбруе были убиты в ногах хана Кюлькана. И девушки и кони должны были последовать в заоблачный мир, чтобы там верно служить своему юному погибшему господину.

На той же площади был устроен второй костёр — для павших монгольских воинов. Костры запылали одновременно. Бату-хан, на вороном коне, мрачно наблюдал за погребальным торжеством. Иногда кричал вместе с другими воинами прощальный привет:

— Байартай, байартай!



***Валерий Александрович Ковалёв** родился в 1940 году в Коломенском районе, в деревне Солосцово. Имеет высшее юридическое образование. 22 года отдал коломенской милиции. Преподаёт в техникуме, институте. Работает юристом.*

Выпустил сборники: «Рассказы о Коломне и о коломенцах», «По сновидению в трёх снах», в соавторстве — «Чтобы помнили», «После выстрела вверх».

Член Союза писателей России.

ЗА ОТЛИЧИЯ НЕСЛУЖЕБНЫЕ

Мой рассказ построен на архивных документах и лишён вымысла. Цель его — воскресить память о личностях, когда-то обогащавших человеческую сущность проявлениями особо ценными людьми качеств. Открывая старые папки с документами, деловой перепиской тех давних времён, одновременно заглядываешь за тяжёлый многолетний занавес, начинаешь ясно ощущать дыхание тех столетий, поневоле сравниваешь духовные составляющие давно ушедших и живущих сегодня людей.

Обращение к прошлому, стремление узнать подробности давно минувших событий, не забывать своих предков хотя бы в третьем-четвёртом колене — всё это крайне важно для формирования духовного мира человека, его мировоззрения. Заслуги дедов, прадедов, прапрадедов перед обществом невольно вызовут у молодого человека чувство гордости и естественное желание повторить или сохранить ту положительную энергетику, которая исходила от них. Говорят, бельгийцы знают и помнят своих предков аж до четырнадцатого колена. Если переложить на нашу историю, то это времена татаро-монгольского ига. Насколько мы были бы богаче, если бы уходящие поколения из уст в уста передавали продолжателям рода сведения о себе и своих предках, об их делах, о заслугах и неудачах. Убеждён, мы были бы другими. И сегодняшняя духовная изоляция, отчуждение, стремление к собственному накопительству любой ценой не расцвели бы таким пышным безнравственным цветом. Но, к сожалению, процветание именно этих сорняков сегодня заполонило нашу жизнь. Мы всё более откатываемся от нравственной основы.

Становимся всё более циничными, безразличными друг к другу. Какой уж там патриотизм.

«Иван, не помнящий родства». Скульптор Голубкина в своё время представила работу с таким названием. Лицо мужчины, сработанное её талантом, вызывает острую жалость. Морщинистое, со следами тяжких трудов, оно поражает каким-то отрешённо-тоскливым, почти безумным взглядом человека, мир которого потрясающе узок. При внимательном знакомстве со скульптурой по спине пробегает холодок отчаянья. А что мы знаем о своих предках, проживавших в Коломне? О ком из наших земляков можем вспомнить иногда, хотя бы по причине необходимости? Особенно если этот некто жил лет сто — сто пятьдесят назад? Наверняка подавляющее большинство из нас не может назвать больше пяти-шести фамилий тех, кто жил в Коломне в те годы, оставив хоть какой-то добрый след в жизни города. И не потому, что не было таких. Зачастую события, связанные с нашим городом, вспоминаются схематично, без интересных подробностей, без раскрытия конкретных характеров лиц, участников этих событий. Всё потому, что не знаем мы конкретных участников и нет никакой возможности у сегодняшних людей примерить себя к образам предков. Откуда в таком случае может возникнуть глубокое сопереживание, ощущение сопричастности к событиям коломенской истории?

К примеру, как было бы интересно узнать о роли жителей нашего города в войне с французами в 1812-м. Что мы знаем о том времени? Ну шли через Коломну военные обозы поближе к местам сражений — и что? А где им ещё идти? Если дорога нынешняя, Москва—Челябинск, и

446

ВАЛЕРИЙ КОВАЛЁВ



Коломна. Улица Труда (ныне Яна Грунта). 50-е годы. На первом этаже размещались магазины, на втором и третьем — жилые помещения.

С 1980 года — культурный центр «Дом Озерова»

тогда была важной стратегически? Ну участвовала Коломна в поставках для войск. А как же иначе? Вот узнать бы хоть об одном участнике сражений с Наполеоном из числа коломенцев... Но спрятала история концы в воду и оставила нам лишь одного Ваню Лажечникова, восемнадцатилетнего романтика, сбежавшего вопреки запретам отца в русскую армию уже на заключительном этапе той войны и побывавшего в Париже в качестве победителя. Но Иван Иванович известен и без того: он писатель, его романы выдерживают издания до сего времени. Один «Ледяной дом» чего стоит. А что же, из наших земляков никто больше не приложил руку к победе над французом? Никто не отметился на Бородинском поле? Никто не заслужил награды и не получил её из рук, возможно, самого фельдмаршала? Нет таких сведений, и получить их из праха небытия едва ли удастся кому-либо.

В старых архивах можно прочитать фамилии коломенских мещан. Но в содержании хранящихся документов чаще всего нет ничего событийного. Лет пятнадцать назад подфартило мне полистать губернские архивы. Кое-что вызвало интерес. Там были фамилии конкретных людей. Одна из них оказалась очень знакомой по причине её звучания до нашего времени. Алексей Семёнович Озеров. Купец первой гильдии. Почётный гражданин Коломны. Рождения 1831 года. Его купеческая степень самая высокая, доходы годовые зашкаливали за сотню тысяч. По тем временам — богатство огромное. Коломна — город купеческий. Были среди купцов не уступавшие Озерову в делах торговых и производственных. Но почётных граждан Коломны среди них было раз-два и обчёлся. Звание такое присваивалось за заслуги перед городом, перед обществом в целом. Главными козырями при этом, конечно же, были два: богатство и благотворительность.

Первое без второго не порождало признательности со стороны земляков. Ну, богат ты, ну и подавись своим богатством: всё одно помрёшь, как и все, и превратится в прах тело и имя твоё.

Второе без первого просто не могло существовать. Благотворительность предполагала крупные вложения в какие-то добрые дела, ощущаемые окружающими согражданами. Мелкие пожертвования — это статистика. Можно подать нищему на паперти, можно бросить несколько монет в копилку пожертвований на ремонт храма. Проявление добросердечия — явление массовое на Руси, потому и невозможно остановить внимание на ком-то в единственном числе.

Поскольку богатыми становились немногие и первоначальные истоки богатства всегда скрыты невыдаваемыми тайнами, связанными, возможно, с делами, мягко говоря, греховными, то нередко разбогатевшие люди, искренне верившие в неотвратимость Страшного суда, стараясь замолить свои грехи, как бы оправдаться перед обществом и перед Богом, направляли большие капиталы на общественные нужды, чаще всего на обустройство церквей и монастырей, а те за щедрость ежедневно в молитвах желали им «долгие лета»; а когда благотворители уходили в мир иной, их ежедневно поминали: «Упокой, Господи, душу раба Твоего...». К примеру, наш земляк, богатейший купец Фрол Яковлевич Ермаков делал огромные вложения на строительство келейных корпусов Брусенского женского монастыря. Вложил он деньги в строительство богадельни в Коломне. Сам Николай II издал Указ о присвоении этому пристанищу для бездомных стариков и старух «имени Фрола Ермакова». В городе эту богадельню называли по-простому «ермаковская». В знак

признательности ежедневно в церкви священник упоминал имя Фрола. Правда, перед кончиной отметился купец чудачеством. Написал завещание, повергшее в шок всю Москву и лично министра внутренних дел России. После смерти купца в 1895 году открыли написанное им завещание. Три миллиона триста пятьдесят тысяч рублей он завещал раздать московским нищим. Эта баснословная сумма, если бы завещание было выполнено, дала бы каждому неимущему москвичу сразу по годовому заработку высокооплачиваемого рабочего. Конечно, денежки эти были заработаны теми, кто вкалывал по двенадцать часов на фабриках Ермакова. Но он рабам своим платил крохи, львиную же долю откладывал или передавал на благотворительность. Невольно вспоминается Карл Маркс с его бессмертным законом о прибавочной стоимости и классовый борьбу. Приведу цитату из выступления министра внутренних дел по поводу ермаковского завещания:

«Распределение в народной массе таких крупных денежных средств неминуемо возбудит несбыточные надежды на получение новых подобных же выдач. Без труда полученные деньги могут оказать пагубное нравственное значение и усилить пьянство со всеми печальными от него последствиями».

Не получили нищие и неимущие, среди которых большинство составляли пьяницы и бездельники, посмертного подарка от Фрола Яковлевича. Несколько лет судились за эти миллионы супруга и дочь умершего. Не вдаваясь в подробности, скажу лишь, что это единственный случай, когда суд нарушил волю умершего, предоставив Московской городской управе дать ход справедливому с точки зрения морали вложению огромного капитала. Что и было управою сделано. Деньги пошли на обустройство общественных мест и частично — супруге и дочери Фрола Яковлевича. Случай этот интересен именно проявлением чудачества. Но рассказ мой — об уже упомянутом выше Алексее Семёновиче Озерове. Промысел его не мог называться богоугодным. Виноделие. Это не хлеб растить и не сапоги тачать. Вино — продукт особый. Злоупотребил им и... потеряешь облик человеческий. Следовательно, пошло оно во зло. Употребление же культурное и умеренное оставляет приятность в душе. Стало быть, пошло во благо. Имел Алексей Семёнович в Коломне в собственности 403 десятины земли, винный завод, три трактира. Производимое его заводом вино славилось среди коломенцев. В конце семидесятых годов прошлого века мне по роду службы пришлось беседовать с одним старичком, проживавшим в Запрудях. Ему было уже за девяносто. В разговоре он похвалился, что помнит ещё времена, когда захаживал в трактир Озерова. И, желая усилить эффект от сказанного, старик поднял вверх указательный с жёлтым обломанным ногтем палец, широко раскрыл старческие, помутневшие уже глаза и добавил: «Я пил его вино! Осветлённое!» Вот ведь вспомнил старик не события 1905 года, не революцию, не представителей старой или новой власти, а застрял в его памяти купец Озеров. В самом начале 90-х годов прошлого столетия нашёл я в губернских архивах кое-какие сведения, касающиеся этого человека. Кто-то подсказал, что интересующий меня купец является предком Николая Николаевича Озерова, телевизионного спортивного комментатора, человека, очень популярного на весь Советский Союз. Предпринял я все мыслимые и немыслимые меры, чтобы выйти на комментатора. А когда удалось заполучить номер домашнего телефона Николая Николаевича, передать восторг мой было просто невозможно. Когда к телефону по-



Житная площадь. Справа — дом купца А. С. Озерова. Начало XX века

дошёл Озеров и я услышал знакомый до боли голос, у меня перехватило дыхание. И хотя ответ был отрицательный, поскольку род Николая Николаевича, оказывается, уходил корнями в Рязанские края, всё равно разговор этот незабываем, и каждое услышанное слово до сих пор стоит в ушах.

Доходы Озерова в архивных документах значатся как «благоприобретённые». Купец вырученные от бодрой торговли средства тратил «по уму», как сейчас любят говорить. Его дом и сегодня является украшением старого города. Приобрёл его купец не случайно. Жилище его, как полагал он, должно соответствовать положению. Положение же своё в обществе купец определял не только размером получаемых доходов, но и размером отчислений на общественные нужды. Вот, к примеру, Кисловская больница, построенная купцами Кисловым и Шараповым, постоянно требовала средств на своё содержание. Больница без спирта — не больница. Находящиеся на лечении люди должны быть прилично одеты. Им необходимо питание. В рацион обязательно входило чаепитие. Да и спать больным следует на нейтрализующих их страдания кроватях. Столько проблем для городских властей. Их острога резанула и по совести Озерова. Спирт для больницы — пожалуйста, в требуемом количестве. Больные поизносились: халаты, протёртые до дыр, рукава обтрёпаны. Срамota. Всем новые тёплые халаты из лучшей байковой ткани. Чай — напиток целебный. Для больных — особенно. «Чай не пьёшь — откуда сила?» — говорят на Востоке. А Восток, как мы теперь знаем, дело тонкое. Регулярные бескорыстные поставки чая в больницу не срывались ни разу. Жестковато спать страдающим коломенцам на обычных кроватях? Даёшь новые кровати с пружинными матрацами. Аптекари Курдюмов и Штруп жаловались властям на отсутствие приличной фарфоровой утвари для провизорских дел. Посланец Озерова спешит на поезде в первопрестольную, а возвращается уже с солидным багажом.

Есть фарфоровая посуда для коломенской аптеки. В 1878 году вдруг начали хиреть коломенские богадельни: гороховская, пятницкая и петропавловская. Содержать старых немощных мешан стало не по силам прежним благотворителям и городским властям. Почесал затылок Алексей Семёнович: «Надо помочь. Нельзя обречь стариков на преждевременное умирание».

Продолжать перечислять обычные насущные проблемы Коломны того времени пока перестану. Но читатель уже понял: Озеров кое-какие из них решал. В течение девяти лет. Тогдашнее общество Красного Креста (без полумесяца ещё) внимательно следило за порывами доброжелательности со стороны отдельных имущих, в смысле отстёгивания собственных денег на поддержку больных, увечных и немощных. Не заметить Алексея Семёновича Красный Крест не мог, не имел права, иначе он оказался бы близоруким, если не сказать, слепым. В 1879 году Озеров вручили специальный знак этой организации за номером 17440, что означало признание его заметным доброхотом. Через два года тот же Красный Крест, наращивая груз признательности, вручил купцу золотую медаль, указав в наградных документах основанием для высокой такой награды следующее: «За особые заслуги, оказанные обществу Красного Креста». Тем временем городские власти Москвы, желая отметить в пример другим богачам заслуги Озерова, обратились к государю императору с ходатайством о правительственной награде. Комиссия, представлявшая вывод о целесообразности награждения непосредственно Александру III, такую целесообразность обнаружила. 1884 год для купца-мецената стал знаковым. К его наградам добавился орден Святой Анны третьей степени.

«Любящему справедливость, благочестие и веру», — напыщенно заявили купцу при вручении ордена, повторив слова девиза «Святой Анны». Что ж такого сделал для Москвы наш земляк?

В Указе государя чёрным по белому записано: «Издержал из собственных средств 18 тысяч рублей на сооружение в городе Москве при Фирсановском доме для вдов и сирот церкви Иоанна Предтечи». Как видите, не забывал Озеров и про московских сирот и вдов: из необъёмного своего кошелька выкладывал деньги, чтобы построить храм для них, чтобы могли они, не тратя зря времени на долгий путь, костыляя по булыжным мостовым, отправлять обряды Православия прямо у себя на дворе.

«Что ж мы-то глядим, всё Красный Крест да Москва отмечают нашего купца первой гильдии, а мы вроде бы и ни при чём?» — заволновались в Коломенской городской управе. И в октябре того же 1884 года присвоили Озерову звание «Почётный гражданин Коломны». А перед этим, после злодейского убийства царя-Освободителя, когда в Москве короновался на царство его сын, Александр III, подали коломенские власти ходатайство в Санкт-Петербург о награде Озерова в ознаменование такого важного события в России. И Алексею Семёновичу на ленте государевых цветов вручили за номером 10301 тёмно-бронзовую медаль в честь торжеств на Ходынском поле.

Если открыть газету «Правительственный вестник» № 184 за 1880 год, то взору читающего предстанет личная признательность самого министра народного просвещения России в адрес Алексея Семёновича Озерова. Ни за что не догадается читатель, чем заслужил такую честь купец первой гильдии. Но не буду разжигать любопытство читателя: «За содействие,

оказанное при осмотре учащимися Зарайского реального училища коломенских заводов: машиностроительного братьев Струве и компании, и цементного Липгарта». Ну что тут скажешь! Это уже не пожертвования собственных средств, это нечто интеллектуальное. Возможно, как человека весьма популярного, уважаемого и, главное, богатого, попросил Аманд Егорович Струве Алексея Семёновича обеспечить доставку за сорок вёрст учащихся-реалистов, горевших желанием увидеть живой паровоз и чумазных рабочих у станков, из-под рук которых выходят такие огромные чудомашины. И не исключено, что сам купец первой гильдии имел интерес к современной технике и умел доходчиво и популярно донести интересные сведения до аудитории. А может, заводу Струве требовалась рабочая смена? Мастерские трудились тогда по 10–12 часов, и силы их быстро истощались. Вот вам и прекрасная реклама, могущая здорово повлиять на стремления зарайских реалистов пополнить ряды рабочего класса Коломны.

Но на этом не заканчиваются потуги местных властей отблагодарить купца за его щедрость в решении финансовых проблем города. В 1886 году на уездном земском собрании Коломны среди других вопросов одним из гласных был поднят следующий: «Прошу вас, господа, обратить взоры на бескорыстие купца Алексея Семёновича Озерова. Пожертвованиями своими господин Озеров поставил больницу в лучшее состояние, а между тем никакими наградами за это удостоен не был. Я предлагаю в письменном виде принять постановление, в коем объявить ему благодарность. Помимо этого, прошу меня поддержать и направить прошение государю Императору о награждении Алексея Семёновича правительственной наградой за отличия неслужебные». Собрание ответило аплодисментами, что означало единогласное одобрение.

Процесс награждения в те времена был непростым. Одного прошения органа власти было мало для Комиссии по наградам. После покушения на царя политическая благонадёжность стала не пустым звуком, и проверка на такую надёжность перестала быть формальностью. А посему от московского гражданского губернатора, князя Владимира Михайловича Голицына, следует письменный запрос в адрес Коломенского уездного исправника, коллежского советника Иоганна Ригера, немца, занесённого ветром судьбы и волей министра внутренних дел на три года в Коломну. Исправник внимательно прочитал запрос. Ему было понятно, что без его гарантии ни губернатор, ни Комиссия не дадут ход наградному процессу. Дело заглохнет на корню. Исправник хорошо знал Озерова, не имел никаких сведений о его неблагонадёжности и всё-таки выжидал. Дал задание своим тайным агентам поинтересоваться, не оказывает ли под шумок финансовую помощь уважаемый купец особам сомнительной репутации, не приходят ли к нему лица, ранее замеченные в крамольных высказываниях против самодержавия или против царственных особ. Дом Озерова взяли под наблюдение. Хитрые «топтуны», сменяя друг друга, держали под наблюдением дом с колоннадой. Уверенность уездного исправника оправдалась. Ничего не имел Озеров против существующего строя. Его не волновали вопросы большой политики. Он доверял Государю и не приветствовал террор народников. Мало того, был противником беззакония. Подозрительные личности в его доме не появлялись. Пьяных кутежей купец сторонился. Собрав сообщения агентов, Ригер незамедлительно сообщил губернатору: «Озеров характера скромного, жизнь ведёт безукоризненную, в политическом отношении благонадёжен».

Князь Голицын должен был заручиться ещё и гарантиями предводителя коломенского дворянства. Николай Платонович Грамотин получил конфиденциальное письмо князя с просьбой высказать мнение по поводу постановления Коломенского уездного земского собрания. Предводитель дворянства без раздумий размашисто написал ответ губернатору: «Князь Владимир Михайлович, Ваше Сиятельство, пожертвования со стороны Алексея Семёновича действительно были делаемы для больницы довольно значительные, поэтому со своей стороны ничего не имею против его награждения». Теперь князь Голицын уже не сомневался в заслугах купца Озерова и дал зелёную улицу награждённому процессу.

20 декабря 1888 года Алексея Семёновича пригласили в городскую управу. Все гласные были на местах. Председательствующий господин Мосолов торжественным тоном прочитал Указ о награждении Озерова орденом Святого Станислава второй степени и лично надел ему через правое плечо орден на красной, с двойной белой каймой, муаровой ленте. «Награждая, поощряет», — вкрадчиво произнёс господин Мосолов девиз «Святого Станислава», как бы напутствуя купца-мецената не останавливаться на достигнутом. Не правда ли, полный триумф человека.

На этом можно было бы завершить рассказ о нашем знаменитом земляке, но мне попал в руки новый документ о событиях, последовавших за вручением ордена купцу Озерову.

В те годы, как и сейчас, торговля спиртными напитками облагалась акцизом. При этом размер акциза устанавливался заранее так называемой трактирной депутацией Городской думы. В следующем после получения «Святого Станислава» году принесла почта Алексею Семёновичу пакет. Вскрыл его купец, пробежал глазами по каллиграфически исполненным строкам и обомлел. «Что за напасть?» Ведомость с раскладкой акцизов. Подписала вся трактирная депутация. А в ней состояло три владельца коломенских трактиров. Люди известные, правда, не собственным хлебосольством прославившиеся. Да и не характерно для собственника слыть неким экономическим рубахой-парнем. Но всё-таки. Все трое состояли в родстве или свойстве. Стало быть, сговорились не столько на принципе справедливости, сколько на принципе корпоративности. Короче говоря, читает наш герой ведомость, сравнивает объёмы акцизов, предписанных для уплаты хозяевами всех двадцати с лишним коломенских трактиров. Прикинул. «Что же это получается?» Максимальная сумма для других выводилась в 280 рублей. А его трактиры облагались ни много ни мало в 780 рублей каждый. «Та-а-ак! Что бы это значило?»

Поразмышлял купец, потерял седую бороду и единственный вывод для себя сделал: «Подорвать решили мой трактирный промысел. Вынуждают значительно поднять цены, то бишь отпугнуть клиентов. А причина ясна. Моё вино — нарасхват. В моих трактирах — порядок. Малолеток на работу по обслуживанию клиентов не принимаю, дабы не подвергать неокрепшие души всяким нездоровым соблазнам. Благотворительную деятельность веду. Признание властей имею. А депутация эта, недавно созданная, — Назаров, Исаев, Иванов, — ни к чему хорошему пока руку не прикладывала; господа эти имеют взыскания за использование детей по разносу вина клиентам, благо расплатиться с детьми проще: пятак в день — и будь здоров. А то, что легко пристраститься юнцу к спиртному да ко всяким некрасивым шалостям, — это вроде бы и не по их части».

Ну а трактирная тройца в эти минуты потирала руки в предчувствии своей победы над коллегой Озеровым, будь он неладен. Судачили ехидно в узком своём трактирном кругу: «Понахвтал орденов, медалей, почётов разных. Видите ли, церковь возвёл для вдов и сирот в Москве. Старых пердунов в коломенских богадельнях кормит на свои доходы. Чаем поит хворых горожан, халаты на них новые напялил. Посуду фарфоровую купил в аптеку. А для чего? Всё равно переколотят, обошлись бы и глиняной, — зловредничали питейные отцы Коломны. — Ну ладно, посмотрим, какие награды ждут Озерова впредь и кого он теперь облагодетельствует, почётный этот гражданин... Теперь клиент к нам косяком пойдёт, а его образцовые трактиры предадут забвению. Довольно. Наигрался, шут гороховый. Придётся в скором времени расстаться со степенью своей высшей, опуститься до второй гильдии. И вообще, за каким чёртом корячиться, выколачивая деньги с посети-



Коломна славилась не только паровозами, но и горячительными напитками купца первой гильдии А.С. Озерова

теля? Чтобы потом их отдать каким-то старухам или недужным?» — продолжала гнуть свою линию трактирная депутация.

Догадывавшийся об этом Озеров давал проблеме соответствующую окраску. Надо было что-то предпринимать: не давать же спуску бесчестным этим людям. «Помочь ближнему — для них звучит ругательно. Имеют целью заставить и меня снизойти до их примитивного уровня сознания», — размышлял купец, вперив взгляд в колеблющийся огонь камина. Он решительно встал, подошёл к письменному столу, взял чистое перо, положил перед собой чистый лист бумаги.

«Его Превосходительству, господину Московскому губернатору...» — вывел Озеров первые строчки. Кратко, но чётко и ёмко изложил он свои горькие мысли князю Голицыну. Не плакался гордый купец первой гильдии, не пресмыкался. А Владимир Михайлович Голицын и не ждал унижительной мольбы о защите. Ему с самого начала письма стало ясно: недалёкие по духовному воспитанию люди пытаются опорочить заслуженного человека. Чувствовалось стремление низвести купца Озерова до собственного их примитивного уровня. И это вместо того, чтобы пытаться дорасти до более высокого духовного состояния. Со всей очевидностью воспринял губернатор эти истины. Не мудрствуя особо, официальным письмом потребовал от городского головы немедленно прекратить гонение на почётного гражданина Коломны, подчинить определение объёмов акцизных сборов с питейных заведений единому для всех правилу.

Получив столь категорическое послание уважаемого князя Голицына, коломенский городской голова не замедлил его исполнить по полной программе. Трактирная депутация, поставленная губернатором на место, поджала хвосты. Алексей Семёнович Озеров не пытался обнаружить своим видом собственного торжества, поскольку, направляя письмо губернатору, почти не сомневался в неизбежном восстановлении справедливости. Он продолжал делать своё дело, как будто ничего не произошло.

* * *

Следуя в сторону городского базара по улице Яна Грунта (бывшей Спасской) и перейдя улицу Красногвардейскую (бывшую Вознесенскую), вы не минуете заметного в той округе особняка с шестью мощными колоннами по фасаду. Название дома указано во всех исторических справочниках, где речь идёт о Коломне. Хочется, чтобы коломенцы вспомнили, что это не просто «дом Озерова», некий абстрактный памятник эпохи позднего классицизма со всей его архитектурной атрибутикой. Это ещё и обитель, где когда-то, помимо всего прочего, оставалось также место человеческой добродетели.



Валерий Альбертович Ярхо родился в Коломне в 1964 году. Успешно сотрудничает во многих столичных и коломенских изданиях. В его творчестве удачно сочетаются художественная проза, краеведческие исследования и «архивный детектив».

Постоянный автор «Коломенского альманаха».

КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ ВЛАСТЬ

ГЛАВЫ
ИЗ НЕОПУБЛИКОВАННОЙ КНИГИ

О том, что вот-вот случится начало «новой эры», в октябре 1917 года в уездном городе Коломне знали только те, кому доверили тайну. В сентябре из Петрограда со съезда РСДРП(б), проходившего в условиях строгой конспирации, вернулся делегат Коломенской партийной организации Василий Егорович Левшин, который и сообщил узкому кругу особо доверенных товарищей, что партия приняла решение о подготовке восстания для захвата власти вооружённым путем.

За полгода до того, в марте 1917-го, Левшин вернулся из ссылки, после объявленной Временным правительством амнистии для политических заключённых. Ему о ту пору исполнилось всего 27 лет, но это уже был «стреляный воробей» — опытный революционер и настоящий боец. Он примкнул к социал-демократам ещё в первую революцию, пройдя все ступени карьеры подпольщика. Сначала, с другими такими же заводскими парнями пятнадцати—семнадцати лет, уроженец села Сандыри Вася Левшин выступал в качестве «революционной пехоты» — там, где нужно было поддержать старших товарищей крепкой глоткой и кулаком. Но что-то такое в нем было, имелись задатки лидера и организатора, позволившие Левшину возглавить уездную организацию РСДРП после того, как аресты 1907—1908 годов выбили всё прежнее руководство подполья. Ему не хватало элементарного образования и теоретической подготовки, и по решению окружной организации Левшин попал в число тех,

кого направили в Италию, на остров Капри, где Горький и ряд других видных деятелей социал-демократии создали партийную школу для руководителей организаций, вышедших из рабочих.

В составе группы, пробиравшейся на Капри, Левшин перешёл границу с Австро-Венгрией, потом они добрались до Вены, где их встречал Лев Троцкий, опекавший подмосковных подпольщиков в австрийской столице перед отправкой в Италию.

На Капри Левшин вместе с ещё полутора десятком товарищей слушал лекции Горького, Луначарского, других опытных революционеров-интеллигентов: осваивал методы ораторского искусства — приёмы речевого воздействия на массу слушателей, а также технику составления газетных публикаций, развёртывания нелегальных типографий, обучался другим премудростям организации агитационной деятельности в подполье.

Руководство партийной школы на Капри расходилось по некоторым позициям с Лениным и потому попыталось сформировать собственную партийную фракцию внутри РСДРП. Часть учеников не согласилась с этим, в результате чего произошёл раскол, и пятеро, в том числе Левшин, уехали в Париж, к Ленину. Там они прослушали несколько лекций, прочитанных лично Владимиром Ильичом, его верными соратниками Каменевым, Зиновьевым и ещё несколькими товарищами.

Пройдя незаурядную теоретическую подготовку, ученики партийной школы так же нелегально вернулись в Россию, но поработать им не удалось: среди них оказалось двое агентов полиции, и едва Левшин с товарищами разъехались по своим организациям, как за ними стали следить, а через месяц, выявив связи, всех арестовали. В 1911 году Левшина судили и дали четыре года каторги, с заменой тюремным содержанием. Наказание он отбывал в Бутырской тюрьме, а в 1914-м его выслали в Восточную Сибирь, на поселение в город Киренск, откуда он вернулся только после амнистии.

* * *

Несмотря на столь убедительную биографию Левшина, официальным представителем Московского окружного комитета РСДРП(б) в Коломне стал не он, как этого можно было бы ожидать, и на то имелась веская причина. Дело в том, что товарищ Левшин, вернувшись из ссылки, «идейно колебался» и выступал за тесное сотрудничество с меньшевиками, а это шло вразрез с задачами, которые ставило перед партией её руководство.

Отдельную организацию большевиков в Коломне было поручено создать Яну Яновичу Грунту, который, будучи на два года моложе Левшина, также был уже революционером с большим стажем. Учась в старших



Василий Егорович Левшин



Ян Янович Грунт

классов рижской гимназии, сын торговца Ян Грунт примкнул к местной латышской социал-демократической организации, за что вскоре и был арестован. В 1907 году его судили и приговорили к пяти годам каторги, по несовершеннолетию заменённой тюремным заключением. Свой срок юноша отбывал в той же Бутырской тюрьме, в которую в 1911 году попал и Левшин.

Выйдя в 1912 году на волю, Ян Грунт вернулся в Ригу и снова погрузился в пучину революционной борьбы. Он стал журналистом подпольной прессы, агитатором и организатором подполья. В 1913 году его снова арестовали и по приговору суда сослали в Нарымский край. Однако Ян сбежал оттуда уже в следующем году и, будучи на нелегальном положении, вошёл в латышскую социал-демократи-

ческую группу, состоявшую из эвакуированных латышей, живших в Москве. Группа наладила связь с Московской окружной организацией РСДРП, которая была буквально «нашпигована» полицейской агентурой. Последствия были вполне предсказуемы: когда в 1915 году эсдековская «окружка» провалилась, добрались и до латышей. По суду Грунту дали четыре года каторги, от которой его освободила лишь амнистия Временного правительства.

Освободившись, Ян Янович приехал в Москву, застав там ситуацию, которую Маяковский назвал «горячкой буден». Можно сказать, он «подвернулся под руку»: по собственному признанию Грунта, его впопыхах и «совершенно случайно» командировали в Коломну в качестве партийного организатора от Московского окружного комитета РСДРП, для того чтобы сформировать отдельную, чисто большевистскую организацию в городе.

К чести его следует заметить, что Ян Янович с поставленной перед ним задачей, в совершенно незнакомом ему городе, справился более чем ловко. Начав с простых объявлений о приеме в партию, он создал большевистскую ячейку в Коломне, в которой на первых порах было менее дюжины человек, не имевших никакого опыта партийной работы. Опираясь на такие силы, Грунт менее чем через два месяца после своего появления в городе сумел расколоть «объединённую организацию РСДРП», перетянув Левшина в свою организацию. Это дало возможность развернуть работу среди рабочих Коломенского машиностроительного завода, где Василий Егорович пользовался огромной популярностью и авторитетом. За ним следом в компанию Грунта ушли ещё более трёх сотен членов партии, и городская организация большевиков превратилась в реальную политическую силу.

Грунт и Левшин довольно успешно делили власть: один был главой партийной организации большевиков, а второй — председателем Совета рабочих и солдатских депутатов. Авторитет Василия Егоровича позволял активно действовать на заводе, а скорый на всякие придумки Ян Янович разрабатывал и осуществлял различные акции, позволявшие большеви-

кам укреплять свой авторитет среди политически активной части населения.

Вместе они прошли все испытания и сохранили организацию летом 1917 года, когда в Петрограде провалилась попытка государственного переворота, затеянного Лениным. Восстание подавили силами всего лишь двух гвардейских полков: Преображенского и Семёновского. Организаторы путча были частью арестованы, а частью объявлены в розыск, и их предводитель Ленин в том числе.

По репутации большевиков был нанесён сильнейший удар газетными публикациями, в которых были приведены свидетельства финансирования немецким командованием подрывной деятельности РСДРП(б). всплыла история с «пломбированным вагоном», в котором группа большевиков проехала из Швейцарии через Германию, добираясь до нейтральной Швеции, откуда через Финляндию они попали в Россию. Писали об организации ими забастовок на предприятиях, выпускающих вооружение для воюющей армии, других акциях саботажа, и много ещё кое-чего открылось неприглядного.

После этого в цехах Коломзавода рабочие накидывались на большевиков, грозились побить тех из них, кто пытался агитировать, забрасывали гайками и болтами, а нескольким активистам таки «навалили по шеям».

Грунт в своих мемуарах пишет о том, что, напуганные таким отношением рабочих и газетными публикациями о шпионстве большевиков, многие из тех, кто вступил в организацию весной 1917-го, поспешили из неё выйти. Но уже в сентябре—октябре большевики сумели восстановить своё влияние и к моменту переворота подошли, что называется, «во всеоружии».

* * *

Накануне событий, которые потом войдут во все учебники отечественной истории, в Петрограде шла активная подготовка к Всероссийскому съезду советов. Делегатом от Коломны на этот съезд 19 октября выехал товарищ Сарычев. Большевики деятельно готовились к захвату власти на местах, и дел у них было по горло.

Техническое обеспечение местной организации было слабенькое, а делать всё нужно было в глубокой тайне, и потому подготовка переворота в Коломне упёрлась в такую проблему, как отсутствие у большевиков собственной пишущей машинки. Писать распоряжения новой власти от руки было несолидно, а потому пришлось «одолжить» машинку в Совете, но делать это пришлось тайно, потому что в состав Совета входили представители эсеров и меньшевиков. Заговорщикам пришлось дожидаться вечера, когда все уйдут из здания Совета. Оставшись одни, Грунт и Левшин принялись за дело.

Ни одной надёжной машинистки, которой можно было бы доверить столь деликатное дельце, они не нашли, а потому уселись печатать сами, фабрикуя мандаты новой власти впрок, на все возможные случаи и потребности. С этим делом провозились всю ночь с 24 на 25 октября, а утром пошли в казармы к солдатам. Там натолкнулись на агитаторов эсеров и меньшевиков, спорили с ними и ушли, только заручившись уверением солдат, что они пойдут за большевиками. Особенно надёжной считалась

четвёртая рота 254-го полка, квартировавшая в запрудских казармах. Но её разоружили за несколько дней до начала событий, и потому пришлось в других казармах искать военную силу, на которую можно было твёрдо надеяться. Лишь убедившись, что всё в порядке и солдаты не подведут, Василий Егорович ушёл дежурить в Совет и в ту же ночь узнал, что теперь именно он обладает всей полнотой власти в ближайшей округе.

В четыре часа утра от Московского губернского Совета рабочих и солдатских депутатов в Коломну пришла следующая циркулярная телеграмма, аналоги которой были разосланы во все уезды губернии.

«Сегодня ночью петроградские рабочие и солдаты заняли все государственные учреждения, вокзалы, Зимний дворец. Временное правительство будет низложено. Порядок в Петрограде полный. Кровопролития не было. Московский Совет принимает меры к взятию всей власти. Губернский Совет предлагает вам осуществить эти меры:

- 1) создать на местах пятёрки, обладающие всей полнотой власти;
- 2) образовать Красную гвардию, реквизировать всё частное оружие под расписку Совета, и автомобили;
- 3) поставить охрану на телеграф, телефон, в казначейство; установить цензуру телеграфа и телефона;
- 4) подчинить себе милицию;
- 5) войти в сношение с окружающими вас воинскими частями и известить губернский Совет о тех из них, что ненадёжны;
- 6) установить слежку за местами торговли спиртными напитками;
- 7) установить дежурства членов Исполкома;
- 8) предложить фабрикам и заводам работать нормально;
- 9) сохранять порядок и спокойствие;
- 10) выпустить воззвание к населению;
- 11) выслать представителей на экстренное заседание Исполнительного Комитета губернского совета 26-го октября к 10-ти утра».

Утром на заводе ничего особенного не случилось — все встали на работу, но между собой обсуждали, говоря, что в Москве что-то происходит. Завкомовская будка была заперта, и Левшину пришлось ждать возле неё, нервно расхаживая взад и вперёд перед запертой дверью, пока не появился секретарь завкома Мурин, у которого были ключи. Он отпер дверь, все вошли, коротко переговорили, разобрали полтора десятка старых винтовок системы «бердан», которые ещё летом Левшин передал большевикам из арсенала Совета рабочих и солдатских депутатов. Вооружившись, распределили обязанности и приступили к тому, что готовили последние месяцы. Под диктовку Левшина Мурин написал письмо в дирекцию, требуя «предоставить в наше распоряжение два автомобиля, а также пишущие машинки».

С письмом в дирекцию отправили боевого товарища Шкаликова, но ему в выдаче авто категорически отказали. Тогда применили «революционный метод»: стреляя в воздух «для остратки», Шкаликов просто выгнал машины из гаража, без всяких разрешений. Это была первая акция новой власти в Коломне. Вторую акцию товарищ Шкаликов осуществил, героически отняв пишущую машинку в конторе и притащив её прямо в завком, дорогой отбиваясь от преследовавших его конторских служащих.

Около восьми утра по всем цехам протелефонировали, вызывая членов Совета прибыть в Коломну, в дом Шанина на Астраханской улице.

К будке стали подходить члены Совета, а когда собрались все, то расселись по машинам и поехали в город. Однако «общий сбор» затянулся, и собрание открыли только в одиннадцать часов. Первым выступил Левшин, пребывавший в крайне возбуждённом, взвинченном состоянии. Он проинформировал собравшихся о событиях в столице и о том, что власть в городе переходит в руки Советов. Сохранился протокол этого заседания Совета от 26 октября 1917 года. Председательствовал на нём Левшин, помогал ему Урываев, а Грунт и Москвин секретарствовали. Левшин огласил предложения солдат захватить оружие на станционных складах — там хранилось вооружение, которым обеспечивали маршевые роты, формировавшиеся в Коломне. Тогда же избрали уездным комиссаром Грунта. Контролировать ситуацию на станции «Голутвин» и «Коломна» направили Бушуева, Печникова и Киселёва. Комиссаром почт и телеграфов избрали питерца Лобахина, комиссаром к воинскому начальнику Антонова, а комиссарами по обыскам и разоружению назначили Грунта, Шкаликова и Захарова. Соловьёва, Тулинова, Болонникова, Левшина, солдат Краснопёрова и Шибаева избрали в Революционный суд. Главным военным комиссаром Коломенского гарнизона избрали бывшего официанта Мочалина, ушедшего к большевикам от эсеров, а помощником к нему дали товарища Шишко. Постановили также: любое неподчинение власти Советов рассматривать как проявление контрреволюции, карая за это беспощадно.

Немного оторопевшие меньшевики встряли, и Коломенская объединённая организация РСДРП на том собрании сделала такое заявление: «Ввиду того, что партия против захвата власти в руки Советов, считая таковой захват гибельным для России и дела революции, приводящий к изоляции пролетариата, и что партия за передачу власти в руки демократии, а потому фракция против участия в организации новой власти и предлагает своим членам покинуть заседание».

Представители партии социалистов-революционеров отказались принять участие в формировании органов новой власти, сказав: «Мы думаем, это игра недолгая». Меньшевики и эсеры демонстративно ушли с собрания, а Левшин и его ребята не стали терять время золотое. Ещё накануне Василий Егорович получил твёрдое заверение двух рот, что они поддержат любое дело большевиков. Теперь пришёл черёд подтверждать слова делом: по телефону связались с полком и вызвали солдат 6-й роты, которые вскоре прибыли на автомобилях и оцепили дом Шанина, где в это время шло заседание, на котором сформировался штаб Революционного комитета.

В тот же день к гарнизонному складу отправились Василий Егорович Левшин с товарищами Мешковым и Семячкиным. Левшина солдаты уже знали, а потому часовой их подпустил, и они стали объяснять ему ситуацию. Часовой сказал, что он человек маленький — ключей у него нет, они у офицера, заведующего оружейной мастерской. Левшин послал Семячкина к этому офицеру, но посланец вернулся ни с чем. Тогда, плюнув на это дело, они попросили часового помочь им, и совместными усилиями большевики взломали двери арсенала. К складу подогнали машины и стали спешно грузить оружие. Вскоре все винтовки и патроны, хранившиеся на складе, вывезли в дом Егорова, где находился клуб большевиков. Там сразу же начали вооружать рабочих, формируя из них Красную гвардию, отряды которой, усиленные солдатами, под командой уполномоченных членов Совета разошлись по заранее намеченным

к захвату объектам. Часть винтовок отправили в Сергиевские Выселки, где был надёжный отряд большевиков и крепкая ячейка. Озёрскому Совету выдали 26 винтовок и по 400 патронов на каждую. В Щурово 62 винтовки и патроны для тамошнего отряда Красной гвардии, созданного ещё в августе, повёз товарищ Семячкин. Сам Левшин на автомобиле доставил в Боброво 87 винтовок и патроны, предназначенные для раздачи членам латышской социал-демократической организации. Около пятисот эвакуированных латышей работали на Коломзаводе и создали свою партийную ячейку, в которую входило 87 человек. Часть из них не пожелала взять в руки оружие (их тут же исключили из партии), а из оставшихся 55 верными латышей-партийцев составилась отряд Красной гвардии, взявший под контроль весь район села Боброва и станцию «Голутвин».

Структура Красной гвардии была разветвлена и децентрализована: Коломенский уезд был разделён на множество участков, в каждом из которых был центр Красной гвардии. Все местные ячейки Красной гвардии подчинялись её штабу, находившемуся в Коломне. «В каждой селекции, — говорил Грунт на собрании уездных комиссаров, — имеется 2–3 красногвардейца, которые готовы в нужный момент собираться в своих центрах, формируя более крупные группировки».

* * *

Захватив все учреждения в городе и объявив себя единственно законной властью, большевики тем не менее чувствовали себя очень неуверенно. Как пишет Грунт: «Настроение было очень нервное, каждый день ждали столкновения с невидимыми врагами». Более всего опасались товарищи большевики, что пожалуют в город части, сформированные из юнкеров, солдат-фронтовиков или казаки, которые терпеть не могли «немецких наймитов», считая их «предателями, по приказу кайзера Вильгельма ударившими в спину фронту». Помимо винтовок и револьверов у Красной гвардии в Коломне имелась пара пулеметов и даже бомбомёт (миномёт) с запасом бомб. Только вот обращаться с этим тяжёлым вооружением никто толком не умел. В подавляющем большинстве красногвардейцы абсолютно не имели боевого опыта и перед лицом настоящего врага были скорее не силой, а «вооружённым бессилием».

Эти люди очень скоро снискали общую ненависть горожан хамским поведением во время обысков, беспричинными «реквизициями» чужого имущества и разного рода хулиганскими выходками. «В случае чего» ждать помощи им было не от кого. Дело усугублялось тем, что в ситуации, требовавшей хладнокровия и рассудительности, совершенно сдали нервы у Василия Егоровича Левшина. Годы подпольной работы, тюрьмы, ссылки, жизнь на грани нервного стресса во время революционных событий совершенно доконали его психику.

К ноябрю 1917 года Василий Егорович сделался очень похож на тех, кого испокон на Руси называли юродивыми. Только это был особенный вид юродства: безбожного, вооружённого, обладающего всей полнотой власти в городе и окрестностях.

Его мучила изнурительная, многодневная, мутившая рассудок бессонница, ел он только по настоянию товарищей, не мылся, оброс светлой щетиной, глаза у него запали, и даже самым близким его товарищам

вид Левшина казался страшным. Когда товарищи, видя его страдания, пытались отправить Левшина домой, чтобы он хоть маленько отдохнул, Василий Егорович начинал всех укорять в преступном легкомыслии и обвинять едва ли не в намерениях предать дело революции. Сам не зная покоя, он день и ночь муштровал отряды Красной гвардии и советских работников, которые, конечно же, от этого были далеко не в восторге, но перечить ему не смели, ибо это было небезопасно.

Председатель Коломенского Совдепа всюду ходил до зубов вооружённый, не расставался с винтовкой, весь был обвешан бомбами, с громадным кинжалом за поясом и, по словам Грунта, «больше напоминал атамана разбойников, чем председателя Совета». В таком-то виде в начале ноября он заявился в Москву на заседание губернского Совдепа. Вот как описывает его состояние товарищ Овсянников, знавший его ещё по работе в подполье: «Левшин приехал из Коломны с винтовкой за плечами, весь увешанный оружием, с бомбой за поясом. Этот арсенал в первый раз обратил внимание товарищей и заставил задуматься о нём, но было поздно».

На фоне постоянной физической усталости и гнетущего нервного перенапряжения у Левшина очень быстро развилась мания преследования. Он так и жил в доме Совета, не уходя домой. Часто ему компанию составлял Грунт, который возился с Василием Егоровичем, словно с малым дитяtkом. Однажды ноябрьской ночью, едва Грунту удалось уговорить Левшина прилечь, в Совете была получена телеграмма о том, что со стороны Рязани на Коломну движется сильный отряд казаков. Уездные начальники с самого октября, едва только они захватили власть, опасались внезапного нападения, мятежа или ещё какой-нибудь «пакости». Получив сообщение о приближении казаков, они, даже не озаботившись вопросом — откуда они могли бы взяться, не справившись по телеграфу у соседних советов, что известно им, сразу же объявили тревогу. По телефону и отправляя нарочных, Левшин и Грунт стали собирать отряды Красной гвардии, советских работников и вообще всех «верных», имевших оружие.

На коротком совещании спешно решали — как быть? Договорились объявить общую боевую готовность, выслать на улицы города усиленные патрули, а по шоссе, ведущему в Боброво, и у Рязанской заставы выставить пикеты. Тогда же решено было совершить налёт на завод и, разоружив всех представителей администрации, захватить средства передвижения — то есть угнать все машины из заводского гаража. Похоже, что перепуганные большевики готовились дать дёру, иначе на кой шут им так спешно потребовались заводские автомобили?

Никаких дельных приготовлений к обороне города предпринято не было: ни попытки выстроить рубеж обороны на окраине, ни устройства баррикад или пулеметных гнёзд на узких улицах, где вполне можно было удержать кавалерию. Вместо того снарядили вооружённую экспедицию на захват автотранспорта, на котором легко было «эвакуироваться», оторвавшись от преследования кавалеристов.

Коломзавод в ту пору считался «территорией противника» — большевики там не добились поддержки. На заводе была сильна объединённая организация меньшевиков, а кроме того, первые же насильственные действия, применённые в отношении администрации завода в октябре 1917-го, оттолкнули от большевиков массу служащих, которых на Коломзаводе насчитывалось более 900 человек. В ноябре рабочие и служа-

щие несколько раз бастовали, а завком бойкотировал решения Коломенского Совета. Рассчитывать на то, что заводчане добровольно отдадут свои машины, было бы глупо. Той же ночью, когда было решено «экспроприировать» машины, отряд под командой Грунта явился на завод. В помощь Грунту дали товарища Шкаликова, который уже провернул подобную операцию «утром новой эры» 26 октября 1917 года. Ночной налёт вполне удался: вооружённые красногвардейцы, проникнув в гараж, срочно «мобилизовали» всех шофёров, под угрозой оружия заставив их угнать все имевшиеся на тот момент автомобили в город.

Отправив своих товарищей на захваченных авто в Коломну, Грунт и Шкаликов задержались на заводе. В гараже оставался ещё большой, мощный американский автомобиль «Мичиган», который не заводился, а бросить его было жалко: ведь каждая машина означала десяток спасшихся товарищей, а то и больше. Тех, кто не поместился, пришлось бы оставить «за бортом», спастись собственными силами.

Судя по всему, персонал гаража, из тех, кто там был ночью, отнёсся к этим их действиям довольно враждебно. По крайней мере, только один шофёр Зиновьев согласился помочь чинить «Мичиган» и, провозившись более двух часов, завёл-таки его. Втроём: Грунт, Шкаликов и Зиновьев, севший за руль, они отправились в Коломну. Лил дождь, тьма стояла, хоть глаз коли, а фары «Мичигана» выхватывали перед собой лишь небольшой участок дороги. Неожиданно послышались крики: «Стой! Стой!» Но Зиновьев то ли не успел, то ли не смог сразу остановить автомобиль, и через несколько секунд на «Мичиган» обрушился шквал пуль! Стреляли сразу отовсюду: спереди, сзади, с боков... Пули рвали корпус машины, закричал раненый Шкаликов, потом Зиновьев... Грунт встал в полный рост и стал кричать: «Не стреляйте! Свои! Не стреляйте!» В этот момент Зиновьев сумел остановить машину, которую тут же окружили вооружённые люди. Это оказались коломенские красногвардейцы. Грунт, который отделался легче всех (у него одной из пуль лишь оторвало пуговицу на пальто), набросился на них с бранью. Красногвардейцы, сидевшие в засаде у шоссе, оправдывались тем, что у них имелся приказ председателя Совдепа Левшина. Узнав, что машины перегнали с завода, он распорядился всё, что движется к городу по шоссе со стороны Боброва, рассматривать в качестве противника и поступать соответственно: останавливать, а буде не подчинятся, открывать огонь на поражение.

Рана Шкаликова оказалась пустячной, ему слегка зацепило руку, а вот Зиновьев получил пулю в живот и еле выжил. Его потом долго лечили, но шофёром он работать больше не смог, Совдеп назначил ему пенсию.

Казаков в Коломне так и не дождались — утром высланная на машинах разведка Совдепа, проехав довольно далеко в сторону Рязани, никаких «отрядов» не встретила, и местные жители ничего о «казаках» не слыхали. Эта телеграмма, что так переполошила всех большевиков, была чьей-то провокацией. Полагали, что кто-то из кадетов развлекался подобным образом, но точно установить, кто именно отправил так встревожившую всех депешу, не удалось.

Однако далеко не все слухи были ложными. Так, в конце ноября 1917 года по городу и окрестностям прошёл слух о том, что в «Голутвин» прибыл вагон с коньяком. Надобно напомнить, что с августа 1914 года в России был введён «сухой закон» — полное запрещение на продажу спиртных напитков. После революции его никто не отменял, и прибавлявшие-

еся самогонкой, одеколоном и другими спиртовыми суррогатами население, узнав о вагоне коньяка, словно с ума сошло. Опасаясь эксцессов, ревком отправил на станцию наряд Красной гвардии во главе со Шкаликовым, которому приказано было уничтожить коньяк. Спустя три часа в ревком пришло известие, что в «Голутвине» идёт погром, Шкаликов убит, а вагон грабят. Туда спешно выступил отряд в тридцать человек красногвардейцев во главе с Левшиным, и только эти силы смогли разогнать погромщиков.

Все эти события, произошедшие одно за другим, оказали гнетущее действие на и так уже повреждённую психику Левшина. С ним не стало никакого сладу: все вокруг казались ему бездельниками и предателями. В приступе безумного отчаяния Василий Егорович отправил телеграмму своему старому другу Овсянникову, которому, видимо, особо доверял. Пугая имена Маркса и Ленина, он умолял принять энергичные меры против каких-то опасностей, грозящих и ему самому, и советской власти вообще. Овсянников, очевидно, дал знать в Коломну, что «товарищ-то нехорош».

Но, даже видя, что дело худо, местным врачам Василия Егоровича показать не решались. Доктора эти были главным образом политически индифферентны либо являлись членами кадетской и эсеровской партий. Большевиков среди них не было ни одного, а дельце было слишком деликатное, чтобы доверить его членам конкурирующих партий или политически равнодушным людям. Через коломенских медиков в городе могло стать известно, что председатель Совдепа рехнулся, а вернее, уже был ненормален тогда, когда, выступая на митингах, призывал к забастовкам, свержению Временного правительства и захвату власти. Это известие могло «оттолкнуть массу» и «дать козыри в руки противника». В принципе, политические конкуренты большевиков могли бы опротестовать все решения уездного Совдепа, вышедшие за подписью Левшина, и аргумент у них был сильнейший: председатель выпускал эти документы, будучи «не в себе». По этой причине болезнь Левшина всячески скрывали и пробовали «лечить» сами, но всё это «лечение» сводилось к попыткам уложить его спать. Ложится-то он ложился, а вот глаз сомкнуть не мог, а главное — нипочём не желал отдавать винтовку, которую не выпускал из рук в буквальном смысле этого слова, ходил с нею даже в нужник. Тех, кто пытался забрать у него оружие, он обвинял в предательстве: дескать, они хотят его разоружить и выдать врагам революции, и вместо того чтобы заснуть, Левшин, вцепившись в винтовку, лежал с открытыми глазами и бредил о борьбе пролетариата с заговорами и изменой.

Тогда решили отвезти его в Москву, рассчитывая показать хорошим врачам, и пристроить Василия Егоровича на отдых. Всем казалось, что ему просто требуется хорошенечко отдохнуть. Повёз Левшина его друг, Лазарев. Чтобы перехитрить болезненную подозрительность, развившуюся у председателя, всё было обставлено под видом деловой поездки группы товарищей из Коломны в губернский Совдеп и партийный комитет, а потому добрались они до Москвы вполне благополучно. Но там их ждал страшный удар: московские товарищи не стали вникать в тонкости ситуации и поспешили избавиться от заболевшего коломенского председателя, просто поместив его в дом для умалишённых. Что с ним произошло далее, остаётся загадкой до сих пор: Василий Егорович исчез. Администрация больницы утверждала, что в одну из декабрьских ночей

Левшин в одном нижнем белье выскочил из окна во втором этаже здания и скрылся в неизвестном направлении.

Надо сказать, что коломенские большевики с потерей не смирились, несколько раз снаряжались поиски по всей Москве, выезжали даже в другие города, где, по слухам, видели похожих на него безумцев, но всё было тщетно: Василий Егорович Левшин буквально сгинул в водовороте событий, и в партийных документах он с тех пор числится как «безусловно погибший неизвестно где».

Ян Янович Грунт не верил, что Левшин сбежал. «Официальное сообщение больничной администрации до сих пор у меня вызывает большое сомнение: как мог бесследно исчезнуть больной? — писал он в своих мемуарах. — Не приложила ли руки к его гибели сама администрация?!» Это он написал уже в начале тридцатых годов, вспоминая о событиях той зимы.

* * *

Вскоре после того как товарищ Левшин, будучи отправлен в один из московских бедламов, сгинул в безвестности, в Коломне наступил первый серьёзный кризис новой власти, когда совершенно прекратился подвоз продуктов. Нет, хлеб-то в Коломне был — его пекли и продавали на рынке крестьяне из пригородных сёл и окрестных деревень. Были у них и мука, и картошка, и сало, масло конопляное, солёные огурцы и прочее. Только продавались все эти замечательные продукты втридорога, а больше менялись на вещи, что поценнее, и позволить себе их приобрести могли совсем немногие горожане.

Большинство представителей новой власти, сразу получивших общую кличку «товарищи», были очень молоды. Уездному комиссару Яну Грунту, бывшему гимназисту и профессиональному революционеру, едва исполнилось 26 лет, и весь опыт практической жизни у него сводился к попыткам работать подручным маляра. Но и эта карьера была оборвана в самом начале — Янек так поклеил обои у заказчика, что его выперли со скандалом. Больше ничем толковым, кроме работы в подполье и сидения в тюрьмах, этот молодой человек не занимался. Некоторый опыт нелегальной журналистики, приобретённый им в промежутках между отсиживаниями, никак не помогал ему в вопросах организации уездного хозяйства и управления. Остальные коломенские «вершители судеб» в подавляющем большинстве были ещё моложе и гораздо хуже образованны. Их доминировали тысячами разных вопросов, ответов на которые они, как правило, не знали.

Видя их управленческие потуги, обыватели, приобретшие за месяцы революционной передраги цинизм в суждениях, никакого пиетета перед новой властью не испытывали.

Коломенские бабы, прозванные «амазонками» за то, что ещё при Временном правительстве несколько раз били продкомиссаров, когда задерживались выдачи муки и сахара, каждое утро приходили под окна квартиры Грунта и будили его криками: «Эй, комиссар! Выходи! Хлеба давай! Жрать хотим!» Он через форточку кричал им в ответ, что хлеба нет, когда подвезут — неизвестно. Однажды «амазонки» подловили его, когда Ян Янович шёл домой с караваями в руках — в уездном комиссариате в тот день была получка, и он купил на рынке четыре фунта хлеба.



«Амазонки» же, увидав в руках комиссара хлеб, преградили ему дорогу и загладели: «Комиссар-то с хлебушком идёт! Значит, получаете паёк! Сам-то жрёшь, а нам хоть с голоду подохни!» Грунт стал объяснять, что он купил на рынке с полочки, но его не слушали, и тогда он в сердцах швырнул хлеб в руки первой попавшейся бабе, которая убежала с добычей. Поражённые «амазонки», уже жалея комиссара, стали говорить, что, де зря отдал — теперь будет сам голодать. Грунт воскликнул в изумлении: «Но вы же сами этого хотели!», и бабы стали расходиться, ничего не говоря.

К декабрю положение с продовольствием в губернии подошла к ситуации, которую даже на совещаниях губернского Совета называли катастрофической. Месячный паёк на одного человека состоял из четырёх фунтов муки (фунт — около 402 граммов). Но и этого не выдавали — не было муки. Во всей губернии царил настоящий голод — не тот, о котором кричат, не получив белых булок к утреннему кофе, а самая настоящая голодуха, когда есть нечего несколько дней кряду, взять еды не откуда и нет уверенности, что она появится в ближайшем будущем. Большевики понимали всё и видели главную свою беду в неэффективном управлении. Они принялись создавать свои структуры, пытались наладить работу, но и в этом у них не было никакого опыта, а главной целью было устроить так, чтобы «не так как при царе». Соображения практичности отступали перед желанием «навести справедливость», и дело ничуть не двигалось. Ситуация всё накалялась, а никакого выхода всё не находилось. В конце декабря 1917 года терпение горожан лопнуло, и в Коломне вспыхнул стихийный бунт голодающих.

* * *

В тот день, 28 декабря 1917 года, в заводском театре машиностроительного завода, когда-то выстроенном на окраине пригородного села Боброва для рабочих владельцами завода, инженерами Струве, собрался уездный съезд Советов. На нём присутствовал весь партийный актив, и вопросы решались нешуточные. Большевики отнимали у представителей других партий остатки возможностей как-то влиять на власть.

Штука-то была вся в том, что крестьянским Советом в уезде продолжали управлять эсеры, да не какие-нибудь там ренегаты-«левые», столкнувшиеся с большевиками, а самые настоящие. «Засевшие в крестьянском Совете» эсеры не признавали легитимность власти большевиков, а потому не спешили исполнять её приказания. Тогда, в декабре 1917-го, вообще никто ни с чем не спешил, поскольку никому не было известно, «куда кривая вывезет», и очень многие полагали, что вся эта большевистская заваруха с советской властью — дело временное, и не просто временное, а кратковременное.

По замыслу большевиков, собравшихся на уездном съезде, править должен был уездный исполнительный комитет Советов, в который входили бы представители существующих в уезде Советов рабочих, солдатских, крестьянских и железнодорожных депутатов, но только тех, что стоят «на платформе крайне левых социалистических течений».

Представительство таковых предполагалось таким: от рабочих — 6 человек, от солдат — 4 человека, от железнодорожников — 2 человека, от крестьян — 6. Этот исполком должен управлять промышленностью, сельскохозяйственной, экономической и политической жизнью в уезде.

467



Групповое фото рабочих-революционеров

Данный орган подразделялся на три секции: рабочую, крестьянскую и солдатскую, а железнодорожники примыкали к рабочей секции.

Общэкономические и политические вопросы решались совокупно всеми тремя секциями, у каждой из которых должен был быть секретарь и председатель, а также и у всего исполкома Советов должен был быть секретарь и председатель. Но это ещё не все председатели! Кроме трёх секций, исполком Совета ещё разделялся на отделы: контрольный, труда, земельный, продовольственный, культурно-просветительский, финансовый, квартирно-домовой, биржи труда и Красной гвардии — и в каждом из них должен был быть свой председатель!

При этом надо было исхитриться так, чтобы во все отделы входили представители от трёх секций. Этот сложно устроенный орган подчинялся конференции Советов, которая должна была собираться не реже одного раза в месяц. Финансировать механизм новой власти намеревались за счёт обычного «рэкета» — в постановлении по этому вопросу было сказано следующее: «Финансовое содержание Советов должно исходить из налогов с фабрикантов, заводчиков, крупных кустарей и т.д. согласно изданным декретам народными комиссарами». Другими словами, Исполком намеревался обеспечивать свою деятельность за счёт насильственного отъёма средств у тех, кого считал своими врагами и планировал в конце концов уничтожить начисто.

* * *

468

ВАЛЕРИЙ ЯРХО

Все собравшиеся в Бобровском театре завода Струве знали, что в городе неспокойно — голодные люди ропщут, ситуация накалена, и надо спешно решать, как её исправлять. Но в тот день «товарищи» делили полномочия и должности, а от народных масс, именем которых они двумя месяцами ранее захватывали власть, их теперь отделяли штыки Красной гвардии. До голодающего ли населения им было в тот день, когда на уездном съезде делились тепленькие места новой власти?! Одних председателей и секретарей в структурах исполкома требовалось назначить более двух десятков, а комиссаров по учреждениям сколько требовалось! Тут, как говорится: «Заповедь одиннадцатая: не зевай!»

Из всех представителей власти непосредственно в городе остался только уездный комиссар Грунт со своими телохранителями. Он был как бы в положении вне игры — комиссару уезда в члены Совета и исполкома избираться было незачем. Около полудня 28 декабря 1917 года городской голова Чистов, принадлежавший к меньшевистской фракции объединённой организации РСДРП, позвонил в комиссариат и сообщил Грунту, что в думу пришла группа уважаемых горожан, которые обратились с просьбой устроить открытое собрание общественности по продовольственному вопросу. Грунт, прихватив двух «товарищей из аппарата комиссариата», пришёл в Городскую думу и застал там несколько сот горожан, часть из них принадлежала к городскому купечеству. Люди были возбуждены и обеспокоены, они окружили комиссара, кричали: «Сволочи! Довели страну до нищеты! Бить вас надо!»

Троица большевиков, сжимая в карманах оружие, ждала нападения «озверелой толпы купцов», но страхи комиссара и его спутников были совершенно напрасны: покричав, люди понемногу успокоились, из тол-

пы вышел какой-то человек (Грунт даже не запомнил, кто именно) и сказал буквально следующее:

— В Коломне нет хлеба, и мы требуем устроить собрание граждан, чтобы обсудить создавшееся положение.

Представители общественности, те самые люди, которые ещё менее года тому назад как-никак, но управляли городом, теперь желали собраться для выработки мер спасения от голода своими силами, если Советы не могли обеспечить элементарное прокормление населения. Грунту, конечно же, и сам разговор был неприятен, и люди эти несимпатичны, а главное — он считал, что собрание разрешать было нельзя ни в коем случае.

По-своему, по-комиссаровски, он был прав: собрание граждан могло лишить Совдеп власти, объявив его недееспособным, избрать собственные органы самоуправления, и тогда советская власть становилась страшным сном, продлившимся несколько недель. За такое товарищи из губернского партийного руководства по головке Яна Яновича не погладили бы, и Грунт упёрся насмерть, заявив, что разрешить собрания не может, не объясняя, почему собственно. Не может, и всё тут!

Толпа опять распалась, зашлась криками, но человек, выступавший от имени собравшихся, призвал всех к спокойствию и заявил, что они добьются разрешения от съезда. Все тут же закричали: «Идём на съезд! На съезд!!» Комиссар едва смог перекричать этот возбуждённый хор:

— Пойдите же, граждане! Куда же вы пойдёте всей толпой? Да красногвардейцы, которые охраняют съезд, вас и близко к театру не подпустят. Изберите двух представителей, и пусть они едут.

Эта мысль пришлась по вкусу, и горожане, наскоро избрав двоих представителей, наняли извозчика, в коляску которого вместе с выбранными усадили и Грунта. Так они и поехали в Боброво. На съезд представителей общественности города впустили, и их даже заслушал президиум



*Митинг рабочих и солдат Красной гвардии на Житной площади
(ныне площадь Двух революций)*

съезда, но разрешение на собрание дано не было, и им пришлось возвращаться восвояси ни с чем. Грунт же остался в театре — у него вдруг сыскались спешные дела на съезде.

Когда выборные вернулись в Коломну и рассказали ждавшим их людям, что им отказали и на съезде, возмущению горожан не было предела. Возможно, что более всего ситуацию подхлестнуло время — последняя неделя декабря на Руси испокон веку была праздничной, рождественской. Когда-то это было самое весёлое время года, а теперь стояли перед Городской думой голодные, униженные люди, оскорблённые высокомерным отказом со стороны какой-то босоты, швали, захватившей власть, но не умеющей ею распорядиться.

Они слишком долго, с самого февраля месяца 1917 года, терпели разного рода утеснения и невзгоды, которые им преподносились как завоевания свободы, и теперь, в декабре, на рождественских святках, когда терпение иссякло, коломенцы восстали! Загремел набатный колокол на звоннице храма Иоанна Богослова, здесь же, на Житной площади, совсем недалеко от Брусенской улицы и Городской думы.

Первой выступила давняя краса и гордость Коломны — городская пожарная команда во главе с брандмейстером: пожарные ударили в колокол, как при большом пожаре, и роскошный обоз команды с грохотом промчался по улицам, выкрикивая призывы собираться. Набежало множество народу, и тут каким-то образом в толпу затесался матрос Буфеев, человек приезжий и случайный. Грунт уверял потом, что Буфеева «насильно поставили во главе шествия, чтобы придать ему демократический вид».

Сначала разъярённая толпа разнесла Совет, но там почти никого не было — все советские работники находились в Боброве на съезде. От Совета пошли к штабу Красной гвардии, у ворот которого стояли двое часовых. Толстиков, один из охранявших штаб, был убит выстрелом, произведённым из-за плеча того самого матроса Г.Я. Буфеева, а второй часовой, выстреливший в ответ, уложил ни в чём не повинного матроса и убежал во двор, где уже выстроились остававшиеся в городе 20 красногвардейцев. Они знали, что сейчас будет, если до них доберутся, и без всяких сомнений открыли огонь по людям, а это страшная штука — ружейный залп по густой толпе с малого расстояния. Судя по сообщениям газет, залпов было два, и, конечно, после них появились убитые и раненые. Сколько? Большевики вообще ничего не писали о погибших, как и не было их. Газеты других партий сообщали о том, что убитые были, но называли разные цифры: число убитых варьировалось от четырёх до двенадцати, а количество раненых указывали расплывчато: «более десяти человек».

Толпа отхлынула от штаба, но не разбежалась, а осадила его. В это время в разных местах города отдельные группы бунтующих обывателей громили лавки и учреждения, ища продукты. На углу Почтовой (Брусенской) улицы одной такой группе мятежников попался товарищ Лазарев, совмещавший множество должностей: он был членом уездного Совета, состоял в правлении союза металлистов, больничной кассы и являлся членом Комитета бочмановского завода. В Коломну его прислали из бобровского театра, где участникам съезда стало известно о том, что в городе «происходят какие-то беспорядки и даже слышна стрельба». Производя эту разведку, Лазарев и попал в руки разъярённой толпы. Не ждавший такого поворота событий, он лишь растерянно улыбался, не зная, что



Михаил Семёнович Лазарев

(главной) улице, но пули прошли мимо, никого не зацепив. Подоспевшим товарищам удалось деблокировать окружённый штаб Красной гвардии, и засевшие в нем красногвардейцы тут же присоединились к ним. Когда силы Совдепа вошли в Почтовую улицу, там нашли труп Лазарева. Подобрав изувеченное тело, они уложили его в сани и отправили в больницу. Туда же доставили трупы Толстикова и Буфеева.

К вечеру ситуация в городе была уже полностью взята под контроль Совдепа. Бунтовщики разбежались по домам, и теперь «товарищам» страсть как хотелось найти и наказать виновных. Комиссар Грунт, твёрдо уверенный в том, что весь бунт «подстроили» купцы, распорядился провести обыски в нескольких домах, где жили купеческие семейства. Отправленным туда красногвардейцам было велено отыскать оружие, из которого были убиты Толстиков и Буфеев, но сколь посланцы ни старались, ничего они не нашли.

* * *

После подавления беспорядков Грунт собрал небольшое совещание в комиссариате, по окончании которого к нему явились двое красноармейцев из отряда Агапова, которые предложили комиссару завизировать список из сорока фамилий — этих людей они решили той же ночью расстрелять в отместку за погибших днём товарищей. В списке фигурировали фамилии местных интеллигентов, среди которых были два врача и уже довольно известный литератор Борис Пильняк, живший тогда в Коломне. Люди, попавшие в этот расстрельный список, явно не имели никакого отношения к трагическим событиям, и Грунт отказался поставить подпись, сказав, что подписывать такие бумаги в одиночку он не может, и как его ни уговаривали, не соглашался. Тогда обозлённые красногвардейцы, сказав, что обойдутся без его разрешения, ушли, оставив список намеченных жертв у комиссара на столе.

ему предпринять. Дальнейшее было страшно: на этом несчастном люди выместили всю свою ненависть к новой власти, забив большевика до смерти.

Один из красногвардейцев сумел выбраться из осаждённого штаба и, прибыв в Боброво, доложил съезду, что в городе восстание. Съезд был прерван, а его участники вместе с красногвардейцами, стоявшими в караулах вокруг театра, и латышами из бобровского отряда отправились в город. Они застали бунт в самом разгаре, и Грунт, приняв на себя командование, приказал рассыпаться по улицам, стрелять над головами бунтующих, разгонять группы людей.

Безоружные коломенцы бежали от красногвардейцев по улицам, спасаясь во дворах и переулках. Выстрелы по наступающим раздались лишь однажды — кто-то стрелял из окна дома на Астраханской

Поразмыслив над ситуацией, Грунт вызвал к себе одного из своих «секретных сотрудников» и велел ему сходить в штаб Красной гвардии, как бы случайно, чтобы поразведать, что там и как. Его агент ушёл, но уже через полчаса вернулся, рассказав, что в штабе у Агапова только и разговора о том, что в два часа ночи пойдут арестовывать людей по какому-то списку, а под утро их расстреляют. Комиссар, взбешённый тем, что его мнение игнорируется самым вызывающим образом, немедленно связался по телефону с латышским отрядом в Боброве, срочно вызвав его в город. Около полуночи комиссар вручил товарищам Якобсону и Румбе список, оставленный ему красногвардейцами, и приказал указанных в нём людей арестовать не позднее половины второго ночи. Приказ его был выполнен, и в половине второго командир бобровского отряда вручил Грунту расписку начальника тюрьмы о приёме сорока арестантов.

Так ловко оставив с носом красногвардейцев агаповского отряда, Грунт радовался недолго. Уже утром 29 декабря арестованные стали допрашивать его, требуя объяснений причин ареста и ответа на вопрос, как долго их собираются держать. Грунт молчал, ничего им не отвечая. Протесты арестованных становились всё более яростными, и особенно выделялся в этом Пильняк, но уездный комиссар словно превратился в египетского сфинкса, хранящего страшную тайну. Секрет его молчания был прост, и много лет спустя он признается, что настоящую причину ему назвать было просто стыдно, а сочинить другой повод для ареста такого количества честных людей он не мог, и потому предпочитал отмалчиваться.

Через две недели он выпустил арестованных в ночь на 29 декабря — вместо них расстреляли других, по списку, составленному уже самим Грунтом. Он лично обещал это сделать в статье, появившейся в те самые дни окаянного января 1918 года на страницах шестого номера журнала

«Большевик», который комиссар и редактировал. В финале своего опуса, посвящённого декабрьскому бунту, Грунт сулил страшные кары врагам: «Трупы наших товарищей, опущенные в могилу, кричат нам о мщении, и мы, по-



Коломна, 2007 год. Площадь Двух революций

слушные этому зову, должны сказать, что за каждую жизнь наших товарищей будут уничтожены 10 врагов трудящихся масс». Комиссар сумел договориться со своими товарищами-недругами и распорядился принести в жертву других, «более подходящих» на роли заговорщиков и подстрекателей, утверждая в своей статье, что ему удалось раскрыть и доказать провокационную работу местных кадетов и черносотенцев.

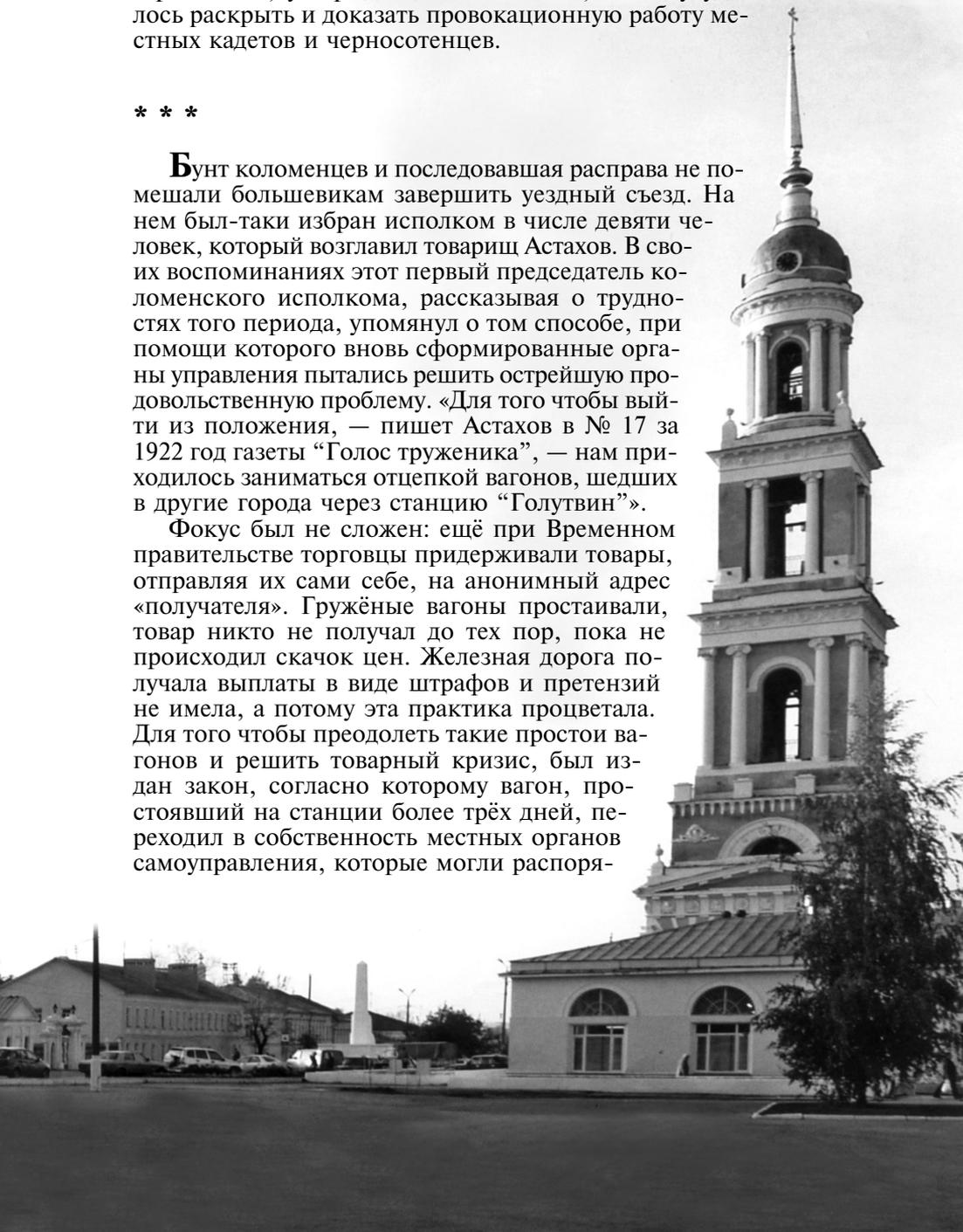
* * *

Бунт коломенцев и последовавшая расправа не мешали большевикам завершить уездный съезд. На нем был-таки избран исполком в числе девяти человек, который возглавил товарищ Астахов. В своих воспоминаниях этот первый председатель коломенского исполкома, рассказывая о трудностях того периода, упомянул о том способе, при помощи которого вновь сформированные органы управления пытались решить острейшую продовольственную проблему. «Для того чтобы выйти из положения, — пишет Астахов в № 17 за 1922 год газеты “Голос труженика”, — нам приходилось заниматься отцепкой вагонов, шедших в другие города через станцию “Голутвин”».

Фокус был не сложен: ещё при Временном правительстве торговцы придерживали товары, отправляя их сами себе, на анонимный адрес «получателя». Грузёные вагоны простаивали, товар никто не получал до тех пор, пока не происходил скачок цен. Железная дорога получала выплаты в виде штрафов и претензий не имела, а потому эта практика процветала. Для того чтобы преодолеть такие простои вагонов и решить товарный кризис, был издан закон, согласно которому вагон, простоявший на станции более трёх дней, переходил в собственность местных органов самоуправления, которые могли распоря-

473

КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ ВЛАСТЬ



жаться им по собственному усмотрению. Во время голода уже никто не ждал скачков цен, но формально закона никто не отменял, а потому Коломенский исполком приспособился отцеплять вагоны с продовольствием от поездов, загонять их в тупик или по железнодорожной ветке на Коломзавод. Выдержав вагончики положенные три дня, они «обнаруживали» их и «на законных основаниях» присваивали продукты. Непосредственно отцепами, угонами и охраной похищавшихся грузов занимались латыши-красногвардейцы, которыми командовали товарищи Румба и Якобсон.

Как водится у воров, после нескольких удачных операций они «нарывались на неприятность». Всё началось с того, что 15 января на станцию прибыли два вагона пшеницы, которые были намечены для очередной «конфискации». Об этих вагонах в комиссариат телефонировал командир отряда Красной гвардии, земляк и тезка комиссара, Ян Якобсон, и дело с изъятием их было решено. Действуя по отработанной с начала января схеме, вскоре на станцию явились представители продовольственного комитета исполкома во главе с товарищем Карасёвой, у которой имелся наряд на вагоны от продовольственной конторы. Их действия товарищ Астахов описывает с милой наивностью: «В нарядах не были указаны номера вагонов, мы решили, что эти вагоны наши, и просто взяли их». Так вот — просто взяли; да не тут-то было! На защиту вагонов встал начальник станции, который объявил Карасёвой, что эта пшеница предназначена для железнодорожной лавки, в которой выдавались пайки рабочим дороги, снабжавшимся отдельно от горожан. Карасёва предъявила ему бумаги исполкома и наряды на вагоны, но начальник станции ответил ей, что у него есть своё начальство, и он «никаким вашим организациям не подчинён». Когда же было пущено в ход «революционное насилие», начальник станции стал кричать: «Рабочие! Товарищи, смотрите, как отбирают ваш хлеб! Бросайте работу!» Всё это было, конечно, неприятно выслушивать, но у Карасёвой за спиной было двадцать тысяч голодных горожан, а где ещё взять хлебца для их прокормления — ни она сама, ни её товарищи не знали. Игнорируя протесты железнодорожников, исполкомовцы выставили у вагонов караулы латышей и убили, считая вагоны реквизированными. Но дело этим не кончилось! Когда отработавшие смену рабочие из окрестных сёл и посёлков вышли с завода на голутвинскую станцию, чтобы ехать домой, начальник станции запретил подавать поезд, объявив, что «какая-то шайка растаскивает хлеб железнодорожников, и пока эту шайку не уберут, он рабочих домой не отправит». Рабочие попёрли на латышей стеной, и уже тем с их винтовками пришлось отступать перед громадной массой озлобленных людей. Вагоны пришлось вернуть хозяевам, начальник станции приказал подать поезд для рабочих, и они разехались. Обо всём этом Ян Якобсон доложил, протелефонировав уездному комиссару Яну Грунту. Тот, выслушав его, приказал начальника станции арестовать, возле вагонов снова выставить караул красногвардейцев Якобсона, а с утра начать разгрузку и вывоз хлеба.

* * *

Оставшийся за начальника станции дежурный по телеграфу сообщил в управление дороги о том, что на станции «Голутвин» захвачен

груз, принадлежавший железной дороге, и из Москвы экстренным поездом в бронированном вагоне выслали отряд из двадцати пяти красногвардейцев-железнодорожников. Прибыв в «Голутвин» на следующее утро, московские красногвардейцы захватили станцию и освободили её начальника. Караулы латышей были сняты, весь их отряд разоружили и заперли в один из станционных пакгаузов. Тех, кто пытался сопротивляться, москвичи били и разоружали силой.

Один из латышских красногвардейцев, пользуясь кутерьмой на станции, сбежал. Явившись в уездный комиссариат, он доложил Грунту, что станцию захватил прибывший на бронепоезде какой-то отряд, который разоружил и арестовал людей Якобсона. Грунт дал знать в исполком, и его председатель товарищ Астахов сам отправился на станцию «Голутвин», чтобы посмотреть, что там делается. Никому ещё толком не известная жизнь — люди ждали поезда на Москву. Приезжие красногвардейцы расселись на лавках в зале ожидания вокзала и закусывали привезёнными с собой харчами. С места их подбросили выстрелы, загремевшие на дальних подступах к станции.

Это исполнялся приказ Грунта, который, едва узнав об аресте земляков в «Голутвине», немедленно позвонил в штаб коломенской Красной гвардии, подняв все имевшиеся в его распоряжении силы «в ружьё». Уже через десять минут сводный красногвардейский отряд выступил походом на голутвинскую станцию, а сам Грунт задержался, устанавливая на один из автомобилей пулемёт. Он выехал следом, с пятью товарищами из комиссариата. Коломенский отряд действовал быстро и решительно: охватив станцию с трёх сторон, повёл стремительное наступление и в коротком бою, убив одного, ранив двоих противников, загнал их в здание вокзала и осадил станцию, взяв её в кольцо. По зданию вокзала была произведена пристрелочная пулемётная очередь, вызвавшая панику среди пассажиров, ждавших поезд. Астахов выскочил из вокзала и, крича, чтобы не стреляли, побежал к автомобилю с пулемётом. К счастью, Грунт узнал соратника и не приказал открыть огонь. Председатель исполкома растолковал осадившим станцию, что люди, арестовавшие латышей, — это московские красногвардейцы; если их перестрелять, то сами они все встанут к стенке. При посредничестве Астахова начались переговоры, в результате которых виноватей всех оказался... начальник станции! Именно его обвинили в том, что он устроил неразбериху, приведшую к перестрелке между «своими». Теперь хлеб у железнодорожников отняли окончательно, а в качестве «компенсации» московскому отряду отдали на расправу начальника станции, которого они увезли в своем бронированном вагоне, и что стало с этим несчастным — неизвестно.

* * *

Свою деятельность исполком продолжил тем, что тогда же, в январе 1918-го, руками красногвардейцев разогнал думу — выборный орган городского самоуправления, присвоив её полномочия. Вместе с полномочиями они унаследовали и проблемы, стоявшие перед думой: её касса была пуста, служащим всех городских учреждений к тому времени три месяца не платили жалованья. Директор коломенского банка ещё в октябре 1917-го, смекнув, что к чему, скрылся, прихватив наличность и

ценности, оставив в сейфах лишь облигации «займа Свободы», превратившиеся в простые бумажки с картинками.

Для преодоления финансового кризиса применили меры всё из того же арсенала «революционных методов»: исполком решил обложить население «контрибуцией». Размеры выплат определялись следующим образом: рабочие платили по 5 рублей «с носа», а остальные — по видимому достатку. Чем богаче внешне жил человек, тем больше на него возлагалась «контрибуция». Невнесение денег в указанный срок грозило большими неприятностями, а в том, что «товарищи» решатся на крайние меры, никто уже не сомневался — слишком много было примеров явлено в одном только январе нового года. Сбор дани принёс в кассу исполкома уездного Совета несколько миллионов рублей. На эти деньги закупили мануфактуру и снарядили экспедицию представителей исполкома с отрядом Красной гвардии — закупать хлеб, вернее, менять его на ткани.

На какое-то время они «вывернулись», но тут же возникла новая проблема. Открытая грабировка купечества привела к тому, что «торговать не стало резону», и многие начали сворачивать дела, закрывая лавки и магазины, чтобы не попасть под следующую «контрибуцию». В то время такие действия назывались саботажем, пресекать который должна была только что созданная Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем — печально известная ВЧК.

Но даже столь грозный карающий орган не мог предотвратить массовую самоликвидацию торговых предприятий: распродал товары, купцы просто не закупают новых, и лавка, хоть и оставалась формально открытой, но купить там было нечего, и через некоторое время она закрывалась. Видя, что торговля сворачивается, население кинулось скупать всё подряд, возникла товарная паника, следствием которой явился расцвет спекуляции. Коломенский Совдеп обвинил купцов в том, что, сворачивая торговлю, они «стремятся увернуться от выплат контрибуций», и провернул ещё одну операцию. Как всегда, затевали дельце, исходя из самых лучших побуждений, но так как логика нормальных людей «товарищам» недоступна, они опять поступили «очень по-своему», решив спасти ситуацию «муниципализацией торговли».

Нечто подобное они хотели повернуть ещё в январе, но тогда в дело вмешался Моссовет, запретивший захват торговли. Теперь был найден удобный предлог — саботаж торговцев, и «товарищи» приступили к осуществлению давно задуманных планов.

При живейшем участии Красной гвардии была проведена очередная серия «энергичных и тщательных» обысков в магазинах, складах и домах купцов, после чего эти лавки и склады были объявлены реквизируемыми. То, что в них было обнаружено, велено было переписать и возобновить торговлю по установленным Совдепом ценам. Вот тут-то и началось! «Муниципализация» купеческую собственность, новые владельцы вдруг обнаружили, что торговля — это целая система, в которой «товарищи» были, что называется, ни уха, ни рыла.

Были лавки, был товар, при них оставлены служащие, но ни у какого Карла Маркса не было объяснено, что со всем этим делать. Кто должен в конфискованной лавке руководить, перед кем отчитываться и каким образом должен осуществляться контроль? А главное: откуда брать товар и как им торговать, если установленные цены продажи ниже тех цен, по которым товар для лавки закупается?!

Губернские «Известия» по этому поводу писали: «Сейчас наблюдается некоторая растерянность в поведении коломенского Совета, и многое остаётся неналаженным. Не выработаны формы ответственности служащих, не создан закупочный орган, нет детальных планов и системы, отсутствуют средства и опытные руководители. Главное же, нет счетоводства». Так в Коломне народился известнейший уродец — многократно проклятая советская торговля.

* * *

В результате столь премудрого руководства ситуация сложилась ужасающая, и чтобы пережить страшную голодуху, многие отправлялись «мешочничать» — ездили за хлебом на Украину, большей частью в Котоп. Это было дьявольски рискованное занятие. Мало того, что тогда вообще было опасно значительно отдаляться от дома, пересекая пространства, охваченные кровавой смутой. «Мешочничество» приравнялось к преступлению против новой власти, считавшей, что самовольное обеспечение продуктами порождает спекуляцию, а перемещение огромных масс людей по железным дорогам разрушает транспорт. Особыми декретами советской власти запрещено было перевозить муку и крупу из одной губернии в другую, и те, кого ловили особые заградительные отряды, не могли избежать конфискации продуктов и наказания. Но советские газеты не без досады сообщали, что окаянные мешочники придумали, как обойти запрет: закупалась не мука, а печёный хлеб, который резался на куски, а до запрета возить при себе хлеб кусками не думались даже большевики.

Люди сидели на полных мешках всю дорогу, опасаясь того, как бы ценнейший груз не спёрли, отчего подсыхавшие хлебные куски за время странствий раздавливались в труху. Эту привезённую хлебную крошку, перемешанную с волокнами мешковины, запаривали кипятком, и получалась «тюря» — вроде жидкой кашицы; ею выкармливали детей и сами питались несколько недель.

Если менять на хлеб было нечего, пекли лепёшки из всего, что можно было растолочь и замесить. Ещё выручала картошка — вокруг города испокон веку было много огородов. В реках ловили рыбу, а как только потеплело, все разбрелись по окрестным лесам, собирая щавель, потом грибы и вообще всё, что можно употребить в пищу. Но всё равно «голодный тиф» косил людей пачками.

Немногим больше повезло тем, кто работал на Коломзаводе. Там сумели наладить то, что потом назовут «бартером»: по заказу Совета народного хозяйства Коломзавод делал паровозы и вагоны, а в качестве оплаты ему разрешалось один раз использовать эти поезда в своих целях. На них отряды красногвардейцев и завкомовцев ездили в «хлебные губернии», откуда привозили продукты, раздававшиеся на заводе. Для рабочих открыли столовую. Но эти благости коснулись лишь рабочих завода, которых было менее семи тысяч, а в одном только Боброве вокруг завода проживало более девятнадцати тысяч человек, питавшихся чем Бог пошлёт.

Горожанам приходилось и того хуже. По воспоминаниям стариков, на улицах Коломны валялись умирающие — специальная повозка подбирала их и свозила в земскую больницу, где они «доходили», после чего

трупы отправляли за город и сваливали в ров общей могилы, вырытый где-то в районе нынешней улицы Дзержинского, где тогда было чистое поле, а вокруг не было никакого жилья.

Страшно мучило отсутствие соли: этот казавшийся обыденным продукт стал дефицитом, от которого напрямую зависели жизнь и смерть — без соли гнили десны, по телу шли язвы, люди болели и умирали. Соль привозили нерегулярно, и ценилась она на вес золота — ею можно было разжиться у крючников, разгружавших на пристанях баржи и подворовывавших всё, что можно. Они её продавали тайком, только по рекомендации «своих людей». За спичечный коробок соляцы покупатели давали хороший «купеческий» золотой перстень или серёжки с «кашечками».

Тому, у кого золотишка не было, спасением являлся рассол — остаток в бочках из-под огурцов, а особенно от селёдки. Его разливали по бутылочкам и продавали дешевле, чем соль. Эту густо-солёную жидкость употребляли не в пищу — ею лишь смазывали изъязвлённые дёсны. Селёдка стала желаннейшей частью пайка: она была питательна и солоната, что было очень ценно тогда. Ценились дешёвенькие леденцы — с несколькими ландринками (крошечными кругленькими конфетками без обёртки) можно было выпить чайник кипятку, после того как «посолонишься» пайковой селёдочкой...

* * *

478

ВАЛЕРИЙ ЯРХО

В довершение всех бед «товарищи», едва получив власть в свои руки, основательно пересобачились между собой. Как уже говорилось выше, уездный комиссар Грунт не ладил с командиром отряда Красной гвардии Агаповым, который никак не реагировал на грабежи и злоупотребления, творимые его подчинёнными. Да и сам он не стеснялся, считая нормой такое отношение к купцам, буржуям и обывателям, которых, по мнению Агапова, его революционный долг призывал «постоянно содержать в подобающем страхе».

С подачи Грунта в Совдепе был поставлен вопрос об удалении Агапова из штаба Красной гвардии и из партии, но это предложение было отклонено, а отряд Красной гвардии объявил себя «самостоятельной единицей», не подчиняющейся ни Совдепу, ни партийной организации — Агапов даже запретил вход в занимаемое штабом отряда здание всем членам Совета.

Коломенские газеты, которые редактировал неутомимый Грунт, называли Агапова человеком «непроходимой глупости» и хулиганом. «Крича о диктатуре пролетариата, — писал комиссар в обличительном материале, — небольшая кучка красногвардейцев во главе с Агаповым, при молчаливом согласии остальных, честных и хороших товарищей, производила диктатуру над самим пролетариатом. Своим хулиганством они наносят нам удар за ударом». Грунт выражал уверенность, что необходимо «выбросить из наших организаций лиц с хулиганскими наклонностями и примазавшихся к нам из личной выгоды». Но оказалось, что у его недругов гораздо больше сторонников, чем могло показаться.

Противники Яна Яновича сплотились вокруг уездного военного комиссара Мочалина. В старое время большевистский военком служил официантом и состоял в партии эсеров, перейдя в большевики перед

самым переворотом. Профессиональный революционер и исконный большевик, комиссар Ян Грунт считал себя много выше Мочалина по положению, но тот совершенно не считался с его авторитетом и часто ставил комиссара в неловкое положение, стремясь сделать всё по-своему.

Неприятные отношения пришли в открытую вражду после того, как Грунт предпринял тайную атаку на Мочалина. Через начальника тюрьмы ему передали записку от одного из уголовных арестантов, в которой сообщалось, что военком «при старом режиме» был агентом Московского охранного отделения.

Ян Янович направил в Московскую окружную партийную организацию запрос на предмет установления по документам охранного отделения, был ли Мочалин агентом. Ему ответили, что в просмотренных списках агентуры фамилии Мочалина нет, и Грунт не стал копать дальше. Но кто-то дал знать Мочалину о тайном расследовании, предпринятом уездным комиссаром. Тогда обвинение в сотрудничестве с охранкой было смертельно опасно — разоблаченных агентов царской полиции безжалостно расстреливали.

Узнав о том, какое дело ему «шъёт» Грунт, Мочалин озлобился и в свою очередь принялся интриговать против него, и не без успеха. Он сумел сплотить вокруг себя командиров Красной гвардии, а также местных работников Совета, и большевистская организация фактически раскололась на две, причём Грунт, номинально главный в уезде, оказался в меньшинстве, опираясь лишь на сотрудников комиссариата и штыки отряда земляков-латышей.

В своих воспоминаниях Грунт всю вину за безобразия, творившиеся в Коломне, сваливал на группу Мочалина—Агапова, дескать, эти люди окончательно разнуздались и проявляли свою власть над обывателями всеми возможными способами, применяя насилие без всякой необходимости. «Действовали они на свой страх и риск, не подчиняясь ни партийной, ни советской организации», — пишет в своих воспоминаниях Грунт. Но его собственные действия, судя по истории с вагонами, отнятыми у железнодорожников в «Голутвине», не сильно отличались от того, каким образом правили дела в Коломне люди Мочалина и Агапова. Если отбросить мишуру партийной фразеологии, коей напичканы мемуары участников событий, то проще сказать можно так: реальная власть в городе находилась в руках двух конкурирующих между собой партийных группировок, располагавших вооружёнными отрядами.

К лету 1918-го конфликт достиг степеней крайних. Обыватели роптали, а по городу носились слухи, что комиссара вот-вот прикончат свои же. В своей книге Ян Янович не без горечи пишет: «Группа товарищей, во главе с военкомом Мочалиным, Агаповым и другими, начала поход против руководителей коломенской организации. Атмосфера создалась невыносимая для работы, и окружной комитет решил перебросить меня в Москву, назначив секретарем Моссовета».

Но и в ста верстах от Коломны он не считал себя в безопасности — иначе никак не объяснить его дальнейшие действия: не подчинившись приказу партии (как пишет Грунт, «единственный раз в жизни»), Ян Янович отказался от секретарства в Моссовете. Самовольно и в одиночку он отправился в Казань, в штаб 5-й армии, где его назначили председателем ревтрибунала, а с сентября 1918-го он начал редактировать газету политотдела армии.

Соперник Яна Грунта, товарищ Мочалин, в следующие годы «пошёл в гору»: занял должности председателя исполкома Коломенского уезда и стал председателем центрального рабочего кооператива. Потом его «перебросили» в Рязанскую губернию, где губком партии направил Мочалина на работу в губернский совет народного хозяйства — там его и застало начало эры новой экономической политики партии.

В 1923 году бывший официант-шестёрка, преобразившийся в ответственного работника рязанского Совнархоза, был назначен начальником его представительства в Москве. Заместителем у Мочалина стал товарищ Свиридов — молодой человек, почти окончивший математический факультет университета. Он стал было учителем, да во время голодухи предпочёл переменить род деятельности: перешёл в службу снабжения Красной армии и даже вступил в партию.

У молодого математика открылся недоюжинный коммерческий талант, и по окончании войны, с введением нэпа, он «пошёл по торговой части». Мочалин легко нашёл общий язык с недоучившимся математиком, и вместе они наделали множество дел, весьма характерных для того времени.

Организация, в которой Мочалин стал начальником, по идее, должна была в Москве продавать товары, произведённые предприятиями Рязанской губернии, и закупать для них сырьё. Но на деле вся верхушка представительства занималась куда более увлекательными и прибыльными делишками, создав настоящую вексельную «пирамиду». Имея бланки и печать представительства, учреждения казённого, они писали в различные государственные органы отношения, требуя получения лимитированных товаров и сырья якобы для нужд рязанской государственной торговли и промышленности, а в качестве оплаты выписывали векселя от имени представительства.

Но, получив товары или сырьё, по конторским книгам представительства их не проводили, а перепродавали в руки частных, которым эти товары и сырьё официально не продавались. Цена, естественно, завышалась, деньги шли в карманы представителей и их сообщников, а когда подходил срок оплаты по векселю, они писали новое прошение на товары, которые оплачивались очередным векселем, а деньги, полученные по этой сделке от частных, шли на покрытие задолженности по предыдущим сделкам. Векселя и отношения, накладные с «летучими номерами» и прочие документы, касавшиеся их частного бизнеса под государственной вывеской, они помечали буквой «Т» — то есть «торговые».

Вскоре оборот их частных сделок в два с половиной раза превысил официальный оборот представительства. Следует заметить, что и без этой нелегальной коммерции они могли бы жить много лучше подавляющего большинства советских граждан-трудящихся: им полагался процент с официальных сделок. Тот же Мочалин только по контрактам с одной из фабрик за месяц получил 112 червонцев — по тем временам эта сумма равнялась месячному жалованью десяти ответственных работников! (Обеспеченный золотом «червонец» тогда к обычному советскому рублю при расчётах относился 1:3300.) Но им было мало — бывший студент и кабацкий «халдей» при новой власти «ухватили судьбу за вихор», что называется, дорвались.

Они же ещё были молодые ребята — Мочалину на тот момент, когда он возглавил представительство в Москве, едва перевалило за тридцать лет, Свиридову было и того меньше, а тут столько соблазнов: английские костюмы, рысаки лихачей и таксомоторы, роскошная мебель в огромной квартире, кутежи в лучших московских ресторациях, красивые женщины, бега, варьете, игорные дома...

Не случись с Россией советская власть, они бы и мечтать не могли «попользоваться» всем этим, а тут, пожалуйста, — всё к услугам ответственного партийца и его компаньонов. У Мочалина завёлся роман с довольно известной актрисой Ратмировой, но не брезговал он и платными девицами. Чередой пошли гулянки в кабинетах ресторанов «Эрмитаж», «Риш», «Бар», «У Мартьяныча»; и чем больше у Мочалина было денег, тем острее он в них нуждался — расходы постоянно увеличивались.

Для покрытия «вексельной дыры» Свиридов предложил организовать «свое дело»: в доле с двумя московскими метрдоателями он взял в аренду ресторан «Ампира» и вложил в это дело 1800(!) червонцев своих личных денег. Доходами, которые предполагалось получать с «Ампира», они рассчитывали покрыть вексельный дефицит. К тому времени все дела представительства уже так сильно запутались, что уследить за всем они не могли, и в один прекрасный день в Рязани местный Совнархоз получил из Москвы пачку векселей, выписанных за несколько предшествующих месяцев на сумму в 10 тысяч червонцев.

В губернском Совнархозе удивились, но не особенно — деньги-то, чай, казённые, не свои, — но всё же решили, что представительство вводит губернию в слишком большие расходы, а потому постановлено было его ликвидировать. Вот как раз, имея в виду ликвидацию дел представительства, в Москву из Рязани направили ревизию для приёмки дел. А та ревизия открыла такие «дела», что большая часть «представителей» загремела под следствие.

Судили их в январе 1924 года. В рассмотрении дела пришлось сделать небольшой перерыв, когда умер Ленин. Но уже через неделю слушания возобновились, и шаг за шагом перед судом прошли все деяния подсудимых, среди которых было немало людей заслуженных, и даже один герой Гражданской войны, награждённый орденом Красного Знамени.

Главное внимание было уделено двум фигурам: Мочалину и Свиридову; причём первый, упирая на свою безупречную репутацию коммуниста, уверял, что Свиридов его «опутал», а сам он по малограмотности не понимал, что происходит, и думал, что «так и надо». Ещё говорил, что он запутался в том, что можно, а что нет, ибо в таких условиях совершенно непонятно, кто они со Свиридовым: госслужащие или коммерсанты?

«С одной стороны, — говорил Мочалин на суде, — я, как представитель партии, являюсь государственным... Но с другой-то стороны — получаю проценты, и выходило, что я коммивояжёр, контрагент!» Эти рассуждения суд во внимание не принял. И более того: именно эти высказывания навели на мысль, что Мочалин только прикидывается дурачком, ничего не понимающим в делах, а на самом деле он и был главным расхитителем. Как охарактеризовал его государственный обвинитель в своей речи: «Он только прикидывается дурачком, которого опутали. Да, у Мочалина нет такого тонкого интеллекта, как у Свиридова, но зато есть богатый жизненный опыт, здоровая сметка и врождённая деловая хватка».

Инкриминировали им следующее: «Используя кредитоспособность государственного учреждения, бланки и печать Рязанского губсовнархоза, обвиняемые получали от государственных органов те товары, которые не продавались частникам, и реализовывали их, продавая частным дельцам в виде получения личной корысти». Учитывая особо крупные размеры этих операций, Свиридов и Мочалин были приговорены к расстрелу с конфискацией имущества, а остальные их соучастники получили разные сроки. Неизвестно, что стало со Свиридовым, но Мочалин «выскочил из-под вышки» и отделался небольшим тюремным сроком. В вышедших в начале 30-х годов мемуарах Яна Грунта не без удовольствия отмечалось, что суд разобрался с негодеем, но тот остался в живых и, отсидев свой срок, прозябал где-то в глубинке Рязанской области.

Сам же Ян Янович Грунт «подсел» в конце тридцатых, по делу руководства Хабаровского крайкома — он долго редактировал газету «Тихоокеанская звезда», а стало быть, по логике тех лет «был причастен» к деятельности крайкома, в котором «окопались враги». Грунта притянули к делу за то, что он, не проявив должной бдительности, которая должна быть у опытного бойца идеологического фронта, на страницах вверенной ему газеты отражал позицию членов крайкома, признанных «врагами народа». Эта беда с Яном Яновичем приключилась во время «ежовского набора», но ему опять-таки сказочно повезло — его не расстреляли и даже не загнали далеко — сидел он где-то под Куйбышевом, а вышел ещё до войны, во время «бериевской оттепели». В 1940 году его назначили на руководящую должность, но вскоре, получив персональную пенсию, он удалился на покой. Умер Я.Я. Грунт в 1950 году.

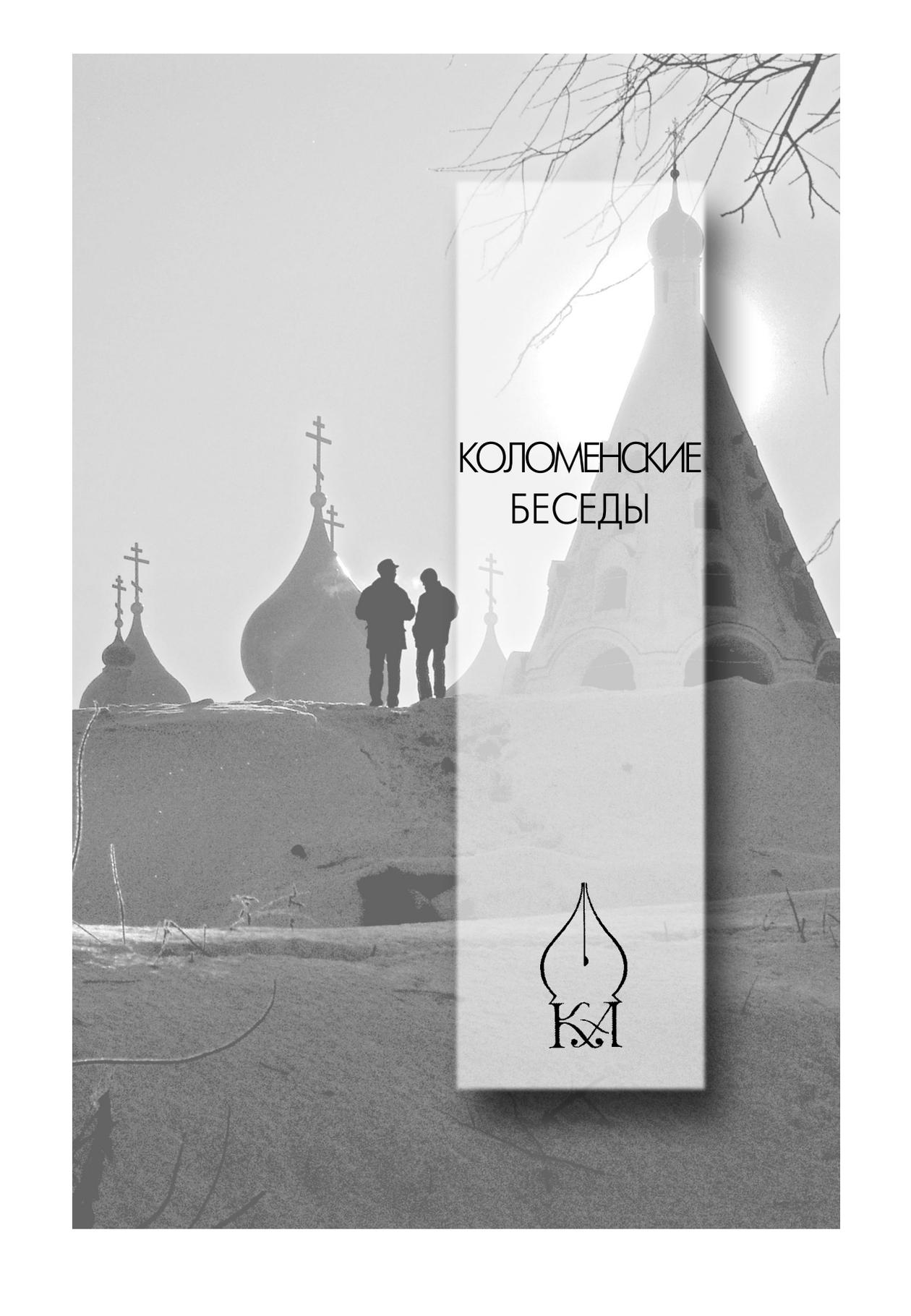
ХРОНИКА

Я ЗАВЕЩАЮ ТЕБЕ...

Редколлегия «Коломенского альманаха» получила в дар от писательницы Ирины Ракши кассету с фильмом «Я завещаю тебе».

Фильм рассказывает о судьбе и творчестве русского художника Юрия Ракши (1937–1980). Духовным вдохновителем фильма, как и трёх предыдущих, стала вдова художника. Лейтмотивом нынешней картины является тема любви — любви к родине, женщине, семье и, конечно, к жизни. Ведь свою главное творение — «Поле Куликово» Юрий Ракша дописывал будучи глубоко больным, делая последние мазки практически на смертном одре. В день его смерти картину с ещё не просохшими красками перевезли в Третьяковскую галерею. Триптих навсегда занял своё место в экспозиции галереи.

Фильм снят на студии «Параджанов фильм» при участии Федерального агентства по культуре и кинематографии. Режиссёр картины — Борис Шейнин.



КОЛОМЕНСКИЕ
БЕСЕДЫ



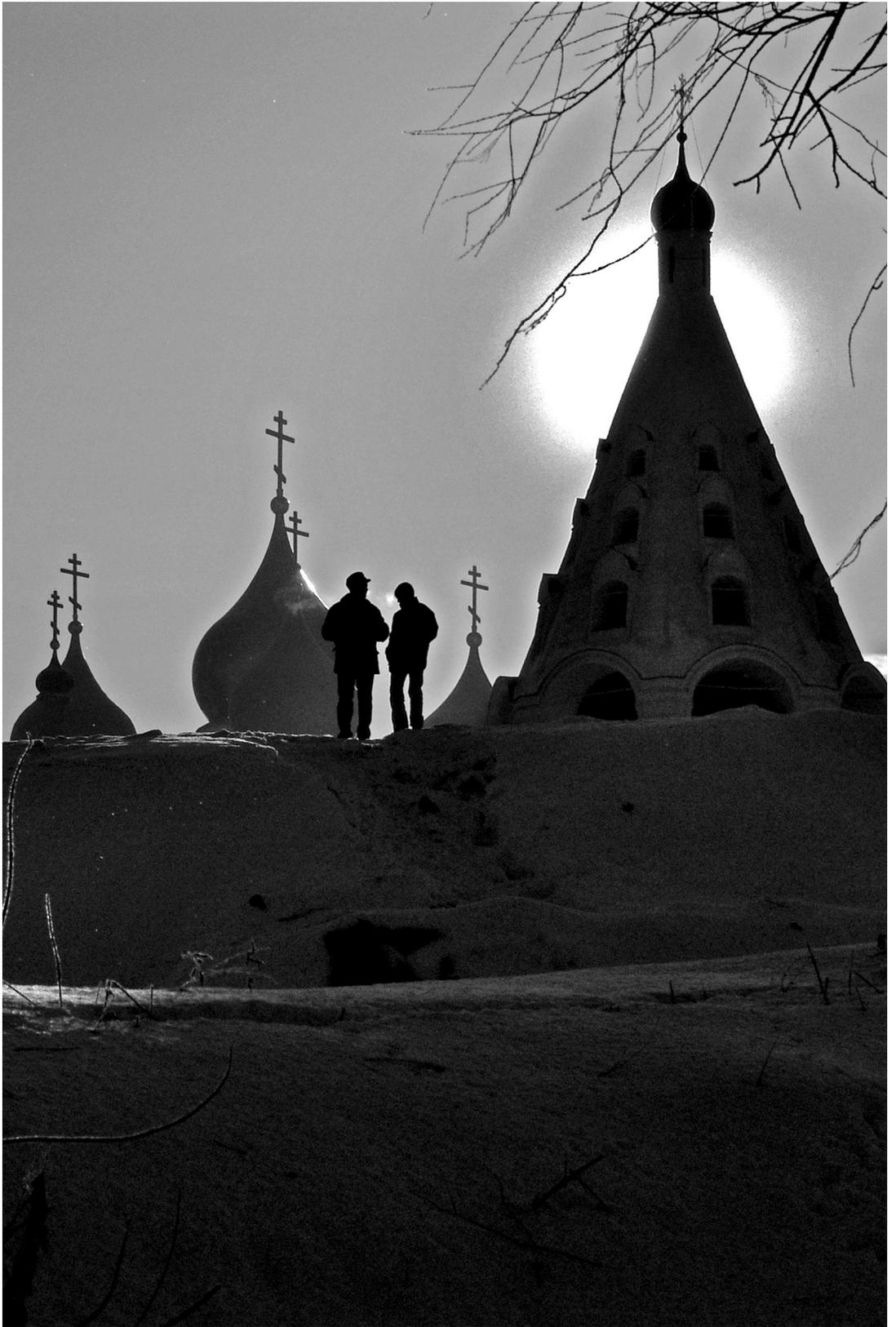


Фото Павла Зеленецкого

Михаил Абакумов: ХУДОЖНИК ДОЛЖЕН ОТРАЖАТЬ КРАСОТУ...

Вряд ли нужно объяснять, кто такой Михаил Абакумов. Народный художник России. Наш земляк. И хотя родился он в Коломне, не устаёт повторять: «Я художник не коломенский». В том смысле, что величина не местечковая. И это не гордыня, а просто констатация существующего положения, status quo. Потому что Михаил Георгиевич, как всякая крупная личность, знает себе цену и опять же как личность самодостаточная, не кокетничает по этому поводу, а называет вещи своими именами. При этом никогда не упреждает оценку окружающих, не выдумывает себе заслуг. Помню транспарант на Центральном доме художника на Крымском Валу: «Живой классик Михаил Абакумов» и растерянность, с которой он впервые прочитал эти слова.

Абакумов натура сложная. Общаться с ним не всегда легко. Эмоциональный, импульсивный, он нередко бывает категоричен и прямолинеен и любит, вот как в этом интервью, сказать что-нибудь парадоксальное — только для того, чтобы понаблюдать за реакцией собеседника.

Но в душе он тонкий лирик. Его пейзажи, даже самые простенькие по сюжету: какое-нибудь кочковатое поле, присыпанное ноябрьским снежком, пересечённое дорогой с глубокими промёрзшими колеями, да низкое небо с обрывками хмурых, лохматых туч — непостижимым образом заставляют ощутить в себе щемящее чувство любви к России.

Впрочем, художник не склонен рассуждать об этом. Он ироничен, не терпит патетики и справедливо считает, что все его мысли и чувства — в его работах. Поэтому ответы на вопросы о высоких материях в нашем интервью надо читать между строк.

Мы рассуждали о становлении художника. Но самая сокровенная тайна — в чем суть его таланта? — так и осталась тайной.

Приходи ко мне в Дом пионеров

— Михаил Георгиевич, часто судьбу человека определяют события и обстоятельства, казалось бы, совсем незначительные, но тем не менее



Муки творчества. 1991 год. Фото Юрия Колесникова

оставляющие след в душе. Что из детских художественных впечатлений вспоминается?

— Рисовать начал рано, с четырёх лет, — книжки разрисовывал. Бабушка по материнской линии водила меня в кино. Помню, фильм «Овод» меня так поразил, что я начал рисовать сам. А ещё раньше мне поленья давали, чтобы я не мешал взрослым, тихо себя вёл, и я сидел, играл — инсталляции делал. Я был впечатлительным ребёнком. Потом, когда стал постарше, начал лепить из пластилина — и русская, и монгольская армия солдатиков была, и я целыми днями мог с ними играть. И так лет до двенадцати.

А ещё из детских впечатлений — «Неизвестная» Крамского на стене у нас дома, я всегда на неё смотрел. Туда, в эту улицу, войти хотелось, увидеть экипаж, лошадей... И ещё немецкие литографии — костёл какой-то и прочие пейзажи, мне нравилось путешествовать по ним, они такие загадочные были, помню, огонёк в одном замке горел...

Дом родительский для ребёнка — это... начало всех путей. Его обычаи, уклад формируют личность, будят воображение, воспитывают чувства. Пахло у нас всегда чисто вымытым полом, пирогами. На улице мороз, заря встаёт, а на столе пироги, хочешь — с мясом, хочешь — с капустой, с рисом. А в гусятнице томится индейка. Вина у нас пили мало,

пьяным отца я никогда не видал, песни пели за столом, и под стол никто не падал. В гости ходили на Репинский переулок. Зимой меня на санках везут, а снег мелкий мне на лицо падает, эти детские метели часто вспоминаю. За окном метёт, и фонарь качается. В Новый год засыпаешь с предвкушением чудес, а утром проснёшься — под ёлкой подарки. Интересно было... На Репинском овраге на лыжах, на коньках с ребятами катались.

Теперь этого дома нет, стоит новое строение, написано: «Сдаётся в аренду».

— *Твоим первым учителем рисования был Николай Иванович Бодрягин. Ты постоянно упоминаешь его имя с благодарностью. А всё-таки, что он вам дал?*

— Николай Иванович был гражданин и научил нас патриотизму. Это главное. А ближайшая его задача была — чтобы ребята не болтались, а рисовали.

Он вёл у нас в двадцать шестой школе рисование. Как-то на уроке у меня хорошо получился пейзаж карандашом, и он сказал: «Приходи ко мне в Дом пионеров».

— *Его уроки были какие-то необыкновенные?*

— Они были обычные. Вспоминаю, идёт Николай Иванович по школе, несёт старую, пыльную ворону под мышкой, а в руке чемодан, в котором он держал натюрмортный фонд. Куб поставит — рисуй. Шар, куб, цилиндр — всё надо уметь рисовать. Над постановками этими я никогда не скучал. Школа есть школа. И я в двенадцать лет это понимал.

Но самое главное, на мой взгляд, у него было — работа над этюдом на пленэре. Ребята это больше любили — рисовать на природе, костёр разжигали, садились вокруг, разговаривали...

У него было полное взаимопонимание с учениками. Душа в душу жили. Я сейчас такого не вижу. По пединституту сужу, я там преподавал.

Он учил, чтобы работа была цельная, гармоничная. У него не хватало рисовальной школы, но он искусство чувствовал, это природное. Он любил его больше, чем... чем своих детей.

— *Славны ваши походы с ним...*

— Помню свой первый поход в Северское на шлюзы. До Хорошова доехали, а там пешком. Надо же, куда нас Никаньч увел! Травища в лугах была по пояс. А я маленький. Помню, все рисовали красками, а у меня не было, я рисовал карандашом в альбоме. С первого похода у меня дело пошло.

— *И никогда не было сомнений насчёт того, куда поступать, какую жизненную дорогу выбрать?*

— Никогда. В Училище имени 1905 года не было общежития, пришлось в калининское поступать. В первый год не вышло, за диктант двойку получил. Во второй год всё сложилось прекрасно, прошёл на прикладное отделение. Началась другая жизнь, целых четыре года. Я всегда любил учиться. У меня все учителя остались в памяти.

Выпускной дипломной работой был гобелен «Сталевары», большой, 120 см на 120. Декоративная композиция такая. Сохранилась газета «Советская культура» за 1968 год, на первой странице был напечатан репортаж об училище и моя фотография: я рисую картон для гобелена. Целиком не ус-

певал его выполнять, весь сделал в эскизе, а в материале только фрагмент. На экзамене особо отметили «творческую целенаправленность работы».

После училища поступал в технологический институт на прикладной факультет — не взяли, потому что не отработал два положенных года. В армию пошёл. Два года служил в Коломенском артиллерийском училище.

— *Писал лозунги на тему «народ и армия едины»?*

— Ну... У России два друга — армия и флот. Это слова Александра III, и я полностью с ними согласен. В училище делал росписи настенные, чеканки, диорамы, что только ни делал: кафедру стрельбы оформлял, даже писал повязки для дежурных. Словом, участвовал в учебном процессе. В фойе клуба долго была моя настенная роспись, потом её замазали. Вспоминаю сейчас: такая благодать армия, до сих пор с бывшими преподавателями встречаемся.

— *А как же дедовщина?*

— Нормально всё было. Дедовщина — мать порядка, я считаю. И меня учили, и я учил. А что делать-то?

— *Художественным занятиям «участие в учебном процессе» не мешало?*

— Не мешало. Писал этюды, бывало, что и с крыши... В самоволку ходил почти каждый день, пейзажи писать. Увлекался тогда суровым стилем. Это в живописи была такая мода — писать суровую правду: закопчённых рабочих, колхозников, индустриальные пейзажи. Жалко, съжёт эти работы. А мой товарищ по училищу поступил во ВГИК. Я пришёл его навестить в институт и увидел в коридоре учебные постановки. Мне они до того понравились, что и я стал туда поступать в 1971 году. А что, кино я всегда любил, в армии-то каждый день смотрел в клубе. И сразу поступил. Принимали экзамены Михаил Александрович Богданов и Мясников Геннадий Алексеевич, оscarовские лауреаты за «Войну и мир», народный художник России Борис Михайлович Неменский и Виталий Александрович Токарев, он вёл у нас рисунок.

Конкурс большой, но мне наплевать было на конкурс. Понравились им мои работы. Сдал живопись, и мне сказали: «Выбирай себе для экзамена натурщика любого, какого хочешь». Во как! Это значит, не хотели меня потерять, подстраховывались, чтобы я не провалил, сдал рисунок как следует. Я выбрал старика. Хорошо нарисовал. А всего было семь экзаменов!

— *И выпускные — как семечки?*

— Единственный трудный был для меня — иностранный язык. Но ничего, на четвёрочку сдал, разговариваю. Тройка была по марксистско-ленинской философии. А вообще у нас очень хорошее образование.

В кино работать я не стал

— *Есть знаменитости в вашем выпуске?*

— Не все из наших остались в кино. Галя Шакицкая — известный мультипликатор, помнишь «Ночь на Лысой горе»? Валера Иванов — художник-постановщик, у него много фильмов... Алим Матвейчук, он всё про войну художественные фильмы ставит. Прекрасные живописцы из

нашей группы Акилов Александр и Игорь Тихонов. Эти двое к кино не имеют отношения. В станковую живопись, в графику многие ушли.

— **Семидесятые годы, ВГИК. Как вспоминается это время?**

— Бабочкина хорошо помню, Герасимова Сергея Аполлинарьевича. Очень хорошие педагоги. Бондарчука помню, как он занимался со своими бондарчучками. Анджей Вайда приезжал на встречу со студентами. Сигару курил на сцене.

Самое главное для нас была учёба. Учиться мы любили. Работали, как папа Карло. По ночам вели длинные разговоры, сидели до пяти утра, пили чай, водку — что было. Сценарии обсуждали. Однажды Слава Панфилов из Нижнего привёз рюкзак окуней, уху варили на всю общагу... Подрабатывали, конечно, — картинки продавали.

— **На худфаке студенты с первого курса выполняли работы, связанные с кино?**

— Первый курс — это эскизы на тему. Конкретные работы нам давали с четвертого курса. Я работал над эскизами к очень хорошей литературе: «Уснувший мальчик» Паустовского, «Седьмой спутник» Лавренёва, «Страшная месть» Гоголя, «Легенда о Тиле» Шарля де Костера, «451 градус по Фаренгейту» Рэя Бредбери... На пятом курсе делал эскизы по книге о Дмитрии Донском из серии «Жизнь замечательных людей». Среду надо было создать, Москву строящуюся. Дипломную работу хотел делать по «Задонщине», да отговорили.

За «Иванов катер» получил диплом академии — экспликация и эскизы к фильму. Экспликация — это содержание фильма в картинках.

Борис Дмитриевич Дуленков, был у меня такой учитель, он с Лиозновой все серии «Семнадцати мгновений весны» делал, когда мы расставались, сказал: «Всё-таки тебя влечет живопись».

Так и случилось, в кино работать я не стал. Ни одного фильма по моим эскизам не снято, слава тебе, Господи, только картинки делал.

— **Почему «слава тебе, Господи»?**

— Не люблю коллективного творчества. У меня своих идей больше, чем у режиссёра. Если бы я работал в кино, я бы брал плохую литературу, потому что у меня фантазии больше, чем у плохого автора. Хорошую литературу трудно делать. Несвободно.

— **Окончил институт — и...**

— Поступил в комбинат художественных работ в Химках, помог мне туда устроиться Геннадий Павлович Сорогин. Ещё учась в институте, участвовал в республиканских выставках, выставочный багаж у меня уже большой был к этому времени. В Союз художников вступил через год после окончания института. Тогда же встретил художника Евгения Устинова, он меня взял в творческую поездку на Алтай. Группа его называлась «Акварель и рисунок». Это было настоящее открытие мира. Многие вдохновлялись Алтаем — Рерих, например. По два месяца жили в домах творчества, на академических дачах. Работа там — большая школа для молодого художника. Вспоминаю дом творчества «Дзинтари» в Прибалтике, там я море писал, корабли, пейзажи совсем другие. Старостой был, звали меня ребята министром культуры.



Как молоды мы были... Конец 80-х годов. Слева направо: Михаил Абакумов, Евгений Гринин, Александр Зотов. Фото Юрия Колесникова

490

МИХАИЛ АБАКУМОВ

После поездки на Алтай Министерство культуры СССР заключило со мной договор на создание шести графических листов. Сделал больше. Показывал на разных выставках, молодёжных тоже. Мои работы и раньше продавались. Ещё в институте я ездил на Соловки, сделал несколько пейзажей, они попали на российскую выставку, и там мои четыре работы купило Министерство культуры России. За лист получал по 400 рублей, сколько батонов можно было купить? Эти деньги давали художнику возможность жить и ни о чём не думать.

— В комбинате заказы интересные были или в основном техника безопасности и партийная пропаганда?

— Нет! Я этого не делал. Я писал картины на различные темы, то праздник урожая, то раскопки кургана, то студентов на картошке... Больше всего любил спортивные. «Раскопки кургана», кстати, в Кемеровском госуниверситете висели. «Емелю» делал для детского сада. Натюрморт с жареной курицей для птицефабрики. Специально для этого в духовке её запек, знаешь, как красиво. И Ленина писал; дядька Василия Бека, нынешнего директора детской художественной школы, позировал. Мне часто горящие работы давали, люди не справляются, а я быстро работаю. Да, тогда была цензура. Цензура, кстати, — это великая вещь. Мне она никогда не мешала. Если сделаешь хорошо, всем понравится. Я просто знаю, как сделать добротню, с похвалой ещё принимали. Бывало, правда, и переделывал. Я советы люблю.

Великая школа — комбинат! Кто Суриковский закончил и работал в комбинате, приобретал хорошую школу живописи. Наши художники

Нахалов, Сорогин работали там. Сейчас молодёжь заставь картину писать, никто же не напишет. На сто процентов говорю. Все на этюдах и остались. А профессионал отличается чем? Он может за данный срок сделать любую работу любого жанра, невзирая на настроение — неохота делать, а надо... Молодёжи такое напутствие, может, оно прозвучит: учи-тесь писать картины, а не цветы в горшках. Картина — это лакмусовая бумажка, ею проверяется художник.

— *У тебя же не сразу мастерская своя была? Где работал?*

— В квартире писал, во Дворце культуры завода им. Куйбышева, в студиях.

— *Во Дворце культуры ты и познакомился с Асей, будущей женой. Как это было?*

— Писал у них «Переход Чапаева через реку Белую». А она там работала, заходила в изостудию, подначивала, смеялась. Узнал, что она из Вологды, а я тогда писателями-деревенщиками увлекался, — и всё, несколько не раздумывая, женился. Она очень образованная была, окончила Ленинградский институт культуры. В изобразительном искусстве разбира-лась, а прожив со мной энное количество лет, вникла в его суть глубоко. Первый мой критик. Мы вместе работали над искусствоведческими статьями, я давал ей темы.

Она была идейным руководителем моей жизни.

Что ещё её отличало — никогда не была заинтересована в моем материальном положении. Не требовала материальных благ, как бывает у других женщин...

Перестройка прошла мимо меня

— *Жизнь не только розами усеяна была, но и терниями?*

— Я не считаю, что это тернии. Всё шло как по маслу. И плохое куда-то ушло. Не вспоминается.

В конце 80-х комбинат здесь, в Коломне, открыли, стало всё под боком. Работалось с большим вдохновением, ведь у себя дома и стены помогают. Потом началась перестройка. Я эти катаклизмы жизненные не ощущал, ни тогда, ни сейчас. Работал. Перестройка прошла мимо меня. Хотя я в те годы самые лучшие вещи создал. Не знаю, почему. Уехал в деревню и спокойно работал. А революции бушевали где-то там... Назад, в те времена, когда мне было восемнадцать лет, возвращаться не хочу. Такого опыта уже не будет, мастерства...

— *Ты вообще никогда не боялся, что оставишь семью без копейки (а в 1980-м появились двойняшки — сын и дочка)?*

— Никогда.

— *Отчего же иной раз художники жалуется: «Нет заказов, нет заказов...»*

— Не делает честь мужику нытьё. Коммерческая жилка у художника должна быть, умение обаять заказчика. Выставки надо делать в Москве. Я всегда утверждал, что Москва — родина идей и там все деньги. Ну, ещё имеет значение процент везения.

— У тебя множество наград, есть даже медаль *Сергия Радонежского*, которой Русская Православная Церковь отметила не только твои труды по восстановлению храма в Вологодской области, но православные по сути работы. Какая из наград для тебя самая дорогая?

— Трудно сказать. Я одним из первых в новые времена награждён Золотой медалью Российской академии художеств. Почётный гражданин Коломны. Народный художник России.

— Твои работы есть в Третьяковке: «Бурный день. Великий Устюг» и «Уходят грозы. Коломна». Воспринимаешь это как некое достижение?

— Конечно, воспринимаю это как некую планку. Есть чем гордиться, хотя гордыня — это...

— А какие выставки памяtnы?

— 1993 год — в Российской академии художеств, после нее я и получил ту Золотую медаль. В Центральном доме художника все выставки были хорошие. Самый удачный мой проект, считаю, — «Замело тебя снегом, Россия» в 2006 году.

Теперь попал я в историю-то? (Смеётся.)

— Ну, если все последние крупные издания по истории русской живописи выходят с твоими работами, значит, попал... Ты всё время говоришь, что жить надо в Москве...



Начало демократии... Слева направо: Г.П. Сорогин, М.Г. Абакумов, В.Я. Стадник — депутат Верховного Совета СССР. Фото Юрия Колесникова

— Жить надо... зимой в Москве. Там общество, там вращаешься. Без этого художник не состоится. А подпитывает провинция, малая родина. (*Хитро улыбается.*) В Коломне сейчас чисто, хорошо, стерильно. Пройдешь в ботинках хороших и не запачкаешь.

— ***Стерильно... А писать это будешь?***

— Буду — из кабинета Аркадия Арзуманова, директора краеведческого музея.

— ***Ну, посмотрим, посмотрим...***

— Мечтаю, чтобы у меня была постоянная экспозиция в городе. Город ни разу не покупал мои работы, всё только обещают. Музей раньше покупал, ещё до перестройки. А сейчас нет.

— ***Для тебя, судя по работам, малая родина — это не только Коломна, но ещё и Русский Север?***

— Вологда. Меня эти места давно привлекали, я Белова читал, но тогда ещё не был с ним знаком, Абрамова, Рубцова. В душе эти авторы откликались... На Севере крепостничества никогда не было, русский дух там совсем другой. Народ другой — свободный, предприимчивый, авантюристы... Ты знаешь, что они в Швеции дефолт устроили, купив все их монеты? Лет двести назад. Я сам человек шептунной, мне такие нравятся.



На выставке в Кирове. Фото Юрия Колесникова

А названия деревень там чудные какие: Синяково, Горбатиха, Глазунья, Бережок... Как Гоголь говорил: народ наш уж назовет, как припечатает. Люди там хорошие, коренным уже под девяносто.

Великий Устюг очень люблю, мы с Асей там были, когда путешествовали. Архангельскую область, Урал, Красноярский край люблю, там бываю. Хакасию, Алтай, Байкал — за монументальность пейзажей, величие природы.

— *В Синякове ты дом купил, не далековато ездить на дачу?*

— Это не дача! Я бы и сейчас опять поехал туда, даже осенью. Люблю там жить. Купил старый брошенный клуб, починил своими руками. Мне нравится строить, я рукодельный. С детства смотрел, как отец работает. В школе делали табуретки, скалки...

Художники туда приезжают на пленэр из Вологды, из Коломны, из Москвы и Подмосковья... Коломенский писатель Валерий Королёв у меня жил, написал много рассказов. Был раз забавный случай. Пошёл я писать рядом с домом берёзу, а Валера кофе варил. Вскоре замёрз я, вернулся в дом, попили мы с ним кофе и пошли смотреть этюд. Приходим: валяется мой холст рядом с этюдником, пустой, и корова неподалёку ходит. Краски-то на льняном масле были, она и слизала. Пришлось заново писать. Подарил этот пейзаж Валере на день рождения.

— *Этот дом знаком нам по твоим картинам: половички, иконы, золотистые сосновые брёвна, ветки берёз на Троицу...*

— Есть всё это, есть. (*Снова смотрит хитро, словно испытывает.*) Газон буду делать английский.

494

— *Лучше бы редиску сажал...*

— Редиска на грядках тоже есть — соседка Роза Михайловна сажает. Смородина растёт, сад насадил. Баню какую построили! Протекает там речка Кубена, мостки на ней живописные, так и просятся на холст, белые лилии растут — чистейшая вода. На моем участке грибы водятся — берёзовые, волнушки. Сам солю.

Тарелку установил — ТВ смотреть, есть хорошие каналы, например, из жизни животных, исторические, религиозные, путешествия. Надоела чернуха, поющие трусики и прочая ерунда...

Я рисую идеальный мир

— *А когда, на твой взгляд, ты сложился как художник — со своим лицом, методом, который сейчас определяют как импрессионистический реализм?*

— Я ещё не сложился, всё еще впереди. Я ведь художник разный, с разными периодами. Импрессионистический реализм? Нет, абсолютно не так, скорее романтик реализма. Мы сейчас делаем выставку в ЦДХ под таким названием — «Романтики реализма». Реализм сейчас не в моде, не приветствуется, а мы вот так себя заявим. Здорово? В ущерб своим материальным благам.

Я рисую идеальный мир. Даже если храм разрушен, я его всегда достраиваю. У меня нет ни одного разрушенного. Нельзя разрушенное рисовать: что пишешь, то и утверждаешь.



*В новой мастерской. 1983 год.
Фото Юрия Колесникова*

— *Были люди, под чьим влиянием ты развивался как художник?*

— Третьяков Николай Николаевич — мой учитель по ВГИКу, преподаватель истории русского искусства, воцерковленный человек, он воспитал целую плеяду — Тарковский, Шукшин, Саранцев, оператор Заболоцкий, снимавший «Калину красную». Вся мастерская Ромма — его ученики. Когда закончатся занятия, мы все его обступим, и общение продолжается на лестничной площадке, в курилке. Прекрасные писал рецензии... Он утвердил и укрепил мое мировоззрение.

— *А кого из русских классиков ты сам считаешь своими учителями?*

— Всех классиков, а особенно Шишкина, Жуковского, Перова, Щедрина, — всю русскую школу. Левитан великий художник, Куинджи — он пейзаж приподнял, вот кто

был романтик реализма! Величие природы Шишкин показал. Никто так гимн русскому лесу не пропел, как он.

— *Процесс твоего развития шёл спонтанно? Или ты намеренно, продуманно себя направлял?*

— Сверху всё дается. Художник сам себя не строит, какие учителя попадутся, такая и личность формируется. Гордыня это — самого себя строить. Я, как губка, впитывал художественные впечатления во время учёбы, на выставки ходил, ни одной не пропустил в 60–80-е годы. Да и сейчас люблю ходить.

— *Никогда не было заворотов на «измы»?*

— Это ваши журналистские завороты. Главное для художника — мир Божий воспевать, а «измы»... Неумейки «измами» занимаются. Мне всё это чуждо, у меня своя задача, и не хочется ни на что отвлекаться.

— *А сейчас как относишься к так называемому современному искусству?*

— Время течёт, другие образы появляются, другие интерьеры, другие взаимоотношения между людьми... Это в искусстве тоже отражается. А сейчас появились художники-рыночники, пишут на потребу дня, золотого тельца ради. Вдохновения они мне не придают.

— *«Художник должен отражать красоту Божьего мира» — это твоя любимая фраза.*

— Всё создано Творцом, и творения Его мы должны отразить в своих картинах. С детства бабушка меня к вере приобщила, а протоиерей Ко-

вальский меня крестил. На дому. Иконы в доме висели и теперь у меня висят. Бабушка староверкой была, но в церковь ходила. В страхе Божьем меня воспитали. С восьмого класса я молитвы читал перед школой. А сейчас стараюсь все таинства соблюдать. Да зачем про это писать? Для каждого человека это сокровенное...

— *Когда ты впервые показал в Коломне свои панорамные работы, это было сильное художественное впечатление. Работы в Третьяковке, кстати, тоже панорамные. Как ты открыл для себя этот метод, который потом подхватили наши художники? Почему увлёкся им?*

— Нравится — ширь земли нашей не объять, особенно на Севере, вот и приходится делать длинные картины. Там эта мысль и пришла. Вспомнились работы прежних наших мастеров — Корина, например, его «Палех». Панорамные картины трудно компоновать, но мне сразу далось. Наверное, потому что в институте делали панорамы — как камера идет.

— *Значит, ВГИК всё-таки сыграл роль в твоей творческой жизни?*

— Разумеется. Научил, например, относиться к этюду как к законченной картине: экспликации делали к фильму, а они ведь маленького размера.

— *У тебя немало зарубежных впечатлений, которые тоже влияют на творчество.*

— За границу надо ездить обязательно, чтобы посещать музеи, изучать наследие мировой культуры, чтобы видеть вживую мировое искусство. Я почти во всех музеях в Европе был. Судьба сводила с замечательными людьми. С дочерью Шалапина Мариной Фёдоровной, например. Россию она любит, даже холодец приготовила русским гостям, хотела



Со студентами. Фото Юрия Имханицкого



Взгляд. Фото Юрия Колесникова

показать, что не забыла русские обычаи, но оказалось, что представления о том, как его делать, у нее приблизительные. Зато запивали хорошим французским вином. У известного датского художника Акселя Линда был; это певец океанов и морей, айсбергов — современный Айвазовский. С ним меня познакомил Валера Колесса, который в то время работал в Швеции, в Гётеборге. У Линда дом интересный такой: в мастерской кругом белые чистые холсты, он сам в белых одеждах, на полу шкуры белых медведей. Работая в Гренландии, где слепящее солнце и снег, он получил ожог глаз. В то время ему было девяносто четыре года! Я ему картинку подарил — вырвал из блокнота панораму Тотьмы и подарил.

Поездка в Черногорию много дала: видел православную культуру, фрески XII–XIV веков, в подлиннике, руками до них дотрагивался. Париж увидел глазами Игоря Князького, профессора истории, который рассказывал чуть ли не про каждый дом в центре Парижа. Преподнёс мне историю города так, как никто из экскурсоводов не сможет.

Сбылась моя мечта — побывал во французской деревне Барбизон, ходил по улочкам, где жили Добиньи, Дюпре, Труайон и прочие барбизонцы. Написал этюд этой деревни.

— Ты преподавал в Суриковском институте и на отделении ИЗО в коломенском педагогическом. Почему ушёл?

— Десять лет в Суриковском, пять лет в Коломне. В Суриковский приходят люди очень талантливые, с которыми приятно работать, но

преподавание много времени отнимало. До сих пор оттуда ко мне приезжают, консультируются. В коломенском институте абитуриенты плохо подготовленные, я не привык работать с таким детским садом. Никто не понимает, что талант — это девяносто девять процентов труда и один процент гения... В провинциальных городах у студентов общий уровень культуры, развития очень низкий. Понятно, где взять столько Ломоносовых?

Моё ли дело — преподавать? Не знаю. Хороший художник — хороший и педагог.

— *В Коломне многие молодые художники прошли через искус «абакумовщины». Как ты к этому относишься?*

— Отрицательно. Все должны свою голову на плечах иметь. Нельзя бессознательно брать меня за учителя. Приходи, я посоветую, научу. Но никто из местных молодых не приходит.

— *Расскажи о детях — Наташе и Андрее. Помогаешь им?*

— Наталья готовится стать художником кино. Ни в какой моей помощи она не нуждается, во ВГИКе хорошие педагоги. Советов не спрашивает, говорит, что кино немножко другое искусство, хотя замечаниям моим следует.

Андрей ищет себя в жизни, пока ещё не нашел. Группа была, играли, сочиняли свою музыку, выступали, чем только не занимались... Он добрый человек, сам помогает мне.

— *Художественная жизнь Коломны на протяжении многих лет проходила при твоём активном участии. На твоих плечах создание отделения Союза художников в Коломне, всем нашим художникам ты помог вступить в него. Выставочный зал «Дом Озерова» при твоём участии возник.*

— Привозил в город выставки, приглашал художников с именами — Сергея Андрияку, Евгения Устинова, многих других. Студентам из ВГИКа, из Суриковского института практику здесь устраивал, по её итогам выставки делали. Пленэры организовывал для художников из разных городов России...

— *Что для тебя зритель?*

— О зрителе не думаю. Каждый зритель в моих работах найдёт то, что ему надо. Будешь думать — потеряешь своё я. Я самодостаточный человек, знаю, что мне делать. Когда ждёшь оценки, зависишь от неё. Конечно, интересуюсь, что обо мне пишут, но... Пишут всё одно и то же. Восторги, охи, ахи — это неконкретно. Отрицательные отзывы, критические оценки тоже бывают... Они не огорчают, а наоборот, не дают карасю дремать.

Беседовала Галина Горчакова

Татьяна Башкирова: «ДВА КРЫЛА ЗА МОЕЙ СПИНОЮ ОБЖИГАЕТ ОГОНЬ ПЛИТЫ...»

В Коломне есть очень тихие, настоящие провинциальные улочки. Есть такие и в Щурове — старинном пригороде на правом берегу седой Оки, напротив высоких стрельчатых башен Старо-Голутвина монастыря. Летом здесь всё утопает в зелени садов, зимой — вязнет в сугробах. Пятнадцать—двадцать минут езды от станции Голутвин через мост за реку — и попадаешь будто в другой городишко.

Зарос травой иль меньше стал тот двор,
Теперь здесь наши бегают ребята.
А вид с крыльца волнует до сих пор:
Голутвин-монастырь в лучах заката.
Здесь у забора движется Ока,
Польнь цветёт, невзрачна и горька,
На светлой зорьке точит вдовьи слёзы,
И добрым словом помнят старика,
Что посадил под окнами берёзы.
От суеты, от пыльных, шумных дней
Тут хорошо... И мы, душою дети,
Спешим к окошку матери своей,
Пока оно нам в этом мире светит.

В этой тиши и живёт поэтесса Татьяна Башкирова. Лет двенадцать назад нас познакомил профессор Константин Григорьевич Петросов. Меня «зацепили» её глаза: как порох — чиркни, и вся она загорится! Такой она осталась до сих пор.

За рассветными зорями давними
Улетели мои журавли.
Лиховеи свистали за ставнями,
Но души остудить не смогли.

Поразил в ней редкостный дар — откликаться сиюсекундно на любую человеческую просьбу. Она может всё бросить и побежать на выручку. Не перестаю удивляться: какая распахнутость, какая бескорыстность!

А потом мы стали вместе работать в «Коломенском альма-нахе». Плечом к плечу с первого номера. За эти годы перебе-седовали столько, что другому на целую жизнь хватит. И всё-таки, при всей открытости и искренности, она сумела сохранить таинственность и неразгаданность.

Нет перстней на руках, а в ушах нет серёг.
На моих башмаках — пыль нездешних дорог.
Путь далёкий лежит на рассвете опять,
Горизонт убежит — мне его не догнать.
Затеряюсь в дыму, мне незримо пока,
И на ощупь пойму, как земля велика.
А вернусь — обрету небывалый покой,
Поклонюсь полевому цветку над Окой.

Эти строки — не сочинённые в холодном раздумье: они вылились на свет Божий из пылкого сердца.

Опубликованных стихов у неё много, а вот книжка только одна. И сведения о ней там скупы: член Союза писателей России, вырастила сына...

А ведь жизнь у неё сложилась нелёгкая... Лучше всего Татьяна Башкирова расскажет о себе сама. Тем более что есть прекрасный повод — день рождения. И не просто день рождения, а юбилей.

500 **Моя девичья фамилия — Зенина**

— *Бегала маленькая девочка по берегу Оки, плавала с родителями на барже, собирала в лесу маслята и сыроежки, играла со сверстниками в «прыгалки» и «движки». И вдруг начала писать стихи. Когда ты впервые откликнулась на голос поэзии?*

— Первые «поэтические опыты» относятся к раннему детству, годам к четырём-пяти. Я тогда, помню, печатными буквами написала про девочку Шурочку и кошку Мурочку. Потом — про праздник Первомой.

Родители мои были водниками, плавали на барже, перевозили по реке различные грузы: камень, гравий, песок. Вместе с ними и я. Обычно на баржах жили семьями. В каютах стояла казённая мебель: шкафы, кровати, столы, табуретки — всё из дерева. Постельное бельё — тоже казённое. Керосинки, лампы керосиновые. На кухне — печь с двухконфорочной плитой. Электричества только не было. А так — все удобства. Помню, мама даже поросёнка держала в трюме, куда груз засыпали, — в отсеке.

Зимой, когда реку сковывал лёд, баржи ставили в затон, а семьи водников селились по квартирам местных жителей.

В одну из таких зим (не помню, сколько мне было лет) мы жили в какой-то глухой деревне, в доме у одинокой старенькой учительницы, которую я звала «тётя Дуся». Она научила меня читать и учить стихи наизусть — некрасовские «Плакала Саша, как лес вырубали...», «Морозовое вода», «Мужичок с ноготок».

Но первые в моей жизни стихи я услышала ещё раньше, от мамы. Моя мама, несмотря на то, что была почти неграмотной, обладала хоро-



Трудовая Ока. Фото Виктора Смылова

шей памятью. Она читала мне «Узника» Пушкина («Сижу за решёткой в темнице сырой»), «Детство» Сурикова. Пела «Коробушку», «Что стоишь, качаясь, тонкая рябина»... Знала много пословиц и поговорок, рассказывала сказки.

А отец окончил четыре класса. Он больше любил частушки. Пел их мне, а я, озорничая, переделывала. Например:

На столе стоит бутылка,
А в бутылке — молоко.

А я спела к ужасу родителей:

На столе стоит бутылка,
А в бутылке — Маленков.

Мне здорово влетело, а потом мама растолковывала: «Нельзя так. Это же отец наш». По русской пословице: что ни поп, то батька...

Родители хотели, чтобы я выучилась. Накупили мне много детских книжек. Я была единственным ребёнком, притом болезненным. К чтению пристрастилась рано.

А сочинять «систематически» начала в двенадцать лет. Я училась тогда в четвёртом классе, жили мы с мамой в крохотной комнатке в Шурове, на самом берегу Оки. Сначала (в день своего рождения) написала стихи лучшей подруге Любаше. Потом посмотрела фильм «Иванна», он меня ошеломил:

В плен забрали Иванну,
На расстрел ведут.

Позади — фашисты
Толпами идут.

Кончалось так:

Промчались мысли, петлю ей надели,
И наша героиня умерла.
Но помнят люди: на той же неделе
Изгнали гитлеровцев из села.

Потом — как мы с учительницей ходили на Чёрную речку в поход... Когда я училась в шестом классе, в нашу школу приехал коломенский поэт Александр Фёдорович Кирсанов. Он тогда работал на Коломенском заводе и часто встречался с детьми и взрослыми.

Я сидела за первой партой и смотрела на него во все глаза: ещё бы — впервые в жизни видела живого поэта! Высокий, статный, светлые вьющиеся волосы над крупным лбом, большие глаза... Всем нам, девчонкам, он казался очень красивым. А когда начал читать стихи... Декламировал он мастерски. Особенно запомнилась сказка «Как дед в школу ходил».

После выступления я подошла к поэту со своей тетрадкой стихов — тоненькой, в клетку. Александр Фёдорович прочитал очень внимательно и сказал: «Девочка, ты в лесу бываешь? Ты, когда пойдёшь туда, обрати внимание: муравьи строят свой дом под сосной или елью. А у тебя муравейник под берёзой...»

И потом, спустя годы, когда Кирсанов вёл в Коломне литобъединение «Зарница», он учил авторов точности.

А у меня с тех юных лет в памяти закрепилось: поэт должен быть красивым; поэт должен уметь хорошо читать стихи.

Некоторые из моих подруг тоже увлекались поэзией. А повзрослели — и куда всё делось... Ну, а мне нельзя бросать: я никуда из Щурова не уехала, моя Ока — всегда под окнами, значит, детство со мной...

— *Фамилия Башкирова... Откуда такая? Не от Салавата Юлаева ли твои корни?*

— Это фамилия мужа. Мать моего свёкра, Ивана Петровича, была башкиркой по национальности и жила в Поволжье. Тогда, в 30-х годах, там был сильный голод. Тяжёлое время выпало Ивану Петровичу: вырос он в детдоме, потом воевал. На фронте и познакомился со своей будущей женой, а моей свекровью, Екатериной Максимовной Деевой. После войны они вырастили троих детей.

А моя девичья фамилия — Зенина. На той улице в Щурове, где мы поселились, когда после тяжёлой болезни слёг отец (она и сейчас существует и называется Набережная), было много Зениных, и все водники. Очевидно, из одной деревни.

— *Была ли в твоей жизни случай, который сыграл в судьбе решающую роль?*

— *(Мечтательно.)* Это встреча с Андреем Павловичем Радищевым. Мне шёл тринадцатый год, я училась в пятом классе. Андрей Павлович вёл в коломенском Доме пионеров студию литературного краеведения.

Я отправилась туда показать свои стихи. И буквально в него влюбилась... нет, это было что-то большее. Меня поразили обаяние, интеллигентность этого немолодого уже тогда человека.

Кроме литературно-краеведческой студии Андрей Павлович вёл вокально-хоровой кружок. Он прекрасно играл на рояле и пел. И голос у него во время пения становился молодой-молодой...

На занятия студии собирались почти одни девочки. Радищев был прекрасным педагогом. Обучение строилось так, что с нами, пятиклашками, занимались ученицы 10–11-х классов. Они подбирали для нас книги, по которым мы изучали биографии и творчество поэтов и писателей. Я выбрала любимого Некрасова...

Ещё, помню, мы с Андреем Павловичем ездили в Москву, к писательнице Евгении Таратуте. Она переписывалась с автором «Овода» Этель Лилиан Войнич, много о ней рассказывала, показывала фотографии...

Так меня, девочки-подростка, помимо грубых игр, непристойных песенок и анекдотов «молодёжи» нашего двора открылся другой мир, недостижимый и прекрасный: мир музыки и поэзии. И ввёл меня в него высокий, черноволосый и добрый волшебник с умными пронизательными глазами — мой первый наставник, Андрей Павлович Радищев. До сих пор светлую память о нём хранит моя душа.

Я фаталистка и верю в судьбу

— *Какое отношение у тебя к «сбывшемуся» и «несбывшемуся»?*

— «И всё сбылось и не сбылось, венком сомнений и надежд переплелось...» — так мы с подружками пели когда-то...

В юности я всё видела в розовом свете. Мечтала работать в школе, учиться заочно в Литинституте имени Горького, растить троих детей.

Но жизнь внесла свои коррективы. Если бы в школе работала — никаких стихов не написала бы.

А вообще считаю: что Бог ни делает — всё к лучшему. И ещё я фаталистка и верю в судьбу.

— *Есть ли в твоём мироощущении разница между «мы — тогда» и «они — теперь»?*

— Есть, конечно.

Несмотря на то, что жили мы бедно и не было таких бытовых условий, как сейчас, мне кажется, что нам веселее было, чем теперешним подросткам. То ли люди были проще, то ли мы, ребята, как-то дружнее жили. Уж во всяком случае, мы больше общались. Помню, мама с работы возвращалась усталая, но она всегда радовалась, когда у меня собиралась девчоночья компания. У Любаши — моей одноклассницы — в семье было пятеро детей, а размещались всего в двух комнатах; да ещё мы, подружки-товарищи, приходили... И никто не стеснялся тесноты. Тогда это было в порядке вещей.

И мы, подростки, больше играли. И в мяч, и в «верёвочку», да и в куклы — до восьмого класса. Только кукол рисовали сами, а платья для них вырезали из бумаги — «по моде»...

И конечно же, много читали.

А сейчас дети разобщены: дома большие, дворы неуютные, в гости друг к другу ходят редко. И какие-то они слишком взрослые и практич-

ные. Может, практицизм — это и хорошо: лучше в жизни устроится? Но ведь он сушит душу.

Кругом телевизоры, компьютеры, магнитофоны. Читать стали мало. А ведь чтение и речь развивает, и грамотность.

— *Моя первая прочитанная книжка была «Волк и семеро козлят». Я только-только выучил азбуку. Сказку взял в школьной библиотеке. Помнишь, тогда были такие тоненькие, в серии «Твоя первая книжка»? Читал ночью, под одеялом, с фонариком в руках. Тогда в доме что-то случилось с электричеством, а жечь керосиновую лампу мама не разрешила. «Завтра днём прочитаешь!» Какой день?! В руках у меня первая книжка в жизни! И я по слогам, радуясь каждой прочитанной строке, дочитал до конца. И когда прочитал, то не знал, чему радоваться больше: новой сказке или самостоятельно прочитанной книге. А твоя какая была первая книга?*

— Мне было пять лет, когда я прочитала сказку Корнея Чуковского «Мойдодыр». Маленькая, помню, такая книжечка, тоненькая, но с

цветными картинками. Мне очень понравился озорной ритм её стиха, что там принимают участие звери (Крокодил с детьми Тотошей и Косошей), и что в конце мальчик-грязнуля опять со всеми подружился и всё у него сложилось хорошо.

Позже, в начальных классах, я очень любила «Приключения Буратино» А.Толстого, «Солнечный денёк» Л.Воронковой, а из стихов — «Лесной царь» Жуковского. Начала спрашивать этого автора в библиотеках. Так произошло знакомство со «Светланой», «Ундиной» и другими балладами и стихами.

— *Жизненный багаж помогает тебе сейчас жить или, наоборот, «оттягивает руки»?*

— (Задумалась.) Думаю, помогает. В молодости я работала в селе Большое Колычёво, во вспомогательной школе-интернате. Многого там насмотрелась. Были дети-сироты, но ещё хуже — брошенные при живых родителях. Иногда



После окончания педагогического техникума. 1968 год

думаю: восемь лет, отработанные там, — просто вычеркнутые из жизни. Но не было бы их, и не появились бы у меня такие стихи, как «Оксана», «Осеннее». А может быть, и вообще бы не писала. Как у Рубцова: «Но если нет ни радости, ни горя, / Тогда не мни, что звонко запоёшь».

Поэт живёт сердцем

— *Невозможно избежать вечных вопросов бытия. Я знаю, с какой любовью ты относишься к своей малой родине. И переживаешь, что в Щурове на глазах гибнет природа. Не зря люди предпочитают оттуда уезжать. У тебя много стихов о нашей зелёной Земле. Ты, наверное, как поэт острее ощущаешь её дыхание. Тебя волнует, что мы оставим для будущего?*



*Церковь Пресвятой Троицы
в Щурове*

дели белок и ежей. Сейчас деревья съедает жук-короед. Не лучше положение и в парке Цемзавода.

— *Что, на твой взгляд, главное в русской душе?*

— Ещё Достоевский говорил о её «всемирной отзывчивости». Мы, русские, чутки к чужому горю. Вспомните произведения наших классиков. А стихи поэта-современника, недавно ушедшего Юрия Поликарповича Кузнецова: «Но чужие священные камни, / Кроме нас, не оплачет никто».

— *В своих стихах ты не даёшь советов, не поучаешь, не морализируешь. Не навязываешь свою мысль — вот, мол, делайте так и так! Эта деликатность, воспитанность, которая в то же время не даёт подойти к тебе близко. Это твоё кредо?*

— Да. Я и в жизни, в обыденных разговорах, не люблю кого-то поучать, наставлять. Все мы разные. Один считает, что в данной ситуации надо **т а к** поступить, другой — совершенно иначе. Покойная свекровь говорила: «Бог леса не равняет: одна берёзка стоит стройная, другая — горбатенькая. А вы хотите, чтобы все люди были одинаковыми...»

Если меня кто-то поучает, мне с тем человеком скучно, и я стараюсь просто от него отойти. Если бы я следовала всем советам, которые давали мне «умные люди», то у меня никогда никаких стихов не получилось

— Очень волнует. Ты прав, с экологией в пригороде хуже и хуже.

Помню далёкий 58-й год, когда мы здесь только поселились. На лугу, под окнами, была масса разных цветов. Около самой воды били чистые родники.

А потом настроили ещё домов... На цветущий берег люди несли старую мебель: сломанные диваны, табуретки... После засыпали всё песком. И родники загадили. Мало где теперь они сохранились, да и то в плачевном виде.

Теперь таких ярких цветов на лугу у реки уже нет. Так, растёт трава да изредка что-то жёлтое или бледно-розовое пробивается.

А Дубовая роща? Там птицы селились, по дороге в школу дети ви-

бы. Я этих «умных людей» не осуждаю: они живут рассудком. А поэт живёт сердцем.

— *Кто твои любимые поэты? Было ли подражание кому-нибудь?*

— Любимые — Есенин, Цветаева, Рубцов.

Были подражания, конечно: никто из пишущих людей без этого не обходится.

В юности подражала Лермонтову, Есенину. Потом — Юрию Кузнецову, Олегу Кочеткову.

Подражания могут быть талантливыми или бездарными. Как получилось у меня — судить моим читателям.

В поэзии мужчина — это восхищённый певец, выражающий и воплощающий страсти свои. Вот, например, стихи Олега Кочеткова:

Как полынно тебя целовал,
Как медово меня целовала!
Был твой рот запрокинутый ал.
И душа моя к Богу взывала.

А вот Татьяна Башкирова. Она женщина, хранительница близости двух существ; ей — разгадывать нюансы души, а её любовные мечты есть мера ответственности за будущее.

Унесло покой апрельской ранью.
Стынет дом без моего тепла.
.....
В ночи твоё дыханье горячо.



Татьяна Башкирова с матерью и сыном. 1976 год

Шальным ветрам ты даришь стены дома,
Чужой судьбине — мужнино плечо.

На интимной поэзии Татьяны Башкировой лежит печать стыдливости и гордости, её самостоятельности и великой отзывчивости. Она никого не обременяет своими переживаниями, а просто делится своими мыслями.

— *Время от времени в литературных кулуарах продолжает всплывать вечный вопрос: имеется ли разница между стихами, написанными женщиной и мужчиной, — в биологическом и психологическом аспектах? На мой взгляд, такое различие всё же существует, и в первую очередь — в интимной поэзии.*

— (Удивлённо вскинула глаза.) Мой наставник, поэт Олег Кочетков (я занималась у него в литобъединении более десяти лет), говорил: «Нет поэзии мужской или женской. Или есть поэзия, или её нет».

В интимной поэзии — да, есть разница: мужчины здесь более открытвенны, раскованны.

А я так думаю: и среди женщин есть пишущие хорошие стихи, и среди мужчин много пишущих плохие... Хотя достичь высоты Пушкина или Кузнецова ни одной женщине пока не удалось.

— *Это невероятно трудно, но, пожалуйста, назови имена коломенских поэтов, по твоему мнению, которые достойны так называться.*

— (Ответила не сразу.) В Коломне много людей, пишущих неплохие стихи. Возможно, я даже всех их ещё и не знаю. Назову одних — другие обидятся.

Для меня ориентиры в поэзии — Олег Кочетков и мой «собрат» по литобъединению «Зелёные цветы» Вадим Квашнин.

— *Многие коломенские поэты сейчас «переключаются» на прозу, и у некоторых это неплохо получается. Например, у Нины Соловьёвой. А некоторые, наоборот, считают, что летающему в облаках рифм не стоит опускаться на землю, это якобы глушит поэтические импульсы. Тебя никогда не тянуло освоить новый жанр?*

— Действительно, некоторые считают, что прозу писать гораздо легче, чем стихи. Для меня же это труд более тяжкий. Поэтому к каждому прозаику, даже если он пишет вещи довольно посредственные, я отношусь с огромным уважением.

Насчёт «приземлённости» не согласна. Тут всё зависит от автора. А как же Булгаков, Гоголь? Со школьных лет с удовольствием читаю и перечитываю «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Миргород», «Петербургские повести»...

Поэзия — самый красивый и в то же время самый коварный жанр. Её можно сравнить со скрипкой — беспощадным инструментом, не терпящим неумелости и фальши. Сами поэты утверждают, что поэзия — это состояние души. Нет, это обострённое зрение и неповторимость. Только поэт может так сказать:

Уметь понять молчание воды
И то, о чём тоскует подорожник.

Последний луч бледнеющей звезды
Ласкать пытливым взглядом осторожно,
Услышать песню ивы над ручьём
И гимн скворца — весенний, вдохновенный,
И ощутить перед лицом Вселенной
Короткий миг, который мы живём.

Это стихи Татьяны Башкировой, человека прекрасной искренности, силой своего поэтического дарования умеющей перевести личное видение и личные переживания в общечеловеческие, находящие отклик в любом сердце. Разве можно выразить такие чувства прозой?

О моём закате, душу рая,
Мне сказали правду зеркала,
Чтобы я одумалась когда-то,
Позабыв свою любовь-беду...
Перед целым светом виновата,
В ноги горьким травам упаду.

Её строчки привлекают, прежде всего, внутренним максимализмом. Она и по жизни максималист, и в дружбе... А это не каждому по силам...

— *Что хочет от жизни и от себя поэтесса Татьяна Башкирова?*

— Ну, что ждать от жизни, когда она уже почти прошла? Разве для детей и внуков... Себе хочу только здоровья более-менее, чтобы хватало сил работать.

И, конечно, стабильности: чтобы не трясло нас, не лихорадило, чтобы не было войн, терактов, и цены чтоб не скакали... Ещё, конечно, хочу, чтобы Муза почаще прилетала, нашёптывала стихи... А главное — чтобы наша жизнь изменилась к лучшему.

А звали того мальчика — Саша...

— *Таня, ты эстет?*

— Нет... Кто-то из пишущей братии пошутил однажды: «У поэта вместо быта — лишь разбитое корыто!» А может, плавучая, кочевая жизнь приучила к скудости быта. У меня стихи есть такие:

Гружёная баржа плывёт.
Свет лампы в казённой каюте,
Не мыслящей об уюте.

Настоящую квартиру мы с мужем получили, когда мне было 37 лет. Уже сын учился в третьем классе...

В жизни привыкла обходиться малым: в одежде, пище, в быту... Хотя порой страдаю, когда нет чего-то необходимого.

— *И вопрос просто как к женщине. Любишь ли ты эту каторжную, проклятую прекрасной половиной человечества домашнюю работу? Пишутся ли стихи у «горячего мартена», то бишь у плиты?*

— (Смеётся.) Мой наставник Олег Кочетков писал: «Землю попа- шешь — стихов не напишешь, / Ляжешь, провалишься в праведный сон, / И самого-то себя не услышишь». Это он полемизировал с Мая- ковским.

А я бы написала, подражая Олегу: «Ши когда варишь — стихов не напишешь: / Выкипит всё — и того не услышишь».

Или ши будут невкусные, или стихи неважные.

В одном моём произведении (я его считаю неудавшимся и никогда не отдавала в печать) есть строки: «Два крыла за моей спиной / Обжигает огонь плиты». Нет, я отнюдь не считаю себя «ангелом»: «крылья» у меня — для полёта в светлый, чудный мир Красоты и Поэзии.

Не люблю никакую домашнюю работу, кроме стирки: приятно ви- деть, как вещи свежают, обновляются в моих руках.

— *На дни рождения принято дарить подарки. Какой из них в твоей жизни самый дорогой?*

— «Мне не дорог твой подарок — дорога твоя любовь», — поётся в русской народной песне. Хотя, когда мне было десять лет, а ему — одиннадцать, о любви говорить, наверное, ещё рано. Разве что в шу- ту...

Из подвала окон дома, что на улице Пушкина, возле Пятницких во- рот, нам были видны только белые сугробы да ноги идущих мимо прохо- жих.

Мальчика растили мама с бабушкой: давали «женское», так сказать, воспитание. И мы с ним играли в куклы. Оба любили читать, обменива- лись книгами. А ещё он умел выпиливать по дереву лобзиком.

И вот он сделал такую красивую, с узорами, фанерную полочку, покрыл её лаком и подарил мне в день рождения.

Потом мы с ним сидели рядышком за столом, пили чай с ватрушка- ми, о чём-то весело болтали, и этот день казался мне самым солнечным в моей жизни.

Долго эта полочка у меня хранилась, хотя мы плавали тогда, переез- жали с места на место. К сожалению, до сегодняшнего дня эта дорогая для меня вещь не уцелела.

Я иногда приезжаю к тому домику. Он жив ещё, хотя сильно изме- нился. Но что поделаешь: изменилась и я сама.

А звали того мальчика — Саша...

Вечерело, но солнце, склоняясь к западу, ещё было по-лет- нему красно-горячим, ярким. По щуровскому мосту сплошным потоком летели машины. По берегам зеленели деревья. И окна домостроительного комбината, ловящие лучи заката, светились тут и там жаркими вспышками, точно плавилась.

По мосту шли двое — он и она. Шли неспешно, по тротуа- ру вдоль ажурного парапета, и разговаривали. Между ними катился велосипед. Собственно, велосипед вёл он, а она шла, помахивая сумочкой, поглядывая на тёмную воду и на редких прохожих.

Они не спеша шли по мосту, и словно не было рядом ни потока машин, ни шума города. Оба с интересом смотрели, как внизу по Оке неслышно скользит очередная баржа с песком. На корме её сидел мальчик с белой собакой.

Баржа проплывала уже под ними, стали видны рваные кеды на ногах мальчика, нечёсанные выцветшие вихры, а у собаки — верёвка вместо ошейника. Неожиданно мальчик, увидав взрослых с велосипедом, приветливо помахал им рукой. Женщина сразу же ответила. Словно только этого и ждала, словно увидела родную душу...

Баржа удалялась на фоне заката, как таинственное, неразгаданное видение. И было невозможно продлить это очарование. Женщина в последний раз приветливо вскинула руку.

Беседу вёл Виктор Мельников

ПОЗДРАВЛЯЕМ!



Там, где Перун и Щур в ночи сокрыли клады, там, где рязанский край залёт среди долин, — там зелень вешних лет с печалью и отрадой хранил огромный храм — старинный исполин.

И юные года, что сердце беспокоят, всё кажется — вот здесь — лишь руку протяни; и видятся опять над вольною Окою вечерних поездов бегущие огни.

От Шурова к Москве, там, где была Застава, наш Астраханский тракт пылит столетней славой и каждый уголок звенит стихом твоим.

Как много сделано! И дел ещё так много!
И длится, словно стих, под вечным взором Бога родной Татьянин день и облако над ним.

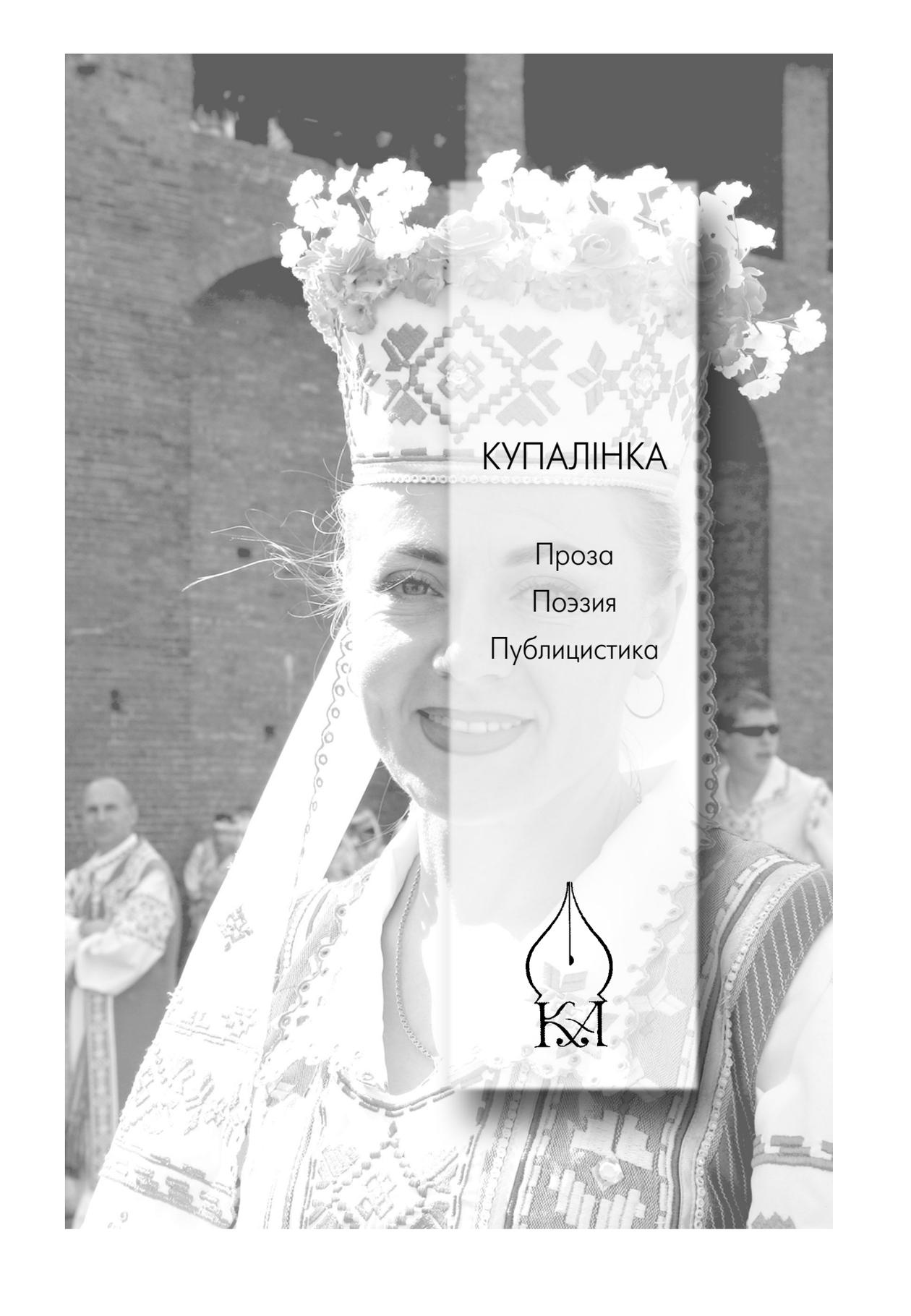
Роман Славацкий

Удивительно, как в творчестве одного человека могут сосредоточиться самые родные, самые сердечные ноты! Нынешняя благоустроенная Коломна отчасти потеряла обаяние уютной русской провинции. Другим стал облик улиц, многие старинные дома исчезли, да и люди стали иными. Но открываешь томик Татьяны Башкировой — и вновь перед глазами оживают узоры резных наличников, заросшие зелёной травой улицы, то осенённые свежей листвой, то укрытые бесконечными сугробами. И очарованная Коломна снова и снова узнаёт себя в этих стихах.

Но разве только поэтическим волшебством исчерпывается талант Башкировой? Её трудолюбивыми руками проработана каждая страница «Коломенского альманаха». Трудно представить себе наше издание без её хозяйского пригляда и кропотливого труда. Не удивительно, что сегодня всё писательское братство Коломны поздравляет Татьяну Башкирову с юбилеем!

От всей души желаем Вам приумножения творческих сил и здоровья, душевного и телесного, «на многая и благая лета»!

Редколлегия



КУПАЛІНКА

Проза

Поэзия

Публицистика





Фото Павла Зеленецкого

Генрих ДАЛИДОВИЧ

ГУБАСТЫЙ

ПЕРЕВОД С БЕЛОРУССКОГО
А. ЧЕСНОВОЙ

1

Лосёнок, проснувшись, внезапно услышал — кто-то идёт сюда. Он мало ещё прожил на свете, но уже чувствовал, что это топает не тот невысокий рыжеватый, но быстрый и ловкий, с сильными ногами и цепкими зубами зверь, который недавно, свалив с ног, рванул его за бедро — оно теперь обливалось чем-то тёплым, что сладко пахло, и очень болело. Тот зверь подполз совсем неслышно, против ветра, а потом, когда он, лосёнок, отстал немного от матери, неожиданно выскочил из-за кустов, сбил с ног; и конечно, это шла не знакомая уже ему длиннохвостая лиса, которая частенько близко подбиралась к ним и долго смотрела на большую, сильную мать и на него, шалуна, озорника; и не пугливый заяц-сосед, не бугровато-серый, с белой мордой бродяга барсук, которых мать никогда не боялась и не отгоняла, — они любили постоять возле них и сами уходили потом. Кто-то ступал тяжело, ломая ветки, поскрипывая, топая, а затем, когда эти шаркающие шаги послышались совсем близко, кто-то, рассекая воздух, легко прыгнул сюда, к его укрытию — под густой лозовый куст, — и лосёнок, открыв глаза, со страхом увидел сквозь стебли папоротника почти такого же невысокого, только другого цвета — не рыжеватого, а чёрно-белого — зверя, который разорвал его бедро.

Но утомлённый, ослабевший лосёнок не мог уже больше бежать, он только дёрнулся, немного проехав вперёд на сложенных передних ногах и животе, и опять закрыл глаза, ожидая удара, после которого его тело снова рванут острые клыки, чувствовал, как заходится от страха



*Хотя враждебно судьбиной
И были мы разлучены,
Но всё же мы народ единый,
Единой матери сыны.*

Фёдор Тютчев

РАССКАЗ

сердце, цепенеет, сжимается и холодеет кожа. Зверь, который почему-то не пахнул лесом, холодным ветром, переваренным запахом дичи, а имел какие-то чужие, как бы полевые запахи, не набрасывался на него, топтался рядом, даже не прикоснулся к нему, только заливисто, аж закладывало уши, лаял. Какие-то странные звуки издавал и тот страшный зверь — закинув вверх небольшую голову, протяжно завыл, — после этого скоро прибежали откуда-то другие такие же невысокие и злые звери и разом окружили их, стали нападать; наконец, провозившись с ними так с ночи до утра, отстали от него и погнали куда-то мать. Наверно, вот так подзывает к себе помощников и этот чёрно-белый зверь...

И сквозь лай слышно было, как громкие шаги всё приближались, тяжелели, от них начало бухать в ушах. Вот шаги затихли, и сразу прекратился лай, и вначале холодная тень, а потом что-то большое, пахнувшее и лесом, и дымом, и этим чёрно-белым зверем, и ещё чем-то совсем не звериным, не диким, присело над ним, мягко шлёпнуло по здоровому бедру. Лосёнок вздрогнул, крепко закрыл глаза, всем существом чувствуя: ну вот и нет силы спастись, вот и пришла смерть!.. И равнодушно подумал: что будет, то будет. От слабости и отчаяния голова его упала, ткнулась зубами в землю, заболели губы, и набилось в рот песку.

Лосёнок смыкал веки, даже подрагивали брови, сжимался в комок, ожидая в любое место на теле болезненного удара; но его, удара, не было. И тогда он с трудом разомкнул веки и будто сквозь влажный туман, видимо, сквозь слёзы, увидел, что возле него сидит на коленях неведомый ему зверь, держа передние ноги с длинными пальцами высоко над землёй. И эти ноги, и лицо зверя были белыми, совсем без шерсти. Длинная шерсть была только на круглой голове с высоким белым лбом.

— Ей-Богу, плачет, плачет, как человек... — послышалось удивлённое.

И лосёнок вспомнил, что и в лесу, и за лесом, за речкой, уже не раз слышал похожие на этот далёкие голоса, удивлялся, какой это зверь издаёт их, хотелось послушать, увидеть его, но мать вводила малыша как можно дальше, больно толкала его, чтобы он никогда не стремился идти на эти голоса; и вот лосёнок теперь услышал, увидел, кто издаёт такие звуки (услышал, но ничего не понимал, не знал, что это не зверь, а человек, и не кто-нибудь, а здешний лесник).

— Ну и что с тобой, мой телёночек? Ножку сломал, бегая, или мамка тебя бросила?.. — Человек опять пошлёпал его по спине, и лосёнок снова закрыл глаза, задрожал, весь сжался.

Вдруг лесник, коснувшись бедра возле раны, как от огня отдернул руку, которая почему-то стала ярко-красной, вытер её о траву.

— Так вот оно что... — протянул он. — Тебя порвали волки. Бедняжка ты мой...

Он быстренько встал, нарвал травы и ею, сильно прижимая, вытер бедро пониже раны, отбросил в сторону, снова нарвал травы и провёл по бедру до колена — ногу обожгло, лосёнок сжался от боли. Поднялись, отлетели от раны мухи.

— Надо спастись тебе, телёночек мой, — сказал лесник, подsunул под живот лосёнка сначала одну, потом другую руку, подтянул, вынося из-под куста, затем подкинул, поднял так высоко, что у лосёнка не только обвисли длинные беловатые ноги, не доставая до земли, но и закружилась голова, и понёс по высокому росистому папоротнику, который по самую грудь намочил его одежду.

Вскоре они подошли к заросшему кустами и аиром старому руслу реки, в которой покрытая гнилью вода была невкусной, обогнули её и оказались возле почти безбрежной новой реки, куда мать приводила его на заре или совсем поздним вечером, и они пили быструю вкусную воду. За нею — в темноватой зелени, среди множества домов — слышались те, незнакомые голоса. Они с матерью часто стояли здесь, на берегу, и с большим интересом смотрели туда, гадая, что там за жизнь...

2

Лесник, придя домой не улицей, а широкой межой, через заранее открытые женой двери внёс лосёнка в хату; тут была большая печь, в которой шугало пламя и в горшках кипела вода, стоял совсем незнакомый лосёнку запах, которым там, в подлеске, пахнул этот человек.

Лесник положил лосёнка в угол на твёрдый пол, выпрямился и помахал одеревеневшими руками.

— Где ты его взял? — спросила невысокая, полненькая хозяйка. — Такой ещё малюсенький...

— Подобрал в Ковалёвом бору, — ответил лесник, высокий, широкоплечий мужчина средних лет. — Волк зад порвал, а матку, видать, загубили. Ещё бы немного, и ему был бы конец: изошёл бы кровью... Надо спиртом промыть рану и подбел приложить. Сходи ты, Маня, нарви.

— Боже ты мой, Боже! — загоревала хозяйка, слушая мужа и собираясь выйти во двор. — Такой маленький, сколько ещё там пожил, а уже такая боль... Пропади она, такая судьба! Хоть и дикий зверь, а как жалко.

Женщина, прихрамывая, вышла из хаты, а мужчина подошёл к лжанке, поискав на ней, нащупал белую тряпку, помял её в руках, подошёл к высокому и узкому шкафчику, оттянул верхнее стекло и достал бутылку, наполовину заполненную прозрачной жидкостью. Вытащив зубами пробку, плеснул из неё на тряпку, которая сразу намокла, с неё упали на пол капли, потянуло незнакомым запахом — намного более крепким, чем пахнет лиственный лес после дождя.

Поставив на место бутылку, мужчина подошёл к нему, лосёнку, нагнулся и приложил холодную тряпку к ране — бедро лосёнка, казалось, обожгло огнём.

Лосёнок крепко-крепко закрыл глаза, задохнулся от боли, думал, что вот теперь и правда наступил конец. Но потом, совсем неожиданно, боль начала понемногу слабеть, оставляя только как напоминание о себе щемящий зуд, теперь казалось, что раненая нога, которая дёргалась, стала лёгкой-лёгкой. Мужчина гладил его по голове, по шее — и лосёнок успокоился, опустив голову на твёрдый пол, утомлённо, но с облегчением закрыл глаза, чувствуя, что опасность проходит, исчезает, а вместо неё охватывает покой, что нога стала меньше болеть, а потом вдруг захотелось есть: сегодня мать не успела его накормить из-за волков, убежала куда-то с полным выменем, из которого теперь, может, молоко брызжет на землю... От воспоминания о тёплом, сладком молоке у лосёнка собралась во рту слюна, часть её он не успел проглотить, и она потекла на нижнюю губу.

— Уж не естачки ли ты хочешь? — ласково спросил лесник. — Сейчас найдём для тебя молочка, напоим, чтобы скорее набрался сил, — и отошёл к белому шкафчику.

Открыл дверцы, взял с полочки кувшинчик, держа его за горлышко, покрутился, ища что-то. Потом взял миску, налил в неё молока и поднёс, дал лосёнку. Тот почувал знакомый молочный дух (хотя он был не совсем такой, как у матери-лосихи), но сразу ткнулся мордой в миску и так неудачно, что свежее, как видно, недавно надоенное молоко налилось в ноздри, и ему пришлось несколько раз фыркнуть, обрызгать чело- века и пол.

— Да ты же не умеешь пить из миски... Ты ещё, брат, совсем слабенький, — всё так же ласково проговорил лесник, взял из шкафчика бутылку и, плеская на стол, начал переливать из миски молоко.

Лосёнок, сожалея, что лакомство так быстро исчезло, облизал губы, ощутив, что и это молоко вкусное, с удовольствием проглотил всё, что попало в рот, ещё больше разжигая чувство голода.

Лесник скоро вернулся, неся в руках бутылку с красной соской, дал её, холодную, мягкую и в то же время твёрдую, — и лосёнок, сжавшись от неприятного резинового запаха, начал сосать и почувствовал, как молоко полилось в рот тонкой струйкой. От радости он чуть не захлебнулся, хотел вскочить, но его пронзила боль в ноге; пришлось уняться, подождать, пока станет легче, и потом уже снова начать сосать, вытягивая шею и стараясь не выпустить скользкой соски.

Он сосал и видел, как из другой, отгороженной половины хаты, открыв дверь, вошли двое заспанных босых детей — худощавый, довольно рослый мальчик лет семи и полненькая, в длинной белой рубашке девочка лет пяти. Сначала, протирая ручками глаза, они с удивлением посматривали на отца и на него, а потом оживились, заспешили к ним — у детей сразу пропал сон, широко открылись глаза, раскрылись ротики.

— Это другой телёночек? — спросила девочка нежным голоском. — Где ты его взял?

Отец ничего не ответил, только усмехнулся.

— Это не тот телёночек, — сказал мальчик, покручивая на остром голом плече шлейку от майки. — Это маленький лось. Так, татусь?

— Так, дети, — промолвил лесник. — И теперь он будет жить у нас, пока мы его не вылечим.

— Лёсь, лёсь, — присела возле лосёнка девочка, глядя его ручкой по спине, а потом зашла с другой стороны и потянулась к бутылке. — Дай я, татусь.

Она взяла бутылку и стала держать обеими руками.

Лосёнок, с любопытством поглядывая на детей, высосал всё молоко, некоторое время подёргал губами пустую соску — она даже засвистела, а потом слиплась. Когда её забрали у лосёнка, он почмокал языком, почувствовал, что совсем устал, сами начали закрываться глаза.

...Ночью — после того как к его ране приложили подбел, опять напоили молоком и он уснул — ему приснилось, что где-то поблизости ходит его мать, тихонько подзывает его — беспокойно мычит.

Он проснулся, прислушался — мычания не слышно. Только, казалось, дохнул, подул от стены ветер, пронёсся между подвешенными под крышей еловыми жёрдочками на косовища и рукоятки граблей. Когда он успокоился и опять начал засыпать, снова послышалось жалобное мычание.

Лосёнок напрягся, опёрся на передние колени, чтоб стать на задние ноги, а потом уже поднять одну и другую передние, но задняя нога не упёрлась, как бывало в лесу о землю, а поехала, заскребла копытом по

полу. На ногу съехал со спины старый ватник, и лосёнок запутался в нём и сбитой на сторону дерюжке, на которой лежал.

— Уже хвост поднял? — услышав его возню, подал голос хозяин, который в майке и трусах пришёл сюда из спальни и включил свет, совсем ослепив лосёнка. — Уже и сила есть? А? Это хорошо, но чтоб не наделал ты нам беды, я отгорожу тебя. — Он перенёс сюда довольно высокий шкафчик. — А завтра, мой дорогой, я тебя в дровяной сарай переправлю. Там тебе будет свободнее.

Он постоял немного, погладил лосёнка по спине и, выключив свет, зашлёпал назад, в спальню.

3

Прошло несколько недель. Лосёнок подрос, окреп, рана его закрылась — сначала затянулась твёрдым, толстым, бурым от крови наростом, а потом и этот нарост начал подсыхать, шелушиться и отпадать.

Ночью он спал на охалке сена под поветью, а днём гулял по двору, познакомился со всеми его жильцами. Горячо привязался к хозяину, добродушному и сострадательному человеку, мирно ужился с немного строгой и ворчливой хозяйкой, подружился с общительной собакой, с озорником телёнком, почти ровесником, с которым носился по двору; с котом, с курами — мелкотой — ему было неинтересно, и он без всякой злости, только ради шутки не отгонял их, а нарочно бегал за ними, несмелыми, пугливыми, видя, как они боязливо убегают; и хозяин, заметив это, в первый же раз накричал — мол, кота чёрт не возьмёт, а вот кур не надо пугать, они и перья теряют, и перестают нестись. С большой, почти с лосиху, коровой сразу, в первые минуты встречи, никакой дружбы не получилось: он кинулся к ней, к вымени, почуяв запах молока, но та больно треснула его задней ногой, и лосёнок, плача от боли, больше не подошёл к ней, и корова спесиво не замечала его.

Больше всего лосёнок подружился с детьми хозяина — с девочкой и мальчиком. Он не знал, кого из них больше любил. Наверно, обоих одинаково. С ними он играл, бегал по двору, брал из рук вкусный хлеб, сладкие конфетки и пряники и получил от них смешную кличку — Губастый.

Придумал это имя мальчик. Он всё удивлялся, что у него, у лосёнка, такая горбатая морда, отвислая верхняя губа, а потом и придумал: «Губастый!» Подзывали его, как и телёнка: «Теля, теля!» — а прозвище дали вот такое.

Вначале так его называли дети, а потом начали называть и взрослые.

...В один из последних летних дней, в ещё раннее, седое от тумана утро, к которому его рана стала твёрдой, зарубцевалась, уже не трескалась и не болела, только чуть-чуть саднила, почему-то с утра принёс ему ведро с пойлом не босой, ещё заспанный мальчик, а сам хозяин. Он был в уже намокших от росы кирзовых сапогах, старом пиджаке, на плечи которого нацеплялось много лесной паутины, и весь он пах сырими грибами.

Принёс по полведра пойла ему и телёнку, которого сегодня почему-то всё ещё не выводили в поле и с которым он до этого ел из ушата свежую траву.

Мальчик всегда ставил перед ним ведро, опускал в него руку, и Губастый, лоя пальцы, лакал вкусное тёплое пойло, а потом уже языком

вылизывал налипшее на дно сладкое тесто. Теперь Губастый ткнулся носом в ведро, ища мягкие пальчики, облил всю морду до самых глаз и, ничего не нащупав, не смог пить, только выплёскивал всё наземь. Лесник молча наблюдал за этим, но пальцев своих не давал и за такое расточительство не ругался, не кричал на него. Стоял и курил, затягиваясь, морщился. Сегодня он был какой-то задумчивый, очень серьёзный.

Когда телёнок выпил и вылизал свою долю, лосёнок тоже кое-как опорожнил ведро, лесник снял с забора свёрнутую цепь, надел ошейник телёнку на шею, открыл ворота и повёл его со двора. В те разы, когда лесник выводил телёнка на пастбище, он закрывал ворота перед самым носом Губастого, которому тоже хотелось пойти с ними, не оставаться одному, а сегодня почему-то не спешил сделать это, и Губастый — сначала несмело, будто не веря, что ему можно выйти со двора, а потом смелее — устремился вслед.

Они отправились по цементированной дорожке, что шла возле хаты; шагая, Губастый увидел в запотевшем от тепла окне хозяйку, она смотрела печально и даже, казалось, почему-то плакала — вытирала глаза уголком белого платка.

За другими воротами — немного большими и крепкими — почти сразу началась бело-серая мостовая, на которой Губастый чуть не упал, не умея ходить по камням. За мостовой лежал неогороженный большой — от улицы до леса — выгон, почти весь выгоревший от солнца, местами зеленел в лощинках. Хозяин привёл их на зелёный островок, по пути вырвал из земли колышек, к которому, видать, раньше привязывали телёнка, и поднял камень.

Когда хозяин остановился, нагнулся и начал камнем забивать в землю расплющенный сверху колышек, петлёй надев на него цепь, стал и лосёнок, удивлённый таким большим простором, над которым, кажется, намного увеличилось и голубое небо.

— Ну что, Губастый? — Бросив камень наземь, лесник поднялся, отёр о штаны руки и погладил лосёнка по спине. — Ты стал уже здоровенький, так иди в свой, так сказать, дом и живи, где весь твой род живёт... Ведь сейчас, пока ты ещё маленький, тебе хорошо у нас, а скоро станет плохо. Уходи, пока дети спят... — сказал так и подтолкнул в зад. — Иди, зверёк милый, к своим, а о нас забудь. Так для тебя будет лучше.

Губастый отошёл, толкнул мордой телёнка — и они, как бывало ежедневно во дворе, помчались отсюда. Но скоро телёнок, рванувшись, стал его задержала, натянувшись, цепь. Лесник, который шёл за ними, замахал руками — и Губастый, совсем не испугавшись, дурашливо, словно дразня и играя, подскочил, брыкнул задними ногами и махнул дальше, опьянев от большого простора, бежал, чувствуя, как ему всего этого до сих пор не хватало.

Сразу за выгоном начался молодой лес, который знакомо пахнул зеленью, росой, и в душе Губастого что-то дрогнуло, захотелось бежать и бежать, и он, уже ничего не помня, без оглядки миновал молодняк и помчался в глубину леса. Старый сосняк ещё больше привлёк чем-то знакомым, родным, и он почувствовал бесконечную радость, она переполняла его, разрывала грудь. Он пробежал дальше, ткнулся в высокую росистую траву и, внезапно сжавшись, остановился: это были колючие кусты ежевики.

Губастый торопливо подался назад, чувствуя, как огнём горят поцарапанные ноги, прошёл немного, осторожно коснувшись мордой высо-

кого и густого куста можжевельника, и снова поспешно отскочил, ощутив, как загорелась от боли исколотая ежевичником мягкая морда. Опынение свободой прошло, и он почувствовал, что многого тут не знает, а вот лесников двор знает уже до мелочей, что лес встретил его неприветливо.

Побрёл дальше медленно, боясь снова наткнуться на что-нибудь колючее. И тут он услышал, что его жалобно зовёт мальчик: «Губастый, где ты, Губастый?» — и тоненько, как комар, плачет девочка; он понимал, что далеко отбежал, оставил своих друзей одних. Подумал так и затрусил назад. Выскочив из леса, увидел, что лесник держит на руках девочку и хочет унести её домой, а девочка вырывается и плачет.

— Губастый, Губастый! — радостно закричал мальчик, босой, в коротких трусиках и майке, и быстро-быстро побежал лосёнку навстречу.

Увидев это, лесник опустил на землю девочку. И она побежала вслед за мальчиком, немало вихля маленькими ножками. Бежала и что-то радостно кричала.

Лосёнок и мальчик столкнулись и упали, покатались наземь (Губастый упал первым, чтобы не покалечить малыша); мальчик быстро вскочил на ноги, обнял лосёнка за шею, прижался, шепча: «Губастый мой, губастенький». Подбежала, бросилась к нему и девочка, тоже обхватила его шею маленькими и мягкими ручками, а потом прижалась круглой щёчкой — и Губастый не выдержал, заплакал от радости, что у него такие верные, милые маленькие друзья...

— Ты обманул нас, — упрекнул мальчик отца, когда тот медленно подошёл к ним. — Губастый не сам убежал, это ты его выпустил, как выпустил аиста, зайчиков, диких поросят. Но Губастого мы не отпустим, он будет жить у нас. Я его буду кормить.

— И я буду кормить, — повторила за ним девочка, тоже с укором поглядывая на молчаливого, словно виноватого отца своими большими, полными слёз глазами. — Ты недоблый, татусь.

— Хорошо вы поступаете, дети, и нехорошо, — поморщившись, наконец откликнулся тот. — Хорошо, любо видеть, что вы так привыкли к Губастому, но плохо, что удерживаете его. Он зверь и должен жить в лесу. Там его дом. Постель, пища, свобода. Трудно бывает дикому зверю, когда его слишком приручают люди. Горе бывает, беда. Я ведь знаю.

4

Губастый — так уж вышло — остался в хозяйстве лесника. Летом и ранней осенью он без привязи паса с телёнком на выгоне, бегал в лес полакомиться корой и листьями, привык к деревне, к машинам, к людям, обегал все околицы, ночевал под поветью, и к нему привыкли, особенно дети.

За зиму он совсем изменился — вытянулся, стал стройным лосем с крепкими, сильными ногами, ударом копыт мог уже отбивать жерди, спина удлинилась, он потяжелел, оброс длинной густой, почти чёрной шерстью, ощутил беспокоящий зуд на голове выше лба — там, очевидно, росли, окостеневали рога.

Весной, когда спала талая вода, стала подсыхать влажная холодная земля и ядрёно запахло ещё невидной молодой листвой, Губастый затосковал, не мог больше оставаться в уменьшившемся от навоза загоне, много есть, спать или тихонько ходить по двору, как ходили грузная,

сытая, полинявшая корова и подросший, не такой теперь добродушный бычок-озорник; его опять, только сильнее, нежели осенью, манили к себе свобода, воля, простор, лес и ещё какие-то непонятные желания, манили больше, когда он почуял, что подрос, не так уж тянулся поиграть с детьми, и те за зиму остыли к нему, начали бояться его толчков, от которых они отлетали, как снопы.

И он, когда оказывался во дворе, беспокойно ходил туда-сюда, тёрся о высокий забор, оставляя на нём побуревшую уже шерсть, а однажды подтолкнула тоска — он разогнулся, стукнувшись голенью, перепрыгнул через забор и радостно побежал по знакомому выгону в лес.

...Лесник, когда солнце поднялось высоко над домом, разлило молодое тепло в синем небе, въехал во двор на повозке, вошёл в хлев, погладил по шее Губастого, которому надоело одному стоять в загоне, а потом почти неслышно завязал на ней постромок и, открыв перекошенные ворота, вывел из пустого хлева во двор, привязал к телеге. Лосёнок ткнулся в воз, понюхал сено, ольховые и лозовые ветви с листвой, щипнул немного, но с беспокойством и почуял, что хозяин сегодня задумал проделать над ним что-то доселе ещё неизвестное. К возу подошли хозяйка, дети, молча поглядывали на них.

Хозяин тоже молча сел на воз, потянул за вожжи, и маленький гнедой белоногий конёк тронулся в путь. Постромок натянулся и потащил за собой. Губастый беспокойно, но не чувствуя ещё никакого страха, нехотя пошёл вперёд, удивляясь, куда его ведут: спешил за возом и не мог оглянуться, увидеть, что хозяйка с детьми вышли на улицу и прощально машут руками...

В лесу лесник остановился, как-то крадучись подошёл, приласкал, подав Губастому вынутую из кармана краюшку хлеба, и внезапно накинул ему на голову мешок. Губастый вначале испугался резкой темноты, ожидая внезапного удара по голове, задрожал, рванулся, но постромок перехватил горло, и он чуть не задохнулся.

— Не бойся, Губастый, — успокоил его лесник. — Ничего плохого я тебе не сделаю. — И опять тронул коня, заставив Губастого бежать вслед.

Ехали так долго. И по мягкой, и по грязной, с корнями дороге, в одном месте перебрались через мост, Губастый тогда очень насторожился, шёл боязливо, потом ещё долго, часов около трёх, ехали, сворачивая то вправо, то влево, опять покатали по лесу, ноги ступали по сухому мху и вереску, Губастый здесь несколько раз спотыкался о пни и ямы, наверное, вырытые дикими кабанами.

Наконец лесник остановился, подошёл к нему, снял мешок, от которого вспотели голова и шея лосёнка, отвязал постромок. Губастый повертел мордой, зафыркал и отошёл. Лесник махнул верёвкой: мол, беги, вот твой дом, в нём теперь ты должен жить!

Губастый не испугался этого взмаха (хозяин ни разу его не ударил), но отошёл подальше, чувствуя недобрую перемену по отношению к себе, и стал ждать, что будет дальше. Увидев, что человек садится на повозку и уезжает, Губастый устремился за ним, не желая оставаться тут, в незнакомом лесу, один, но мужчина остановился, нагнулся, поднял толстую, с облезлой корой палку и запустил в него.

— Пошёл! — крикнул он, а потом — уже тихо-тихо: — Пошёл, родной... Теперь не пропадёшь. Это в прошлом году, когда ты был совсем маленький и я жалел тебя вместе с детьми, боялся, что не уцелеешь. Чтобы ты не вернулся, я нарочно выпустил тебя не за нашими Янковви-

чами, а привёл сюда, в Налибоцкую пушу. Живи тут себе на здоровье. У нас тебе не жить. И нам забота с тобой.

Губастый, обидевшись, больше не бежал вдогонку, отстал, отвернулся и тихонько зашагал по чужому, тихому, как видно, далёкому от деревень лесу, слыша, как отдаляется стук колёс. Но он теперь не прислушивался к нему, шёл, куда вели ноги.

...Уже к вечеру он, не раз поев и напившись из небольшой лужицы зеленоватой невкусной воды, испугав зайца, семейку тетеревов, набрёл на лося.

Тот, высокий, бурый, рогатый, стоял впереди и, подняв голову, ждал его, а потом злобно зафыркал, гребнул стройной, сильной ногой землю. Губастый и испугался, и радостно устремился к своему лесному родичу, но тот, сильно раздувая ноздри, грозно опустил рогатую голову, а потом, видя, что одного его грозного вида недостаточно, бегом подался навстречу. Губастый едва успел отскочить в сторону, уклониться от острых твёрдых рогов, поняв, что он тут чужой, лишний, мешает, потому что бурый — хотя в лесу всего много и всем пищи хватит — тоже хочет иметь здесь постоянный харч, быть хозяином удачного места. Потому и не терпит, чтобы был ещё и он, или, может, и не возражал бы, чтобы он был, но бродил где-нибудь неподалёку, в местах похуже.

Губастый вынужден был бежать из богатого листвою и травой глухого уголка, вернуться в старый лес, возле которого рос и молодой сосняк, куда его привёл лесник, думая, что надо всё же искать и себе лучшего приюта. Беспokoйно потоптался, удивляясь и возмущаясь тем, что его тут так неприветливо встретили, а потом забился в густой папоротник и лёг, попытался заснуть. Но уснуть не смог. Вначале казалось, что очень жёстко лежать, и он крутился, ползал, выбирая место помягче, потом стало холодно от земли, а с густой темнотой — лес будто накрыли большим горшком — пришёл страх, страх от одиночества, от пронзительного крика совы, и он горячо затосковал по тёплому хлеву, по маленькой загородке, которые ещё вчера были так неприятны ему, а теперь он вспомнил о них, жалел, что не там сейчас, хотел снова попасть туда. Ему не терпелось вскочить и побежать назад, к людям, и когда это сильное желание, от которого даже зашумело в голове и жаркая волна прилила к сердцу, чуть не подняло на ноги, внезапно пришла другая, трезвая, холодная мысль, при которой кровь отлила от головы и сердца: подумалось, что он может не найти туда дороги, и — главное — там он совсем не нужен.

5

Привыкая к лесу, каждую минуту отыскивая в нём себе друга, но всё ещё постоянно спасаясь бегством от того бурого и других крупных родичей, только с молодой смелостью урывая в их уголках немного листьев и травы, Губастый начал жить в пуше.

Понемногу он стал дичать. Может, и совсем одичал бы, вырос бы большим, сильным, постепенно завоевал бы себе хорошее пастбище, место для сна, прогулок, для семьи, прославился бы среди лосей, если бы не люди.

Губастый не мог ещё совсем от них отвыкнуть. Однажды, внезапно услышав далёкие голоса людей, он, взволнованный, радостный, просто одуревший от счастья, сломя голову побежал по старому лесу. Нашёл,

увидел женщин в резиновых сапогах, с мешками и граблями. Ожидая вкусного хлеба, даже пуская слюнки, бросился к ним, подпрыгивая от радости, но они, услышав его топот, оглянулись, завопили и кинулись кто куда. И как он ни старался догнать какую-нибудь женщину, приласкаться, все от него бежали и истошно кричали, оглядываясь на него (лица их посинели от страха), а потом, осмелев, собрались вместе, спрятались за толстую сосну и злобно махали на него граблями, бросали в него палками, землёй.

...Этих двух молодых мужчин, высокого, темноволосого, с горбатым носом на широкоскулом загорелом лице и малорослого, рыжеватого, узколицего, в высоких резиновых сапогах и фуфайках, он увидел в тот момент, когда они тихо, воровски озираясь, брели по лесу.

Он стоял в ещё мокроватом душном ольшанике и щипал листву. Когда ловил ртом ветку и тянул её к себе, зажмурился: дерево вздрагивало, тряслось и осыпало его частыми каплями, от них у него уже была влажной спина. Увидев мужчин, нёсших в опущенных руках ружья, он уже не думал выбегать им навстречу, но и не собирался уходить. Рассудил: пусть идут себе на здоровье, куда им надо, а он будет лакомиться листьями.

— Говорят, что где-то тут, в этом ольховом лесочке, ходит молодой лось и не боится людей, — услышал он своим чутким слухом слегка шепелявый голос высокого мужчины. — Так что не надо и собаки, чтоб шум подымала.

— Страшновато как-то, холера, — дрожащим голосом отозвался малорослый. — Закон ведь есть строгий. И дорога близко, ещё встретится кто...

— Это потому, что идёшь в первый раз, — хихикнул, снимая свободной рукой мокрую паутину с лица, высокий и поднял ружьё. — Но когда вволю поешь раз-другой дармового вкусного мяса — и варёного, и жареного, и котлеток, и шметок, — то осмелишься, опять побежишь в лес. Стой! — Он вдруг точно окаменел на месте, схватил за плечо попутчика. — Ей-Богу, вон он стоит, листву жрёт. Видишь?

— Где? — спросил другой, щуря маленькие, должно быть, близоручные глазки. — Ага, вижу. Ладный какой...

— По кадушке, брат, будет, — прошептал высокий, тихонько снял с плеча сумку, опустил её вниз и взвёл курок. — Так что правду говорили люди, видели-таки. Сытенький...

Губастый по-прежнему стоял и смотрел, удивляясь, что люди сами наконец идут к нему, вглядываются; он чуть-чуть всё же ощутил угрожающий пороховой запах хорошо смазанных ружейных стволов, но не испугался, помнил, что ещё сильнее пахло и лесниково ружьё, которое ни разу ничего плохого ему не сделало. Ухватил ещё несколько листочков и, жуя, спокойно поглядывал на мужчин.

— Э-э, стрелок! — презрительно прошептал высокий мужчина своему спутнику. — Да у тебя руки трясутся и губы дрожат, как у зайца. Тогда я пальну. Если не положу, ты бей. — И медленно, стараясь не делать лишнего шума, стиснул губы, прижал приклад к плечу, прищурил левый глаз, поведя в его сторону стволом.

Губастый дожевал листву, роняя на землю зелёную слюну. Он хотел уйти отсюда и только начал поднимать голову, как в какой-то миг услышал сильный хлопок, его ослепило, свалило с ног, и больше Губастый уже ничего не почувствовал; его окутал глухой мрак...

КОСТРЫ КУПАЛЬЯ

Рыгор СЕМАШКЕВИЧ

Прощание с садом

Ступени заскрипят, припоминая что-то.
Любимый, дорогой, послевоенный сад,
Постой, не провожай меня до поворота —
Ты молодой ещё — не сыщешь путь назад.

Прощай. И помолчим. Пускай в очах мелькают
Варшава или Льеж, не всё ли нам равно.
Есть тихий дом родной, где печь теплом ласкает,
И ты, весенний друг, листвою звенишь в окно.

Ещё одно прошу — какой бы долей горькой
Ни обернулся наш прощально-светлый рай,
Ты яблоню одну, что мне приснилась только,
Молоденькую ту, ко мне не отпускай.

Был август. Звездопад притягивал вниманье.
Заранее весь мир о нашей встрече пел.
Мне девушка сказала: «Ты загадай желанье,
И сбудется оно». А я и не успел.

Звезда упала незаметно рядом
И яблоней меж яблонь проросла.
Сегодня две руки, как два крыла над садом,
Я поднимаю вновь для света и тепла.

И только лёгкий шум одежды снежно-белой
Вздыхает, как прибой, зовёт встречать скорей.
Так светлая ладонь твоей руки несмелой
Протянутая просит — обогрей.

Ты выдохни, мой сад, задумчиво и строго,
Весенний монолог про безвозвратный рай.
Чтоб август удержать — нам надо силы много.
Расти высокий — и прощай... прощай...

Перевод с белорусского Д.Ковалёва

* * *

Вот и всё, что я сделать смогла, —
Родилась и детей родила.

Вот и всё, что я сделать успела, —
Удивилась и онемела.

Из всего, что свершилось, выходит одно:
Была я в цепи надёжное звено.

Была я в цепочке — только звено...
Да вот не найду,
Потерялось оно...

Слушаю народную песню

То ли было-бывало, то ль будет —
Загудит, закружит, набежит?..
Я — в саду, всё вокруг в руже-руте,
И ручей тихоструйный бежит.

Эта смуглая звонкость фигуры
И сорочки давнишняя бель!
Как два знака одной лигатуры —
На ромашке качается шмель.

Молодой паренёк среброокий
Мял соломинку в белых зубах
И сушил мои влажные щёки
Жарким взглядом, горящим, как мак.

С парнем-месяцем тучкой пройдуся я
Суходольем небес в темноте
Надо всею моей Беларусью —
И растаю без слёз в темноте.

* * *

Весна.
Вновь аисты подъёмных кранов
Слетелись в город...
Гляди, склоняются их шеи
Над недрами кирпичных гнёзд.

Перевод с белорусского Г.Артханова

Октавы

* * *

Нету к затишью доверья,
Призрачен душный покой.
Миг — и, ломая деревья,
Буря взлетит над землёй.

Грохнет — и тут же сломаюсь.
Замертво наземь свалюсь.
Думаешь: бури пугаюсь?
Призрачной тиши боюсь.

* * *

Август, орешник и жёлтые осы —
Все мне мешают тебя целовать.
Первый виток паутины белёсой,
Хмель переспелой травы в головах.

Где-то колёса стучат на покосе,
Оклики где-то в лесу, как во мгле.
Грешное счастье на грешной земле.
Август... Орешник... И жёлтые осы...

* * *

Колокольчик жаворонка в поле,
Там, где росы к вечеру густы.
Из цветущей ржи исходят, что ли,
Чары этой Божьей красоты?

Стоило — осознаю до боли —
Этот миг у века вырвать мне,
Чтоб с тобой послушать в тишине
Колокольчик жаворонка в поле.

* * *

Ивану Мележу

На кроснах пущи, на крутом морозе
Ночь ткёт из светотеней полог свой.
Не разобрать: в тиши скрипят полозья
Иль под парчою звёздною — навой?

И память в детство улетает снова —
В мир старых сказок, в милый уголок...
И, словно между нитями основы,
Мелькает в тучках месяца челнок.

* * *

Был любим, был всегда украшением венка,
Но в опалу попал... Всё же, прячась во ржи,
Свой неистовый цвет он пронёс сквозь века,
И, кто вырос в селе, откровенно скажи:
Не печально ли было б идти по тропе
Там, где ниву рассветный дымок заволок,
Если б солнечно в смутную душу тебе
Синим глазом своим не светил василёк?

* * *

Летней ночью, чуткой, как звонок,
Где-то между Беседью и Бугом,
Где хмельной настой разлит над лугом,
Где звезду качает родничок, —
Хорошо до слёз... Я слышу смех...
Сколько жизни в том искристом смехе!
И с печалью думаю о тех,
Кто отсюда вынужден был съехать...

* * *

Пожалеем, о как мы ещё пожалеем,
Когда — рано ли, поздно ли — всё же поймём,
Что живём, торопясь... О грядущем радеем,
Но порой забываем о прошлом своём.

Оправдание будет любое нелепым,
Даже щедрый ломоть не спасёт нас вовек,
Потому что под этим сияющим небом
Не одним только хлебом живёт человек.

* * *

Где наросты пушистого инея гуще,
Луч продев сквозь мохнатые ветки чуть-чуть,
Осторожное солнце в алеющей пуше
Так восходит, чтоб с крон красоту не стряхнуть.

Всё ж хвоинку лучом невзначай зацепило, —
Серебристая пыль потекла на кусты...
Даже лёгкого прикосновенья хватило,
Чтоб разрушить божественный мир красоты.

Перевод с белорусского Б.Спринчана

Мамин двор

Зарастает двор наш, зарастает
Чернобыл-полынью, ле-*Бедой*...
Тонет в ней вся изба со стрехой, —
Скоро двор глухою Пущей станет...

А ещё недавно топоры
Дровяник трясли из-за плеч взмахами...
Я на дворики у мамы до поры
Изучал когда-то географию.

Как и нужно всякому двору,
Чтоб окол не сглазил совьей лихостью,
Я мотыгу под стрехой беру,
Непролазь корчую не по прихоти...

Вырываю полынок живьём,
Лебеду, до утра уроселую,
Нет, не забытьём, а бытиём
Будешь, Мамин Двор, навек заселенный!

Перевод с белорусского М.Стригалёва

527

Владимир МАРХЕЛЬ

* * *

Твои недомолвки, мои подозренья
Расплавят защитную магму в глазах,
И выльется ревность ночная в слезах —
Твои недомолвки, мои подозренья.

Рассеются тени, фантомы, виденья,
Ненужное спустим на тормозах,
Когда недомолвки, когда подозренья
Расплавят защитную магму в глазах.

* * *

На меже сна и яви
Твоего обитанья
Узнаю очертанья
На меже сна и яви...

Изменить мы не вправе
Те судьбы начертанья
На меже сна и яви,
Моего обитанья.

Перевод с белорусского Л.Турбиной

* * *

Почти уже готовы кони,
Которым дорога — в пургу.
Да только прикинул невольно:
Что взять я в дорогу могу?
Есть много чего от бывшего,
От той безнадёжной поры.
Дорога же — снова и снова:
— Былого с собой не бери!

Бери настроенья поболее,
Задора, что прежде имел,
Вина молодого и воли —
Без них так несносно в зиме.
Чернявую ту, молодую,
С которой по вёснам бродил.
Подружку её озорную
Ты также в дорогу буди.

Как будто бы всё. В чемоданы
Иное и грех паковать.
Воз полон. Довольно для пана,
И можно уж век вековать.

Уздечки горят золотые,
И радужно блещет дуга.
Ну что же, в оглобли, гнедые!
Час пробил, пора запрягать!

* * *

Барабанит кто-то в окна,
Не видать лишь только — кто.
Вряд ли добрый кто заглянет
В мой печальный мрачный дом.

А зайдёт — и что он скажет?
Будет, словно ночь, молчать.
И таить мы вместе станем
Мрачных дум печальный чад.

Я ловлю, как письма, листья,
Что срывает с ветром град.
Снова ты с недоброй вестью.
Листоноша-листопад.

СВЯТОЕ ВОИНСКОЕ БРАТСТВО

МЕСТО ПОДВИГОВ КОЛОМЕНЦЕВ — БЕЛОРУССИЯ

За годы оккупации Белоруссии немецко-фашистскими войсками республика потеряла более 2,2 миллиона человек. На её территории действовало 1108 партизанских отрядов и групп, в их рядах находилось свыше 374 тысяч человек. Были среди них и коломенцы.

Защитники Брестской крепости

Едва ли кто не знаком с картиной художника-баталиста П.А. Кривоногова «Защитники Брестской крепости». Она потрясает. Художник сумел ярко, выразительно передать накал напряжённейшего момента боя, героический порыв наших солдат. Это события начала Великой Отечественной войны на границе Белоруссии, бои у Брестской крепости.

В 1956 году начались поиски героев Брестской крепости. Об этом по Всесоюзному радио сообщил писатель Сергей Сергеевич Смирнов. Чуть глуховатым голосом, неторопливо он рассказывал об удивительных судьбах людей, на долю которых выпали жесточайшие испытания, о неизвестных ранее подвигах защитников цитадели, которые более месяца воевали с фашистскими захватчиками.

Три года спустя вышла книга. Рисунок обложки был прост и выразителен. На фоне краснокирпичной стены со следами от пуль и осколков выделялось белое название — «Герои Брестской крепости». В ней были объединены очерк «Брестская крепость» и книга «В поисках героев Брестской крепости». А спустя шесть лет появился объёмный труд С.С. Смирнова «Брестская крепость», за который в 1964 году он был удостоен Ленинской премии.

На многих страницах этой книги звучит имя одного из организаторов героической обороны крепости над Бугом капитана Ивана Николаевича Зубачёва, а в посвящённой ему главе «Боевой командир цитадели» говорится, что он в своё время был секретарем Коломенского уездного партийного комитета. Но о нём ничего не известно?

Биография отважного воина сложилась из данных, полученных в архивах, Музее Вооружённых сил СССР в Москве, из переписки с научными работниками Музея обороны Брестской крепости-героя, бесед с краеведами из Зарайска и Луховиц.

Иван Николаевич Зубачёв родился 15 февраля 1898 года в селе Подлесная Слобода Луховицкой волости Зарайского уезда Рязанской губернии в семье крестьянина-бедняка. В начале февраля 1917-го Ивана призвали в армию, в рядах которой он пробыл до Октябрьской революции.

Вернулся в Коломну. А 17 сентября 1918 года вступил в члены РКП(б) и добровольцем ушёл в Красную армию. Его направили на Рязанские 1-е



Иван Николаевич Зубачёв

командные пехотные курсы, но через некоторое время откомандировали в Москву на 1-е командные пулеметные курсы.

Участвовал в боях на Южном фронте. Заболел сыпным тифом. После выздоровления получил направление в штаб Западного фронта, где его определили командиром пулеметного взвода в 12-ю стрелковую дивизию 4-й армии. В её составе и принял участие в наступлении на Варшаву, окончившемся неудачей. В августе 1920 года все полки были интернированы в Германию, где находились в лагере, за ключей проволокой, до заключения мира с Польшей. Лишь в июне 1921 года удалось вернуться на родину.

Шесть месяцев И.Н. Зубачёв обучался на пехотных командных курсах. После чего прибыл в Мурманскую губернию, где его назначили командиром пулеметного взвода в роте ЧОН. Про-

служил всего лишь год — уволили в запас.

Вернулся в родные края. Работал. В 1930 году поступил учиться в Коломенскую совпартшколу. После окончания его назначили инструктором Коломенского райкома ВКП(б). По партийной мобилизации в марте 1932 года И.Н. Зубачёв вновь оказался в армейских рядах. Служил помощником командира роты, командиром роты, батальона. Окончил курсы «Выстрел». Участвовал в советско-финляндской войне.

В 1941 году капитан И.Н. Зубачёв прибыл в Брестскую крепость. Его назначили заместителем командира 44-го стрелкового полка по снабжению. Это был требовательный, властный, но справедливый командир.

Домой приходил поздно, за полночь. Семья жила в военном городке недалеко от крепости, в домах командиров. В субботу, 21 июня, вернулся чуть пораньше, не было одиннадцати. Дети — Юра и Толя — ещё не пришли из кино.

— Шура, накрой на стол, посидим сегодня, — улыбнулся Иван жене, достав графин с пивом.

Александра Андреевна постелила свежую скатерть, собрала на стол. Поужинали. Да так и сидели, вспоминая родные места: Луховицы, Зарайск, Коломну, где прошли многие годы их жизни, своих родных, знакомых.

Прибежали возбуждённые ребята. Отец угомонил их, а перед сном обнял и задумчиво, с тревогой произнес:

— Вы уже большие, дети. Если что-нибудь случится, не обижайте свою маму.

Уснули в первом часу ночи. Наступило воскресенье.

В 4 часа 15 минут тишину разорвала артиллерийская канонада.

В первый и второй день обороны цитадели капитан Зубачёв сражался на участке 44-го и 455-го стрелковых полков. А на третий день был в казармах 33-го инженерного полка. Он умело организовывал отпор фашистам. Своим хладнокровием, собранностью, деловитостью вселял в бойцов уверенность.

Гитлеровцы предпринимали атаку за атакой. По их плану крепость должна была пасть ещё к полудню 22 июня. А вот уже третий день идут боевые действия, и с защитниками никак не совладать. На крепость пикировали немецкие самолёты, сбрасывали бомбы, бочки с бензином и мазутом, по защитникам цитадели били артиллерия, минометы. С каждым часом положение обороняющихся становилось всё серьезнее. Это хорошо понимали капитан И.Н. Зубачёв и полковой комиссар Е.М. Фомин. Надо было объединить разрозненные силы.

24 июня во второй половине дня в одном из казематов инженерной казармы собрались командиры и политработники всех находящихся в соседних зданиях групп.

Совещание было недолгим. Оно выработало приказ № 1. Он гласил: «Создавшаяся обстановка в крепости требует единого руководства и организованного боевого действия. Для дальнейшей борьбы с противником руководство и командование... решили объединить оставшиеся силы воинских частей в сводную группу...» Далее в приказе записали: «Командование сводной группы поручить капитану Зубачёву И.Н. Его заместителем назначить полк. комиссара Фомина Е.М., н-ком штаба группы — ст. л-нта тов. Семененко — 44 сп.».

После того как назначено единое командование, создана сводная группа, оборона Брестской крепости принимает ещё более организованный, упорный характер.

26 июня штаб принимает решение прорвать блокаду. Зубачёв формирует группу прорыва, которая, действуя дерзко и неожиданно, бросается к Мухавцу и вплавь устремляется к другому берегу реки. Осознав, что допустили оплошность, немцы усилили огонь по оставшимся в крепости советским воинам.

Зубачёв понимает: больше фашисты никому не дадут вырваться, поэтому нужно как можно дольше сдерживать их натиск. В крошечном аду, когда плавился кирпич зданий, командир не падал духом, подбадривал бойцов, хотя сам был несколько раз ранен. «Пройдут годы, — говорил капитан Зубачёв ослабевшим в непрерывных боях солдатам, — и о наших делах будут рассказывать детям и внукам нашим. Будьте достойны этой памяти».

30 июня от сильнейшего артоналёта не выдержало перекрытие здания, рухнуло, завалив Зубачёва и его товарищей. Немцы извлекли их из-под развалин без сознания. Муки плена. Истощённый до крайности, И.Н. Зубачёв заболел туберкулезом. Но до конца дней своих оставался честным человеком, верным Родине и присяге. Он умер 24 июля 1944 года в офицерском концлагере Хаммельбурге в Германии и там был похоронен своими товарищами-пленными.

Благодаря многолетней поисково-исследовательской и популяризаторской работе писателя Сергея Сергеевича Смирнова стало широко известно о мужестве и героизме защитников Брестской крепости, и многие из них были удостоены боевых наград. Посмертно орденом Отечественной войны I степени был награждён капитан Иван Николаевич Зубачёв. Его имя увековечено в названиях улиц городов Бреста, Жабинки, Минска, Луховиц. О нём рассказывают материалы Коломенского музея боевой славы и музея истории Коломенского тепловозостроительного завода.

Героически сражались в Брестской крепости ещё два коломенца.

Сергей Емельянович Аксёнов, 1919 года рождения, до призыва в армию жил в посёлке Пески под Коломной, работал слесарем-лекальщиком на Коломенском машиностроительном заводе имени Куйбышева. Здесь вступил в комсомол. В 1939 году надел солдатскую форму. В армии окончил школу младших командиров.

Утром 1941 года сержант Аксёнов находился в казарме 455-го стрелкового полка на территории Брестской крепости. С первых минут боевых действий он принял активное участие в отражении атак гитлеровцев и погиб, защищая цитадель.

Известно, что погиб в бою в июле 1941 года в Брестской крепости и наш земляк красноармеец Тимофей Илларионович Городбин. К сожалению, данные, которыми располагает о нём городской Музей боевой славы, очень скудны: родился в 1921 году на хуторе Кулики ныне Бударинского района Волгоградской области, учился в коломенской средней школе № 20, в 1940 году Коломенским военкоматом был призван в армию. Похоронен: Белоруссия, г. Брест.

Совершил огненный таран

После трудового дня в субботу 21 июня 1941 года к Дому культуры военного городка Боровское, недалеко от города Починка Смоленской области, где жили лётчики 207-го дальнебомбардировочного авиационного полка, собирались все, кто был свободен от несения службы, посмотреть новый художественный фильм.

Два друга — комиссары 3-й и 4-й эскадрилий Н.И. Андреев и В.П. Ульянов — спешили к Дворцу и у входа увидели командиров своих эскадрилий, таких же закадычных друзей, как и они, капитанов Александра Спиридоновича Маслова и Николая Францевича Гастелло. Те оживлённо разговаривали.

Гастелло широко улыбнулся:

— Как хорошо, что мы вас встретили, дорогие наши товарищи комиссары! Мы с Александром Спиридоновичем вместе с семьями хотим завтра спозаранку на рыбалку поехать. К вам просьба большая: побыть с личным составом.

Комиссары, молодые холостые ребята, только в апреле прибыли в полк после окончания Роганьской школы летнабов. Как было не уважить, не откликнуться на просьбу:

— Вопросов нет, отдыхайте...

Около пяти часов утра 22 июня над военным городком разнёсся холодящий душу сигнал тревоги.

Маслов виновато глянул на одетых по-походному жену Софью Еврафовну и двухлетнюю дочурку Иринку:

— Ну вот, рыбалку придётся отложить. Видно, учење...

Личный состав 3-й эскадрильи во время занятий, тренировочных полётов, учений действовал слаженно, чётко. Недаром её командир капитан А.С. Маслов столько времени уделял боевой подготовке. 27 самолётов, в том числе В.С. Маслова, нанесли удар по моторизованной колонне фашистских войск, растянувшейся на несколько километров недалеко от железнодорожной станции Сувалки. Бомбили с высоты тысячи метров. Развернувшись и снизившись до шестисот метров, ещё раз прошли над колонной, обстреливая её из пулеметов.



Александр Спиридонович Маслов

шин с пехотой.

В ночь с 25 на 26 июня полк совершил четыре вылета. Задания выполняли экипажи Александра Маслова, Николая Гастелло, Александра Висковского, Федора Воробьёва.

Полк получил задание, действуя мелкими группами — звеном, парой, с высоты 600–800 метров бомбить мотовойска противника на участке белорусских дорог Молодечно–Радошковичи.

26 июня в 8 часов 30 минут первым на выполнение боевого задания вылетело звено во главе с А.С. Масловым. Вместе с ним летели самолёты Александра Висковского и Платона Клята.

Экипаж Маслова сбросил бомбы на скопление немецкой техники. На бреющем самолёт пронёсся над колонной, в упор расстреливая фашистов из пулемётов. Развернувшись, Ил-4 вновь пронёсся над гитлеровцами, поливая их свинцовым дождем. И тут враги вышли из оцепенения, зенитчики открыли плотный огонь. В самолёт угодил снаряд. Машина загорелась, и сбить пламя не удалось. Отвернуть и падать на лес? Чтобы принять решение, у экипажа были секунды. И он сделал выбор.

Чтобы нанести урон врагу, экипаж пошёл на самопожертвование. Маслов довернул самолёт и направил горящий бомбардировщик в сторону зенитной батареи немцев. Огненный смерч разметал пушки и прислугу.

В экипаже капитана Александра Спиридоновича Маслова были штурман лейтенант Владимир Михайлович Балашов, стрелок-радист млад-

Все самолёты вернулись на аэродром.

Успешными были вылеты и на второй день войны.

Утром 24 июня 18 экипажей взяли курс на запад. Вёл группу командир полка. За Минском рассредоточились. Эскадрилья Маслова должна была нанести удар по скоплению фашистских войск под Ошмянами. Нападение было неожиданным и хорошо организованным. Десятки танков, автомашин, бронетранспортёров, много живой силы врага уничтожила прицельным бомбометанием эскадрилья Маслова.

С этого боевого задания не вернулись 13 экипажей.

Учитывая потери, полковник Г.В. Титов к вечеру разбил весь личный состав полка на две эскадрильи. Командиром первой назначил А.С. Маслова, второй — Н.Ф. Гастелло.

Наступило 25 июня. На рассвете лётчики полка совершили успешный налёт на Виленский аэродром фашистов, уничтожив там около сорока самолётов. Днём участвовали ещё в одном вылете. На дорогах южнее Вильно эскадрилья А.С. Маслова уничтожила до двенадцати танков и несколько автома-

ший сержант Григорий Васильевич Реутов и воздушный стрелок младший сержант Бахтурас Бейскбаев.

Экипажи А.Висковского и П.Клята, вернувшись на базу, доложили о происшедшем командованию.

Через несколько часов на задание вылетели экипажи Н.Ф. Гастелло и Ф.К. Воробьёва. И в четвёртом часу дня примерно там же, где героически погиб экипаж А.С. Маслова, совершил свой бессмертный подвиг Н.Ф. Гастелло с товарищами — врезался в гущу вражеской техники...

По стечению обстоятельств так получилось, что о героической гибели экипажа Н.Ф. Гастелло широко узнали в стране, а о подвиге экипажа А.С. Маслова стало известно семье, землякам лишь много лет спустя после окончания войны.

В декабре 1951 года вдова капитана Маслова Софья Евграфовна (она жила в Коломне) получила письмо из Белоруссии, из посёлка Радошковичи. В нём сообщалось, что, как выяснилось, утром 26 июня 1941 года свидетелями героической гибели самолёта Маслова были жители деревни Путники пастухи брата Дворецкие. Вечером того же дня они пришли на место падения бомбардировщика, подобрали обгоревшие останки пилотов, завернули их в остатки парашюта и похоронили. Документов обнаружено не было, поэтому они не знали, кто были те лётчики. Через десять лет на этом месте провели раскопки, думали, что здесь нашли последнее пристанище члены экипажа Гастелло. Обнаружили медальон, который принадлежал стрелку-радисту Г.В. Реутову. На запрос, посланный в Военное министерство СССР, получили ответ: Реутов находился в экипаже капитана А.С. Маслова. Так узнали, что утром 26 июня огненный таран возле посёлка Радошковичи совершил экипаж Маслова. Останки героев с воинскими почестями были перезахоронены в сквере посёлка Радошковичи, а позже перенесены в братскую могилу на кладбище...

Мне довелось встречаться, беседовать с Софьей Евграфовной Масловой. Трагедия, случившаяся в самые первые дни войны, несправедливость по отношению к мужу сказались на состоянии её здоровья. В первый раз мне так и не удалось что-либо узнать. Она начала рассказывать о муже, но слёзы, рыдания не дали возможности продолжить. «Извините, нервы... Давайте встретимся как-нибудь в следующий раз», — только и смогла сказать и достала из сумочки лекарства.

В следующий раз Софья Евграфовна была спокойнее. Негромко поведала грустную историю о том, как по приглашению Молодечненского районного военного комиссара Белорусской ССР Котельникова в 1952 году ездила на место гибели мужа, беседовала с братьями Дворецкими в кабинете военкома.

К тому времени в сознании советских людей прочно утвердилась вера в то, что первым огненный таран в Великую Отечественную войну совершил Гастелло.

На траурном митинге во время перезахоронения в сквере посёлка Радошковичи выступил военком Котельников. И как гром среди ясного неба прозвучало сообщение, что героями-лётчиками, совершившими огненный таран, являются Маслов, Балашов, Реутов и Бейскбаев.

По раскрытию «тайны» последнего боя экипажа Маслова многое сделала председатель Радошковичского поссовета Юлия Петровна Голуб.

С.Е. Маслова, несколько не умаляя заслуг Гастелло, добивалась лишь одного — восстановления правды и достойного увековечения подвига экипажа мужа. По этому поводу она обращалась в Министерство обороны СССР и в

Президиум Верховного Совета СССР. Но ей дали недвусмысленно понять, что все её хлопоты несвоевременны, бесполезны. «Гастелло — наш народный герой. Если даже и не он первым совершил огненный таран, то изменять мы ничего не будем. Пересматривать историю никто не собирается».

Горько и обидно было Софье Евграфовне услышать такое от официальных лиц: её не поняли. Она никогда не претендовала на то, чтобы Маслов затмил Гастелло. Этого требовать просто глупо. Подвиг они совершили равнозначный, но обидно, почему умышленно замалчивают о совершённом Масловым, почему нигде об этом не говорят ни слова.

Сделала вторую попытку восстановить справедливость в 60-е годы, но встретилась с тем же равнодушием и непониманием, нежеланием вникнуть в проблему, разобраться. И она смирилась, затаив боль и тоску по мужу до самой своей кончины в 1985 году.

Лет двадцать назад я побывал в Минске, в Музее Великой Отечественной войны. Увидел: в зале, посвящённом начальному периоду войны, рядом помещены портреты лётчиков-друзей, однополчан, совершивших огненные тараны, — Героя Советского Союза капитана Н.Ф. Гастелло и капитана А.С. Маслова. Но что любопытно, если о Гастелло говорилось, как он погиб, то о Маслове подпись под снимком лишь сообщала, что 26 июня 1941 года он нанес бомбовые удары по технике врага на шоссе Молодечно—Радощковичи. О факте подвига самопожертвования умалчивалось. Прочитал я книгу «Рассказ о брате», которая вышла в 1977 году в издательстве ДОСААФ. Написала её сестра Н.Ф. Гастелло Нина Францевна. Она сообщает немало интересного о брате, его друзьях, но, что мне показалось странным, почему-то не сочла нужным упомянуть А.С. Маслова. А ведь Гастелло и Маслов крепко подружились ещё в Ростове-на-Дону, и эта дружба продолжалась не один год, до последнего дня их жизненного пути. Об этом мне рассказывал ветеран 207-го дальнебомбардировочного авиационного полка гвардии полковник-инженер в отставке Василий Иванович Макаров (он умер в 1988 году). Об этом же свидетельствуют и воспоминания бывшего комиссара 3-й эскадрильи капитана Маслова политрука Николая Ивановича Андреева.

Александр Спиридонович Маслов родился 22 ноября 1907 года в селе Андреевском Коломенского уезда (ныне района). В 1921 году окончил четыре класса заводской школы в Коломне, а в 1926 году — школу крестьянской молодежи в местечке Аннино. В том же году окончил в Москве курсы киномехаников. Три года работал киномехаником в Коломне при отделе народного образования.

В октябре 1929 года Коломенским военкоматом был призван в армию. Служил в 10-м Туркестанском стрелковом полку в Ленинграде. Затем там же, в Северной столице, полтора года учился в военно-теоретической школе лётчиков. Окончил 2-ю военную школу лётчиков в Борисоглебске, курсы командиров кораблей в Ейске. Год служил старшим лётчиком в 16-й тяжелобомбардировочной эскадрилье в Ржеве. С февраля 1935 года проходил службу в 21-й авиабригаде в Ростове-на-Дону.

Избрав профессию защитника Родины, А.С. Маслов с каждым месяцем службы всё больше убеждался в том, что сделал правильный выбор: такое богатство, каким располагает наша страна, требуется зорко охранять и спасти от посягательств врагов. От него требовалось как можно лучше изучить вверенную ему боевую машину, овладеть лётным мастерством, выработать в себе необходимые качества бойца. И в этом А.С. Маслов преуспел.

В «Аттестации» на командира отряда 4-й авиаэскадрильи старшего лейтенанта А.С. Маслова за период с января по ноябрь 1938 года, подписанной командиром 1-го тяжелобомбардировочного авиационного полка майором Филипповым и за военкома батальонным комиссаром Лавровым, говорится: «Способный, волевой командир, пользуется авторитетом, энергичен, требователен к себе и к подчинённым. Умеет организовать работу, расставить силы, личным показом передаёт опыт подчинённым. Является хорошим лётчиком. Летает в любых условиях дня и ночи на самолёте ТБ-3 с правого и левого сиденья. Летает на самолётах У-1, У-2, Р-1, Р-5, ТБ-3 с М-17, М-34, общий налёт имеет 956 часов. Хороший инструктор, имеет хорошие методические навыки по вывозке лётчиков. Над собой работает в этой области. Физически развит хорошо, здоров. В полётах вынослив. Тактическая и строевая подготовка удовлетворительная. Критику воспринимает и на все указания реагирует — в работе исправляет. Личный состав отряда сколочен, работает дружно. Отряд подготовлен хорошо. Материальная часть работает безотказно, вынужденных посадок не было. Штурманская и бомбардировочная подготовка выполнены полностью. Воздушно-стрелковая подготовка выполнена хорошо... Для выполнения задач днём и ночью отряд подготовлен».

С ноября 1940 года Маслов служил в 3-м дальнебомбардировочном корпусе. Приказом Народного комиссариата обороны № 01392 от 24 мая 1941 года капитан А.С. Маслов был назначен на должность командира 3-й эскадрильи 207-го дальнебомбардировочного авиаполка 42-й авиадивизии дальнего действия Западного особого военного округа. В этой должности и вступил в бой с фашистами в первый день Великой Отечественной войны...

С середины 80-х годов власти Коломны и района, коломенская общественность, оставшиеся в живых ветераны 207-го ДБАП ходатайствовали о посмертном награждении капитана А.С. Маслова и членов его экипажа. В 1992 году главнокомандующий объединёнными Вооружёнными силами СНГ маршал авиации Е.И. Шапошников своим приказом наградил орденами Отечественной войны I степени А.С. Маслова и его боевых товарищей.

Администрация и общественность Коломны продолжали ходатайствовать о присвоении членам экипажа А.С. Маслова званий Героев. Многие в этом отношении сделали майор-инженер в отставке Эдуард Васильевич Харитонов и бывший народный депутат СССР от коломенцев Владимир Яковлевич Стадник. И наконец справедливость восторжествовала. Указом Президента России № 635 от 2 мая 1996 года за мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, было присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно) Александру Спиридоновичу Маслову и членам его экипажа В.М. Балашову, Б.Бейскбаеву и Г.В. Реутову. Так, спустя 55 лет, достойно отмечен подвиг нашего земляка, который отдал за Отчизну самое дорогое, что у него было, — свою жизнь.

В Коломне и Коломенском районе свято чтут память о Герое России Александре Спиридоновиче Маслове. В честь него в городе названа одна из новых улиц, а в районе имя Героя присвоено Проводниковской средней школе.

Подрывал вражеские эшелоны

Бывшего электромонтера коломенского железнодорожного депо Голутвин Сергея Ивановича Храпова Великая Отечественная война застала на одной из погранзастав в Белоруссии. Накануне он с товарищами

прибыл сюда с концертом из-под Гродно, где служил. В армейской художественной самодеятельности Сергей занимался с большим наслаждением: он замечательно плясал, обладал красивым голосом.

В четыре утра вместе с пограничниками красноармеец С.И. Храпов вступил в бой с фашистами. В первый же день войны был контужен и захвачен в плен.

Почти три года в родительский дом от Сергея не приходило никаких вестей. И вдруг в апреле 1944 года — небольшое письмо:

«...Сейчас я нахожусь в тылу врага, которого сильно ненавижу и с каждым днём стараюсь как можно больше его уничтожить, чтобы освободить родную землю, которая временно оккупирована... обо мне не беспокойтесь. Я жив, здоров и весел, как всегда... Адреса моего пока нет. Недалеко то время, когда мы увидимся. *Серезжа*».

Адреса Храпов сообщить не мог. Он воевал за линией фронта, в Белоруссии, в разведывательно-диверсионном партизанском спецотряде, которым командовал Александр Маркович Рабцевич (5 ноября 1944 года удостоенный звания Героя Советского Союза). И письмо это было первым и последним, которое получили от Сергея родители: в конце апреля 1944 года он погиб.

Тяжело складывалась судьба С.И. Храпова. Контузия, плен, батрачество, побег к партизанам. Здесь, в отряде, он стал подрывником. На его счету десять пущенных под откос эшелонов противника с живой силой и техникой.

Немцы делали, казалось бы, всё необходимое, чтобы обезопасить железную дорогу: вырубали леса у полотна, на подходах расставили мины, усилили охрану. Тогда Храпов предложил стрелять по паровозам из противотанкового ружья. Таким образом он вывел из строя восемь локомотивов.

22 апреля 1944 года партизаны возвращались после выполнения очередного боевого задания на железной дороге Барановичи—Лунинец. Сергей шёл впереди по лесной тропе и в темноте наступил на противопехотную мину. Взрывом ему оторвало ступню правой ноги.

Группу стали преследовать немцы. Завязался бой. Несмотря на ранение, стрелял по врагам и Сергей. От гитлеровцев удалось оторваться. Храпова несли на руках, он не показывал вида, что ему нестерпимо больно, пел: «Кто под красным знаменем раненый идёт?» И партизаны надеялись: если поёт, значит, всё обойдётся.

Однако началась гангрена. И через двое суток С.И. Храпов умер. Его подвиги в тылу врага на Белорусской земле были отмечены орденом Отечественной войны I степени и медалью «Партизану Отечественной войны» I степени.

Лобовая атака крылатого экипажа

О нападении фашистской Германии на Советский Союз воспитанник коломенского аэроклуба Николай Константинов узнал, будучи курсантом прославленной Качинской авиационной школы.

Как же он рвался на фронт! Но командиры сдержали порыв горячего сердца. Тем более что пришла новая техника — американские самолёты «харрикейн», и нужно было как следует изучить эти машины, ведь на них предстояло идти в бой. Константинов — человек дисциплинированный, очень основательно подошёл к освоению новой техники. До этого он со-



*Николай Алексеевич
Константинов*

штурмовиков Ил-2, летевшая с соседнего аэродрома. В воздух взмыла шестерка «аэрокобр» во главе с В.И. Утенковым. В обязанность истребителей входило охранять штурмовиков от нападений немецких самолётов.

Две «аэрокобры» пристроились слева от «Илов» с превышением метров 200–400, две — справа. Это были истребители так называемой группы непосредственного прикрытия. Ещё две крылатые машины составляли ударную группу. Они летели над истребителями непосредственного прикрытия метрах в 400–600. Ведущим этой пары был младший лейтенант Н.А. Константинов.

Километрах в пятидесяти южнее Полоцка группу обстреляли фашистские зенитчики. Лётчики-штурмовики среагировали мгновенно: спикировали и выпустили по зениткам реактивные снаряды. Две пары истребителей непосредственного прикрытия также начали снижение. И в этот момент сверху на наши самолёты свалились восемь ФВ-190, сделав попытку атаковать штурмовиков.

«Фоккеров» заметил Константинов, и его пара завязала бой. Отбивая атаку противника на встречном курсе, Н.А. Константинов протаранил своей «аэрокоброй» ведущего фашистской группы, и оба самолёта, загоревшись, упали на землю. Не ожидая такой развязки, немцы ушли в сторону. Ни один советский штурмовик не пострадал.

Ценою жизни Николай Алексеевич Константинов выполнил боевую задачу — предохранил штурмовиков от атаки противника.

Первым ворвался в Минск танк Фроликова

Шёл первый этап Белорусской операции — одной из крупнейших стратегических наступательных операций Великой Отечественной войны, проведённой советскими войсками с 23 июня по 29 августа 1944 года. В ней принимали активное участие сотни коломенцев. Подвиг одного из наших земляков навсегда вписан в историю Белоруссии, в историю её столицы Минска.

вершил 94 полёта на УТ-2 и 140 — на УТи-4, налетав более тридцати часов. И на «харрикейне» почти десять часов пробыл в воздухе, совершив 67 вывозных, контрольно-провозных и самостоятельных вылетов. За период обучения не совершил ни мелких поломок, ни вынужденных посадок, ни аварий.

На фронт Константинов попал лишь в апреле 1944 года в составе 17-го истребительного авиаполка. Был он в звании младшего лейтенанта и летал на американском самолёте «аэрокобра». Полк воевал на 1-м Прибалтийском фронте.

В июне полк базировался на полевом аэродроме, километрах в двадцати восточнее белорусского города Полоцка.

30 июня в назначенное время над аэродромом появилась группа штурмовиков

Весной 1939 года пионервожатою Маливской семилетней школы Коломенского района Дмитрия Фроликова вызвали в город, в военкомат для прохождения медицинской комиссии. «Абсолютно здоров» — было её заключение. И 27 апреля юношу призвали на военную службу.

Служить Дмитрию пришлось на Краснознаменном Балтийском флоте. Служба не тяготила. К ней он был всесторонне подготовлен. Физически крепкий, морально устойчивый, с определённым запасом знаний: учился в Коломне в педагогическом техникуме, занимался в аэроклубе...

Великую Отечественную войну Фроликов встретил обстрелянным бойцом: ему довелось участвовать в боях с белофиннами во время непродолжительной, но кровопролитной советско-финляндской войны. А с вторгшимися на советскую землю немецко-фашистскими захватчиками он воевал в составе 80-й морской стрелковой бригады Карельского фронта в должности помощника командира взвода отдельной роты противотанковых ружей. Однажды противнику удалось окружить группу бойцов. Сержант Фроликов вместе с командиром взвода лейтенантом Буяновым организовали оставшихся в строю солдат и повели их в атаку на прорыв. Во время боя Дмитрий был ранен в грудь и в руку. Как отмечал командир роты лейтенант Князев, «своей смелостью и отвагой сержант Фроликов посеял панику в рядах врага, что было сейчас же использовано бойцами для прорыва из окружения». Подвиг Д.Г. Фроликова командование отметило медалью «За отвагу».

В боях 1941–1942 годов Дмитрий Георгиевич Фроликов был трижды ранен. После выписки из госпиталя в феврале 1943 года зачислен курсантом Горьковского танкового училища. Окончил его по ускоренной программе и прибыл во 2-й гвардейский Тацинский танковый корпус, где был назначен командиром танка. Вскоре он возглавил взвод 3-го танкового батальона 4-й гвардейской танковой бригады.

Фроликов хорошо освоил грозную бронированную машину Т-34, научился умело использовать её маневровые и огневые возможности в условиях лесисто-болотистой местности Белоруссии, где пришлось воевать. А воевал он героически, умно и хитро.

26 июня 1944 года танкисты получили задание перерезать коммуникацию оршанской группировки фашистов и выйти на реку Березину. В этот же день они достигли шоссе, ведущего к Минску, в пятнадцати километрах западнее Орши.

Взвод Фроликова добрался до перекрёстка дорог Москва–Минск и Орша–Смоленск. Дмитрий поставил свои три танка в засаду так, чтобы перекресток шоссе был под наблюдением и обстрелом каждой «тридцатьчетвёрки».

На дороге показалась вражеская автоколонна — 150 автомашин и прикрывающих их шесть танков. Взвод Фроликова неожиданно атаковал не-



Дмитрий Георгиевич Фроликов

приятельскую автоколонну и разгромил её. Два фашистских танка были подбиты, уничтожено до сотни немецких солдат и офицеров.

А спустя несколько дней Д.Г. Фроликов совершил подвиг, который навечно вошёл в историю столицы Белоруссии.

В ночь со 2-го на 3-е июля 1944 года взвод Фроликова получил приказ провести разведку обороны гитлеровцев на северо-восточной окраине Минска. У Дмитрия созрел план, который он блестяще осуществил.

Коротка июльская ночь. Но и в ней бывает такой период, когда, как говорят, хоть глаз выколи, темно, ничего не видно. Именно в этот момент и ринулись на врага три советских танка. Они стремительно неслись по шоссе. Но не доходя нескольких сот метров до линии обороны фашистов, танк Фроликова свернул в сторону и застыл в кустах. Два других открыли огонь по врагу.

Гитлеровцы всполошились. Ударили пулеметы, раздались орудийные выстрелы. Наши танки, умело маневрируя, метались вдоль линии обороны немцев. Фроликов засекал все фашистские точки, ведущие огонь по боевым машинам, и сразу же передавал эти данные по радио командиру бригады.

Кажется, всё разведано. Больше сидеть в засаде нет смысла, и Фроликов отдаёт команду двигаться вперёд. «Тридцатьчетвёрка» рванулась к Минску. Фашисты, занятые боем, не обратили внимания на танк Фроликова. И он, разметав проволочные заграждения, раздавив пулеметные гнезда, ворвался в предместье города.

В 2 часа 30 минут в эфире раздались позывные:

540

АНАТОЛИЙ КУЗОВКИН



*Дмитрий Георгиевич Фроликов (в первом ряду в центре) с боевыми товарищами.
1944 год*

— Я — Фроликов, я — Фроликов! Нахожусь в Минске, нахожусь в Минске!

Советская «тридцатьчетвёрка» с цифрой 145 и белой стрелой на башне мчалась по улицам города, сметая в сторону всё, что встречалось на её пути, в упор расстреливая гитлеровцев. Её гусеницы раздавили зенитную пушку, противотанковое орудие, самоходную пушку «фердинанд».

По целям, засечённым Фроликовым, ударила советская артиллерия, обрушила мощный удар авиация. А спустя некоторое время в бой вступили танкисты и пехотинцы.

Время приближалось к полудню, когда в Минске прогремел последний выстрел. Столица Белоруссии освобождена!

Освобождением Минска завершился первый этап Белорусской операции, в результате которого вражеская группа армий «Центр» потеряла катастрофическое поражение, её главные силы были разбиты.

После памятного боя на улицах Минска Дмитрий Георгиевич Фроликов воевал ещё семь месяцев. Зимой 1945 года очищал от немецко-фашистских захватчиков литовскую землю, а затем сражался на территории Восточной Пруссии. Здесь был тяжело ранен, но не оставил поле боя; а второе ранение оказалось смертельным. Отважного танкиста похоронили в городе Кибартае на братском кладбище со всеми воинскими почестями.

Несколько дней Дмитрий Георгиевич Фроликов не дожидаясь до того дня, когда 24 марта 1945 года был подписан Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении ему звания Героя Советского Союза.

Имя Д.Г. Фроликова носят улицы белорусских городов Минска и Барановичей. В Маливской средней школе Коломенского района о нём рассказывают материалы школьного музея. В Мемориальном парке Коломны установлен бюст Героя.

* * *

Естественно, что в этом очерке рассказано далеко не обо всех коломенцах, воевавших с немецко-фашистскими захватчиками в Великую Отечественную войну на территории Белоруссии. На фронте находилась тогда 21 тысяча наших земляков. Почти 12 тысяч коломенцев не вернулись с полей сражений. Это в их честь и в их память в Коломне создан Мемориальный парк, где зажжён Вечный огонь славы, куда приходят поклониться и постоять в скорбном молчании не только жители города, но и многочисленные гости. Бывают здесь и представители города Молодечно Минской области Белоруссии, которые поддерживают деловой контакт с Коломенским районом. И коломенцы частые гости на молодеченской земле, где совершил свой легендарный подвиг Герой России Александр Спиридонович Маслов.

В последние десятилетия недалёковидные политики разрушили существующий многие века братский союз русского и белорусского народов. Но вопреки этому связи восстанавливаются. Да иначе и быть не может. Ведь наша дружба скреплена кровью, пролитой во имя общего дела — борьбы с внешним врагом.

БЛАГОДАРИМ

Издание выходит при поддержке главы городского округа Коломны *В.И. Шувалова*, ректора Коломенского государственного педагогического института *А.Б. Мазурова*, а также коломенских меценатов:

Николая Тимофеевича ВОРОНИНА — генерального директора ООО ПКФ «ДОММ»;

Валерия Михайловича КАШИНА — начальника — главного конструктора Конструкторского Бюро машиностроения;

Валерия Семёновича КОССОВА — генерального директора ОАО «ВНИКТИ»;

Натальи Николаевны ДРАННЕВОЙ — заместителя председателя правления Коломенской городской организации общества «Знание»;

Николая Николаевича СИДЕЛЁВА — директора межрайонного автотранспортного предприятия автоколонны № 1417 — филиала МО «Мострансавто»;

Михаила Яковлевича АРЕНЗОНА — учредителя и издателя издательского дома «Ять»;

Сергея Сергеевича СЕРГЕЕВА — генерального директора научно-производственной ассоциации «ТЕХНО-АС»;

Игоря Викторовича ЧИРКОВА — индивидуального предпринимателя;

Юрия Михайловича УГОЛЕВА — генерального директора экологической научно-производственной фирмы «Новатор»

Евгения Владимировича ЗАХАРЧЕНКО — генерального директора ООО «Теплогарант-Плюс»;

Марины Николаевны МАЛИЦКОЙ — директора салона штор «Эники»;

Эдуарда Насибулловича ТУМЕРКИНА — директора ООО «Ракурс»;

Сергея Анатольевича АСТАПОВА — директора негосударственного образовательного учреждения дополнительного образования «Коломенского компьютерного Центра»;

Людмилы Платоновны РЫБАЛКА — директора магазина «Электрострой».



Из неброских ручейков и подземных ключей складываются наши речки и реки. И вот уже реки становятся огромными озёрами и неоглядными морями.

Так и наш «Коломенский альманах». Совсем невеликим

кажется он перед бескрайним морем многовековой русской духовности. Но он тоже — часть России. И он тоже кому-то помог, поддержал в пути глотком чистого русского слова.

Наша благодарность — тем, кто не даёт исчезнуть этому роднику, тем, кто своей поддержкой из года в год хранит его, не позволяет заилиться житейской тиной.

Спаси вас Бог, добрые люди!

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ИЗДАНИЕ
«КОЛОМЕНСКИЙ АЛЬМАНАХ»

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
В.С. МЕЛЬНИКОВ

ЗАМЕСТИТЕЛИ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
Р.В. СЛАВАЦКИЙ
В.В. УШАКОВА
О.В. КОЧЕТКОВ

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ
А.Г. ВАСИЛЬЕВА

РЕДКОЛЛЕГИЯ
М.Г. Абакумов, А.П. Ауэр, С.А. Астапов, Т.Ф. Башкирова,
Е.С. Гринин, А.М. Дудкин, А.И. Кузовкин, В.Н. Леонов,
Е.А. Новикова, С.И. Патрикеев,
И.Е. Ракша (Москва), А.А. Сахаров (Воскресенск),
М.М. Сигал, О.Ю. Шилов

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ РЕДАКЦИИ
Л.И. Бородин — главный редактор журнала «Москва»
В.Н. Ганичев — председатель Союза писателей России
В.Н. Крупин — писатель
С.Ю. Куняев — главный редактор журнала «Наш современник»
В.В. Личутин — писатель
А.Б. Мазуров — ректор Коломенского государственного педагогического института
Н.В. Маркелова — председатель Комитета по культуре администрации г. Коломны
С.М. Харламов — народный художник России
Л.И. Хитяева — народная артистка СССР
В.И. Шувалов — глава городского округа Коломна
Е.Ю. Юшин — главный редактор журнала «Молодая гвардия»

В оформлении обложки использован фотоэтиюд Юрия Колесникова
Фотопортреты авторов выполнены Юрием Имханицким и Львом Авдеевым
Штриховой рисунок выполнен художником Евгением Грининым

Редакторы А.Г. Васильева, В.В. Ушакова
Художник Е.С. Гринин
Компьютерная вёрстка Е.Ю. Ерофеева
Корректор О.И. Киреенко

Свидетельство о регистрации ПИ № 1-50294 от 26 апреля 2002 года Министерства
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
140402, Московская область, г. Коломна, ул. Калинина, д. 49. Тел. (4966) 13-31-78.
E-mail: glago@inbox.ru

Подписано в печать 8.04.08. Формат 70x100/16. Бумага офсетная № 1. Печать офсетная.
Усл.-печ. л. 34. Тираж 1000 экз. Заказ
Издательство журнала «Москва». 121918, Москва, ул. Арбат, 20.
Тел. (495) 291-83-91, 291-71-10. Факс (495) 291-07-32.
Типография ОАО «Астра-Полиграфия», 119019, Москва, Филипповский пер., 13.